Моисей Наумович Авербах

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ
(AD MAJOREM DEI GLORIAM)

Роман в четырех частях

Москва, 2008 г.

АННОТАЦИЯ

Моисей Наумович Авербах (1906–1982) провел около двадцати пяти лет в сталинских тюрьмах, лагерях и ссылках. Роман «К вящей славе Господней (Ad majorem Dei Gloriam)» он начал писать сразу после реабилитации в середине 1950-х годов и работал над ним более десяти лет.

Это и роман-автобиография, и роман-документ. В каждом из двух основных персонажей – Моргунове и Ильине – присутствуют те или иные черты характера и факты из биографии самого автора. Но самое главное – это исключительно правдивый, развернутый и беспристрастный анализ всего происходившего в стране в самые страшные годы борьбы с так называемыми «уклонами», коллективизации и массового террора тридцатых–сороковых годов двадцатого века. Особое место в романе занимает история города Воркуты, в те времена тесно связанная с печально известными Ухтпечлагом и Воркутлагом.

В СССР антисталинский, фактически антикоммунистический, роман, правдиво и подробно рассказывающий о жизни и смерти в «исправительно-трудовых лагерях», не мог быть опубликован. За границу автор принципиально отказывался его передавать. В итоге книга, которая могла бы стать одним из наиболее масштабных произведений русской литературы второй половины XX века, так и не увидела свет. Эта публикация – первая.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к несостоявшемуся изданию 1990 года

Моисей Наумович Авербах написал этот роман как бы о себе. В нем нет ни одного выдуманного или просто недостоверного факта и персонажа.

Сталин... Сталинизм... Сталинские лагеря, документы, цифры, пересыльные пункты, тюрьмы, карцеры, параши, нары, караулки и караульные, охрана и охранники, голод и пеллагра, смерть от болезней и расстрелы – и все это собственными глазами!..

Размышления о цели происходящего, анализ бессмыслицы, нечеловеческие страдания и терпение, ужас ожидания приговора и многое-многое-многое другое, что подкупает своей скрупулезной точностью.

Форма произведения, определенная самим автором как роман, на самом деле ближе к роману-документу. Названием его стало известное изречение, под которым объясняла и оправдывала свои преступления средневековая инквизиция. «Дозволено все, если совершается к вящей славе Господней!»

Двадцать пять лет провел автор в тюрьмах, ссылках. И вот его роман – документ, в котором он собрал по крупицам всю свою жизнь, перечислил все свои этапы существования и мышления, ничего не скрывая и не приукрашивая. Был наивным правоверным комсомольцем, потом членом партии, потом – человеком, не приемлющим сталинизм и фашизм ни в каких его проявлениях.

Среди большого количества произведений, написанных и изданных, освещающих эту тему, наверное, нет более добросовестного, ответственного и потому необходимого сегодняшнему читателю.

Теперь коротко об авторе.

Моисей Наумович Авербах (30.12.1906–10.12.1982) в 1930 году окончил институт им. Плеханова по специальности «горный инженер».

В 1934 году был арестован за организацию фонда помощи однокурсникам, нуждающимся в деньгах. Статья – КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Получил три года ссылки в г. Тулу.

В 1938 году снова арестован и по ОСО получил 8 лет лагерей (статья 58 – КРТД). Попал на Воркуту.

В 1946 году освободился без права выезда из Воркуты.

В 1948 и 1952 годах был снова арестован, дважды – по двум так называемым «лагерным» делам. Получил «вечную» ссылку.

С 1941 по 1961 годы работал начальником вентиляции на шахте (профессия помогла!). Во время работы на Воркуте спас от гибели на «общих работах» многих интеллигентных и больных людей. Среди них – известный писатель, герой войны в Испании, Алексей Эйснер, профессор-экономист Элькон Лейкин (известен на Западе по работам под псевдонимом Зимин), писатель-историк П.И.Негретов, экономист П.И.Фонберг, американский журналист Ж. Грин и многие-многие другие.

В 1956 году был реабилитирован по всем делам.

В 1961 году вышел на пенсию и вернулся в Москву. Работал в комитете народного контроля на общественных началах, оказывал бесплатные юридические консультации по гражданским и уголовным делам, много писал, помогая понять истину в жизни, политике и мире.

В.В. Кавельмахер

ПРЕДИСЛОВИЕ
к изданию 2008 года

«Рукописи не горят»
(М. Булгаков)

...Горят, прекрасно горят, особенно если сухие. А еще бывает, что мокнут, плесневеют, выцветают, съедаются грызунами или насекомыми, выбрасываются равнодушными потомками... Да мало ли какая участь может постигнуть неопрятные стопки желтоватой исписанной бумаги!..

Мой дед Моисей Наумович Авербах начал писать свой роман «К вящей славе Господней (Ad majorem Dei gloriam)» более полувека назад – сразу после реабилитации в 1955–1956 годах. Это было главным делом его послелагерной жизни, и писал он этот роман более десяти лет, все это время безуспешно пытаясь опубликовать хотя бы его первую часть.

К рубежу шестидесятых–семидесятых годов стало ясно, что публикации в СССР ожидать не приходится.

Роман, изначально задумывавшийся как антисталинский (и, соответственно, имевший определенный шанс на хотя бы частичную публикацию в рамках хрущевской «борьбы с злоупотреблениями культа личности»), оказался настолько масштабным и глубоко проникающим в суть происходившего в стране, что неизбежно перерос в общее обличение советской государственно-идеологической системы. И несмотря на то, что автор напрямую не «замахивался» ни на основы марксизма-ленинизма, ни на коммунистическую партию как таковую, бдительные редакторы и официальные рецензенты его «раскусывали» мгновенно.

Да и та потрясающая правдивость, с которой описывались сталинские «исправительно-трудовые лагеря», никак не вписывалась в «лакированную» официальную советскую литературу.

В рукописи романа было 950 машинописных страниц (четыре объемистые папки). Соответственно, не было никакой возможности пустить роман в «Самиздат» – многократная перепечатка такого объема составляла бы воистину непосильный труд.

Почему Моисей Наумович не пытался опубликовать роман на Западе – мы не знаем, и теперь уже никогда не узнаем. Возможно, он понимал, что для любого западного издательства публикация колоссального по объему романа (еще и не напрямую «антисоветского», еще и практически неизвестного автора) была бы сопряжена со слишком большим коммерческим риском. Возможно, выход книги за рубежом противоречил его принципам, и он до последнего надеялся издать роман – хотя бы частично – в своей родной стране.

Попытки публикации романа в Советском Союзе Моисей Наумович продолжал и уже на моей памяти – в начале семидесятых, но очень вяло и, так сказать, по инерции. Его здоровье было подорвано двадцатью пятью годами ссылок и лагерей, в середине 1970-х он тяжело заболел и в 1982 году ушел из жизни. Ему было лишь семьдесят шесть лет.

В годы «перестройки» (во второй половине 1980-х) роман пытались опубликовать и «солагерник» Моисея Наумовича, писатель и историк Павел Иванович Негретов, и пасынок М.Н. Авербаха, историк архитектуры Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер, и супруга В.В. Кавельмахера – Инна Михайловна Заграевская, и автор этих строк – внук М.Н. Авербаха.

Но тогда уже наступили «коммерческие» времена, и ни одно издательство печатать роман не взялось: 950 машинописных страниц – слишком длинно…

Прошли годы. От романа остались только горы черновиков в дачном сарае, так как издательства, взявшие во времена «перестройки» роман «на рассмотрение», его не вернули.

К сожалению, попытки связаться с ними и получить назад хотя бы один экземпляр я стал предпринимать слишком поздно – уже в начале 2000-х. Неудивительно, что за эти пятнадцать–двадцать лет в редакциях прошли многочисленные реорганизации, переезды, акционирования, банкротства, и в итоге все «сгорело».

Вспоминаются слова Александра Галича, посвященные писателям «Самиздата»:

Их имен с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный…
«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все, и этого достаточно!

Но времена советского «Самиздата» ушли, а в современных условиях оказалось недостаточно даже тех пяти–шести копий (шестая – совсем «слепая»), которые брала не портативная пластмассовая пишущая машинка «Эрика», а огромная цельнометаллическая «Оптима», на которой перепечатывала рукописи Моисея Наумовича его супруга Елена Александровна Кавельмахер…

Роман исчез.

Как назвать то, что было дальше – везением? Чудом? Или все-таки Булгаков был прав, говоря, что рукописи не горят?.. Среди гор черновиков весной 2007 года я нашел полную (и, похоже, даже последнюю – почти без правок) рукопись романа! И не шестой, а второй или третий экземпляр! Все 950 страниц!

Мне оставалось только отсканировать, отформатировать, отредактировать и издать роман Моисея Наумовича. В 1990-е годы у меня такой возможности не было, сейчас она есть.

Что может быть радостнее для автора, чем выход в свет его книги? И пусть автор ушел из жизни более четверти века назад. Рукопись не сгорела – значит, не сгорела и память о Моисее Наумовиче Авербахе.

А пока жива о нем память – жив и он.

С.В. Заграевский

«Эти люди – я, и их чувства – мои».
Уолт Уитмен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Небо было синее-синее, и поверхность реки Воркуты сверкала тысячами огней, отражая по-южному яркое и горячее солнце. Дым из трубы ТЭЦ – четырехэтажного кирпичного здания на пригорке левого берега – поднимался отвесно и только на большой высоте постепенно разрывался на клочья и неуверенно поворачивал к югу. Александр Сергеевич Моргунов, начальник участка № 5 шахты «Заря Севера», стоял у переправы и ждал, пока с той стороны подойдет лодка.

«Под небом знойной Аргентины, где небо южное так сине...» – напевал он привязавшийся мотив. Жара свирепствовала, термометр на солнце показывал 40°, и после привычных длительных холодов Моргунову было не по себе.

– Да, жара прямо как в Аргентине, – произнес женский голос позади него.

Он оглянулся. Рядом стояла Горинская. Женщина лет тридцати пяти, чуть выше среднего роста, стройная, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Светло-русые волосы, разделенные прямым пробором, гладко приглажены по бокам и собраны позади в небольшой пучок, белая легкая блузка и серая, явно из лагерной ткани, короткая, до колен, юбка, на груди – небольшая дешевая брошка.

– Здравствуйте – пожалуйста! – чуть-чуть насмешливо, но дружелюбно сказал Моргунов. – А вы, что, были в Аргентине?

– Нет! – ответила она, улыбаясь. – Не была!.. Мне только этого не хватало!

Она засмеялась.

– Ну почему же? Там должно быть неплохо, – сказал Моргунов, не найдясь, что ответить.

– Нет! – опять засмеялась она. – Не уговаривайте! Все равно не поеду! Мне бы хоть на Капитальную без особых последствий доехать, на базар! – и она кокетливо показала Моргунову синюю сетчатую сумку.

– Да, это, конечно, поближе, – сказал он. – Поедем вместе! Я тоже на Капитальную!.. А вы разве на Ру'днике живете?

– Да, – утвердительно кивнула она головой.

– Почему же вас там никогда не видно?

– Я недавно освободилась и ни в каких «присутственных местах» еще не бывала, – ответила она. – Ну, а вы?.. Все начальником участка? Да?

– Совершенно точно! – ответил Моргунов. – Все им же... А вы в первом стационаре?! Раны перевязываете?.. Удивительно: на Руднике живем, а никогда не встречаемся!

– Ничего удивительного, – покачала она головой. – Я ведь почти всегда на работе. Да и вы, вероятно, круглыми сутками в шахте торчите!

Подошла лодка. Приехавшие с той стороны высадились на берег. Женщина легко прыгнула в лодку.

– Ну, вы грести умеете?.. Смотрите, не переверните. Я купаться совсем не хочу, вода холодная!..

– Ничего! – успокаивающе протянул Моргунов, налегая на весла. – Кстати, как вас зовут?

– Анна Павловна... Горинская.

– Фамилию-то вашу я знаю... А я – Моргунов, Александр Сергеевич, вы, наверное, тоже знаете... А вы что же – полька?

– Нет, чисто русская!.. Аргентинка из Москвы!

– Землячка, значит! Я ведь тоже московский... А не скучаете вы по России-то? Как вам здесь нравится?

– Лучше быть не может! Ведь не зря говорят: «Бог создал землю, а черт – Воркуту!»

– Да ну... черт! Здесь тоже своя прелесть есть! Посмотрите-ка, вон, налево. Это зрелище только на Воркуте увидеть можно. Сорок градусов жары, а снега – целое море!

Действительно, внизу, на повороте реки, за сельхозфермой, складки высокого правого берега были еще полны снегом. Он искрился под лучами июльского солнца, и странным казалось такое сочетание сильной жары с большими заснеженными пространствами.

– Подумаешь, редкость! Я на Кавказе такие картины видела, там горы вечно в снегу.

– Так то – горы, а это – даже не холмы!

Лодка причалила. Моргунов и Горинская вышли и начали взбираться по крутому склону высокого берега.

– Подождите минуточку! – сказал Моргунов. – Я чуть-чуть освежусь.

Он подошел к трубе артезианской скважины и подставил голову под прозрачную ледяную струю.

– Ух, холодная!

– Смотрите, не простудитесь!

– Я-то?!

Предположение о простуде показалось настолько нелепым, что он засмеялся.

Они пошли рядом.

– Тяжело в гору идти, – пожаловалась Анна Павловна, – хорошо бы здесь эскалатор установить, как в Москве, в метро.

– Да, недурно бы, – согласился Моргунов, – а пока эскалатора нет, надо с собой мужа брать, чтобы наверх на руках носил.

– Глупости какие... и, во-первых, я не замужем.

– А муж за вами?!

– Да нет, я серьезно говорю... Странно как! Правду говоришь – не верят. А солгать – все за чистую монету пойдет!

– Бывает!.. – согласился Моргунов. – А что, часто приходилось лгать-то?

Она вызывающе ответила:

– Приходилось, конечно. Мне ведь не 16 лет!

Моргунов помолчал.

– Ну, а где же ваш муж? – спросил он внезапно. – Ведь вы – «чесеир»?.. Да?.. Были же вы когда-нибудь замужем?

– Была... когда-то... – растерянно и не сразу ответила она. – Мужа арестовали раньше меня. Дали десять лет без права переписки... Я знаю, что это значит. Это расстрел. Так с тех пор и иду одна по неведомому пути... уже восемь лет!..

– Одна?! – удивился Моргунов. – И попутчика не нашлось?

– Попутчика!.. – передразнила она с неожиданной злостью. – Какое отвратительное слово!.. Прямо мерзость!.. Впрочем... вот, вы – попутчик, нам с вами по пути... на базар!

Разговор оборвался.

– Анна Павловна! – проговорил Моргунов после большой паузы. – Вы не сердитесь на меня! Я вас обижать не хотел. Знаете, ведь вопрос этот и для меня очень острый. Я тоже почти девять лет без семьи живу. Взяли меня в тридцать шестом году, с четвертого курса. Был я, вообще говоря, хотя и с рабочим стажем, и

партийным, но наивным, как новорожденный теленок. Всем интересовался, все знать хотел, а «на ловца и зверь бежит». В конце двадцатых – дискуссии, оппозиции. По рукам документы, листовки ходили. Попало ко мне «политическое завещание Ленина», на машинке напечатанное; прочел я, что он там про Сталина говорит – «груб, нетерпим, капризен», – ну, и рассказал кое-кому из приятелей. Рассказал, и думать об этом забыл. Прошло несколько лет. Вдруг – арест! – «Говорил?» – «Говорил». – «Значит, ты – троцкист!» – «Ничего подобного, ведь это же ленинские слова!» – «И ты еще это повторять смеешь... контра недорезанная!» – В общем, иди, доказывай! Пришили «каэртеде», сунули по ОСО пять лет, помотали по лагерям, пригнали на Воркуту... Кончился срок – продлили «до особого распоряжения»! Сидел-сидел. В сорок четвертом, на десятилетие Воркуты, «условно-досрочно» освободили! Что дальше делать? Жену сюда, за Северный полярный круг, тащить? К колючей проволоке?.. Не хочется. Одному жить тоже тяжело. Да и жалко!.. Годы уходят. Самые лучшие годы, молодость!.. На днях брился, рассматривал себя в зеркало. Лицо какое-то чужое. И седина...

Она улыбнулась:

– Седина в бороду, а бес в ребро?

– А что же?!. И так бывает! Ведь это – естественно... Вот я и подумал, Анна Павловна: вы одна, я один, идем по одной дороге; попутчики мы с вами... Вы только не обижайтесь!.. Давайте, пока нам по пути, вместе жить!.. Ведь вдвоем легче, и тоска не так грызть будет!

– Вы с ума сошли? Десять минут друга знаем и вдруг, пожалуйте, давайте вместе жить!.. А если отыщется муж или к вам приедет жена? Тогда как?

– А тогда разойдемся!.. Я ведь это как подумал... пока!.. До тех пор, пока по пути нам, пока мы – попутчики... А кроме того, мы не десять минут друг с другом знакомы, а несколько лет. Вы меня знаете, сами говорили, а вас я давно приглядел, когда еще в стационаре лежал, а потом – когда вы у меня на участке на «ударнике» были. Помните, зимой? Я вас тогда еще на выборке породы провел, а вы обижались, что не на навалоотбойке! Помните?

– «Вы помните, вы все, конечно, помните...» Нет, Александр Сергеевич, для меня это дело неподходящее. У меня к жизни совсем другие требования, и лагерной женой я быть не хочу... Да и кроме того... как у вас повернулся язык?!. Как это можно?!. Мы же друг друга почти что не знаем. Кто вы? Что вы? Где вы росли? Чем дышите?.. Нехорошо это все!.. Как-то по-звериному!.. По-воркутски!.. Ну вас совсем!.. Кстати, мы пришли, мне налево. Прощайте!

– Почему же прощайте? Вы обиделись на меня?

Но Горинская не слушала его, она быстро уходила, и только серая узкая юбка немного сдерживала стремительность ее шага.

II

Моргунов сделал несколько шагов вслед за Горинской, но потом остановился и повернул в сторону. Внезапно он сильно покраснел и в волнении закусил нижнюю губу.

– Ах ты, пошляк! – прошептал он, обращаясь к самому себе, и покачал головой.

Ему стало стыдно и очень неловко. Как мог он так грубо и прямо предложить Горинской сожительство, почему не понял, что такая сверхпростота ее оскорбит? Ведь она не из тех, с кем «все позволено», и он это знал. Так что же случилось с ним? Почему? Моргунов пытался разобраться в этих вопросах и не находил себе оправдания... Да, он опустился, охамился, испошлился донельзя, он потерял умение вести себя и способность различать индивидуальные черты окружающих его людей. Лагерь съел его, съел без остатка... Хотя нет, это неправда! Ведь он уже давно обратил внимание на Горинскую, она давно казалась ему желанной и

милой. Как много раз он думал о ней, думал в самое разное время и в самых различных обстоятельствах. Она приходила ему на ум и на узких, жестких нарах барака АТП, и на одинокой, холостяцкой койке в его неуютной, необжитой, полученной после освобождения комнате, и в шахте, в лаве, когда он, сидя на корточках и прислонившись к стойке, смотрел на мерно качающийся мотыль и мгновениями засыпал от грохота и усталости. Да, он часто думал о ней и, хотя знал только ее фамилию, она казалась ему временами совсем близкой и даже родной. Но ведь именно поэтому надо было проявить к ней деликатность и уважение, а не грубую, обнаженную чувственность. Как же мог он пасть так низко?!. Неужели не удалось ему защитить себя, свое мышление, свою душу от тлетворного влияния лагерного бытия, от животной психологии у'рок, о которых он сам говорил, что разница между ними и обыкновенными людьми значительно глубже, чем между ними же и обезьянами?..

Моргунов шел и от волнения грыз ногти. Ему казалось, что произошло что-то непоправимое, что он втоптал в грязь нечто святое и, может быть, навсегда отрезал пути к этой милой, обаятельной женщине, о которой так часто мечталось.

– Слово, что воробей, вылетит, не поймаешь, – вслух произнес он и опять закусил губу.

Он медленно шел, забыв о цели приезда в город, и воспоминания вились над ним, как комары в заболоченной тундре.

Он вспоминал, что еще тогда, в те долгие дни и ночи, когда, сломав ступню, лежал в хирургическом отделении стационара, его взгляд не раз останавливался на стройной фигуре всегда оживленной и неутомимой медицинской сестры, обслуживавшей их палату. Он любил смотреть, как ловко и быстро раздавала она лекарства, делала перевязки, ставила и вынимала термометры. Он ощутил мягкость ее рук и оценил ее профессиональную опытность, когда, делая подкожные впрыскивания, она легко и почти безболезненно вводила ему в руку иглу медицинского шприца. Ее движения были точны и вместе с тем неуловимо изящны. Всегда в безукоризненно чистом халате и белой косынке, молодая и миловидная, она казалась ему существом из другого мира. Ее спокойные, уверенные движения, женственный облик, безупречно правильная русская речь вызывали особую симпатию и что-то похожее на восхищение. Она входила в палату, и как будто свежая струя врывалась в душный, испорченный, пропитанный больничными запахами и человеческой грубостью воздух.

Горинская умела хорошо держать себя в трудной обстановке лагерной больницы, спокойно относилась к нервным выпадам и зачастую нелепым и наглым претензиям уркаганов из соседней палаты, никогда, в противоположность другим медсестрам, не вступала с ними в пререкания, совсем, казалось, не слышала их матерщины, всегда была мила и доброжелательна. Но когда требовалось заставить кого-либо выполнить неприятную лечебную процедуру или принять неприятное лекарство, в ее голосе появлялись властные нотки, какая-то особенная внушительность, и она всегда умела убедить и капризничающего, несговорчивого больного, и даже явного хулигана, и заставить его сделать по-своему.

Как-то раз Моргунов сказал ей, что умирает от скуки, и спросил, нет ли у нее чего-нибудь почитать. «Чего-нибудь?! – иронически сказала она. – Чего-нибудь есть», и принесла ему «Страдания молодого Вертера».

Моргунов покачал головой и подумал: «В такое время... война... и вдруг – Гете... немец! В наших-то условиях... при таком окружении!.. Рисково ведете себя, мадам, рисково!.. Как бы чего не вышло!»

Правда, он сразу опомнился, мысленно обозвал себя Беликовым и, сердясь на самого себя, уткнулся в принесенную книгу.

Вчитываться в нее сначала показалось нелегко. Вертер казался до невозможности нежизненным, изнеженным и слащаво-чувствительным. Его многочисленные ахания злили и раздражали, а причины переживаний представлялись ничтожными. «Ах-ах, опять ах! – со злостью думал Моргунов, – разахался, слизняк, как Бедная Лиза! Тебя бы в лагерь, голубчика, в шалман с урками, или в шахту, в мокрую лаву, ты бы там на лопате махал!..»

Моргунов откидывал от себя книгу и подолгу лежал, глядя в потолок, но потом снова принимался за чтение. Книга притягивала. Хотелось вспомнить и вновь понять и характер Вертера, и особенности его эпохи, и психологию штюрмеров, но в голову лезли обычные, ежедневные дела и заботы, и трудно было заставить себя сосредоточиться.

Часа через два книжка все же стала казаться интересной и унесла Моргунова в другой мир.

Боже мой, как далеки были чувства Вертера от того, что пришлось пережить Моргунову в последние годы, какими сказочными и неправдоподобными казались они в этой обстановке, где подняли голову все исчадия ада. «Любовь, дружба, чистые девушки, величественные поэмы Гомера, стихи Оссиана... Да разве еще существуют на свете такие понятия?! Разве не утонули, не растворились они в страшной для непривычного человека, по-звериному грубой и до предела циничной лагерной среде, где оголяются все стыдливо прикрытое, где людские страсти, грехи и пороки возводятся на пьедестал и выставляются напоказ? Та жизнь и эта! Небо и земля! Одно из величайших творений человеческой мысли – и первобытная грязь!..» Слезы навертывались на глаза Моргунова, он стыдливо смахивал их и в душе свирепо ругал себя за чувствительность. Он убеждал себя, что образы Гете безнадежно устарели, что Вертер – никчемный человек, слюнтяй и размазня, что он неспособен отличить значительное от ничтожного и страдает только из-за пустяков. «Подумаешь тоже, обидели его словом «нравится», или нате, пожалуйста, срубили ореховые деревья в пасторской усадьбе! Стоит ли переживать это в мире, где рубят не только деревья, но и головы!..» Он вспоминал о десятках миллионов людей, погибших в течение последней войны на фронтах и в тылу, о бесчисленных жертвах социальных событий двадцатого, девятнадцатого и восемнадцатого веков и, восстанавливая историю в обратном порядке, дошел до машины доктора Гильотена. «Да, – подумал он, – процесс отрубания человеческих голов был механизирован значительно раньше, чем рубка деревьев, и, если как следует вдуматься, в этой последовательности скрыт очень глубокий и характеризующий общественное развитие смысл».

Экскурс в историю отвлек его от страданий молодого Вертера, и он успокоился. Но как только снова взялся за книгу, слезы вдруг навернулись ему на глаза.

«Откуда эти слезы, зачем оне?» – спросил он себя цитатой из Модеста Чайковского, но ответить не смог. Роман не был для него какой-либо новостью. Когда-то он Вертера знал неплохо. Еще в детстве ему подарили собрание сочинений Гете, и он много оттуда прочел, а, потом, повзрослев, несколько раз слушал оперу Масснэ; ему очень нравилась полная трагизма музыка третьего действия. Каждый раз он воспринимал ее как бы вновь, с неуменьшающимся удовольствием, и с таким же чувством любовался идиллическими картинками франкфуртской обывательской жизни, страдая от горестей неудачной вертеровской любви. Что было лучше – роман или опера? Тогда он не понимал еще разницы между ними. Они сливались у него в одно целое. И он радовался обоим. Но не плакал над ними, хоть и был в то время и моложе и чище. А теперь, когда он прошел огонь и воду, стал злее и жестче, когда казалось, он разучился плакать вообще, он плакал. Десять лет прошло с тех пор. Да и каких десять лет!

Тюрьмы, допросы, непонятно-пристрастное следствие, долгое мучительное ожидание с надеждами и отчаянием, постановление ОСО, объявленное в коридоре

тюрьмы, во время выхода «на оправку», а потом – этапы, лагерь, встреча с профессиональными уголовниками и так называемыми бытовиками, жизнь с ними, невольное и незаметное огрубение. Привычка и еще раз привычка, ведь человек ко всему привыкает! А потом война, страшная война, так сильно изменившая жизнь даже в лагере, временный, но жестокий голод, затем систематическое недоедание и массовое пробуждение в окружающих людях всех скрытых в них до тех пор низменных инстинктов; жесточайшая, как в животном мире, борьба за существование, и дальнейшее быстрое огрубление окружающей среды, разложение нравов и моральных устоев, всего, что когда-то было святым.

Сначала он был на общих работах, но благодаря хорошему здоровью и крепкому организму относительно легко переносил трудности и лишения. Слабые умирали, а он выжил. И не только выжил. Он, как говорили в лагере, «вышел в люди». Высокий образовательный уровень помог ему. Он легко перешел от абстрактных проблем, от ноуменов и антиномий, от Канта и Гегеля, к сугубо практическим вопросам: окончил курсы десятников, научился разбираться в горных механизмах и в вопросах управления кровлей, научился работать с людьми, создавать из них работоспособные коллективы, и через несколько лет стал очень неплохим начальником участка. Когда же наступил, наконец, долгожданный день освобождения, он остался на прежней работе, так как в справке, выданной ему, было написано, что «гражданин Моргунов Александр Сергеевич… освобожден согласно директивы 185-42 с применением ст. 39 Положения о паспортах», а это практически означало, что уехать с Воркуты он не может. Моргунов был подготовлен к такому исходу. Поэтому, выйдя из конторы на крыльцо вахты, в положении – первый раз за восемь с четвертью лет – свободного гражданина, он сразу направился в отдел кадров оформляться на работу.

Все это вспоминалось теперь с удивительной яркостью, все это имело прямое отношение к Горинской. Лагерь, стационар, Вертер, освобождение, сегодняшний разговор с ней. «Ах, как все это нехорошо получилось!» Так же, как тогда, в стационаре, когда Моргунов не сразу понял, что Вертера нельзя рассматривать с точки зрения сегодняшнего дня, – так и теперь, сегодня, он не понял, что для выражения одних и тех же чувств в разном обществе нужны разные слова и разные формы подхода.

А ведь он это знал. Он считал себя хорошо воспитанным и гордился тем, что прошел трудный лагерный путь без явного нарушения правил общечеловеческой морали. Он с радостью говорил про себя: «Я уцелел!» и вкладывал в эти слова всеобъемлющий смысл, а теперь оказалось, что он уцелел только физически. «Что же произошло с моей душой, с моим духовным миром, с моим интеллектом? Где все, всосанное с молоком матери, полученное в семье и школе, привитое воспитанием, образованием? Неужели разразившаяся надо мной жизненная буря смыла все это так же, как наводнение в Ленинграде смыло когда-то у павловских собак условные рефлексы, выработанные в лабораторных условиях?..» Моргунов крепко сжал зубы и отрицательно покачал головой. «Нет, нет и нет! – мысленно сказал он себе. Ничего не смыто, все уцелело! Я просто распустился и перестал следить за собой».

Он повернул в обратную сторону. Город был небольшой; Моргунов давно уже, незаметно для себя, вышел за его пределы и брел по пыльной, протоптанной в тундре тропинке.

– Нет, ничего не смыто, все уцелело, – еще раз повторил он. – А то, что произошло сегодня, это и есть настоящий условный рефлекс, но он будет нестойким, он быстро смоется. А пока что… пока… поделом мне! Впредь надо быть осмотрительней!..

Несколько дней воспоминания о встрече с Горинской преследовали Моргунова и не давали покоя. Вновь и вновь перебирал он в памяти детали их разговора, клял себя за нетактичность и с ужасом чувствовал, что образ Анны Павловны все больше и больше овладевает его существом.

– Как она там сказала? – думал он. – «Ведь мы друг друга почти что не знаем. Кто вы и что вы?» А если ей написать о себе? Чего мне скрывать?!

И он написал.

«Уважаемая Анна Павловна!

Мне очень неприятно и стыдно за все происшедшее, но я не могу не думать о Вас. Очень прошу: прочтите письмо до конца. Я хочу рассказать о себе, ответить на Ваши вопросы, излить свою душу.

Итак, кто я и что я? Где рос, и чем дышу?

Я родился в Москве 20 ноября 1911 года в семье учителя истории. Отец окончил Московский университет, мать – гимназию. После гимназии поступила на Высшие женские курсы, но пробыла на них год с небольшим, а потом вышла замуж, народила детей, и на этом закончилось ее официальное образование. Именно – официальное, потому что всю жизнь, несмотря на многотрудную женскую долю домашней хозяйки и матери троих детей, она много читала, занималась литературой, искусством, историей и общественной жизнью. Таким образом, я рос в интеллигентной семье и с самого раннего детства слышал разговоры о моральных и политических проблемах, Художественном театре, Щукинской галерее, картинах Врубеля, музыке Скрябина, Бальмонте и Мережковском, Ибсене и Гамсуне, а потом о революционных событиях, снятии памятников «царям и их слугам», журнале «Аполлон», «Двенадцати» Блока, футуристах, кубистах, Пролеткульте и многом-многом другом.

По словам родителей, я был очень любознательным, научился читать в неполных четыре года, полюбил книги и ценил их превыше всего. Когда подрос, начал увлекаться историческими романами и переменами, вызванными в умственной жизни общества 1917 годом. Вы, вероятно, помните это время, и если не помните, то знаете о нем по рассказам старших. Золотой век нашей культуры!.. Две революции, сначала февральская, а вслед за ней и Октябрьская, ликвидировали все старые ограничения и цензурные запреты. На книжный рынок стремительным потоком полились книги о рабочем и крестьянском движениях, о восстаниях и забастовках, о войнах и революциях. Народными героями стали анафематствованные в прошлом Стенька Разин и Емельян Пугачев, Вера Засулич и Степан Халтурин. Уже в школах первой ступени узнавали мы о декабристах и народовольцах, о группе «Освобождение труда» и о ленинском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Совершенно как взрослые, умудренные опытом люди, доказывали мы, что революция 1905 года была репетицией, без которой нельзя было бы победить в 1917 году, и решительно осуждали деспотический режим царизма, расстрелявший рабочие демонстрации в Кровавое воскресенье перед Зимним дворцом и семь лет спустя на далекой сибирской Лене.

Революции, как вы, конечно, помните, сломали не только государственный строй и классовую структуру старой России. Ломалось все: и экономика, и быт, и мораль, и этические взгляды. До самых небес воздымалась слава вождей революции, и одновременно с этим развенчивались веками почитавшиеся кумиры и авторитеты. Разрушались религии и вера в Бога. Новое материалистическое миропонимание широко овладевало умами. Создавались новые понятия о добре и зле, чести и совести, побудительных причинах и нормах поведения людей наедине с собой и в коллективе, о коммунистической нравственности и эстетике. В сторону марксизма шагнули даже старые ученые, всю свою жизнь стоявшие на идеалистических позициях, и люди, совершенно не

интересовавшиеся раньше вопросами бытия и сознания. Но не сразу все стало ясным. Не сразу наметились правильные пути и дороги, много путаницы, неверных представлений и эклектизма приходилось преодолевать нашему поколению, мировоззрение которого складывалось на непроторенных еще, заросших всяческими уклонами путях и тропинках.

Я рос в это бурное время, и в моей детской памяти в самой близком соседстве селились и Красная Шапочка, и Вера Фигнер, и Маленький лорд Фаунтлерой, и Петр Алексеевич Кропоткин.

Пожалуй, уже тогда запали мне в голову первые путаные понятия равенства и равноправия, разницы между которыми я еще не понимал. Вспоминается мне в связи с этим забавный случай: взял я без спроса в отцовском кабинете томик Леонида Андреева и прочел рассказ «Тьма». Было мне в то время лет десять, и, конечно, многого я не понял, но мое внимание привлек вопрос Любки: «Какое ты имеешь право быть хорошим, когда я плохая?» Вопрос показался мне совершенно закономерным. «В самом деле, разве не все люди имеют одинаковые права? Разве не все они – равны?» Незадолго до этого я присутствовал дома на горячем споре старших об идеях утопического социализма, и, хотя тоже не все понимал, но был убежден, что прав именно Морелли, утверждавший, что все люди должны быть одинаковыми, носить одинаковую одежду, жить в одинаковых домах и ничем не выделяться из общей массы. Я жадно стремился тогда к знаниям и много, но бессистемно читал; родители не придавали большого значения выбору читаемых мною книг, ограничиваясь запрещением читать Мопассана и еще кое-какие «французские» романы, в изобилии имевшиеся дома, но на нарушение своего запрета смотрели сквозь пальцы. И я читал все, что попадало под руку. Страшно хотелось, чтобы взрослые считали меня большим и умным, и я старался не отставать от них в знаниях и умении спорить. У нас дома, в рядовой советской семье, интересовались политикой, говорили о народе, крестьянстве, классовой борьбе, французской революции и Термидоре; обсуждали положение внутри партии, спорили о троцкизме, о возможности строительства социализма в одной стране; и я читал обо всем этом, тайком просиживая ночи над книгой или газетой, разыскивал в словарях непонятные слова, мучительно вдумывался в смысл отдельных формулировок и испытывал огромное удовольствие, когда понимал, наконец, сложную мысль автора читаемой книги или обнаруживал, что эта мысль совпадает с моим взглядом на данный вопрос. Выражаясь крылатыми словами того времени, я «грыз молодыми зубами гранит науки» и радовался каждому отгрызенному куску.

Не хочу скрывать, мне часто хотелось убежать на улицу, поиграть с ребятами в лапту или чижика, в футбол или казаки-разбойники, но чаще всего я пересиливал себя и оставался сидеть за столом. Детские и юношеские радости меня привлекали не меньше, чем всех остальных, но куда как интереснее было блеснуть необыкновенным развитием и вызвать удивление взрослых или глубокое заинтересованное внимание сверстников. Я любил, например, прийти в школу, собрать вокруг себя возле себя кружок приятелей и с жаром рассказывать им, как революционеры ходили в народ, как томились они в Шлиссельбурге и Петропавловской крепости, рассказывать про «Запечатленный труд» и про «То, чего не было», перескакивать отсюда, чисто по-детски, на «Дневник Вырубовой» и «Убийство Распутина», а затем, почти без всякого перехода, на легендарные подвиги Чапаева и Котовского, на ликвидацию Кронштадского мятежа или банд Петлюры и Антонова.

Мои рассказы перемежались иногда разговорами о девушках, о любви, о вопросах пола. Прочтя вовремя подаренную мне отцом книгу Августа Фореля и получив, таким образом, знания о жгучей для подростков проблеме взаимоотношения полов из серьезного источника, написанного научным, но

легко доступным языком, я пополнил эти сведения художественными изображениями возвышенной любви из произведений Льва Толстого, Тургенева и Гончарова и усвоил себе понятия, значительно отличающиеся от взглядов многих мальчишек, видящих в этой проблеме лишь грязь и особое озорство. Мои товарищи по школе со смаком рассказывали и мне, и друг другу о «Крылатом эросе» и о «Любви пчел трудовых», о «Луне с левой стороны» и о «Проточном переулке», о любви «без черемухи» и о том, что делается «за закрытой дверью». Я слушал об этом с жадным любопытством, но, вероятно, из чувства противоречия вступал с ребятами в спор, приводил им примеры чистой самоотверженной любви и верности, говорил о Ромео и Джульете, о Дафнисе и Хлое, о Филимоне и Бавкиде, о всепоглощающей любви покончившего с собой Вертера, об ушедшей в монастырь Лизе Калитиной. Да мало ли тем возникало тогда для рассказов и споров, особенно когда ребята пробовали возражать или не соглашаться! А таких оказывалось много. Не я один, а почти все поколение моих ровесников, не помнящее живого городового, было развито не по годам. В 14–15 лет мы уже заговорили о преимуществах детерминизма и ошибках Парижской коммуны. Мы знали, иногда понаслышке, не только Томаса Мора и Кампанеллу, но и всю историю развития социализма от утопии к науке. Большинство наших знаний, конечно, оставалось поверхностным. У многих из нас четкие положения марксизма зачастую сливались с ошибочными утверждениями вульгарных материалистов или махистов, с положениями, составляющими основы идеалистических и схоластических учений. Многие из нас «впадали в ересь», «уклонялись в сторону», переоценивали значение каких-нибудь второстепенных и несущественных влияний или, наоборот, недопонимали роль важных факторов, определяющих текущую политику и тактику партии. У нас, так же, впрочем, как и у молодежи всех времен и народов, еще отсутствовали твердо определенные и неизменные взгляды на все явления жизни, да и складывались эти взгляды отнюдь не просто: в процесс их формирования властно вторгалось обостренное революцией расслоение общества. Ушибленные переворотом или в той или иной степени зараженные реакционной психологией предков мыслили по-одному, другие – большинство, в которое нередко входили даже отпрыски ущемляемых имущих классов! – совсем по-другому. Единомыслия не было, но революция влияла на всех, и большинство молодежи стихийно сочувствовало ее идеалам. Часть этого большинства, так же как и я, отождествляла свое мировоззрение с идеями РКП(б), вступала в комсомол и ради будущего социализма соглашалась на любые жертвы и даже на самопожертвование. Поступок китайца из «Бронепоезда 14-69», легшего на рельсы, чтобы ценою своей собственной жизни принести победу движению, за которое он воевал, казался нам вполне правдоподобным и даже естественным. В одной знакомой семье во время гражданской войны двое старших ребят ушли добровольцами в Красную армию, а мы, недоростки, старались во имя идеи безропотно переносить на осажденном и со всех сторон блокированном кусочке земли, гордо именуемом Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, и голод, и холод, и лишения.

Да, это было героическое время, люди страдали, сражались и умирали, не получая за это ни преимуществ, ни славы. Как христианские мученики первых веков, шли они вперед, не останавливаясь ни перед чем, и в конце концов победили. Мы же, дети и юноши, возраст которых не позволял быть на фронте, стихийно были за них, за новую жизнь, за советскую власть; хорошо помню, как мы играли «в войну»: никто не хотел быть «беляком». Мы были уверены, что белые – звери, и что они с красных сдирают кожу живьем.

Мы впитывали в себя героику и романтизм революционных призывов, и я тоже был одним из многих восторженных юношей-комсомольцев, мечтавших о прекрасном будущем всего человечества.

И отсюда, вероятно, возникло во мне стремление слиться с народом, стать незаметной крупицей в его массе. Правда, в то же самое время я мечтал стать или всемирно известным ученым, или каким-нибудь героем, но если первое желание приносило отраду и умиление, то второго я стыдился, как какой-то извне навеянной скверны. Народа я при этом не знал и не понимал. Он казался мне безликой и отвлеченной, по-святому торжественной и не имеющей реальных очертаний совокупностью, и порой мне становилось неясно, почему я так стремлюсь принести этому смутному и, может быть, даже чуждому мне понятию какое-то, самим мной неосмысленное, но везде и всюду упоминаемое счастье.

А в жизни, кроме высоких идей и стремлений, у меня были вполне земные желания. Мне доставляло удовольствие вызывать удивление старших своей начитанностью, было приятно нравиться девушкам, получать «весьма удовлетворительно» на экзаменах, верховодить в кругу товарищей и обращать на себя внимание в спорах и диспутах, возникающих в школьных кружках, в гостях у знакомых, и даже где-нибудь в трамвае или в сквере, в кучке случайных людей. Я стыдился таких своих чувств, потому что считал их нескромными, и иногда, в порывах откровения, каялся близким друзьям, добавляя, однако, в свое оправдание, что все это, пожалуй, выше меня. – «Что делать! – говорил я с минимальной дозой рисовки. – Ведь я не герой! Я – обыкновенный простой человек! Homo sum, humani nihil a me alienum puto».

Я часто копался в себе, пытаясь осознать и осмыслить свои мечты и влечения, привести их, как я говорил, «к общему знаменателю», и с ужасом убеждался в собственной противоречивости, которую объяснял недостатком знаний и слабостью воли. И чтобы восполнить обнаруженные в себе пробелы, я с новыми силами набрасывался на книги, сидел над ними дни и ночи, выписывал, конспектировал, сравнивал формулировки отдельных авторов, и снова пускался в самоанализ, пробуя «познать самого себя» и добиться «самопознания».

Несколько лет спустя, уже студентом философского факультета, я обнаружил термин «самопознание» в сочинениях немецкого философа-идеалиста Фридриха Шеллинга. Обнаружил и ужаснулся.

«Боже мой, какую неосторожность я допускал! С кем сроднился! Это я-то – марксист, диалектик! Хорош марксист! Нечего сказать!»

И опять я полез в свою душу, стремясь выяснить все причины и следствия допущенной «ошибки», систематизировать их и разложить в строгом порядке по полочкам мозга.

– «Это все потому, – решил я в конце концов, – что нет у меня настоящей жизненной закалки, все потому, что я – потомок русского интеллигентского нытика, и в каждом простом и обычном явлении вижу какую-то сложность и мудрость. «Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете». Надо быть ближе к жизни, к производству, к рабочему классу».

Вывод, сделанный мною, не был случайным и сложился не под влиянием момента. Я действительно мечтал быть ближе к народу, хотел жить его жизнью, говорить его языком, чувствовать себя с «простыми» людьми свободно и непринужденно. И может быть, именно поэтому, попав в лагерь и соприкоснувшись в нем с очень сложным конгломератом людей, вышедших из самых разнообразных социальных слоев и прослоек, из многочисленных и весьма непохожих друг на друга национальных и племенных групп, я не почувствовал особого одиночества и быстро сжился с этим пестрым сборищем личностей, связанных друг с другом только общностью постигшего их несчастья.

Вот, уважаемая Анна Павловна, краткий ответ на ваши вопросы, Не подумайте только, что я рисуюсь и хочу «свою образованность показать». Я пишу «все, как есть»! Осталось только сказать, чем я дышу. Хочу быть откровенным: я – коммунист, и ничто из того, что случилось со мной, не поколебало моих

убеждений. Да, я – коммунист, и в этом – смысл моей жизни. Я уверен, что придет когда-нибудь время, и правда выйдет наружу. Я жду этого времени, теперь уже спокойно и не волнуясь.

Мне хочется сказать Вам значительно больше, чем удалось написать. Смогу ли я это сделать?

Уважающий Вас А. Моргунов».

III

Моргунов сделал конверт из плотной бумаги для аммонита – специально ходил за нею к раздатчикам склада ВВ; ребята знакомые, дали, – потом заклеил письмо, свернул его в трубку, завернул, завязал и попросил одного из рабочих-зека отнести в стационар.

– Отдашь медсестре Анне Павловне... понял?.. Только ей!.. Лично! В руки! Не застанешь – назад принесешь! Тут – лекарство... На, закури!.. – Моргунов протянул ему жменю махорки.

Рабочий пошел, а Александр Сергеевич – следом за ним.

Посланец дошел. Подошел. Анна Павловна вышла сама. «Вот удача!» У Моргунова екнуло сердце. «Подает ей письмо, она что-то спросила... взяла... Хорошо! Все в порядке!»

Но Горинская на письмо не ответила.

– Почему? – терзался догадками Моргунов. – Может быть, потому, что я написал там про взгляды, про то, что я коммунист? Решила, что я лицемерю, что в моем положении это совсем... не того?..

Моргунову было обидно и больно. А между тем он написал чистую правду. Подобно большому числу его современников, он был репрессирован и заключен в лагерь отнюдь не потому, что совершил какое-нибудь преступление или враждебно относился к идеям коммунистической партии. Он считал эти идеи своими и был твердо убежден и в закономерности революции, и в социальной справедливости советского строя, и в классовой безупречности коммунистической идеологии.

Воспитанный в советских условиях, чуть ли не в детстве узнав об основах марксизма, он принимал все, что происходило в стране, как должное и исторически необходимое. Мировоззрение, выработанное еще в школьные годы, позволяло считать себя настоящим коммунистом, и он безоговорочно признавал не только досконально изученные программу и устав ВКП(б), но и все почти тактические и оперативные мероприятия партии. Редко, правда, но все же бывало, что у него возникали неясности, недоумения, но он пытался разобраться в них с позиции априорной правильности партийных решений, и ему всегда удавалось убедить себя, что в данном вопросе он просто чего-то не понял. Когда-то Саша мечтал подрасти и вступить в РКП(б), чтобы бороться за социализм и коммунизм. О том, что за них можно бороться, и не состоя в партии, он и подумать не мог. Партия же, в его представлении, была организацией беззаветных людей, способных в любую минуту пожертвовать собой во имя пролетарских идей, во имя счастья и блага всего человечества. Именно такими считал он членов ЦК. Он преклонялся перед их умом, мужеством и бесстрашием. Он жадно ловил каждое их слово, появляющееся в печати, изучал каждое их выступление. И в те периоды, когда в партийном руководстве не было разногласий или о них не сообщалось в печати, коммунистическая партия была для Моргунова единственной путеводной звездой, и он шел на ее свет с твердой уверенностью, что выбрал правильный путь. Гораздо труднее становилось ему, когда появлялись споры и разногласия. Пытливый ум полуребенка-полуюноши активно стремился разобраться в существе спорных вопросов. Честный мальчик не мог допустить даже и мысли о

том, что многие хлесткие обвинения, выдвигаемые оппозицией и руководящим большинством ЦК друг против друга, являются только тактическими приемами, продиктованными логикой взаимной борьбы, и не содержат ни слова правды. Ему очень хотелось, чтобы в партии установились мир, согласие и полное единство. Порой ему казалось, что его желания уже сбылись. Это бывало, когда в печати появлялись заявления оппозиции, содержащие обязательства «прекратить фракционную борьбу, уничтожить элементы фракционности, безоговорочно подчиняться постановлениям съезда, ЦК и ЦКК, и проводить их в жизнь».

Моргунов хорошо помнил одно из таких заявлений – заявление, подписанное лидерами оппозиции 16 октября 1926 года; помнил и другое – 8 августа 1927 года. Читая их, он успокаивался и ликовал. Но проходило короткое время, и его спокойствие вновь улетучивалось: мира в партии не наступало, и опять начиналась борьба оппозиции с непризнаваемой ею генеральной линией партии.

Оппозиция во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым обвиняла Центральный Комитет в термидорианском перерождении, в национально-консервативном курсе, в проведении кулацко-устряловской линии; она утверждала, что «опаснейшей из всех опасностей», угрожающих советской стране, является партийный режим.

Большинство же членов ЦК отвечало, что оппозиционеры, утверждая такое, недооценивают «реальную опасность подготавливаемой империалистами войны». Они пытались «усовестить заблуждающихся», «растолковать им ошибочность их взглядов», «вернуть их на партийные рельсы», однако «оппозиция обостряла методы фракционной борьбы». После устройства летом 1926 года нелегальной массовки в лесу, о которой с возмущением писали газеты, после ряда тайных и явных фракционных собраний, оппозиция организовала 7 ноября 1927 года открытую демонстрацию на улицах Москвы, невольным свидетелем которой стал Саша.

Он шел в этот день вместе со своей школой в рядах демонстрантов на Красную площадь. Ребята веселились, смеялись, шумно перекрикивались между собой, а на частых задержках и остановках затевали веселые игры. На узкой Моховой произошел очередной затор. Процессия остановилась и долго стояла на месте. Люди, однако, совсем не скучали и сразу нашли себе дело. Демонстранты раздались по сторонам, образовали небольшой круг. В смежной колонне заводских рабочих оказалась двухрядка-гармонь. Молодой гармонист в серой клетчатой кепке, ухарски надетой набекрень, лихо растянул меха и заиграл «барыню». Из рядов выскочила скромно одетая девушка. Притоптывая каблучками, приглашающе помахивая рукой стоящим вокруг парням, пошла она по кругу, с озорством подпевая высоким крикливым голоском:

– Ай да ты, ай да я, ай да барыня моя!

В пару ей выбежал юноша в высоких начищенных сапогах и пустился вприсядку. Плясал он хорошо, явно кокетничая своей неутомимостью. В процессе пляски он ухитрялся выколачивать на голенищах и подошвах сапог, на бедрах, на лбу, на щеках – на всех частях тела – музыкальные такты, и громко выкрикивал плясовую частушку:

– Поплясал бы я вприсядку,
Сапоги не гнутся,
Шаровары по пятам,
Девушки смеются.
Оп! Оп! Оп! Оп! Оп!..

Саша, втайне завидуя танцорам и сожалея, что сам не умеет плясать, с удовольствием смотрел на них.

Неожиданно что-то произошло, пение оборвалось на полуслове, пляска прекратилась, гармонь замолкла. Толпа дрогнула, и кто-то пронзительно закричал:

– Гляди, гляди, шо деется!..

Люди, сминая ряды, беспорядочно ринулись вперед, но тут же остановились: перед ними возникло до предела уплотненное море голов. Изумленный Саша тоже повернулся и – ахнул.

Впереди, на фасаде высокого пятиэтажного Дома Советов, стоящего на углу Моховой и Воздвиженки, наискосок от Исполкома Коминтерна, между пятым и вторым этажами колыхалось громадное, – метров этак пять на семь, – полотнище с портретом Троцкого. Ветер трепал его и сносил к закругленному углу дома. Полотнище вздымалось, надувалось как парус, хотело улететь и билось на плоской стене, а какие-то люди, высовываясь из окон, ловили веревки, привязанные к низу портрета. Быстро поймав болтающиеся концы, они натянули их и закрепили внутри помещения.

Возле дома в этот момент, по-видимому, совсем не случайно, стояли колонны участвующих в демонстрации студентов расположенного в Замоскворечье крупного вуза, в партячейке которого было сравнительно много сторонников оппозиции. Они высоко подняли транспаранты с призывами, не предусмотренными лозунгами ЦК: «Выполним завещание Ленина!», «Ударим по правым, по кулаку, по нэпману, по бюрократу», «Против оппортунизма, против раскола, за единство ленинской партии!» и, обступив выходящий на Воздвиженку фасад дома полукольцом, старались не подпускать к нему посторонних. В середине их группы несколько басовитых парней громко скандировали:

– Долой Сталина!.. Долой Термидор!.. Да здравствует Троцкий!

Сумятица длилась несколько минут. Огромный, в два этажа высокого дома, портрет хорошо просматривался и вблизи и издалека. Лев Давидович Троцкий в красноармейском шлеме с пятиконечной звездой, в пенсне, с маленькой расчесанной остроконечной бородкой и небольшими, но пышными усами, молча смотрел на волнующийся внизу народ и чуть заметно улыбался. Ликующая толпа студентов и десятка полтора–два человек из соседних колонн демонстративно запели песню времен гражданской войны:

– Услышали деды: война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся!
Смело мы в бой пойдем за власть Советов,
И как один умрем в борьбе за это!
Рвутся снаряды, трещат пулеметы,
Но их не боятся красные роты!..
Пойдем к коммунизму под всеми парами!
Да здравствует Троцкий – вождь Красной Армии!
Смело мы в бой пойдем за власть Советов...

Сторонники цекистского большинства старались заглушить песню шумом и криками. Расталкивая толпу, они пробирались поближе к дому, свистели, кричали и пытались унять поющих, но те не умолкали. Хорошо отрепетированный заранее хор пел нарочито громко, и песня перекрывала и шум, и свист, и негодующие крики.

А как только кончилась песня, на плечи товарищей взгромоздился один из студентов и, отчаянно жестикулируя, начал всеперекрывающим басом декламировать отрывки из «Комсомолии» Александра Безыменского:

– Ленин и Троцкий! Ленин и Троцкий!
Сколько вместилось в вас наций и стран!
Я несмышленыш, но я – заводский,
мы

языки
одного костра...

Парню продолжать не пришлось. Противники антисталинской демонстрации стащили его на землю, дали тумаков. На помощь побитому немедленно кинулись товарищи. Началась свалка. А портрет все висел на недосягаемой высоте. Над ним, на пятом этаже, в проемах открытых окон стояли люди. Среди них Саша узнал знакомого ему по фотографиям видного деятеля троцкистской оппозиции Николая Ивановича Муралова, того самого, знаменитого когда-то солдата Муралова, которого Московский Военно-революционный комитет назначил 4 ноября 1917 года, взамен смещенного командующего Московским военным округом полковника Рябцева, на должность комиссара с правами командующего. Выжидающая и далекая от революции интеллигенция, оглушенная происходящими событиями, говорила тогда не о Муралове, а о Рябцеве, но когда через несколько дней в газетах был опубликован «Приказ по военному ведомству № 10 от 14 ноября 1917 года», подписанный Лениным, Подвойским, Бонч-Бруевичем и другими, в силу которого «солдат Муралов» утверждался в должности командующего войсками Московского военного округа, то сразу нашлись зубоскалы, и по Москве пошло гулять ехидное двустишие:

«Нам не надо генералов,
У нас есть солдат Муралов!»

Эпиграмма появилась на свет, когда Саше шел седьмой год, но она навсегда врезалась в его детскую память и время от времени неожиданно вспоминалась. Узнав, таким образом, о существовании солдата Муралова еще в раннем детстве, Саша, однако, никогда его не видал и теперь с любопытством рассматривал крупно сложенного человека с бородой и усами, стоящего над вознесенным в высоту портретом Троцкого.

Муралов пытался, по-видимому, произнести речь. Он обращался к народу, жестикулировал и что-то говорил в поданный ему самодельный рупор, но из-за шума и криков ни одного слова слышно не было.

Любознательному Саше удалось пробиться поближе, и он хорошо видел происходящее. Он видел, но не знал, как нужно ко всему этому отнестись. Кто тут прав, кто виноват? Сторонники оппозиции оставались в явном меньшинстве, но их упорство сбивало с толку. Впрочем, долго рассуждать не пришлось. Кто-то незнакомый тронул Сашу за плечо:

– Посмотри и передай дальше!.. Живо!..

Саша инстинктивно взял сунутую ему в руки листовку-рисунок и замер от неожиданности. На форматке александрийской чертежной бумаги, величиной в раскрытую ученическую тетрадь, красовалась тщательно нарисованная от руки и раскрашенная акварельными красками выразительная картинка. Тюремная, а может быть и крепостная, сложенная из крупного серого камня стена с окном под решеткой. За решеткой немолодая, растрепанная женщина, на ее груди четкая надпись: ВКП(б). Лицо женщины выражает ужас и отвращение, рот слегка приоткрыт, она протянула сквозь решетку обе, поднятые кверху руки; в правой – кусок развевающейся по ветру красной материи, на нем – белыми буквами: «Спасите меня!». А снаружи, у стены, в полной парадной форме, с овальной номерной бляхой на груди и полицейской кокардой на фуражке, в черной шинели с красными кантами и белыми шнурами для свистка и револьвера, царский усатый городовой, черты лица которого с фотографической точностью воспроизводят Сталина, замахивается тесаком на кричащую о помощи узницу.

Пораженный Саша не успел еще полностью осознать смысл злой карикатуры, как кто-то из рядом стоящих вырвал ее из его рук и со словами «Давай быстрей!.. Не задерживай!..» передал дальше.

Появилась милиция. С помощью добровольцев из числа демонстрантов она пыталась разогнать стоящих внизу, у фасада, и проникнуть в здание, чтобы снять портрет и «прекратить безобразие», но студенты оказали ей упорное сопротивление. Взяв друг друга за руки, они образовали живую цепь и не подпускали милиционеров к дому, оттесняя их дальше от тротуара и отвечая на призывы разойтись пением «Интернационала» и общей свалкой. Некоторое время блюстители порядка не могли ничего сделать, но потом им на помощь пришел конный милицейский отряд. Гарцуя на откормленных, широкогрудых гнедых лошадях, всадники врезались в плохо организованную и ничем не вооруженную толпу демонстрантов. Наступая на людей, толкая и давя их лошадьми, они быстро отжали студентов от Дома Советов, разрезали их скопление на маленькие группки и, окружив, погнали вдоль по Воздвиженке к Ваганьковскому и Шереметьевскому переулкам, переименованным год назад в улицу Маркса и Энгельса и улицу Грановского, но до сих пор именуемым по-старому. Загнав оппозиционеров в переулки, конники рассеяли заодно и колонну студентов Московского университета, шедшую на соединение с демонстрирующими возле портрета.

Место, очищенное конным отрядом, пустым не осталось. Оно сразу же заполнилось новыми людьми, но эти уже не мешали властям действовать по их усмотрению. Милиционеры тут же ринулись к дверям дома, чтобы ворваться в помещение и снять портрет, но запертые и забаррикадированные изнутри двери оказались достаточно крепкими. Попытка выломать их не увенчалась успехом.

Прошло еще сколько-то времени, и в толпу, отчаянно гудя и упорно продвигаясь вперед, вклинились две новенькие пожарные машины – гордость Московской пожарной команды, недавно изготовленные по специальному заказу СССР в германском городе Карлсруэ и оборудованные автоматическими лестницами системы «Метц». Только что полученные из-за границы, они еще не успели побывать на пожарах и впервые использовались здесь, у приемной «всесоюзного старосты». Подъехав к дому, машины на ходу развернулись и встали напротив портрета. Лестницы их приподнялись и быстро поползли вверх, а по ним сразу же, не теряя времени, полезли, сверкая медными касками, пожарные-бойцы.

Среди людей, стоящих над портретом, началась сумятица, и минуту спустя в руках Муралова появилась щетка для подметания пола. Высовываясь из окна, он орудовал ею как пикой, пытаясь отбиться от пожарных и помешать им снять растянутое на фасаде полотнище. Еще две такие же щетки появились и в окнах третьего этажа. Завязалась ожесточенная битва, но силы противников были неравными. Молодые и здоровые ребята – пожарные, пристегиваясь поясами к ступенькам лестниц, довольно легко вырвали щетки из рук пятидесятилетнего Муралова и других, тоже немолодых защитников портрета, стоявших без всякой опоры в открытых окнах высокого дома. Перерубив затем крепящие портрет веревки, пожарные сбросили его вниз, прямо на головы оцепивших здание милиционеров.

Порядок восстановился.

Смятые и перепутанные колонны построились вновь, и демонстрация пошла своим путем. Двигаясь в ее рядах, все еще возбужденный и потрясенный увиденным, Саша залюбовался перед поворотом на Красную площадь хорошо видной издалека яркой представительницей «московского барокко» красавицей-церковью Параскевы Пятницы в Охотном ряду. Ее уникальный фасад конца XVII века, в меру украшенный резьбой по белому камню и поливными многоцветными изразцами, четко вырисовывался на ясном небе Москвы. Разглядывая древнюю пятиглавую церковь с немного возвышающейся над ней колокольней, Саша не сразу заметил, что возле гостиницы «Националь», на углу Моховой и Тверской,

оставались еще вполне ощутимые следы подавленной троцкистской демонстрации.

– Гляди, гляди! Тут тоже было!.. – сказал ему один из соседей по ряду, и Саша увидел конных милиционеров внизу, разбитые стекла окон на широком балконе вверху, обрывки длинного плаката «Да здравствуют вожди мировой революции Зиновьев и Троцкий!», обломки кирпича и какой-то неубранный сор на тротуаре. Саша хотел посмотреть повнимательней, но не успел: колонны шли быстро, а их к тому же еще подгоняли особые организаторы с красными повязками на рукавах:

– Быстрей, быстрей, товарищи, быстрей!.. Не задерживайтесь!.. – и люди ускоряли и без того быстрые шаги.

Немного спустя из малюсеньких заметок в газетах и карикатуры в журнале «Крокодил» Саша узнал, что с балкона гостиницы «Националь» выступали в тот день Смилга, Преображенский и Альский, что рабочие забросали их гнилыми яблоками и рваными калошами, и что спешно вызванному с Красной площади кавалерийскому эскадрону пришлось спасать не знающих куда деться оппозиционеров от гнева рассвирепевших участников демонстрации.

Саша верил и не верил прочитанному. Обломки кирпичей, припасенных для ремонта соседних зданий, и вывороченные из мостовой булыги – это он видел, но откуда взялись гнилые яблоки и рваные калоши?! На демонстрацию в рваных калошах не ходят. Яблоки же... да еще – гнилые!.. Совершенно явная выдумка! А разве можно выдумывать, сообщая о фактах в печати?!

И снова задумался Саша:

– Как же может происходить такое в среде людей, цели которых должны быть едины? Кто из них прав? И в чем у них суть разногласий?

IV

Саша не знал, как ответить на эти вопросы. Он колебался. Свет его путеводной звезды расплывался, двоился. Он не знал, за кем надо идти.

И, мучительно страдая от отсутствия ясности, жадно накидывался на все, что удавалось достать и прочесть. Он читал о Термидоре и опасностях перерождения, о национальном вопросе и сущности консерватизма, о пяти укладах деревенской жизни и об Устрялове, о партийном режиме и недопустимости фракций, о партийной демократии и дисциплине. Он читал, и спрашивал, и спорил с товарищами, думая, что в споре рождается истина; он пытался доставать неопубликованные материалы и знакомиться с доводами обеих сторон. Последнее иногда удавалось. Один из ребят достал ему где-то статьи Устрялова «У окна вагона», «Две реакции», «Национал-большевизм», «Собор XX века», другой – напечатанное на ротаторе «Политическое завещание Ленина», третий – брошюру, озаглавленную «Дм. Фурманов. Путь борьбы», под ничем не примечательной обложкой которой скрывалась «платформа оппозиции».

Прочитанные материалы произвели на Моргунова оглушающее впечатление. Правда, он сумел, как ему представлялось, разглядеть в устряловских мыслях обыкновенное, но только по-умному высказанное, «мелкобуржуазное нытье» и «неверие в творческие силы рабочего класса и трудового крестьянства», о которых так часто писали газеты; вынес он, как ему показалось, собственное мнение и о «платформе», оценив ее как «недобросовестный тактический маневр и клевету на руководство ЦК», но не поверить ленинским словам он не мог. Саша почти что уверился, что в партии действительно установился неправильный режим и что Сталина надо как можно скорее заменить на посту генерального секретаря «кем-нибудь другим, не имеющим сталинских недостатков».

Это мнение, поначалу еще очень неясное и неустойчивое, окрепло, когда 2 ноября 1927 года газеты опубликовали обращение ЦК ВКП(б), в котором всем

парторганизациям предлагалось не допускать созыва оппозиционных собраний, а в случае, если они соберутся, распускать их силой. «Что же это за партдемократия, – мысленно возмущался Саша, – если партийная оппозиция не может обсуждать свои проблемы внутри себя».

Прошло еще три дня, и новые переживания свалились на Сашу: 14 ноября, то есть за несколько дней до открытия XV съезда ВКП(б), объединенное собрание ЦК и ЦКК исключило Троцкого и Зиновьева из рядов партии.

– Это сделано для того, чтобы не дать им выступить на съезде, – решил Моргунов. – Это недемократично, неправильно! Это сделано под влиянием Сталина. Его надо скорее сменить!

Во время предсъездовской партийной дискуссии 1927 года Моргунову было 16 лет, и он так и не смог разобраться в истинных причинах партийного спора. «Кто же, в конце концов, прав? Можно ли, на самом деле, построить социализм в одной, отдельно взятой стране? Чем доказана ошибочность теории перманентной революции? Почему Каменев и Зиновьев, которые когда-то активно громили Троцкого, выступают теперь вместе с ним? Почему оппозиция именует себя группой большевиков-ленинцев?»

Он попробовал обратиться за разъяснением к отцу, но тот, всегда очень внимательный ко всем задаваемым сыном вопросам, неожиданно рассердился:

– Не суй-ка ты, Сашенька, нос не в свое дело! Мир прекрасно управляется и без твоего участия. До сих пор без тебя обходились, как-нибудь обойдутся и дальше. Иди лучше алгебру учить, а то перманентной революцией интересуешься, а показательные уравнения решать не умеешь... политик тоже нашелся... Бисмарк!

– Как не умею?! Умею решать... – начал было возражать Саша, но, посмотрев на отца, оборвал на полуслове и ушел в совершенной растерянности. «Почему папа не понимает, как для меня это важно? Ведь это не простое любопытство, мне обязательно надо понять, на чьей стороне в данном случае правда. Партия ошибаться не может. В ее руках судьбы народов».

В этот день Моргунов заниматься не стал. «К черту эту алгебру и ее показательные уравнения. К черту пешеходов, выходящих навстречу друг другу из пунктов А и Б. К черту трубы, по которым течет и вытекает вода из какого-то воображаемого бассейна. Может ли победить социализм в одной, отдельно взятой капиталистической стране, или же действительно подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы? Вот в чем вопрос! Вот что надо решать!» И возбужденный, взбудораженный Саша провел почти целую ночь за чтением напечатанных в «Правде» предсъездовских дискуссионных листков.

Его усилия, однако, успехом не увенчались. Беспокойная ноябрьская ночь оказалась бесплодной. Урок по алгебре остался неприготовленным, место встречи пешеходов, вышедших из пунктов А и Б навстречу друг другу, – невыясненным, время, в течение которого наполнился бассейн, – неопределенным, но хуже всего было то, что Саша не смог решить основную задачу, не смог ответить себе на вопрос о строительстве социализма в одной стране. Утром он пришел к школу сердитый, хмурый, и во время всех пяти перемен не произнес ни слова.

Ребята подходили к нему, собирались у его парты, волновались и спорили, кричали и ругались, они обращались и к нему – постоянному вожаку и заводиле таких разговоров, они требовали, чтобы он высказал свое мнение, но Саша молчал и не двигался с места.

Что он мог сказать им, этим ребятам? Что он запутался и, может быть, в первый раз в своей маленькой жизни, не имеет по этим вопросам собственного мнения? Или, может быть, из ложного самолюбия скрыть этот факт, объявить себя приверженцем одной из сторон, все равно какой – ведь он не знает, кто из

них прав! – и с искусственным пафосом и апломбом начать защищать ее точку зрения?.. Нет, так не годится! Он слишком честен для этого, он так не может...

И Саша – молчал.

А когда дискуссия в партии подошла к концу, ее результаты не могли уже вызвать, по мнению Саши, никаких кривотолков. За политику ЦК проголосовало 724 тысячи членов партии, за блок троцкистов и зиновьевцев – 4 тысячи.

И, наконец, все сомнения Саши решил XV съезд: он вконец разгромил оппозицию и объявил принадлежность к ней и пропаганду ее взглядов несовместимыми с пребыванием в рядах ВКП(б).

Съезд пошел еще дальше. Констатировав двукратное нарушение оппозиционерами их торжественных обещаний об отказе от фракционности, он исключил из партии семьдесят пять активных деятелей троцкистской оппозиции и двадцать трех человек антиреволюционной, по определению съезда, группы Сапронова.

Съезд поручил ЦК и ЦКК принять все меры идейного воздействия на рядовых членов троцкистской оппозиции с целью их убеждения и одновременно очистить партию от всех явно неисправимых элементов.

И эти решения съезда принесли Моргунову желанное успокоение. «Съезд решил! Значит – так и должно быть! Значит – оппозиция была неправа». Путеводная звезда снова зажглась на небе. Путь снова стал ясным. Съезд решил, и страна – Саша в это искренно верил – могла идти без всяких помех, дальше, вперед, по пути социалистической индустриализации и коллективизации, по пути строительства социализма в одной, отдельно взятой стране.

V

Саше казалось, что его чувства должны разделять все без исключения. «А как же иначе, – думал он. – Ведь съезд ответил на все вопросы; нерешенных задач теперь не осталось, и все оппозиционеры сразу поймут и признают генеральную линию партии. Другого пути у них нет. Либо с партией и, значит, со Сталиным, за революцию, за социализм, либо... против! Против – всего? Но против всего они быть не могут. Они же как-никак коммунисты!»

Несколько дней наслаждался Саша покоем и счастьем, а потом пришла к ним в конце декабря в гости Катя Поморцева – Сашина двоюродная сестра, молодая, изящная, умная женщина, и рассказала такое, что у Саши вмиг улетучилась его благостная умиротворенность.

Несмотря на молодость – ей недавно исполнилось двадцать три года – Катя успела окончить московский университет и теперь занималась в РАНИОНе, готовясь к научной деятельности в области экономики мирового хозяйства. Она много работала, упорно изучала немецкий язык, была членом бюро партячейки своего института и уже опубликовала две серьезных статьи о влиянии плана Дауэса на экономическое развитие послевоенной Германии. Саша смотрел на нее снизу вверх, был в нее тайно влюблен и почитал непререкаемой истиной все, что она говорила,

Обычно присутствие Кати вносило в их дом струю бодрости и оживления. Катя спорила логично и убедительно, умела понимать тонкую шутку, ценила остроумие и очень удачно шутила сама, совершенно не лазя за словом в карман, и всем становилось интересно и весело. Но сегодня Катя казалась какой-то пришибленной.

– Здравствуйте, тетя! – вяло сказала она Сашиной маме, входя в переднюю. – Можно к вам?.. Примете?.. Я ведь просто так, на огонек!.. Проходила мимо, увидела свет...

– Ты оправдываешься, что ли? Заходи, заходи, всегда рады будем! – ответила Анна Андреевна.

Катя сняла пальто, шляпку, калоши, молча прошла в комнату, без всякого подъема поздоровалась с присутствующими и села к столу.

– Что-то ты не в себе?.. Что с тобой приключилось? – спросила Анна Андреевна, наливая Кате стакан чая. – Тебе как, покрепче?

– Давайте покрепче!.. Мне все равно!

– Почему все равно?.. Что с тобой, Катя?

– Так!.. Ничего!..

– Что значит – так? «Так на свете не живет!»

Катя ничего не ответила, пригубила стакан и чуть-чуть отодвинула от себя.

– Да, – сказала она, покачав головой. – Именно – так!

– А все-таки как? – спросил Саша. – Ведь мама права. Ты на себя не похожа!

В комнату вошел Сашин отец.

– А, Катюша! Здравствуй, родная!

– Здравствуй, дядя Сережа.

Катя поднялась с места и поцеловала дядю в щеку.

– Как поживаешь, Катюша? Что дома?.. Мама что делает?

– Не знаю. Я дома с утра не была.

– Даже?! А где ж ты гуляла, позвольте спросить?

– В институте была... на бюро...

– На бюро?.. Интересно!..

Катя вздохнула и, пододвинув к себе стакан, отпила несколько глотков. Все ждали, что она что-нибудь скажет, но Катя молчала, и безмолвие с каждой секундой становилось все тягостней.

– Ладно, Катюша, молчи!.. Раз нельзя, не рассказывай!.. – сказал Сергей Александрович.

– Да нет, дядя Сережа, дело не в том, что нельзя... Секрета тут нет никакого... Просто... все это очень... неприятно и... тяжело!..

– Да что случилось-то?.. Я тебя за язык не тяну, но раз уж ты начала – договаривай!

Катя отпила еще несколько глотков, помолчала и, как будто ее прорвало, заговорила, явно волнуясь и спеша высказать все, что ее угнетало.

– Понимаешь, дядя, сейчас у нас было бюро. Мы рассматривали вопрос об оппозиционерах в нашей ячейке... их несколько человек, и мы их всех знаем... Начали с тех, кто во время предсъездовской дискуссии открыто голосовал за оппозицию. Съезд постановил... ты это знаешь!.. И вот – перед нами вопрос: кто они, эти люди? Кто каждый из них?.. «Рядовой член» или «явно неисправимый элемент»?.. Как решить?!. Ведь это не шутка!.. Вызвали их на бюро... Первым шел Смирнов Алексей. Он не дослушал вопроса, волновался невероятно:

– «Ребята! Товарищи!.. Я все понял!.. Я ошибался!.. Я все ночи не спал, я все думал... руки хотел на себя наложить!.. Кругом создалась пустота... Съезд вывернул меня наизнанку... Я пересмотрел всю свою жизнь, все свои взгляды... Я словно снова родился... Оставьте меня! Не исключайте!.. Я уже не троцкист!.. Я ошибался!.. Я даю торжественное обещание, что буду бороться с троцкизмом всеми силами моего ума, всем своим интеллектом, всей своей жизнью... Только оставьте!..»

Мы посоветовались между собой. Директива райкома – дров не ломать!.. Решили – оставить. Учитывая в прошлом не очень активную роль – записали выговор в личное дело. Лешка выскочил как сумасшедший, счастливый, довольный, а у меня – неприятный осадок: «Как это так?!. Переродился за несколько дней!.. По-моему, так не бывает... Впрочем, точно не знаю»... И промолчала... пусть его! Жизнь покажет!..

– Ну, а потом? Ведь это, вероятно, не все? – прервал длинную паузу Сергей Александрович.

– Да, дядя Сережа, не все!.. Очень жаль, но... не все!..

Катя долго молчала.

– А потом, – решительно заговорила она вновь. – А потом вызвали Кучина. Он – участник гражданской войны, умный, способный, упорный. Член партии с семнадцатого года... Вошел. Спокойный – как камень... Подошел к столу:

– «Я вас слушаю».

– «Вот что, Дмитрий Иванович, – говорит ему секретарь. – Лишних слов нам с тобой тратить не надо... Сам понимаешь!.. Мы тебя знаем давно и прекрасно... И стаж твой партийный, и заслуги твои на гражданской войне, и любили тебя, как товарища... все это верно!.. Но все это – в прошлом!.. А теперь ты нам скажи: каковы твои взгляды теперь, после съезда? Ведь решения съезда известны тебе? Что же ты думаешь?..»

Митька чуть-чуть посуровел. Ответил не сразу, но – совершенно спокойно.

– «Вы меня не поймете, товарищи!.. А я не хочу – не могу! – говорить здесь иначе, чем думаю... Я считаю, что съезд был неправ. Съезд поплелся в хвосте у Сталина, и результаты голосования на нем, если только они вообще не подтасованы, объясняются с одной стороны позорной беспринципностью его участников, шкурническим страхом одних за собственное благополучие, за сохранность своих привилегий и теплых местечек, а с другой стороны – полным неразумием и безответной покорностью тех, кто пока еще не научился мыслить самостоятельно. Лев Давидович Троцкий не зря говорил, что Сталин превратил партию в голосующее стадо»...

– «Молчать! – закричал секретарь. – Как ты смеешь говорить здесь такие слова?! Положи партбилет на стол, сволочь, слышишь?!.»

– «Не вы мне его дали, не вы и возьмете!» – ответил Кучин и пошел к двери.

За ним бросились, схватили, он молча отчаянно сопротивлялся, но его осилили, свалили на пол и обыскали; партбилета при нем не оказалось. Улучив момент, Митька выскочил за дверь и исчез.

– Смелый парень! – сказал Сашин отец. – Настоящий герой! Но, практически говоря, его поведение – это, так сказать, безрассудство...

– Какое там безрассудство?!. Самопожертвование! – хмуро ответила Катя.

– Да-а!.. Ну, и что же вы с ним сделали?

– Что?! – хмыкнула Катя. – Разумеется... исключили!.. Заочно!..

– Даже заочно?!. И конечно – единогласно?! И ты – тоже голосовала «за»?

– А я что?.. Святая?!. Заплакала и – проголосовала!..

Саша с нескрываемым недоумением глядел на Катю.

– О чем же ты плакала? – спросил он. – Этот твой Кучин пошел против партии, против высшего органа – съезда... Он оказался неисправимым!.. Вы поступили разумно и правильно... О чем же ты плакала?

– Ничего-то ты, Сашенька, не понимаешь, – вмешался отец, прежде чем Катя успела ответить. – О чем она плакала? О человеке!.. О самоотверженном, бескорыстном, сознательно жертвующим собой во имя идеи, Человеке с большой буквы... Много ли найдется таких в наш героический век? Он один-одинешенек, «один над всей вселенной!» И хотя он один, он смело идет...

– Он не один, дядя Сережа, – перебила Катя. – Вслед за ним, хоть и не так демонстративно, заявили о своем несогласии с решениями съезда еще три человека: Михаил Наумович Гольдман, Александр Коньков и мой однокашник по университету, Мулька Папирмейстер... Всех их мы исключили...

– Значит... значит, партия все еще не едина?!. – побелевшими губами прошептал Саша. – Значит, у исключенных на съезде вождей остались приверженцы?!. А в газетах писали, что они – генералы без армии!..

Никто не ответил ни слова. Засуетилась лишь Анна Андреевна:

– Хватит об этом!.. Катя, давай заменю тебе чай, твой ведь остыл... Кому налить чаю?.. Пейте, пожалуйста!.. И пирожки... Что ж вы пирожки не едите?.. Или не нравятся?..

VI

Катин рассказ взволновал Сашу необычайно. Он долго ходил под впечатлением услышанного. Мысли все время вертелись вокруг одного и того же. Саша пытался представить себе Кучина, Папирмейстера, Смирнова, думал об их поведении: «Что их толкало? Лучше сказать, что подтолкнуло Смирнова?.. А Кучин?!. Ведь надо ж суметь быть таким смельчаком!.. И смелость ли это?.. Может быть просто – одна фанаберия? Фанфаронство пустое? Хотели ребята порисоваться?!» Саша почувствовал фальшь своего предположения и поспешил исправить его жестоким вопросом: «Ну а как бы ты, ты лично, поступил на их месте?» Немного подумав, он твердо ответил: «Фальшивить не стал бы! Сделал бы так же, как Кучин. Правда, при условии, что был бы безусловно уверен в справедливости своих убеждений».

И, поняв, что к чему, он стал понемногу успокаиваться. Но спокойствие опять-таки длилось недолго.

В понедельник, 16 января 1928 года, один из школьных товарищей, с которым Саша больше дружил, чем с другими, шепнул ему, выходя из класса после окончания уроков:

– Задержись! Есть о чем поговорить!

Саша пошел тише, и, когда они остались одни, Коля сказал:

– Хочешь сегодня увидеть интересную штуку? Пойдем на Казанский вокзал. В 10 вечера поезд отходит. На нем повезут в ссылку – Троцкого!

– Троцкого?! В ссылку?! – чуть не задохнулся Саша. – Куда?

– Говорят, что в Среднюю Азию, в Алма-Ату. Железной дороги там нет, а самая ближняя станция – город Пишпек, теперь его во Фрунзе переименовали. Это километров двести, может быть – триста, по горным дорогам. Я по карте смотрел...

– А... откуда ты знаешь?..

– Раз говорю, значит верно. Пойдем, посмотрим! Я его никогда не видал. Любопытно.

– Я тоже не видел, но сегодня... уроки... задано много... все-таки, знаешь...

– Что «все-таки, знаешь?» Прямо скажи! Не хочешь – не надо. Я без тебя обойдусь. Я же тебя... просто, по дружбе, а ты, как дело, – в кусты!

– Да нет, почему?.. Я пойду...

– Ну, вот и ладно: я за тобой забегу. Часиков в семь или раньше. А то там наставят архангелов... Не пустят – и все!.. Понятно?..

– Ладно! Давай, заходи! Я постараюсь успеть...

Они разошлись.

Казанский вокзал был запружен людьми. Поезд на Фрунзе подали к перрону. В его составе – международный вагон с наглухо зашторенными окнами. Двери заперты. Изнутри – ни звука. Троцкого нет.

Толпа все растет и растет. Много милиции, но она или бессильна, или нарочно не проявляет активности. И вот появились красные флаги. Бесформенная масса людей расслоилась на плотные группы. В основном, тут одна молодежь, стариков, пожилых маловато. Возбужденные лица, неистовство, крики: «Да здравствует Троцкий!» Это уже не толпа – демонстрация! Саша стоит и дрожит от волнения. Он не знает, что делать. Уйти? Не уйдешь: он зажат, как в московском трамвае. А кроме того, любопытно, что будет дальше. Группа людей, очевидно – студентов,

настойчиво лезет к вагону, тараня народ клином плеч и локтей. Их тоже толкают, ругают, они огрызаются. И – продолжают свое. И вот они у вагона. Взбираясь один на другого, лезут на крышу. С ними какие-то палки, веревки, рулон полотна. «Что им там нужно?» – думает Саша и, как зачарованный, смотрит наверх. Проходит минута – другая. И с вагона глядит на толпу новый огромный портрет – портрет... Троцкого! Его закрепили на крыше.

Снова бурные крики. «Ура!» «Да здравствует Троцкий!» «Долой Термидор!» Слезших с вагона студентов качают. Но Троцкого нет. «Где он? Куда запропастился? Почему его не везут?.. А может, он давно уже заперт в вагоне втихую? Может быть, его посадили где-нибудь на запасных путях? До того, как вагон прицепили к составу?»

Накал страстей на перроне доходит до апогея. Вагон атакуют, но в нем по-прежнему тихо. В нем нет никого! Это вполне достоверно. «Где Лев Давидович? Где?! Куда его спрятали?!»

– Товарищи, тише! Слушайте, что говорю! Его хотят увезти по секрету, тайно от всех. Не дадим!.. Не позволим!.. Любой ценой задержать отправление поезда!.. Держитесь за ручки дверей! Лягте на рельсы!.. Любою ценой!..

Людской поток, как песчинку, уносит и Сашу и Колю вперед. Пробежали навстречу вагоны, тендер, наполненный углем до верха, паровоз, готовый тронуться в путь. – «Не упасть бы! Затопчут!» И вот уже рельсы.

– Давайте, давайте! По шпалам!.. Вперед!.. Тайком увозить не дадим!..

Отбежали метров на двести.

– Довольно! Ложись!

Саша не хочет ложиться на рельсы. То, что здесь происходит, – против его убеждений. Кроме того, очень грязно. Он боится испортить пальто. Оно новое и дорогое. Зачем ему это? Он не троцкист, он только хотел посмотреть... Из любопытства!.. И – только!

Но люди ложатся, и деться решительно некуда. Не станешь же свечкой стоять среди них. И Саша ложится на рельсовый путь.

Издали слышен свисток отправления. Громкий гудок. Поезд трогается с места и медленно едет вперед. А за ним по перрону катится груда людей, хватается за поручни, падает. Крик заглушает гудки, а поезд гудит и гудит. Кое-кто привстает: испугался – задавит.

– Лежите, лежите, не бойтесь!

Машинист тормозит, и паровоз, густо окутанный клубами пара, дрожа, словно от нетерпения, останавливается в десяти–пятнадцати метрах от лежащих на рельсах людей.

Восторженные крики скоро смолкают. Милиция перестала бездействовать. Она накидывается на демонстрантов и с помощью подоспевшего конного эскадрона вытесняет их из вокзала, сбрасывает с путей, расчищает дорогу. Демонстранты яростно сопротивляются. Начинается свалка. Организованная манифестация, перемешавшись с милицией, вновь превращается в беспорядочную толпу.

И в толпе бьют друг друга. Участники проводов Троцкого бьют милиционеров, милиционеры бьют провожающих.

Испуганные Саша и Коля забыли о любопытстве. Они бегут от дерущейся толпы, что есть сил. Перебежав через пути и, едва не попав под поезд, Саша и Коля подбегают к сплошному забору, ограждающему зону отчуждения от города. Более высокий Коля подсаживает Моргунова, потом подпрыгивает сам и, после двух неудачных попыток, цепляется за верх забора, подтягивается на руках и влезает наверх. Они сидят на заборе и смотрят вниз. Высоко! За забором канава, покрытая грязным снегом и мусором. Нехорошо, но деваться-то некуда. Сзади, кажется, кто-то бежит, и они прыгают вниз. Саша спрыгнул удачно. Коля сильно ударился, но идти все-таки может. Саша, ежась от страха, все же по-честному

поддерживает хромающего друга и провожает его до самого дома. Всю дорогу они идут молча. Увиденное их поразило, и теперь не до слов.

Проходит два дня, и Коля тихонько сообщает приятелю.

– Сашка! Ты знаешь?.. Его тогда не было. Его увезли лишь назавтра, во вторник. В два часа дня... с Ярославского... Никто ничего и не знал... Он сам не пошел. Его на руках унесли.

VII

Прошел год с небольшим. Саша усердно учился, аккуратно читал получаемые дома газеты и ревниво следил за событиями. Правильность намеченного XV съездом пути, как он каждый день убеждался, подтверждалась практикой жизни. Труднейшие социальные задачи успешно решались. Страна шла от победы к победе. Давно уже излечился Александр Сергеевич, как его теперь, слегка иронизируя, все чаще и чаще именовали, от всяких тревог и волнений за партию. Партия была едина как никогда и шла по самому правильному из всех возможных путей.

Это было вполне очевидно, и бывшие вожди оппозиции начали каяться и писать покаянные письма. Один за другим признавались они, что ошиблись, и очень просили вернуть им партбилеты. И их постепенно прощали.

Саша воспринял случившееся как свою личную победу. Теперь он стыдился вспоминать, что не смог в свое время разобраться в событиях и не знал, «за кем надо идти». Правда, он был слишком молод. «Разве мог я в то время прийти к зрелым и мудрым решениям?! Я ведь не гений! Я простой рядовой человек! Хорошо еще – не ошибся, не примкнул ни туда, ни сюда... Впрочем, нет! Это как раз очень плохо! Это – позиция болота, а в борьбе нельзя быть воздержавшимся!.. Хорошо, что все это было давно! Хорошо, что все это – в прошлом!»

Теперь Александр Сергеевич не колебался. Он принимал все, что происходило, как должное: и начавшуюся борьбу с правыми, и аресты троцкистов, и высылку Троцкого в Турцию, и возмущение тем, что он напечатал статьи в буржуазной печати, и даже то, что Сталин продолжал быть Генеральным секретарем, несмотря на рекомендацию Ленина его заменить.

Впрочем, некогда было особенно долго раздумывать. Надо было учиться и много работать для школы. Он хотел окончить ее как можно лучше, а потом поступить в Строительный институт, и поэтому, сделав уроки и выполнив все школьные задания, принимался за подготовку к экзаменам во ВТУЗ и засиживался до глубокой ночи, решая задачи из знаменитых сборников Шмулевича и Цингера.

VIII

Двадцатого ноября Моргунову исполнилось восемнадцать лет, и родители его устроили по этому поводу большой прием с чаепитием и даже тортом собственного изготовления. Сначала хотели пригласить всех на ужин, но в магазинах уже начали исчезать многие продукты, достать что-нибудь подходящее становилось все трудней и трудней, и поэтому, как следует, поразмыслив и подсчитав могущие потребоваться расходы, мать Моргунова решила, что обойдутся и так.

– Ничего, Сашенька, я подам бутерброды, пирог испеку или сделаю торт; мука у нас есть, масло тоже, сахар и сливки достанем. Все будут довольны. Как ты думаешь, детонька?

– Что ж, думаю, будет достаточно.

– Ну и прекрасно! Значит – решили!

Гостей собралось многое множество. Все поздравляли Александра Сергеевича, острили, что он теперь взрослый, большой, дарили книги, конфеты, вино, смеялись, шутили и веселились. А потом хозяйка, Сашина мама, пригласила садиться за стол. С хохотом, шумом уселись, разлили вино по стаканам и рюмкам.

Поднялся Сергей Александрович – Сашин отец.

– Дорогие товарищи! Я хочу предложить первый тост. Выпьем за Сашу. Сегодня он переходит границу, невидимо разделяющую существование советского человека на две неодинаковые части. Ему исполнилось восемнадцать лет, он достиг гражданского совершеннолетия, стал юридически взрослым, получил все права и, конечно, обязанности. В дни рождения бывает полезно окинуть ретроспективным взглядом прошедшие годы, во всяком случае – год последний; бывает полезно подвести, так сказать, хотя бы частично, итоги и наметить, куда идти дальше. Что же успел сделать Саша за этот последний, восемнадцатый год своей жизни? Я бы сказал, что он сделал много. Этот год был для него знаменательным. Он повзрослел, кругозор его явно расширился. Стала исчезать присущая детям сектантская узость воззрения. В истекшем году Саша окончил среднюю школу, окончил прекрасно. Мало того, он выдержал конкурс – большой и тяжелый! – и поступил в технический вуз. Он поступил на механический факультет инженерно-строительного института, и перед ним открыта широкая дорога к знаниям, свету, работе для пользы людей. И насколько я знаю, Саша полон желанием, выражаясь словами поэта, «сеять разумное, доброе, вечное». Не хочу скрывать свою радость: я бесконечно доволен, что из моего сына вышел не лоботряс, не бездельник, прожигающий жизнь, а серьезный и дельный человек, подающий большие надежды. Я горжусь своим сыном!.. Слышишь, Саша? Мы с мамой гордимся тобой и искренне желаем, чтобы ты не зазнался, чтобы ты и впе-ред, не сбавляя усилий, упорно работал над собой, и чтобы наши надежды – увидеть тебя инженером, творцом и мыслителем – оправдались сполна. Расти же большой и здоровый! Будь счастлив!

Все зашумели, привстали, вскочили, стали чокаться, пить.

Саша краснел и смущался, но ему было явно приятно. Гости выпили, закусили. Возник новый тост: «За родителей!» Потом – «чтоб не единую!», но вино уже кончилось... Хозяева дома собрали тарелки, вынесли в кухню, подали чай. И сразу завертелся острый разговор.

– Пир во время чумы! – помешивая ложечкой в стакане, произнес один из гостей, двоюродный брат Сашиного отца Владимир Петрович Кораблев, изысканно одетый и тщательно выбритый человек лет сорока пяти.

– Это еще почему?! Что вы хотите сказать? – немедленно вступил в разговор Александр Сергеевич.

– То, что сказал! – ответил Владимир Петрович. – Ты не согласен? По-твоему – я не прав?.. А ты погляди, что творится кругом! В партии – генеральная чистка, в советском аппарате – тоже! Перемывание чужого белья, донос и предательство становятся доблестью. Связи между людьми разрушаются. Непрерывка отменила все воскресенья и разъединила людей. В деревне крестьян загоняют в колхозы, а они так этому «рады», что в магазинах, кроме соли и спичек, ничего не осталось. Из городов выселяют лишенцев, а их нравственно совершенные дети, судя по их же бесстыдным объявлениям в газетах, «отказываются от родителей и живут самостоятельно». Под видом классовой борьбы идет наступление на народ, на его коренные права. В партии – неразбериха: левые, правые, оппозиции, фракции! Старых вождей изгоняют – во всяком случае, из руководства! На комсомол объявляют гонение!

– Дядя Володя!.. Ну что вы такое несете?! – не сдержал себя Саша.

– А что?!. В чем я не прав?!. Может быть, комсомолом довольны? Комсомол удостоился высшей награды?.. Нет, дорогой, почитай-ка сегодняшнюю «Правду»!

Ты, может быть, не забыл, что сегодня исполнилось десять лет КИМу, Коммунистическому Интернационалу молодежи. А как отмечает это событие «Правда»? Оказывается – слушай внимательно! – «работа КИМа отстает от общего темпа развития классовой борьбы». КИМ проявил, ни много, ни мало, «массобоязнь, замкнутость, неумение руководить повседневной борьбой рабочей молодежи...»

– Дядя Володя!..

– Что «дядя»? Я восемнадцать лет тебе дядя! Прав я или неправ?

– Безусловно, неправы!.. Наша страна на подъеме! Мы наступаем! Бурно и быстро! Мы идем все вперед и вперед! И истекший год был годом великого перелома...

– Mille pardons! – перебил его дядя Володя. – Вы повторяете Сталина! А это, как говорили древние римляне, argumentum baculinum!.. В таком случае – все! Спор окончен!.. Cadit quaestio!..

– Владимир Петрович! – умоляюще вмешалась Анна Андреевна. – Я прошу вас, довольно! Давайте хотя бы сегодня не говорить о политике!.. Проведем вечер мирно...

– Но, дорогая...

– Брось ты, Володька! – поддержал Анну Андреевну муж, – и охота тебе все время выкобениваться! Все-то тебе не по-твоему!.. Знаешь что? Говоря по-ученому, satis!.. Не соблазняй ты мне малых сих!.. Давай лучше о литературе поговорим... Ты наши журналы читаешь? «Новый мир», «Красную новь»? Там значительные вещи идут: «Моя жизнь» Семена Подъячева; «Петр Первый» Алексея Толстого.

– Почто ты меня с пути-дороги сбиваешь, Сережа? Я, допустим, хочу говорить об английском после, сэре Эсмонде Овии, назначенном в нашу страну, а ты мне литературу всмятку суешь...

– Брось ты паясничать, Вовка!..

– Ну, хорошо, хорошо!.. Не будем из-за этого ссориться... Значит, о Семене Подъячеве и Алексее Толстом!.. О Подъячеве что говорить?! Свой, пролетарий до мозга костей. Таких нам и надо! Впрочем – писать научился. Повесть его еще далека от конца, но, надо признать, интересно читается. Что ж!. Посмотрим, что будет! А насчет Алексея Толстого? Как его терпят?! Никак не пойму! Граф, помещик, был в эмиграции!.. Ужас!.. А ныне – Mitlaufer! Попутчик! Печатают!.. А где же, с вашего позволения, классовая борьба? Или она не для всех?!. Ну, ладно, ладно, не буду!.. «Петр Первый» его – без сомнения – вещь! Будет вещь, хочу я сказать. Пока что нам показали начало. Но, видишь ли, «Детство Никиты» и «Сестры» написаны лучше! Там писатель в своей обстановке, а тут... тут он – народа не знает...

– Неверно! – громко сказал Саша.

За столом зашумели. Завязалась словесная битва. Спорили долго, отчаянно. Подъячев, Толстой, Эренбург, Андрей Белый, Борис Пастернак, Райнер Мария Рильке, Эрих Мария Ремарк – имена так и сыпались, так и летели. Все, кем отмечен был год! Кажется, никого не забыли! Но согласия не было. Сколько голов – столько умов. Каждый думал по-своему. И только на книге Ремарка пришли к соглашению: «На западном фронте без перемен» понравилась всем. Как же – первая книга о мировой войне, написанная немцем, и к тому же о времени, когда ему исполнилось столько же лет, сколько сегодня исполнилось Саше. «Как, Сашенька, можно сравнить?»

Вечер пролетел незаметно.

А когда гости разошлись, Александр Сергеевич пошел провожать домой Катю Поморцеву. За последние годы он очень с ней подружился и поверял ей свои тайны. Катя умела молчать и никогда не разбалтывала доверенных ей секретов.

Она так внимательно слушала Сашу, так хорошо и правильно, иногда с полуслова, понимала его мысли и чувства, что у него невольно появлялось желание пооткровенничать и рассказать ей о самых своих сокровенных – мечтах и надеждах.

IX

Они медленно шли по плохо освещенным, безлюдным в это позднее время улицам и тихо разговаривали.

– Ну вот, Сашок, – сказала Катя, – ты теперь взрослый, учишься в вузе; пройдет несколько лет, и ты станешь инженером-строителем, и жизнь, перед тобой, как открытая книга, которую надо прочесть... Ах, какое золотое время! Я тебе даже немножко завидую!.. Знаешь, Сашенька, дядя Сережа сегодня сказал о твоих успехах на жизненном поприще, а мне интересно знать, каков твой действительный внутренний мир?.. Наша жизнь безмерно сложна... Ну, а ты?.. Согласен ты «сеять на ниву народную»?..

Моргунов немного подумал.

– Да, вопрос непростой. Я не уверен – смогу ли ответить по существу... Я ведь не думал над этим... Папа сегодня цитировал Некрасова. В общем, я с ним, конечно, согласен, но это в общем, а в частностях... Видишь ли, Катя, между мною и папой громадная разница. Я – марксист... то есть я хочу сказать, что изучаю марксизм и пока что согласен с ним на сто процентов, а для папы, хоть он и смыслит в марксизме не меньше меня, высшим откровением человеческого ума до сих пор остаются «Исторические письма» Лаврова. Для папы прогресс – это развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношениях, это воплощение в общественных формах истины и справедливости, а для меня прогресс – это прежде всего поступательное движение всего человечества к все более и более высоким формам существования...

– Всего человечества?! – прервала его Катя. – А где же классы, «марксист»?!

– И классы, и борьба между ними – на месте! – парировал Александр Сергеевич. – Развитие производительных сил, рост производительности общественного труда изменят формы управления, усовершенствуют их, а совершенные формы, сиречь коммунизм, вызовут могучий расцвет искусства, культуры, науки и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, а не только развитие личности, и есть всесторонний процесс. Папа этого не понимает, и в этом он ошибается. Ну, а что касается прочего – кругозора, узости взглядов, – мне кажется, папа был прав. Мой кругозор стал действительно шире, а умственный облик – сложнее. Я это сам ощущаю... Поверь, я не хвастаюсь!.. Во-первых, я много узнал, во-вторых, научился критически мыслить и чувствую, как исчезает... как бы это получше назвать... слепое доверие – что ли? – к любому печатному слову... Кроме того, появилась ясность в отдельных понятиях... Совсем ведь недавно я путал законность с закономерностью, равенство с равноправием, общественно-необходимый труд с трудом вообще, трудовую стоимость с ценой производства и... – ты не будешь смеяться?.. – платоническую любовь с естественным влечением к женщине... Я тебя не шокирую?..

– Нет, – серьезно ответила Катя. – Я слушаю очень внимательно. Мне все интересно! И любовь в том числе.

– Нет уж!.. Давай о любви когда-нибудь позже. Это, вероятно, извечный, но всегда остающийся важным вопрос... Я хочу рассказать о другом... Мои интересы многообразны, но пожалуй что больше всего остального меня интересует – политика! Совсем-совсем недавно я просто по-детски верил в непогрешимость партийного руководства. А теперь, после прошедшей внутрипартийной борьбы, я стал понимать – понимать, а не верить! – почему и зачем принимается то или

иное решение. Я вижу, что путь, намеченный партией, действительно ведет советский народ в «солнечный край непочатый», край, отрезанный от широких трудящихся масс веками угнетения и капиталистической эксплуатации, «горами горя» и «морем мора»... Я не очень наивен? Как ты думаешь, Катя?

– Нет, не очень, – ответила Катя. – Продолжай, Сашок, продолжай! Я тебя слушаю.

– Да! Значит, так... Раньше я, откровенно сказать, трепетал и качался... Я не мог сориентироваться в вихре противоречивых влияний. Разногласия в партии меня угнетали... А теперь – все это кончилось. И когда я три дня назад, семнадцатого ноября, узнал, что Бухарин, тот самый Бухарин, которого я так уважал и по книгам которого изучал и азбуку коммунизма, и теорию исторического материализма, и политическую экономию рантье, – что этот Бухарин как застрельщик и руководитель правых уклонистов выведен из состава Политбюро, – я не лишился душевного равновесия... Мне кажется, я правильно понял: уклоны в партии отражают классовую борьбу в стране. Именно в результате нее усиливается правая опасность – возникают попытки оживить троцкистскую идеологию. Пленум ЦК назвал правую опасность «откровенно оппортунистической». Мне кажется, это правильно. И все это в наших условиях вполне закономерно. Так и должно быть... И – знаешь? – я внутренне, сам для себя, одобрил своевременность мер, принятых против уклонистов... А Бухарина все-таки очень жалел. Ты не читала, что говорил о нем Ленин?..

– Что ты имеешь в виду? – спросила Катя чуть-чуть настороженно.

– Это, к сожалению, не опубликовано!.. Но... знаешь, я... я прочел в «Политическом завещании»... случайно попало... Ленин сказал, что Бухарин законно считается любимцем всей партии, что он ценнейший и крупнейший теоретик, хотя в нем и есть что-то схоластическое...

– И что его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, – улыбаясь, заметила Катя.

– Так ты, значит, тоже читала? – обрадовался Моргунов. – Что ж ты...

– Тише! – ласково зажала ему рот Катя. – Что ты кричишь?..

– Чего ты?.. Кругом – ни души!

– Все равно! Надо быть осторожней!.. У стен тоже уши бывают! Продолжай, продолжай, Сашок! Говори! Мне очень интересно послушать тебя... «Я слышу речь не мальчика, но мужа».

– Борис Годунов! Слова Марины Мнишек!..

– Люблю образованных людей, – с легкой иронией произнесла Катя. – Но ты продолжай!.. Итак, ты одобрил репрессии против Бухарина...

– Да... Я, думаю, – иначе было нельзя!.. Я пришел к этому выводу, тщательно взвесив все pro и contra... Но... видишь ли, Катя, – я с тобою вполне откровенен! – скажу тебе правду: внутри меня – червячок! Червь сомнений... Нет, нет, по другому вопросу... Я прочел черт знает сколько книг... Читал я и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина, и Плеханова. И мне кажется, что в некоторых вопросах между духом марксизма и практикой нынешней партийной жизни обозначилось явное противоречие. Как, скажи мне, пожалуйста, согласовать взгляды марксистов на роль личности в истории с все растущим возвеличиванием личности Сталина? Я понимаю, конечно, что Сталин – генсек, и на этом посту может стать, а может быть, даже уже и стал, великой общественной силой. Это – может быть! И в принципе этот процесс согласуется с марксистским учением, но ведь марксизм утверждает и то, что не вожди делают историю, а история выдвигает вождей, что личные особенности руководителей, их воля и таланты могут определять собой только индивидуальную физиономию исторических событий и некоторые частные последствия их. Марксизм признает, что случайность тоже играет какую-то роль в ходе подобных событий, но вместе с тем

утверждает, что направление исторического процесса определяется в последнем счете так называемыми общими причинами, то есть развитием производительных сил и взаимными отношениями людей в общественно-экономическом процессе производства. Правильно я говорю?

– Допустим, что правильно. Что же из этого следует?

– А следует то, что во время всех великих исторических событий вожди для них tant bien que mal, как сказал Плеханов, всегда находились. И именно события выдвигали вождей, а не вожди создавали события. Значит, если бы не было Сталина, личные особенности которого, кстати говоря, как засвидетельствовал Ленин, весьма далеки от совершенства, то на его место выдвинулся бы кто-то другой – может быть, более умный, более терпимый, более вежливый, более внимательный к товарищам, менее капризный, но не менее способный? Значит, если бы не было Сталина – советская страна все равно существовала бы и шла по пути социалистического строительства? А если это так – а ведь это действительно так! – то высокая оценка личности Сталина, которая дается ей в последнее время в нашей стране, – это, в лучшем случае, «некоторый оптический обман», а в худшем, – может и такое случиться! – результат недобросовестности каких-то зависящих от него и отчаянно лезущих наверх карьеристов?..

– Я не пойму тебя, Саша. Ты спрашиваешь или утверждаешь? Сам-то ты убежден в чем-нибудь или нет?

– Я?.. Пожалуй, что, нет... Я не могу сформулировать четкий и точный ответ... Если честно сказать, я... сомневаюсь!.. Помоги мне, Катюша!

– Милый-милый Сашок!.. Ну, как я тебе помогу?.. Я могу посоветовать только... Не думай об этом, а то ты совсем заучился... Жизнь сама разрешит все вопросы... А пока что – давай расставаться, родной, ведь мы уже дома.

Моргунов пожал протянутую руку, а затем, неожиданно для самого себя, стремительным рывком притянул Катю к себе и, обняв, крепко поцеловал в губы. Она не сопротивлялась, даже прильнула к нему, и закрыла глаза, но на поцелуй не ответила.

– Глупыш! Ух, какой ты глупыш!.. – проговорила Катя, освобождаясь из его объятий, и, приветственно взмахнув рукой, юркнула в подъезд.

X

Моргунов сомневался в соответствии развивающегося в стране возвеличивания Сталина заветам Маркса и Ленина, но это не мешало ему всей душой поддерживать политику советской власти. В характеристике, выданной ему райкомом комсомола, которая казалась Моргунову справедливой и непреувеличенной, было написано, что «Александр Сергеевич Моргунов, 1911 года рождения, зарекомендовал себя как дисциплинированный, активный и преданный делу участник социалистического строительства, беспрекословно и аккуратно выполняющий все возложенные на него нагрузки». И, действительно, Моргунов не только никогда не отлынивал от общественной работы, но, казалось, искал ее сам, и, найдя, отдавался ей всей душой. Но работа давала не только удовлетворение. Бывало, что столкновения с реальной действительностью действовали как землетрясение и перевертывали в нем все его существо. Именно так и произошло в январе 1930 года, когда Саша, прочтя в газетах речь Сталина, Постановление ЦК и статьи о совершаемом партией «крутом повороте от политики ограничения кулачества к политике его ликвидации как класса на базе сплошной коллективизации», счел себя морально обязанным «включиться в великое дело». Не представляя себе практических мер, которыми будет осуществляться этот крутой поворот, Саша послушался зова сердца, пошел в райком комсомола и напросился: «Пошлите в деревню!»

Сначала ему отказали: «Куда тебе, парень! Там нужно знаешь каких!.. А ты?!. Что ты собой представляешь?!. И в деревне-то не жил!.. Не подойдешь!..» Но потом согласились. Людей не хватало. И Сашу послали:

– Ты как будто просился?.. Не передумал еще?.. Давай езжай!

Его включили в бригаду, проинструктировали, под каким неприметным обличием скрываются иногда кулаки и их холуи – подкулачники.

– Кулак не обязательно в сапогах и новой фуражке, – говорил им инструктор на специальном закрытом собрании, – не обязательно в жилетке и с цепочкой из чистого золота поперек живота, не обязательно – толстый! Надо глядеть не на обличье, а в корень! Поняли?.. В корень! Классовый враг, он – того!..

И пошли бесконечные штампы: «Маскировка... Противодействие... Надо уметь отличать... Беспощадно!.. Последний оплот!.. Время не терпит!.. Классовый враг должен быть уничтожен... как класс!.. Сам Сталин!.. Понятно?.. Сам Сталин!..»

Саша слушал внимательно. И постарался запомнить. Говоря откровенно, он опять не смог разобраться в происходящих событиях. Совсем ведь недавно, в день двенадцатой годовщины Октября, в «Правде» была напечатана статья товарища Сталина «Год великого перелома». И в ней черным по белому сказано:

«Партии удалось повернуть основные массы крестьянства от старого капиталистического пути к новому социалистическому... в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами...»

Идут добровольно, с охотой, с красными флагами, с песнями. В этом Саша был убежден абсолютно. А убеждение рождало сомнение: «Зачем же еще нажимать, вовлекать, раскулачивать?!. Для ускорения, что ли?! Но ведь Ленин когда-то сказал: «Чрезмерная торопливость в этом деле вредна». Значит, надо пока продолжать то, что делали раньше – воспитывать массы и подводить постепенно к колхозам. Раз в колхозы идут округа и районы, раз в колхозы пошел середняк – значит, сделано дело, значит – все на мази, путь проверен, открыт, только двигайся, только иди!»

– Не понимаю, но позже – пойму! Значит, так нужно! – решил Моргунов.

А позже, в деревне, пошли беспокойные дни и бессонные ночи. В этом селе середняк на колхозное счастье смотрел исподлобья, колхоза чурался.

Видимо, области, где округа и районы охотно вступали в колхозы всей массой, находились не здесь и не близко. В здешних местах все пребывало в зачатке. Тут надо было работать. И – крепко!

Начали дело с собрания. С докладом о колхозном строительстве и организации в этом селе колхоза «Путь к коммунизму» выступил руководитель рабочей бригады. Говорил он долго, казалось – понятно, доходчиво. Толка, однако, не вышло. Записалась одна беднота безлошадная. Середняки же, все как один, дали тягу с собрания.

– Что делать?!.

Решили пойти по домам, провести агитацию в избах:

– Вы чего, несмышленыши? От коммунизма, от светлого будущего всего человечества драпать решили? Нешто так можно? Колхоз – это счастье!.. Вступайте скорее! Там будут и тракторы, и молотилки, конный двор и колхозная ферма. Кто больше сработает – больше получит. Полный учет... трудодни... изобилие... Ленин и Сталин сказали...

Мужики отвечать не спешили. Задавали вопросы.

– Это, значится, когда?.. А лошаденку пока что – отдай?..

Бабы легко свирепели, орали, ругались:

– Я всю жизнь, с детских лет, спину гну, надрываюсь. Не допьешь, не доешь, каждый кусок сосчитаешь – в хозяйство! Только на ноги стали, и – вдруг тебе! –

лошадь отдай! Пашите на ней, мол, сообща... Не позволю!.. И Буренку свою не отдам!.. Жрать что будем?.. Дети малые, дед на печи... Не отдам!..

Урезонивать их было трудно.

Обратились опять к мужикам. Стали их потихоньку пугать: «Раскулачим!.. Вы, мол, все – подкулачники, против колхоза идете, а ежели против колхоза – против партии, значит, против власти советской! Давайте вступайте в колхоз!»

Мужики чесали затылки:

– Я-то что?!. Я готов! Да вот баба не хочет... Баба полное право имеет... потому как теперь равноправие!.. А один – не могу!.. Наше дело такое: куда иголка, туда и нитка!.. А так-то, куда же мне лезть?!.

Обошли все дома. Кое-кого поломали, но цель – сто процентов охвата! – казалась недостижимой. Между тем из райкома звонили по три раза в день, грозили, ругали; нервозность росла и росла. Нагоняи – один за другим! – заставляли дрожать, опасаться больших неприятностей. Секретарь райкома сообщил, что в помощь бригаде он посылает инструктора – оперуполномоченного ОГПУ!

Снова созвали собрание – поговорили. Не помогло. Тогда приступили к решительным действиям.

Первые меры, конечно, сводились к тому, чтобы убрать несогласных, и прежде всего кулаков. Они-де вредят, агитируют и разлагают деревню. Если бы только не кулаки, середняк с полным сердцем пошел бы. Но кулак оказался аморфным понятием, его признаки очень туманными. Например, Ивашов. Лошаденка – одна, есть корова, овца, несколько кур и утей, гнездящихся возле пруда. Работников нет, и никогда не держал. Семья – сам-восьмой! Три гектара земли... Трудовой человек, но – за ним есть грешок: скуповат, отказался от займа, и в колхоз идти – хоть убей! – не желает.

Спорили долго, решили его раскулачить. Записали – «кулак». Саша попробовал возразить, но на него закричали: «Что ты в этих вещах понимаешь, пацан?!. Больно молод еще, чтоб встревать!.. Твое дело – пиши протокол! Мы не хуже твоего разбираемся!.. Понял?!.»

Саша смутился, замолк. Записал в протокол под диктовку:

– Ивашов Иван Афанасьевич... Признать кулаком, раскулачить.

Морозов Степан Поликарпович. Вовсе бедный мужик. Долго был безлошадным, однако поправился, вылез; скоро исполнится год, как приобрел меринка. Надо думать – при помощи тестя! Тесть – мужичонка с деньгой. Кулачок. Но дело не в нем! Дело в том, что Морозов имеет характер недобрый, бирючий. Ни дать ни взять – волк из Брянского леса. В колхоз идти наотрез отказался: «У меня, товарищи, – шесть детей. Не хочу!» А за ним – и другие! Надо его раскулачить! Как подкулачника!

Саша начал опять возражать, но его не послушали.

Составили списки под грифом «секретно», скрепили печатью.

Решили действовать ночью. «Зачем днем будоражить деревню? Кроме того, тут у каждого много родни: крики, слезы начнутся... Надо потише, а то – всякое может случиться! – глядишь, воспрепятствуют: вилы у каждого есть!»

Назначили время для сбора, строго-настрого всем наказали молчать и – разошлись.

Назавтра собрались опять. В сельсовете. Пришли все до единого: бригада в полном составе, инструктор райкома, секретарь сельсовета, актив, представители воинской части и областного отдела ОГПУ, понятые, возницы телег. Сидели, курили, молчали; ждали ночи, когда стемнеет. Выходить никому не давали, чтобы случайно не разболтал, а если кто очень просился до ветру – пускали, но только – в надежном сопровождении.

Время тянулось тоскливо и медленно. Люди устали сидеть.

Наконец ночь пришла. В деревне потухли огни. Стало тихо. Немного помешкав, бригада разбилась на части и тронулась в путь. Моргунов шел в назначенной группе и волновался. Ему мерещились выстрелы, крики, ожесточенный отпор кулаков, мешающих строить социализм. «Кулаки-то, конечно, все знают, они подготовились, они достали обрезы, хранящиеся у них со времен войны, почистили их, смазали и зарядили. Сейчас у деревни они нам устроят засаду, может быть – ранят, на то и борьба! Я на это согласен. Полежу и поправлюсь. Лишь бы только остаться в живых! Умирать-то не хочется, я так молод еще... Ну, а если убьют?!.» Моргунов представил себе торжественные похороны, красное знамя, речи, портреты, а потом обелиск в середине деревни; черный гранит, короткая надпись:

«Александр Сергеевич Моргунов. 1911–1930. Пионер колхозного строительства. Пал, выполняя свой долг, от руки классового врага».

Он содрогнулся, но тут же опомнился.

– Тьфу! Размечтался, как Ромочка... Молодец Куприн: точно подметил характер. Вот что значит великий писатель!

И Моргунов сейчас же успокоился. Он уже не думал, что делает нехорошо, не сомневался и не колебался. Он верил, что все это нужно. Нужно народу как массе. И он позабыл, что народ состоит из людей, из отдельных, очень часто – несчастных, страдающих личностей.

Потихоньку добрались до края деревни, где стоял огороженный тыном плохонький дом «подкулачника». Обошли, осмотрели кругом. Двери заперты, в окнах темно. Огород, палисадник засыпаны снегом. Между крыльцом и сараем – собачья конура. «Эх, нелегкая! Ведь не учли! Непременно забрешет, разбудит весь дом!.. Что ж теперь делать?!. Не отступать же!» По команде, крадучись, пошли за ограду. На них с лаем кинулся пес, но быстро умолк, успокоенный рядом живущим соседом, входящим в бригаду в качестве понятого.

Подошли к дверям, постучали... Ни звука! Дом точно вымер. Все спят.

Постучали еще. В окна и в дверь. Настойчиво, громко.

– Кто там?

– Терентьев?.. Откройте! Есть срочное дело! Я из района приехал! – ответил инструктор райкома. Остальные молчат, притаились.

– Чего на ночь глядя?!. Какой может быть разговор?!. Завтра, с утра приходи!

– Товарищ Терентьев, откройте! До завтра нельзя. Мне надо сегодня уехать обратно... Откройте, прошу вас!

– Зачем?

– Я ж говорю – разговор! Надо срочно узнать кое-что. Я ради вас и приехал... в ваших же, можно сказать, интересах!

– Да я вас не знаю!.. Чего там случилось?!.

– Я вам тотчас же все объясню!.. Откройте!

– Нет, не открою!

Инструктор совсем растерялся: «Что делать? Как быть? Такое не предусмотрено планом».

– Акимыч, открой! Потому как инструктор приехал, – спас всю бригаду сосед, понятой. – Им хотится с тобой говорить! Ты не бойся, я тута. Я же его и привел. Открывай, не пужайся!..

– Паралик бы его расшибил! По ночам приезжать!.. И тебя с ним зараз! – говорит недовольный Акимыч, погромыхивая железной задвижкой. – Ну, входите!.. Какая у вас тут нужда?!.

Дверь открылась. Бригада врывается в дом. Впереди оперуполномоченный ОГПУ с револьвером в руках.

– Руки вверх!

Моргунов едва успевает разглядеть тщедушную фигуру классового врага. Он в белых подштанниках, темной нательной рубашке, босой, всклокоченная бородка на давно не бритом лице немного загнута вперед. Глаза, округлившись от ужаса, перебегают с места на место. Вздрагивает морщинистое лицо, грубые коричневые руки трясутся. На открытой груди, на заношенном старом шнурке, – потемневший от времени крестик.

– Господи Иисусе Христе! Спаси и помилуй!..

Через открытую наружную дверь в жарко натопленную избу врывается морозный, клубящийся воздух. Члены бригады по раскулачиванию уже у окон, взгляды суровы, все ждут чего-то ужасного, все готовы ринуться в бой за себя, за советскую власть, за правое дело социализма. Но подкулачник Терентьев и не думает сопротивляться. Он часто моргает и крестится, переступает ногами, как будто стоит на горячем, и вдруг начинает – рыдать. У Моргунова обрывается сердце, он впервые видит плачущего мужчину. А Терентьев трясется как в лихоманке. Судорожные всхлипы перекореживают все его тело. Он неестественно изгибается, подергивается, и маленькие блестящие капли одна за другой катятся по загрубелому, обветренному лицу. Соскочила с полатей и в голос завыла немолодая жена, заплакали дети, замычал лежащий у печки, видимо, не совсем здоровый теленок. Моргунов с ужасом осматривается вокруг. Он видит: в избе только горница и громадная русская печь. В переднем углу, под иконами, две простые деревянные лавки и грубый, из досок сколоченный стол. Нет ни шкафов, ни кроватей, ни стульев. На полках простые, истертые временем деревянные миски, такие же старые ложки. У печки – ухваты да ведра с водой, а слева, у стенки, – большой старомодный сундук.

Классовый враг!

Представители власти уже объявили Терентьеву, что он арестован. Его раскулачат и тут же сошлют. Имущество все конфискуют. Семья едет сразу за ним, но куда – неизвестно. С собой можно взять только носильные вещи, белье.

Терентьев трясется и плачет:

– Какие же мы кулаки?!. За что? Что я сделал?..

Ему не отвечают. Грубо ломая замки, вскрывают сундук и кладовку. Тащат какую-то обувь, дерюгу, продукты.

– За что?.. Что я сделал?..

– А ничего!.. Ты – кулак, подкулачник!.. Ты против колхоза!.. Не хочешь вступать и срываешь работу! Вот и вся недолга!..

Приступают к описи скарба. Моргунову велят сесть за стол и писать, но Саша не может. Он потрясен до того, что не владеет собой. Он сам готов разреветься. Руки трясутся. Нервная дрожь добралась и до рта. Он слышит стучащие зубы. От былой убежденности в нем не осталось ни капли. «Так вот что такое – ликвидация кулачества как класса в натуре!.. Вот что такое – коллективизация!.. Разве так предлагал кооперировать крестьянские массы Владимир Ильич?!.» И вспыхивают в памяти ярким видением знаменитые строчки. Готовясь к поездке в деревню, Саша их вновь перечел. Выступление Ленина на 1-м съезде сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии, доклад на VIII съезде партии «О работе в деревне», проект резолюции съезда «Об отношении к среднему крестьянству», статья «О кооперации». Лейтмотив всех выступлений – «Никакого насилия! Ни малейшего принуждения!» Цивилизация, выгоды, ряд привилегий – экономических, финансовых, банковских, и нам удастся создать строй цивилизованных кооператоров, а «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма!»

– Как же так?!. Ведь Владимир Ильич говорил: «Никакого насилия»?!.

– Ты, кажись, не в себе?.. Ты чего там бормочешь?.. Садись и пиши! После раздумывать будешь!..

Нет, не в силах осмыслить все это мозг Саши. Надо во всем разобраться, но времени нет. Некогда тут рассуждать, обсуждать, сомневаться и думать. А в избе между тем плач и вой, стон и вопли. Плачут дети, цепляясь за мать, а она сама истерически воет, пытаясь прикрыть оголенную грудь. Тычась в углы, голосит слепая и полураздетая старая мать кулака. Никак не решит, что надеть, стоящий в подштанниках классовый враг.

– Ну, что ж ты не пишешь?! Садись и пиши! – говорит Моргунову его бригадир.

– Я... не могу... заболел... разреши мне уйти! – борясь сам с собою, с трудом говорит Моргунов, и, боясь разрыдаться при всех, не дожидаясь ответа, рывком выбегает из хаты.

Отбежав приблизительно полкилометра по пустой и безлюдной, заснеженной улице без фонарей, он припадает к одиноко стоящему дереву и, задыхаясь от напряжения, приглушая готовые вырваться стоны, заходится плачем. На улице холодно. Сильный мороз крепко хватает за щеки, за руки, за нос, но Моргунов продолжает стоять почти неподвижно. «Пусть мерзнет тело, пусть коченеет! Разве до щек и до носа теперь?! Замерзает душа – вот что важно!»

Полчаса–час прижимается к дереву Саша. Слезы высохли или замерзли: их нет. Но сверлящие мысли о том, что он принял участие в чем-то очень и очень плохом, не оставляют его. Он в смятении, он растерялся и говорит сам с собой: «Черт меня дернул проситься в деревню!» – «А чего ж ты хотел! Отсидеться в кустах? Пусть в грязи копошатся другие, а ты проживешь – белоручкой? Ты, видать, испечен из особого теста!» – «Нет, это неправда, неправда! Я – простой, рядовой человек и хочу быть таким!.. Я такой же, как все, и любую работу, сколь бы черной и грубой она ни была, я морально обязан... Обязан!.. Поэтому я и просил!..» – «Ну, так что же?.. Чего ж ты сбежал, если так... Вернись!.. Продолжай!..» – «Вернуться?!. Нет, не могу!..» – «Как это так – не могу?! Давай, возвращайся! Партия требует!..» – «Правильно! Партия!.. Но... не могу!.. Не могу!.. Это выше меня!..»

Саша дрожит, как осиновый лист. От волнения и от мороза. Зубы снова стучат, на глазах – пелена. Он сейчас превратится в ледышку. Слова о замерзшей душе перестают быть метафорой и начинают материализоваться. Мороз уже где-то внутри, он добрался до мозга костей. Саша сползает на землю, потом поднимается на ноги. Инстинкт самосохранения гонит его прочь от этого места. С громадным трудом, спотыкаясь и падая, он плетется вперед, к сельсовету.

Под утро приходит бригада.

– Что, парень, сдрейфил?! В дезертиры ушел?! Кишка тонка стала?! Надо поставить вопрос о тебе!.. Посылают таких – непроверенных!

Но Саша не отвечает, он бредит. К нему вызывают врача. Ртутный столбик подмышкой быстро ползет к сорока одному.

– Что ж удивляться?!. Мороз, а одежа – плохая. Простыл... У него – воспаление легких.

И воспаление легких спасает его от больших-пребольших неприятностей.

XI

Саша долго и тяжко болел, а когда через девять недель выписался из больницы и пришел к себе в институт, а затем и в райком комсомола, его встречают радушно и ласково. Ему говорят, что бригада, в которой он был до болезни, вообще – перегнула. Теперь это ясно, как день. Приступая к работе, она поддалась самотеку, не сверилась с Лениным, с линией партии. Успехи вскружили ей голову. Сталин

все разъяснил. «Головокружение от успехов», «Ответ товарищам колхозникам», Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» – вот указатели верных дорог, ведущих к высокой, сияющей цели – к социализму.

– Надо признаться: мы все виноваты. Погнались за дутыми цифрами. Московская область имела в своем распоряжении целых три года, а мы захотели закончить коллективизацию сразу же, этой весной. Виноваты! Что делать?!. Что ты такое сказал? «Почему бы не дать указания раньше?!» Об этом спроси у ЦК. И вообще, – не мудри!.. Не мудри!.. Понимаешь?!.

Саша понял и – замолчал. Он еще не поправился после болезни и был очень слаб. «Когда-нибудь позже я разберусь во всем».

Летом Моргуновы жили на даче в Перловке, и Саша быстро поправился. Свежий воздух, купание, сон на верхней, открытой террасе, пища домашнего приготовления, заботливый материнский уход, и – прошлого как не бывало.

Еще до начала каникул Саша сумел наверстать все, что было пропущено в этом учебном году. Он быстро нагнал однокашников, сдал все зачеты, перешел на второй курс и теперь наслаждался заслуженным отдыхом, хотя и ездил ежедневно в Москву, на завод, где вместе с другими студентами проходил первую производственную практику. Работа усталости не вызывала. Практикантов, как и полагалось по учебной программе, только знакомили в этот раз с производством. Их беспрестанно переводили из цеха в цех, с линии на линию, с одного рабочего места на другое. Легкий физический труд, лишенный профессионального, тягучего однообразия, не утомлял молодых и здоровых ребят. Саша охотно вставал рано утром, бегал на речку купаться, возвращался домой, завтракал, потом не спеша, прогулочным шагом, шел на станцию, садился в свободный вагон и всю дорогу читал. После смены сразу же ехал домой. Погуляв, почитав, чуть-чуть поработав в саду, он поднимался к себе на веранду, ложился в постель и засыпал как убитый.

Четыре дня проходили совсем незаметно, и вновь наступал выходной с пересменкой. Удобно! Особенно – летом! «Напрасно тогда, в день рождения, дядя Володя ругал непрерывку, она с пятидневной рабочей неделей – великое благо. Сколько ее ни хвали, не нахвалишься!»

После своего трагического, как он его называл, участия в ликвидации кулачества как класса юный Александр Сергеевич на какое-то время утратил неудержимое стремление вносить свою личную лепту во всякое дело. Он сознательно решил поменьше заниматься всевозможными общественными нагрузками и побольше учиться, тем более что успешная сдача зачетов за первый курс его самого нисколько не удовлетворяла. Он хорошо понимал, что галопирующий рейс по наукам, скоропалительная, иногда за одну–две ночи или за сутки, подготовка к экзаменам не оставляли в памяти стойких следов, и знания, приобретенные таким путем, могли вылететь из головы чуть ли ни сразу после зачета. Студенческая шутка – «Товарищ профессор! Спросите меня поскорей, а то я все позабуду!» – базировалась, как он убедился, на прочном и крепком фундаменте. Поэтому Саша намеревался как следует повторить все пройденное, чтобы во всеоружии встретить грядущие трудности.

Однако, одно дело – намерение, другое – действительность. Начался XVI съезд, и все вузовские учебники и курсы снова легли на дальние полки. Снова с утра и до ночи читались и перечитывались газеты, снова продумывались доклады, изучались и осмысливались формулировки.

«В 1929/30 году удельный вес промышленности в валовой продукции народного хозяйства дошел до 53%. СССР перестает быть аграрной страной, становится – индустриальной!» «СССР вступил в период социализма». «Взгляды правых несовместимы с принадлежностью к ВКП(б)». «Пятилетку – в четыре

года!» «Колхозное крестьянство стало действительной и прочной опорой советской власти». «Создать вторую угольно-металлургическую базу на востоке СССР». «На Западе – экономический кризис, а у нас – расцвет и подъем!»

Было от чего биться Сашиному сердцу. Он опять ликовал. И только одно показалось ему недостаточно верным. В решениях съезда отмечалось, что при организации колхозов «нарушался ленинский принцип добровольности» и что «ошибки и извращения допустили левацкие элементы».

– При чем же тут «элементы»? – думалось Саше. – Разве партия состоит из одних леваков? Ведь извращения были везде, по всему Советскому Союзу! Значит – дело не в «элементах», а в том, что Сталин повел дело с первого шага неправильно!

Долго думал Александр Сергеевич над столь неожиданным выводом, но ничего не придумал. «Съезд развернутого наступления социализма по всему фронту» так и оставил в его душе отпечаток сомнения.

XII

Сомнения мучили Сашу, но он их легко превозмог. Предаваться унынию не приходилось, да и времени не было. Пришли новые дела и заботы и отодвинули вдаль неприятный осадок от съезда. Начались занятия в институте. Пришлось отдавать все свое время учебе, а она вдруг показалась рутинной. То ли предметы первого курса были усвоены очень неважно, то ли вовсе пропал интерес к инженерным наукам, но Саша совсем заскучал. Высшая математика с ее дифференциалами и интегралами, начертательная геометрия, сопротивление материалов, детали машин, – все они, вместе взятые, да и каждая в отдельности, заедали мозг Моргунова, привыкшего интересоваться вопросами мирового масштаба. Занимался он хорошо, но без интереса и через силу. А тут неожиданно умер отец, семье стало не на что жить, и Моргунову пришлось поступить на работу.

Он очень хорошо запомнил эти страшные для него дни. Веселый и жизнерадостный вернулся он однажды вечером из Большого театра, где смотрел «Красный мак» Глиэра с Екатериной Васильевной Гельцер в роли Тао-Хоа. Как бесподобно она танцевала, как играла. А сначала ему не хотелось идти на балет. Он знал, что Екатерина Васильевна уже подошла к тому возрасту, когда балерины перестают выступать; он полагал, что в движениях Гельцер будут светиться следы пронесшихся лет. Но едва лишь раздвинулся занавес, Моргунов убедился в своем заблуждении. Со сцены непрерывной и мощной струей лилось обаяние артистки, лилось то непонятное, но облагораживающее воздействие, которое оказывает подлинное искусство на каждого могущего что-либо чувствовать и воспринимать. И когда в последнем действии на тело китайской танцовщицы начали сыпаться красные маки, восторг Моргунова достиг апогея. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Александр Сергеевич схватил на барьере ложи небольшой букетик цветов, принадлежавший случайной соседке, и, размахнувшись, бросил на сцену. Моргунов был хорошим метальщиком: букет долетел до места назначения, но зато соседка не выразила по этому поводу никакого восторга. Пришлось извиняться и объясняться, но все кончилось вполне благополучно, и Моргунов чувствовал себя великолепно.

Дома было уютно и хорошо. Отец и мать сидели за столом, и пили чай, они радостно встретили сына, и Александр Сергеевич, вымыв руки, немедленно подсел к столу и начал рассказывать о том, как замечательно провел вечер. Отец внимательно слушал и время от времени вставлял замечания. И вдруг что-то произошло. Отец побелел, схватился за сердце, начал ловить губами воздух и

через несколько секунд свалился со стула. Испуганный Моргунов бросился к нему, поднял, уложил на диван.

Вызвали скорую помощь, но вернуть отца к жизни уже не удалось. Врач констатировал смерть от разрыва сердца.

Все дальнейшее происходило как будто в тумане. Явились близкие и дальние родственники и взяли на себя все заботы о погребении. Тело по христианскому обряду положили на стол, но служить панихиду не стали, ведь покойник был атеистом. Потом привезли богато отделанный гроб, приехал катафалк, и отца похоронили так же, как хоронят всех умерших людей. Александр Сергеевич испытывал глубокую, беспросветную скорбь. Брат и сестра плакали навзрыд, с матерью все время происходили истерики, а он не проронил ни слезинки. Измученный, с воспаленными от бессонницы глазами, он часами глядел на пожелтевшее родное лицо и никак не мог осознать, что отца больше нет и никогда уже больше не будет. Слово «никогда» пугало его. Он не мог осмыслить реального значения этого слова применительно к столь близкому человеку. И он молча переживал свое горе, неотступно глядя в лицо тому, с кем еще так недавно вел оживленную, оставшуюся навсегда неоконченной, беседу. Когда гроб опустили в могилу, Александр Сергеевич хотел сказать о покойном несколько слов, хотел произнести небольшую речь, но, выйдя вперед, почувствовал, что говорить не сможет. Он почувствовал, что если только откроет рот, разожмет свои стиснутые зубы, то разрыдается, разрыдается как женщина, горько и надрывно. И он ничего не сказал; постоял только беспомощно у могилы, глядя на позумент, которым были обиты края сверкающего на осеннем солнце глазетового гроба, и молча отошел назад. И присутствующие поняли его. На несколько секунд все как бы замерли, потом кто-то вышел вперед и бросил в могилу первую горсть земли. Она со стуком упала на гроб. И все задвигались, зашевелились, зашумели и начали засыпать открытую могилу, прошло минут десять, может быть несколько больше. Все кончилось. Перед Моргуновым вырос небольшой продолговатый, осыпанный цветами могильный холмик. Отца больше не было. Не было совсем.

Спустя два дня Моргунов заехал на кладбище, чтобы договориться со сторожами и кладбищенской администрацией об охране могилы и выяснить, где и как можно заказать решетку или памятник. Сделав все, что хотел, Саша вновь подошел к дорогому холмику и, присев на корточки, начал поправлять цветы и откидывать увядшие листья; оглянулся – кругом ни души, только звенит тишина, он – совершенно один. И одиночество сделало то, что не смогло сделать самое сильное горе. Саша почувствовал, как что-то ослабло в тяжести, давящей на горло и грудь. Он глубоко вздохнул и впервые за все эти тяжелые и горестные дни тихо заплакал. Он плакал, не сдерживая себя, не таясь и не опасаясь, что кто-нибудь услышит его. Он плакал и шептал нежные слова, разговаривая с отцом как с живым, и слезы снимали гнетущую тяжесть. По мере того, как они выливались, Саше становилось легче, и вместе со слезами постепенно развеивались мрак и отчаяние, владеющие им. Он понял, что рано или поздно, но неизбежно примирится с тем, что случилось, что жизнь заставит пережить и эту боль, и что он найдет в себе силы жить и бороться с невзгодами. А невзгод предстояло немало: ведь он должен стать кормильцем семьи, ведь у него малоприспособленная к самостоятельной жизни мать и несовершеннолетние брат и сестра. Им надо дать возможность окончить хотя бы среднюю школу. И он сделает это. «Слышишь, отец, я обещаю тебе обеспечить им эту возможность. Ты можешь быть совершенно спокоен». Моргунов прильнул к земле и поцеловал могилу в то место, под которым находилась голова отца.

Именно сейчас он уверенно ощутил, что справится со всеми грядущими трудностями, и понял, почему за все эти дни не уронил ни слезинки. Он принадлежал к категории внутренне замкнутых людей, которые, в силу

душевного склада, не могут выражать свои чувства при посторонних. Слезы у них появляются только тогда, когда они остаются сами с собой. Такие не разглашают подробностей своей семейной жизни, не выставляют напоказ чувства и переживания, а если приходит беда, страдают одни, замыкаясь в себе, и очень редко делятся с кем бы то ни было мыслями, думами, надеждами и отчаянием. Конечно, иногда случается, что и их прорывает, и в минуты такого прорыва они начинают рассказывать, – но только не близкому, а может быть, даже совсем постороннему, – то, что до сих пор тщательно оберегали от взглядов извне. В таких случаях они могут поведать о своих переживаниях не только человеку. Иногда они рассказывают о них бессловесным созданиям – собаке, кошке, лошади и даже дереву, цветку, окружающей местности. Моргунов поверил свои чувства могиле отца. И это его облегчило. Он поднялся с земли успокоенный, сразу окрепший и сильный духом. Все думы и мысли пришли в порядок, все стало светлым и ясным. Теперь Саша знал, что нужно делать, что сделает, и что у него впереди.

Он вернулся домой с вспухшими от слез глазами, выпачканный в земле и продрогший до самых костей. Дома были какие-то родственники, пришедшие навестить пребывающих в горе, но Александр Сергеевич, не заходя в общую комнату, тщательно умылся и лег в постель.

Рано утром он пришел в отдел кадров машиностроительного завода, на котором проходил первую практику, и попросил принять его на работу токарем по металлу.

Разговор, вызванный этой просьбой, был некоротким, но в конце концов ему пошли навстречу, и Моргунов превратился в рабочего.

Сначала Саша пробовал совместить работу с учебой, но тут с ним случилась беда: его вновь безудержно потянуло к политике. Снова им завладели газеты, журналы, собрания, споры. Разве он мог пропустить стороной, не отдав им последнего, столь дефицитного студенческого времени, процессы «Промпартии» и «Союзного бюро РСДРП», или смещение Рыкова и вывод его из состава Политбюро, или новый, январский призыв тридцать первого года – «Большевики должны овладеть техникой»?!. Конечно, не мог! Но на все это не было времени: ночи так коротки, в сутках по-прежнему двадцать четыре часа, никак не уложишься. Надо было бы бросить газеты, политику, но не получалось.

И в результате учился он мало, учиться ему стало трудно. Какой-то период он не сдавался, тянулся вслед за товарищами, но наконец наступила развязка: вовремя непонятая диаграмма Кремона-Максвелла, несмотря на свою простоту, его доконала. Саша бросил попытки не отставать, решил, не считаясь с партийным призывом, что техника не для него, подал заявление о переводе в гуманитарный вуз и, получив отказ, перестал ходить в институт.

XIII

Работа на заводе Моргунову пришлась по душе и не очень его утомляла. Молодой, сильный и здоровый, он легко простаивал 8 часов, почти не отходя от станка, работал не торопясь, но удивительно быстро; сам осматривал и подготавливал станок перед началом работы, сам убирал вокруг него после гудка. Движения его были уверенны и точны, рабочее место сияло чистотой, в шкафчике на стене в строгом порядке лежали запасные резцы, обтирочная ветошь, большая бутылка с эмульсией и кое-какие инструменты. И работа спорилась: брака не выходило, нормы, как правило, перевыполнялись, высокие заработки держались устойчиво. Очень скоро на Моргунова стали смотреть как на опытного рабочего, и мастер частенько поручал ему наиболее сложные заказы.

Секрет быстрого освоения Моргуновым токарного станка заключался в том, что он научился работать на нем еще в детстве, когда покойный отец, мастер на все руки, в свободное время постоянно что-нибудь вытачивавший или выпиливавший, подарил ему вывезенный из Германии станок-игрушку, сделанную с удивительной тщательностью, как миниатюрная, но точная копия настоящего большого станка. И уже 8–9 лет от роду Саша прекрасно знал, что такое суппорт, что делают резцом, для чего нужны люнеты, как надо крепить деталь при обточке в центрах и как для работ по копиру, а также прочие мудрости слесарно-токарного дела. Все эти детские навыки всплыли в сознании и получили необходимую яркость во время первой производственной практики. И тогда уже Сашу заметили, но в то время завод был для него чем-то эпизодическим. Он знал, что поработает на нем полтора–два месяца, заработает какую-то не очень большую, в сущности, сумму, которая пойдет в дальнейшем на карманные расходы, напишет отчет, и на этом закончится его «высокополезная», как иронически называли студенты свою практику, деятельность. Ни он, ни его товарищи по институту не считали завод элементом своей жизни. Пришел – ушел. Так, может быть, приходили в ресторан или в театр, так относились к поезду, в котором куда-нибудь ехали. Вышли из него, не забыли, но и сердца там не оставили.

Совсем по-другому обстояло дело теперь. Ныне завод стал кусочком существования, стал чем-то родным, близким, вошел в самую жизнь. Жизнь без него не мыслилась. Жизнь без него казалась теперь невозможной.

Моргунов очень быстро заметил происшедшую в нем перемену и, конечно, немедленно начал себя вопрошать: «А в чем же дело? Чем она объясняется? Ведь я-то не изменился. Я-то остался самим собой!»

– Нет, не остался! – решил он, подумав. – Был я студентом, стал же – наемным рабочим. Изменилось мое положение в процессе производства, а вместе с ним изменились и взгляды. Все это очень естественно! Работа перестала быть для меня чем-то временным, чем-то случайным. Вся моя жизнь – и моя и семьи – зависит теперь от завода; от того, сколько я заработаю.

Моргунов вспомнил то, что учил и усвоил когда-то: труд – понятие весьма многоплановое, он может быть абстрактным и в то же время конкретным, общественно-необходимым и общественно-ненужным. Трудом создаются все ценности, и именно в процессе труда человек, по выражению Маркса, «опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой». Моргунов вспомнил, что именно труд выделил человека из остального животного мира, поднял его на недостигаемую высоту, сделал царем природы и позволил господствовать над ней. Все эти теоретические положения были известны ему и из прочитанных книг, и из курса политической экономии. Но теперь он понял еще и другую, обычно неупоминаемую, сторону труда – его психологию: не всякий труд меняет сознание человека; одно дело трудиться просто так, для себя, а другое – за плату, являющуюся единственным источником существования.

– Князь Николай Андреевич Болконский, живя в своих Лысых Горах, тоже работал на токарном станке, но оставался князем, – думал Моргунов. – Да и Лев Толстой не стал крестьянином оттого, что пахал и засеивал землю. А я вот встал к станку и сразу превратился в рабочего! Странно! Странно и даже смешно!

Смеяться, однако, ему не хотелось. Он явственно чувствовал, что производство втягивает его в себя, что его взгляды меняются, что он становится взрослее, а жизнь начинает приобретать какой-то другой, принципиально новый вкус и новые оттенки, которых он не знал до сих пор. Сначала Саше все это очень понравилось, и его потянуло вглубь новой среды. И он не стал сдерживать себя и ринулся навстречу открывающемуся перед ним миру, искренне желая

раствориться в нем, забыть о своем интеллигентском прошлом и стать настоящим, доподлинным, стопроцентным рабочим.

Моргунов стал снова ходить на собрания, усиленно заниматься общественной работой, стараться все делать как можно лучше, и первым на заводе подхватил волну пришедшего из Донбасса изотовского движения.

И наступил день, когда, придя на работу, он с гордостью обнаружил свою фотокарточку на доске почета, установленной на небольшой открытой площадке напротив проходной, а пройдя еще несколько десятков шагов, увидел себя на громадном портрете в аллее ударников, ведущей к цеху, в котором работал.

Все остальное пришло само собой.

Его вызвал к себе секретарь партийного комитета товарищ Онуфриев, в недавнем прошлом начальник инструментального цеха, седой невысокий старик с дореволюционным партийным стажем. Онуфриев вышел из рабочей среды и почти четверть века простоял у станка, но, вопреки этому, принадлежал к распространенному в то время типу руководителей, которые, разговаривая с молодыми рабочими, напускали на себя вид добродушных, чудаковатых и снисходительных к грехам молодости «папаш». Им почему-то казалось, что при таком способе обращения, будто бы создающем атмосферу непосредственности и интимности, молодежь их лучше поймет. Когда Моргунов пришел, Онуфриев вышел из-за стола и долго тряс ему руку.

– Здравствуй, здравствуй, парень, – говорил он. – Чтой-то все не заходишь? Я, уж, думаю, не возгордился ли человек? Может, в самом деле, головокружение от успехов сделалось! Шутка ли – сто восемьдесят процентов! Можно дверь ногой открывать!

– Да нет, что ты, товарищ Онуфриев! Я же ничего такого особенного не сделал, а что нормы перевыполняю, так ведь это и каждый может. Чего ж я пойду от работы тебя отрывать?

– Ишь ты, ишь ты, какой! Моего времени, значит, пожалел?! Так, так!.. Ну, а не подумал ты: «А как бы мне свой опыт другим передать? Не сходить ли к секретарю ячейки, поговорить? Ведь он тоже токарь, авось чем-нибудь и поможет. Глядишь, у нас вместо одних единиц цельный лес изотовцев вырастет!» А? Как ты об этом полагаешь?

– Я готов, Иван Николаевич, – ответил Моргунов, – готов в любую минуту. И опыт готов передать и у других поучиться.

– Во! Вот это по-нашему, по-большевистски! – обрадовался Онуфриев. – Такие речи и слушать приятно. Так мы с тобой быстро договоримся... Кстати, парень, а почему ты в партию не вступаешь?.. Какие у тебя принципиальные возражения есть?

Моргунов замер от неожиданности.

– В партию?!. Я?!. В партию?!. Да кто ж меня примет?..

Моргунов покраснел. С детских лет мечтал он быть членом партии, но эта мечта казалась несбыточной, неосуществимой. Он все время считал себя недостойным такого высокого звания. Ведь член партии, как он представлял, должен быть человеком без всяких пороков, идеально чистым, идеально честным, бескорыстным, бойцом с несгибаемой волей. Член партии должен доподлинно знать все детали ее истории, никогда не иметь ни малейших сомнений, не знать никаких колебаний и – беззаветно любить товарища Сталина. А вот этого-то Моргунов и не мог. Не находил он в себе ни горячей любви, ни обожания. Мало того, в нем где-то подспудно жила неприязнь к вождю за ошибки в коллективизации. Иногда перед ним возникали кошмары: стоит босиком, и трясется, и плачет Терентьев в подштанниках, болтается голая грудь его горем убитой жены, хватают ее за подол ревмя ревущие дети, не находит дороги слепая полураздетая мать. А в результате – райком «указал»: «Раскулачили зря,

допустили ошибку. Терентьев не был кулаком!» Кто виноват? Неужели не Сталин?!

«А теперь – все забыто! Сталин немного-немного не бог! Неужели же надо такого любить?!»

Нет! Моргунов убежден, что фетишизация Сталина противоречит марксизму. И здравому смыслу! А отсюда у Саши к «персоне» – ирония, а иногда даже больше – прямая насмешка.

«Могу ли я, Моргунов, быть при таких настроениях членом ВКП(б)?»

Он не знает, что надо ответить себе самому, но и не может об этом спросить у Онуфриева. А вообще говоря, рассуждать надо трезво: «Разве могут быть мои чувства причиной отказа от борьбы за рабочее дело, от участия в партии?.. Разве партия – Сталин? Нет, конечно же – нет! Партия – нечто значительно большее, неизмеримо огромное, партия – это наиболее сознательная часть рабочего класса, его авангард... передовой отряд!» Он припомнил все классические определения. «Да, и кроме того... при чем тут мое отношение к Сталину? Кто такой Сталин? Партийный работник, генсек. Ведь не он же один, а вся партия в целом, вся целиком, победоносно провела страну и народ через огонь и ужас гражданской войны, через трудности восстановительного периода, через бури и сражения великих классовых битв. Конечно, Сталин стоит во главе, у штурвала, его личная роль во всех делах и свершениях очень и очень большая. Это с ним выполняется пятилетка, с ним проводилась коллективизация – с ошибками и перегибами, но проводилась, и фактически даже проведена, – с ним разгромлены все оппозиции и уклоны... Как ни кидай, а Сталин – деятель высшего класса. Он всегда выступает новатором. Вот и теперь «Шесть условий товарища Сталина» выдвинул он... Надо быть справедливым, отдавать ему должное... Ну, а любить... а любить его – лишнее! Совершенно не обязательно!»

Сколько мыслей промчалось в мозгу Моргунова, сколько чувств он изведал, пока смог наконец ответить на вопрос секретаря партийной ячейки. Его, Моргунова, никогда кажется в жизни не смущавшегося, аж пот прошиб, а Онуфриев, довольный произведенным впечатлением, только поглядывал на него потихоньку из-под старческих грубых бровей и спокойно ждал.

И когда, наконец, после недолгого, но, как показалось Моргунову, бесконечного раздумья, он открыто признался, что мечтал быть членом партии с детства, но все время считал себя недостойным столь значительной чести, Онуфриев, даже не поинтересовавшись причинами его такого низкого о себе самом мнения, достал из стола бланки анкет и лист бумаги и, хлопнув Моргунова по плечу, уверенно сказал:

– Молодец, молодец, парень. Так и надо!.. Ничего, не робей! Пиши заявление, заполняй анкету! Хороший коммунист из тебя выйдет, хороший. Уж я-то знаю!

И Моргунов заполнил анкету, и написан заявление, и через совсем небольшой промежуток времени стал кандидатом, а потом и членом ВКП(б).

XIV

Незаметно прошло полтора года, и Онуфриев, которому страшно не нравилось, что Моргунов ради работы бросил учиться в институте, стал наседать на него и все чаще настаивать на необходимости продолжать начатое образование.

– Ты, парень, умный человек, а, вместе с тем вроде как и дурак, – говорил он Моргунову. – Ну, рази так можно? Работа – работой, а учиться-то надо?! Давай-ка, сынок, начинай опять – заниматься!.. Мало ли что исключили! Похлопочем! Восстановят!.. Давай, давай, дорогой! Токарей-то мы завсегда сделать можем, а вот инженеров у нас пока что совсем маловато. Давай-ка, пока что не поздно, учись!

И Моргунов внял его ласковым и заботливым речам. Изменившееся материальное положение способствовало принятию серьезного решения. Брат и сестра окончили среднюю школу и готовились к поступлению в вуз. Не сегодня-завтра должны они были перейти на свое собственное иждивение. Мать тоже давно оправилась от потрясения, вызванного скоропостижной смертью отца, поступила на работу и в материальной помощи не нуждалась. Все складывалось очень благоприятно. Плохо было только одно: Моргунову не хотелось учиться в техническом вузе. Он вспоминал о забытых уже интегралах, о формулах Эйлера, применяемых при расчетах на продольный изгиб, и ему становилось весьма неуютно.

Нет! Он вернется в вуз, но только не на механический факультет. Он помнит, конечно, все выступления Сталина: «Большевики должны овладеть техникой» и «Техника в период реконструкции решает все». Все это, безусловно, правильно, но... но он лично техникой заниматься не может, она ему просто осточертела. И вообще, ну ее к богу, всю эту технику. У него к ней не лежит сердце. Он хочет учиться гуманитарным наукам.

Стыдясь и краснея, сказал он об этом Онуфриеву, ожидая встретить с его стороны резкий отпор. Но Онуфриев воспринял исповедь Моргунова так, словно давно ожидал ее и словно в ней не было ничего необычного.

– Ну, что ж! – ответил он. – Хочешь в гуманитарный – пусть будет так. Тебе виднее, куда тебя тянет. Смотри только, не ошибись!

И он тут же сел сочинять от имени завода ходатайство о переводе Моргунова из Инженерно-строительного института в 1-й МГУ. В переводе Моргунову отказали опять, но зато, после долгих хлопот и затруднений, приняли без экзаменов на первый курс философского факультета.

Трепеща и содрогаясь от радости, вошел Моргунов в старинное, выстроенное архитектором Казаковым здание на Моховой. Во дворе каменные Герцен и Огарев задумчиво глядели на него, как бы приветствуя будущего собрата, а внутри – его встретил радостный и беспокойный гомон молодежи, людей грядущего мира, которым, возможно, суждено жить при коммунизме. И Моргунову стало радостно и весело. Отпали всякие сомнения. Подняв голову, он прошел в «Коммунистическую аудиторию», которую до сих пор еще называли «Богословской», и, усевшись в первом ряду, приготовился слушать первую, вступительную лекцию по диалектическому материализму.

И не думалось в этот момент ни о заводе, ни о токарном станке, ни о потерянных для ученья годах, ни о том, как превратна жизнь.

Рядом с ним села некрасивая неопределенного возраста женщина со слуховым аппаратом на груди, с другой стороны – совсем еще молодой, очевидно, прямо после средней школы, парнишка, с взбитым чубом и открытым воротом белой косоворотки, выглядывающей из-под серого, в крупные полосы, пиджака.

Моргунов испытывал необыкновенный прилив нежности к ним. Ему захотелось обнять их обоих.

Но вот пришел профессор, поднялся на кафедру, поздоровался с новичками, ответившими нестройным приветственным гулом, и, сдабривая речь веселыми, остроумными шутками, начал говорить о громадном значении четкого и правильного мировоззрения в жизни и деятельности человека. Профессор уверял, что единственным правильным и научным мировоззрением является диалектический материализм, что диалектический материализм – это философия пролетариата, а философия – совсем не наука наук, а инструмент научного исследования мира и великое орудие познания.

Моргунов весь превратился во внимание и быстро записывал основные положения лекции в толстую «общую» тетрадь. Все понималось легко и быстро. Он оказался в своей стихии.

И действительно, заниматься в университете было значительно легче, чем в институте, хотя всю первую половину года Моргунов учился, продолжая работать на заводе.

Вообще-то говоря, совмещение требовало громадных усилий и гигантского напряжения. Весь день, с раннего утра до позднего вечера, заранее рассчитывался по минутам. Занятия, работа, сон, еда, передвижение, и – никаких развлечений, никакого дополнительного отдыха. Мало того (нужда всему научит), Моргунов ухитрялся, работая на станке, мысленно повторять услышанное на лекциях, а в трамвае – готовиться к семинарским занятиям. Переезды занимали у него в среднем часа полтора в день, ведь университет находился в центре Москвы, а завод – на окраине. Единственным видом транспорта между ними были трамваи, набитые в часы «пик», то есть в то самое время, когда ездил Моргунов, до отказа. Чтобы попасть в вагон, от пассажира требовалось много ловкости, силы и даже хитрости. Моргунов, как опытный москвич, быстро приспособился «к конкретным условиям». Он встречал трамвай метров за пятьдесят до остановки, догонял его, на полном ходу цеплялся за поручни и, выбрав место, куда ткнуть ногу, прыгал на подножку. Дальше все шло как по маслу. Напрягая все свои силы, он нажимал на висящих людей, пытаясь протолкнуть их на площадку, и громко кричал:

– Товарищи, пройдите вперед!

Сорваться с подножки он не боялся; его выручали крепкие руки, широкая грудь, твердые и упругие мускулы, а кроме того – падать было решительно некуда; всего через несколько мгновений сзади него нарастал большущий ком повисших, так же, как и он, на подножках и бегущих за вагоном людей. Вожатый невольно сбавлял скорость, трамвай подходил к остановке, и висящие протискивались вперед.

А сама учеба давалась легко. Например, формулировки Энгельса казались Моргунову такими ясными, а ошибки Дюринга столь очевидными, что оставалось только удивляться:

– Как же Дюринг сам не понимал, какую галиматью он пишет? Вот ведь, действительно, «характернейший тип заносчивой лженауки», вот ведь, действительно, «высокопарный пустозвон» и, должно быть, настоящий кретин!..

...Много лет спустя, в лагере, на Воркуте, Моргунову попали в руки отдельные тома сочинений Евгения Дюринга. Он попробовал прочесть их и, не сумев найти в них глупостей, легкомыслия и ошибок, чуть не заплакал от досады.

А пока в занятиях и работе быстро неслось время. Моргунов не заметил, как прошло полгода, и наступила зимняя экзаменационная сессия. Только теперь он почувствовал, как сильно устал и как мало у него времени. Полгода он спал не больше 5–6 часов в сутки; полгода, не меняясь, работал на заводе в вечерней смене, так как днем надо было бывать в университете. Он занимался с каким-то самозабвением, отрываясь, и то с большой неохотой, только для того, чтобы поесть и поспать. А теперь, во время сессии, оказалось, что этого мало, что заниматься надо еще больше. И Моргунов решился на серьезный шаг. Посоветовавшись с Онуфриевым, он ушел с работы и начал все свое время посвящать только занятиям.

Результаты не заставили себя ждать. Когда подошел конец года, Моргунов блестяще сдал все экзамены и перешел на второй курс без единого «хвоста».

Годы учебы в университете стали для Моргунова годами бурного общественного кипения, ярких впечатлений и активной целеустремленной жизни. Все тут было для него новым: новые знания, новые люди, новые книги, новые друзья и товарищи, приятельницы и подруги. Мир раскрывался перед восторгающимся мысленным взором во всю его неизмеримую ширину и бесконечную глубину. Впереди угадывались широкие дороги, ведущие к невиданным достижениям, к свету и счастью.

Александр Сергеевич испытывал почти непрерывное радостное возбуждение, прямо с утра на душе становилось легко и светло, и действительность казалась прекрасной.

То, что он пришел в университет непосредственно с завода и считался, как тогда выражались, рабочим от станка, придавало ему в глазах студенчества большой вес и значение. А когда в марте 1934 года в парторганизациях прорабатывали итоги XVII съезда ВКП(б) и Моргунов, выступая без всяких конспектов, произнес очень содержательную и толковую речь, и при этом на память, не заглядывая ни в какие бумажки, привел несколько десятков цифровых показателей, его престиж возрос необыкновенно. На первом же отчетно-перевыборном партийном собрании его избрали в члены бюро ячейки ВКП(б). Его уважали, с его мнением считались, к его голосу прислушивались.

Все это льстило Моргунову и, хотя он относился к льющемуся на него почтению весьма иронически, невольно заставляло следить за собой и держаться так, чтобы не ударить лицом в грязь. Всеми силами старался он оправдать оказанное доверие и, несмотря на то, что, все еще действующим постановлением Пленума ЦК ВКП(б) от 12 июля 1928 года «Об улучшении подготовки новых специалистов» студенты освобождались от всякой общественной нагрузки, кроме посещения общих партийных и профессиональных собраний, активно участвовал в общественной жизни факультета и курса. Будучи общительным и любознательным человеком, он очень доброжелательно относился к людям и пользовался в студенческих кругах устойчивым авторитетом, который высоко ценил и берег.

Когда Моргунов учился на втором курсе, студенческие организации факультета начали по его предложению издавать теоретический листок «За марксистскую философию», назначив Александра Сергеевича членом его редколлегии.

Редактирование поступающих в «Листок» статей, написанных как студентами, так и преподавателями, было захватывающе интересным и побуждало, кроме того, к личному творчеству. У Моргунова возникало множество тем, заслуживающих обсуждения, и после долгих колебаний он выбрал, наконец, одну из них и представил в «Листок» обстоятельную статью под заглавием «Ницше и современность».

В этой статье Александр Сергеевич, анализируя социально-экономические условия и историю развития общественных отношений в Германии второй половины XIX века, устанавливал, в полном, между прочим, соответствии с мнением профессора Бернадинера и в противоположность взглядам Луначарского, что почвой, на которой выросла философия Ницше, был не финансовый капитал, находившийся тогда еще в колыбели, а прусский тип развития капитализма, и что Ницше – идеолог юнкерства и наиболее реакционных кругов немецкой буржуазии того времени. Детально разобрав затем философские концепции Ницше и сопоставив их с выступлениями и высказываниями идеологов и теоретиков фашизма – Гюнтера, Боймлера, Гросса, Ланге и других, открыто признававших Ницше своим учителем и одним из основоположников фашистского мировоззрения, – Моргунов показал, что главари фашизма – Гитлер, Розенберг и куча их лжеученых подпевал – действительно проповедуют взгляды, истекающие из философии Ницше. По Моргунову, Ницше утверждал, что основным стремлением живого существа является воля к власти и стремление проявить силу. Он говорил, что неравенство людей заключается в неравенстве их рас, и что высшая раса – это раса арийцев. «Самое худшее зло на земле, – писал он, – это скрещение рас и сословий», а сословия, по его мнению, всегда выражают различия происхождения и расы. «Люди низших рас должны быть рабами, – проповедовал Ницше, – рабство составляет одно из существенно необходимых условий культуры». Цель истории –

существование немногих избранных, живущих полной всесторонней жизнью, на базе прозябающего большинства. Большинство людей – посредственности, а для людей посредственных быть посредственностью составляет счастье. Ницше презирал массу, называл ее чернью и сволочью. «Жизнь это – кладезь наслаждений, – писал он, – но где пьет вместе с вами сволочь, там все колодцы отравлены». Он проповедовал войну, говоря, что война – «торжество жизни и высшее проявление ее силы» и утверждал, что Европа нуждается «не только в войнах, но в величайших ужасающих войнах». Ницше совершенно отрицал нравственность: «падающего – подтолкни!», – предлагал он, заявляя, что должна существовать нравственность господ и нравственность рабов и что обязанности возникают только по отношению к равным. Ницше ввел в философию реакционное понятие «сверхчеловека», а его отношение к женщинам характеризовалось известным «афоризмом» – «Ты идешь к женщинам – не забудь плетку!»

«Все эти, и кое-какие еще античеловеческие, архиреакционные взгляды Ницше, – писал в своей статье Моргунов, – всосал в себя, впитал и усвоил передовой отряд мракобесия и бесчеловечности нашего времени – германский фашизм. В свете фактов сегодняшнего дня особенно ярко видна реакционная антипролетарская сущность ницшеанства, особенно ярко видно, что Ницше был идейным предшественником немецкого фашизма и помог последнему создать свои человеконенавистнические теории».

Редакция «Листка» приняла статью Моргунова и, к огромному его удовольствию, опубликовала почти без поправок. Успех статьи оказался огромным; о ней говорили, ее обсуждали, по поводу ее спорили. Она стала известна даже за пределами МГУ.

Через несколько дней после опубликования статьи Моргунов получил несколько писем, среди которых оказалось целое послание от неизвестной ему девушки – студентки 1-го курса биологического факультета. Соглашаясь с выводами Моргунова в целом, автор записки, Мария Александровна Северцева, обвиняла его в упрощении вопроса. Она писала, что предшественниками фашизма были не только философы, не только Ницше, который, став, вероятно, жертвой заблуждения, не ведал, что творил. Роль настоящих предшественников фашизма сыграли, по ее мнению, некоторые биологи и социологи, пустившие в обращение лженаучную мракобесную теорию о будто бы существующей психической неравноценности человеческих рас. «Если бы не существовало этих расистских учений, позволивших Гитлеру в начале 1933 года издать закон, объявляющий арийскую расу высшей человеческой расой на земле, устанавливающий наказуемость смешанных браков и недопущение «загрязнения чистоты арийской расы» неграми, монголами и евреями, – утверждала она, – фашизма не было бы, так как никакие философы в мире не смогли бы дать ему даже столь сомнительного и шаткого базиса, который он получил в результате ошибочных и заведомо неправильных работ Жозефа Гобино, Жоржа Ваше де Лапужа, Поля Брока, Аммона, Вольтмана, Стюарта, Чамберлена, Мортона, Гумцловича и многих-многих других. Разве не факт, – спрашивала она, – что германские фашисты подхватили не только идеи Ницше, но и идеи названных лиц? Задачу оправдать свою далеко идущую экспансию германский империализм возложил на реакционных биологов, фальсификаторов истории и т.д., и эти лакеи империализма выполнили данное им поручение. Они создали лженаучную теорию о том, будто бы все культурные центры мира, даже такие, как Ассирия, Вавилон, Египет, Греция, Рим и Россия, возникли и развились под влиянием гения «германской расы». Они создали такие лженауки, как «расоведение», «расовая гигиена», «геополитика». Они извратили этнографию и археологию. Все эти ленцы, гроссы, дрезели, фробениусы, менчины, монтондоны, и прочая, и

прочая, и прочая являют, говоря словами молодого советского ученого С.П.Толстова, «поистине жуткую картину загнивания буржуазной науки и вызывают у всякого честного ученого только смех и негодование». Но в основе всего того бреда, который под видом науки распространяется германскими фашистами, лежат ошибочные и неверные теории перечисленных выше «ученых» второй половины XIX века. Именно они, эти ученые в кавычках, – писала Северцева, – и стали настоящими предшественниками фашизма, и именно они несут ответственность за создание человеконенавистнических, людоедских лженаук и теорий».

Моргунова очень заинтересовало полученное письмо. Мысленно он отметил, что Северцева не совсем ясно представляет себе причины и механику возникновения крупных общественных и исторических событий, что она придает слишком большое значение психологическим факторам и недооценивает общие причины, то есть состояние производительных сил и производственных отношений. Северцева в своих соображениях не учитывала ни общего соотношения классовых сил в Германии, ни влияния политических партий, ни фазы, в которой находилась к моменту прихода фашистов к власти классовая борьба внутри страны. И, в конце концов, она просто не поняла смысла его статьи. Он ведь не исследовал причины возникновения и развития фашизма. Его тема значительно у'же: «Ницше и современность». Впрочем, послание при всех условиях оставалось очень любопытным документом, и Моргунов решил, что с его автором надо потолковать. Очевидно, это – образованная, умная, хоть и заблуждающаяся женщина. И Моргунов написал Марии Александровне, что хочет встретиться с ней и детально поговорить, так как письменный ответ был бы равноценен целому научному труду, на каковой у него времени нет. Северцева согласилась и назначила время свидания. В один из ближайших вечеров они встретились и проговорили почти до утра.

Мария Александровна оказалась худенькой и хрупкой девочкой с приятными чертами лица и умными, красивыми глазами. Одевалась она с большим вкусом, но довольно таки скромно и просто, и оказалась очень привлекательной, хотя внешне ничем особенным не выделялась. Моргунов сначала даже поразился, что в такой, на первый взгляд немудреной, фигурке скрывается столько ума, знаний и умения логически мыслить. Северцева любила биологию не меньше, чем Моргунов философию, знала в своей области очень много, и спорить с ней оказалось весьма интересно. Моргунов ушел от нее очарованным. Он сам попросил разрешения повторить визит, и они начали встречаться систематически.

А несколько месяцев спустя, весной 1935 года, в студенческом общежитии бурно и весело отпраздновали их свадьбу. Молодежь дурачилась и шутила. Пили «за научное содружество «Моргунов-Северцева», «за советскую биофилософию», «за теоретический листок, породивший новую семью Моргуновых», «за здоровье молодых», и еще за большое количество разных «за».

Так начался новый период в жизни Моргунова, период глубокой и чистой любви, веры в человека и человечество, период упорного труда и развития, великих стремлений и лучезарных надежд.

XV

«Времена меняются, и мы меняемся с ними» – гласит латинское изречение; изменения, претерпеваемые Моргуновым, могли бы служить прекрасной иллюстрацией тонкой наблюдательности древних римлян, запечатленной в этой пословице.

Прошло уже больше трех лет, как Моргунов вступил в партию. За эти годы и в стране, и в личной жизни Александра Сергеевича произошло много событий, и

каждое из них оставляло тот или иной след на его психике, накладывало глубокие, но не сразу замечаемые, отпечатки на его сознание и мировоззрение.

Особенно большие перемены произошли в его отношении к Сталину. До того момента, когда секретарь парторганизации металлообрабатывающего завода, приятнейший в мире человек – товарищ Онуфриев – предложил ему подать заявление о приеме в ВКП(б), Моргунов относился к широко разлитому по стране восхвалению «вождя народов» весьма критически и осуждал Сталина за то, что он позволяет превращать свою персону в кумира. В момент разговора с Онуфриевым у него появились первые сомнения в правильности таких взглядов. Потом сомнения усилились. Моргунов уверил себя, что его критическое отношение питается нехорошими чувствами: интеллигентским индивидуализмом, мелкой мещанской завистью, необоснованным чувством противоречия, и начал искать и находить в характере Сталина выдающиеся положительные черты.

Процесс этот до поры до времени развивался подспудно и незаметно, но в ноябре тридцать четвертого года неожиданно выплыл наружу, когда Александр Сергеевич, сам того не желая, сцепился за чайным столом в жарком споре с дядей Володей. В этот день, в четвертую годовщину смерти отца, их пришли навестить, среди прочих гостей, Владимир Петрович и Катя Поморцева. Пришла и Маруся, с которой Александр Сергеевич тогда еще познакомился недавно, но успел очень крепко сдружиться.

Язвительный Владимир Петрович оставался верен себе. Он всегда любил побалагурить, зло подшутить, что-нибудь высмеять, и умел находить недостатки в самых хороших явлениях.

– Русский человек ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца, – частенько говаривал он, когда его упрекали в неэтичности, и продолжал свои шутки.

Вот и теперь, ведя разговор на отвлеченные темы, он вдруг замолк и, как бы что-то припомнив, совершенно серьезно спросил:

– Да, ребята! А почему Каганович бороду сбрил?

– А кто его знает, – ответила Катя. – Для красоты, вероятно.

– Ну, нет! Не поэтому.

– А почему же?

– Сталину щекотно! – без малейшей ухмылки ответил Владимир Петрович.

За столом засмеялись, а Маруся резко побледнела и, глубоко вдохнув, с ужасом поглядела на дядю Володю. Александр Сергеевич, который в другое время и сам был бы не прочь чуточку позубоскалить, увидев реакцию Маруси, внезапно взорвался.

– Как вам не стыдно, дядя Володя?!. Этим – не шутят!..

– Да ну-у?!. Почему же?..

– А потому... потому... потому что подобные шутки... оскорбляют... советских людей. Мы смотрим на Сталина, как на вождя и учителя, как на творца величайших побед, и мы абсолютно уверены и в правильности намеченного им пути, и в нем самом, и в его друзьях и соратниках.

– Даже так!.. Ну, а я – сомневаюсь! Во всем сомневаюсь! – улыбаясь, ответил Владимир Петрович. – Ты, дорогой мой племяша, философ и должен знать мудрую мысль Декарта: «De omnibus dubito!»

– Не жонглируйте изречениями, дядя Володя! Я говорю совершенно серьезно. Мне кажется, что теперь, после XVII съезда, названного партией съездом победителей, съезда, на котором вожди оппозиции – Зиновьев и Каменев, Бухарин и Рыков, Томский и все остальные, – каялись и прославляли победы, достигнутые под водительством Сталина, прославляли его самого, нет оснований для... насмехательства...

Моргунов запнулся, передохнул и уже более спокойно продолжил.

– Оглянитесь, дядя Володя, назад, посмотрите, что было, что стало. Неужели вы не видите наших огромных успехов? Страна изменилась. Эксплуататорские классы полностью ликвидированы. Остаточное сопротивление эпигонов капитализма сломлено. Процессы «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков» их доконали. Социальная база страны изменилась. В промышленности социалистический сектор занимает безраздельно господствующее положение. Он дает 99,5% всей промышленной продукции. Девяносто девять с половиной, вы понимаете?! Это – в промышленности! А в сельском хозяйстве, в деревне, обобществленный сектор к началу этого года охватывал 84,5% посевных площадей, причем 65% крестьянских дворов уже состояло в колхозах. Это было доложено съезду, а с тех пор прошло еще добрых полгода. Мы еще дальше шагнули вперед! Мы быстро идем к коммунизму!

Не улыбайтесь, пожалуйста, дядя Володя. Я прав безусловно. Ведь везде, во всех уголках нашей жизни идет бурный процесс консолидации. Посмотрите на партию: она сплочена и монолитна как никогда. Никаких оппозиций, никаких разногласий! То же – в советском народе. В нашем обществе сгладились внутренние противоречия. В литературе, музыке, искусстве отмирают антагонистические группы и направления. Возникают единые союзы советских писателей, советских музыкантов, советских художников. Весь наш народ сплотился вокруг партии на единой советской платформе. А руководит ею – партией – Сталин!..

– Ура, и так далее, – спокойно ответил Владимир Петрович. – Слава вождю!.. А я все равно – сомневаюсь! Победы — победами, никто их не отрицает. Но какой ценой даются они! В России – житнице мира! – карточная система на хлеб и на продовольствие, да и на все промышленные товары тоже; многоступенчатая система снабжения с всевозможными привилегиями, закрытые распределители, карточки разных категорий, кремлевские пайки, литерное снабжение, коммерческие магазины, Торгсин на валюту и ценности, роскошь и излишества, а народ – в сплошной нищете. Ну, как тут не вспомнить «Повесть о Горе-Злосчастии»?

Али тебе, молодец, не ведома
Нагота и босота безмерная,
Легота, беспроторица великая?..

История – увы! – повторилась, но это тоже, конечно, – победа... «под руководством товарища Сталина!»

– Нет, не победа! Это – болезни роста! Дети тоже болеют...

– Конечно, конечно! И не только болеют. И умирают!.. Все, что ты называешь великой победой в деревне – никому не нужное, зверское издевательство над трудовыми людьми. Ленин предлагал совершенно другое. Ленинский – кооперативный – план построен на добровольности. Он не предусматривал насилия и истребления, раскулачивания, ссылок, тюрем, расстрелов... Но все это в твоем толковании – тоже победы!

Моргунов побелел. Он вспомнил Терентьева в грязных подштанниках, оголенную грудь его горем сраженной жены, детей и слепую старуху, больного теленка у печки. У него захватило дыхание.

– Нет, это совсем не победы! – с трудом вымолвил он. – Нет. Не победы!.. Это – ошибки!.. Но... они ведь – исправлены!.. Сталиным!..

– Вот, вот! Именно – Сталиным! Сталин сначала наделал ошибок, но его за них вознесли до небес, возвеличили прямо как бога. Потом он их стал исправлять. Слава – снова ему! Он – один! Он – великий и мудрый. Он – творец и работник. Все в стране – это он; остальные – ничто! Он один построил социализм, совсем как в том разговоре, в «Железной дороге» Некрасова, «строил дорогу граф Петр Андреич Клейнмихель». А помнишь еще, что Некрасов сказал: «Труд этот, Ваня,

был страшно громаден – не по плечу одному!» Впрочем, Сталину, кажется, все по плечу!

– Слушай-ка, дядя Володя, – вмешалась в разговор до сих пор молчавшая Катя Поморцева, – Давай, переменим пластинку! Мне этот мотив надоел. Мы с Сашей тоже умеем цитировать. И даже – того же Некрасова. Помнишь такие слова: «Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и не жившим...»? По-моему, на сегодня – достаточно!.. Хватит!.. Согласен?..

– С вами говорить... – недовольно махнул рукой Владимир Петрович. – Чуть только что, и сразу – «давайте не будем!..» Ну, да ладно! Бог с вами!..

Много раз потом, обдумывая происшедшее за столом, Саша ставил перед собою вопрос: отражали ли слова, брошенные им с таким задором Владимиру Петровичу, его подлинные взгляды и настроения.

– Черт его знает!.. Может быть, даже и нет!.. – отвечал он себе. – На меня повлияла Маруся, ее немой, испуганный взгляд... Хотя... с другой стороны...

Обычно он не додумывал.

Но с того дня, как бы перейдя какую-то невидимую черту, он стал машинально пытаться привести свои мысли в полное соответствие тому, что высказал в тот знаменательный вечер. Он инстинктивно отстранялся от всяких критических взглядов и почти что сознательно заставлял себя восторгаться деятельностью Иосифа Виссарионовича и верить в его непревосходимую гениальность. В повседневной жизни Саша – так же, как и другие – часто произносил имя «гениальнейшего из людей» всуе, вспоминая о нем в каждом выступлении, цитируя его труды и ссылаясь на его речи и тексты. И все-таки временами, хотя и не часто, положа руку на сердце, он убеждался, что делает это не по собственному побуждению, а просто потому, что «так принято», потому, что все значительное, что происходило в стране, все среднее, все мелкое, все без исключения, приписывалось заботам, указаниям и мудрости этого человека. Моргунов часто поминал и пропагандировал его, а в глубине души считал, что этого делать не следует, что, поступая так, он идет на уступки требованиям толпы и, по сути дела, поощряет низменные инстинкты и богоискательство, вредное даже по одному тому, что оно подавляет энергию и самостоятельное мышление народных масс.

Противоречив человек! Моргунов, который гордился своей прямотой и ненавидел неправду, попал в такое ложное по отношению к самому себе положение, что и сам не знал – где же правда? Верит ли он в право Сталина быть земным богом или нет, верит ли, что ослепительная сталинская слава действительно заслужена им?.. Верит!.. Но, почему же тогда живут в душе ирония и насмешка, почему ворочается где-то в глубине скрытый протест?.. Нет, не верит!.. Но зачем же тогда вполне искренно ищет он в сталинских трудах мудрые мысли, почему бытуют в его речах такие обороты, как: «у товарища Сталина написано...», «товарищ Сталин сказал...», «как говорит товарищ Сталин...» и т.д. и т.п.?

– «Дело ясное, что дело темное», – вспоминая ходячую остроту, иронизировал он над самим собой.

Моргунов так и не сумел разобраться в возникшей коллизии, так и «не познал самого себя», а не познал потому, что, не догадываясь об этом, находился в процессе тяжелой ломки. От одного берега отстал, а к другому не пристал. Вот и болтался он где-то посередине, не зная, куда приткнуться, поражаясь своим неразумием и нерешительностью. А по существу все его затруднения произошли от того, что Александр Сергеевич, состоя членом партии и принимая участие в партийной жизни, считал себя, во-первых, обязанным, хотя бы в порядке партийной дисциплины, поддерживать практическую линию большинства, а во-вторых, невольно поддавался общему настроению окружающих людей, особенно

собственной жены, и его взгляды на роль и значение Сталина медленно, но верно, менялись и вливались в общее русло.

Выстрел, раздавшийся 1 декабря 1934 года в Смольном, в Ленинграде, послужил дополнительным сильным толчком. Убийство Сергея Мироновича Кирова казалось загадочным и совершенно непонятным.

Кому оно понадобилось? Зачем? Сперва разнеслись слухи, что убийца-злодей прибыл из-за границы. Затем версия изменилась. Николаева объявили представителем троцкистско-зиновьевского подполья. Как бы то ни было, но смерть Кирова явилась своеобразным сигналом к расправе со всеми инакомыслящими, сомневающимися и колеблющимися. Почти в тот же день начало интенсивно действовать не проявлявшее до сих пор признаков жизни Особое Совещание при Народном комиссариате внутренних дел СССР, созданное еще 13 июля 1934 года взамен упраздненной тогда же Судебной Коллегии ОГПУ. Еще через несколько дней по приговорам Военной Коллегии Верховного Суда СССР расстреляли несколько десятков человек.

Убийство Кирова, представленное народу и партийным массам как злобный выпад вдребезги разбитых осколков оппозиции против генеральной линии партии и лично товарища Сталина, вызвало к вождю, как к живому олицетворению партии, новую волну славословия, преданности и почитания, и эта мощная волна захлестнула и увлекла за собой, вместе с другими, и Моргунова. Оценив и обдумав происшедшее, он пришел к выводу, что простому народу нужен кто-то, за кем можно идти без страха и сомнений, нужен особый светоч, и что таким светочем, в силу исторических обстоятельств, лучше всего быть именно Сталину.

Но и этот вывод не избавил его от сомнений; где-то внутри, в глубине души, оставался маленький, скрытый от взглядов людей червячок, который нет-нет, да выпускал свое острое жало, и тогда яд неуверенности и неверия вновь разливался по всему существу Моргунова, разливался ненадолго и после логического раздумья вновь исчезал, но он все-таки существовал, этот червячок, и время от времени давал о себе знать. Ломка моргуновских взглядов все еще продолжалась.

Завершение ломки пришло только после женитьбы, и было связано с влиянием жены и громадной любовью к ней. Маруся принесла во вновь образованную семью настоящее счастье, и на какой-то период Александр Сергеевич с головой ушел в его созерцание, полностью, как ему казалось, отрешась от всех других вопросов реального бытия.

XVI

Александр Сергеевич и Маруся поженились весной 1935 года и после некоторого раздумья поселились в квартире ее родителей, в крохотной Марусиной комнатушке, выгороженной для нее из некогда большой комнаты.

Некоторые неудобства жизни с родными, далекими по духу от их интересов, проходили мимо, почти не тревожа. Совместная жизнь молодой супружеской пары оказалась сказочно дружной, любовь их не знала пределов. Они никогда не ссорились и взаимно друг другу во всем уступали.

Любая приятная мелочь вызывала бурную радость обоих. Они искали и находили показатели единства взглядов и факты единомыслия между собой даже там, где их некогда не бывало. Маруся, например, мечтала окончить университет, пойти в аспирантуру, стать ученым-биологом; примерно по такому же пути, но по философской линии, намеревался идти Моргунов; в этих стремлениях не было ничего особенного или объединяющего двух обыкновенных людей, но они усматривали в них близкое родство своих душ и вместе им восторгались.

В первые месяцы после брака между ними не возникало никаких разногласий. Взаимная страсть скрывала все противоречивое. Все становилось умным и нужным, их любовь и привязанность казались сверхъестественными, такими, каких ни у кого другого быть не могло.

Оставалось просто непонятным, как это они так долго жили, не зная друг друга. Теперь даже при посторонних они не могли удержаться от плохо скрываемых ласк, нежных названий и как бы случайных прикосновений друг к другу. Со стороны казалось, что эти два человека – части одного организма, наделенного общей душой, и они чувствовали это и делали все, что от них зависело, чтобы единство не нарушалось.

А жизнь стремилась вмешаться в их неразрывную общность, она ставила перед ними важные и сложные проблемы, которые при взгляде со стороны кажутся простыми и легкими, но, возникая для каждого конкретного случая впервые, создают у сталкивающихся с ними людей впечатление немыслимых и непреодолимых затруднений.

Наступила осень, и Александр Сергеевич заметил, что Маруся чем-то озабочена: сидит, занимается, перед ней открытая книга, а глаза направлены вдаль; какой-то странный, отсутствующий взгляд, и на лице – выражение грусти.

– Марусик, Марусенок мой, милая, что с тобой, сердце мое? О чем ты грустишь?

– Что ты, Роднусь!.. Тебе показалось!

– Да нет, Марусенок, не показалось. Я действительно видел...

– Ничего ты не видел, Сашок. Я – такая же, как и всегда.

– Ты что-то скрываешь, Маруся!

– Ничего не скрываю... Дай, я тебя поцелую. Ну, вот! Ну, вот так!.. Хорошо!.. Не думай, Роднусь, ни о чем... Я тебя беспредельно люблю!

– Я тоже, Мариш! Но ты что-то таишь от меня... Ну, скажи мне, родная! О чем ты грустила сейчас?

– Так, Сашок, ни о чем!.. Даже не вспомню... Так, просто!

– Неправда, Маруся!.. О чем?

– Ну... о – нем!

– Не шути!.. Я ужасно ревнив!

– Вот об этом я и не знала! Как же так?.. Коммунист! Человек новой эры!.. Впрочем, это – нормально... Ревность присуща почти ста процентам людей... Но, Сашок, дорогой, у тебя – никаких оснований! Я – Пенелопа! Клянусь тебе собственной жизнью!

– Собственной жизнью?!. А может быть, это не так уж и много?.. Помнишь тот каламбур: «люблю тебя, как жизнь свою – на жизнь свою плевать хочу»!

– Нет! Я не из тех, кто на жизнь плюет. Ты это знаешь.

– Да дело не в этом!.. Но все же... о чем ты грустила?

– Я не грустила, тебе показалось... Просто задумалась... даже не помню о чем.

Так повторилось несколько раз. И каждый раз Моргунов терялся в догадках, и не мог понять, что на душе у Маруси. «О чем ей грустить? Что вообще происходит?» В такие минуты сомнений он страдал, ревновал и терзался, но Марусины ласки его усмиряли.

Но через несколько дней, поздно ночью, когда все в квартире уснули, Маруся его разбудила.

– Роднусь, ну проснись же!.. Не спишь?.. Я должна тебе что-то сказать!.. Да ты не волнуйся!.. Мне просто хотелось, чтобы никто не мешал, чтобы – с глазу на глаз... чтобы мама не знала... Знаешь что? Завтра я лягу в больницу!.. Нет, нет, я ничем не больна. Но ты понимаешь – аборт!.. Подожди возмущаться!.. Выслушай прежде...

У Александра Сергеевича помутнело в глазах. «Так вот что скрывала Маруся все эти долгие дни и часы, вот откуда ее взгляд, устремленный в пространство... Вот откуда... Ах, Маруся, Маруся! Я же чувствовал, я понимал... Почему же ты не сказала?.. Я ведь спрашивал... ты умолчала... Ах, какой я болван: я поверил, что мне показалось...»

– Почему же – аборт? – перебил он Марусю. – Марусеночек, сердце мое, почему же аборт?.. А если оставить?!. Ведь когда-нибудь надо!.. Лучше теперь, чем потом. Жизнь-то вроде наладилась. В магазинах есть все, что захочешь, все можно будет купить. Карточек больше не надо, их отменили. «Жить стало лучше...» – это сам Сталин сказал.

– Ты меня выслушай, Саша! Ведь ты понимаешь... Я всю жизнь мечтала отдаться науке... учиться, работать!.. И мне удается... Но это ведь только начало... и вдруг – перерыв! Беременность, роды, ребенок... Раньше надо хотя бы окончить... Я понимаю... я – женщина... первый ребенок... все это – страшно. И, знаешь, Сашурка, ведь я – не хочу, не хочу!.. Но... надо! Иначе все пропадет: начнутся пеленки, болезни, начнется слепая любовь и тревога за милое чадо... ведь я – человек! И наука – прощай!.. Я долго думала, Саша. Мне было так трудно... Но я решила, решилась! Теперь уже все!.. Маме надо сказать, что я уезжаю на практику. А я из больницы поеду к подруге и поживу у нее дней десяток, может быть, даже пяток. Ты будешь меня навещать... Хорошо?..

– Маруся! Не надо! Ведь мы собираемся жить настоящей семьей... Пусть будет ребенок!.. Наука твоя не уйдет!.. Годом позже!..

– Нет, Сашенька, нет! Я решила!.. Какая семья у студентов? Вот окончим – тогда!.. А пока что – не надо... Ведь все это вышло вне плана... ведь все это – наша неопытность!

– N'est ce pas immoral? – вдруг произнес Моргунов по-французски, повторив слова Долли Облонской.

– Immoral?! – усмехнулась сквозь слезы Маруся. – Кого сейчас это заботит?!. Вся наша жизнь – имморaль.

Моргунов помолчал.

– Маруся! – сказал он после томительной паузы. – Аборт – это вредно! Есть риск искалечиться. Зачем это делать?.. Лучше оставить ребенка. Как-нибудь выкормим. И для науки полезно – узнаешь практически, как развивается плод!

– Нет, Сашочек, не надо!.. Пока что не надо! Вот кончим учиться – тогда!

И Моргунов согласился. Лично он, говоря откровенно, совсем не пылал желанием заиметь ребятенка теперь же. Рассуждая абстрактно, он говорил себе то же самое, что говорила Маруся: «Рано, – мол, – нашей убогой семье! Надо сначала закончить образование!» Однако, когда Маруся объявила ему о решении сделать аборт, даже не сообщив предварительно о своей беременности, он совершенно искренне возмутился и, ничуть не кривя душой, сделал попытку отговорить ее от опрометчивого, как ему показалось, решения. Но Маруся твердо стояла на своем. А разве мог он идти против воли Маруси?! Ведь с первых дней их взаимной любви у него появилось инстинктивное, им самим не осознанное желание не замечать ее недостатки, а все, что она говорила, принимать как нечто бесспорное; и даже тогда, когда было совсем невозможно, он всегда находил компромисс, и их отношения не ущерблялись.

Именно так произошло и теперь. Они пришли к соглашению, и на следующий день Александр Сергеевич проводил Марусю до дверей абортария, крепко расцеловал ее перед тем, как она переступила порог.

Он шел обратно пешком и думал о ней. Он восхищался ее твердостью, решимостью, бесстрашием, он возводил ее недостатки в ранг достоинств и впервые подумал, что в нем и Марусе, в сущности говоря, много не только несходного, но и прямо противоречивого. Когда они только что познакомились,

их взгляды на мир весьма и весьма различались. Хотя бы в вопросе об отношении к Сталину. Александр Сергеевич к нему относился критически, Маруся же – боготворила. Но любовь примирила их мнения и уничтожила все разногласия. По молчаливому соглашению Маруся не спрашивала у Моргунова, что он думает о нашей действительности, а он, в свою очередь, старался не замечать ее детского восхищения умом и величием Сталина. Такая обоюдная предупредительность и терпимость обеспечили им мирную и одухотворенную жизнь, в которой постепенно сглаживались и притирались не замечаемые, но реально существующие противоположности их воззрений и интересов.

Маруся была прирожденным естественником, и другими вопросами, в частности, философией и текущей политикой, интересовалась лишь в тех пределах, в каких они соприкасались с естествознанием или входили в предметы университетского курса. Моргунов находил в этом особую, хотя лично для него и неприемлемую, прелесть и, ослепленный чувством, оправдывал такие наивности, слетавшие с уст Маруси, какие вызвали бы у него резкую и беспощадную критику, будь они произнесены кем-либо другим.

После аборта их близость еще увеличилась, а вместе с ней увеличилась и привязанность Моргунова к Марусе. Он старался бывать с ней как можно больше и от одного ее присутствия чувствовал настоящее счастье. Постоянное же общение с женой и ее огромное влияние на него резко ускорили трансформацию взглядов Моргунова, и постепенно он стал смотреть на мир глазами Маруси.

Его перестало возмущать общее преклонение перед личностью «вождя и учителя всего прогрессивного человечества», он уверовал в его гениальность и мудрость, уверовал в его право на любовь и преданность народа, и только иногда еще, когда он прочитывал в газетах неумеренно восторженные статьи и натыкался на какой-нибудь особенно замысловатый эпитет, у него на губах, как рецидив прежних настроений, появлялась легкая, чуть-чуть ироническая улыбка.

XVII

В начале августа 1936 года в Москве стояла сильная жара. Термометр в отдельные дни показывал более 37° в тени. Люди ходили мокрые, распаренные, и каждый, кто мог, пытался укрыться от солнечных лучей и выбраться из душных комнат и домов куда-нибудь в тень, на воздух, на реку и за город. Моргунов с Марусей сбежали от жары на дачу к Марусиным родным. Тут тоже, особенно в полдень, было неимоверно трудно, хотя густая растительность в саду сильно смягчала жару. За день дача сильно раскалялась, и к вечеру в ней становилось нечем дышать; поэтому Александр Сергеевич и Маруся выносили постель в сад и стелили себе прямо на земле, под высокой лохматой сосной. Маруся жила на даче безвыездно, а Моргунов через день ездил в Москву закупать для всех живущих на даче провизию.

Как-то раз, рано утром, Александр Сергеевич приехал в город, и, выскочив из вагона, быстро побежал по перрону, чтобы выйти на вокзальную площадь, не задерживаясь в толпе, но по дороге его остановил какой-то человек.

– Если не ошибаюсь, товарищ Моргунов?

– Совершенно верно, я! – ответил Моргунов, с недоумением глядя на высокого человека в белой гимнастерке и синих брюках галифе, заправленных, несмотря на жару, в высокие сапоги. – А откуда вы меня знаете? Я вас что-то не припомню!

– Сейчас я вам объясню. Давайте отойдем немного в сторону, а то на людях неудобно!

Когда они отошли в безлюдное место, незнакомец достал из кармана и показал Моргунову повестку, в которой ему предлагалось явиться в НКВД СССР, в комнату

номер такой-то. Повестка была подписана заместителем народного комиссара внутренних дел.

Моргунов несколько раз прочел ее, но никак не мог сообразить, куда и когда ему надо явиться. Наконец уразумел, что время явки в повестке просто отсутствовало.

– Хорошо, приду, – сказал он. – А когда это надо придти?

– Поедемте сейчас! – ответил человек. – Видите ли, тот, кто вас вызывает, сейчас там, а потом может уехать. Прождете потом целый день. Лучше сразу! Кстати, меня машина дожидается. Поедемте, я вас подвезу.

Недоумевающий Моргунов покорно пошел за незнакомцем. Того, действительно, ждал автомобиль – прекрасный новый лимузин марки Рено.

– У вас паспорт с собой? – неожиданно спросил Моргунова спутник, когда они ехали в гору по Каланчевской.

– Нет! – удивленно ответил Моргунов. – На что он мне сдался, с собой таскать!

– Ну, как же без паспорта? Неудобно!.. А оружие с собой?

– Оружия у меня нет, – сказал Моргунов.

– А где оно? Дома?

– Да нет же, у меня оружия совсем нет, и не было никогда!

– Странно! Как же вы и без оружия, и без паспорта?!

– Да на кой черт они мне нужны?

– Ну, как сказать! Вот сейчас на вход в здание пропуск надо брать, а без паспорта могут не дать.

– Вот как? Тогда давайте заедем домой, возьмем!

– Да нет уж, не надо!.. Я вас как-нибудь так проведу!

Они подъехали к комендатуре НКВД на Кузнецком Мосту. Незнакомец попросил Моргунова подождать и через несколько минут вышел с пропуском.

– Все обошлось, пропустят, – сказал он, снова садясь в машину.

Через боковой вход на улице Дзержинского они вошли в здание НКВД и на лифте поднялись на пятый этаж. Еще через минуту Моргунов сидел уже на диване, в просторном кабинете, перед человеком, в петлице которого красовался ромб. В кабинете стояло три письменных стола. Два лицом к лицу у окна, расположенного прямо напротив двери, а третий в середине комнаты, справа от входа, спиной к продольной стене. Около каждого на специальных тумбах-шкафчиках располагались несгораемые меллеровские шкафы и телефонные столики с двумя телефонами на каждом из них. Диван занимал среднюю часть стены, и в одну линию с ним, ближе к двери, стоял деревянный канцелярский шкаф. Обстановку кабинета дополняли несколько стульев и широкий подоконник у окна, перечеркнутого поперек тремя линиями металлических прутков, привинченных прямо к раме. Из всех трех столов в момент появления Моргунова был занят только один: у окна, слева от двери.

Следователь очень приветливо поздоровался с Моргуновым, осведомился, давно ли он состоит в партии, предложил ему пересесть на стул, поближе к столу, и сказал задушевным дружеским тоном:

– Видите ли, Александр Сергеевич, мы пригласили вас потому, что нам необходимо проверить кое-какие наши материалы, касающиеся деятельности бывших оппозиционных групп и их связей. Мы рассчитываем на то, что вы, как образованный коммунист, сумеете нарисовать нам подробную картину влияния троцкистско-зиновьевской идеологии на наше юношество. Мы просим вас помочь нам, просим как коммуниста и как советского человека!

Моргунов, что называется, развесил уши. Смутное беспокойство, охватившее его в автомобиле во время разговора о паспорте и оружии, неожиданно исчезло. Он слегка пожал плечами и почти что весело проговорил.

– А что, собственно говоря, вас интересует? Я боюсь, что не сумею удовлетворить вашу любознательность, так как к оппозиции никогда не принадлежал и об ее идеологии знаю, пожалуй, не больше того, что писалось когда-то в газетах.

Следователь чуть заметно поморщился.

– Ну, вы-то знаете! – уверенно проговорил он. – Вы этим делом интересовались. Троцкистскую литературу почитывали, обсуждали ее!.. Знаете что, Александр Сергеевич, представьте себе, что вы находитесь в партколлегии и отвечаете на ее вопросы. Вы должны говорить только правду, абсолютную правду, иначе – какой же вы коммунист?! Так?.. Ну, так вот, рассказывайте! Рассказывайте все как есть. Я пока вопросов ставить не буду. Давайте-ка сами, все, что знаете... с самого начала и до самого конца. Идет?

– Ладно, идет! Но я не знаю с чего начать, что вас интересует.

– Все интересует! Ну, начните, хотя бы, с того, когда и от кого вы впервые узнали о существовании оппозиции, как отнеслись к ней. Когда наметилось сближение ваших взглядов с оппозицией, что вы конкретно делали для нее. Какие поручения выполняли. Кто давал вам для чтения литературу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все-все, с начала до конца.

Спокойный, дружеский тон следователя располагал к доверию. Казалось, сошлись два закадычных, давно не встречавшихся, друга и начали извечный разговор о жизни, о сомнениях, о судьбах людей и революции, обо всем, что казалось когда-то неясным, а потом прояснилось. В кабинете было не так жарко, тихо, уютно, и, собравшись с мыслями, Моргунов стал говорить, говорить обо всем.

Он совершенно откровенно рассказал о своих бывших и настоящих взглядах, о сомнениях и колебаниях, о неудачном участии в ликвидации кулака как класса и о проводах Троцкого, о прочитанных в далекие годы документах оппозиции и своем отношении к ним. Он считал себя морально обязанным ничего не скрывать и говорить обо всем, что он думал, делал и знал, как можно подробнее. Никакого страха он не испытывал, и ему даже в голову не приходило, что его – коммуниста – могут посадить в тюрьму за то, что он не сразу понял смысл и значение того или иного партийного решения или за то, что прочел неопубликованное в официальной печати политическое завещание Ленина и поговорил о нем с товарищами. Он находился в НКВД и рассказывал обо всем не какому-нибудь другу или приятелю, а следователю секретно-политического отдела, но он относился к НКВД, к ГУГБ, как к своему родному, близкому органу – органу, стоящему на страже завоеваний столь дорогой ему Октябрьской революции, органу, созданному партией, выпестованному рыцарем революции Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Что ему было скрывать от этого органа? Мог ли он что-нибудь скрыть от него? Нет, не мог! Он рассказывал обо всем так, как рассказывал бы на партколлегии – честно, правдиво, абсолютно не колеблясь. Да ему и нечего было скрывать. Он не мог упрекнуть себя ни в одном бесчестном поступке, ни в одном, даже случайном, нарушении партийной дисциплины или партийной этики. Перед партией он был абсолютно чист. Он был настоящим, стопроцентным, идейным коммунистом.

Следователь слушал очень внимательно, на ходу записывая то, что говорил Моргунов, на отдельные разрозненные листы простой писчей бумаги, но, хотя он для скорости и писал карандашом, угнаться за темпом рассказа явно не мог. Очевидно, поэтому он иногда останавливал Моргунова, задавал дополнительные вопросы, кое-что переспрашивал и быстрыми нервными движениями откидывал заполненные листы в сторону.

Моргунов смотрел на все возрастающую пачку исписанной бумаги и удивлялся несовершенству канцелярской техники НКВД. Если их так интересует его рассказ,

пригласили бы стенографистку или велели бы ему подробно написать все это собственноручно, а то останется от беседы гора записок, в которых сможет разобраться разве только тот, кто их сам писал, и, конечно, ничего ценного извлечь из них не удается. Моргунов полагал, что такими черновыми набросками и будет исчерпана запись его показаний, и это давало ему еще большую уверенность, что против него лично здесь ничего не замышляется. Как ни мало разбирался он в юриспруденции, но то, что карандашная запись на отдельных листах не может служить каким-либо обвинительным документом, понимал совершенно отчетливо.

И он охотно отвечал на все дополнительные вопросы, вспоминал и уточнял даты, развивал только что возникшие мысли, и испытывал большое удовольствие, когда следователь хвалил его хорошую память и четкость изложения.

Когда Моргунов кончил рассказывать, следователь собрал все исписанные листы и попросил Моргунова выйти и подождать его в коридоре.

– Пойдемте, Александр Сергеевич, – сказал он, выходя из-за стола. – Можете немного поразмяться. Если нужно в два нуля – пожалуйста, по коридору направо, третья дверь налево, а потом посидите, подождите меня. Стулья тут есть.

Они вышли в коридор, следователь захлопнул дверь, потянул ее на себя и, убедившись, что замок автоматически сработал, ушел в соседний кабинет.

Моргунов остался один.

XVIII

Следователь отсутствовал больше двух часов, и Моргунову стало казаться, что о нем позабыли. Ждать было очень тяжело. Нервное возбуждение улеглось, наступила реакция, почувствовалось сильное утомление, стало клонить ко сну.

Александр Сергеевич не знал, как убить время. Он бродил по коридору, присаживался на стул, ходил умываться, мочил лицо и голову водой и, наконец, даже направился к выходу, но выйти из здания не сумел. У дверей стояли вооруженные часовые, тщательно проверявшие пропуска, и Моргунов возвратился обратно.

Ожиданию, казалось, не будет конца, но в жизни все когда-нибудь кончается, кончилось и это томление. Следователь вернулся, открыл кабинет и, сев за стол, начал официальный допрос. Глядя в принесенный листок бумаги, он задавал Моргунову, по-видимому, кем-то другим сформулированные вопросы и самым подробным образом записывал ответы на них.

Кончив допрос, следователь вновь попросил Моргунова выйти в коридор и вновь ушел в соседний кабинет. На этот раз он пропадал не так долго и, вернувшись, принес с собой новый, отредактированный текст ответов на поставленные вопросы. Ни о чем Моргунова не спрашивая и ничего с ним не согласовывая, он переписал принесенный текст в форменные, отпечатанные в типографии, бланки протокола допроса. Следователь писал долго, а Моргунов сидел и с все возрастающей тоской ждал. Он думал, что время идет, что ему давно уже пора вернуться на дачу, и что Маруся, вероятно, беспокоится и гадает, куда он пропал. Он думал и глядел в окно на раскаленное голубое небо, а следователь все писал и писал. Наконец, протокол был готов. Следователь зачитал его Моргунову и предложил ему подписать каждый лист в отдельности.

Моргунов был ошарашен. Все, прочитанное ему, вообще говоря, было правдой и составляло часть его собственных показаний, но так как последние были сильно сокращены и тенденциозно перетолкованы, то смысл их получался совсем не такой, какой придавал им Александр Сергеевич.

– «Я воспитывал себя в духе ленинского указания – ничему не верить на слово, и поэтому пытался критически относиться ко всему, что приходилось читать или

слышать», – отвечал Моргунов на вопрос: «Были ли у вас сомнения в правильности генеральной линии партии и политике советского правительства?». – Вполне естественно поэтому, что еще в детстве у меня иногда возникали сомнения в правильности тех или иных мероприятий партии и правительства. Однако, подробно обдумав таковые, я всегда приходил к пониманию их необходимости, приходил к выводу, что данное решение было безусловно правильным и нужным. И я беспрекословно подчинялся ему и проводил его в жизнь без всяких колебаний».

– «Еще в детстве я начал критически относиться к мероприятиям партии и правительства, и у меня возникали сомнения в их правильности», – гласил отредактированный ответ Моргунова.

– Позвольте, – возмутился Моргунов, – ведь здесь записано совсем не то, что я говорил. Где же текст моего ответа? Где мои слова о том, что сомнения появлялись в результате сознательного стремления, в соответствии с указанием Владимира Ильича, ничему не верить на слово? Где, наконец, самое главное – мои слова о преодолении сомнений?

– А все это, Александр Сергеевич, не имеет отношения к поставленному вопросу. На вопрос надо отвечать коротко и ясно. Были сомнения? Были. Вот и все! Зачем же затуманивать вопрос? Вас же не спрашивают: «почему они были?» Не спрашивают вас также и о том, проходили они потом или нет, преодолевали вы их или нет. Вас спрашивают: «Были ли у вас сомнения?» Вы отвечаете: «Да, были... еще в детстве были!» Ну, вот и все! Здесь так и написано.

Тирада следователя увеличила растерянность Моргунова. Он начал спорить, доказывать, что новая редакция его ответов исказила и извратила его показания, но следователь был непреклонен. Он по многу раз повторял одно и то же, решительно отказывался вносить в протокол «совершенно лишнюю», как он говорил, «психологию» и убеждал Моргунова не торговаться из-за формулировок.

– Что ты торгуешься? – перейдя на «ты», уговаривал он Моргунова. – Чего ты боишься? Ведь ты находишься в советском НКВД, это – меч диктатуры пролетариата, твой собственный меч, ты же – коммунист! Ты, может быть, думаешь, что тебя за детские сомнения отвечать заставят? Или ты нам не доверяешь? Какой же ты тогда коммунист?!.

И Моргунов испытывал странное чувство. В самом деле, почему он торгуется, какие у него основания не доверять своему НКВД? Не уподобляется ли он буржуазным мещанам, уверяющим, что в НКВД «пришивают» дела? «Зачем им нужно «пришивать»? Какая глупость!.. Глупость ли?.. Ну, конечно, глупость, безусловно – глупость... Да, это так, но почему же все-таки следователь не хочет указать на временный характер сомнений? Сомнения – это одно, а временные сомнения – совсем другое!»

Он начал доказывать это следователю, и тот вдруг согласился.

– Временные, – говоришь ты? – Ну, бог с тобой, пусть будут «временные».

И следователь переписал тот лист протокола, в котором говорилось о сомнениях, с начала до конца, уместив в новом тексте перед словом «сомнения» слово «временные».

Прочитав вновь написанный текст, Моргунов увидел, что вставка слова «временные» ничего не изменила в основном смысле формулировки, но он уже настолько устал от спора со следователем и был настолько морально опустошен всем случившимся, что ему стало почти безразлично. Он вздохнул и подписал лист допроса, прочеркнув предварительно пустое место, оставшееся на строчке между концом вопроса и началом ответа.

– Вот, видишь, какой ты грязный человек! – сказал ему следователь. – Видишь, какой ты «коммунист»! Зачем ты прочеркнул строчку? Опасаешься, что что-нибудь впишут? Не доверяешь?.. Кому не доверяешь?.. Ты об этом подумал?

Моргунов ничего не ответил. Он собирал силы для того, чтобы дать бой по формулировке ответа на следующий вопрос.

– «Знакомы ли вы с нелегальными контрреволюционными изданиями бывшей троцкистской оппозиции, направленными против генеральной линии партии и лично товарища Сталина, и какие выводы в отношении И.В.Сталина вы сделали, прочтя указанные антисоветские издания?» – гласил вопрос.

Моргунов ответил на него чрезвычайно подробно. Он рассказал про все свои детские переживания, про стремление все знать и во всем разбираться. Он рассказал про тот жгучий интерес, который проявлялся в среде молодежи ко всем вопросам, служившим предметом дискуссии, рассказал про статьи Устрялова, про опубликованные заявления оппозиции и про ее неопубликованную платформу, он рассказал про все и в том числе про «политическое завещание Ленина», которое читал в отпечатанном на ротаторе виде. Он протестовал против неправильной, по его мнению, редакции вопроса, в которой кощунственно сваливались в одну кучу и назывались контрреволюционными и антисоветскими – и клевещущие на партию листки, и произведение Владимира Ильича Ленина. Моргунов признавал, что пришел к выводу о необходимости перемещения Сталина с поста генсека на другую работу, но потом согласился с решением XIV съезда ВКП(б), и в заключение добавлял, что время заставило его пересмотреть свое отношение к Сталину, и что теперь он тоже считает Сталина выдающимся деятелем и вождем, полностью заслужившим любовь и авторитет, которыми он пользуется.

От всего этого ответа, записанного следователем в черновике на пяти развернутых листах бумаги, в отредактированном варианте осталось всего несколько строк:

– «Да, я читал нелегальные, контрреволюционные издания бывшей троцкистской оппозиции, направленные против генеральной линии партии и лично товарища Сталина, и пришел к выводу о необходимости убрать И.В.Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б)».

Моргунов начал спорить. Он не считал, что даже такие тенденциозно обработанные формулировки могут ему как-то повредить. Он спорил просто из любви к истине. Следователь как бы между прочим сказал ему, что весь этот разговор нужен только для того, чтобы подготовить детальный отчетный обзор оппозиционных течений в партии, выяснить границы идеологического влияния оппозиции и определить размеры охвата ее идеями различных классовых и возрастных групп населения.

И сбитый с толку, ошеломленный, внутренне растерявшийся Моргунов поверил ему. Пусть семь раз оглянется на себя самого мудрец, который решится бросить в него за это камень!

И все же Моргунов спорил, но все его возражения отлетали от следователя, как от стенки горох.

– Какое ты имеешь право требовать, чтобы мы изменили формулировку вопроса? Тебе, дорогой Александр Сергеевич, такого права не предоставлено. Вопрос ставим мы. Мы и отвечаем за его правильность. Твое дело отвечать и отвечать не на что-либо другое, а именно на наш вопрос. Поймите, Александр Сергеевич, – неожиданно опять переходя на «вы», продолжал следователь. – Вы ведь вообще неправы с вашим толкованием характера нелегальной литературы: «Вот, это, мол, грязные листки, а это – произведение Владимира Ильича Ленина». Да кто вам сказал, что вы читали именно произведение Ленина? Может быть, это вовсе и не Ленин. Так, какой-нибудь троцкистский пасквилянт написал, подписал: «Ленин», а вы уши развесили: «Ах, Ленин!» Вы, что, рукопись Ленина видели?.. Не видели?! Ну, так чего говорить! Подписывайте, подписывайте, Александр Сергеевич, так, как есть. Здесь не в церкви – не обманут!

Все испытанное, перечувствованное, пережитое за относительно недолгую жизнь Моргунова, от первых проблесков интереса к социальным проблемам и до конца политического созревания, туманной волной пронеслось перед ним. «Мог ли я ошибиться, мог ли принять фальшивку за подлинный документ? Да, мог... но ведь этого не было, я не ошибался!.. А почему я думаю, что не ошибался? Почему я уверен в этом? Да хотя бы потому, что в газетах много писали об этих нелегальных изданиях. О них много говорили и оппозиционеры, и сторонники большинства. Оппозиционеров упрекали в неточности воспроизведения завещания Ленина, в том, что они в своих нелегальных изданиях, выпускали из него нелестные характеристики, данные Лениным лидерам оппозиции, их упрекали в недопустимых, ведущих к расколу партии, фракционных действиях, но, в общем, подлинность завещания никто не оспаривал. Да и почему оно не могло быть подлинным? Разве все, что там было написано, не было стопроцентной правдой? Нет, ошибки тут быть не могло!»

И Моргунов начал резко возражать против слов следователя.

Да, он вполне убежден, что документ, о котором они говорят, – не фальшивка. То, что в нем говорилось о Сталине, это – подлинные слова Ленина, это – мнение Ленина. Он не может подписать ответа, в котором такой документ назван контрреволюционным.

Моргунов закончить не смог. Следователь прервал его грубой и циничной руганью.

– Молчать! Контра недорезанная! Я здесь агитацией заниматься не позволю!.. Ишь, волю взял... Раз наглупил, так молчи, а то еще повторять такую клевету смеешь! Троцкист поганый!..

Следователь ругался, выискивая слова позлее и пообиднее, но они явно не достигали цели. Ошеломленный от неожиданности Моргунов мгновенно пришел в себя. Он весь внутренне подобрался и ощетинился. «Ах, так! Вот, значит, какой разговор, вот тебе и свой, родной НКВД. Нет, тут что-то не то! Таким – свою душу открывать не следует». И он почувствовал, что с него спадают и неуверенность и скованность. Перед ним появилась опасность, она угрожала ему, его мировоззрению, его взглядам и мыслям. Надо было их защищать.

– Кто вам разрешил так обращаться со мной?! Я протестую против такого хамского отношения, и подписывать – вообще ничего не буду!

Следователь замолчал. Через закрытые, несмотря на жаркую погоду, оконные рамы донесся уличный шум, какой-то выкрик, отдаленный гудок автомобиля. Следователь достал из стола пачку папирос, закурил, протянул Моргунову.

– На, закури!

– Не хочу! – резко ответил Моргунов.

– Напрасно!.. Ты, что, обиделся? – вновь дружеским тоном заговорил следователь. – Я, конечно, неправильно поступил, вышел, можно сказать, из себя. Но ты же сам виноват: зачем повторять такие слова. У следователей нервы тоже не железные.

– Я говорю то, что думаю и что нахожу нужным, а кричать на себя не позволю, – так же резко сказал Моргунов. – В протоколе написано то, что я не говорил, и подписывать его в такой редакции я не стану.

– Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! – сокрушенно заговорил следователь. – Только время зря отнимаете! Смотрите, как поздно уже! Мне давно бы пообедать пора, да и вам тоже торопиться надо. Что там ваши на даче подумают? И чего, главное, тянете?! Не понимаю! Протокол написан, исправления в него вносить нельзя, если что изменить – придется опять переписывать. Ну, зачем это? Не все ли вам равно? Ведь я вам уже объяснял: редакция вопроса – это не ваше дело. Вы ее менять не можете, протестовать против нее тоже не можете. Ваше дело – только отвечать. Ну, а ответ – чем он вам

не нравится?.. Ну, пусть, пусть! Пусть это даже действительно Ленин написал. Ведь в ответе об этом не говорится, ведь в ответе контрреволюционными называются «нелегальные издания бывшей троцкистской оппозиции». Вы не согласны, что эти издания были контрреволюционными?.. Ах, вы их не знаете?.. Тогда в чем же дело! Из-за чего сыр-бор загорелся?

Следователь говорил еще очень долго. Он уговаривал, убеждал, разъяснял, и Моргунову, в котором возбуждение опять сменилось усталостью, сильно захотелось спать. Он даже на секунду, или, может быть, на долю секунды, заснул и во сне выронил из рук ручку, падение которой и разбудило его. Он чуть-чуть вздрогнул и взглянул на следователя. Тот продолжал говорить и, по-видимому, ничего не заметил. Моргунову стало тоскливо, страстно захотелось вырваться отсюда на свежий воздух, на широкую улицу, стены начали давить, появилось чувство моральной пустоты и безразличия.

– Все равно, – произнес он, – если в тексте моего ответа останется слово «контрреволюционные», я протокола не подпишу.

– Упрямый ты человек! – сказал следователь и поднялся. – Ну, пойдем!

Он вывел Моргунова в коридор, попросил подождать и опять пошел в соседний кабинет. Вскоре он оттуда вернулся и начал переписывать лист протокола.

– Пусть будет по-твоему, – произнес он, – выкинем слово «контрреволюционные». На, подписывай и дуй домой, на дачу, а то жена, поди, думает, что ты с другой убежал, – посмотрел следователь на часы.

Моргунов подписал, а потом, весь во власти усталости и безразличия, может быть, даже неожиданно для самого себя, обмакнул перо в чернила и, не думая, не читая, не споря, подписал все остальные листы протокола.

– «Не в церкви – не обманут!» – устало вспомнил он слова следователя.

– Ну, вот, и все! – произнес он вслух, вставая и потянувшись, – Теперь можно идти? А где взять пропуск?

– Одну минуточку! – сказал следователь. – Подпиши еще вот эту бумажку, и тогда будет все! – Он достал из стола какой-то листок и протянул его Моргунову.

Моргунов наклонился и прочитал. Это был ордер на его арест.

XIX

Ордер на арест! Подписанный, оформленный, с санкцией прокурора, датированный вчерашним днем! И, держа такой документ в ящике письменного стола, следователь говорил ему: «Подписывай и дуй домой!»

«О, подлец! Есть ли что-нибудь гаже тебя?!»

Александр Сергеевич поднял голову и увидел над собой ухмыляющийся ромб. С явным любопытством наблюдал тот за растерянным Моргуновым.

– «Ну, нет! Ликовать тебе я не дам! – подумал Александр Сергеевич и тут же почувствовал себя твердо и уверенно. – Обманул?! Усыпил мою бдительность?!. Ну что ж, черт с тобой! Это тебе удалось, но – в первый и последний раз! Больше ты меня не обманешь!.. Теперь я тебе не поверю!..»

– Где тут подписать-то? – с деланным равнодушием спросил Моргунов. – Тут, что ли?..

Он взял ручку и расписался.

– Ну вот, теперь все! – оживился следователь и, набрав номер, сказал в телефонную трубку:

– Из комнаты номер... возьмите арестованного.

Пришел конвоир, взял из рук следователя какую-то бумажку, подписал другую.

– Пойдемте!

Моргунов молча, не взглянув на обманщика, тронулся с места. Конвоир пропустил его вперед.

– Направо!.. Прямо!.. Идите-идите!.. Стоп!.. – конвоир громко защелкал пальцами, – как позже узнал Моргунов, чтобы не встретить, кого не положено. – Сверните налево!.. Прямо!.. Сюда!..

На первом этаже он сдал Моргунова другому.

– Заходите!..

Александр Сергеевич зашел и очутился в большой, просторной, почти совершенно пустой комнате. Прямо напротив двери – два громадных с матовыми стеклами и решетками окна. Перед ними – письменный стол, у стен четыре деревянных скамейки. На столе – чернила и ручка. Людей – никого!

Моргунов огляделся, сел на скамейку и вдруг почувствовал, что сильно устал. Он лег и с наслаждением вытянулся, бездумно глядя в потолок. «Вот так бы лежать и лежать, ни о чем не думая и ничего не вспоминая!»

Но долго лежать не пришлось. Щелкнул замок, дверь открылась:

– Давай выходи!

Александр Сергеевич вышел. Его отвели в другое помещение – огромную, разгороженную деревянным барьером на две неровные части комнату. В переднем, более узком отделении, у левой стены стояла широкая, дубовая, со спинкой, скамья-диван, перед ней на полу – немного потертый, квадратный, пестренький коврик. У правой стены, отступя от нее, – большой обеденный стол. Между столом и ковриком стоял человек в щеголеватой военной форме с четырьмя треугольниками в петлицах.

– Старшина, – сообразил Моргунов, взглянув на треугольники, и подошел к дубовой скамье.

– Раздевайтесь! – сказал старшина.

Александр Сергеевич беспомощно оглянулся, Он и так раздет. На нем только брюки и белая рубашка апаш.

– Вы это – мне?

– Да, вам... Раздевайтесь!

Моргунов пожал плечами и снял рубашку.

Тщательно осмотрев ее, прощупав каждую складку и каждый шов, старшина положил рубашку на стол и вновь обратился к Александру Сергеевичу:

– Раздевайтесь!

Моргунов снял ботинки. Снова тщательный обыск и вновь:

– Раздевайтесь!

И так – догола.

Кошелек, ключи от квартиры, перочинный нож, использованный трамвайный билет – все, что было в карманах брюк, все извлечено и передано за барьер. Там за длинным столом сидят рядом друг с другом два расторопных писца и все до последней бумажки заносят в реестр.

Моргунов не скрывает удивления:

– Зачем же – трамвайный билет?!

– Так надо!..

Закончив обыск, старшина вынул шнурки из ботинок, отложил в сторону ремень и подвязки и вновь подошел к Моргунову:

– Искусственные зубы есть?

– Нет, нету!

– Откройте рот!

Тщательно осмотрев рот, ощупав волосы, заглянув в уши и нос, старшина внимательно оглядел голого Моргунова и, зайдя ему за спину, приказал:

– Нагнитесь!

Александр Сергеевич нагнулся.

– Раздвиньте ягодицы!

Пришлось подчиниться. Старшина тоже нагнулся и с глубокомысленным видом добрых двадцать секунд изучал открывшуюся перед ним панораму, затем поднялся, подошел к столу и, вырезав из Моргуновских брюк металлические крючки и пряжки, начал передавать ему вещи, еще раз бегло ощупывая их.

– Возьмите!.. Возьмите!.. Возьмите!.. Одевайтесь!..

Моргунов оделся. Брюки сразу поползли вниз.

– Позвольте!.. Как же с брюками быть?.. Они же сползают... не держатся!

– Завтра возьмете у коридорного нитку с иголкой. Ушьете!..

Моргунов пошел впереди конвоира, придерживая брюки рукой. Его привели в глубокий подвал, в роскошный, хоть и без окон, но ярко освещенный электрическими светильниками, облицованный белыми плитками душ.

– Раздевайтесь! Мойтесь!..

В просторном, из шести индивидуальных кабинок, душе никого не было. Конвоир сел у двери и молча наблюдал за каждым движением Моргунова, который, нарочно не торопясь, мылся, с удовольствием грея усталое тело горячей водой. Александр Сергеевич сделал попытку заговорить с караульным, но тот на каждый вопрос отвечал одним только словом – «не знаю!»

После пятого или шестого вопроса он равнодушно сказал:

– Вы давайте мойтесь! Нам разговаривать не позволяется.

И замолк, словно был не живой человек, а каменная баба скифско-сарматских времен.

После душа Моргунова отвели в общую камеру на первом этаже. Морально разбитый, истерзанный всем происшедшим, он переступил порог и с недоумением огляделся: «Неужели во МХАТе могли исказить вид тюрьмы?!» Он же прекрасно помнит показанные в «Страхе» Афиногенова комфортабельные боксы! Здесь же все совершенно не так, здесь комфортом не пахло. Пол – это точно, паркетный, до блеска натертый... но все остальное?!. Форточка в двери с глазком, параша, узкий проход у стены, и слева пять коек, одна вплотную к другой, словно нары-сплошняк. На козлах – щиты из досок, а поверх них матрацы-блины и в одежде лежащие люди. Против двери – окно под решеткой, снаружи – защитный колпак.

Позднее оказалось, что это еще даже не камера, а «собачник». Так называли в тюрьме небольшое отделение в несколько камер для кратковременного содержания в них новичков, поступающих с воли. Это была сортировка и вместе с тем карантин. Благодаря ему новости внешнего мира, приносимые вновь приходящими старым подследственным, успевали слегка устареть.

Народ тут все время менялся, и Моргунов не успел толком познакомиться ни с кем. Перед ним промелькнули разные люди: какой-то нацмен, которого обвиняли в контрабанде, фальшивомонетчик-мальчишка – поймали с фальшивым червонцем в руках, офицер-дворянин – брат у него убежал за границу, какой-то блатной из уголовной элиты. Блатной утешал Моргунова, учил его жить:

– Главное, ты не путайся! В лагерь приедешь – иди сразу в УРЧ, прямо к нарядчику или к начальнику. Я, мол, студент. Шибко грамотный! Используйте, мол, по специальности!.. Как по какой?!. Там найдется специальность... По письменной части!.. Обещать надо кое-чего!.. Он тебе – ты ему! Рука руку моет!.. Правильно я говорю?.. Так и толкуй! По специальности!.. Точка!.. Самое главное – ты осмотрись и ушами не хлопай! Там вашего брата сидит – не сочтешь!.. Ты не тушуйся! Верно я говорю? В лагере жить тоже можно... только надо – уметь!

Моргунов слушал такие советы с ужасом и скрытой брезгливостью. «Боже! Куда я попал?! С кем столкнула судьба! А главное – что впереди?!»

Он находил подходящий предлог, прекращал разговор, потом начинал его вновь – уже с дворянином.

– Я здесь уже не впервые, – рассказывал офицер. – Все пристают: кто помог брату уйти за границу? Будто бы я помогал!.. – «А коли не вы, – говорят, – почему он вам пишет?» – «Так ведь брат!..» – Не хотят понимать! «Вы, – говорят, – заодно!» – «Почему заодно? – говорю, – у него своя голова!» – «Ах, так! Отвечать не хотите!» – «За него не хочу. Я за себя отвечаю!» – «Так, так! Ну, посидите, подумайте!» – Вот и сижу!.. Ничего!.. Подержат и выпустят. Я их знаю! Основное – не надо бояться!..

Офицер оживлялся, начинал рассказывать байки про детские шалости, про офицерские шутки, про то, как они вместе с братом напоили знакомых девушек вместо нарзана баталинской и увели их «гулять» на Тверскую.

– А потом!..

Моргунов тосковал. Ложился на нары и долго лежал, стараясь не думать, не вспоминать. К сожалению, не получалось.

Увели мальчишку-фальшивомонетчика, взяли куда-то блатного.

– В Таганку! Куда же еще?! – сказал тот уходя. – Прощевайте! Так ты не забудь! – обернулся он к Моргунову. – Как в лагерь приедешь, – к нарядчику! Требовай, чтоб – по специальности. И ни в какую!.. Он тебе – ты ему!.. Не забудь!.. А чистоплюйствовать будешь, – на общих загнешься... Верно я говорю?!.

Привели человека с большими усами, в косоворотке с расстегнутым воротом. Он вошел, поглядел на окно, сел на краешек койки, вздохнул.

– Дожили!.. Мать твою за ногу!..

– Кто?.. Что?.. Откуда?..

– Рабочий, монтер, в Ленинграде работал... Был членом партии... Выгнали... Сказали, что зиновьевец... Переехал в Москву... Посадили... Что ж теперь делать?!. Придется сидеть!..

Александр Сергеевич сразу к нему. Словно родного увидел. Но поговорить не пришлось. Рабочего вызвали. «На допрос!». Вернулся он к ночи и тут же улегся на нары.

А через час:

– Моргунов!..

– Я Моргунов... Александр Сергеевич!..

– С вещами давай!.. Выходи!..

– А куда?

– Там узнаешь!

Подняли на лифте на третий этаж. Снова обыск, анкета, приемка и – баня. Не та, где он был, а другая, но еще пороскошней. Тоже душ, но огромный по площади. Стены, пол, потолок, – все отделано плиткой. Воды хоть залейся. Мыло, мочалка, полотенце мохнатое, все блестит чистотой. И, наконец, – комплект тюремного белья.

– Надевайте казенное. Свое завтра в стирку сдадите.

– Жарко в длинных кальсонах, в рубашке.

– Вам не работать, не жарко!

Отвели в камеру. В ней просидел он под следствием восемь недель.

XX

Следствию, казалось, не будет конца. Сначала Моргунова вызывали на допрос ежедневно, потом словно забыли о нем, и он просидел две с половиной недели, теряясь в догадках о причинах такого перерыва. Чувствовал он себя неспокойно, волновался, нервничал. Иногда наступали моменты глубокого морального опустошения, и его охватывало почти полное безразличие к тому, что с ним будет и как истолкуют его поступки и взгляды. В такие моменты очень хотелось покончить с собой, разбить себе голову об стену; другого способа, кажется, не

было, но и этот тоже был недоступен. И Моргунов мотался на крохотном, в полтора квадратных метра, пространстве, не находя себе ни места, ни успокоения. Периоды упадка длились, однако, недолго, природа брала верх над унынием. Моргунов внутренне ужасался своему настроению, и оно сменялось сильным нервным подъемом. Вновь появлялось страстное желание доказать свою правоту, объяснить кажущееся недоразумение. С новой силой вспыхивало возмущение гнусными, оскорбительными обвинениями, сформулированными уже в письменной форме и объявленными ему под расписку. Ведь все они были заведомой ложью, ужасной неправдой, хорошо организованной и при этом даже не умной, а весьма примитивной, шаблонной клеветой. Казалось – достаточно поговорить с кем-либо разумным, таким, каких много встречалось на жизненном пути, и все обвинения иссякнут, исчезнут, развеятся. Но говорить было не с кем. Анализ того, что случилось, отчетливо приводил к ужасающим своей ясностью выводам: «Все это – лишь провокация, и объясняться совсем бесполезно. Те люди, от которых зависит разбор моего дела, заинтересованы в его успешном обвинительном завершении: они сами его создают». И этот вывод, венчающий собой высшую точку нервного возбуждения, одним толчком сбрасывал в пропасть, мечты исчезали, Моргуновым вновь овладевали тяжелые упадочные мысли. И так, двигаясь как бы по синусоиде, настроение Александра Сергеевича переходило от взлетов к падениям и от падений к взлетам.

Бывали, конечно, и какие-то промежуточные периоды, интервалы относительного спокойствия. Во время них Моргунов начинал интересоваться своими сожителями, обстановкой тюрьмы и тюремным бытом.

Он сидел во внутренней тюрьме НКВД, называвшейся, в соответствии с распространенными в то время взглядами на карательную политику первого пролетарского государства, «внутренним изолятором особого назначения НКВД СССР». Внутренний изолятор – тюрьма действительно особая. Переоборудованная из бывшей гостиницы дореволюционного страхового общества «Россия», она сохранила многие ее черты и удобства. Камеры здесь были небольшие: всего на 6 человек. Полы – паркетные. Панели стен покрашены светлой масляной краской. Каждый подследственный имел отдельную койку с пружинящей сеткой, тюфячный матрац, две простыни, одеяло. Подушек нет, но их заменяли высокие, поднимающиеся изголовья коек. Ни стульев, ни табуреток, – но они и не были нужны, так как посередине камеры стоял большой и широкий, тяжелый стол. Садясь на средние койки с обеих сторон, люди оказывались за столом. В середине его, считая по высоте, была устроена сплошная, равная верхней крышке прочная полка. На ней размещали книги, мелкие вещи, папиросы и спички. На столе, в торцевой, направленной к двери части, – большой медный чайник и шесть алюминиевых кружек, которые по правилам тюрьмы ставились веером так, чтобы надзиратель всегда мог их через глазок пересчитать. В камерах поддерживалась безукоризненная чистота, полы регулярно натирались мастикой и воском, нательное и постельное белье менялось раз в неделю в дни посещения бани, тоже особой, расположенной в подвальном этаже, роскошной, оборудованной и отделанной по последнему слову санитарной техники, с парильным отделением, паром, полками, душами и раздевальнями, куда, не нарушая изоляции, водили отдельными камерами.

Подследственных кормили хорошо. Питание было простое, но вкусное и достаточное. Тем, кому не хватало, с разрешения начальника тюрьмы выдавалась полуторная и даже двойная порция. У кого числились на личных счетах деньги, могли раз в неделю выписывать из ларька дополнительные продукты – сахар, конфеты, колбасу, сыр и что-нибудь еще, с тем лишь, чтобы суммарная стоимость покупок не превышала тридцати пяти рублей в месяц.

Заключенным из тюремной библиотеки давали книги, регулярно их меняли; два раза в день выводили в уборную «на оправку» и один – на прогулку. Гуляли по плоской крыше, разделенной на небольшие прогулочные дворики, огражденные высокими, в полтора-два человеческих роста, стенками с добавочной предохранительной сеткой наверху. Охрана вела себя неукоснительно строго, но безупречно вежливо.

Летом в тюрьме было не очень жарко, зимой – в меру тепло и за счет электрических ламп достаточно светло, но при всех ее хороших условиях она оставалась – тюрьмой. В камере у двери стоял небольшой металлической бачок с крышкой – «параша», которой в промежутках между оправками приходилось пользоваться всем обитателям камеры. Окно – с решеткой и козырьком, специальным наклонным щитом, позволяющим видеть только узенькую полоску неба вверху. Обитая железом и выкрашенная светло-серой масляной краской дверь имела «глазок», прикрытый с наружной стороны резиновой, неслышно отодвигающейся крышкой. Через этот «глазок» дежурные надзиратели, бесшумно передвигающиеся по толстым ковровым дорожкам, устилавшим коридор, заглядывали в камеру через каждые полторы-две минуты. В тюрьме стояла могильная тишина: какой бы то ни было шум категорически запрещался, разговаривать с сокамерниками разрешалось только тихим голосом или даже шепотом; ни бумаги, ни письменных принадлежностей не допускалось, а в том случае, когда арестованный выражал желание подать какое-либо заявление, ему специально выдавались чернила, перо и листочек бумаги, которые тут же после написания отбирались.

Самым тяжелым, однако, была тщательно продуманная изоляция от внешнего мира и полное неведение не только о том, что творилось за стенами тюрьмы, но даже и за стенами камеры. Газет подследственным не давали, передач не принимали, переписки с родными не разрешали. Всякие попытки перестукивания мгновенно пресекались, а надзиратели – франтоватые, тщательно вышколенные, с иголочки одетые в военную форму младшие командиры – не отвечали ни на какие вопросы. Когда кого-нибудь из арестованных вызывали на допрос, надзиратель входил в камеру и называл первую букву фамилии вызываемого. Некоторые из надзирателей, не очень, по-видимому, грамотные, называли буквы неправильно: на «лэ», на «сэ», на «мы», на «фы».

В ответ все арестованные, фамилии которых начинались с этой буквы, обязаны были называть себя полностью, добавляя также имя и отчество.

– На допрос! – коротко ронял надзиратель и выходил.

Через 2–3 минуты дверь вновь отворялась и вызванный на допрос, приведя себя в порядок и одевшись (если он был раздет), выходил из камеры.

Из камеры всегда вызывали только «на допрос», а если на самом деле человека куда-нибудь переводили, то он и сам узнавал об этом только после того, как выходил за дверь. Сокамерники же теряли всякий его след, им становилось известно только то, что человека неожиданно взяли, потому что вслед за его уходом в дверь просовывалась голова надзирателя, произносившего всего лишь три слова:

– Соберите его вещи!

Моргунов, всю свою сознательную жизнь начинавший день чтением «Правды», изнывал в этой обстановке от абсолютного отсутствия каких-либо сведений о жизни извне и о судьбе своих родных и знакомых. «Как там Маруся? Здорова ли? Все ли у нее благополучно? Как брат и сестра? Был ли у меня обыск? Взяли ли «Уроки Октября» и «Новую экономику»?.. Напрасно я их сохранял. Надо было сжечь... Впрочем, кто мог знать?.. Знал бы, где упасть – соломки подстелил бы... А что делается на свете? Что там в Испании? Чем кончились бои в горах Гвадарамы? Взяли ли правительственные войска Сарагосу? В газетах

писали, что она полностью окружена, но в ней находилось двадцать мятежных полков – десять тысяч мятежников!.. Да! Взять ее будет трудненько. Ведь в ней расположены действующие военные заводы, и ее защищают, кроме солдат, слушатели Сарагосской военной академии... Впрочем, это не страшно! На Сарагосу наступает почти сорок тысяч бойцов, и, главное, симпатии всего прогрессивного человечества – на стороне законного правительства. Мы им поможем, и дело пойдет!.. «Поможем, пойдет!..» Неисправимый мечтатель! Когда ты поможешь? И как? Ты уже три недели томишься в тюрьме, в этом пакостном ящике! Там, быть может, все уже кончено!..

А что с Марусей? С Марусей-то что? Как она отнеслась к происшедшему? Она ведь – дурочка! Поверит еще, что я – контрик!.. Нет, не поверит, для этого слишком умна!.. Умна-то умна, но – смотря на что, на биологию – умница, а тут... может поверить и от меня – отказаться... Нет, не откажется!.. Впрочем, никто ничего знать не может!.. Господи! Хоть бы ее-то саму не забрали... у них – все возможно! У кого это, Саша, – у них?!. Эх, Александр Сергеевич! Путаться ты начинаешь!..»

Моргунов нервничал, страдал и томился. Мог ли он когда-нибудь подумать, что его – Моргунова, готового при первой необходимости, не дрогнув, умереть за коммунистическую партию и советскую Родину, готового отдать все свои силы и всю свою жизнь борьбе за торжество идей ВКП(б) и Коминтерна, – посадят в тюрьму? И будут обвинять в контрреволюции? Правда, до него когда-то доходили слухи о том, что нелестные отзывы о Сталине и анекдоты о нем, хотя их и появлялось великое множество, рассматриваются в НКВД как контрреволюционная агитация, но он не верил этому и считал подобные рассказы плодом досужей фантазии обывателей и пустой болтовней кумушек-сплетниц. И вдруг это оказалось правдой. Его за когдатошние сомнения в величии Сталина обвиняют в контрреволюции. Его называют троцкистом, хотя он никогда не был оппозиционером; у него отнимают партийный билет, хотя никакая парторганизация не рассматривала его дела и не исключала его из партии.

Моргунов не знал – верить всему этому или нет. «Неужели это не скверный кошмарный сон, подобный снам Свидригайлова? Может быть, я просто сплю! Надо ущипнуть себя посильнее, – проснусь, и наваждение исчезнет».

Но, это, к сожалению, не было сном, и Моргунов задыхался от негодования, мучился и страдал.

XXI

И был вечер и было утро: день двадцать второй. И прошла еще одна половина дня, и были сделаны все дела, которые обычно делались в камере, и уже отобедали, и отдохнули, и переговорили о чем-то, и, лежа на койке, пытался читать Моргунов, но никак не мог сосредоточиться, и стало ему все безразлично и чуждо. И как в нирвану погрузились мысли его в пустоту. И внутренне весь он угас и оторвался от жизни.

И вдруг, в это смутное, отрешенное состояние ворвался освежающий вихрь и всколыхнул Моргунова до самых глубин. Заскрежетал, – как всегда, неожиданно, – дверной замок, открылась дверь, и в камеру вошел надзиратель.

– На «эм».

– Меламед...

– Инициалы?

– Абрам Самуилович.

– Еще!

– Моргунов...

– Инициалы?

– А.С.

– Инициалы полностью?!

– Александр Сергеевич.

– Распишитесь! – надзиратель протянул Моргунову светло-желтый листочек бумаги и химический карандаш.

Моргунов взял листочек в руку. Это была копия квитанции о приеме на личный счет арестованного Моргунова Александра Сергеевича пятнадцати рублей. В нижней части листочка, против напечатанных в типографии слов: «Деньги внес» стояла аккуратно выведенная подпись Маруси: «М. Северцева».

Моргунов почувствовал, как подкатился и сжал ему горло какой то неведомый ком. Захотелось заплакать. Он судорожно вздохнул, и поток мыслей и чувств захлестнул все его существо. «Маруся! Моя Маруся! Нашла меня... нашла и не отказалась... бедная девочка... отрывает от себя последние гроши... откуда у нее деньги, ведь на стипендию особенно не разгуляешься... и, видно, несладко приходится... всего пятнадцать рублей... Ох, как тяжело, как тяжко! Хочется закричать, зареветь, натворить бог знает что».

Он с трудом овладел собой и дрожащей рукой подписался, вставив в середину своей подписи слова «не надо». Получилось: «амненадов» с характерным росчерком Моргунова. – «Ничего, Маруся поймет!» – подумал он. Он не знал тогда, что копия квитанции остается в бухгалтерии тюрьмы и что Маруся его расписки в получении денег даже не увидит.

Надзиратель ушел, оставив ему отрывной корешок, на котором были обозначены только наименование счета и внесенная сумма, а Моргунов, не сумев совладать с собой, сел на койку и беззвучно разрыдался. У сокамерников хватило такта сделать вид, что они не замечают его состояния, только один из них, уже пожилой и видавший виды руководитель баптистской общины, Сергей Денисович Соколов, подошел и, положив ему руку на плечо, промолвил:

– Не надо, Александр Сергеевич, ведь это так хорошо! Вот вам и весточка из дому... А знаете, ведь в первый раз все так сильно переживают... Успокойтесь... не надо!..

В течение вечера Моргунов несколько раз доставал из кармана корешок квитанции... «Марусина рука, вероятно, лежала на нем, когда она расписывалась... А где она взяла деньги?.. Правда, пятнадцать рублей – не бог весть какая сумма, но для нее она, очевидно, не мелочь. Иначе бы она внесла все тридцать пять, то есть максимум того, что принимают на месяц». Он высказал эту мысль вслух.

– А, бросьте! – сказал ему Меламед. – Ей при всех условиях лучше, чем вам, а внесла она только пятнадцать, чтобы иметь возможность через две недели еще раз внести. Вы что думаете?.. Она, вероятно, умная женщина! Видит: справок не дают, передачи не принимают. Где муж – неизвестно... Взяла, внесла пятнадцать рублей. Приняли! Значит – он тут! А через две недели еще раз придет, опять примут. Значит – опять тут! А вы, мудрец, даже этого сообразить не можете... Эх вы, философ! Хохом балайло!.. Вы не знаете, что такое «хохом балайло»? Это по-нашему, по-французски, значит – «мудрец ночью», «умный, когда спит»!.. Теперь вам понятно? Ну, будьте здоровы и, как говорят итальянцы, не журитесь!

Меламед был умный человек и, по-видимому, образованный инженер. До ареста он работал на военном заводе. Посадили его, как он утверждал, потому, что у него неожиданно обнаружились родственники за границей, эмигрировавшие из России еще в 1913 году, после процесса Бейлиса. Тогда он был еще совсем ребенком. За границей родные словно в воду канули, много лет о них не было ни слуху, ни духу. Меламед был уверен, что они погибли, и поэтому не упомянул их при поступлении на работу в своей анкете. И вдруг, года два тому назад, явился к нему какой-то иностранец и, по поручению пропавших родных, передал привет и небольшую посылку. Само собой разумеется, что Абрам Самуилович принял

пришедшего очень любезно и воспользовался его предложением передать за границу ответное письмо.

Теперь его обвиняли в шпионаже, а неточное заполнение анкеты рассматривали как попытку замести следы.

– Обиднее всего то, что сижу совершенно зря, – говаривал Меламед, рассказывая свою историю. – Никаких оснований меня обвинять у них нет. Да и быть не может. Ведь кто-кто, но сам-то я знаю, что я – не шпион... А меня не выпускают. Сижу уже скоро год, и конца этому не видно. А они все пристают: расскажи да расскажи! А что я им расскажу, когда мне рассказывать нечего?! Прямо хоть возьми, зол немен а соф, да и выдумай на себя что-нибудь. Ах, вы не знаете, что такое – «зол немен а соф»? Какой вы необразованный человек!.. По-французски это значит – «чтоб был конец»!.. А как же?!. Конечно – конец! У всякого дела должен быть конец! Нет конца у кольца и у вселенной, но они от нас теперь далеко!

XXII

Впервые переступив порог тюрьмы, Моргунов попал в совершенно новый для него и по-своему интересный мир. Этот мир, ограниченный стенами небольшой и хорошо изолированной камеры, был чрезвычайно широк и отличался от всего, с чем приходилось встречаться на воле, исключительным многообразием мировоззрений и интересов входящих в него людей. Их было только шесть человек, но «какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» Как не похожи были они один на другого, как далеко друг от друга стояли они на ступенях общественной лестницы, хотя она проходила в одном и том же здании советского общества.

Один из них – он сам, коммунист Моргунов, здоровый, молодой и физически сильный человек с широкими взглядами на жизнь, развитой и образованный, вспыльчивый и строптивый, безукоризненно честный, правдивый, идейный, потомок русской интеллигентной семьи, безраздельно отдавший себя служению рабочему классу, студент философского факультета, марксист и безбожник.

Другой – баптист Соколов – человек на возрасте, слабый и постоянно больной, из зажиточных херсонских крестьян, старший бухгалтер какого-то учреждения, фанатик-сектант, не интересующийся ничем, кроме религии. Образования почти не имел. Еще в 1912 году за еретические мысли и постоянные споры с отцом Николаем, преподавателем закона Божьего, его исключили из 7-го класса мужской казенной гимназии, и с тех пор он, кроме бухгалтерских курсов, нигде не учился. В годы революции Сергей Денисович выходил на улицу с большим плакатом на груди: «А мы проповедуем Христа распятого». За ним ходили толпы мальчишек и любопытных взрослых, а он обращался к ним с речами, обрушиваясь на церковные обряды и догматы. Соколов призывал своих немногочисленных слушателей в лоно истинного христианства, познать которое они могли, по его словам, лишь путем усердного изучения Библии и святого Евангелия. Взгляды Соколова особой последовательностью не отличались, но он этим ничуть не смущался и при первой возможности вновь начинал доказывать любому собеседнику, иногда тому самому, кто только что перед этим загнал его в глубокий тупик, истинность своей веры. В стране совершались великие перемены, прошло две войны, произошла революция, были ликвидированы эксплуататорские классы, построен социализм, все изменилось, а Соколов все еще призывал считать Священное Писание единственным источником богопознания и с самым серьезным видом обсуждал вопрос о том, какое средство вернее ведет к спасению – крещение или евхаристия.

Моргунов смотрел на Соколова, как на человека, страдающего особым видом тихого помешательства, но уважал его за доброту и бескорыстие. Сергей Денисович вел себя по отношению к остальным обитателям камеры очень доброжелательно, называл их «ближними своими» и готов был поделиться с ними всем, что имел. Он уверял, что поступать так ему предписывает религия, и цитировал в связи с этим соответствующие тексты. «Любовь к ближнему, благотворительность и взаимопомощь, – утверждал он, – суть основные предписания моей веры!» На воле к нему примыкали толпы последователей, особенно из среды простого и темного люда, и, может быть, поэтому его теперь обвиняли в контрреволюционной агитации, которую он будто бы проводил в своих проповедях, на молитвенных собраниях баптистов, когда доказывал им необходимость веры и полемизировал с коммунистами, призывающими к неверию. Соколов, однако, виновным себя не признавал.

– Какая же это агитация? – говорил он, – Я проповедовал Христа распятого, а революции совсем не касался. Мы, баптисты, против власти не выступаем. Мы веруем, что правительство установлено Богом. Мы признаем своим долгом безусловно повиноваться законам, если только они не ограничивают свободного исполнения обязанностей нашей христианской веры.

Сломить его убеждения было невозможно. Он отличался железным упрямством и в вопросах религии не знал никаких компромиссов.

Судя по его рассказам, следователи обращались с ним без излишней сентиментальности. Его выдерживали на многосуточных непрерывных допросах, пугали расстрелом или длительными сроками заключения, угрожали репрессировать членов семьи. Но он относился ко всему, что с ним делали, с исключительным спокойствием и ничего не боялся.

– Что я такое? – говорил он. – Если Христос предначертал мне принять мученическую смерть, так тому и быть! Значит, моя жизнь нужна Господу, и не мне, грешному, за нее цепляться. Расстреливайте!.. Приму смерть как избавление от мук земных.

...Детей сошлете?!. Значит, так Господу Богу нашему – Иисусу Христу угодно стало... Ссылайте детей! Пусть потерпят на этом свете, зато будет им вечное спасение, когда приидут они в Царствие Его!..

Третьим обитателем камеры был Меламед, плотный одессит, из мещан, воспитанный в строгом еврейском духе, но порвавший, в силу внешних обстоятельств и веяний, с еврейской религиозной средой. Потеряв в детском возрасте всех своих родных, он вышел в люди без всякой посторонней помощи, одними лишь собственными силами. Он сумел окончить Московское высшее техническое училище имени Баумана, получил звание инженера-механика и работал в промышленности вооружений и боеприпасов. В разговоре он сыпал еврейскими изречениями и прибаутками, а когда его спрашивали, что он такое сказал, – всегда отвечал, что это, мол, по-французски означает то-то. Сидел он давно, но к камере привыкал плохо. Деятельный и очень энергичный в жизни, он никак не мог смириться с отсутствием свободы и страдал от неподвижности и безделья больше других.

Все чаще и чаще приходила ему в голову страшная мысль – сочинить какую-нибудь легенду, оклеветать самого себя, назваться шпионом любой иностранной разведки, в общем, сделать все, что угодно, лишь бы только прекратить свое беспросветное сидение и отвязаться от бесконечных требований «рассказать о своей шпионской деятельности».

– Поймите вы меня! – рассказывал он Моргунову. – Ведь сил больше нет! Я с ума сойду в этом ящике... А у себя на работе, – неожиданно вспоминал он, – я сконструировал одну такую штучку... сам Марс, бог войны, и то бы зашелся от зависти... Совсем немного осталось, и была бы готова!.. Нет, вы только подумайте,

сколько вреда причиняют они нашей стране! Ведь от того, что меня посадили без всякого дела, страдаю не я один, само государство страдает: работал-то я на него, не на дядю. Нет, больше я так не могу. Зол их азей гезунд зайн, не могу!.. Ах, боже мой, опять не понимаете?.. Когда вы, наконец, научитесь говорить по-французски? Ведь с вами разговаривать невозможно... «Зол их азей гезунд зайн» значит – «чтоб я так был здоров»! Поняли теперь? Ну, и хорошо... Так вот, я придумал вот что: пойду на допрос и заявлю, что на самом деле я – резидент персидского царя Артаксеркса и собирал в СССР строго засекреченные данные о количестве комаров в лесах Сибири. Как вы думаете? Пройдет?.. Не пройдет?!. Очень жаль!.. Тогда вот что, Александр Сергеевич, можно пойти и сказать, что я шпион египетской царицы Клеопатры или агент Аменхотепа II-го? Не все ли равно? Придумывать так придумывать!..

Рядом с Меламедом, голова в голову, лежал четвертый житель камеры – цыган Роман Николаевич Черный, молодой еще человек с сильно развитым бродяжьим духом. Когда-то он, в числе многих других, соблазнился посулами Центрального клуба цыган, перешел на оседлую жизнь, научился грамоте, поступил на работу, остепенился, женился и народил двух, по его рассказам, прекрасных черноглазых ребят. Однако домашняя жизнь сложилась не очень удачно. Начались ссоры с женой, семейный рай превратился в ад, а тут подошла очередная весна, налились почки на деревьях, солнышко стало припекать, трава бурно полезла наверх, и земля немного подсохла. И в одну темную, безлунную ночь Роман Николаевич, запасшись купленным на базаре фальшивым паспортом и цыганской кибиткой, увел в ближнем колхозе пару лошадей, забрал с собой детей и исчез в неизвестном направлении.

Как о сказочном сне вспоминал он месяцы, прожитые в степи, в непрерывных скитаниях и переездах с места на место.

– Что может быть лучше тихой, ясной, прохладной ночи где-нибудь далеко-далеко от людей, на берегу реки? – спрашивал он у Моргунова. – Ты понимаешь? Небо темное-темное, миллионы звезд, светит луна, дети спят в кибитке, а ты сидишь у костра и смотришь в огонь. Над костром булькает котелок, огонь перебегает с веточки на веточку, а ты сидишь, и весь мир – перед тобой!

Его долго искали, наконец, осенью арестовали в Молдавии, когда он, плохо зная местность, заехал в пограничную полосу. Естественно, что его пытались обвинить в шпионаже.

Роман Николаевич отнекиваться не стал. «Шпионаж – так шпионаж! Не все ли мне равно?»

Он сразу сказал следователю:

– Ладно, я подпишу. Пиши так, чтобы тебе было хорошо, но и мне не обидно.

И он, действительно, подписывал все не глядя, не читая и даже не слушая то, что зачитывал ему следователь.

Дело могло бы закончиться очень быстро, но обрадованный его сговорчивостью начальник следственной части местного отдела НКВД явно перестарался. Он создал из никчемного дела «ужасное преступление», и это дело, вместе с Романом Николаевичем, потребовали в Москву.

Но и в Москве Роман Николаевич опять занял прежнюю позицию:

– Чего ты меня спрашиваешь? – сказал он следователю своим гортанным вибрирующим голосом. – Ты пиши, что тебе надо! Я подпишу. Только, смотри, меня не обижай!

– Но как же можно так поступать?! – поразился Моргунов. – Вот это уж и в самом деле – преступление: и по отношению к государству, которое ты вводишь в заблуждение, и по отношению к себе самому! Ведь тебя засудят, Роман, получишь большую катушку и не размотаешь ее никогда.

– А мне все равно, – ответил Роман Николаевич, – мне бы только дело скорее кончилось! Ты думаешь, я сидеть собираюсь? И не думаю даже!.. Дело кончится, дадут срок, привезут в лагерь, и я сразу напишу заявление зеленому прокурору. Вот и все!

Моргунов не понял. Что это еще за «зеленый прокурор»? Оказалось, что под заявлением «зеленому прокурору» Роман Николаевич разумел обыкновенный побег. Побег из лагеря на зеленую природу, в тундру, в лес, в степь, все равно куда, лишь бы там была трава, зелень, хворост для костра, ручеек или речка, и вместо крыши – небесный, усыпанный звездами свод.

Потом, в лагере, Моргунов часто вспоминал Романа Николаевича. Он видел десятки беглецов, возвращаемых в лагерь через несколько часов, максимум – дней после побега. Уйти «с концами» не удавалось никому. И, вероятно, поэтому бежали только блатные; бежали необдуманно, отчаянно, глупо, бежали наудачу, без каких бы то ни было шансов на успех. И все попадались, попадались и возвращались в лагерь избитые и изуродованные, с дополнительным сроком и дополнительными трудностями, вызванными строгим подконвойным содержанием в режимных бригадах.

Пятым подследственным был Петр Васильевич Кондратов – молодой парень, лет двадцати–двадцати двух, блондин с голубыми глазами и румяным лицом, на котором к концу недели вырастал светлый, мягкий пушок. Для своих лет был он немного полным, но, несмотря на это, легким и подвижным. Работал слесарем 4-го разряда на механическом заводе, сидел недолго – месяца полтора всего, но у него уже заканчивалось следствие, и он был неизменно весел и доволен собой. Когда Моргунов спросил у него, за что его посадили, Петя смутился, даже чуть-чуть покраснел, и ответил, что сидит по 58-10. Моргунов подумал, что Кондратов, вероятно, наболтал что-нибудь особенно глупое, о чем теперь и вспоминать стыдно, и дальше расспрашивать не стал. Петя оценил деликатность Моргунова, и неделю спустя, днем, когда сокамерники использовали узаконенное в тюрьме право на дневное лежание и незаконно заснули, подсел к нему на койку и неожиданно рассказал, что сидит совсем не по 58-й, а по статье 154-а, предусматривающей наказание – за мужеложство. У Моргунова глаза на лоб полезли, но он и виду не подал, что поражен, а Петя, торопясь и поглядывая по сторонам, продолжал рассказ о своем грехопадении.

– Нет, ничего патологического у меня нет. Я – вполне здоровый человек и испытываю нормальное влечение именно к женщинам. Я еще не женат, но с девочками шалю, и довольно часто. Этого добра хватает, тем более что у меня всегда есть деньги, а для девчонок деньги – большая приманка, все равно, что карась для щуки. Вот, собственно говоря, ради денег я и занимался этим самым... ну, в общем... понимаешь чем...

А началось это так: стоял он возле кино и смотрел на витрину. Денег оставалось мало, получка была нескоро, и он колебался, тратить их на билет или нет. Так и болтался в нерешительности, когда услыхал обращенный к нему вопрос: «Что ж вы, молодой человек, в кино не идете, или ждете кого? Ведь сейчас начнется!» Петя оглянулся и увидел пожилого дяденьку, лет, поди, сорока. Сначала он хотел послать незнакомца подальше и попросить не лезть, куда не надо, но побоялся обидеть. Глаза у дядьки были добрые. И Петя откровенно сказал, что с удовольствием пошел бы, но у него «финансы поют романсы». Дяденька засмеялся и пригласил Петю пойти в кино с ним вместе, пойти – бесплатно. Петя, конечно, согласился. «Почему не пойти? Задаром-то?!»

В кино пожилой незаметно для зрителей поглаживал Петины ноги и даже попытался его обнять, но Петя не придал этому значения. Фильм шел интересный, приключенческий, и он смотрел с большим вниманием. Кино

кончилось, и пожилой позвал Петю к себе домой, поужинать, говоря, что одному скучно.

– «Пойдем ко мне! Я живу один, кухарка приходящая, сразу уйдет. Поужинаем, в шашки сыграем. Ты в шашки играешь?»

Петя пошел. Все оказалось действительно так, как рассказывал дяденька. Он жил один в изолированном крыле небольшого аккуратного деревянного дома. У входа висела вывеска: «Зубной техник Филиппов Д.Н. Вставление зубов и протезов. Золотые коронки». У Филиппова было две комнаты. В одной, роскошно, как показалось Пете, обставленной, жил он сам и находилась его мастерская, в другой – кабинет и отделенная белыми ширмами приемная.

Дмитрий Николаевич ушел на кухню готовить ужин и, уходя, сунул Пете альбом с фотокарточками.

– «На, посмотри пока!»

Петя открыл альбом и обомлел. Открытки были – порнографическими.

Любопытство не позволило отбросить альбом, и он, волнуясь и возбуждаясь, рассматривал постыдные снимки один за другим.

Вошел Филиппов, взглянул на него, довольно захихикал.

– «Что, понравились?.. Правда, хороши!.. Ну, ладно, потом досмотришь. Иди, закуси, чем бог послал!»

Бог послал довольно немало. Петя встал из-за стола сытым и пьяным. Филиппов оставил его ночевать, помог ему раздеться и лег с ним сам.

– Первый раз вроде противно, – рассказывал Петя, – но Филиппов дал много денег, обещал озолотить, и я начал ходить к нему регулярно... Нет, не появилось у меня никакого отвращения, да и никакого желания, привык просто – и все! А Филиппов мне деньги давал, костюм пошил, пальто справил... А сам я с девками гулял. Ко мне любая шла, потому что знали, что у меня деньги есть. Я им там какой-нибудь платочек, чулки подарю, флакон духов. Я не жадный. Есть – бери!.. Они не знали – откуда, думали – я на заводе зарабатываю. Заработаешь там, дожидайся!.. А что – «теперь»?! Чего теперь плохого?! Ну, дадут мне, допустим, три года. Отсижу! Отсижу и выйду, а выйду с деньгами. Ты знаешь, сколько он мне надавал? Уйму! У меня и рыжики есть... Рыжики-то? Не знаешь?.. Да это – золотые монеты, царские... Много! Не только за три, но и за десять лет не заработаешь... Так что, я не жалею! Ты, только, смотри, в камере не говори! Они ничего не знают, думают, я по 58-й. Не говори! Ладно?

Потрясенным необыкновенным рассказом и его предельной, хоть и очень наивной, циничностью, Моргунов обещал никому не говорить и, действительно, сдержал свое слово. Он выразил недоумение, почему Петино дело попало на Лубянку, но узнал, что в этом ничего случайного нет, и что расследование таких дел, согласно специальному поручению правительства, производилось только в НКВД.

На фоне столь разнообразного внутреннего мира камеры, в которой сидел Моргунов, особенно интересной показалась ему фигура шестого ее обитателя. Это был бодрый и крепкий человек лет шестидесяти, армянин Акоп Иванович Алиханян, в молодости профессиональный революционер и член большевистского крыла РСДРП. Акоп Иванович прошел по трудным тернистым путям царской ссылки и каторги, участвовал в Октябрьской революции и в гражданской войне, а в НКВД попал за свои откровенно троцкистские взгляды и участие в оппозиционной борьбе против генеральной линии партии. Правда, он утверждал, что закона, как такового, никогда не нарушал и сильно возмущался тем, что его посадили. Весьма экспансивный, легко приходящий в возбужденное состояние, он загорался как порох при одном только упоминании об его деле и деятельности. В такие моменты он не знал никаких границ, со зла говорил то, чего

никогда в жизни не думал, и мог, например, объявить всю свою жизнь ошибкой и недоразумением.

– Что ты мне толкуешь о жизни! – не имея возможности кричать, шипел он на Моргунова. – Ты еще щенок и ничего не понимаешь. Я боролся за мировую революцию, когда ты еще под стол пешком ходил. У меня другой жизни не было, а они взяли и – испохабили все! Термидорианцы, перерожденцы!.. Ведь это только подумать надо – повернуть ГПУ против народа, против членов партии. Один только Сосо и мог сделать это!.. Паскуда!.. Ненавижу его!.. Что ты меня уговариваешь?! Что ты мне тычешь мой партийный стаж?! Ошибка была!.. Да, да – ошибался! Зря в партию вступил, зря по тюрьмам сидел, водку надо было пить и – развратничать!

Глаза Алиханяна наливались кровью, на щеках выступал резкий, нездоровый румянец, и Моргунов переставал разговаривать с ним, боялся, что Акопа хватит удар. Действительно ли думал Акоп Иванович Алиханян так, как говорил, или просто в злости не помнил себя, Моргунов не успел разгадать. В один хмурый и дождливый день его вызвали «на допрос», завели в какую-то пустую камеру, принесли туда его вещи, отобранные при аресте, и повели по лестнице вниз.

XXIII

Моргунов прекрасно знал, что не получит ответа, но все же не удержался, спросил:

– Куда меня это?..

– Там увидите! – неопределенно сказал конвоир и, щелкая пальцами у поворотов, привел его сначала на первый этаж, потом по коридору в какой-то подъезд, а из подъезда на двор, где стоял «черный ворон», как в просторечии называли в те времена, официально именуемый «спецмашиной», – автомобиль для перевозки заключенных. Дверь в заднем торце машины была открыта, и когда Александр Сергеевич приблизился к ней, то услышал команду:

– Садитесь!

У него захолонуло сердце. Вообще-то Моргунов был уверен, что об освобождении не может быть и речи, но когда ему вернули все его вещи, включая даже использованный трамвайный билет, а конвоир, прежде чем вывести в коридор, вежливо и даже благожелательно спросил, – «Ничего не забыли?», – странная, нелепая, им самим неосознанная надежда вдруг всколыхнулась в душе:

– А может, – на волю?!

И поэтому сейчас, взбираясь по опущенному вниз приступку в кузов машины, он почувствовал горечь и разочарование.

Громадный, выкрашенный в черный цвет, металлический ящик без окон, смонтированный на шасси трехтонного грузовика АМО, предназначался для одиночек. Внутри, через всю его длину, проходил узкий коридор, по обоим бокам которого шли маленькие одиночные кабинки с сидениями и плотно закрывающимися дверьми с замками и круглыми застекленными глазками. В дальнем конце коридора виднелось обрешеченное окошечко, выходившее в кабину шофера.

Маленькая лампочка в потолке светила неярко, но достаточно для того, чтобы Моргунов, внимательно оглядывая кабину, смог заметить и прочесть едва видные надписи. Одна из них, сделанная карандашом на правой стороне, гласила: «Смирнов Николай Алексеевич, 58-10, 7 лет». Вторая, нацарапанная в верхнем левом углу чем-то острым, сообщала: «Павлов Сергей из Казани – расстрел. Сообщите Марусе!» Моргунову стало жутко. Он ясно представил себе приговоренного к смерти, отчаянно пытающегося подать о себе последнюю весть какой-то далекой Марусе. Дойдет ли когда-нибудь до нее эта предсмертная

попытка? Шансов мало, но – чем черт не шутит! Ведь может случиться, что в этой самой кабине повезут кого-то из однодельцев или знакомых, и тогда... А может быть, сам Моргунов встретит казанцев, знающих Павлова?!. Может же быть!..

Хлопнула дверь. Чей-то голос громко сказал:

– Давай, Ваня! Едем!

Мотор заворчал, задрожала машина, Моргунова рвануло назад, началась тряска. Жесткие рессоры грузовика здорово били, трепыхаясь на булыжной мостовой. Александр Сергеевич, чтобы не очень кидало, крепко вцепился в скамейку, прислушиваясь к звукам извне. Сначала не было слышно совсем ничего, все поглощалось дребезжанием кузова, потом стали различаться гудки проходящих мимо автомобилей, а на остановке – вероятно, у светофора – послышалась чья-то негромкая ругань... какой-то приглушенный вскрик... И опять – разболтанный грохот шасси, и снова – кидает, и бьет о стенки кабины, и слышно лишь, как беззаботно насвистывает незамысловатую «Чайку» конвоир, находящийся в коридоре машины.

«Вот вспыхнуло утро, туманятся воды,
Над озером быстрая чайка летит...»

Везут! А куда – неизвестно!

В кабинке становится все душнее и душнее, и Моргунов начинает задыхаться. «Что же тут делается летом и при длительных поездках, – с тоской думает он. – Мы же едем всего ничего. Очевидно, рассказы Романа о том, как терял он сознание в «вороне», были истинной правдой. Я тогда посчитал, что он прибавляет».

Машина замедлила ход. Встала. Поехала снова и снова остановилась.

– Давай, выходи!

Близкий к обмороку Моргунов, вдохнув свежего воздуха, сразу приходит в себя. Он слезает на землю, входит в открытую дверь и попадает в «вокзал». Так называется, как он это потом узнает, огромный, очевидно приспособленный для сбора крупных этапов, зал Бутырской тюрьмы, по бокам которого тянутся небольшие, оборудованные только одними скамейками, камеры. Его запихивают в одну из них. Окна в ней нет, стены, как в душевых, на высоту человеческого роста облицованы белыми плитками. Яркий электрический свет.

Минут через двадцать за ним приходит молодой надзиратель в военной форме и начинает водить из камеры в камеру. В первой из них на него заполняют «анкету арестованного». Пишет ее немолодая и некрасивая женщина, одетая в черную вохровскую форму с зелеными петлицами. Она задает Моргунову вопросы, непрерывно сверяясь при этом с лежащим перед ней его делом и, как бы в задумчивости, тихонько бурчит себе под нос:

– Глаза-то какие? Карие, что ли?.. Карие!.. Волосы темные?.. С проседью, что ли?.. Проседи нет? Значит – темные! Нос прямой, уши ровные. Особые приметы есть?.. Нету особых примет? Ну что ж, так и запишем: нету...

Из анкетной повели в фотографию, навесили на шею доску с номером. Сфотографировали анфас и в профиль, и только после этого, наконец, обыскали. Обыск очень поверхностный, не то, что во внутреннем изоляторе: провел надзиратель обеими руками, не раздевая, по ногам и рукам, пощупал грудь, похлопал по спине.

– Ножа при себе нету?

– Откуда?!

– А это уж дело твое!.. Значит, нету? Ну, ладно, валяй, дуй!

Отпечатали пальцы, сводили в баню, прожарили одежду, отобрали без всяких квитанций ремень.

– Не положено!

Моргунов торговаться не стал: «Черт с ним, с ремнем! До ремня ли теперь!»

Зашел конвоир. Молодой, простой, добродушный, в военной форме:

– Ну, отмыл грехи-то?! Следуй за мной!

Александр Сергеевич двинулся за ним, внимательно глядя по сторонам: «Вот она, значит, какая Бутырская тюрьма, о которой я слышал с раннего детства. Это здесь когда-то сидели герои моих юных мечтаний, от осязательно живой Веры Николаевны Фигнер до созданной гением Толстого Катюши Масловой. Это здесь, в одном из этих корпусов, крупный революционер и большой человеколюбец Глеб Максимилианович Кржижановский создал свою «Варшавянку». Но ведь здесь же, и, может быть, даже в том же самом корпусе, сидели грабители и бандиты, убийцы и душегубцы. Разных людей видела Бутырская тюрьма в своих стенах в прошлом. Кто же сидит в ней теперь?»

За думами путь показался коротким. Конвоир привел Моргунова в далекий, глубоко во дворе расположенный корпус, и тут, наконец, Александр Сергеевич попал в находящуюся на втором этаже, наполненную людьми камеру.

XXIV

Переступив порог этой камеры, Моргунов, уже привыкший к опрятности, тишине и даже известной комфортабельности внутреннего изолятора особого назначения, неприятно поразился и тесноте, и сплошным нарам, и галдежу, который здесь, очевидно, не возбранялся, и вони двух огромных параш. Застыв у запертой за ним двери, он растерянно посмотрел вглубь: «Куда я попал? Может быть, к уркам?» К нему тут же подошел небритый, сильно обносившийся человек и, ласково улыбаясь, предложил «не стесняться и располагаться по-домашнему», чем вызвал сильное недоверие. Но растерянность и настороженность продолжались недолго. Подошли еще несколько арестантов, начались расспросы: «Кто такой? Откуда? Что там на воле? Как дела в Испании? Не опубликован ли проект амнистии?.. Как, вы сидите уже больше полутора месяцев и ни о чем, что произошло за это время, не знаете?!. Что Ягоду сняли – слышали?.. Нет?!. Ну как же так!.. А о процессе троцкистско-зиновьевского центра? Тоже нет?!. Вот это – да!.. Да что вы?! Был громадный процесс, Каменева и Зиновьева расстреляли... Да-да! Расстреляли!.. Еще в августе!.. А вы действительно об этом не знали?..»

И Моргунов забыл о неприятных впечатлениях. Он даже немного обрадовался. Пусть здесь плохие бытовые условия. Пусть нет удобств! Пусть – грязь и теснота! Но он среди людей, которым известно, что делается за стенами тюрьмы. Здесь разрешены передачи, свидания; сюда ухитряются проносить газеты. И, в общем, здесь – совсем не плохой народ, хотя в одной камере соединены и пятьдесят восьмая, и бытовики, и даже один уркаган, которому шьют «политическую статью» за то, что он завернул селедку в газетный лист с изображением Сталина.

Перед ним открывался еще один неизвестный мир, в котором Александру Сергеевичу привиделась романтика человеческих страданий и простой человеческой жизни. И чтобы его изучить, этот мир, надо было претерпеть много неудобств и с презрением смотреть на бытовые лишения. А их оказалось немало.

В камере, рассчитанной на восемнадцать человек, уже находилось пятьдесят шесть, и поэтому Моргунову показалось, что здесь очень тесно. В дальнейшем, однако, он узнал, что до настоящей тесноты в момент его прихода было еще далеко.

Пока что каждый имел какое-то место и возможность спать даже на спине. Чтобы все улеглись, проход от двери до окон перекрывался на ночь сплошными щитами-топчанами, и площадь нар увеличивалась, таким образом, в полтора раза. Кроме того, и под нарами весь каменный, облицованный метлахскими плитками пол устилался деревянными щитами и использовался для спанья. Тут существовал строгий порядок: все вновь приходящие получали место под нарами,

у двери, что одновременно означало и у параши, а затем, по мере освобождения лучших мест, происходила всеобщая передвижка, которая постепенно приводила давно сидящих наверх, к окнам, или в среднюю, тоже хорошо освещенную часть камеры.

Моргунову, как новичку, предстояло начать от параши. Это было противно, но он превозмог свою брезгливость и волноваться не стал. Новизна ощущений перекрыла на какое-то время и отвращение к вони, и внутреннюю, близкую к отчаянию безнадежность, и нежелание жить, а врожденная любознательность заставила внимательно наблюдать за тем, что делалось в камере.

Шум, гвалт, гам, толкотня. В одном углу группа арестованных играет в сделанные из хлеба домино и громко хохочет над сальными анекдотами. В другом – двое серьезных, сосредоточенных мужчин сражаются в шахматы – шахматы тоже из хлеба! – а человек пять болельщиков закрывают их своими спинами от глазка и нервничают по поводу каждого хода. Несколько любителей не терять времени зря примостились на нарах и, заткнув уши, читают. Кто-то сидит на параше, кто-то ест.

Человек, недавно привезенный на переследствие из лагеря, где он уже заканчивал срок, полученный за растрату, рассказывает кучке интересующихся о лагерной обстановке и о предъявляемых ему новых обвинениях:

– Ехал сюда – ничего не понимал. Зачем понадобился?! Чего им от меня надо?! Приезжаю, приводят к следователю и – здравствуйте, я ваша тетя!.. «Ты, – говорит, – не просто растратил! Ты взял деньги для контрреволюционной организации?!.» Ничего себе – пилюля!.. «Позвольте, – говорю, – на что мне ваша 58-я статья? У меня их и так целых две! – Ведь 116 – это 58 дважды! – Надо же придумать!» – «Взял да отдал!..» – «А что я, – говорю, – в таком разе на Ленку Кулакову истратил – камешки, что ли? На какие шиши манто ей купил, комнату отделал, по ресторанам водил, на курорты с ней ездил? Ведь на суде, – говорю, – все подсчитали, до последней копеечки! Что вы, гражданин следователь, – говорю, – выдумываете?»

– «Значит, отказываешься от пятьдесят восьмой?» – спрашивает он меня и ковыряет спичкой в ушах.

– «Решительно! – говорю. – На что она мне нужна?! С ней в лагере еще пропадешь! Я – честный растратчик! Знаете, – говорю, – у нас правило есть: лучше не попадаться, но если сидеть, так за деньги, а то – денег не брал, а сидеть – сиди!.. Нет, это нам, – говорю, – не подходит!»

Моргунов переходил от одной группы к другой, разговаривал со многими людьми, и перед ним открывались разные жизни, разные дела и разные судьбы. Как правило, все обвиняемые по пятьдесят восьмой охотно рассказывали о своих злоключениях; рассказывали подробно, с деталями, причем никто из них не считал себя виновным.

– Был я как-то в гостях, сидели, говорили, смеялись, что ж тут такого?!. Остроумно же! Смешно!.. Я ведь и над собственным сыном смеюсь, а что я, его от этого меньше люблю?.. Какой же я – контрреволюционер?!

– За что сижу-то?.. За малограмотность за свою! За то, что плохо читаю... А ты вот послушай: повесили у нас, значит, в избе-читальне, конституцию новую... Как говоришь?.. Проект?.. Это чего?.. А! Понял. Пущай будет проект. Все равно на большом листе напечатана... Ну, я и начал его, этот проект-то, читать. А буквы у меня прямо на глазах в разные стороны и разлезаются, никак я их в одно место не соберу. Пока строчку прочтешь – потеряешь, где она есть. Читать-то, знаешь, дело для меня непривычное!.. Ну, начал я буквы пальцем придерживать, водить, значит, пальцем по бумаге начал. А стены-то в избе бревенчатые, неровные. Пока по бревну пальцем вел – все хорошо было. А как другая строчка промеж бревен

пришлась, я, значит, конституцию пальцем-то и проткнул... Нечаянно проткнул!.. А мне, говорят, нарочно!.. Для агитации!.. Вот ведь – грех какой!.. Вот и сижу!..

Был здесь и мастер завода фруктовых вод, испортивший в спешке двадцать бутылок воды и обвиняемый по этому поводу во вредительстве; и колхозный парень, коему приписывался террор, так как он тюкнул во время совместной выпивки бутылкой по голове своего же лучшего друга – на беду! – председателя сельсовета; и пожилой шофер, мешавший, по его словам, молодой жене крутить любовь с соседом, а потому и оклеветанный ими как террорист, намеревающийся якобы столкнуться на улице «с кем-нибудь важным»; и отдельные граждане, недовольные недостатком товаров, дороговизной отдельных продуктов, условиями жизни в колхозах; и даже неудачливый футболист, нечаянно сбивший мячом бюст вождя на детской площадке районного сквера.

Группа молодых ребят-журналистов, все члены партии, попала сюда, судя по их рассказам, по пьяному делу. Собрались как-то все вместе, напились, аж чертям тошно стало, и давай соревноваться в меткости стрельбы.

– Пушкинский Сильвио муху в стену вдавливал, пулю на пулю сажал; у Келлермана капитан Фальк пьяный, качающийся, без промаха сбивает с головы живого человека маленький бокал с шампанским, а мы что?! Так не сумеем?! Мы что – хуже?!. Давайте попробуем!..

И попробовали. Стреляли по бутылкам, по рюмкам, по орехам, положенным на стакан, а потом, дальше – больше, по украшающим стены картинам и семейным портретам, и, наконец, по портретам вождей. Последнее им и зачлось: контрреволюционная агитация, содействие террору, 58-8 через 17, 58-10 и 11. Приговор был суров: от семи до десяти лет каждому. После суда их посадили вместе, и они вместе писали кассационные жалобы.

– Отрубите нам головы, но только не на этой плахе! – просили они.

Численность всех этих заключенных, воочию доказавшая Моргунову справедливость известной пословицы «от сумы да от тюрьмы не отрекайся», составляла менее половины населения камеры. Все остальные были, так или иначе, «причастны» к партийной оппозиции.

Моргунов переговорил постепенно со всеми, и все, как один, заявляли, что ни в малейшей степени не повинны в каком бы то ни было нарушении советских законов.

– Я когда-то сболтнул кое-что несуразное, но к оппозиции не примыкал. Я и из партии-то не исключался... Выговор был, но ведь это – когда! Да и, кроме того, разве быть в оппозиции – преступление? С каких это пор? Почему?..

– Исключался, но потом отошел, написал заявление. Партколлегия меня восстановила. И с этого самого дня – никаких партвзысканий, никаких замечаний не имел... Мало ли что в жизни бывает!.. Ничего за мной нет!.. Я по-честному: порвал и все!

– Я? В оппозиции?.. Нет, никогда!.. А сижу вот за что. Помнишь, в двадцать седьмом, к десятилетию Октября, издали манифест? Ну, вот! Его на комсомольском собрании обсуждали. Я, по глупости, задал вопрос, на что, мол, нам – мы разутые, нищие! – семичасовой рабочий день? Нужно, мол, сначала побольше поработать, средства поднакопить, а потом уж рабочее время снижать!.. И надо же: попал мой вопрос на троцкистскую линию. Троцкисты тогда выступали против снижения дня... Ну, ответили мне: «так, мол, и так». Я согласился, и – все! А оказалось, не все! Протоколы тогда велись очень подробные: и кто выступал, и чего говорил, и какие вопросы задавал. Все чин-чином! А теперь про то вспомнили, нашли протокол, разыскали меня, посадили! Говорят – ты троцкист! А какой я троцкист?!. Я совсем не троцкист!..

– За принадлежность к оппозиции... Да ну, почему же? На самом деле!.. К той самой, которую назвали «новой», потому что она объединила взгляды таких

вождей революции, как Троцкий, Зиновьев и Каменев... Да, активно!.. По заводам ездил, выступал, агитировал, собрания организовывал... Раз я уверен в своей правоте, я обязан... моя партийная совесть требует, чтобы... Позвольте, о чем вы толкуете? Какой статьей Уголовного кодекса предусмотрено несогласие со сталинским большинством? Такой статьи нет, и это – не преступление!..

– За что посадили?.. За троцкизм... Ну, конечно!.. Действительно!.. Я – большевик-ленинец, последователь Ленина и Троцкого... Нет, не ослышались, именно так: Ленина и Троцкого!.. Ничего странного в этом сочетании нет. Вы, вероятно, еще очень молоды и ничего не знаете. Кроме того, вам завертели мозги. Ну, а для нас, участников движения, эти слова звучат совершенно естественно. Имена Ленина и Троцкого стояли рядом во все годы революции с ее первых дней и до самой смерти Владимира Ильича!

Моргунов сразу вспомнил и ноябрьскую троцкистскую демонстрацию 1927 года, невольным свидетелем которой он стал, и проводы Троцкого, и Катин рассказ о том, как исключали из партии оппозиционеров. Ему страстно захотелось расспросить собеседника, понять его психологию, понять движущие пружины всех этих, теперь уже, пожалуй, давних событий, и он начал спрашивать и возражать.

– По моему мнению, – сказал он, – все эти дискуссии, все оппозиции ослабляют партию, отвлекают ее от непосредственной практической работы по строительству социализма.

– А вы точно знаете, как его надо строить? У вас есть опыт? Почему вы думаете, что предложения оппозиции обязательно от лукавого, а сталинские обязательно от Бога? Ведь разногласия возникают не на пустом месте!..

К беседующим стали подходить люди, и троцкист резко изменил тему разговора.

– Ничего! Привыкнете! Человек ко всему привыкает. Я вот с 1927 года катаюсь по тюрьмам и местам весьма отдаленным, и – ничего! Живу! В январе прошлого года – только приехал из ссылки – бац! Арестовали, посадили в Челябинский политизолятор, а сейчас привезли на переследствие. Еще один пункт штопают, а я все не унываю. Кстати, как вас зовут?

– Моргунов, Александр Сергеевич. А вас?

– Кучин, Дмитрий Иванович.

– Кучин?!!

– Да, Кучин... Что вы так поразились?

– Кучин?!. Как?.. Не может этого быть... Впрочем, вы... вы, случайно, не из РАНИОНа?..

– Когда-то был. Лет десять... нет – девять! – девять лет тому назад...

– Девять?.. Конечно!.. А вы... вы – не тот самый?.. Вы... Екатерину Андреевну Поморцеву знали?

– Поморцеву? Катю? Конечно, знал!.. А вы... собственно... вы почему...

– Она моя двоюродная сестра!

– Катя?.. Серьезно?!. Очень интересно!.. Надо же так встретиться!.. В таком месте!..

Кучин замолк.

– Впрочем, – добавил он после длительной паузы, – удивляться нечему. Не зря говорят: «мир тесен»!.. Ладно! Будем знакомы! – Он крепко пожал Моргунову руку и, показав глазами на подходящих к ним людей, отошел.

Александр Сергеевич был поражен, оглушен и задавлен всем, что пришлось услышать, ему опять померещилось, что он спит и все это видит во сне. Но он не спал! Все слышанное было горькой, живой действительностью.

И не успел отойти Кучин, как его тоже стали расспрашивать, и он не таился, поведал все: и кто, и откуда, и по какому делу сидит, и как его допрашивали, и до чего он разоткровенничался со следователем, и что из этого вышло.

Слушатели незло посмеялись над ним:

– Эх ты, философ!.. Нашел где исповедоваться!.. Разве можно таким наивным быть! Прямо как новорожденный теленок!.. Впрочем, все мы такие неопытные, все, так или иначе, на этом ловимся!.. Ничего не поделаешь!..

XXV

Наступил вечер. Принесли и раздали баланду, люди поели, но Моргунов не смог проглотить ни ложки: все пережитое за сегодняшний день сказалось отвращением к еде. Он отдал свою порцию незнакомому человеку, с жадностью поглядевшему на его миску, а сам только выпил полкружки наполовину остывшего кипятка. Затем пришла поверка. Арестанты выстроились в два ряда, вошел вохровец, медленно пересчитал всех по головам, записал итог на принесенную с собой дощечку и удалился. Стали готовиться спать, укладывать щиты, которые здесь почему-то назывались топчанами, стали стелиться, но, несмотря на отбой, жизнь в камере не замерла.

Зубоскалы-ребята, сочинившие уже шутливые песенки и эпиграммы на всех обитателей камеры, немедленно присовокупили к своим произведениям новые строчки о Моргунове и после отбоя устроили очередной импровизированный концерт. Стража не вмешивалась.

Сначала рассказывали анекдоты:

– Кацо, за что посадили?

– Русский язык плохо говорил!

– Как так?!

– А так! На демонстрации был, ошибка давал, вместо «ура» «караул» кричал, а они говорят: «контрреволюционна агитация!»

– А ты, Иван, за что сидишь?

– За Жучку!

– Какую Жучку?

– За Жучку, за собаку!.. Вызвал меня следователь:

– «Ты, – говорит, – контрреволюционер, участник антисоветской организации!.. Признавайся! Пиши!»

– «Да ты что, – говорю, – опупел? У меня и знакомых никого нет. Знать ничего не знаю!»

– «Как не знаешь?! Прошлое воскресенье, где был?»

– «Сапоги покупать ходил».

– «Достал?»

– «Нет, не достал!»

– «Домой пришел, ругался?»

– «Нет, не ругался! Просто так сказал: «эх, – говорю, – жизнь пошла, сапог не достанешь!»

– «Ну вот, значит – недовольство выражал! Вот тебе – пятьдесят восемь, десять, часть первая. А теперь вспоминай, кто при этом был?»

– «Да никого не было. У меня вообще никто не бывает. Один живу, я да Жучка!»

– «Ага, – говорит, – Жучка была! Вдвоем, значит были! Вот тебе – и организация! Пятьдесят восемь, одиннадцать... Давай, давай, пиши, признавайся!»

Рассказчик – смелый парень, из эстрадных артистов, уже получил «под завязку», то есть десять лет, и поэтому ничего не боялся. Рассказывал он лихо, и камера отвечала ему дружным смехом.

А потом начались песенки, частушки, эпиграммы. Появился самодеятельный хор и оркестр, игравший на немыслимых инструментах – гребенках, мисках,

деревянных ложках и прочих отнюдь не музыкальных вещах. Пели сатирические, острые, густосоленые песенки собственного сочинения, высмеивая, впрочем – без злости, – все, что казалось смешным. Мотивы оригинальностью не отличались. Их брали готовыми из популярных, распространенных в то время на воле песенок. Сначала пропели едкую сатиреску про шофера, которому изменяла жена. Затем высмеяли старика художника, хранившего у себя, среди другого иллюстративного материала, портреты царской семьи, членов Временного правительства и руководителей оппозиции, а теперь хлебающего за этот грех тюремную баланду. Потом наступила и очередь Моргунова; по камере на мотив утесовской «Мурки» понеслась озорная песенка:

Здравствуй, ты наш контрик, контрик Моргунаша,
Здравствуй, ты наш контрик, и прощай!
Ты зашухарился и теперь ешь кашу,
А потом пятерку получай!
Вот наступит вечер, влезешь ты под нары,
А жена уляжется в кровать.
За такой решеткой, при такой охране
Ты совсем разучишься...

Дальше шло слово, в печатных текстах неупотребляемое.

Моргунов смотрел и слушал, и ему стало легче. Тяжелый ком отвалил от сердца, стало свободнее дышать. Людская веселость подействовала и на него. «Но почему, почему они веселятся? – думал он. – Как могут они вести себя так беззаботно? Ведь жизнь каждого из них сломана, искалечена. Неужели они этого не сознают? Неужели не понимают, что их собственное несчастье не ограничивается только ими? Ведь почти у каждого есть какая-то семья. Жена, дети, родители, – все обречены теперь на страдания, материальные лишения, тоску и беспокойство. А они веселятся! Что же это? Бездушие? Беззаботность? Неверие в серьезность того, что их постигло? Или, может быть, это – верх самообладания, смелый вызов пленившему их врагу, – своеобразная «Варшавянка»?»

Нет, ничего подобного не было. Эти люди не были ни бездушными, ни беззаботными. Они знали, что попали всерьез и надолго, и не пытались бросать никаких вызовов. Более того, они не считали репрессирующую их власть своим врагом, и относились к ней как к части самих себя. Большинство из них сами, в той или иной степени, создавали советское государство, наполняли его социалистическим содержанием, но сейчас ни о чем таком не думали.

Предельное напряжение, перенесенное каждым из них на известном этапе своего «дела», не могло продолжаться слишком долго. Отчаяние или губит и убивает, вызывая нарушения рефлекторной деятельности организма и полное расстройство нервной системы, доходящее до необратимых, несущих смерть процессов, или относительно быстро слабеет. В последнем случае у человека появляется призрачная, ничем не обоснованная надежда, появляется привычка, и люди обретают относительный, на первых порах нестойкий, покой и могут даже веселиться. Сквозь такие покой и веселость нет-нет, да и проглянут тоска и отчаяние, выскакивающие откуда-то из подсознательного. Поглядит внезапно человек на себя, вспомнит былое, и горько станет ему: впору повеситься. И некоторые вешаются (если удается, конечно), но таких – единицы. Большинство же смиряется, гонит от себя прочь черные мысли, бессознательно абстрагируется от прошлого и, в зависимости от индивидуальности, либо бросается в водоворот работы и деятельности, либо погружается в мелочи своего и соседского быта и мелкого ежедневного бытия.

Так или иначе, а занятия для сознания находятся, жажда жизни берет свое, появляется привычка, появляется возможность продолжать существование, и

люди в любом, даже самом отчаянном, положении сохраняют способность жить и находить недоступные для других крупицы радости и удовлетворения.

Так было и теперь. Люди веселились потому, что человек ко всему привыкает и смиряется с любым, самым плохим положением. Не смиряются только со смертью, но разные люди относятся к ней по-разному, и многие приемлют ее более или менее спокойно.

И, глядя на эту смеющуюся, орущую, веселящуюся массу уже осужденных или ждущих приговора людей, Моргунов сначала поразился их мужеству, а потом подумал, что мужество здесь ни при чем, что это – своеобразный «пир во время чумы», который когда-то любил поминать его дядя Володя. И он почувствовал, как уходит и от него самого страшный груз его мыслей, как мозг освобождается от тяжести воспоминаний, как вливается в него бездумная возможность отвлечься от существа реальной обстановки. И он искренно рассмеялся, услышав озорную песенку про него самого, и сразу представил себе, как расскажет о ней, когда вернется из тюрьмы, своей любимой Марусе.

XXVI

В тюрьме, как и на фронте, часто возникают крепкие, хотя и не всегда логичные, дружбы. Люди привязываются друг к другу даже тогда, когда их взгляды, интеллекты, характеры и убеждения сильно разнятся. Если же у них обнаруживаются какие-то, пусть самые ничтожные, точки соприкосновения, вроде общих знакомых на воле, происхождения из одной местности, однотипной работы, сходного образования или еще чего-нибудь в этом духе, то предпосылки для душевных отношений становятся достаточно солидными.

Не прошло и двух дней, как Моргунов крепко-накрепко сдружился с Кучиным, хотя и оспаривал все время его утверждения. Их сближению сильно способствовали взаимные воспоминания о Кате Поморцевой. С глубоким удивлением узнал Моргунов, что в то самое время, когда Катя, плача и убиваясь, проголосовала за исключение Кучина из ВКП(б), она была его фактической женой. Об этом не знал никто из родных и знакомых, об этом не знал никто даже в РАНИОНе, хотя их связь длилась больше двух лет.

– Нет, нет! Я не сержусь на нее, – ответил Кучин на вопрос Моргунова. – Я ее понимаю и – уважаю! Конечно, ее взгляды, с моей точки зрения, абсолютный нонсенс, но раз она их искренне разделяла, то иначе поступить не могла... Страшно вспомнить, но что было, то было... Я пришел к ней в тот же день поздно ночью, – к себе идти опасался! – она мне мгновенно открыла и – повисла на шее: «Митя, пойми!..» Я ее перебил: «Не надо!.. Молчи!.. Я все понимаю!.. Понимаю! Даю тебе слово...»

Мы провели вместе эту нашу последнюю ночь и так ни о чем серьезном больше и не поговорили. Утром я ушел от нее... А днем меня взяли на улице... И больше мы с ней не встречались. Когда я был в ссылке, она делала попытки связаться со мной, нашла мой адрес, писала, даже переводила деньги. Но я решил не подвергать ее ломке изнутри и ударам извне, и настоял на своем. Мы порвали друг с другом... Сколько мук, сколько горя пришлось тогда пережить... Прошло девять лет, а как будто все это было вчера!.. И знаешь что, Александр Сергеевич? Если сказать откровенно... я люблю ее до сих пор. Сильно люблю... понимаешь?!.

Они лежали рядом на чьих-то нарах, постояльцы которых, сгрудивших в искусно укрытом от глазка углу, целыми днями сражались в сделанное из хлеба домино, и разговаривали, разговаривали, разговаривали, стремясь только, чтобы их не услышал кто-нибудь посторонний. Это удавалось легко. Люди в камере, хотя ничего как будто и не делали, были заняты личными думами и заботами. Одни беседовали о своих «делах», непрерывно возвращаясь к тому, с чего начинали,

другие читали, третьи, образовав небольшую группу, пытались учить английский язык, громко повторяя вслед за доморощенным преподавателем труднопроизносимые звуки, четвертые «забивали козла» или играли в самодельные шахматы и шашки, а также и в другие, невиданные, в тюрьме изобретенные, игры, соревнуясь, например, в том, кто больше вытащит спичек из насыпанной кучи, не рассыпав ее и не тронув рядом лежащих, пятые спали, шестые слушали экспромтом возникшую лекцию о чем-нибудь вроде ассирийской культуры или органических соединений, седьмые смаковали подробности любовных приключений, героями которых им якобы приходилось быть.

Кучин с Моргуновым, отдав дань личным воспоминаниям, перешли на политику.

– И все-таки, Дмитрий Иванович, я с тобой не согласен. На протяжении всех лет революции, с самого начала века, троцкизм противостоял ленинизму, и большевики с ним постоянно боролись. Троцкий, даже придя к большевикам, даже будучи наркомвоенмором, всегда проводил свою, троцкистскую линию. Система его взглядов только мешала поступательному движению нашей борьбы за социализм.

– Даже так?! Ты, Александр Сергеевич, слышал звон, да не знаешь, откуда он. Во-первых, со времени старой «Искры», то есть после 1903 года, троцкизма как самостоятельного течения в социал-демократии не было, и в борьбе против оппортунизма большевики вели огонь не по троцкизму, а по меньшевизму. Это раз! Во-вторых, после Октября, несмотря на отдельные разногласия, всегда возникавшие в партии, и разные пути решения конкретных проблем, предлагавшиеся отдельными членами ЦК, Троцкий и Ленин проводили одну и ту же линию, и никакого послеоктябрьского троцкизма в природе не существовало. Послеоктябрьский троцкизм – это миф, специально придуманный Сталиным и его прихвостнями. Найди мне во всех послеоктябрьских сочинениях Ленина хотя бы однократное упоминание слова «троцкизм». Такого нет.

– Что ты говоришь, Дмитрий Иванович! Разве не Троцкий возглавлял все оппозиции? Разве не он был инициатором всех дискуссий, так сильно и тяжко трепавших партию после Октября? Вспомни Брестский мир, дискуссию о профсоюзах, дискуссию 1923–24 годов о партийном строительстве и экономической политике. Разве нельзя было обойтись без них?.. Да погоди ты! Не перебивай! Хочешь сбить меня? Я сам собьюсь, если нужно будет!..

– Я не перебиваю. Ты спрашиваешь, я пытаюсь ответить.

– Ничего я не спрашиваю. Я утверждаю.

– В вопросительной форме?!.

– Брось, Дмитрий Иванович, придираться! Ты ж понимаешь, о чем я говорю.

– Ну, ладно, ладно! Давай дальше!

– Так вот. Все эти дискуссии инициировал Троцкий. Пользовался своим положением в партии. И не только эти, но и последующие. Я, например, сам лично помню дискуссию 1924–25 годов в связи с его книжкой «Уроки Октября». Кончилась она тем, что Троцкого сняли с должности наркомвоенмора, но так как членом Политбюро его все-таки оставили – хотели, по-видимому, дать возможность исправиться! – он опять стал организовывать оппозицию. Сначала – «новую», а потом, в 1926 году, целый оппозиционный блок. А затем пошли открытые уличные демонстрации против ЦК. Мне рассказывали про проводы Смилги, а демонстрацию 7 ноября 1927 года я сам, своими глазами, видел. Знаешь, в то время я был ребятенком, многого не понимал, и когда Троцкого с Зиновьевым за несколько дней до XV съезда исключили из партии, возмутился, считал, что это незаконно, а теперь думаю иначе: правильно было сделано. Так и надо было! Мне после этого довелось побывать на проводах Троцкого. Там черт знает что творилось...

– Конечно, черт знает что! Там вооруженная милиция разгоняла мирную безоружную демонстрацию. Но ты погоди! Ты все спросил?

– Допустим, что все!.. Пока что, конечно! Потом я добавлю!

– Ладно! Пусть будет пока!.. Слушаю я тебя и никак в толк не возьму, за что тебя, такого сталинского ортодокса, посадили?!. Ума не приложу!.. Ну, а не находишь ли ты, правоверный человек, что факт твоей посадки, сам по себе, прекрасно доказывает справедливость наших утверждений о порочности сталинского партийного режима?.. Не находишь?!. Очень печально!.. В таком разе слушай, что я тебе скажу, и, пожалуйста, не перебивай!..

Прежде всего, совершенно неверно, что Троцкий возглавлял все оппозиции и начинал все дискуссии. Военную оппозицию, например, возглавляли Сталин и Ворошилов; рабочую оппозицию – Шляпников, Медведев и Коллонтай; оппозицию «децистов» – Бубнов, Богуславский, Осинский, Сапронов и иже с ними; дискуссия о Брестском мире началась по решению ЦК партии в январе 1918 года, так как существовали три точки зрения, и надо было найти согласованное решение. Мало того, уже внутри каждой из этих точек имелись нюансы и разногласия. Ленин, например, заявил, что в некоторых частях он не согласен со своими тогдашними единомышленниками Сталиным и Зиновьевым. Так-то вот! Что касается профсоюзной дискуссии, то хотя она формально и началась с выступления Льва Давидовича в ноябре 1920 года на пятой всероссийской конференции профсоюзов, но подготовлена была всем ходом истории, окончанием гражданской войны и возникшими в связи с этим проблемами. Во время этой дискуссии, кроме двух платформ, возглавляемых – одна – Троцким, другая – Лениным, – возникло еще несколько. Помнишь, какие?.. Нет? Ну, например, бухаринская – «буферная» платформа, которую выдвинули Бухарин, Преображенский, Сокольников, Серебряков, Ларин и Яковлева; затем платформа «децистов», коих я только что перечислил; потом «игнатовцы» – Игнатов, Орехов, Корзинов и другие; платформа ВЦСПС, которую подписали Гольцман, Викентий Косиор, Киселев, Кутузов и кто-то еще; платформа Цектрана и так далее. Так что мнений было много, а споры стали настолько горячими, что в них зачастую вносилась ненужная острота и допускались словесные перегибы. Сам Ленин, по его же собственным словам, «допускал некоторые явно преувеличенные и потому ошибочные выпады». Понятно?.. Да ты погоди, не перебивай! «Прежде батьки в петлю не лезь!» Едем дальше. Ты упомянул дискуссию 1923 года. Она, к твоему сведению, началась «заявлением 46-ти», которое Лев Давидович, кстати сказать, не подписывал; и, наконец, последнюю, «новую» оппозицию организовали и возглавили Зиновьев и Каменев. Эта оппозиция возникла в конце 1925 года, а объединилась с Троцким только на пленуме ЦК и ЦКК в июле двадцать шестого. Вот так, уважаемый Александр Сергеевич, обстояло дело с оппозициями и дискуссиями.

– А разве нельзя было без них обойтись? Зачем они были нужны?

– Так ведь оппозиции и дискуссии с неба не падают, Они возникают как естественный и закономерный процесс демократического пути решения вопросов. Их не бывает только при самодержавии, но самодержавие или самовластие какого-либо вождя, – что то же самое, – никогда еще не было, как вполне доказала история, лучшим методом социального прогресса. Подумай-ка сам! Мы идем по непроторенному пути. Готовых рецептов для решения возникающих проблем нет. И хотя все стремятся к одной и той же цели, один предлагает одно, другой – другое. Что лучше? Какое решение надо принять? Есть ли в партии такой гений, который всегда и наперед знает, что, как и когда надо делать? Нет такого! Ни Ленин, ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев, ни тем более Сталин не являются провидцами и прорицателями, наделенными божественным откровением. «Несть пророк в отечествии своем». Один ум хорош – два лучше! И

когда возникает сложнейшая проблема, когда возникают принципиальные, коренные и глубокие разногласия, то они оправдывают не только дискуссию и оппозиции, но даже самые резкие и фракционные выступления. Это, между прочим, дорогой Александр Сергеевич, ленинские слова. Он говорил, что если появится такой вопрос, как, скажем, заключение Брестского мира, то тогда, может быть, придется выступать по платформам... Ты не знаешь, где он это сказал?!. Ну что ж, подскажу: на десятом съезде партии. Можешь проверить. Когда освободишься, конечно! Это опубликовано...

Можно продолжать?.. Очень хорошо. Возьмем в таком случае для примера этот самый Брестский мир. Проблема была слишком сложной, и не только Ленин и Троцкий выступали со своими предложениями. Главной силой, боровшейся против этого мира, были левые коммунисты: Бухарин, Радек, Пятаков, Ломов, Урицкий. Они требовали объявить немцам «революционную войну», и их поддерживали не только многие большевики, но и входившие в то время в советы левые эсеры, эсеры-максималисты, анархисты и меньшевики. Позиции же Ленина и Троцкого, в конце концов, совпали: «всячески затягивать подписание мира». Лев Давидович на переговорах с немцами это и делал, но маленечко переборщил. А вообще говоря, и его основное предложение – войну прекратить, армию демобилизовать, мира не подписывать, – и курс на максимальную затяжку переговоров с заключением, в конце концов, сепаратного, аннексионистского, «похабного», как называл его Ленин, мира, и идея «революционной войны», – исходили из одного и того же расчета. Из расчета на революцию в Германии. Расчет, вопреки тогдашним утверждениям Сталина, несогласие с коим Ленин специально оговорил, полностью оправдался, но, к сожалению, с большим опозданием. На целых девять месяцев...

– Ты, значит, Троцкого оправдываешь?! Оправдываешь срыв мирных переговоров?!

– Нет, этого я не оправдываю. Тогда был прав Ленин, хотя его предложение собрало первоначально только 15 голосов из 63-х. Я только говорю, что не в Троцком была основная закавыка.

– Ура, ура, ура! Ты, троцкистский ортодокс, хоть в чем-то с ним не согласен.

– Не понимаю твоего восторга. Я не догматик, и моя мысль никогда не замыкалась в каких бы то ни было рамках, даже в рамках идей Льва Давидовича.

– Но ведь ты, тем не менее, троцкист!

– Я тебе уже при первом знакомстве сказал, что я большевик-ленинец, а это равнозначно слову «троцкист». Пойми, наконец, что, начиная с Октября, ни в идеологии, ни в политике не существовало какого-то особого, противопоставленного ленинизму, «троцкизма». Когда возникали разногласия по конкретным вопросам партийной политики, то наряду с группами сторонников Ленина или, скажем, Бухарина, или там какого-нибудь Шляпникова, возникали и группы сторонников Троцкого, но состав этих групп никогда не был постоянным, и они распадались, как только решался обсуждаемый вопрос. Миф о послеоктябрьском «троцкизме», как о замкнутом и антагонистичном ленинизму течении, создали в 1923–24 годах Зиновьев и Каменев, пытаясь этим, во-первых, защититься от обвинений в октябрьском штрейкбрехерстве, а, во-вторых, завоевать монополию на ленинизм. Все это пошло на пользу Сталину, а когда они опомнились, было уже поздно. Что касается лично меня, то с 1923 года, то с того времени, когда система ленинских взглядов Троцкого обособилась как система, противоположная антиленинскому сталинизму, я троцкист.

– Почему же с двадцать третьего? Профсоюзная дискуссия, насколько мне помнится, была в двадцать первом. Значит, тогда ты троцкистом не был и взглядов Троцкого не разделял?

– Не путай гвоздь с панихидой! Я же тебе только что объяснял. В двадцать первом году троцкизма в том виде, как его изображают, не существовало, а взгляды Троцкого мне и тогда представлялись вполне логичными. Помнишь, о чем тогда спорили?.. О способах укрепления трудовой дисциплины в рабочем классе. Позиция Троцкого была такова: практически война кончилась, но мы не знаем, сколь длительной будет передышка. Поэтому совсем складывать оружие и полностью отказываться от военных порядков рано. Армейский опыт, давший такие прекрасные результаты во время войны, надо использовать и теперь, в мирных условиях, а поскольку краеугольным камнем производственной демократии должны быть профсоюзы, то следует провести «огосударствление» их, «перетряхнуть их сверху донизу», осуществить «завинчивание гаек военного коммунизма». Такая позиция, как я думаю, соответствовала постановлению IX съезда РКП(б) о том, что профсоюзы при диктатуре пролетариата выполняют свои задачи «в качестве одного из основных аппаратов советского государства». Но не все мыслили так. Завязалась дискуссия, в которой выявилось восемь точек зрения и восемь платформ. Победил Ленин, который выступил против тезисов, изложенных в брошюре Троцкого «О роли и задачах профсоюзов» и против всех других мнений. Ленин считал, что профсоюзы надо использовать не только для защиты рабочими советского государства, но и для защиты рабочих от «своего государства», а достигать этого надо не принуждением, а убеждением. По существу говоря, как это утверждал Ленин, и как это написал в своей статье даже твой обожаемый Сталин, все эти разногласия были непринципиальными, и споры шли лишь о методах подхода, способах, путях решения возникшей проблемы, а не о ней самой.

– Все это понятно, Дмитрий Иванович! – с тоской произнес пораженный уверенностью Кучина Моргунов. – Но ты мне прямо скажи, без уверток. Кто был, по-твоему, прав? Владимир Ильич или Троцкий?

– Прав был, конечно, Ленин, и Троцкий это позднее признал... Во всей этой истории плохо то, что «огосударствление профсоюзов», отвергнутое после всероссийской дискуссии X съездом, и притом по предложению самого Ленина, фактически осуществлено теперь, без всякого обсуждения и втихомолку, единодержавным диктатом «вождя и учителя».

– Но ведь это – клевета! – возмутился Моргунов.

– Не бросайся громкими словами! – возразил Кучин. – Сначала подумай, потом говори! Кстати, надо освобождать места. Сейчас принесут обед, потом хозяева нар будут долго валяться, а после этого пойдут чередом прогулка, вечерний бедлам, ужин, поверка... Сегодня уже говорить не придется. Так что – ты думай!.. А завтра, если удастся, продолжим. Идет?

Моргунов согласился.

XXVII

Всю ночь, валяясь под нарами на голом и замызганном деревянном щите с подложенными под голову валенками соседа, привезенного в тюрьму прямо из дома с большим запасом разного носильного барахла, Моргунов обдумывал услышанное за день. Он был возбужден, взволнован и, стесненный, кроме всего прочего, окружающим его плотным человеческим месивом, никак не мог уснуть. Мысли шли беспорядочно и рассредоточенно. Слова Кучина произвели на Александра Сергеевича огромное впечатление. «Кучин говорил убежденно, ясно, называл точные даты, и все сказанное им выглядит вполне логично... Но ведь не может же он быть прав, не может!.. Столько книг и брошюр издано о троцкизме, столько опубликовано статей, столько речей произнесено против него, а по Кучину получается, что и троцкизма-то никакого не было... Или нет, троцкизм,

пожалуй, и был, но, если верить Кучину, не противостоял и не противоречил ленинизму... Ерунда какая-то!.. Глупость!.. Чепуха!.. Взять, например, Августовский блок!.. Хотя нет! Августовский блок – это 1912 год, а Кучин толковал о послереволюционном троцкизме... Ну и что ж, что о послереволюционном! Все равно – чепуха!.. Гм... Чепуха ли?.. Выходит, что Троцкий все время против партии шел, а Ленин в «Завещании» называет его «выдающимся вождем современного ЦК»... Неувязочка!.. А вдруг не было этого завещания, вдруг оно действительно подделка таких вот, как Кучин!.. Нет, вероятно, все-таки не подделка!.. Не может быть!.. Черт возьми, какая неразбериха!.. Надо будет с ним еще раз поговорить. О недооценке крестьянства, о перманентной революции, о Термидоре...»

Моргунов долго думал об открывающихся перед ним тайнах, «туманных тайнах», – добавлял он, как бы оправдываясь перед самим собой, но к ясности так и не подошел. А потом неожиданно навалились воспоминания, думы о Марусе, о своем положении, захотелось вскочить, побегать, успокоиться, но все это было невозможно. Он лежал под нарами, ограниченный со всех шести сторон, даже повернуться на другой бок или с бока на спину было непросто: при этом почти обязательно задевались рядом лежащие, и Александр Сергеевич, чтобы не беспокоить спящих людей, лежал неподвижно. А внутри него – бушевал ураган.

Незадолго до подъема он все же заснул, но очень скоро его разбудили: в камере начался следующий день.

После завтрака Моргунову сильно хотелось спать, но как только ему с Кучиным удалось уединиться, нервы сработали автоматически, сонливость исчезла, и он с жадным вниманием и внутренней дрожью от возбуждения стал слушать кучинские рассказы, перебивая его время от времени дополнительными вопросами и возражениями. Александру Сергеевичу хотелось побольше услышать, побольше узнать. «Пусть Кучин выскажет все, а там я и сам как-нибудь во всем разберусь».

И Кучин совершенно спокойно, как о самых обыденных вещах, рассказывал Моргунову:

– Дискуссия 1923–24 годов перед XIII съездом партии началась, как я тебе уже говорил, с «Заявления 46-ти». Троцкий его не подписывал, но за неделю до его появления, в начале октября 23-го года, послал в ЦК и ЦКК письмо лично от себя. В нем он указывал на крупнейшие недостатки и бюрократизм в партаппарате, на зажим рабочей демократии, неправильное планирование, неправильную хозяйственную политику и крестьянский уклон большинства членов ЦК. И опять же, повторяю, и письмо, и заявление не с неба упали и не от злой воли родились. Они были вызваны объективными обстоятельствами и возникли в результате почти катастрофического положения страны как в экономической, так и в социальной сферах. Вспомни такие жгучие явления, как кризис сбыта промтоваров при нищенском уровне их производства, миллионную безработицу, знаменитые «ножницы» цен (термин Троцкого), которые резали смычку города с деревней, невероятно плохие условия труда рабочих в городах, неправдоподобно низкую зарплату, ниже, чем в царское время, и при этом еще несвоевременную выдачу ее из-за отсутствия денег у государства. Не товары-то сбыта не находили – денег не было. Ты сам работал, должен понимать, что такое задержка получки, да еще в условиях быстрой инфляции.

А наряду с этим – буйное развитие частного капитала, воровство, взяточничество, буржуазные излишества, умопомрачительная – с точки зрения рабочего люда – роскошь, ночные рестораны, кабаре, лихачи и усыпанные драгоценностями нэпманши. Рядовые члены партии и рабочий класс бедствуют и не видят исхода. Им ничего не сообщают, все решается без них, скрытно, секретно. Дошло до того, что Пленум ЦК и ЦКК, созванный в конце октября 1923 года

запретил – запретил! – представителям губкомов, приглашенным на пленум, информировать, хотя бы даже устно, свои организации о решениях, принятых им. Замечательная демократия! Не правда ли?.. Она подтолкнула развитие социальных конфликтов. В некоторых районах республики прокатилась волна брожения и забастовок! Все это грозило опрокинуть завоевания революции, опрокинуть наш строй. Вот откуда и письма, и заявления, и оппозиции, и дискуссии, и внутрипартийная борьба, и требование свободы группировок.

Только их воздействие и заставило ЦК принять экстраординарные меры: снизить розничные цены на промтовары, особенно – массового крестьянского потребления, повысить цены на сельхозпродукты, организовать для крестьян дешевый кредит, наладить работу госторговли и кооперации, повысить зарплату транспортникам и обеспечить своевременную выдачу ее всем рабочим...

Как откуда деньги взялись?! После снижения цен товары стали раскупаться и деньги появились... Погоди минуту. Я еще не закончил, как раз и хочу сказать о партийных делах.

Под воздействием оппозиции Центральному Комитету пришлось также вплотную заняться и внутрипартийным положением. В результате в декабре 1923 года Политбюро ЦК и Президиум ЦКК единогласно приняли на совместном заседании резолюцию «О партстроительстве», которую сейчас прячут и стараются не вспоминать.

– Какую? Какую резолюцию? – заволновался Моргунов. – Когда ее приняли? Почему я о ней ничего не знаю?

– Я же тебе говорю: резолюцию «О партстроительстве», принятую в декабре 1923 года, одобренную затем в январе 1924 года Пленумом ЦК для внесения на XIII партконференцию. Эта резолюция устанавливала в партии мир. Она была принята и большинством ЦК, и оппозицией, и могла положить конец всем разногласиям. Но это совсем не входило в расчеты правящего триумвирата, то есть Сталина, Зиновьева и Каменева. Особенно двух последних, «жаждавших крови Троцкого».

– Дмитрий Иванович, так ли это? Не ошибаешься ли ты? Я, например, ничего не знаю об этой резолюции, никогда о ней не слыхал, ничего не читал.

– Да и где ты мог про нее читать? Ее теперь не публикуют... А ведь на XIII партконференции даже Сталин сказал, что это единственная резолюция во всей истории партии, которая после ожесточенной дискуссии о демократии встретила полное, буквально единодушное – это его точные слова – одобрение всех. Ты, конечно, этого помнить не можешь, ты в те времена – извиняюсь за выражение! – пацаном был... Сколько лет тебе было тогда?.. Двенадцать?!. Ну, тогда все понятно!

– Ничего не понятно. Резолюция, ты говоришь, встретила единодушное одобрение, почему же мир в партии не наступил?

– А потому что уже через два дня, на XIII партконференции, триумвират нарушил все соглашения и сорвал все попытки к примирению. Вместо этого он мобилизовал своих сторонников на пришивание оппозиции «мелкобуржуазного уклона».

– На тринадцатой партконференции?.. Постой!.. Я что-то припоминаю... Ну, конечно: «Новый курс». Была такая брошюра у Троцкого?.. Так ведь это он выступил первым. Значит, он и сорвал мир! ЦК не стал бы возобновлять дискуссию!

– Много ты знаешь! Не стал бы!.. Если бы не стал, то Надежде Константиновне Крупской не надо было бы выступать на XIII съезде с протестом по поводу того, что вместо обсуждения новых задач руководители съезда, и прежде всего Зиновьев и Сталин, занялись дублированием только что закончившейся дискуссии, чем, как она сказала, внесли «излишнюю остроту в отношения между

бывшей оппозицией и ядром партии». Кроме того, скажи-ка на милость, почему это опубликование «Нового курса» должно было сорвать мир? Не потому ли, что Лев Давидович говорил в нем о необходимости дать членам партии возможность свободно выражать свое мнение, или, может быть, потому, что он назвал молодежь «барометром партии»?.. Глупости!.. «Новый курс» не содержал ничего противоречащего резолюции «О партстроительстве», и не троцкисты, кстати сказать, до сих пор прячут ее от партии и от народа. Все здесь гораздо проще. Триумвирату не за что было уцепиться – вот и начали цепляться за «Новый курс». Практически же и Зиновьев, и Каменев, и Сталин, воюя с оппозицией, выступали с ее лозунгами, только выдавая их за свои.

– Ну, уж это ты загнул, Дмитрий Иванович!

– Загнул?! Разве Сталин не говорил, повторяя утверждения оппозиции, что атмосфера государственного бюрократического аппарата облегчает дело бюрократизации наших партработников? Говорил! А Каменев, а Зиновьев? Прочти-ка их речи!

– С удовольствием прочту! Давай!

Оба засмеялись.

– Ладно! Освободишься – прочтешь. Какие твои годы!

Кучин замолк и показал Моргунову глазами на присоседившегося к ним человека, который явно пытался прислушаться к их разговору.

– Ты, парень, здесь чего-нибудь потерял? – вызывающе обратился Кучин к подсевшему. – Или по шее схлопотать хочешь?.. Дуй-ка отсюда подальше! Вишь, в том углу тетя с передачей дожидается! Наушники принесла... Давай, крой туда!.. Здесь не обломится!

– Да я что? Я ничего!

– Вот и хорошо, что ничего! Давай, уматывай!.. К куму зайдешь – поклон передай!.. Ну-ка, сыпь! Тебе сколько раз говорить?!

Кучин угрожающе приподнялся. Парень молча соскользнул с нар и перебрался в другой конец камеры.

– Зачем ты его так?.. – спросил Моргунов.

– А как иначе?.. Наседку проклятую!..

Моргунов замолчал.

– Эх, настроение сбил! «Испортил песню, дурак!» – выругался Кучин и снова улегся на нары, подложив под голову обе руки.

– Черт с ним! – после длительной паузы сказал Моргунов. – Не думай о нем. Расскажи-ка лучше о перманентной революции, о недооценке крестьянства.

– Недооценка крестьянства!.. Надо ж быть тупаком, верить в такую муру!.. И перманентная революция!.. Одно к другому привязали...

Кучин опять замолчал.

– Ну, расскажи, – вновь попросил Моргунов.

– Да!.. – не сразу ответил Дмитрий Иванович. – Перманентная революция!.. Ты-то хоть знаешь, что это такое?.. Мудреное это название, как говорил Лев Давидович, выражало ту мысль, что русская революция, перед которой в 1905 году, а затем и в семнадцатом, стояли буржуазные цели, не сможет остановиться на них. Задачи буржуазной революции, – говорил он, – сможет решить только пролетариат после взятия им власти. Но, взяв власть, он не сможет ограничиться буржуазными целями. Вслед за феодальной собственностью ему придется разрушать и буржуазную, а это повлечет за собой враждебные столкновения не только с феодалами и буржуазией, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречия же в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения можно будет разрешить только в международном масштабе, на арене мировой пролетарской революции.

Эта вот мысль, высказанная Троцким в 1905 году, вызвала возражение Ленина. Ленин усмотрел в ней отрицание роли крестьянства. Он возражал не против перманентности, то есть непрерывного революционного процесса, – в этом отношении он тоже был перманентником! – а только против недооценки крестьян, которые, по его мысли, должны будут действовать против капитализма в союзе с пролетариатом и ни в какие враждебные отношения с ним не вступят. Теоретически Ленин, конечно, был прав, и под его влиянием Лев Давидович пересмотрел свою позицию, о чем в 1925 году в письме июньскому пленуму ЦК и ЦКК совершенно недвусмысленно заявил. Он написал тогда, что по всем пунктам, где у него в прошлом были разногласия с Лениным, прав был Ленин, а не он, и что данный вопрос имеет только историческое значение. Никакого отражения в политической и практической работе после Октября, утверждал Троцкий, эти разногласия не имели. И это вполне соответствует фактам. Лев Давидович специально остановился в том письме на вопросе об оценке крестьянства, как вопросе, имеющем наибольшее политическое значение. Насколько мне помнится, он написал буквально так: «Я решительно отрицаю, что формула «перманентная революция», целиком относящаяся к прошлому, определила для меня в какой бы то ни было степени невнимательное отношение к крестьянству в условиях советской революции». И фактически это было именно так...

– Откуда это видно? – перебил Моргунов. – Чем ты можешь доказать?..

– Чем? Ну, хотя бы всей историей нашей революции, всеми сочинениями Ленина. Ни одного случая разрыва единства взглядов и политики Ленина и Троцкого в этой решающей области партийного руководства с самых первых дней Октября и до самой смерти Ленина не было.

– И ты действительно веришь в это?

– Да, действительно, но только не верю, а знаю. Я даже больше скажу: Лев Давидович зря отказался от своей теории. Жизнь показала, что он был прав. Разве коллективизация, проведенная по-сталински, – это не враждебное столкновение пролетарской власти с широкими массами крестьянства?

Моргунова передернуло. Опять вспомнилось его незадачливое участие в «ликвидации кулака как класса». Он замолчал, побледнел, задохнулся. Кучин заметил это и с недоумением глядел на него. Шли томительные секунды, пауза стала невыносимой. И тогда Моргунов скорее выдавил из себя, чем сказал:

– Ты... Дмитрий... Иванович... говоришь... страшные вещи, но я не могу принять твои доводы. Проверить сказанное тобою сейчас невозможно, а так я... я просто... не знаю...

– Милый мой, ignorantia non est argumentum.

– Ну и пусть!.. Пусть не аргументум! Но я не могу... не могу признать твоей правоты... потому что я знаю совсем другое... Вся партия отвергла доводы оппозиции. Она вся, вся целиком, проголосовала против нее. Это, по-твоему, что?..

– По-моему, это результат репрессий и зажима, помешавших членам партии голосовать по совести... Не любил я в свое время Зиновьева, но он перед XV съездом правильно про это сказал: «Раньше, чем поднять руку, пиши духовное завещание как член партии, готовься сдать партбилет, готовься идти на биржу труда». Он тогда не знал, что идти придется не на биржу труда, а в тюрьму, в лагеря, и даже под расстрел. Ты вот за оппозицию не голосовал, и то сидишь. Только за один интерес к ней!

Моргунов не ответил, и они долго молчали.

– Дмитрий Иванович! – прервал, наконец, длительную паузу Моргунов. – Я знаю, как мне кажется, суть разногласий между ЦК и оппозицией в последнее время ее существования, знаю ваши предложения о повышении отпускных цен на промтовары и максимальном налоговом нажиме на крестьянство, чтобы таким

путем выкачать средства для индустриализации, знаю сверхиндустриализаторские тенденции оппозиции, ее борьбу против партаппарата и ее обвинения партийного и советского руководства в термидорианском перерождении, знаю, наконец, ее организационные связи с Урбансом, Масловым, Рут Фишер, и даже вашу знаменитую нелегальную платформу. Я против вас по всем пунктам. Но в данный момент дело не в том, как я ко всему этому отношусь. Меня интересует другое. Ведь все это в прошлом, все это пройденный этап, перевернутая страница. А вы до сих пор ненавидите Сталина!

– А за что его любить?! – зло улыбаясь, ответил Кучин. – За насилие над партией, за удушение партийной мысли, за беспринципные зигзагообразные качания под ударами двух кнутов справа налево и слева направо?! За наступление на народ? За сталинский «партийный» режим?!

Моргунов побледнел.

– Послушай, Дмитрий Иванович! Я помню эти слова. Им скоро исполнится десять лет. Я думал – они по заслугам забыты... Но я не пойму одного. Ведь жизнь сняла все разногласия. О чем теперь-то спорить? О личности? Но это недостойно политиков! Ты смотри, как шагнула страна за каких-нибудь десять лет. Деревня коллективизирована. Кулачество уничтожено. Ликвидированы остатки частного капитала и в городе. Социалистическое строительство идет полным ходом, растут заводы и фабрики. Нищая, отсталая, безграмотная Россия превратилась в мощную индустриальную державу, в страну, где орудия производства принадлежат государству, где нет антагонистических классов, в страну, где, практически говоря, уже построен социализм. И все это сделано под руководством ЦК, во главе с товарищем Сталиным... За что же его ненавидеть?

– Ты забыл добавить, что от этого самого ЦК уцелели немногие.

– Ну, а как бы ты поступил с ними? Ведь они нарушили свои обещания. После XVII съезда, который даже Зиновьев назвал «Съездом победителей», и на котором сам Сталин утверждал, что партия сплочена воедино, как никогда раньше, – троцкисты убили товарища Кирова!

– Ты в этом уверен? В том, что убили – троцкисты?..

Моргунов не нашел, что ответить.

– Вот видишь, ты сам сомневаешься... Ну, а мы рассуждаем иначе. Нам известно, что XVII съезд чуть-чуть не забаллотировал Сталина. Что Сталин едва-едва собрал нужное число голосов, чтобы остаться в составе ЦК. А за Кирова голосовало абсолютное большинство. Голосование на съезде-то тайное!.. Вот видишь: все кричали «ура», все пели Сталину дифирамбы, а голосовали – против. И не зря, а за его держимордский характер. Так кому же понадобилась смерть товарища Кирова? Кому она оказалась нужна? Кому выгодна? Ведь она, подобно поджогу Рейхстага в Германии, послужила «законнейшим» поводом для расправы над нами. Почему же нам надо смиряться?..

Моргунов молчал. Он боялся потерять хоть одно слово Кучина.

– Ты говоришь, – наморщив лоб, продолжил Кучин, – что теперь разногласий совсем не осталось. Кулачество, мол, уничтожено, деревня стала колхозной, бесклассовой; страна индустриализирована, мелкобуржуазного давления нет, сползать теперь некуда, двоевластие не угрожает, товарный голод сам себя исчерпал. Одним словом – «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!» Так, что ли, Сталин сказал? А поэтому – «Ура товарищу Сталину! Да здравствует родной, великий и мудрый!» Ну, а мы полагаем иначе. Мы думаем, что наступать на кулака и начинать коллективизацию надо было значительно раньше, годика так на четыре! Тогда не потребовались бы экстраординарные меры и перегибы, связанные с ликвидацией кулака, не было бы «головокружения от успехов», не было бы хлебных затруднений двадцать седьмого, двадцать восьмого и прочих

годов. А то, видишь ли, несколько лет подряд, начиная с XIV съезда, ведется политика прикрывания кулака. Кулак подсахаривается, создается теория врастания кулака в социализм, кулаку говорят «обогащайтесь!», а с нами, бьющими тревогу, указывающими на рост кулака, на рост его влияния и накоплений, ведется бешеная борьба. А потом, через несколько лет, неправильность избранного пути становится очевидной, и Сталин поворачивает оглобли налево. Он воспринимает нашу политику. Начинается коллективизация, но так как она запоздала, начинаются массовые «перегибы». И то же самое происходит и в области хозяйственного строительства – ведь это под нашим влиянием отвергнута «затухающая кривая» темпов прироста капитальных вложений, а в те времена за борьбу против этой кривой нас обвиняли в – «сверхиндустриализаторстве»!..

Ты спрашиваешь, – продолжал говорить Кучин, – чем же мы недовольны, ведь «жизнь сняла разногласия». Кое-в чем это верно. Поскольку ЦК усвоил нашу политику, большинство разногласий снялось. Но осталось одно, на сегодня самое важное, – партийный режим, власть Сталина над партией, которую он утверждает насилием, и которая становится чем дальше, тем больше. С этим мы примириться не можем. По тактическим вопросам можно было бы договориться, можно было бы работать для общей государственной пользы сообща, но нам и этого не дают. Нас запирают в тюрьмы и лагеря, ставят под угрозу физического уничтожения. Между тем, оценивая пройденный путь, мы можем сказать, что политически наше движение было безукоризненно правильным, а то, что оно организационно оказалось разбитым, – это еще не исследованный исторический парадокс. Так чего же ты хочешь от нас? Чтобы мы, будучи убеждены в нашей правоте, пошли и сказали: «Мы были неправы»? Нет, милый товарищ, этого вы от нас не дождетесь!

Моргунов слушал Кучина с громадным волнением. Нет, он не был согласен ни с одним утверждением собеседника. Он помнил период острейшей оппозиционной борьбы перед XV съездом. Помнил «платформу» и излагающие ее, опубликованные в «Правде», контртезисы троцкистской оппозиции. «Нет, Кучин неправ! И индустриализация, и пятилетки, и наступление на кулака, и сплошная коллективизация, – все пришло в свое время. Ленин учил, что любое революционное мероприятие будет успешным только тогда, когда для него созреют условия, преждевременные же действия чреваты провалом.

Разве можно было, например, ликвидировать кулачество в двадцать пятом году, когда еще не закончился процесс восстановления народного хозяйства после двух войн? Конечно, нет! И разговоры о зигзагообразном движении под влиянием двух кнутов, – справа и слева, – просто хлесткая фраза неистощимого на образные сравнения Троцкого».

Нет, Моргунов не был согласен ни с чем. И только слова о Сталине его немного смутили.

Он высказал все это Кучину. Тот саркастически улыбнулся и начал было возражать, но неожиданно открылась дверь камеры, и Дмитрия Ивановича вызвали «с вещами».

Кучин стал собираться, внешне он был совершенно спокоен. Моргунов же страшно огорчился. Вместе с Кучиным из камеры уходило что-то родное, что-то близкое, хотя всего несколько минут назад Александр Сергеевич готов был считать Кучина настоящим врагом.

При расставании они поцеловались, и Моргунов увидел, как у Дмитрия Ивановича дрогнули губы.

XXVIII

Моргунов хорошо помнил слова, когда-то сказанные Катей о Кучине: «Участник гражданской войны, умный, способный, упорный, член партии с семнадцатого года». Время от времени они вспоминались и раньше, а теперь, когда Моргунов не только познакомился, но и сдружился с Дмитрием Ивановичем, Катины слова ожили, стали выпуклыми, и осмысливались как нечто вполне объективное. Кучин был старше Моргунова на двенадцать лет, обладал большим жизненным опытом, большим образованием, прекрасно знал политическую историю мира и говорил с непререкаемой убедительностью. И все это вместе производило на Моргунова почти такое же впечатление, какое производят на школьников слова учителя, или на студентов – лекции профессоров. Моргунов смотрел на Кучина снизу вверх, и ему было очень трудно с ним спорить: не хватало ни знаний, ни уверенности. Кучин же твердо стоял на своем и не поддавался никаким убеждениям. Он отвергал все доводы Моргунова, все его попытки раскритиковать троцкистскую идеологию и платформу оппозиции, и его крепкая вера в истинность своих взглядов, искренность и увлеченность заставляли отступать менее подкованного Александра Сергеевича.

Дмитрий родился в столице царской России в семье революционно настроенного врача. Не гнушаясь крупными гонорарами, получаемыми в богатых семьях петербургских предпринимателей, отец считал своим моральным долгом лечить бедных бесплатно, а иногда даже и помогать им материально. Памятуя, однако, что море ложкой не вычерпаешь, он ограничивал свои посещения бедняков, как правило, двумя, и в редких случаях – тремя визитами в день. Жили Кучины открытым домом, и по субботам у них всегда собиралось огромное количество народа. Приходили многочисленные знакомые, родственники, коллеги отца, университетская молодежь, начинающие артисты Александринки, и за чаем или ужином возникали нескончаемые споры о преимуществах и недостатках парламентаризма, о конституции, политических партиях, общественном прогрессе и регрессе, восьмичасовом рабочем дне и фабрично-заводском законодательстве, народе как таковом и обществе, разделенном на классы, а когда вспыхнула русско-германская война 1914 года – о пораженцах и оборонцах.

Митька слушал все эти споры, читал приносимую гостями нелегальную литературу и – незаметно для себя – обольшевичился.

Последовательный и упрямый, он связался с подпольной партийной организацией, действовавшей среди рабочих Путиловского завода, выполнял ее поручения, участвовал в нелегальных маевках, писал воззвания и открыто проповедовал свои новые взгляды в последнем, восьмом классе гимназии, которую, несмотря на возникшие в связи с этим крупные неприятности, все же успел окончить с золотой медалью. Помогла ему в этом, надо полагать, смерть отца, который в июне 1916 года «пал смертью храбрых» под Луцком, во время знаменитого брусиловского прорыва австро-германского фронта. Во всяком случае, именно на это ссылался директор гимназии в строго конфиденциальной беседе с Дмитрием Кучиным, уговаривая его не пачкать память отца и не грязнить репутацию воспитывающей его школы. Директор обещал все забыть, ничего не оглашать, но при условии, что Митя воздержится от фрондерства и перестанет метать бисер перед свиньями. Так и сказал! И пораженный таким оборотом речи Кучин покривил душой и для видимости согласился. Деятельности своей он не прекратил, но стал значительно осторожней. А тут подоспела февральская революция и освободила Митю от данного им слова.

Поступив в университет, на первый курс исторического факультета, Кучин продолжал поддерживать связи с путиловцами, вступил в Красную гвардию и вместе с ней принимал участие в вооруженном восстании. В ночь с 24 на 25

октября с винтовкой в руках и пулеметной лентой через плечо он дежурил на улицах спящего Петербурга, охраняя покой жителей и успех переворота.

Октябрьская революция свершилась. Монархия пала. Дмитрий Иванович на короткое время вернулся в университет. Но заниматься не пришлось. Советской власти потребовалась своя, красная, трехмиллионная армия, и Кучин вместе с группой других добровольцев стал одним из ее первых бойцов. И тут он быстро пошел вверх.

Начав воевать в конце февраля 1918 года рядовым под Псковом против немцев, Дмитрий Иванович покинул Красную армию начальником политотдела дивизии после тяжелого ранения, полученного при штурме Перекопа.

Залечив раны, Кучин выписался из госпиталя, переехал в Москву, поступил в МГУ на факультет общественных наук, окончил его и, проявив блестящие способности, продолжил образование в РАНИОНе.

Троцкого он впервые увидел в Петрограде, в 1917 году, еще до Октябрьской революции, когда просто из любопытства забрел послушать его выступление на народный митинг в цирк «Модерн». Цирк был забит до отказа. Его заполнила плотная масса людей: рабочие и работницы, мастеровые и солдаты, интеллигенты, мелкие служащие, студенты, гимназисты, старики с палочками и женщины с грудными детьми на руках. Тут были представители всех возрастов униженного и оскорбленного питерского люда. С большим трудом Митя пробился поближе к трибуне, установленной на арене, и слушал, стараясь не пропустить ни слова, зачарованный блестящим речевым талантом говорящего и неумолимой логикой приводимых им доказательств и выводов.

Троцкий стоял в глубине огромной, пологой, туго набитой людьми цирковой воронки и, в меру жестикулируя, говорил. Его речь легко разносилась по всем ярусам, доходила до галереи и увлекала слушателей своей простотой и ясностью, каскадами ярких выразительных слов и сравнений, язвительностью и остроумием, иронией и сарказмом. Это была не просто речь, это было вдохновенное произведение ораторского искусства, восхитительная поэтическая импровизация, проникающая в души людей, и она доводила их порой до экстаза и часто прерывалась восторженными, страстными криками одобрения, радости и гнева. В отдельные моменты цирк содрогался. В неистовом вое, сопровождаемом ураганом аплодисментов, тонули все звуки, и Митя, охваченный общим порывом, тоже кричал, и аплодировал, и был невероятно счастлив, когда после окончания митинга ему удалось подставить свои плечи и руки под тот импровизированный мост, по которому над головами не желающих расходиться слушателей выбирался из цирка закончивший свое выступление оратор.

С этого дня Митька стал ходить на все без исключения митинги в цирке «Модерн», где постоянно выступал будущий предреввоенсовета, и с каждым разом проникался все большим восхищением и любовью к нему.

А потом, во время гражданской войны, ему несколько раз доводилось встречаться на фронте с любимым вождем. Лев Давидович приезжал на своем знаменитом в то время «поезде Троцкого», в котором издавалась боевая газета «В пути» и на первом из двух паровозов которого спереди, в центре люка, блистала большая, ярко начищенная пятиконечная звезда с надписью вокруг: «Серп и молот победят голод». Обычно Троцкий приезжал на самые уязвимые участки фронта, и зачастую в такие моменты, когда у людей под давлением превосходящих сил противника опускались руки, терялась вера в возможность выстоять, удержаться, не говоря уж о том, чтобы сломить врага. И каждый его приезд, каждый объезд им передовых частей Красной армии был равносилен, как рассказывал потом Кучин, прибытию целых дивизий подкрепления. Троцкий приезжал, собирал командиров и красноармейцев, произносил одну из своих зажигательных, волнующих речей, внушал уверенность в победном исходе

предписываемой бойцам операции, и у людей исчезала усталость, испарялось уныние, прежние сомнения начинали казаться нелепыми и неоправданными, вновь загоралась в сердцах жажда победы, горячее желание разбить беляков, отстоять от них свое кровное, родное, свою землю, деревню, город, завод, свою страну и родную рабоче-крестьянскую власть. И бойцы, вдохновленные речью наркома, очертя голову бросались в бой, продираясь сквозь ливень свинца и огня, преодолевая и гася в себе страх смерти и ужас перед губительной битвой.

Политработнику Кучину приходилось не только видеть и слышать, но и беседовать с Троцким, наблюдать его в жизни и действии, всегда энергичного, всегда оживленного, неутомимого, бесконечно решительного и уверенно властного. Однажды Дмитрий Иванович даже побывал в его поезде. И очень удивился, узнав, что самому председателю Реввоенсовета республики принадлежат в нем лишь кабинет и одно купе. Все остальные вагоны были заняты воинской частью, в распоряжении которой были и пулеметы, и орудия. Кроме того, в поезде находились радиотелеграфная и телефонная станции, типография, библиотека, гараж, госпиталь для раненых красноармейцев и командиров, баня, дезкамера, разные мастерские и хозаппарат. Прибывая на фронт, поезд становился мощной подмогой боевому участку, и Кучин всегда ждал его с надеждой и нетерпением. И каждая новая встреча с наркомвоенмором все больше и больше подвергала его гипнотизирующему влиянию этого человека. Кучин проникался глубочайшей верой в него, в его мудрость, и чувствовал, как вместе с восторженным очарованием растет в нем самозабвенная, прямо-таки жертвенная преданность Троцкому и готовность умереть не только за революцию, но и за него лично.

И эту глубокую преданность Дмитрий Иванович пронес не только через невзгоды и трудности гражданской, но и через счастье побед и послевоенных сражений на учебном и политическом фронте.

XXIX

Кучин вышел, за ним захлопнулась дверь. Моргунов оглянулся на набитую людьми камеру и почувствовал себя осиротелым. Его охватило чувство острого одиночества, и он снова ощутил вонь огромных параш и всю неприглядность внутрикамерного бытия. Нервы вновь напряглись, стены стали давить, а решетки на окнах – усиливать состояние безысходности. Им овладели тоска и уныние, и он много дней пребывал в состоянии тяжелой душевной депрессии. Только через две с половиной недели пришло к нему, наконец, относительное спокойствие. Оно появилось неожиданно, после двух больших переживаний. Во-первых, подоспела его буква, и он получил из дому обильную передачу с бельем, одеждой и массой разных продуктов. Во-вторых, в тот же день вечером его вызвали на свидание с Марусей. В условиях тюремной жизни эти два маленьких факта приобрели для него значение крупных событий.

Увидев передачу, Моргунов безмерно обрадовался, но уже через несколько минут пришел в полное отчаяние: «Откуда взяла Маруся деньги на такую массу продуктов, на шоколадные конфеты, дорогие фрукты, многочисленные лакомства? Зачем мне все это? Надо скромнее, надо значительно проще! Буханку черного хлеба, кусок колбасы, ну, может быть, чуть-чуть сыра, килограмма два сахара и мешочек сухарей. И хватит! Хватит!.. Ведь здесь же все-таки кормят. Для чего отказывать себе в самом необходимом на воле, чтобы тянуть в тюрьму то, что там воспринимается как безумная роскошь?! И белья, и одежды так много тоже не надо. Эх, Маруся, Маруся, какая ты еще неопытная!»

А как прекрасно пахнет чистое белье! Раньше Моргунов не знал, что у белья есть запах. Оно пахнет домом, полноценной жизнью, близкими людьми.

Моргунов немедленно переоделся во все чистое. Там, во внутренней тюрьме, белье давали казенное и аккуратно, в установленный срок, меняли его. Здесь же, в Бутырках, все носили свое. А у Моргунова почти ничего не было, ведь он был арестован в жаркую сухую погоду: бумажные брюки, трусы, когда-то белая, тонкая, из легкой ткани рубашка. Теперь она стала черно-серой, жесткой, вонючей и рвалась чуть ли не от простого прикосновения.

Полученная передача произвела впечатление не только на него, но и на всю почти камеру. Мужички-крестьяне, потомки деревенских кулаков и подкулачников, дразнившие его словом «трокцист», сразу прониклись к нему уважением. До этого они не верили, что он студент, не верили в его относительное материальное благополучие на воле, которое представлялось им обязательным признаком порядочного, а по их терминологии – «самостоятельного» человека. Они думали, что раз он так плохо одет, то он – просто шантрапа и шаромыжник, а выдает себя за студента так же, как некоторые полуграмотные урки, которые на их глазах пытались выдавать себя за инженеров или учителей. «По одежке встречают – по уму провожают», – говорит пословица. Они встретили его по одежде, а разобраться в его уме не могли.

Интеллигенты относились к нему совершенно иначе, видя в нем как бы частицу самих себя; когда он получил передачу, они тоже обрадовались и принялись его поздравлять. Поздравил его также и староста камеры, возглавлявший в ней «Комитет бедноты». Он напомнил, что, по существующему в тюрьме и в камере обычаю, десять процентов всего полученного продовольствия подлежат отчислению в фонд неимущих и не получающих передач. Моргунов немедленно отделил все, что полагалось, и опять начал думать о том, что Маруся должна была для этой передачи отказывать себе чуть ли не в хлебе насущном. Он поделился своими мыслями с кое-кем из новых друзей, но сочувствия ни в ком не нашел.

– Да что вы, Александр Сергеевич, бросьте и думать!.. Откуда у нее средства?.. Родители помогли, подруги. На воле жить и денег не достать? Глупости! Люди же, люди кругом. Вот вы в тюрьме с незнакомыми делитесь, а на воле... да всякий поможет!

Моргунова такие рассуждения не успокаивали. Он метался в узком проходе, кусал себе губы, мысли не хотели ему подчиняться. Принесли обед, он взял свою миску баланды и снова отдал ее первому попавшемуся заключенному. Он не прикоснулся к передаче. О еде было страшно подумать. Есть он не мог.

А около шести часов вечера его вызвали на свидание.

Как, куда, какими коридорами и корпусами вели его на «свиданку» Моргунов не запомнил. Его привели в какую-то камеру, наскоро и небрежно обыскали и выпустили в зал, разделенный на две половины двумя параллельными, поставленными на некотором расстоянии друг от друга решетчатыми стенами. В каждой из стен на высоте человеческой груди проходил ряд окон, выходящий в проход между стенами. Дополнительные, перпендикулярные к плоскости решетчатых стен, перегородки в узеньких простенках между окнами образовывали одиночные кабинки-стойла, так что каждый арестант и его посетитель были во время свидания отделены от своих соседей справа и слева, и последние им не мешали. Заключенные находились в одной половине зала, посетители в другой. Между ними в проходе прогуливалась стража. Было похоже, что участники свидания стоят у окон двух напротив друг друга расположенных домов, разделенных узеньким средневековым переулком, достаточно широким, впрочем, чтобы исключить возможность физического контакта. Мешали только съемные решетки на окнах, закрытые при свиданиях родственников с подследственными, да часовые в проходе.

Моргунов и Маруся подошли к своим окнам почти одновременно.

– Маруся! – крикнул Моргунов и уцепился обеими руками за решетку. – Ты здесь, родная моя...

Он захлебнулся от избытка чувств и замолчал.

– Сашенька, Роднусь! Что ты такое сделал? В чем тебя обвиняют?

Что он сделал? Что он мог ответить ей на этот странный, нелепый вопрос! Он не грабил и не убивал, не нарушал порядка управления, не предпринимал действий, направленных к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, не покушался ни на внешнюю безопасность Союза ССР, ни на основные завоевания пролетарской революции. Он вообще не совершал никаких преступлений. Его совесть чиста и незапятнана. В чем его обвиняют? Это – другое дело! Его обвиняют в контрреволюции, в принадлежности к троцкистской оппозиции, со взглядами которой он никогда не соглашался, в том, что он неуважительно относился к Сталину и считал нужным его заменить, его обвиняют по пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса РСФСР.

Он начал говорить об этом Марусе, но стоявший между ними надзиратель немедленно остановил его.

– О деле говорить запрещается! Прекратите, а то я прерву свидание!

Пришлось замолчать. Он начал говорить о постороннем, но когда «архангел» на минутку отвлекся, коротко и быстро сообщил Марусе основы своего дела. Он увидел, что глаза Маруси округлились от ужаса.

– Ты, ты... тебя обвиняют в том, что ты шел против – Сталина?!

– Не шел, а так... сомневался... Сомневался в его величии... пойми, Маруся!..

Объяснить не удалось. Опять подошел надзиратель. Моргунов видел, что Маруся не поняла, он видел, как она съежилась, сжалась, как она душевно подобралась и как-то сразу отдалилась от него.

– Как ты мог, Сашок?

«Сказала она или нет? Может быть, ему почудилось, показалось, или он прочел это в невольном движении ее побелевших губ? Что – «мог»? Что я сделал? Пойми, Маруся, что я ничего не «мог», я только не сразу разобрался когда-то... Я сомневался!.. Просто сомневался!.. Но ведь «это было когда-то, это было давно!» И потом... да разве есть в этом что-нибудь преступное? Как сказать ей об этом?»

– Пойми... Маруся, я ни в чем не виноват... Не верь!.. – пролепетал он, чувствуя, что кровь отливает у него от головы, а перед глазами появляется белесый туман.

Нет, Маруся не поняла. Маруся поверила не ему, поверила обвинению.

– Сашок, Сашок, зачем ты это сделал?

Она ухватилась за барьер (на ее стороне решетки не было) и вдруг, отшатнувшись, закрыла лицо руками. Моргунов увидел, как задрожали ее плечи и как сквозь пальцы покатились мелкие прозрачные слезинки. Он задрожал. Кровь опять отлила от головы, на миг помутнело даже сознание. «Господи, можно ли вынести это? Маруся мне не верит!» Захотелось кричать, возмущаться, безумствовать, бить, крошить, ломать все кругом. Но он стоял и молчал. Только глаза его плотно закрылись. Он овладел собой и с глубокой скорбью, исказившей его небритое лицо, спросил:

– И ты мне не веришь, моя Марун... – он запнулся и поправился: – моя Маруся!

Он хотел сначала сказать – «моя Маруненок», это было ее интимное имя, имя, которое звучало в моменты наибольшей душевной близости, в моменты, когда они сливались в одно и чувствовали себя единым целым. И это имя не выговорилось, не сошло с губ. Оно не могло быть произнесено не потому, что им мешала обстановка тюремного свидания, нет, совсем нет, – от этой обстановки можно было абстрагироваться, – оно не произнеслось потому, что души их не были едины, потому что их отделяла друг от друга не только решетка, их отделяло

нечто более страшное, их отделяло – сомнение. И Маруся поняла его. Она резко выпрямилась, отняла руки от глаз, слезы ее высохли, она взглянула на Моргунова, и очертя голову, с решимостью с которой прыгают в воду, сказала:

– Ах, какая я глупая!.. Нет, Роднусь, я верю тебе... Ведь ты мне неправды не скажешь. Ты сказал, что ты не виноват? Значит, так оно и есть!.. Не отчаивайся, Роднусь, правда восторжествует... ты докажешь... Я верю тебе!

И она с лихорадочной поспешностью стала рассказывать ему о том, что делается на воле, о внутренних и международных делах, о своей жизни без него. Она учится очень хорошо, недавно сделала семинарский доклад – «Современные представления о наследственности»...

– Удачно?

– Мало сказать: удачно. Триумфально!.. А дома все благополучно, не беспокойся, Сашок, все книги целы. И материальное положение – хорошо! Я ведь теперь живу у родителей. Деньги сыплются со всех сторон!.. Ешь, Роднусь, все, что есть в передаче! Никого ты не обделяешь, ни в чем я себе не отказываю, пусть твоя совесть будет спокойна... И не говори, и не думай! Раз ты ни в чем не виноват, тебя не осудят. Я сама пойду к прокурору. Я добьюсь! И папа похлопочет!.. Не показывай, не показывай мне растопыренные пальцы. Я понимаю: «дадут пять!» Пять лет!.. И слушать не хочу!.. Ну, а если?.. а если... Все равно я тебя не оставлю. Я же – русская женщина! Я пойду по пути Трубецкой и Волконской... Нет, это – не фантазия! Вот окончу университет и поеду на работу туда, где будешь ты. Я люблю, люблю тебя, Роднусь, я верю тебе!..

Свидание кончилось. Моргунова увели, обыскали и проводили в камеру. Он опять не увидел пути, не заметил его. Душа переполнилась. Мозг отключился от реального бытия.

И вот он в камере. Люди обступили его. «Ну, что? Ну, как? Что там на воле?»

– На воле?.. Ах да... на воле! Маруся живет у родителей, они ей помогают, говорит, что поедет со мной, куда бы меня не послали. Верит, что я ни в чем не виноват. Верит мне. Верит!.. А в Испании положение трудное. Из Мадрида эвакуировали детей. Идет подготовка к его обороне. У нас собирают средства для испанских детей и женщин. Во Франции проведена девальвация франка... Что еще? Ах, да! В Америке – ожесточенная предвыборная борьба. Кандидаты в президенты: Рузвельт, Лэндон, Лемке и от коммунистов Браудер. Всего четыре!.. Лемке от какой-то там «Союзной партии». Не знаю, что это. Разновидность демократов, а может быть, и республиканцев. Не знаю! Нет, я слушал очень внимательно, но мысли были не там... не дошло... Конституция еще не утверждена, все еще идет обсуждение... и про амнистию не слышно, ничего не опубликовано.

Моргунов подумал о Марусе. «Она, вероятно, уже вышла из тюрьмы, села в трамвай, едет домой, а может быть, уже приехала; вероятно, приехала, она теперь уже ужинает». Ему захотелось есть, он подошел к окну, достал свой мешок, отломил кусок хлеба, кусок колбасы и впился в него зубами. Он почувствовал сильный аппетит, почти что голод, и жадно ел, запивая свой ужин водой, зачерпнутой из бачка.

И с этого момента тюрьма перестала угнетать его. Как будто не было этих стен и окон с решетками, как будто не было грязи и вони, страданий и ужаса. Он повеселел, он искренно смеялся над «хохмами» сокамерников, придумывал развлечения и игры, читал на ежедневных вечерних «концертах» – после поверки – юмористические рассказы Чехова, Аверченко и Зощенко, – все, что можно было достать в тюремной библиотеке; рассказывал на память романы Толстого, Тургенева, Достоевского; сочинял анекдоты и даже стихи.

Хорошее настроение Моргунова передавалось его соседям, в камере становилось веселее. Проходящее время лечило все беды. С каждым днем дух спокойствия все больше и больше внедрялся в камеру. С каждым днем в ней

становилось все меньше и меньше лиц, на которых лежала печать безысходного отчаяния и глубокой тоски. Люди привыкали, и жизнь шла своим чередом.

XXX

Когда Маруся, придя на свидание, услышала от Моргунова, что его обвиняют в контрреволюционных преступлениях и приписывают ему враждебное отношение к Сталину, она содрогнулась от ужаса. Ей вспомнилось, что Моргунов действительно позволял себе иронизировать по поводу безудержно хвалебных статей, напечатанных в газетах, и что она, слепо обожая своего Сашеньку, не придавала его шуткам никакого значения и даже не останавливала его. Саша казался ей таким умным, таким хорошим, таким родным. Разве могла она предположить, что он маскируется, что он – волк в овечьей шкуре, что за его открытым и честным лицом скрывается злобный и хитрый враг, а в его словах и шутках содержится смертоносный яд, направленный против любимой страны и любимого Сталина. Да, именно так – любимого Сталина.

Родители воспитали ее в атмосфере восхищения и преклонения перед личностью «великого рулевого мирового Октября». Маруся воспитывалась в семье, где «гения нового мира», «мудрейшего человека эпохи» буквально боготворили. Его портреты висели у них на стенах, стояли на столе, украшали коврик над детской кроваткой. Дух его витал над всей их жизнью, и родители приучали детей оценивать все свои поступки с точки зрения того, как к ним отнесся бы товарищ Сталин. Подобных семей в то время существовало немало, но Северцевы находились в их авангарде и обгоняли на этом пути многих других.

«Когда моя любимая женщина родит мне ребенка, первое слово, которому я его научу, будет «Сталин»! – воскликнул в конце января 1935 года писатель Александр Авдеенко, заканчивая свою речь на VII Всесоюзном съезде Советов.

Но даже в тот момент, когда произносились эти слова, Александр Остапович уже не владел приоритетом такого намерения. Северцевы опередили его года на два. Культ Иосифа Виссарионовича пропагандировался у них настолько упорно, что даже маленький Иовис, родной, хотя и запоздалый, братишка Маруси, имя которого родители образовали путем изобретательного соединения начальных слогов от имени и отчества Сталина, – этот маленький Иовис в числе первых трех произнесенных им слов назвал Сталина. «Мама», «няня» и «дядя Тайн» – пролепетал он, когда научился лепетать. Даже слово «папа» было освоено значительно позже, что, если сказать по правде, пришлось не совсем по вкусу отцу семейства, Александру Васильевичу Северцеву – начальнику штаба охраны одного из крупных учреждений. Зато мать Маруси пришла в настоящий восторг. Эта простая и скромная, недостаточно образованная, недалекая домашняя хозяйка считала, что детей надо воспитывать «в современном духе» и ставила им в пример не Господа Бога и его святых апостолов, а самого, по ее мнению, авторитетного и умного человека на земле. Она превращала образ этого человека в кумира и внушала детям стремление быть во всем на него похожими. И она добилась своего. Ее маленький Иовис, которого бабушка упорно звала Иовом, произнес имя Сталина одновременно со словом «мама». Маруся росла в более ранний период, и ее первые слова не были связаны с политикой, но зато потом она полностью впитала в себя «мудрое» воспитание матери, и внушенная ей первая детская любовь к «величайшему из людей» прочно вросла в ее невинную и по-своему наивную душу.

И она пронесла эту любовь через оба десятка своих молодых лет. Она училась в школе и старалась учиться получше, потому что успехи советских школьников были частью успехов страны, ведомой «великим кормчим социализма», и могли его обрадовать. Она изучала все речи Сталина и поражалась его уму,

прозорливости и человеколюбию. Маруся стремилась хоть чуточку походить на Сталина и очень хотела иметь его характер, его спокойствие и ясность его мысли. И ростки ее чувств и стремлений, обильно поливаемые домашним воспитанием, давали полные всходы.

Училась Маруся прекрасно и без особого труда, так как обладала незаурядными способностями. Вначале все предметы интересовали ее почти одинаково, но по мере продвижения к старшим классам склонности стали очерчиваться яснее. Естественные науки завладели ее воображением. Она стала читать все больше и больше, стала интересоваться химией, биологией, ходила с девочками на открытые публичные лекции и, когда окончила школу, без всяких колебаний пошла на биологический факультет. Набрав на вступительном экзамене двадцать пять очков из двадцати пяти возможных, Маруся стала студенткой Московского университета.

Конечно, она жила не только учебой. Природа брала свое, и Маруся, пока еще молодая и неопытная, но очень женственная и интересная, платила ей должную дань. Как всякой женщине, ей хотелось быть хорошо одетой, хотелось нравиться, приобретать себе украшения и безделушки, но все ее стремления, сильно ограниченные скромными материальными возможностями, не выступали у нее на первый план, и она не забывала ради них своих занятий. Училась она по-прежнему очень хорошо, но это не мешало ей, делая, например, семинарские доклады или сдавая зачеты, внимательно следить за впечатлением, производимым ею на окружающих, и радоваться, если мужская часть аудитории обращала на нее повышенное внимание.

Домашняя обстановка Маруси сильно мешала занятиям. Работать дома было почти невозможно, так как маленький Иовис, безраздельный любимец семьи, постоянно с кем-нибудь воевал; его игры отличались необычайной воинственностью, а войны сопровождались криками, воплями, шумом и грохотом. Мать и бабушка нянчились с ним без всякой меры и буквально смотрели ему в рот, – а не выскажет ли дитя какого-нибудь пожелания. Само собой разумелось, что оно подлежало немедленному удовлетворению, и ребенок это хорошо понимал. Не зная отказа ни в чем, Иовис-Иов рос сорванцом и отъявленным хулиганом.

Чтобы улучшить свое положение, Маруся обратилась к дирекции университета с просьбой предоставить ей место в общежитии, и после долгих хлопот и ожиданий ее ходатайство удовлетворили. Избавившись от домашнего шума и домашних забот и поселившись в благоустроенном общежитии, Маруся смогла заниматься науками более плодотворно. Она пристроила к своей кровати маленькую лампочку и, когда закрывались читальные залы, приходила домой и продолжала, никому не мешая, копаться в книгах до глубокой ночи. Маруся обладала прекрасной памятью, читала быстро и схватывала прочитанное на лету. В результате она довольно скоро выдвинулась на первые по успеваемости места, а объем ее знаний начал стремительно расширяться. Но расширялся он, к сожалению, довольно односторонне. Она интересовалась только биологическими науками, и поэтому ее знания напоминали, по ироническому определению познакомившегося с ней к тому времени Моргунова, «односторонний флюс». Маруся отшучивалась не менее удачно. Ссылаясь на того же Козьму Пруткова, она уверяла, что «нельзя объять необъятное» и сравнивала широкие познания ее собеседника с всесторонней злокачественной опухолью. По своим научным интересам Маруся и Моргунов стояли на диаметрально противоположных и крайних позициях, но разность их взглядов и интересов не повлияла на их отношения.

Внутренний мир Маруси, по сравнению с миром Моргунова, отличался большей простотой и, пожалуй, даже примитивностью. Она не знала сомнений и

колебаний, ко всему в жизни подходила трезво и объективно и никогда не мучила себя психологическими экскурсами в тайники своего «я». Там, где Моргунов терзался иногда целыми неделями, пытаясь определить свое отношение к тому или другому необыкновенному явлению, Маруся не задерживалась одной лишней минуты.

– А зачем мне это нужно?! – говорила она. – Верна или ошибочна теория организованного капитализма или теория равновесия – для меня безразлично. Я все равно всех наук и теорий изучить не могу. Разберутся и без меня. Я знаю, что Сталин выступил против этих теорий: значит, они неверны. Неверны так же, как неверна теория врастания кулака в социализм или теория затухания классовой борьбы, или, наконец, совсем недоступная моему уму теория товарооборота и рынка как решающего и основного пути переделки крестьянского хозяйства. В нашей стране есть политики и экономисты. Пусть они об этом и думают, а я – естественница. Меня гораздо больше интересует, почему у Иовиса второй палец на правой ноге имеет такую же неправильную форму, как у матери, хотя Иовис – вылитый отец. Это же – несомненная наследственность, и законы ее, по-видимому, еще совсем не изучены и не выяснены. Вот это, по-моему, важно. Вот это надо изучать.

– Как ты непоследовательна, Маруся, – возражал Моргунов, – ведь мою статью о Ницше ты читала, социологией интересовалась. Как же можно открещиваться от познания названных тобой теорий? Ведь все они являются теоретическими предпосылками правого уклона, и от признания их верными или ошибочными зависят судьбы народов!

– Ну и пусть! – упрямо говорила Маруся. – А я их знать не хочу... Я не хочу их изучать. Чему-то должна я и верить. Я верю, что Земля вертится, что Солнце находится от Земли на расстоянии ста сорока девяти миллионов километров, что философия Ницше реакционна, что теории правого уклона неверны, а ведь я сама астрономических измерений не делала, произведений Ницше не читала и теорий правого уклона не изучала. Я верю Копернику, тебе, верю Сталину. Сталину особенно. Он-то уж ошибиться не может.

– Но ведь это – узость! Невероятная узость взглядов. Разве можно так рассуждать? – возмущался Моргунов. – Ты хочешь стать научным работником. Какой же из тебя выйдет ученый, если ты будешь «верить»? Верить вообще нельзя, надо знать, знать и проверять.

– Я могу проверять только то, что мне доступно, то, что составляет предмет моей специальности, а если мне надо перейти через реку, я просто иду, потому что верю, что мост меня выдержит. Ты, очевидно, хочешь, чтобы я сначала проверила, выдержит ли мост мою тяжесть.

– Пойми, что это глупо! Мост проверять не надо, потому что он выдерживает на твоих глазах гораздо бо'льшие нагрузки, и кроме того, ты знаешь, что перед сдачей в эксплуатацию его должным образом испытали. Ты знаешь, а не веришь.

– Нет, не знаю, а только предполагаю, то есть верю. Ну, и тут я вижу, что Сталин создал нашу страну и неуклонно ведет ее вперед. Он испытан так же, как мост, испытан историей, и я верю ему, верю безраздельно, безмерно, верю, не сомневаясь.

– Веришь, не сомневаясь?.. Ну и верь!.. А в законы наследственности, установленные Менделем, тоже веришь? Зачем же ты делаешь какие-то там опыты, выращиваешь горох, роешься в книгах?

– В Менделя не верю! Не в результаты его опытов с горохом, а в его выводы из них не верю. Ни Менделю, ни Моргану, ни Вейсману, ни академику Шмальгаузену не верю. Не может быть ген неизменным, потому что «неизменность гена» противоречит прогрессу и развитию мира. А мир развивается! Мы не умеем изменять ген, не можем влиять на него, потому что наши знания о нем не-

достаточны. А ведь что-то влияет на ген! Но что именно и как, мы этого еще не знаем. Вот и все!

– Как потрясающе просто! Ты гений, Маруся!

– А ты не иронизируй, Сашок! У тебя свои взгляды, у меня свои.

Действительно, у Маруси были свои взгляды, которые, в частности, сводились к убеждению, что на общественное устройство страны надо глядеть глазами «наилучшего выразителя и вдохновителя партийной линии, персонального, – как его назвал один оратор, – воплощения ума и воли партии, ее руководителя, ее теоретического и практического вождя».

Маруся считала свои взгляды настолько естественными и понятными, что не замечала в своем окружении никакого инакомыслия. Возражения и сомнения, которые ей иногда приходилось выслушивать, она воспринимала как шутку или простое зубоскальство, и относилась к ним по логике известного двустишия: «смеяться, правда, не грешно над тем, что кажется смешно».

При таком отношении к действительности Маруся оказалась совершенно неподготовленной к аресту Моргунова, и он поразил ее не меньше, чем поразило бы землетрясение.

Она долго не могла поверить в случившееся. Когда Моргунов не вернулся домой, она искала его у друзей и знакомых, во всех приемных покоях, больницах и амбулаториях, во всех отделениях милиции, но не в НКВД. Там Саша, по ее мнению, очутиться не мог. Обыск, произведенный у них только через три дня после ареста, открыл ей глаза, и она, к ужасу своему, сразу поверила в то, что ее Сашенька «что-то сделал». Но что?.. Что он мог натворить и в чем его обвиняют – представить себе она не могла!

Иногда ей приходила в голову мысль о недоразумении, об ошибке, но она не привыкла давать себя грызть червю сомнения, и такая мысль, беспомощно потолкавшись в голове, быстро убегала прочь.

– Какая там ошибка, какое недоразумение?! Сашенька что-нибудь сморозил, может, книжку какую дал кому почитать или еще что-нибудь! Но все-таки что?.. Что?..

Быть контрреволюционером по существу ее Саша, конечно, не мог. В этом она не сомневалась, но случайно влипнуть в историю, оказаться объективно к чему-то примешанным – это случиться могло. «Сейчас не время во всем разбираться, сейчас Саша в беде, он попал в неприятность, в несчастье. И мой долг, долг жены и единственного по-настоящему близкого ему человека – помочь!» И она занимала у родных и знакомых деньги на передачи, экономила на всем, чем могла, отказывала себе в самом необходимом, бегала и хлопотала, долго и упорно добивалась свидания. И ей его дали, но только тогда, когда следствие по делу Моргунова окончилось и его из внутренней тюрьмы НКВД перевели в Бутырки.

Она никогда не смогла бы рассказать, что испытала, что пережила, когда услышала торопливую, печальную повесть Моргунова. Перед ней за решеткой стоял он – ее Роднусь, ее любовь, ее жизнь. Он был желт и небрит, он был страшен, но она любила его больше всего на свете – больше себя, больше отца с матерью, больше – Сталина. Но вместе с тем она любила и Сталина, она привыкла любить его, она не мыслила советской страны без его гениального руководства. И вдруг два самых больших ее чувства столкнулись друг с другом, столкнулись, как сталкиваются поезда, идущие на полном ходу навстречу друг другу. Это было крушение! Это была катастрофа! И под влиянием неизмеримой силы удара рушилось и ломалось все, что обитало в душе, – любовь, доверие, страстное обожание, самая возможность жить. Она слышала, как Моргунов сказал ей, что он ни в чем не виноват, слышала, как он попросил ее чему-то не верить. Она слышала эти слова, они вошли в нее и исчезли где-то глубоко-глубоко. Она вошли в нее,

но не дошли до ее помраченного сознания. Ей стало больно и жалко себя, и она не смогла удержаться и заплакала, заплакала горько и безудержно.

И тут до ее слуха дошел горестный, прерывающийся шепот Моргунова: «И ты не веришь мне, моя Марун...» Он не договорил, он запнулся, он не произнес этого интимного, ей одной знакомого имени и заменил его будничным словом – Маруся. Как ремнем стегнуло ее это недосказанное интимное имя. В сознании всплыли обстоятельства, при которых произносилось оно. Какая безумная близость создавалась между ними под музыку этого тайного имени, какое единство испытывали они тогда. И она до боли ясно вновь почувствовала это единство; они снова были вместе, были одни, были одним, и не было уже никакой возможности не верить ему; не было возможности сомневаться в его словах, хоть в чем-нибудь не считать его частицей себя.

И словно темная завеса упала с ее глаз. Стало светло и совершенно спокойно. Выскочили из глубины и стали совершенно понятными не дошедшие раньше до сознания слова об его невиновности.

– Ведь он сказал, что ни в чем не виноват! Ах, какая я глупая!

И все стало на свое место. «Саша сказал!» Как могла она пропустить его слова мимо ушей? Конечно, она верит ему! Не было в ее жизни никакого столкновения самых святых на свете чувств, не было крушения, не было катастрофы. Ее Сашок попал в беду, он несчастен, ему надо помочь, его жизнь так тяжела. В памяти возникли и пронеслись образы «Русских женщин» Некрасова, и она поступила так, как поступало подавляющее большинство женщин, находящихся в ее положении. Она постаралась успокоить его, сказала, что не оставит его, что будет ждать и помогать ему, а когда кончится срок или появится другая возможность совместной жизни, приедет к нему, и они опять будут вместе. И она не лгала. Она говорила совершенно искренне и сама в тот момент верила тому, что говорила.

Надо полагать, что Моргунов понимал беспредметность ее обещаний. «Приеду, будем вместе, я верю тебе!» – ведь это все только слова! Сколько лет пройдет, пока можно будет осуществить их, и не изменятся ли за эти годы не только обстоятельства, но и сами люди настолько, что сказанное сейчас окажется мертвым звуком? Надо полагать, что Александр Сергеевич подумал об этом, но таково уж устройство человеческого мышления – когда хочется верить во что-нибудь, то можно поверить в самое невероятное, несбыточное и неосуществимое. Так случилось и сейчас. Маруся увидела, как оживилось лицо Моргунова, увидела, как ее слова изменили его настроение, как слетело с него гнетущее уныние, и как приободрилась вся его фигура. Что-то теплое, щемящее, больное хлынуло в Марусину грудь. Она судорожно вздохнула и заговорила. Она рассказала Саше все, все, что было хорошего на душе, все, чем она занималась без него, как училась, как делала семинарский доклад, рассказала также о том, что пишут в газетах. И по мере того, как она говорила, она чувствовала себя все свободней и легче. Ей казалось, что она пересилила себя, что все это – нормально и естественно, и нет ничего особенного в том, что Саша отделен от нее решеткой. Да, она победила себя, она проявила мужество и героизм, Саша ушел со свидания бодрый и успокоенный, а она, простившись с ним и выйдя из зала свиданий в контору, опустилась на скамью и горько заплакала.

Она плакала неутешно и с каким-то надрывом. Все смешалось в душе – и любовь, и красота ее юных мечтаний, и пылкая, детская вера в Сталина, и невозможность не верить словам Моргунова, и страстное желание спасти его, и боль воспоминаний, и страх перед будущим. Чуть ли не в первый раз в жизни у нее появилось глубокое, разящее ее сомнение, от которого стало физически больно.

Она плакала, но слезы не облегчали ее. Она плакала, а дежурный надзиратель в конторе искоса поглядывал на нее и думал о том, что завтра у него – выходной,

что жена, вероятно, приготовила по этому поводу поллитра, очистила селедку и напекла пирогов. Завтра он встанет пораньше, тяпнет грамм сто–сто пятьдесят, потом сходит на базар, а вечером допьет остальное и будет играть на баяне.

Слезы Маруси не беспокоили его. Думать под них было даже удобней.

XXXI

Маруся вернулась домой потрясенная. Ей хотелось остаться одной, побыть в тишине, продумать случившееся, а потом подобраться к матери и, как в былые годы, поведать ей свое горе и поплакать, зарывшись лицом в ее полную и мягкую грудь. Но тишины не оказалось. Дома дым стоял коромыслом. Пришли гости, на столе красовались бутылки с вином, конфеты, печенье и чай. Слышались оживленные голоса, звенела посуда. В соседней комнате Иовис расположился на столе с рядом картонных фигурок, изображавших в его жестокой игре врагов народа. Он с азартом расстреливал их из духового пистолета и громко радовался каждому попаданию.

Марусе стало еще тоскливей. Она повертелась немного на кухне, а потом, никого не предупредив, надела пальто и ушла на улицу. Стоял прохладный вечер, слегка моросил дождь, дул ветер. Она быстро пошла в темноту, уходя все дальше и дальше от дома и унося в сердце выступившее наружу обозление.

– Уродуют ребенка, – подумала она. – От горшка два вершка, а уже что-то воображает. «Враги народа», расстреливает их. Вырастет палачом!

Невеселые мысли отвлекли внимание от дороги, и она шла невесть куда, просто бродила без всякой цели и удивилась, увидев перед собой университетский двор на Моховой, памятник Ломоносову, двери в библиотеку. Деваться было некуда. Она вошла, взяла книги, села к столу, попробовала заниматься, но ничего не вышло. Кругом сидели и работали студенты разных факультетов. Она видела их сосредоточенные лица, видела, как они что-то торопливо читали или записывали, и думала, что никто не знает, как тяжело у нее на душе, не знает о том, что мир раскололся на две части, и одна часть его, оторванная с мясом и кровью, осталась на Новослободской улице, за решетками Бутырской тюрьмы. Она сидела и думала, и не заметила, как наступила ночь и надо было сдавать взятые книги. Она сдала их, так и не прочтя ни строчки, и, плохо воспринимая окружающий мир, вернулась домой.

На этот раз дом встретил ее ненужной уже тишиной. Все спали, спала и мать, делиться горем было не с кем. Выпив из оставленного ей под подушкой чайника стакан начинающего остывать чая, она разделась и легла в постель.

Намучившись за день, Маруся быстро заснула, но сон не принес облегчения: ей снились кошмары, тюремные решетки, равнодушные надзиратели, измученные, горящие тоской глаза Моргунова. Он протягивал ей пять растопыренных пальцев – пять лет, пальцы просовывались через решетку, становились длиннее, подбирались к ее горлу и душили ее. Она в ужасе просыпалась, смотрела в полусумрак комнаты, чуть-чуть освещенной через окно уличным фонарем, радовалась пробуждению и незаметно для себя засыпала вновь, чтобы вновь проснуться от очередного кошмара.

На рассвете она поднялась, оделась, вышла на кухню. Через окно маячил свет раннего осеннего утра; кухонная утварь, плита, столики, табуретки – все казалось тусклым и серым; краски сливались, и Маруся подумала, что все ее чувства вот так же бесцветны к угрюмы. Не включая освещения, она зажгла газ и вскипятила чай. «Что-то сейчас делает Саша? Воображаю, как он, бедный, взволнован!»

Она не знала, что свидание с ней успокоило Моргунова, вдохнуло ему исчезнувшее было желание жить, дало возможность притупить остроту отчаяния и, несмотря на все, начать опять на что-то надеяться.

Чайник закипел. Маруся налила стакан кипятку, добавила в него оставленную с вечера холодную заварку и, не возвращаясь в комнату, с жадностью, стоя, выпила полный стакан. Потом села, уронила голову на стол и после длительной паузы произнесла: «Господи, Господи, если ты есть, сделай так, чтобы Сашу освободили!» Прошло полминуты, минута. Маруся откинулась от стола и горько усмехнулась: «Какая нелепость! «Если ты есть!» Да ведь я же знаю, что нет его, нет!» И она почувствовала легкую зависть к верующим: «Хорошо им! Им легко: помолятся Богу и чувствуют облегчение, чувствуют, что гора с плеч свалилась. А у меня этого нет. Не верю я, ни во что не верю, разве только в то, что земля круглая и вертится вокруг своей воображаемой оси, да и то, – Саша прав, – это не вера: опыты с маятником Фуко – наглядное доказательство!.. Так что же мне делать? Где выход?.. А если Саша действительно – контрик?!. Ох, как тяжело, как больно! Если бы только хоть кто-нибудь знал, как это больно!»

Она встала, стены давили, захотелось на воздух; захотелось двигаться, действовать, что-то делать, все равно что, только делать, делать, делать, не оставаться одной со своими мыслями; но дома спали, надо было соблюдать тишину, не нарушать покой спящих людей. Маруся тихонько прошла в комнату ж начала отбирать на столе нужные ей на сегодня книги.

Сзади зашевелился Иовис. Он сел в кроватке, зевнул и, весь во власти вчерашней незаконченной игры, спросил у нее:

– Малуся! А влагов налода ласстлеливают в бутылках? Да?

На какое-то мгновение Маруся не поняла, что «бутылки», о которых спрашивает Иовис, означают «Бутырки» – Бутырскую тюрьму. Поняв, она задрожала от негодования.

– Молчи, паршивец! – грубо сказала она. – Кто только тебя такой гадости учит! «Расстреливают, Бутырки»! Тебе в куклы играть надо, а не во врагов народа! Иов многострадальный!

Иовис удивленно заморгал. Глазенки его округлились от неожиданности, а она схватила книги и опрометью выскочила из дома. Пальцы ее дрожали. О, какое громадное презрение зарождалось в ней к матери и отцу! «И надо же было родиться от этих тупых самодовольных мещан!.. Назвать мальчишку Иовисом, рассказывать ему всякую ерунду, отравлять его детское сознание обнаженной грубостью черных сторон текущего дня!.. Вот взяла бы, да и лишила их родительских прав!»

Маруся не замечала, как резко менялась ее психология под влиянием обрушившегося на нее горя. Еще вчера родители были близки и дороги ей как самые родные на свете люди. Еще вчера она не замечала их мещанской, обывательской сущности, еще вчера ей хотелось поделиться с матерью своим горем, поплакать у нее на груди. Она вспомнила о вчерашних настроениях и зло рассмеялась:

– Придумала тоже!.. С мамой делиться!.. Да разве она поймет?!. Разве можно с ней говорить про это?!. Для нее все очень просто: враги народа, Бутырки, генеральная линия партии, величайший, гениальнейший из людей современности. Все как бриллиант чистой воды. Ее мысль зажата в этих штампованных, законсервированных формулах, и она не в состоянии вырваться за их пределы... Нет, с мамой делиться нельзя!.

И неожиданно созрело решение. Немедленно уйти из дома, перебраться назад, в общежитие. Пусть подруги смотрят на нее отчужденным, настороженным взглядом, пусть избегают разговаривать с ней. Пусть боятся ее. Они все-таки чужие! С них и спроса нет. А дома... дома все это выше ее сил. Дома она этого не перенесет.

И в тот же день Маруся, собрав свои вещи, переехала из квартиры родителей в университетское общежитие, на свое старое место. Она страдала, она сильно

страдала, и боялась поднять глаза на подруг. Но подруги встретили ее как родную. Они искренно сочувствовали ей и стремились чем только можно помочь и облегчить ее горе. Они не чуждались и не боялись ее, и под теплом их ласкового участия стало оттаивать закоченевшее Марусино сердце.

XXXII

Моргунов, сидя в тюрьме, наблюдал людей, изучал их психологию, взгляды на жизнь и на политические события, и все больше и больше изумлялся:

– В чем дело? За что их посадили? Ну, я хоть когда-то сомневался, иронизировал, шутил. А эти – за что? Разве они – враги советского строя? Разве мы все, вместе взятые, – враги? Конечно, нет! Ведь среди всех, сидящих здесь по пятьдесят восьмой, нет ни одного настоящего преступника. Бытовики – дело другое. У них у всех есть «дела». Один – растратчик, другой – спекулянт, третий где-то спьяну нахулиганил, а этот парень, несмотря на свой культурненький вид, – настоящий орангутанг: шутка сказать – изнасиловал девушку. Их вот и надо сажать. А нас за что? Даже вот эта группка кулацких детей, не могущих правильно выговорить слово «троцкист», для советской власти ничуть не опасна! Они уцелели при раскулачивании, уйдя из своих деревень, и работали в совхозах и МТС. Работали честно, стремясь, ради своих собственных интересов, конечно, – заработать как можно больше. Надо, естественно, думать, что они не очень-то боготворили власть, которая лишила их насиженных гнезд, но ведь с тех пор прошло семь долгих лет, а они, каждый в отдельности и все вместе, совершенно не организованы и до убожества примитивны. Какой смысл теперь – сажать их в тюрьму или в лагерь? Они же не сопротивлялись, примирились со всем и превратились в настоящих пролетариев. А труд изменил их сознание и их психологию. Они поняли, что нет такой силы, которая могла бы вернуть им то, что они потеряли, и никаких идей реванша у них нет и быть не может. Значит, их посадили только для того, чтобы оправдать теорию усиления классовой борьбы после победы социализма, для того, чтобы путем статистических данных о количестве лиц, репрессированных за контрреволюционную деятельность, создать творцу этой теорий ореол провидца и пророка.

Посадка этих людей и упорное «пришивание» им несовершенных преступлений, – решил Моргунов, – давали в руки вождя дополнительные, материальные доказательства злостной неправильности другой теории – теории врастания кулака в социализм. «Никакого врастания! Никакого примирения! Классовая борьба разрастается и становится острей и острей. Классовый враг прячется и маскируется. Из-за угла продолжает он наносить удары в спину пролетарской революции, и энергия его ударов все увеличивается, превращается в безнадежную, но мощную энергию отчаяния. Вы считаете, что это не так?! Так вот вам цифры, вот вам факты!.. И вся страна, весь мир, все прогрессивное человечество еще раз поражается мудрости и гениальности «великого зодчего социализма»!

Приходя к таким выводам, Моргунов пугался самого себя. «Опять! Опять! – мысленно говорил он. – Как же нестойки твои убеждения! Ведь перед арестом ты был совсем другим, ты же думал тогда о Сталине совершенно иначе. Значит, опять – рецидив, опять – ирония, опять возврат к юношеским сомнениям и неясностям. Э, нет, Сашенька, видно, тебя не зря посадили!»

От дум разламывалась голова, и, чтобы избегнуть их, Моргунов стремился убивать время игрой в козла, в шахматы, чтением книг и дурачеством в камере.

Так проходили дни и недели, и вдруг наступил день, когда, во время выхода на утреннюю оправку, дежурный надзиратель выкликнул фамилию Моргунова и дал ему расписаться на выписке из постановления Особого Совещания.

Выписка представляла собой отпечатанный в типографии бланк, величиной чуть меньше страницы обыкновенной школьной тетради, с вписанным в него на пишущей машинке текстом. С левой стороны имелась графа «Слушали», с правой – «Постановили». На бланке, предъявленном Моргунову, с левой стороны стоял трехзначный порядковый номер, за которым шли его фамилия, имя и отчество, год рождения и занятие, а с правой было напечатано само постановление: «За контрреволюционную троцкистскую деятельность заключить в ИТЛ сроком на пять (5) лет, считая с 5 августа 1936 года». Бланк украшали гербовая печать Особого Совещания и чья-то неразборчивая подпись после слов: «Выписка верна».

Моргунов был готов к тому, что его «закатают», но где-то внутри все-таки теплилась, как и тогда, в день переезда в Бутырскую тюрьму, тень несознаваемой им самим надежды; поэтому теперь, когда все окончилось, и надежда безвозвратно исчезла, ему опять стало горько и тяжело.

– Ну, чего ты уперся в нее? Неграмотный, что ли? – спросил его надзиратель. – Давай, подпишись! Вот тут, на обороте, и – марш на оправку! Второй раз выпускать не стану. Понял?

– Понял! – задиристо ответил Моргунов. – А ты, между прочим, не нукай! Не запрягал, так и не погоняй!.. Тоже мне – «ну!»... Деятель нашелся!

Он взял у надзирателя карандаш и, приложив бумагу к стене, расписался.

«Все равно!» – подумал он с безнадежностью.

Постановление Особого Совещания поразило его. Вообще-то он считал себя обреченным, знал, что его не отпустят, как не отпускали никого из сидящих здесь ни в чем не повинных людей; знал он и то, что пятилетний срок является наиболее распространенным «стандартом». Но одно дело – знать, а другое – применять свои знания лично к себе. Он знал умом, разумом, логикой мышления, но, опровергая все его знания, наперекор очевидности, действовало чувство; в подсознательном жила надежда, в которой он сам себе не признавался, безумная, ни на чем не основанная надежда.

Теперь все рухнуло. Нет больше надежды, нет счастья, нет возможности отрешиться оттого, что произошло. Новое крушение на жизненном пути застало его, несмотря на всю его подготовленность, буквально врасплох.

«И с какой подлой формулировкой! «За контрреволюционную троцкистскую деятельность»! Надо только вдуматься в смысл этих слов! Меня – Моргунова – репрессировать за КРТД... Уму непостижимо!»

Усилием воли он заставил себя успокоиться. «Не показать врагу своего душевного состояния, своей растерянности – вот в чем задача!» И внешне это ему удалось. Но – только внешне. Организм не согласился с доводами разума. Нервная система, казалось, жила самостоятельной жизнью и отплатила ему за его бодрый вид полным отвращением к еде. Три дня он не мог проглотить ни кусочка. При одном виде еды наступала тошнота. Он не мог спать. Нервы будили его через час-полтора после того, как он засыпал, но зато в течение дня у него наступали моменты неожиданного торможения, и он временами погружался на несколько минут в глубокий сон, хотя ни окружающая обстановка, ни поза его ничуть не способствовали такому состоянию.

Но это продолжалось только три дня. Впечатление, произведенное на него постановлением ОСО, быстро слабело. Уже к вечеру третьего дня он почувствовал голод и съел небольшой кусочек черного хлеба, а потом все вошло в норму. Его организм смирился со случившимся, он привыкал к положению осужденного, и жизнь взяла свое.

XXXIII

Маруся между тем тоже привыкала к своему положению жены человека, арестованного органами НКВД. Это отпугивало от нее одних, притягивало других; большинство ее прежних знакомых опасалось не только разговаривать, но даже и здороваться с нею, другие же – меньшая часть – старались проявить солидарность, помогали ей чем только могли, демонстративно останавливались при встрече в людных местах, интересовались здоровьем и самочувствием Александра Сергеевича, предлагали материальную помощь.

Некоторые отчетливо и лучше самой Маруси представляли себе возможные последствия происшедшего не только для Моргунова, но и для нее самой. Ей советовали поскорее развестись, порвать отношения, публично заявить об отказе от мужа и о непричастности к его преступлениям. Такие вызывали у Маруси физическое отвращение, хотя она и сознавала, что они желают ей только добра. Другие сочувствующие требовали от нее как раз обратного: они хотели, чтобы Маруся ходила по разным учреждениям, подавала заявления, ручалась за невиновность Моргунова, требовала его освобождения. Среди всех этих людей мало кто знал юриспруденцию и порядки, существующие в советской юстиции и в органах НКВД. Большинство из них никогда не видело Уголовного кодекса, не знало о существовании пятьдесят восьмой статьи и совершенно не имело понятия ни о следственных органах, ни о прокуратуре и ни о чем, относящемся к этой области. Сначала все это казалось непостижимым и самой Марусе, но с течением времени ей удалось все-таки вникнуть в странные особенности существующей системы и освоиться с ними. Начался медленный процесс привыкания, жизнь стала потихоньку входить в нормальную колею, время шло, дни проходили за днями и уносили с собой боль и терзание, как текучая вода уносит муть и сор, случайно попадающие в нее.

Через несколько недель Марусю вызвали повесткой в НКВД, где очень вежливо и даже предупредительно сообщили, что Моргунов осужден, приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, и в ближайшие дни его отвезут для отбывания срока в лесные лагеря Архангельской области.

– Осужден?! Когда? – воскликнула потрясенная Маруся. – В каком суде? Кто его защищал? Почему же мне не сказали заранее? Я наняла бы защитника, своего... которому я доверяю!

Уполномоченный расплылся в улыбке.

– Видите ли, Мария Александровна... в таких делах... защитников... не полагается!

Маруся не поняла.

– Как это так? Что же это за суд?! Право на защиту...

Маруся раскраснелась, еще больше похорошела, и молодой уполномоченный не удержал души. Любуясь Марусей, он поведал ей о существовании Особого Совещания, которое выносит постановления заочно, заглазно, ни о чем не спрашивая и даже не видя обвиняемого; просто так – по представлению следственных органов. «Поверьте, Мария Александровна, я ни при чем. Все решает начальство!»

Он был так сердечен, так обходителен, что Маруся, не заподозрив обмана, несмотря на горечь полученного известия, ушла, пораженная его чуткостью и добротой.

На этот раз она уже не сходила с ума, а спокойно и деловито собрала последнюю передачу, раздобыла теплое белье, полушубок и валенки, и простилась с Сашей на разрешенном свидании без слез и волнений, как будто провожала его в небольшую командировку.

Моргунов оценил выдержку жены. Он протянул к ней руки (решетки на его окне в этот раз не было), дотронулся до ее лица и, резко рванувшись вперед через барьер и проход, крепко ее поцеловал.

– Этого нельзя! – закричал испуганный надзиратель, стоявший в проходе, в нескольких шагах от них.

– Молчи, браток! – фамильярно ответил Моргунов. – Что ты в этом понимаешь? Ведь я на целую жизнь прощаюсь, на пять лет!

– Ну и что!.. Не положено, – неуверенно ответил страж порядка, подходя к ним поближе, но спорить не стал. Этот простой, одетый в новенькую командирскую форму парень, обязанный по роду своей службы пресекать, охранять и быть неуклонным, понимал, по-видимому, человеческое сердце лучше многих «инженеров человеческих душ» и был более человечным, чем люди, научившие еще почти не умеющего говорить ребенка игре в расстрелы. Он не только не прервал свидания, не только не пресек допущенного нарушения, но как бы поощрял повторение его, потому что часто отходил подальше от своего поста и поворачивался спиной к видящимся. Однако Моргунов, возвратясь на положенное ему место, оценил деликатность тюремного служителя и больше не делал попыток высовываться в окно. Тюремной власти волноваться не приходилось.

Свидание кончилось. Моргунов ушел бодрый и улыбающийся, и Маруся тоже почувствовала какое-то облегчение.

Что же принесло ей спокойствие? Ведь все ее существо трепетало от вопиющей, как ей казалось, несправедливости, учиненной против Моргунова и, следовательно, против нее самой. Почему почувствовал себя бодрее и сам Моргунов, хотя сознавал, что впереди у него веселого мало? Да потому, что исчезла изматывающая их неопределенность. Теперь они знали, что Моргунов получил пять лет, ровно столько, на сколько рассчитывал, что эти годы надо будет провести в заключении, и что он навсегда и бесповоротно включен в список государственных преступников, каковое клеймо с него никогда не сотрется. Плохо, но зато ясно, а ясность всегда легче неизвестности. Неопределенность всегда страшит и нервирует, даже тогда, когда она по своим последствиям кажется легче, чем ясность, приходящая ей на смену.

Маруся сказала Моргунову, куда его повезут, и удивилась, когда Саша не только не выразил удовлетворения услышанным, но даже насупился и недовольно качнул головой. Впрочем, он хмурился только один миг, потом сразу овладел собой и беспечно сказал:

– Ну, вот и прекрасно! По крайней мере, на практике ознакомимся с разницей между абстрактным и конкретным трудом. Уточнение теоретических категорий – очень важная деталь в познании мира и в изучении политэкономии!

– Мне сказали, что там будет неплохо, – робко сообщила Маруся.

– Да разве у нас может быть где-нибудь плохо? – улыбаясь, ответил Моргунов. – У нас везде хорошо!

Моргунов, конечно, иронизировал. Он знал, что в будущем будет много и трудного и плохого, но, несмотря на рассказы товарищей по камере, которые уже побывали и на этапах и в лагерях, представить себе все, что его ожидает, не мог.

Свидание кончилось. Александра Сергеевича отвели назад, а на следующий день, так же внезапно, как и всегда, вызвали «с вещами» и после кратковременного пребывания в этапной камере отправили в лагерь.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Моисей Наумович Авербах

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ
(AD MAJOREM DEI GLORIAM)

Роман в четырех частях

Москва, 2008 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Через несколько дней после того, как отправили на этап Моргунова, Марусю вновь вызвали в НКВД, в тот самый кабинет, где недавно допрашивали Александра Сергеевича, и следователь – лощеный, с иголочки одетый во все новое и чисто выбритый, – вернул ей, по ее заявлению, изъятые при обыске учебные тетради, личную переписку и еще кое-какие, не относящиеся к делу Моргунова, бумаги.

Получая в комендатуре пропуск, Маруся столкнулась там с молодой, хорошо одетой женщиной и невольно остановилась. Женщина, по-видимому, была близка к обмороку: на побледневшем до синевы лице – ни кровинки, в широко открытых, полных невыплаканными слезами, глазах, – выражение тоски и отчаяния. У Маруси сжалось сердце, захотелось посочувствовать, утешить эту несчастную, сказать ей несколько теплых, сердечных слов, но женщина, ни на кого не взглянув, прошла мимо и бессильно опустилась на скамью у стены, уронив голову на грудь.

Маруся хотела подойти к ней, однако времени не было, пропуск жег руки. Кроме того, рядом стоял и неодобрительно поглядывал на немую картину суровый, с очень неприятным выражением лица, часовой. И Маруся прошла мимо, унося с собой некоторую неловкость и подобие стыда за свои мнимые черствость и эгоизм.

Еще через несколько часов, отвезя на квартиру родителей полученные бумаги и посидев там, она вышла из теплой и душной комнаты на улицу и глубоко вдохнула холодный освежающий воздух. Было уже поздно. Темное зимнее небо сияло миллионами звезд, ярко вырисовывалась полоса Млечного пути, свет невидимой за домами луны, дополняя скудное искусственное освещение, заливал улицу белесо-зеленоватым сумраком. Маруся поглядела на небо, нашла Полярную звезду и печально подумала, что Сашенька сейчас, вероятно, двигается прямо на нее, а здесь, на земле, никому нет до этого дела. Здесь все оставалось таким же, каким было всегда, изредка прогромыхивали трамваи, деловым шагом проходили поредевшие пешеходы, город готовился ко сну. Марусе захотелось развеяться, пройтись, и она пошла в общежитие пешком, с удовольствием впитывая в себя прелесть ночной Москвы.

На Большом Каменном мосту она увидела какую-то женщину, почти лежащую на железных перилах. Женщина неотрывно смотрела на темную, частично покрытую льдом, холодную воду, в которой отражались еще не потухшие огни города, и не шевелилась. Маруся видела ее только со спины, но эта спина беззвучно кричала о великом горе, о безысходном отчаянии и безнадежной тоске.

Что-то знакомое мелькнуло в этой скорбно поникшей спине, – то ли воспоминание о виденной когда-то в Севастопольской галерее картине Касаткина «В коридоре окружного суда», то ли что-то другое, более близкое по времени. Определить Маруся не успела; новая мысль заставила ее похолодеть от ужаса: «Боже мой, она сейчас бросится в воду!» И действительно, женщина быстро выпрямилась, отодвинулась от перил и рванулась вперед, но тут же откинулась, схватилась за голову обеими руками и – застонала. Марусе стало невыразимо страшно. Она оглянулась, хотела позвать на помощь, но на мосту никого не было; между тем женщина опять сделала какое-то движение, и Маруся кинулась к ней, схватила ее за талию и надрывно крикнула:

– Не надо, не надо!.. Что вы делаете?..

Женщина повернулась, губы ее зашевелились, очевидно, она хотела что-то сказать, но не смогла, и вдруг, спрятав лицо на Марусиной груди, давясь и сдерживаясь, истерически заплакала.

Изумленная Маруся узнала в незнакомке ту самую женщину, которую встретила сегодня в комендатуре НКВД, и сразу поняла причину ее горя и отчаяния. Конечно, она не знала деталей, не знала подробностей и конкретных обстоятельств, но общая картина стала ясной и яркой, как безмятежная, плывущая по небу луна.

Маруся держала в своих объятиях чужую, незнакомую, неизвестную ей плачущую женщину и терпеливо ждала.

– Ну, что вы?.. Что вы?.. – ласково говорила она, чувствуя, что сейчас заплачет сама. – Успокойтесь!.. Ведь все пройдет! Все пройдет!.. Ну, пойдемте домой, пойдемте!.. Я вас провожу... Скажите, только, куда идти! Где вы живете?

Постепенно женщина успокоилась.

– Спасибо вам! – прошептала она. – Спасибо... Не надо провожать, я дойду сама. Тут недалеко... Вот, в этом большом доме... Не надо тратить на меня ваше время.

Маруся отпустила ее, но сразу почувствовала острое беспокойство: «А можно ли ее пускать одну, вдруг она покончит с собой?!»

– Нет! – решительно произнесла она, снова беря незнакомку под руку. – Я вас так не пущу... Я провожу вас, тем более что это так близко.

– Не надо! – слабо простонала женщина. – Вы же не знаете, кто я!.. Вы отшатнетесь!.. Ведь я... ведь мой муж...

– Ну и что ж?! – перебила Маруся. – Вы не одна... у многих мужья... – Маруся запнулась и повторила, – у многих мужья... там, где и ваш.

Женщина с недоумением поглядела на Марусю.

– Позвольте!.. Откуда вы знаете, где мой муж?.. Кто вы такая?..

– Я ничего не знаю. Просто видела вас сегодня в комендатуре НКВД, была там по делу... своего мужа... ну, и вот... Поняли?..

– Господи!.. Вот почему вы такая добрая!.. А... за что... посадили вашего мужа?

Маруся пожала плечами.

– Не знаю! Честное слово – не знаю... и не понимаю... ничего не понимаю!..

– Но как же, в таком случае, жить? Как жить, если твои ближайшие друзья... самые близкие, любимые люди... и вдруг...

Незнакомка не договорила. Ею вновь овладел пароксизм отчаяния, и Маруся испуганно схватила ее за руки – «не бросилась бы, чего доброго, в реку!»

– Успокойтесь!.. Пойдемте домой!.. Не надо так волноваться... не надо! – произнесла она вслух.

Женщина сказала, что дома ей нечего делать, там все напоминает о происшедшем, она боится оставаться наедине с собой, а побыть с ней все равно некому. Она говорила о чем-то еще и дрожала от волнения, но Маруся не слушала.

Почти силой увела она ее от реки, довела до дома, поднялась на третий этаж и позвонила у входной двери в квартиру.

– Там никого нет, – сказала женщина, – дети у бабушки, ключ у меня.

Она открыла дверь, и они вошли. Маруся увидела квартиру, свидетельствующую о хорошем достатке ее обитателей. Несколько со вкусом обставленных комнат. Очень приличная мебель, громадный ковер, бехштейновский рояль, на стенах дорогие картины в тяжелых позолоченных рамах, на открытом серванте в столовой серебро и хрусталь, а у окна – большой радиоприемник последней модели.

Высокая двухстворчатая дверь в соседнюю со столовой комнату была опечатана. Два темно-бордовых сургучных пятна с веревочкой между ними резко бросались в глаза. На сверкающих белизной створках они напоминали кровавые раны.

Недавний обыск и душевная растерянность хозяйки отразились и на квартире. Комнаты были неубраны, шкафы открыты, ящики выдвинуты, всюду в самых неподходящих местах лежали стопки белья, книги и безделушки, стояли сгрудившиеся принадлежности домашнего обихода, столовая и чайная посуда, валялись разбросанные ноты и граммофонные пластинки, на открытой крышке рояля отражались струны и молоточки.

Маруся почувствовала себя неловко. Она выполнила свой маленький моральный долг, увела опустошенную несчастьем женщину от опасной, вызывающей нехорошие мысли реки, привела ее домой. Ну, а дальше что? «Можно ли оставить ее одну, здесь, в этой прекрасной, но истерзанной, лишенной обитателей квартире?»

И, тут, словно отвечая на ее мысли, незнакомка сказала.

– Я очень прошу вас, побудьте со мной! Сегодня я просто боюсь одиночества... Конечно, здесь – мерзость запустения, но я быстро все приберу, приготовлю чай, мы хоть немного поедим. Вы ведь тоже намучились. Я так благодарна вам, так благодарна... Кстати, мы ведь совсем не знаем друг друга. Давайте знакомиться! Горинская, Анна Павловна, – и она протянула Марусе руку.

У Маруси от неожиданности округлились глаза. Она была просто потрясена и лишь машинально пробормотала в ответ: «Северцева, Маруся»; ведь всего несколько минут тому назад эта женщина находилась чуть ли не в потустороннем мире, глубина ее переживаний подходила, казалось, к грани, отделяющей сознание от безумия. И вдруг – почти спокойный тон, слова о чае и еде, намерение убрать комнату, несколько церемонное, с рукопожатием, знакомство. «Разве возможны такие переходы? Уж не игра ли все предшествующее поведение этой женщины?.. Игра?.. Зачем?.. Перед кем?..» Нет, игры тут быть не могло. Переход выглядел странно, удивительно, изумляюще, но он был фактом, он реально существовал. «Как же мог он свершиться?» Маруся этого понять не могла.

А между тем преображение Анны Павловны было естественно. Неожиданная, внезапная катастрофа вывела ее из привычной колеи, и ей показалось, что земля уходит у нее из-под ног; одиночество усугубило и без того огромное впечатление, она вся отдалась горю и переживаниям, мир затуманился, закрылся, ушел вдаль, стал призрачным и не имеющим жизненного значения, но она не помешалась, не сошла с ума, не перестала быть самой собой. Случившееся не убило ее. Вопреки представлениям Маруси, она не делала попыток утопиться, а задержалась на мосту просто потому, что вид текущей воды сосредотачивал ее мысли на том, о чем ей больше всего хотелось думать, – на ее страданиях и душевной боли.

Она могла, конечно, в моменты полного одиночества пренебречь внешней средой и с головой уйти в свой внутренний мир, в свои страдания и горе, но при появлении постороннего человека бытовые навыки и привычки заявили о своем праве на существование. Не зря говорят: «душе с телом мука», – потребности тела

не всегда совпадают с требованиями человеческой психики, а иногда – и довольно, между прочим, часто – явно и резко противоречат ей. Только оторванные от реального бытия идеалисты могут не признавать столь простой истины. Чеховская героиня, несмотря на глубокий траур по умершему мужу, несмотря на решение отказаться от жизни и провести остаток своей, еще очень молодой, жизни в затворничестве, не забывала пудриться, а Анна Павловна, увидев при Марусе свое развороченное, неубранное, находящееся в беспорядке жилище, ощутила нечто похожее на стыд. И эта жизненная мелочь отвлекла ее от переживаний больше, чем самые теплые сочувственные слова и утешения.

Пока Маруся приходила в себя, обдумывала увиденное и мысленно рассуждала о бренности всего существующего на свете, Анна Павловна быстро и ловко убрала в комнате. Она собрала раскиданные вещи и водворила их на свои места, задвинула ящики, закрыла шкафы, накрыла стол богатой льняной скатертью, сервировала его для ужина, принесла хлеб, масло, закуски, кипящий чайник и стала уговаривать Марусю поесть.

Хозяйственные заботы повлияли на Анну Павловну весьма положительно. Она оживилась, пришла в себя, успела даже причесаться, вспомнила, что с раннего утра ничего не ела и, сев за стол, с удовольствием ужинала и пила чай; ее тоска и отчаяние отодвинулись, дали ей вздохнуть, и когда она опять заговорила о муже, то слезы – облегчающие душу слезы – обильно полились по ее щекам, но в них уже не было ни кошмара, ни убивающей человека безысходности.

Маруся хотела утешить Анну Павловну, она начала было рассказывать про своего Сашеньку, но тоже не выдержала, заплакала, и так, перемежая слезы едой и рассказами, они просидели вдвоем всю ночь до утра и постепенно успокоились.

Горинская подробно рассказала Марусе о себе. Она – жена крупного советского работника, члена коллегии наркомата. Он – инженер, намного старше ее, но лучше его на свете нет; любит ее безумно, да и она в нем души не чает. В последние годы она не работала – не было смысла. Забот и так хватало – семья, дети. Раньше училась на первом курсе медицинского института, бросила – помешал ребенок. Думала, когда-нибудь восстановится, будет продолжать, а пока что вела жизнь «культурной жены»: пела, училась музыке, вела хозяйство, воспитывала детей. Муж много работал, но они все-таки часто бывали в театрах, в кино, ходили на выставки, устраивали вечера – квартира, слава богу, позволяла... Все было так хорошо. И вдруг – этот обыск, арест.

– Ума не приложу – в чем тут дело! Я так растерялась... я вам так благодарна, без вас я бы просто погибла. Я ведь совершенно ничего не знаю: ни куда обращаться, ни к кому идти. Хотела посоветоваться со знакомыми, но все отвернулись. Одних – «нет дома», другие – «очень заняты», на улице делают вид, что не замечают, а один из ближайших друзей мужа, даже не выслушав меня как следует, сказал: «Я не понимаю вас, Анна Павловна! Зачем вы пришли по этому вопросу ко мне домой? Я же вам ничем помочь не сумею, а ваше посещение может меня скомпрометировать... Теперь время такое...» Я не дослушала, хлопнула дверью и убежала. Скажите, неужели все – такие подлецы, как он?.. А ведь он всегда проявлял ко мне повышенное внимание, ухаживал за мной. Противно подумать, что он мне тоже когда-то нравился!..

На улицах зазвенели первые трамваи, насыщенная волнениями ночь подходила к концу. Маруся встала из-за стола и, не думая о приличиях, сильно потянулась. Поднялась с своего места и Анна Павловна. Она поглядела в окно и тихо продекламировала:

– Месяц умер. Синеет в окошко рассвет.

Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала?..

– Ночь успокоила нас, – ответила Маруся. – Знаете что, Анна Павловна, ложитесь-ка вы спать, и скажите прямо – можно вас оставить одну или нет?

– Теперь уже можно, – ответила Анна Павловна с горькой улыбкой. – Теперь я не боюсь. Спасибо вам, милая Маруся, вы меня буквально спасли!..

Уходя, Маруся обещала Горинской навещать ее, но выбраться долго не могла и только иногда звонила ей по телефону. Новости были неутешительными: узнать о муже Анне Павловне ничего не удавалось, никаких справок о нем не давали. Маруся искренне разделяла волнения Горинской, все собиралась к ней зайти и, наконец, месяцев через семь–восемь, во время летних каникул, собралась.

Перед тем как идти, она позвонила, чтобы предупредить и договориться о встрече, но на этот раз к аппарату никто не подошел. После нескольких безуспешных попыток дозвониться Маруся пошла к Горинской без предупреждения, однако в ее квартире жили уже другие люди. Маруся попробовала расспросить их, но они явно не желали отвечать на вопросы, утверждали, что им ничего не известно, и Маруся ушла, абсолютно ничего не узнав. Долгое время она не знала, что думать, и все надеялась, что как-нибудь встретит Горинскую на улице или та сама ей напишет. Но месяцы проходили один за другим, никаких вестей не приходило, и Маруся окончательно потеряла след своей случайной знакомой.

II

Очень тяжелыми периодами в последующей жизни Моргунова оказались этапы, хотя первый из них был, на его взгляд, не столь уже трудным. Их подняли в тот день задолго до света, вывели в уже знакомый ему «вокзал», обыскали и несколько часов без толку держали в громадном зале. Кого-то искали и не находили, а потом оказалось, что его отправили на этап дней десять тому назад; у кого-то перепутали в документах имя и отчество – вместо Эмиль Янович записали Миль Емельянович – и сейчас долго и упорно выясняли причину путаницы; кого-то «одевали», потому что конвой отказался взять этапируемого без надлежащей одежды. Затем долго выдавали этапный паек на первый день – хлеб, селедку и сахар. Потом принесли кипяток, разрешили поесть. После еды наступил совсем непонятный долгий перерыв, после которого появился начальник конвоя и предложил желающим сдать свои вещи для перевозки. Наслышанный о пропажах вещей Моргунов решил нести их на себе.

Наконец, когда уже стемнело, измученных и усталых людей вывели на тюремный двор, выстроили, пересчитали, проверили поименно по спискам, опять пересчитали и, окружив кольцом охраны, с пулеметом – для устрашения – позади и служебными собаками по бокам, тронулись в путь.

Шли быстро, изнемогая под тяжестью тащимых на себе вещей. Конвоиры злобствовали, гнали вперед, ускоряя шаг, не позволяя передохнуть. Прохожие на улицах останавливались, смотрели вслед, некоторые крестились.

Несколько просто одетых женщин, узнав, очевидно, о предстоящем этапе заранее, дежурили у входа в тюрьму с самого утра. Теперь они отделились от стен и с плачем и причитаниями побежали вслед за этапом. Охрана их отгоняла, грозила, но они все-таки бежали вслед, не отставая. У Моргунова разрывалось сердце. Было жалко всех, всю эту угрюмую, отяжелевшую от тоски серую массу людей и этих бедных женщин, провожающих в этап кого-то из близких.

Моргунов поделился своими мыслями с одним из идущих с ним рядом людей, с виду интеллигентным, прилично одетым человеком. «Матушка Софья по всему миру сохнет, а дома не евши сидят!» – ответил ему сосед, улыбнулся и прибавил: «Думайте лучше о себе!» Моргунов не поверил глазам. Его попутчик... улыбнулся! Разве можно было улыбаться в этих условиях и в такую минуту?.. Да, вероятно, можно. Ведь попутчик-то улыбался!..

И вдруг перед глазами Моргунова возникла так хорошо запомнившаяся картина. Общая, тесно набитая камера. Над каждым ее обитателем занесен меч судьбы, который должен вот-вот опуститься. А люди беснуются, веселятся, хохочут. Слышна озорная, похабная песня, на лицах нет заботы, нет горя. «Что же это такое? Как же это так?.. А так! Просто! Так же, как улыбка сейчас! В мозгу человека сработало какое-то умное, природой устроенное защитное реле. Сработало и отключило от сознания непосильный для него ужас бытия, безмерное, могущее убить отчаяние, сильный, смертельной мощности, страх. Цепь прервалась, и аппарат уцелел. При помощи таких реле защищают в электротехнике приборы и аппараты. Их много, этих реле – максимальные, минимальные, тепловые, реле времени, реле утечки, нулевые реле, – их создали люди, отрегулировали и заставили служить на благо человечеству. А «мозговое реле» – это свойственная человеку возможность абстракции, отвлечения, возможность бессознательно абстрагироваться от убивающих мыслей и думать о разных вещах и обстоятельствах одновременно; это способность автоматически снижать значение и оценку событий, тяжесть и серьезность которых не в силах вынести мозг. Те, у кого такая способность притуплена, могут быстро погибнуть, в моменты критических напряжений они сходят с ума, кончают самоубийством или умирают от полного нарушения функций нервной системы».

У Моргунова «мозговое реле» работало, по-видимому, исправно. Переживания не убили его, и теперь он также поборол свой ужас и жалость к несчастным обездоленным людям, и вскоре тяжесть его мешка с вещами стала казаться ему более значительной, чем крики и вопли преследующих этап женщин.

Выйдя из ворот тюрьмы, этапная партия быстро свернула куда-то в переулок, в сторону от центральной, ярко освещенной улицы, и пошла к месту назначения кружным путем. Шли долго, Моргунов сильно устал, ему начало казаться, что этому походу не будет конца. Однако все проходит и все кончается! Этап дошел до железной дороги, проплутал по каким-то закоулкам и задним дворам и оказался в темном тупике у неосвещенного состава арестантских «столыпинских» вагонов.

Здесь людей заставили подтянуться, уплотниться, встать по четыре в ряд, вновь проверили, пересчитали и, вызывая по фамилиям, посадили в холодные, едва освещаемые изнутри огарками свечей вагоны.

Внешняя, лицевая сторона такого вагона отличается от обыкновенного пассажирского только решетками на окнах; другую, глухую сторону его зрители обычно не замечают. Садясь в этот вагон и вспоминая картину Ярошенко «Всюду жизнь», Моргунов мечтал получить место у окна и во время этапа глядеть на русскую северную природу.

Надежды его не сбылись. Внутри вагон оказался совсем не таким, каким он его себе представлял. Оказалось, что все зарешеченные окна отделены от арестантских помещений коридором, подобно тому, как это устроено в мягких и купированных вагонах; только вместо стены с дверями, ведущими в купе, здесь вдоль всего вагона проходит сплошная массивная решетка, за которой находятся жесткие кабины-купе, оборудованные трехэтажными полками с перекрываемыми между ними проходами. В арестантских отделениях окон нет, равно как нет и осветительных точек, и свет в них как днем, так и ночью проникает только из коридора.

В обоих концах вагона отведены отдельные купе для конвоя. В коридоре непрерывно дежурят вооруженные часовые.

Если бы не было ужасного переполнения и соседства у’рок, которых этапировали вместе с пятьдесят восьмой, ехать в таком вагоне было бы даже удобно, но длительная невозможность прилечь, вынужденные ограничения в пользовании уборной, отсутствие света и воздуха и очень грубое поведение конвоя делали путешествие почти невыносимым. Моргунов страдал от грязи и вони, от

невозможности умыться, от невозможности переменить положение тела, но его страдания до некоторой степени компенсировались новизной окружающей обстановки.

III

Поезд, в котором Моргунова везли на север, явно не был курьерским. Не принадлежал он также и к категории скорых или хотя бы почтовых поездов. Дни шли за днями, а состав все шел и шел, а еще больше стоял, то ли на станциях, то ли на перегонах, и казалось, дороге не будет конца. Время шло медленно-медленно, и Моргунов усиленно размышлял и с большим интересом наблюдал за своими невольными попутчиками, за резким разнообразием их характеров и различным отношением к неудобствам и физическим тяготам этапа.

Вот сидит напротив него приземистый, рыхлого вида человек. Щеки обросли щетиной, лицо грязное до черноты, мутный взгляд обесцвеченных в сумраке глаз часами направлен в одну и ту же точку. На вопросы он отвечает односложно – «да», «нет», – или не отвечает совсем. Попытки вывести его из глубокой задумчивости остаются безрезультатными. Моргунову очень хочется узнать, кто он такой, откуда, за что сидит, в чем его обвиняли, но человек настолько ушел в себя, что Моргунову становится не по себе, и он отступает. Да в данном случае и спрашивать-то, собственно говоря, нечего. Безо всяких слов видно, что человек оглушен происшедшим, что он подавлен и придавлен к земле, и не может очнуться от свалившихся на него переживаний.

Двух других, также сидящих напротив, Моргунов знает по камере Бутырской тюрьмы. Оба они из одного села. Коммунисты, но малоразвитые. Их интересы вращаются вокруг родной деревни: как уродилась рожь, сколько дадут на трудодень, зарезала ли баба поросенка. Сидят за поддержку на партсобрании своего председателя сельсовета, который, по их словам, «оказался трокцистом». «Он нас и загербовал» – говорят они, по-своему произнося модное слово «завербовал» и вкладывая в него совсем иной смысл, чем оно имеет в действительности. Они считают, что «завербовал» означает «посадил в тюрьму», «подвел под монастырь», «подсидел», Моргунов пробовал однажды объяснить им неправильность их понимания, но они обиделись и не стали слушать, полагая, что он над ними насмехается. Вообще они были обидчивы не в меру, и на этой почве происходили курьезные инциденты. Как-то раз, после вечерней поверки, стремясь к сближению с «простыми людьми», Моргунов затеял с ними разговор о деревенском быте и деревенских занятиях. Ничтоже сумняшеся он попросил их рассказать, как запрягают лошадь. Моргунов действительно не знал, как это делается, так как в деревне был только один раз, на коллективизации, а в ту пору «техникой» сельского дела заниматься было некогда. Ребята, однако, восприняли его вопрос как издевательство, они не могли себе представить, что существуют люди, не знающие столь простого дела. Разубедить их Моргунов не сумел, а они стали относиться к нему с недоверием и неприязнью. Сейчас, в вагоне, они покорно переносили все материальные лишения и неудобства, нисколько, по-видимому, не страдали от них, и интересовались только жизненными мелочами, вроде подлинного веса выданной им на дневной паек селедки: должны были выдать по 200 граммов на душу, а на самом деле, по их предположению, дали значительно меньше.

Четвертый член их компании был в мягкой, изрядно загрязненной, помятой фетровой шляпе и когда-то хорошем и дорогом пальто. Он сумел сохранить интеллигентный облик и фасонные, с закрученными концами усы. Был он грязен и закопчен так же, как и все, но относился к этому со стоическим равнодушием. Он охотно рассказал Моргунову свою нехитрую историю. Работая художником-

иллюстратором, владелец фетровой шляпы выполнил для издательства несколько рисунков, украшающих обложки ученических тетрадей. Тетради вышли громадным тиражом, и гонорар за рисунки оказался солидным. Художник процветал. Дела его шли хорошо, работа сыпалась со всех сторон, но тут стряслась большая беда: некто бдительный, рассматривая тетрадную обложку, на которой позади густого кустарника стоял красноармеец с винтовкой в руках, прочел в комбинации отдельных веток и веточек фамилию вождя оппозиции... Художник клялся, что ничего подобного нет, что кустарник срисован с натуры и выглядит словно живой. Кусты как кусты и ветки как ветки! А фамилия просто привиделась. Так в бесформенных пятнах на скалах, в облупившейся краске на стенах, в облаках и на далеких пейзажах можно увидеть, если есть хоть немного фантазии, несуществующие фигуры и виды. Он уверял, что в кустарнике нет ни фамилий, ни надписей, что все это – вымысел, чушь, плод плохо направленного воображения. «По-французски это называется esprit mal tourney», – говорил он, однако ему не поверили и взяли в такой оборот, что он согласился забыть и французский язык, и всю свою честную жизнь. Его «убедили». И он подписал протокол, в котором «признался», что его рисунки наполнены стилизованными антисоветскими лозунгами и фамилиями контрреволюционеров, за что и получил от Особого Совещания 8 лет ИТЛ «за контрреволюционную троцкистскую деятельность».

– Вот так получилось, что я, беспартийный художник, – печально рассказывал он, – превратился в политика и оказался в рядах «третьей силы».

Моргунов выслушал обладателя шляпы очень внимательно, но большого интереса к нему не почувствовал. Если не такие, то подобные истории он слышал и раньше, и они его уже трогали мало.

Не особенно интересными также показались Моргунову и еще два человека, запертые вместе с ним в узкой и тесной кабинке арестантского вагона. Оба они – Сергеев и Кузнецов – шли однодельцами и до ареста работали в небольшой типографии, находившейся в одном из районных городов Московской области. Типография, оборудованная допотопной техникой, дышала на ладан и выполняла разные случайные заказы. Она печатала пригласительные билеты, афиши местных зрелищных предприятий, заводские многотиражки, формы и бланки разовой. отчетности, и прочую типографскую мелочь. Сергеев работал в типографии наборщиком, Кузнецов – корректором и, по совместительству, выпускающим.

«На грех мастера нет!» В очень теплую июньскую ночь, когда окна в наборной были распахнуты настежь, а в саду под окном, готовясь к концерту, закатывал рулады невесть откуда залетевший соловей, Сергеев стоял у наборной кассы и привычными движениями кидал в версталку очередные литеры висевшего перед ним текста. Он работал почти машинально, думая о другом и прислушиваясь к неуемному говору раннего лета, доносящемуся через открытое окно. Звуки отвлекали его от работы, он иногда ошибался, и в таких случаях в наборе появлялись опечатки.

– В печатном деле без опечаток не обойдешься! Что сделаешь?! Конь о четырех ногах, а и то спотыкается! – грустно рассказывал Сергеев.

Обычно опечатки исправлялись корректором, а если и оставались, то большого значения им не придавали.

Однако на этот раз ошибка оказалась роковой. Набирая подпись под каким-то постановлением, Сергеев отвлекся и ошибочно принял в слове «председатель» первое «д» за второе. Кузнецов, всегда дотошно проверяющий тексты, не обратил внимания на подписи, а может быть, не заметил ошибку и прочел слова – механически! – так, как они должны были быть. Опечатка осталась незамеченной, а когда газета вышла, поднялся страшный вой: «Вражеская рука пробралась к печатному станку!» Следствие тянулось несколько месяцев, и теперь Сергеев и

Кузнецов двигались в места весьма отдаленные, получив, в виде непонятного счастья, всего лишь по пять лет ИТЛ. Им, членам партии, ошибка зачлась как КРТД.

Моргунов улыбнулся, услышав печальную повесть, хотя смешного в ней было мало. Ему захотелось отвлечь собеседников и перевести разговор на другую тему, поговорить о жизни в их районе, о культуре и быте, литературе и искусстве, но Сергеев и Кузнецов не могли думать ни о чем другом, кроме пропущенного слога «сед», приведшего их в арестантский вагон. Кузнецов еще как-то владел собой, а Сергеев раскис совсем. Каждые полчаса он принимался скулить. Несмотря на многие месяцы, прошедшие со дня ареста, Сергеев так и не свыкся и материальными лишениями. Он и теперь горько сетовал на окружающую обстановку и оплакивал свою удобную домашнюю кровать с пружинной сеткой и чистым постельным бельем, увидеть которую больше уже не надеялся. А в общем оба они оказались типичными провинциальными обывателями, и Моргунов не мог понять, как можно людей с такими узкими, мещанскими взглядами принимать в партию.

IV

На противоположных от Моргунова концах скамеек сидели друг против друга еще два человека, Моргунов успел перекинуться с ними несколькими словами и узнал, что оба они – «бытовики». Один – постарше и поразвязнее – бывший зав торговой базой, посаженный за злоупотребления и недостачу товаров, другой – робкий и смирный крестьянин, совершивший – совсем неожиданно для себя, как он уверял – грабеж среди бела дня и осужденный за него по второй части 165-й статьи Уголовного кодекса к лишению свободы на три года. При взгляде на этого тщедушного, белобрысого, по всей видимости – скромного и даже запуганного человека, казалось невероятным, что он мог ограбить кого-нибудь, да еще с применением насилия, и Моргунов, естественно, попросил его рассказать, как же это произошло.

Простота события оказалась поистине невероятной. Михаил Тимофеевич Оглоблин, так звали этого человека, прежде никогда не судился и никаких преступлений не совершал. Жил он мирной трудовой жизнью, крестьянствовал, числился середняком, но хозяйство имел слабенькое, сползающее к бедняцкому. Был он женат, имел четырех детей, верил в Бога и носил на груди маленький медный крестик. В 1929 году вступил в колхоз, работал честно и пользовался хорошей репутацией, но, тем не менее, жил бедно и едва сводил концы с концами. За все свои 37 лет Оглоблин ни разу не имел новых сапог или настоящих шерстяных брюк, не держал в руках хороших тканей, мясо ел только по праздникам, а к сахару относился как к не всегда доступной роскоши. Материальный уровень его жизни, как понял Моргунов из ответов на свои вопросы, был чрезвычайно низким даже по сравнению с односельчанами.

И вот однажды, выполнив какое-то данное ему поручение, возвращался Оглоблин из районного центра к себе в деревню. Ехал порожняком, не спешил, но по дороге обогнал хорошо, по-городскому, одетую женщину с чемоданом в руках. Она попросила подвезти ее до ближайшего села. Он согласился, остановил лошадь и помог ей влезть на телегу. Ехали, почти не разговаривая. Оглоблин думал о чем-то своем, женщина глядела по сторонам. Ни на секунду не приходила ему в голову мысль о возможности как-нибудь поживиться за счет своей пассажирки (он даже не надеялся на чаевые), но когда до села оставалось уже несколько километров, ей вздумалось зачем-то перебрать вещи в чемодане. Выглянули на свет перечисленные потом в приговоре шелковые комбинации, тонкие фильдеперсовые чулки, туфельки на высоком каблуке, несколько хороших

платьев, шерстяная костюмная юбка. Пораженный таким чудовищным богатством Оглоблин, в довершение своих бед, усмотрел в чемодане еще и коробку хороших конфет, и две плитки шоколада «Золотой ярлык», и многое другое, чем он мог бы владеть разве что только во сне. Вещи ослепили его. Безумно захотелось привезти своей Палаше хоть что-нибудь похожее на то, что он видел, безумно захотелось угостить детей конфетами и шоколадом, да и самому попробовать этих невиданных яств. А ведь они лежали рядом, совсем рядом, на его телеге, и он забыл обо всем, кроме этих дивных богатств. Желания овладели им без остатка.

И вдруг, как бы по наитию свыше, плохо сознавая значение своего поступка, он резким и сильным ударом в грудь столкнул женщину с телеги и, хлестнув лошадь, помчался вскачь вперед по пыльной дороге. Выброшенная из телеги женщина что-то кричала, кто-то из мимо идущих выбежал на дорогу, попробовал задержать лошадь и тоже кричал, требуя остановиться. Оглоблин не слышал и ничего не слушал. Словно в трансе примчался он домой, быстро внес чемодан в хату и разделил между членами семьи его содержимое, а спустя час–полтора его арестовали и отняли все то, что он так неудачно награбил. Рассказывая об этом, Оглоблин вдруг улыбнулся.

– А ведь не все забрали. Щиколат дети зараз съели, да и я кусину отведал. Скусный, токо чуть горьковатый. Я его сроду не едал.

Моргунов задумался.

«Широка страна моя родная, и сколько еще нужно работать, чтобы уничтожить в ней остатки тяжелого прошлого, уничтожить причины, порождающие преступность, – думал он языком газет и журналов. – Ведь не случайно же совершил преступление этот Оглоблин! Значит, были причины. Какие? Надо мыслить диалектически. А пошел бы этот колхозник на преступление, если бы жил хоть немного получше и имел что-нибудь равноценное тем вещам, что похитил? Нет, не пошел бы! Не соблазнился бы он ни шоколадом, ни тряпками. Значит, преступление, – результат его бедности? Так? Отчасти и так, но не только! Бедность сама по себе – только часть всех причин, и если бы в чемодане лежали простые крестьянские платья, черный хлеб или пшенная каша, Оглоблин не стал бы женщину грабить. Равнодушно скользнул бы он взглядом по такому добру и уставился бы опять на лошадиный зад. А дорогие, недоступные вещи его соблазнили, разожгли дремавшие страсти и привели к неисправимой беде. Оглоблин стал грабителем. Значит, причина его преступления, помимо личных свойств его психики, скрывалась еще и в большой разности между тем, что имел, и что мог приобрести он путем грабежа. А разность, в свою очередь, есть результат неравенства между материальным положением Оглоблина и ограбленной женщины, результат неравенства их положения в обществе.

Неравенство? – Да! Это то самое слово, которое все объясняет. Именно оно и является причиной большинства преступлений. Не социальное неравенство, нет! В СССР антагонистические классы ликвидированы, социальное неравенство уничтожено, но стали ли от этого люди равны между собой во всех отношениях, во всех своих желаниях и чувствах? Конечно, нет! Да ведь никто, кроме утопистов, и не стремится к такому равенству, оно вообще невозможно. Надо полагать, не только при социализме, но и при полном развернутом коммунизме люди останутся разными, и неравенство между ними сохранится. Но при коммунизме всего будет вдоволь, и это неравенство не поведет к преступлениям, во всяком случае – к имущественным. Так будет при коммунизме. Но до коммунизма-то еще не один десяток лет, а пока что всякого рода неравенства являются почвой, на которой, при определенных условиях, может взрасти преступление. Ведь неравенств так много. Неравенство в материальном положении отдельных людей, в формах, видах и тяжести их труда, в их положении в обществе и на

производстве; неравенство в образовании, воспитании, культуре и развитии; неравенство в характерах людей, в превалировании в них тех или иных психологических факторов: жадности, корысти, зависти, жажды власти, самомнения и самолюбия, ревнивости, экспансивности, азартности. Сочетание всех или части этих социальных и психологических факторов, между которыми, несмотря на все их различие, существует диалектическое единство, может явиться причиной преступлений и при нашем социалистическом строе. Значит, преступление не есть нечто, порождаемое только пережитками проклятого прошлого. Значит, и в нашем обществе существуют самодовлеющие факторы, определенное сочетание которых может привести к преступлению?»

Моргунов испугался, придя к такому выводу, но, проверив ход своих рассуждений, не нашел в нем ошибки. Тогда он поставил вопрос по-другому:

– «Ну, хорошо, я додумался до того, что в нашей стране, после того, как социализм в основном уже построен и антагонистические классы полностью ликвидированы, существуют социальные и психологические факторы, порождающие преступность. Означает ли это фатальную неизбежность существования преступлений? – Нет, – ответил он сам себе на этот вопрос, – фатальной неизбежности не существует. Для того, чтобы преступление возникло, недостаточно только социальных или только психологических факторов: необходимо еще и определенное взаимодействие между ними. Ведь «преступление» – термин собирательный, и бог знает, сколько различных видов он обнимает. Кража, грабеж, растрата – самые простые. Но ведь существуют и такие деяния, когда совершающий их никакой материальной выгоды не получает, когда преступление совершается во имя идеи, пусть вредной и ложной, но все же идеи. Таковы преступления, совершаемые на почве расовой или национальной вражды, на почве религиозного изуверства или ложно понимаемого патриотизма, таковы убийства из ревности или мести, политические преступления (Моргунов улыбнулся), а есть и другого порядка: хулиганство, клевета, оскорбление, превышение власти, гомосексуализм (вспомнился Петя Кондратов), изнасилование, нарушение паспортного режима, да мало ли их! Причины их весьма многочисленны, а поэтому нет и не может быть единого средства, своеобразной панацеи, которая могла бы их устранить или хотя бы предотвратить!..»

Моргунов не додумал до конца, потому что девятый обитатель их темной, переполненной каморки, который заснул чуть ли ни в самый момент посадки в вагон, проснулся и начал сильно мешать.

Этот невысокий парнишка, яркий представитель молодого поколения урок, сидел рядом с Моргуновым. Чуть рыжеватый, с веснушчатым, несмотря на осень, лицом, в рубахе с открытой татуированной грудью, в низеньких сапожках, на голенища которых ниспадали заправленные в них брюки, он, казалось, решил ни минуты не оставаться в покое.

Моргунов молча наблюдал за ним, удивляясь его подвижности и исключительной нахальности. Парнишка почти все время вертелся и двигался, то вдавливаясь в тесно сидящий на скамейке ряд людей, то вылезая из него, как цыпленок из яйца, в узкий проход между скамейками. Какие-то внутренние силы, видимо, не позволяли ему сидеть спокойно.

Вот он пытается привстать, но средняя полка мешает ему выпрямиться. Ощутив неудобство согнутого положения, он вновь опускается на скамью, но минуту спустя начинает опять вертеться и ерзать, а затем осторожно лезет к соседу справа в карман. Моргунов с ужасом и негодованием следит за его рукой. Парнишка ощупывает карман своего соседа, ничего не находит и обозленно, тихо, чуть ли не про себя, ругается грязной, тошнотворной руганью.

– Что, не вышло? – спрашивает его Александр Сергеевич, делая наивное лицо.

Парнишка подмигивает Моргунову, видимо принимая его за сообщника, показывает глазами на соседа напротив и, небрежно нагибаясь вперед, лезет в темноте к мешку с вещами, лежащему на полу у ног дремлющего визави... Момент – и из мешка, разрезанного неизвестно откуда взятым заточенным брючным крючком, вылезает и переходит в руки жулика кусок туалетного мыла.

Кровь бросается в голову Моргунову. Чуть откинувшись для удобства назад, он с силой бьет по шее нахального ворюгу.

– Положи, проститутка, назад... положи! – хрипит Моргунов. – У кого берешь?.. Паскуда!..

Инцидент действует на вынужденных ехать вместе попутчиков, как камень, брошенный в стаю мирно греющихся на солнце птиц. Все встрепенулись, все заговорили, задвигались, даже закричали, но громче всех кричит вор. Он кричит обиженным писклявым фальцетом, он жалуется, бьет себя в грудь, он рыдает, и слезы, настоящие слезы льются из его серо-голубоватых глаз. Он готов умереть от обиды, он клянется, что его обидели зря, незаслуженно. «Всегда так!.. Честных, ни в чем не виновных людей называют ворами, а я ничего не делал, я вовсе ничего не брал, ничего не крал, я тихо сидел, и... вдруг... суки... фраера... глоты... сосы!» И он плачет, и захлебывается, и с шумом вдыхает воздух и кричит, что он – припадочный. В общем, шухер удается на славу!

Моргунов чувствует себя крайне неловко: а вдруг ему почудилось, вдруг он не рассмотрел, вдруг он, действительно, зря обидел человека?!. Ему не по себе, но тут появляются конвоиры.

– Молчать! Чего разгалделись?.. Молчать!.. Наручники надену!..

Купе замолкает. Один из конвойных с громадным, сантиметров тридцати длиною, ключом в руках осведомляется, в чем дело. Ему сначала не отвечают, но угрозы оказывают действие, и, по прямому назначению конвоира, один из невольных пассажиров купе, нехотя и как бы стыдясь, бестолково и сжато рассказывает о том, что произошло.

– Ах, так! – говорит конвоир. – А ну, ты, выдь сюда!

Требование обращено к парню, совершившему кражу. Тот не выходит.

– А я что? – плаксиво говорит он. – Меня за что? Мне же по шее надавали, да еще выходи. Не пойду я, не брал я; он сам слямзил, а на меня сваливает.

– Выдь сюда! Тебе говорят, аль нет? – грозно повторяет конвоир и открывает ключом дверь в коридор. – А ну, выходи!.. А то я войду!.. Цацкаться тут еще с вами!..

Он поднимает ключ, как дубинку, и делает шаг в купе. Моргунов с интересом смотрит, что же будет дальше. Все замирают, а парнишка, как кролик, загипнотизированный взглядом удава, с нечленораздельным писком поднимается и выходит в коридор.

– Стань смирно!.. – командует конвоир и быстро обыскивает свою жертву. Из кармана брюк извлекаются два куска туалетного мыла (когда он успел вытащить второй – Моргунов не заметил, хотя следил за парнишкой очень внимательно), заточенный брючный крючок, круглое зеркальце и довольно большой нож, изготовленный из обломка ножовки по металлу.

– Чье это? – спрашивает конвоир.

На мыло сразу находится хозяин. Замкнутый в себе и почти не отвечающий на вопросы человек вдруг оживает. Он жадно хватает оба куска и, ни к кому, в сущности, не обращаясь, шепотом говорит: «Дело не в мыле... Мыло что?! – Ерунда!.. Но это мыло... – он делает ударение на слове «это», – это мыло – дело другое!.. Это мыло – последний подарок дочери... девочка специально приготовила к этапу... Как-то она там... бедняжка!..» Слезы слышатся у него в голосе, он замолкает, но слезы не держатся, сами, одна за другой, стекают они по грязным небритым щекам, оставляя на них маленькие светлые полоски.

– Не ты? – вкрадчиво спрашивает конвоир у укравшего мыло парня. – Не ты, говоришь? – Он размахивается и бьет стоящего перед ним арестанта ключом по лицу. Раз! Раз! На обеих щеках парнишки всплывают яркие красные отпечатки ключа. Затем в решетке открывается дверь, и мыльный воришка, подгоняемый сильным пинком ноги конвоира, кувырком летит в купе.

Суд скорый, милостивый и правый закончен! Все стало на свое место, но через двадцать, примерно, минут Моргунов ловит руку парнишки в кармане своего собственного пиджака. Возмущение заставляет его закричать. Опять разыгрывается скандал, и на этот раз неприятного попутчика уводят куда-то в другое купе.

Становится чуть-чуть свободнее, но «свято место пусто не бывает». На первой же станции добавляют нового пассажира, высокого, крупно сложенного человека, оказавшегося перебрасываемым из одного лагеря в другой заключенным агрономом.

V

Новый попутчик – человек бывалый. На вид ему лет шестьдесят с хвостиком, в действительности, вероятно, меньше. Седые усы и борода лопатой сбивают со счета. Одет он в новое лагерное обмундирование, пригнанное по росту, выглядит хорошо, отнюдь не угнетен и даже весел.

– Мир честной компании! – окает он, сгибаясь в три погибели, и ощупью отыскивает на полу место для своего деревянного, выкрашенного в желтый цвет чемодана с крепким висячим замком. – Что-то не слышу приветственных криков!.. А где бы тут присесть, родненькие?..

Моргунов молча отодвигается вглубь, и пассажир втискивается в небольшую прогалину между сидящими на скамейке людьми.

– Совсем гут! – удовлетворенно констатирует он и снимает шапку. – Откуда едете?.. из Москвы?.. Новенькие?.. Не совсем новенькие?! А сколько сидите?.. Пять месяцев?! – восклицает он и весело смеется. – Да, можно сказать, «ветераны»... Сосунки, вот вы кто... Я-то?.. Да не так-то уж много, но все же порядком. Со дня последнего ареста без малого шесть лет... А вообще? Ну, как вам сказать?.. Что значит – «вообще»?.. Ну, почти что с первых дней революции. В юношестве был членом партии социалистов-революционеров, эсеров, коротко говоря, а теперь за это систематически посиживаю... Последний раз пришит к ТКП, объявлен последователем воображаемой кулацкой организации Кондратьева-Чаянова и водворен в места, специально к сему случаю приуготованные... Сидел при всех четырех наркомах... при Дзержинском, Менжинском, Ягоде, Ежове... Был в Соловках, в Кеми, в Челябинске... и в лагерях, и в ссылках бывал... Срок?.. Наивный вы человек! Что значит – «срок»? У настоящих лагерников о сроке не спрашивают, какое он имеет значение? Один кончается, дают другой!.. Жди у моря погоды!.. Нет, дорогой, у вас совсем еще опыта нет! Кто может знать, когда кончится «срок»?.. «Темна вода во облацех», а «пути Господни неисповедимы!»

Моргунов слушал тихий, с заметным налетом грусти, маскируемой, иногда, деланной иронией, говорок нового пассажира с громадным вниманием. Широко раскрытыми глазами пытался он рассмотреть в полумраке вагона лицо собеседника, его глаза, несколько спутанную бороду, усы и толстые, еще достаточно свежие губы. Подавленное настроение и сумрачные мысли исчезли, как роса на солнце. Все стало привлекательным и интересным. Моргунов вообще такой – хлебом его не корми, но дай познакомиться с чем-нибудь, чего он еще не знает. Незнакомые люди для него похожи на новые книги, которые нужно прочесть. Он тянется к ним, как подсолнечник к солнцу, и не успокаивается до тех пор, пока не перевернет последнюю страницу. Книги, конечно, бывают разные:

некоторые из них – интересные, необыкновенные, их хочется читать, от них трудно оторваться; другие – скучные, серые, читающиеся с трудом. Моргунов прочитывает и такие, но, разумеется, стремится к первым.

Так же и люди! Всю жизнь он ищет необыкновенных, необычных, интересных людей и в этом отношении новый попутчик для него – дар небесный. Моргунов впервые видит перед собой живого эсера и обрушивает на него целый водопад вопросов.

– А вы, действительно, настоящий эсер?.. И теперь считаете себя эсером?.. А какова программа вашей партии?.. Да ведь это – абсурд, это давно доказано Лениным!.. А как же вы хотели осуществить социализацию земли? Какими путями?.. А что вы скажете об индивидуальном терроре, неужели вы действительно верили в его революционное действие?.. А что вы думаете о Савинкове?.. А о процессе правых эсеров в 1922 году? Неужели после него в СССР сохранились нелегальные эсеровские группы?.. Полностью исчезли? Чем же тогда объяснить репрессии против них?.. А как вы относитесь к коллективизации?.. А могут ли возродиться у нас бывшие эсеровские идеи?.. Значит, они полностью отжили? Да?..

Моргунов оживился, забыл о грязи и усталости. Мысли его лихорадочно перескакивают с одного вопроса на другой, с одной памятной даты на следующую. Перед мысленным взором проносятся факты и события, стоящие на бесславно закончившемся пути когда-то значительной партии социалистов-революционеров. «Откуда взялась эта партия? Как возникла она?»

Человек с бородой не таится. Ему явно хочется поделиться с кем-нибудь тем, что наболело. Постоянно молчать и замыкаться в своей скорлупе очень трудно, а в лагерях не так уж много людей, с которыми можно поговорить по душам. А у него, по совести говоря, есть о чем рассказать. Ведь он участвует в «движении» с первых лет этого века.

– Эсер ли я? Да, я – правый эсер, и сейчас все еще считаю себя эсером. Конечно, только по прежним взглядам, по идеологии; какие теперь, в 1936 году, могут быть эсеры? Ведь ничего не осталось, и все вопросы, по которым мы когда-то спорили с социал-демократами и большевиками, давно решены историей. Решены не так, как хотелось бы, но ведь решены же. Назад не пойдешь, да и не нужно этого. Народу не нужно! Вот если бы раньше... если бы Керенский, Авксентьев, Чернов, Гоц, Лихач, Савинков, если бы были они поумнее... тогда все пошло бы по-другому...

Жизнь проходит. Скоро придет время умирать, а сделано пока что безумно мало. Что можно сказать о себе? Всего несколько слов. Фамилия – Коломенцев, зовут – Павлом Никитичем. Родился в 1883 году, в Вологодской губернии, в семье зажиточного крестьянина. В детстве жил в городе, у дяди, учился в гимназии, потом окончил Петровскую, ныне именующуюся Тимирязевской, сельскохозяйственную академию, служил в помещичьих хозяйствах, приглядывался к деревенской жизни и до глубины души возмущался материальным неравенством, бесправием и забитостью трудового крестьянства. Еще в академии принял участие в нелегальном народническом кружке, а затем примкнул к партии социалистов-революционеров и в 1905 году уже присутствовал на ее 1-м съезде. Это было чудесное время – время всеобщего подъема и прекрасных надежд. Съезд принял программу, утвердил устав... Да, все это верно! Мы считали, что относить крестьянство как целое к категории мелкой буржуазии совершенно неправильно, и делили крестьян на две категории: на трудовое крестьянство, живущее эксплуатацией собственной рабочей силы, и на сельскую буржуазию, живущую в большей или меньшей степени эксплуатацией чужого труда.

Наивное деление, говорите вы? Может быть, это и так, но мы-то считали наше деление правильным. Мы были уверены, что между этими категориями имеются

принципиальные различия, были убеждены, что в трудовом крестьянстве заложена социалистическая природа и оно способно собственными силами добиться крестьянского социализма.

Ленин доказал, что это – абсурд, – говорите вы, – он доказал, что мы отодвинулись от марксизма и заняли положение «между двух стульев»?.. Ну и что же? Это мнение Ленина, а мы, эсеры, думали по-другому. Марксистского принципа классовой борьбы, понятия класса как большой группы людей, определяемой ее положением в процессе общественного производства, ее отношением к средствам производства и так далее – мы не признавали. Мы считали себя партией всех трудящихся и принимали к себе и крестьян, и рабочих, и интеллигенцию...

Вы удивлены, что я привожу точные ленинские формулировки?! Напрасно удивляетесь! Думаете, я Ленина не читал?.. Читал, да еще как читал. Очень многое наизусть помню. Вот, например, Ленин писал, что «партия социалистов-революционеров лишена всякого социального базиса», что «она не опирается ни на один общественный класс», что «социал-революционаризм есть одно из проявлений мелкобуржуазной идейной неустойчивости и мелкобуржуазной вульгаризации социализма». Писал так Ленин, писал, но мы-то, эсеры, с ним не соглашались. Я лично, например, считал большевиков догматиками и полагал, что свет не в одно только марксистское окошечко светит. Мы считали, что и рабочие, и крестьяне, трудовые, конечно, – что все это и есть единый рабочий класс. На нем мы партию и базировали... Вы не согласны?!. Да, не вы первый! Думаете, если большевики победили и все сделали по-своему, так это доказывает правильность их теории? Ничуть не бывало! А может быть, вся эта победа достигнута не в результате логики, а вопреки ей, за счет одного только насилия, путем диктатуры, ценой большой крови? Думаете, если бы шли нашим путем – народу хуже было бы?.. Неизвестно!.. Ну, ладно, ладно, спорить не будем! Вы – коммунист, я – эсер, а в одной клетке сидим. Разобраться трудно!..

Вот за что я Ленина и всю советскую власть уважаю, так это за решительность. Захватили власть и, хлоп, в первый же день – декрет о мире, декрет о земле! Самое что ни есть народу желательное. Умно сделали, ничего не скажешь! Конечно, нашу аграрную программу провели, потому и власть удержали... – «Как это вашу?!» – А вы, поди, и не знаете?!. Сам Ленин говорил, что большевики приняли не свою аграрную программу, а эсеровскую. Потому, мол, и победили!.. Где и когда говорил? Да много раз. Ну, например, на третьем конгрессе Коминтерна, в двадцать первом, что ли, году, летом... я помню – жарко было...

Какая наша программа? Наша – социализация земли, то есть переход ее в собственность всего общества и в пользование трудящихся, а затем развитие в крестьянстве всевозможных видов общественных соединений и экономических кооперации для постепенного перехода к коллективному земледельческому производству. Программа наша для народа – понятная, притягательная. Большевики ею и воспользовались. Тактический ход! Тут я, собственно говоря, ими восхищаюсь. Толково было сделано. Ничего не скажешь... Что? Довольны? Ну, и радуйтесь, что ваша взяла. Впрочем, радость-то невеселая. Вспомните, где мы с вами находимся... То-то, не забывайте!..

Каким путем хотели социализировать землю? Зависело бы от обстоятельств. Программа ведь конкретных путей не предусматривала. Вообще-то мы на наших съездах, и в 1905 году, и в 1917-м, решили поддержать требование конфискации помещичьих земель, то есть перехода их к крестьянам безвозмездно, но были, конечно, в нашей среде разные люди. Очень правые, ну, например, народные социалисты, энесы (были такие!) считали, что землю надо отчуждать для крестьян не даром, а за выкуп. Кто полевее, так те против были – только бесплатно! Масловский проект в 1917 году предусматривал арендные платежи и частичное

сохранение помещичьего землевладения... Да, правда! ЦК нашей партии этот проект поддержал и предложил агитировать за него, популяризовать его в массах, но ведь это еще не все! Мало ли что ЦК предложил. У эсеров понятие о партийной дисциплине не такое, как у вас. ЦК предложил, а я, например, не согласен и выступаю против... «Шатание» – говорите вы? Не шатание, а борьба. Знаете наш основной лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое»? Вот мы и боролись...

Да не за себя боролись, не за себя. За народ! Как вы этого не понимаете? Ссылаетесь на Ленина, повторяете его слова об авантюризме и то ли ошибаетесь, то ли передергиваете. Ведь Ленин писал не просто об «авантюризме», а о «революционном авантюризме». И никогда он нас в шкурничестве не обвинял. Вы журнал «Пролетарская революция» читали?.. Иногда только? Жаль, что иногда, а то вот совсем недавно в нем ленинскую статью напечатали. Статья старая, девятьсот второго года, но до сих пор опубликована не была. «Основной тезис против эсеров» – называется. Знаете, что он там пишет? «Я, – пишет он, – далек от мысли обвинять социалистов-революционеров в чем-либо подобном сознательной лжи или нечестным мотивам действия». Ничего подобного. «Партия эсеров, – говорит он, – и выросла, и укрепилась (наизусть запомнил!) всецело благодаря тому обстоятельству, что она привлекала к себе людей несомненно революционно настроенных, полных даже геройского самопожертвования, самым искренним образом желающих положить душу за интересы свободы и интересы народа». Вот как! «Душу положить за интересы народа». А вы говорите – за себя боролись! Эх, вы, «ленинец»!..

Индивидуальный террор?! Так и знал, что о нем заговорите. Да, мы террор признавали. Эксцитативный террор, возбуждающий во всех нас дух борьбы и отваги, и террор как средство наказания отдельных сановников-злодеев... знаю, знаю, опять будете на Ленина ссылаться: «Террор бесплоден, отрывает от рабочего движения, является вредней иллюзией, приводит к бесполезной гибели революционеров, отдаляет революционную партию от масс». Это все хорошо теперь повторять – в 1936 году! И у нас в партии на этот вопрос разные взгляды бывали. Мы индивидуальный террор и прекращали, и возобновляли. Не мы ведь его первые выдумали. Да, впрочем, зачем обо всем поминать? Теперь все это уже – история! Двадцать второй год нас уничтожил. Да и жизнь сама разгромила. Кому теперь эсеры нужны? Никому. Основные цели, которые ставила революция, вроде достигнуты. Царской власти нет, капитализма нет, земля у крестьян, хоть их и поистребили достаточно, коллективное земледельческое производство налажено, правда, не так, как нам хотелось, и даже не так, как сам Ленин предлагал, а иначе... но – налажено. Эсеровских идей нынче никто не приемлет. Эсерам делать нечего. Вот вам и ответ о моем отношении к Савинкову. Савинков – что? Приехал, поглядел. Видит – все! Бороться больше не с кем. Тогда ведь коллективизации не было... Признал!.. Ну, и я признаю: ведь сделанного назад не вернешь!.. Все признали...

«А почему вас в таком случае преследуют?» Вот этого не скажу. Не знаю! По моему мнению, зря преследуют, скрипу тележного боятся. Конечно, коллективизацией мы недовольны. Слишком тяжелым путем ее провели. Да и плохо пока что в колхозах живется, но как подумаешь, другого пути теперь уже нет... Оно, конечно, больно круто сразу завернули. Не так надо было, да ведь не в этом соль!..

Коломенцев задумался и уныло вздохнул. Небывало четко встала перед ним прежняя жизнь. Годы юношеских исканий, мечты о светлом будущем человечества, пылкое стремление пожертвовать собой для блага народа, пути и перепутья революционной, как казалось ему, борьбы, тюрьмы и ссылки, и вот, теперь, на склоне лет, – грустные мысли, так явственно обозначающиеся в сумраке арестантского вагона.

Разговор смолк. Стало тихо. И только колеса стучали на стыках, да в коридоре, за решеткой, раздавались неторопливые шаги конвоира.

Пауза затягивалась. Молчать стало невмоготу.

– Так, – иронически произнес Моргунов. – И теперь, стало быть, все кончено, и вы – бывший политический противник советской власти – покорно работаете на нее в исправительно-трудовых лагерях?

Коломенцев иронии не оценил.

– Не на нее, а на народ; на трудовой народ, на крестьянство, на Родину, – ответил он. – Да и как можно не работать?.. В Соловках был в первые годы – отказывался... вместе с другими... а потом понял: смысл жизни – в труде... Я же работаю с малых лет. Работал, работаю, и буду работать. Пусть в этом большом улье хоть капля и моего меда будет...

А насчет того, что «все кончено», – прибавил он, немного подумав, – я вот что скажу: недавно один из наших бывших лидеров, Абрам Рафаилович Гоц, входивший на процессе 1922 года в состав первой группы обвиняемых, высказал в частной беседе свое мнение о текущем моменте. Он, надо сказать, сейчас почти что на свободе – в ссылке, но в нашем положении ссылка не так уж и плоха, особенно если Екатерина Павловна Пешкова не забывает... Как так, при чем тут Пешкова?.. Вы разве не знаете?.. Да она же возглавляет замечательную организацию – «Помощь политическим заключенным», по-простому говоря, Политический Красный Крест... Да. Есть у нас такая организация... Разрешают, видимо, она же официально существует, значит – можно. Во всяком случае, Екатерине Павловне можно. Она большим авторитетом пользуется, как-никак – жена Горького. Ее весь мир знает... Ну, так вот. Этот наш бывший лидер, видимо, по-другому мыслит и по-прежнему непримирим, все еще надеется, что время может пойти назад... Да нет, никакой связи между нами не существует, но «слухами земля полнится»... От одного – к другому, дошло и до меня.

Так вот, он, значит, считает, что положение советский власти очень непрочное. Международная обстановка напряженная, фашистский режим в Германии укрепляется, мировой капитализм – тоже, война неизбежна. А Советский Союз, – утверждает он, – воевать не может. Развалится при первых ударах. Большинство-то населения – крестьяне, а они на советскую власть шибко за коллективизацию сердятся. Спят и во сне видят, что колхозам пришел конец, и все опять единоличниками стали. Ну, и в партии нелады, раздоры. Оппозиция-то, оказывается, действует. И надумал он, что советская власть скоро прикажет долго жить, а эсеры тогда опять вверх пойдут. Отсюда и «директивы», так сказать. Во-первых, говорит, никаких покушений, никаких террористических актов. Не превращайте в глазах народа наших врагов в святых мучеников. Они и без нашей помощи сами себя перебьют, сами себя порасстреляют. Во-вторых, говорит, когда рухнет советская власть и развалятся колхозы, все будем начинать сначала, от мелкого единоличного хозяйства. Землю надо будет поделить и добиваться уравнительного землепользования. Пусть крестьяне первое время на коровах пашут, со временем, говорит, наживут и лошадей, а пока на коровах. Понимаете?! – На коровах! Ну, а я «на коровах» и «со временем» не согласен. Пусть уж лучше будут колхозы!.. Вот вам и – «эсеровское сегодня». Нет, уж, как ни верти, а придется коммунистическому богу молиться. Никаких действенных идей у нас не осталось. Политически мы полностью разгромлены. Служить народу в наше время можно, только работая с коммунистами. Другого пути у нас нет!

Моргунов чуть-чуть помолчал.

– Это вы лично так рассудили, – сказал он после паузы. – А что думают остальные?

– Весть о словах Гоца шла через десятки людей, – ответил Коломенцев. – И все они восприняли это резко отрицательно. Мои выводы – это выводы всех физически уцелевших осколков нашего движения.

VI

– «Закончилась горестная исповедь старого эсера, – думает Моргунов. – Подведены итоги жизни, которая могла принести человечеству очень много, но не дала почти ничего. Когда-то, казалось, шел этот человек на большие дела; шел, мечтая о благе народа, о высоком и чистом идеале, ради которого не жалко было отдать собственную жизнь. Но вот прошло тридцать лет, и что перед ним? К чему он пришел? Кажется... ни к чему! К пустому месту!.. Оказалось, что всю жизнь он шел по неправильному пути. Душу свою положил неизвестно за что, невесть зачем. Тяжко, должно быть, приходить к таким выводам. Тяжко!»

В вагоне – молчание. Тишина. Лениво стучат на стыках рельс стальные колеса, поезд медленно и трудно идет на подъем.

Моргунов взбудоражен. Он еще не успел полностью освоить услышанное, разобраться в нем, понять глубину раскрывающейся перед ним трагедии. Мысленно повторяет он потрясшие его слова: «Никаких действенных идей у нас не осталось. Политически мы полностью разгромлены!..»

– «Господи, да разве можно жить после подобных откровений?! Ведь это же – крах, катастрофа, признание непоправимой бесполезности всего пережитого, непоправимом потому, что и в будущем у Коломенцева нет совсем ничего. Ему остается только погибнуть от отсутствия смысла жизни. Да и зачем, в сущности, жить человеку, потерпевшему такое великое фиаско? Что может привязывать его к этому миру? Разве что стремление к маленькому личному счастью, к собственному, узко понимаемому, по сути говоря – шкурному, мещанскому «благополучию». Но странно! За все время беседы они ни разу не вспомнил о возможности такого исхода. По-видимому, перспектива стать счастливым обывателем его не очень-то привлекает, да и, кроме того, даже такой жалкой возможности у него и то нет. Что же ждет его впереди? Очевидно, – пустота... абсолютная душевная пустота, полный вакуум, пустое сердце, пустая душа, мелкие крохоборческие воспоминания и неизбежный, жесточайший, все время прогрессирующий эгоизм.

Стоит ли в таком случае жить? Конечно, он еще достаточно крепок физически, но морально, идейно он уже – труп. Ему так же нечего делать на свете, как нечего делать героям только что опубликованного на русском языке романа Ремарка «Возвращение».

Моргунов вспоминает этот, недавно прочитанный им, роман и с напряжением всматривается в собеседника. Трагическое одиночество, тоска, отчаяние, безысходность, усталость и безнадежность были уделом солдат, вернувшихся с фронта первой мировой войны. Им некуда было себя деть, не к чему приложить руки. Не так ли чувствует себя и Коломенцев, оставшийся на склоне лет у разбитого корыта?

Моргунов внимательно глядит на него, глядит и не верит своим глазам.

Коломенцев спокойно сидит и скручивает из кусочка газеты цигарку. На его губах блуждает улыбка. Он совсем не кажется опустошенным, убитым и, по-видимому, отнюдь не считает себя представителем потерянного поколения, обреченным на бесцельное и бессодержательное прозябание. Жизнь долго ломала, но все-таки не сломила его, и на какую-то долю секунды мысли Моргунова бессильно останавливаются перед этим кажущимся парадоксом.

Затем мгновенно приходит разгадка. «Ведь Коломенцев говорил не только о полном политическом разгроме бывших социалистов-революционеров, не только

об отсутствии у них каких-либо действенных идей. Он сказал и еще кое-что. Он сказал, что «служить народу в наше время можно, только работая с коммунистами», что «других путей у них нет». Да, да, именно так! Не вообще «нет путей», а «других путей нет»; значит – пути есть, и кто-кто, а он, Коломенцев, не только пойдет, а уже идет, давно идет по этим путям. Он работает, возделывает землю, продвигает на крайний север растения и злаки средней полосы Европейской России. Он – заключенный, но в лагерных совхозах живут и трудятся люди, а его – агронома – используют в них по специальности. Что же? Он, очевидно, доволен, что и его труд идет в общее дело, хотя оно и возглавляется коммунистами; и он не испытывает по этому поводу никаких угрызений совести. Он занят общественно-полезным трудом и считает, что поступает совершенно правильно.

Ну ладно, – думает Моргунов, – пусть все эти доводы разумны и безукоризненно логичны, но как все-таки увязать их с политическими воззрениями бывших эсеров? Кто такой этот Коломенцев с точки зрения своих прежних единомышленников – отрезанный ломоть, изменник, ренегат, или просто блуждающий в тумане искатель, который понял свои ошибки, пересмотрел свои взгляды и убеждения, «сжег все, чему поклонялся – поклонился всему, что сжигал»?

Нет, Коломенцев не был ни тем, ни другим. Он не мог быть изменником и ренегатом хотя бы потому, что ему некому было изменять, не от чего было отступаться. Партии, в которой он состоял, давно не существовало; старые идеи ее умерли естественной смертью, новых, достойных называться столь благородным словом, создано не было. Не был он и искателем, пересмотревшим свои убеждения. Он никогда не отказывался от своих идеалов, от духовных начал своего мировоззрения, и не обращался к непризнаваемым в прошлом кумирам. Его нынешние взгляды – логический синтез самых основ его понимания мира с мыслями, вызванными конкретной исторической обстановкой, свидетелем которой он был и в гуще которой варился.

Эта обстановка, это общественное бытие определило его выводы и решения. Так же, как и подавляющее большинство подобных ему людей, он работал честно и добросовестно. Ему казалось, что переход от демонстративного отказа от работы, который практиковали меньшевики и эсеры в первой половине двадцатых годов в СЛОНе – Соловецком лагере особого назначения, – к активному, без туфты и придуривания, труду в других лагерях и колониях произошел только в результате сознательных и обдуманных решений, принятых на основе трезвой оценки происходящих событий. На самом же деле сознательность и аналитическое мышление играли в этом процессе второстепенную роль, а попытка психологически оправдать себя ими была явной натяжкой. Коломенцев все равно, рано или поздно, стал бы работать даже в том случае, если бы не нашел себе никаких моральных оправданий.

И тут мысли Моргунова бессильно замирают перед непонятным явлением:

– «Стал бы работать?!. Честно и добросовестно?!. Но почему?.. Почему же?.. А может, не стал бы?!.»

Не в силах ответить на возникший вопрос он, немного помешкав, прямо и откровенно задает его собеседнику.

Коломенцев отвечает не сразу. Проходит минута, другая.

– Да, стал бы! – признает он, наконец, и начинает пространно рассуждать.

Он стал бы работать потому, что труд для него, так же, как и для большого числа других заключенных, – своеобразный условный рефлекс на внешние раздражения самого бытия, естественная и жизненно необходимая привычка человеческого существа. Жить без труда немыслимо. Вынужденное безделье, например, в тюрьме, воспринимается нормальным человеком как пытка.

Возьмите заключенных! Те из них, кто до ареста на воле вел трудовой образ жизни, попав в лагеря, стремятся начать работать скорее. Работа приносит им призрачное ощущение прежней жизни. Конечно, каждый хочет трудиться по своей профессии или специальности, но если это недостижимо, идет на любую работу, хотя, естественно, предпочитает ту, что полегче. А, в общем, в лагере работают все, точнее – все те, кто раньше работал на воле! Среди этого слоя лагерников отказчиков, как правило, не бывает. В «отрицаловке» состоят только профессиональные уголовники. В лагерях труд – принудительный, работать надо обязательно, и нарушение этого правила жестоко преследуется, но, тем не менее, урки ухитряются не работать, а простые трудовые люди, прозванные в лагерной среде «работягами», попав на подходящее для них место, трудятся не за страх, а за совесть.

И поэтому нет ничего удивительного, что Коломенцев, поняв безнадежность своих политических стремлений, увидел единственный смысл дальнейшего существования в труде и инстинктивно создал психологическую теорию, объясняющую его поступки желанием служить народу.

По правде говоря, Коломенцев думал, что появление подобных теорий – событие совсем не типичное. Они могут возникать лишь у «критически мыслящих личностей» и лишь потому, что труд большинства заключенных – все же дело осмысленное. Он направляется на создание новых материальных ценностей, а это понятно каждому. Люди видят результаты своего труда в форме конкретных предметов, будь то сельхозурожай или готовые бревна, и это дает им возможность считать себя нужными и имеющими значение в жизни. И может быть, именно поэтому большинство заключенных не поддаются отчаянию, не впадают в безразличие и не ищут забвения в водке или наркотиках. А ведь урки ведут себя иначе. Они раздобывают и нюхают марафет, курят план, пьют чифир, им надо себя одурманивать, – ведь их жизнь пуста и бесцельна, а труд как творчество они совершенно не знают.

И он рассказывает о повадках и нравах этих полулюдей.

– Для того, чтобы избежать работы, урки пускаются во все тяжкие. Они симулируют болезни и травмы, придумывают всевозможнейшие «мастырки», занимаются тайным и явным членовредительством, искусственно вызывая нарывы и нагноения, язвы и флегмоны. Молодые и здоровые парни, на которых можно пахать, отрубают собственные пальцы, пробивают гвоздями руки и ноги, режутся, обмораживаются и даже сыплют себе в глаза мелкотолченый графит химического карандаша. Такие поступки дают им возможность стать культяпыми, полуслепыми, непригодными к труду инвалидами и избавиться от ненавистной необходимости работать. Когда за такие действия стали судить как за контрреволюционный саботаж, формы уклонения начали приспосабливаться к новым условиям.

Среди урок выделяются вожаки, именуемые на блатном языке «паханами» или «буграми». Бугры действуют как настоящие гангстеры. С разрешения командования лагпунктов, которое обычно не может справиться с отрицаловкой самостоятельно, бугры сколачивают особые уркаганские штрафные бригады, в состав которых с большой радостью включают любых случайно в чем-нибудь провинившихся работяг и разную воровскую мелкоту. Становясь бригадирами и захватив, таким образом, власть в бригаде, бугры и их приближенные – «кореши» – совсем не работают. Зато угрозами и побоями заставляют втыкать остальных, а их выработку делят, но, конечно не поровну, не на всех, а записывая лично себе и своим дружкам большие проценты. А за большие проценты они получают льготы, зачеты и высокие нормы питания. Пользуясь всеми им лично доступными способами – блатом, обманом, страхом и подкупами – они совершают громадные приписки к объемам выполненных работ, искусно туфтят

и, абсолютно ничего не делая, числятся ударниками производства и примерными работниками.

Разоблачать их опасно, у них всегда есть наготове ножи, спрятанные в укромных местах, а зарезать человека им – раз плюнуть. Поэтому лагерная администрация иногда даже не знает об их «художествах», а если и знает, то – что случается часто – во избежание потери своего реноме не выносит сор из избы. И получается так, что бугры практически неуязвимы и в тех редких случаях, когда их все же «тянут к Иисусу», выходят сухими из воды.

Работяги относятся к труду совсем по-иному. Подавляющее большинство их, особенно из среднего слоя, работает на совесть, независимо от того, сидят ли они по пятьдесят восьмой или по бытовым статьям. Работают и не думают ни над сложными теоретическими вопросами, ни над мудреными проблемами; они смотрят на труд как на обыкновенное, совершенно естественное средство существования и, попадая в лагеря, продолжают работать так, как делали это на воле. Работа – их обычное и привычное занятие. Им наплевать на то, кому помогает их труд и в пользу кого он идет, а если за большие проценты начинают давать еще и материальное поощрение, то производительность их труда круто лезет вверх. В этом отношении пачка махорки действует гораздо сильнее, чем самые горячие патриотические призывы.

Задумываются над социально-политическим значением работы в местах, огражденных колючей проволокой лагерных оград, да и то не всегда, лишь малочисленные по своему составу группы интеллигентов. Они и создают всякие там теории, о которых вы, дорогой товарищ зека, говорили. Так-то вот!..

Прошло несколько недель, и Моргунов воочию убедился, что Коломенцев рассказывал чистую правду. Но это произошло позже, а сейчас, в полутьме вагона, Александр Сергеевич только благоговейно удивлялся нравственной силе и моральной стойкости подброшенного ему судьбою попутчика. Он и не подозревал, что строго индивидуальные, как он думал, черты характера этого человека чрезвычайно широко распространены в массе советских людей, перенесших на своем жизненном пути тяжкую и, казалось бы, непоправимую катастрофу.

VII

Моргунов не успел довести до конца свои мысли, как в купе произошло новое, драматическое событие. Ожил и заговорил его визави, тот самый приземистый, рыхлый, подавленный и замкнутый в себе человек, не отвечавший до сих пор на вопросы и встрепенувшийся за все время пути всего лишь один раз – тогда, когда у него украли мыло.

Теперь он выпрямился, руки его зашевелились, в глазах, отражающих скудный, падающий из коридора свет, появились неяркие огоньки.

– Вот, вот! – произнес он, захлебываясь от злобы и волнения. – Из-за вас, вот из-за таких, и мы теперь сидим. Гады!

– Из-за кого – из-за «вас»? – не понял Моргунов. – Из-за меня, что ли?.. Или из-за него?.. Какое отношение имеем мы к вашей посадке?

– Да, из-за вас! И из-за тебя, и из-за него, из-за вас всех!. Из-за таких, как вы! Не было бы вас – не сидел бы я теперь за решеткой!.. Бедное дите осталось без отца... А все – вы!.. Болельщики нашлись... «Душу за народ положить!» – издевательски передразнивает он слова Коломенцева. – А на что народу твоя душа? Да и нет ее, этой души... совсем нет! Я все сидел, слушал... противно!.. Кто вам поверит? Как это возможно?! Люди – волки, каждый за себя живет. Урвал кусок и молчи, а то узнают, – отнимут! А вы: «душа, народ, счастье»... Молчали бы уж!

– Так, – спокойно отвечает Коломенцев, включаясь в неожиданно возникший разговор. – Ты, значит, считаешь, что думать надо только о себе. О народе не надо. Пусть его подыхает в грязи, в невежестве, в нищете; пусть помещик владеет тысячами десятин земли, а крестьянин около него без шапки ходит, крошки собирает; пусть капиталисты живут, утопая в роскоши, а рабочие в сырых подвалах чахотку хватают... Откуда ты такой допотопный взялся? Что ты понимаешь в революции?

– Очень даже понимаю, не хуже вас, – хрипит обросший щетиной, обозленный человек, – Очень даже понимаю! Всех вас наскрозь вижу... р-р-революционеров!.. Сидели б спокойно, не смущали б народ – и ничего бы не было, а то вам больше всех надо!.. Ну и сидите теперь!.. Сидите!.. Так вам и надо!..

– А мы и сидим, – не теряя спокойствия, говорит Коломенцев. – Только тебе от этого-то не легче. Мы хоть знаем, что сидим за наши идеи, за народ, а ты за что сидишь?! За то, что лишний кусок урвал, да спрятать не сумел? Невелика честь!

– Не за кусок, не за кусок! Я... за вас сижу!

– Ну, знаешь ли!.. Пока что все-таки непонятно! Ты хоть толком скажи – за что тебя посадили, кто ты такой?

– Я кто? Я – человек, рабочий... Фамилие хочешь знать?.. Гвоздиков! Гвоздиков – мое фамилие... Григорий Никанорович Гвоздиков.

– Ладно: Гвоздиков. Понимаю. Ну, а почему ты думаешь, что за нас сидишь?

– А я не думаю. Я прямо знаю... – со злостью рычит человек, размахивая руками.

И так же запальчиво, волнуясь, задираясь, глумясь над лучшими человеческими чувствами и явно не разумея постыдности своей истории, Гвоздиков выплевывает ее в смрадный полумрак движущегося чистилища.

Затаив дыхание, холодея от неожиданности и возмущения, слушает черные, наполненные злобой слова Моргунов. Замер на своем месте и Коломенцев, внешне он совершенно спокоен, но крепко сжатые губы да чуть-чуть прищуренные глаза выдают его внутреннее волнение. Остальных не поймешь: они молчат, и кто знает, кто может знать, какие чувства вызывает у них рассказ Гвоздикова.

Гвоздиков – собственно говоря, он не Гвоздиков, его настоящая фамилия Будков – вырос в семье петербургского дворника и с детства познал и нужду, и голод, и унизительное бесправие. Отец сильно пил, а во хмелю был крепок на руку. Маленький Гришка боялся отца, боялся городового, которым его пугали еще в колыбели, боялся околоточного надзирателя, частенько заглядывающего к ним в каморку, боялся Бога, и, не зная ни добра, ни ласки, рос запуганным, обозленным и вместе с тем безвольным, легко поддающимся чужим влияниям человечком. Окружающая его среда была груба и жестока; мать умерла рано, а мачеха, не пропускавшая случая глотнуть «с устатку», ассоциировалась в его представлении с ведьмой. Быт маленького Гришки граничил с нищетой, и учиться ему почти не пришлось, четыре класса городского начального училища составляли весь его учебный багаж. Впрочем, по тем временам и такое ничтожное образование для мальчишки из рабочей семьи казалось пределом мечтаний.

Ни про какие идеалы Гришка даже не слыхал, а его желания и влечения отличались крайней примитивностью и убожеством, все они сводились исключительно к материальному благополучию. С детства задурманивали ему мозги церковными догмами, с детства обучали покорности и вере в непререкаемое превосходство денежного мешка, учили добывать и копить, не упускать и не уступать, и высоко-высоко возносили перед ним его святейшество – Рубль. Наука пошла Гришке впрок, голова его затуманилась так основательно, что даже такие грандиозные события, как революция 1905 года и всеобщий, хоть и кратковременный, бурный общественный подъем, которым она сопровождалась,

не внесли просветления в темный мозг полуграмотного мальчишки. Он рос мелким, жадным крохобором, завистником, скупцом и стяжателем.

В четырнадцать лет Гришка, по протекции дяди, поступил на «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики» – широко известный ныне Невский машиностроительный завод имени Ленина. Сначала его держали на черных работах, но с годами он начал продвигаться вперед и, в конце концов, превратился в литейщика. До работы Гришка был охоч и жаден: работа давала деньги, а деньги – харчи и одежду, табак и водку, то есть все то, что у Гришки связывалось с понятиями о «роскошной жизни».

Завод, на котором работал Григорий, представлял собой в то время одну из многочисленных грядок, на которых росли семена революции. На нем действовали несколько тайных подпольных организаций, проводилась революционная работа. Гришка политикой не интересовался и, боясь увольнения, старался держаться от нее подальше. Однако воли у него не хватало: под влиянием товарищей по работе он начал посещать совершенно невинные с виду кружки и воскресные чтения для рабочих. Услышанное там, несмотря на все его нежелание поддаваться на удочку, производило известное впечатление. Он даже начал сочувствовать целям пропагандистов. Но в один совсем не прекрасный для него день его вызвали в Охранное отделение, а там ласковый, вкрадчивый и настойчивый, одетый в голубой мундир жандармский офицер по-своему разъяснил ему смысл работы смутьянов. Офицер был вежлив и добродушен, но Григорию уже с первых слов стало ясно, что столь предупредительное отношение к нему отнюдь не является принципиальным и в случае недостаточной понятливости с его стороны в любую минуту может быть заменено более активными формами внушения. Догадываться о возможности такого исхода не требовалось, офицер не делал из этого никакого секрета.

Узнав, что Будков зарабатывает немного и не возражал бы против увеличения своего бюджета, офицер предложил ему стать секретным осведомителем охранки и дал подписать специальную анкету. Будкову обещали за каждое сообщение о деятельности заводских смутьянов и бунтовщиков платить особое вознаграждение. Возможность получать дополнительные деньги показалась Будкову заманчивой, но он выразил сомнение в безопасности такого предприятия.

– «А что будет, если рабочие узнают? Убьют же!»

Офицер засмеялся:

– «Ну что ты? – сказал он. – Как же они узнают? Мы сделаем так, что ни один человек на свете ничего знать не будет».

И он разъяснил Будкову технику его будущей «работы».

Будков должен расширять и увеличивать свои связи с революционерами, заводить новые знакомства, проникать в подпольные кружки и группы, подслушивать и запоминать разговоры и беседы. Обо всем услышанном должен составлять письменные донесения и подписывать их условной, присвоенной ему, согласно заполненной анкете, кличкой. Приносить донесения в охранку не надо, будет сдавать их специальному связному, проживающему на частной квартире по такому-то адресу. Этот же связной будет выплачивать ему и причитающееся вознаграждение. Конечно, Будков должен быть особенно осторожен и, чтобы не провалиться, соблюдать самую строгую секретность, потому что в случае провала охранка за последствия отвечать не сможет.

Будков забоялся, заколебался, сказал, что, «может быть, лучше не надо», но приветливая улыбка сразу сбежала с лица офицера.

– «Да ты что, милейший, шутить надумал? – угрожающе заговорил он. – Я тебе дам – «лучше не надо!» Сегодня же пустим слух по заводу, что ты наш

секретный агент, и завтра твой труп будет плавать в Неве или болтаться в петле на печном отдушнике. Ишь ты! «Лучше не надо!» Надумал тоже!»

И Будков, задрожав от страха, согласился. А когда офицер достал из бумажника и вручил ему в качестве аванса новенькую, хрустящую десятирублевую ассигнацию, последние сомнения испарились, и он ушел из охранки с легким сердцем, прижимая красненькую бумажку к груди и чувствуя себя заслуженным бойцом «за веру, царя и отечество».

В последующие годы Будков систематически поддерживал связь с секретной полицией. Он выдал ей нескольких человек и два или три самообразовательных рабочих кружка, на большее у него не хватило осведомленности. Будков действовал осторожно и скрытно, и никому из рабочих не приходило в голову подозревать его в провалах.

Охранка была им, по-видимому, довольна, потому что, когда началась мировая война, его на фронт почему-то не взяли.

А затем случилась беда – грянула февральская революция.

Боясь разоблачения и воспользовавшись всеобщей сумятицей и разрухой, Будков выправил себе документы на имя Гвоздикова и бежал из Петербурга в глухую, отдаленную деревню необъятной Архангельской губернии, где, выдав себя за бывшего фронтовика, пристроился к первой попавшейся на его пути солдатке, потерявшей на Западном фронте мужа. Он прожил с ней в деревне почти до начала НЭПа, а после ее смерти перебрался в Москву и по примеру отца поступил на работу дворником.

Годы шли, и с годами приходило спокойствие. Будков уверил себя, что его связи с охранкой совершенно забыты, что его вообще никто не искал и не ищет; он сжился со своей благоприобретенной фамилией – Гвоздиков и без памяти любил живущую при нем дочь – Марию.

Как могло случиться, что этот грубый, жестокий, обозленный, никогда никого не любивший, с раздвоенной жизнью и личностью человек мог полюбить – пусть даже своего собственного – ребенка больше, чем самого себя, навсегда останется тайной природы. Вероятно, в каждом человеке, как бы плох он ни был, есть запас какого-то количества хороших чувств и любви и, если этот запас остается неизрасходованным до зрелого возраста, то, найдя, наконец, объект приложения, изливается на него с энергией взрыва. Григорий Никанорович любил маленькую Машу всем своим существом. Все, что могло быть ценного в жизни, сосредоточилось теперь для него в этом ребенке.

Ради нее он готов был на все, даже на саморазоблачение, и ему все чаще и чаще приходила в голову безумная мысль – открыться Маше, рассказать ей, кто он такой, сказать, что он не Гвоздиков, а Будков, похвастаться, что он был агентом царской охранки, что это по его милости кое-кто из революционеров познакомился с тюрьмой и ссылкой. Он прекрасно понимал, как глупо выглядел бы подобный поступок с точки зрения его самосохранения, но ему казалось, что это надо совершить для повышения его авторитета. Будков не понимал подлости и мерзости того, что он делал, и никаких угрызений совести никогда не испытывал; наоборот, он считал, что действовал по-своему правильно, что он и подобные ему охраняли порядок и являлись тайной опорой трона, что его деятельность была полезна для государства и направлена против преступников, а преступниками он считал всех революционеров без различия партий и направлений. Кроме того, и это было для него самым главным, провокаторская деятельность давала дополнительные, идущие сверх жалованья, деньги, а деньги – единственная цель его жизни! – оправдывали все прегрешения.

Желание рассказать дочери о своем прошлом возникало все чаще и чаще. Почему-то казалось, что дочь не осудит, примет исповедь как должное и окажется

единомышленником, и он так часто думал об этом, что, в конце концов, сам себя уверил, что дочь поймет и одобрит его.

И как-то само по себе произошло, что в день, когда Маша пришла домой и обрадовано сообщила, что ее приняли в комсомол, он устроил по этому поводу пирушку, изрядно выпил и в пьяном виде поведал дочери о своем «участии в революционном движении», Он ждал, что дочь похвалит его смекалку и изворотливость, но она сначала не поверила ему, потом расплакалась и весь вечер молчала.

А на следующий день его арестовали.

На следствии он попробовал было запираться, но в НКВД ему предъявили его личное, в жандармском управлении заведенное дело, и он признал себя виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Военный трибунал, учитывая его относительно небольшую роль в работе охранки и длительный срок, прошедший после революции, нашел возможным не применять к нему «высшей меры социальной защиты» и приговорил к десяти годам ИТЛ.

По ходу дела можно было с очень больший долей вероятности предположить, что его выдала дочь, но Григорий Никанорович считал это невозможным: «Просто девочка испугалась и кому-нибудь рассказала, а уж тот взял да и стукнул!» Будков доказывал правильность своей мысли тем, что дочь два раза вносила на его тюремный счет деньги, а перед этапом, хотя и не пришла на свидание, но все же принесла ему передачу.

Вообще же в своем несчастье он обвинял не себя, не дочь, а «революционеров». Для него все они были одинаковы.

– Эсеры, меньшевики, коммунисты – одна шайка-лейка, – говорил он. – Все вместе воду мутили, бунтовать учили. Не было бы вас – не было бы и охранки, и не работал бы я тогда в ней, и не сидел бы!..

– Боже! – подумал вслух Моргунов, выслушав рассказ Гвоздикова-Будкова, и чувствуя почти физическую дурноту от охватившего его омерзения. – С кем только не приходится находиться вместе! Как страшна, как отвратительна изнанка жизни!

– Да, – подтвердил Коломенцев и, обращаясь к Будкову, добавил: – А жаль, что ты мне лет двадцать тому назад не попался, – повесил бы на вешалке, как Руттенберг Гапона, и не сидел бы ты теперь рядом со мной, и воздух, которым люди дышат, не портил бы.

– Приготовиться на оправку! – загремел в коридоре голос конвоира.

Разговор в купе прекратился.

VIII

Как ни тяжко было Моргунову в переполненном и душном вагоне, как ни страдал он от грязи, жажды и тесноты, как ни мучился от вынужденного сидячего положения и невозможности, в продолжение многих дней, хоть ненадолго прилечь, – он вспоминал в дальнейшем этот первый этап как нечто совсем не ужасное, а перенесенные во время него неудобства – как мелочь, о которой не стоило говорить. Но понимание этого пришло только потом, – ведь все познается в сравнении! – а пока, не зная, что ждет его впереди, он с некоторой завистью поглядывал на спутников, которых выводили из вагона чуть ли не на каждой остановке, и для которых, как он полагал, на этом кончались и этап и мучения.

Первую небольшую группу вывели из их вагона в Няндоме, вторую в Шалакуше; в Плесецкой сняли еще несколько человек, но посадили других, перебрасываемых куда-то за Емцу; в Емце стало чуть свободнее, а в Обозерской вагон опустел более чем наполовину. Названия станций никто, конечно, не объявлял, но заключенные узнавали их из руготни конвоиров и перекрикиваний,

доносившихся из коридора. Когда в купе стало свободно, измученный Моргунов с колоссальным удовольствием вытянулся на скамье и моментально уснул как убитый.

Проснулся он от сильного толчка в бок и, стремительно вскочив, ударился головой о верхнюю полку.

– Давай с вещами! Приехали! – услышал он голос конвоира.

Захватив свой мешок, Моргунов вышел из вагона и замер. Увиденное показалось безмерно прекрасным. В прозрачном сумраке, где-то далеко-далеко, сверкали огни большого города, похрустывал под ногами плотный, прихваченный крепким морозом снег, дышалось легко и свободно, а выдыхаемый воздух сразу превращался в туман, и рты людей дымились маленькими облачками.

Моргунов оглянулся. Тишина и спокойствие. Около вагонов толпятся человек 10–12, не зная, куда идти, куда податься. Ни собак, ни конвоя – только чуть поодаль стоит человек с пачкой бумаг в руке, одетый в относительно новую телогрейку и шапку-ушанку, украшенную красноармейской звездой. Вот он подошел, поздоровался, отрекомендовался.

– Начальник УРЧ Архангельского пересыльного пункта! Пришел за вами... Собирайтесь в кучу, давайте проверимся – все ли тут?.. Ну, внимание! Башлыков!.. Имя, отчество?.. Федосеев!.. Моргунов!..

Он переспросил всех, делая отметки в своем списке, и спокойно сказал:

– А теперь пошли! Тут недалеко. Идите за мной! – и пошел вперед.

Моргунов разинул рот от удивления: «Как же так, – без конвоиров? А вдруг кто-нибудь убежит!»

Но никто не бежал. Все послушно двинулись вслед за доверчивым начальником УРЧ, который шел умеренно быстрым шагом и даже не оглядывался.

И вот заключенные догнали идущего впереди них человека, обступили его, заговорили, начали спрашивать: «Куда мы идем? Что будет дальше? А как там, вообще, в лагере? А почему нас ведут без конвоя, – непривычно что-то! – разве теперь не боятся побегов?»

Человек охотно и доброжелательно отвечал: «Идем на пересыльный пункт... Что будет дальше? Да ничего страшного! Бог не выдаст – свинья не съест... Главное, не бойтесь: живы будете!.. В лагере как? В лагере – как в лагере: ничего, жить можно!.. А насчет побегов – куда вы денетесь?! Вас заставь убежать, и то не побежите. Я же знаю, кого веду. Пятьдесят восьмая не бегает. Урки – те другое дело! Тех, конечно, без конвоя вести нельзя!.. Да, кстати, об урках. Вас сейчас поместят в пересыльные бараки, а там их много. Так что вы свои чувалы, давайте-ка, сдайте на хранение, а то растащат в момент».

И действительно, когда вновь прибывшие переступили порог лагерного барака, они увидели несколько человек, отмеченных теми неуловимыми для неопытного взгляда признаками, по которым в дальнейшем почти сразу безошибочно узнавались профессиональные уголовники. Урки стояли вокруг длинного, ничем не покрытого, сколоченного из грубых досок стола, находившегося посередине барака, под единственной в нем электрической лампочкой, и мастерили игральные карты. Материальной базой производства служила растрепанная, неизвестно где украденная книга и клейкая масса из пережеванного черного хлеба, изготовляемая, как показывали усиленно жующие челюсти присутствующих, тут же на месте.

Барак представлял собой сооружение, архитектурный стиль которого явно не претендовал на глубокий след в истории мирового зодчества. Это жилое помещение, заглубленное на одну треть своей высоты в землю, служившую ему и основанием и полом, имело около двадцати метров длины и метров пять или шесть ширины. Внутри него, по обеим длинным сторонам, шли сплошные

двухэтажные нары, без каких либо тюфяков или постельных принадлежностей. Нары крепились к вкопанным в землю столбам, на которых заодно покоились рейки, поддерживающие палаточную, парусиновую крышу. Стены барака состояли из парной дощатой заборки, засыпанной в середине плохо утрамбованными опилками. Парусина выполняла роль не только крыши, – она спускалась с наружной стороны сооружения до самой земли и была прибита к стенам гвоздями, а внизу присыпана грунтом. В одной из двух торцевых стен этого полубарака-полупалатки находилась огражденная дощатым тамбуром дверь, в другой – крохотное квадратное окно. Вместо печей в обоих концах внутреннего пространства стояли и жарко топились дровами железные бочки из-под горючего с вырезанными в них отверстиями вместо дверок.

Топившиеся бочки раскалились докрасна, и от жары около них невозможно было находиться. Очень жарко было, по-видимому, и на верхних нарах. Во всяком случае, расположившиеся на них и с азартом режущиеся в карты человек шесть урок были одеты только в одни подштанники, но холода явно не чувствовали. Однако дальше этих ограниченных зон тепло, очевидно, не распространялось: на полу, в углах и кое-где на стенах явственно проступали намороженные полосы снега и льда.

В момент появления новых людей карты во всех концах барака мгновенно исчезли, но когда дверь за вновь прибывшими закрылась, игра сразу возобновилась опять.

– О-о! – радостно закричал один из тех, кто был около стола, увидев входящую группу. – Я сегодня играю.

С нар соскочили несколько человек и обступили вошедших, у большинства которых в руках оставались небольшие мешочки или свертки с продуктами и туалетными принадлежностями, вынутыми из сданных на хранение вещей.

Новички буквально не успели оглянуться, как все их мешочки были выбиты у них из рук ловкими, неизвестно откуда сыпящимися ударами и моментально расхищены.

Моргунов возмутился до глубины души. Ему не было жаль отнятых продуктов, – он никогда еще не испытывал настоящего голода и не научился пока ценить еду и хлеб превыше всех ценностей мира, – но психологически происшедшее произвело на него исключительно сильное впечатление. Он почувствовал глубочайшее омерзение, громаднейшее отвращение к этому отребью, позорящему гордое звучание слова – Человек. Моргунов видел, что грабители занимаются свои делом отнюдь не из-за голода: у всех них были сытые, гладкие лица и ладные фигуры, они воровали и грабили как бы по инерции и так же бездумно, как простые люди едят или работают; воровство и грабеж были для урок обычным повседневным занятием, их профессией, спортом и развлечением. Моргунов почувствовал, что в нем закипает бешенство, но он сдержался и молча застыл вместе со своей группой, беспомощно оглядываясь и озираясь по сторонам, Другие, не зная, что в таких случаях можно предпринять, тоже молчали, и только один из всех – хозяйственный, пожилой крестьянин, посаженный за агитацию против внутренних займов, – бросился было отбирать свое добро, но не сумев ничего сделать, выскочил из барака за дверь и изо всех сил закричал:

– Коменда-а-ант!

Урки выскочили за ним, втащили его в барак, а один из них сорвал с него хорошую зимнюю шапку и тут же начал играть на нее в карты.

Новички, в большинстве своем – интеллигенты, никогда не соприкасавшиеся вплотную с жизненным дном и представлявшие его себе в виде умилительного собрания внутренне благородных Челкашей, с ужасом сгрудились в углу барака и, как овцы перед волками, пассивно ждали нападения.

А урки, увидев, что их боятся, наглели все больше и больше. Они подползали к «фраерам» снизу, из-под нар, подбирались сверху, лезли с боков и все пытались незаметно залезть в карман, стащить шапку, полотенце, шарф, что только ни попадет. Картежная игра вспыхнула с новой силой. Урки играли на еще не украденные ими вещи новоприбывших, на кону оказались шапка одного, пальто другого, валенки третьего, пиджак четвертого. Проигравший должен был самостоятельно отнять или снять проигранный предмет с его владельца и вручить выигравшему партнеру. И они это делали, или пытались делать, с предельным бесстыдством и цинизмом.

Владельцы вещей, само собой разумеется, отдавать их не хотели, они пробовали протестовать, отбиваться, даже сопротивляться, но между ними не было никакого единства. Они выступали поодиночке, и их протесты были гласом вопиющего в пустыне. А урки, почувствовав слабину, действовали с редким нахальством. Они угрожали своим жертвам, запугивали их и успешно отнимали все, что только хотели.

Моргунов быстро оправился от ошеломляющего впечатления и первой растерянности и вступился за одного из своих спутников, но тот убоялся его защиты и спорить с урками не пожелал.

– Пусть берет, пусть! – примирительно сказал он Моргунову, опасливо косясь на большой нож в руках стоящего около него бандита. – Пусть берет! Меня не убудет.

И он своими руками снял с шеи шерстяное торгсиновское кашне и отдал его вооруженному ножом наглецу.

– Зачем вы это делаете? – трясясь от негодования, закричал Моргунов. – Разве можно так... Вы поощряете... Не давайте! Нас ведь много.

Он оглянулся на своих и невольно замолк. Его спутники глядели на происходящее испуганными, покорными, округлившимися от ужаса глазами и, втянув головы в плечи, выразительно молчали,

– А ты, ...ть тебя в рот, чего расшухарился? – угрожающе сказал ему урка с ножом в руках. – Тебя не ...т, так ты ногами не дрыгай! А то – видишь писку?.. Враз наколю!

Довольный произведенным эффектом, он подошел вплотную к Моргунову и, поднеся к его лицу грязный, с большими черными ногтями кулак, может быть даже и не нарочно, задел его за нос.

Кровь бросилась в голову Моргунову. Почти не сознавая, что он делает, не думая о могущих быть последствиях, потеряв от бешенства способность соображать, он кинулся на не ожидающего отпора обидчика, сильным ударом в подбородок сбил его с ног и, упав вместе с ним на пол, вырвал у него нож.

Через секунду Александр Сергеевич был уже на ногах и, подняв нож высоко над головой, хрипя и трясясь, увидел, как его противник, испуганно визжа, на четвереньках убегает под нары. Моргунов огляделся. Урок как ветром сдуло. Часть их уже лежала под нарами, часть забилась в углы; рассыпанные карты ярко белели на черном земляном полу, тут и там валялись брошенные выигрыши – шапки, шарфы, брюки. Ближе к дверям застыла от ужаса сильно поредевшая группа моргуновских попутчиков. За стенами барака слышались крики. Это носились по малой зоне, в которой находились пересыльные бараки, остальные спутники Моргунова; во время драки они выскочили в дверь и, обезумев от страха, вопили и кричали, что их убивают.

Моргунов опустил нож и еще раз оглядел весь барак. Он увидел десятки направленных на него глаз, выражающих страх, послушание и покорность. И он понял, что урки струсили, что они вообще трусливы как зайцы, что хваленая уркаганская храбрость – лишь фанфаронство, показное бахвальство, блеф, действующий на робких и слабонервных, и что он стал хозяином положения. Не

думая, не хотя, не желая, он сделался для всей собранной здесь шантрапы грозным и страшным повелителем, стал паханом, которого боялись и готовы были беспрекословно слушаться.

И давая выход невероятному нервному перевозбуждению, он – гордящийся своей культурой интеллигент, студент философского факультета, идеалист и мечтатель, сознательный ценитель величайших достижений человеческой мысли, коммунист и гуманист, – зашагал по бараку и, сыпя направо и налево самыми причудливыми ругательствами, от которых еще несколько минут назад его самого тошнило, стал распоряжаться, размахивая для убедительности крепко зажатым в руке ножом. Он согнал с нар несколько урок, велел им собрать и выбросить карты, вернул законным владельцам отобранные у них вещи, взял себе растерзанные остатки книги, неожиданно оказавшейся третьим томом библиографически редкого русского перевода «Истории» Геродота, заставил подвинуться и освободить для прибывших с ним людей двенадцать смежных мест на верхних полках. Никто ему не перечил: его признали.

И в самый разгар своей нежданной-негаданной «административной», как он потом сам над собой иронизировал, деятельности в этом мрачном и мерзостном для него бараке Моргунову вспомнилась другая картина: он – в Эрмитаже, перед ним небольшая застекленная витрина, а за стеклом – Леонардо да Винчи. С одной стороны – «Мадонна Литта», с другой – «Мадонна Бенуа». Сколько тепла, сколько человечности хлынуло на него от этого воспоминания... И – какой контраст! Он здесь – в этой звероподобной среде... Моргунов заскрежетал зубами: «Кому это нужно? Зачем? Что сделал я, что меня загнали в этот шалман?.. Я жил, учился, интересовался наукой, литературой, искусством, а зачем все это было? Зачем мне знать о гигантах, прошедших по пути развития человечества? Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Рембрандт, Репин, Пушкин, Платон, Аристотель, Спиноза, Дарвин, Эйнштейн, Маркс, Ленин. Считанные сотни на миллиарды безвестных людей!.. Зачем я узнал их? Зачем?. Чтобы стоять и размахивать ножом?! Чтобы произносить слова, от которых возникает отвращение к самому себе?!. Нет, нет! Конечно, не для этого!.. Так думать – нельзя! Это – слабость!.. Я вернусь еще к нормальной жизни, вернусь!.. Но чтобы вернуться, надо выдержать и пережить все, все без исключения! Надо научиться быть крепким и стойким, не падать духом от столкновения с изнанкой жизни, надо огрубеть, очерстветь, опроститься, надо научиться воспринимать любую окружающую среду так, чтобы меня от нее не воротило! Здесь нужны сила, грубость, цинизм и умение давать отпор... Ну и пусть!.. Пусть!.. Да будет так!..»

Размышления Моргунова были прерваны гурьбой надзирателей, стремительно ворвавшихся в барак для усмирения «бунта». Их потревожили крики ранее выскочивших на улицу людей. Увидев, что никакого бунта нет, они отобрали у Моргунова нож, доложили о случившемся начальнику ОЛПа и, по его распоряжению, перевели всех новичков в один из рабочих бараков.

Встреча с урками закончилась, но она оставила глубокий след в памяти Моргунова и определила его поведение в лагере на многие годы вперед.

IX

В рабочем бараке жили бригады, занятые обслуживанием самого пересыльного пункта и расположенной неподалеку лагерной перевалочной базы. Сюда же в некоторых случаях помещали и пересылаемых: тех, кого почему-либо долго не могли отправить по назначению, тех, кто активно протестовал против условий жизни в пересыльных бараках, и, наконец, тех, кто, подобно Моргунову, вступал с урками в открытый конфликт, грозящий перейти в резню и убийства.

Внутренним устройством барак для рабочих несколько напоминал своего пересыльного собрата: такие же сплошные нары и бочки из-под горючего вместо печей, такой же длинный деревянный стол посередине, но лампочек – не одна, а три, на месте палаточной парусины – настоящая деревянная крыша, пол, потолок, большое окно, и, несмотря на сильное поддувание в отдельных местах, более равномерная средняя температура в помещении. С улицы в барак вела небольшая приступка. Он не был вкопан в землю, а стоял на поверхности и, кроме того, отличался более крупными размерами, выглядел гораздо добротней, уютней и больше походил на жилье.

Условия жизни здесь значительно отличались от пересыльных: у постоянно живущих имелись матрацы, набитые стружкой или соломой, простыни, одеяла, а у некоторых даже – подушки. Но главное, конечно, заключалось в составе обитателей. Тут жили обыкновенные заключенные: «пятьдесят восьмая» и бытовики, то есть простой, трудовой народ. Жили так, как живут на воле в рабочих общежитиях или казармах. Здесь не надо было опасаться краж и насилия, здесь никто никого не грабил, не проигрывал, не резал и не давил. И Моргунов понял это с первого взгляда, увидев в изголовьях почти каждого места самодельные, прибитые к стенам полочки, на которых открыто лежали и хлеб, и продукты, и мыло, и другие принадлежности туалета и быта. В этом бараке на гвоздях, вбитых в стену и промежуточные столбы, свободно висели и полотенца, и шарфы, и верхняя одежда, и головные уборы, а проживающие в нем люди занимались обычными человеческими делами. Одни сидели на нарах, другие за столом, третьи сгрудились около раскаленных бочек; кто читал, кто писал, кто просто беседовал с соседом, некоторые играли в шахматы, другие с ожесточением «забивали козла». Было шумно и душно, плохо пахло сохнущими у огня валенками и портянками, но не было отвратительной, тошнотворной ругани, наглых рож и сверх меры циничных разговоров. В общем – здесь жили люди!

Через несколько дней Моргунов перезнакомился со всеми обитателями барака и был крайне удивлен, узнав, что многие из них заключены в ИТЛ в силу того самого постановления Особого Совещания, – за тем же номером и от того же числа, – которым был репрессирован и он сам. Как это могло случиться – он понял не сразу. Его дело проходило в Москве, а рядом с ним были люди из Саратова, Смоленска, Ленинграда, Горького, Новороссийска, Ростова, и все – одним и тем же постановлением!

Сколько же дел, сколько человек пропустило ОСО за один день? Моргунов и кое-кто из его новых знакомых попробовали, хотя бы приблизительно, определить это число, но сбились со счета. Ясно было только одно: само ОСО дел не разбирало, не могло разбирать. Все делалось от его имени скрытыми во мгле секретности работниками аппарата, и никакой справедливости в этом странном и страшном процессе быть не могло. Весьма возможно, что судьба каждого человека определялась заранее, на местах, теми самими лицами, которые вели и направляли следствие и которые, выполняя получаемые сверху приказы или руководствуясь соображениями личной карьеры, фабриковали и фальсифицировали мнимые контрреволюционные «дела», приписывая себе честь и славу их выявления и раскрытия.

Моргунов не боялся обсуждать и анализировать такие вопросы с малознакомыми товарищами по несчастью, так как не знал еще, что в лагере очень редкие разговоры и высказанные вслух мысли не становятся в ближайшее же время досконально известными «недреманному оку государеву» – приставленному к каждому ОЛПу оперуполномоченному НКВД.

Незримые уши и невидимые глаза наблюдали чуть ли ни за каждым шагом и словом лагерных постояльцев, но так как подавляющему большинству их нечего было скрывать и утаивать, то страшным было не само существование широкой

сети информаторов (стукачей или сексотов, как презрительно называли их в лагерях), а неограниченная возможность объективных и субъективных ошибок, недопониманий и перетолкований ими самого смысла и значения фактов, о которых они доносили. Страшны были при этом не только реально возможные в таком деле добросовестные заблуждения очень часто тупых и неразвитых фискалов, – надо было опасаться прямой нечестности их, в результате которой широко распространялись и сознательные искажения истины, и нарочитое придание криминального характера любой совершенно невинной беседе, и заведомо ложные инсинуации и доносы о никогда не происходивших в действительности делах или разговорах.

Страхи и опасения вытекали из самого существа дела: ведь осведомителей вербовали не для того, чтобы они сообщали о безупречном и благонравном поведении своих негласных поднадзорных, а для того, чтобы выявлять их предосудительные, с точки зрения власти, мысли и дела, для того, чтобы разоблачать коварных контрреволюционеров – агитаторов, шпионов, террористов, вредителей, диверсантов, – которыми, по мнению тех же властей, были если и не все сто процентов, то, по крайней мере, абсолютное большинство заключенных в ИТЛ. И если незадачливый соглядатай длительное время ничего искомого не находил, то ему, мягко говоря, выражали неудовольствие и более или менее прозрачно намекали на собственную неблагонадежность. Вполне естественно, что эти, как правило, трусливые и слабые духом тайные ловцы воображаемых преступлений прибегали сначала ко лжи и выдумкам, а затем и просто к провокациям, обрекающим на прямую или косвенную гибель многих ни в чем не повинных людей.

Ни Моргунов, ни его собеседники, только-только переступившие пороги обнесенных колючей проволокой зон, не знали еще об этой характерной черте лагерного бытия и вели свои беседы совершенно спокойно. Впрочем, на пересыльном пункте, где люди мелькали как капли дождя, опасность напороться на неприятность, не в пример ОЛПам с их постоянным составом, была несравненно меньше, и заключенные не успевали получить впечатляющий урок подлости и предательства, в результате которого они на долгие годы становились скрытными, недоверчивыми, обозленными и усваивали как норму психической деятельности излишнюю мнительность и болезненную подозрительность ко всем окружающим.

Здесь же Моргунов узнал и еще об одном, на первый взгляд невероятном, обстоятельстве: объем осведомленности заключенных в лагере о событиях, происходящих как внутри страны, так и за границей, намного превосходил размеры ее, доступные обыкновенным смертным, живущим на воле. Это объяснялось тем, что на воле почти все простые люди варились, как правило, в собственном соку и очень редко выходили за пределы одного и того же постоянного и ограниченного круга знакомств, – сюда же стекались люди «з усих краин», как говорили украинцы, люди разных рангов и положений, разных интересов и знаний. Они приносили с собой вести о событиях и фактах, не опубликованных в печати и известных только в узких ведомственных сферах, они рассказывали об истинных причинах тех или иных мероприятий органов управления, о политическом значении новых назначений или перемещений; они вскрывали подоплеку отдельных обстоятельств и явлений, излагали сущность каких-нибудь малоизвестных споров и разногласий, приводя подробности о доводах всех спорящих сторон. Иногда, конечно, в таких вестях и рассказах попадалась добрая толика сплетен и выдумок, но чаще они оказывались более или менее достоверными и приоткрывали перед внимательным слушателем некую, до сих пор закрытую, завесу.

В очень короткий срок Моргунов узнал много нового. Он, например, всегда интересовался странами Западной Европы, прочел о них массу книг и не пропускал ничего посвященного им в газетах и журналах. Он полагал, что много знает о Западе, и заочно любил Париж, Рим, Лондон, Берлин, Вену. Но когда судьба свела его в лагере с журналистом-международником, много лет прожившим за границей, он убедился, что его знания малы, обрывочны и, по сути дела, никчемны.

Как интересно было беседовать с этим журналистом! Моргунов мысленно бродил вслед за ним по Парижу, прогуливался по Большим Бульварам и Елисейским Полям, осматривал средневековые готические Нотр-Дам де Пари и Сент-Шапель, сравнивая их попутно с Вестминстерским аббатством в Лондоне, Святой Марией в Берлине и Святым Стефаном в Вене; поднимался на Эйфелеву башню, заходил в кабачки и кафе Латинского квартала и Монмартра, любовался картинами в Лувре, скакал на породистой лошади в Булонском лесу, объезжал по идеально круглой площади Этуаль вокруг Триумфальной арки и могилы Неизвестного солдата, замирал в благоговейном молчании у стены Коммунаров в Пер ла Шез и с трепетом склонялся в Пантеоне над прахом Наполеона. Рассказы собеседника и воображение легко переносили его с берегов Сены на берега Темзы, Шпрее, Тибра или Дуная. Он наблюдал смену сказочного караула в высоких медвежьих шапках у Букингемского дворца, отдыхал в Риджентс- и Гайд-парках, смотрел уникальные коллекции Британского музея, грустил у могилы Маркса на Хайгетском кладбище, тосковал у памятников Бетховену, Моцарту и Шуберту на центральном кладбище Вены. А Рим, Рим, легендарный «вечный город» Рим, с его живописными руинами Форума и Колизея, колонной Траяна и аркой Тита, с его собором Святого Петра, Капитолием, дивными площадями и знаменитым Ватиканским музеем! Моргунов забывал, где он находится, уносился в мечтах в прекрасный мир старины и искусства, а потом с еще большей горечью возвращался к реальности и с остервенением давил злющих клопов, не желавших, несмотря на частые дезинфекции, покидать насиженные места в деревянных нарах.

Но не только о красоте и древностях рассказывал журналист-международник. Разговор как-то сам по себе сбивался на современные темы, и Моргунов узнавал много интересного и о заграничных реакциях на советско-монгольский протокол о взаимной помощи, и об обострении отношений между Турцией и СССР в связи с конференцией в Монтре, и о роли советских добровольцев в гражданской войне в Испании, и о нарастающей мощи фашизма в Германии, и о заграничной деятельности троцкистов.

Другой собеседник – бывший работник Прокуратуры СССР, начитанный и эрудированный юрист, – быстро развеял надежду Моргунова добиться справедливости путем обращения лично к Вышинскому.

– Да ну, что вы?! – сказал он. – Вышинский не такой человек, он благословляет решительно все, что делает НКВД!

И он рассказал Моргунову, что многие видные юристы считают общий подход Вышинского к пониманию социалистического права односторонним и неправильным, что Вышинский в своих воззрениях исходит лишь «из отношений господства и подчинения, выражающихся в праве» и, значит, полностью игнорирует всю проблему субъективных прав граждан, что, несомненно, ведет к ущемлению этих прав и, в конечном счете, к произволу.

– Отсюда и вытекают его указания об оценке существа доказательств в нашем уголовном процессе, – говорил юрист Моргунову. – Ведь Вышинский не понимает марксистско-ленинского учения об абсолютной и относительной истине. Он позабыл о существовании истины объективной, для него она не существует! Вышинский считает, что обвиняемого можно осудить не только тогда, когда

объективно доказан факт совершения им преступления, но и в том случае, если установлена только максимальная вероятность такого факта. Типичная точка зрения буржуазных процессуалистов!..

А чего стоит его заявление, что обвиняемый обязан доказать справедливость утверждений, выдвигаемых им в свою защиту? Разве это мыслимо? Ведь это прямое нарушение принципов советского уголовного права, исходящего из презумпции невиновности... Не совсем ясно?.. Ну, как бы это проще объяснить?!. Видите ли, мы полагаем, что каждый человек должен считаться честным и невиновным до тех пор, пока не будет доказано, что он совершил какое-нибудь преступление. Поэтому, когда возникает сомнение в его невиновности, то обвинитель обязан доказать вину, инкриминируемую данному субъекту; если доказать вину нельзя – человек должен быть оправдан! Иначе, по общему мнению юристов, быть не может, а Вышинский, как видите, думает иначе!..

Что еще?.. Еще отношение Вышинского к так называемой «царице доказательств», – к личному признанию обвиняемым своей вины. Считается установленным, что такое признание само по себе не имеет какого-либо доказательственного значения, нужны другие, объективные доказательства по делу, а наш уважаемый Андрей Януарьевич делает из этого правила существенное исключение: он придает «царице» самостоятельное доказательственное значение по делам об антисоветских преступлениях. Далее, он считает, что для обвинения человека в соучастии не нужно причинной связи между обвиняемым и преступлением, достаточно, по его мнению, наличия связи вообще.

Все эти взгляды, дорогой мой, открывают ворота беззаконию, они теоретически оправдывают необоснованное привлечение к уголовной ответственности широкого круга лиц и поощряют вынесение необоснованных приговоров.

Так, вот, милый мой Александр Сергеевич, вы еще не знаете Вышинского. Он еще дров наломает!.. А спорить с ним нельзя! Невозможно! Он – прокурор СССР, ему Сталин доверяет! Попробуйте-ка ему возразить: верный путь в лагерь!.. И законы найдутся! Вышинский ведь и к законам подходит, как к «относительной истине». О! Он еще покажет себя!.. Помяните мое слово!..

Моргунов слушал и удивлялся: «Как многогранна и сложна наша жизнь! И сколько еще неведомых истин таит скрытая от нас сторона ее». Еще несколько дней тому назад он и понятия не имел об этих вопросах, а теперь они встали перед ним во весь рост, и он начал чувствовать себя маленькой бессильной букашкой в бушующем океане враждебных ему сил и обстоятельств.

Несколько дней подряд Моргунов продумывал услышанное. Он работал в сводной бригаде грузчиком и целыми сменами таскал на спине из вагонов на склады мешки с крупой, овсом, сахаром и солью. Мешки были тяжелые, но он был силен и крепок и, нося мешки, думал не о них, а о том, что делалось» в мире.

А еще через несколько дней его этапировали вглубь области, и, пройдя пешком несколько сот километров, он очутился в лагере, основным назначением которого была валка леса на трассе будущей железной дороги.

X

«Лес! – с экзальтацией думает охваченный поэтическим настроением Моргунов. – Сколько ярких, наполненных любовью страниц посвятили тебе писатели и поэты, сколько замечательных картин написали художники, как величественно звучат божественные звуки, навеянные тобой композиторам и музыкантам, какими вдохновенными песнями воспел тебя род человеческий. Старый и молодой, дремучий и редкий, темный и наполненный солнечными бликами, лиственный и хвойный, растешь ты на бескрайних просторах великой

страны, шумишь вершинами, гневаясь на неуемные ветры, стоишь, как заколдованный, в тихую погоду, не шевеля ни листком, ни иголочкой. Прячешь ты, зеленый лес, в чащах своих и человека и зверя, щедро снабжая их ягодами и грибами, даешь приют насекомым и птицам. В преданиях и легендах, в сказках и песнях, прославляют тебя, необъятный лес, как хорошего, нежного, зеленого друга, стойкого защитника водоемов и почвы, как источник чистого воздуха, кладезь здоровья и место для мирного отдыха.

Далеко не все знают тебя с другой стороны, ведь не всякому ведать дано, что ты не только зеленый друг, но и черный враг, что ты – вампир-людоед, пожирающий за добро свое тленные жизни людей. «Ходить в лесу – видеть смерть на носу» – говорили когда-то в народе, но в те времена лес не ел людей, не пил из них кровь, не высасывал жизненные силы».

Да, не знал Моргунов, попадая в лес, что это такое чудовище. До сих пор ему был знаком только один лес – на даче в Малаховке, под Москвой, – где гулял и собирал землянику ребенком. Помнил он в этом лесу высокие сосны и пушистые ели, залитые солнцем поляны, причудливо разросшееся дерево, похожее на грандиозную лиру, – его так и называли «дерево-лира»; помнил сухую теплую землю, покрытую прошлогодней хвоей, заросшую травой и кустиками лесных ягод, – землю, на которой можно было часами лежать, не боясь простудиться. И большие муравьиные кучи помнил он, и рыжих летних белок, скачущих с ветки на ветку, и усыпанные мелкими черными ягодами кусты можжевельника, и где-то далеко, в глубине, немного не доходя до деревни Коренево, небольшую березовую рощу. Лес – отдых, лес – благодать, лес – блаженство, лес – наслаждение. Вот как вспоминал Моргунов об единственном известном ему малаховском лесе.

А теперь попал он в необмерные леса Архангельской области и сразу, как в омут, окунулся в изнуряющий лесной труд. Нет, не похож был этот лес на виденный в детстве, ничуть не похож. Высились здесь отдельные стволы-великаны, окруженные мелколесьем, просвечивали между заснеженными деревьями солнечные лучи, причудливо извивались удивительные древесные монстры, но не до красот лесных было теперь Моргунову. Лес стал для него не собранием прекрасных пейзажей, не предметом красоты и душевного успокоения, а местом тяжелой работы и неверным, капризным источником ежедневной пайки хлеба и «третьего котла с премблюдом».

Разве мог Моргунов, резвясь и гуляя в чарующих подмосковных лесах, дыша полной грудью целебным, насыщенным хвойными запахами воздухом, ловя чутким слухом шорохи сосновой чащобы, – разве мог он подумать, что лес бывает не только родным, но и чуждым, не блаженством, а мукой, не отдыхом, а каторгой? Нет, не мог, – так же, как не может житель экваториальной Африки представить себе русскую морозную зиму. Поэтому и не понял он реального значения странной и нелепой, как ему показалось, но весьма распространенной в лагере угрозы – «в лес пошлю!», которую услышал он еще на пересыльном пункте в Архангельске от рассердившегося на него важного лагерного придурка.

В то время Моргунов леса не боялся. Ему – молодому и здоровому, несколько месяцев протомившемуся в состоянии вынужденного безделья, – любая работа казалась желанной.

– Подумаешь – лес! – презрительно произнес он в ответ на опасения, высказанные товарищами по несчастью. – Что мы – хуже других? Работают же люди в лесу, ну, и мы не отстанем!

– Вам, я вижу, море по колено! – сказал один из соседей по нарам. – Все мы в молодости такими бываем... Ничего, попадете в лес – запоете иначе!

Моргунов в ответ только улыбнулся. Разговор происходил на заре, перед выходом на работу, в первый день пребывания в лагере. Вечером того же дня Александр Сергеевич уже не улыбался, он устал до того, что буквально валился с

ног, хотя их выводили еще не «в лес», а только «на погрузку». Остальные чувствовали себя не лучше.

Подавляющее большинство вновь прибывших людей, а в их число входил и Моргунов, не имели никакого понятия о лесной промышленности и не представляли себе смысла пугающего слова «лесозаготовки». Только попав в лагерь, они узнали, что на свете существуют повал, трелевка, погрузка, вывозка, биржевые работы, окатка, сплав, выкатка и другие, подобные этим слова. Узнали они также, что «послать в лес» означает послать на лесоповал или трелевку, и что все остальные виды работ, хотя и производятся в лесу, но в местных условиях «лесом» почему-то не считаются. А потом узнали и причину такого нелогичного словоупотребления. Оказалось, что работать «в лесу» гораздо тяжелее, чем, например, на бирже или на сплаве. «В лес пошлю!» на языке власть имущих означало: «пошлю на тяжелые работы!». Угроза, по словам старожилов, приводилась в исполнение нередко и действовала весьма эффективно. Работу «в лесу» выдерживали только сильные, безукоризненно здоровые люди, или же умеющее туфтить жулье. Остальные быстро выбывали из строя, срабатывались, заболевали, «доходили» – словечко, впервые услышанное Моргуновым тоже здесь, означавшее крайнюю степень истощения и потери сил, – и погибали от отчаяния и пеллагры.

Любознательный Моргунов уже через несколько дней, когда его крепкое и от природы выносливое тело немного привыкло к тяжелому физическому труду, а усталость перестала валить с ног, ознакомился, при помощи сведущих людей, с полным циклом работ, образующих понятие «лесозаготовки».

И прежде всего он узнал – узнал на собственном опыте, – что для заготовки древесины живые, растущие в лесу деревья нужно спилить, свалить на землю, обрубить с них сучья и ветки, оттащить обрубки, сор и остатки куда-нибудь в сторону, на открытое место, и там сжечь в громадных, трудно горящих кострах. Оставлять отходы лесозаготовок на месте, бросать их нельзя: в них легко развиваются разные заболевания древесины, и они не только засоряют, но и заражают лесосеку.

Он узнал также, что лес валят преимущественно зимой, потому что качество зимней древесины несравненно лучше, чем летней: дерево, срубленное зимой, суше, оно меньше болеет и быстрее умирает, да и сложность транспортировки зимнего леса намного меньше, так как он до начала большой весенней воды успевает попасть к сплавным пунктам на реках и сильно мелеющих летом речках и крупных ручьях.

И эти преимущества искупают трудности, переносимые людьми, которым приходится работать в тяжелых условиях северной зимы с ее сильными морозами, ветрами, снегопадами и высокими снежными покровами.

И вот Моргунов в лесу. Он вальщик – «лучкист», и возглавляет звено из четырех человек.

По глубокому – иногда по колено, а иногда и по пояс, – рыхлому или прихваченному тонким настом снегу подходят люди к обреченному на повал дереву. Ничего, что снег забивается в валенки, лезет за пазуху, попадает под короткую лагерную рубаху, – это неприятно, слов нет, но почти неизбежно. Ничего не поделаешь – приходится мириться. Люди вытаптывают вокруг дерева снег (не для того, чтобы было легче, а для того, чтобы пень получился пониже). Они радуются, что дерево попалось толстое и высокое: на таких деревьях легче выполнить норму. Они не смотрят на его красоту, не думают над тем, как оно выглядит летом. Дерево для них – только материал, к которому надо приложить силу, чтобы оно стало бревном и принесло столько-то процентов дневного задания.

Стараясь не терять ни минуты, Моргунов прикидывает в уме направление, в котором он положит этого гордого великана, и проводит лучковой пилой по стволу. Затем он делает пропил и зарубку на четверть и переходит на противоположную сторону. Согнувшись чуть не до самой земли, он быстро, обеими руками, тянет лучок туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Кровь приливает ему к голове и стучит в виски, лицо напряжено и мокро от пота. Скорей, скорей! Туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Двести движений... триста... четыреста, а пропил не дошел еще и до середины ствола.

Моргунов работает без телогрейки: так сподручней. Двадцатиградусный мороз ему не помеха. Он в валенках, ватных брюках и ватных же рукавицах, на остриженной под машинку голове шапка-ушанка, но уши подняты, – жарко! – а на теле – одна лишь рубашка. От согнутого положения и непрерывных движений она вылезла из брюк и слегка задралась, между рубахой и поясом проглядывает полоска голого тела, обильно смоченного потом. Ветер обжигает ее, но замерзнуть ей некогда. Туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно! Пила визжит, а руки Моргунова тянут и тянут ее, тянут не останавливаясь, без отдыха, без передыха.

Подручный Моргунова тем временем заготовил и установил вилки – длинные, сделанные из тонких молодых деревьев, подпорки с металлическими зубьями на концах. Они нужны, чтобы дерево не свалилось назад или вбок, зависнет еще на соседних деревьях, а потом иди, опусти его вниз, – измучаешься и потеряешь драгоценное время.

Остальные два человека моргуновского звена заняты сжиганием сучьев. Они выбрали безопасное место, развели костер и стаскивают на него ветки, сучья, кору, отпиленные вершины. Проваливаясь, тяжело дыша и тоже обливаясь потом, рыщут они в снегу по лесосеке и тянут за собой громадные вороха обледенелых, заснеженных отходов повала. Скорее, скорей! Надо успеть, а то забракуют работу, поставят мало процентов, выпишут штрафной котел, а на нем, на штрафном, далеко не уедешь: триста граммов хлеба и пустая баланда – не пища для работяги.

Костер шипит и собирается вот-вот потухнуть. Свежая, мороженая, покрытая снегом древесина плохо горит. Надо бы достать сухостой или хотя бы смолистую елку. И вот они уже возятся у найденного на корню засохшего дерева, валят его, пилят, рубят, колют, и тащат заготовки в костер. Оба страшно устали, им не положено валить и пилить – это тяжелая работа, а у них ЛФТ, но другого выхода нет, ничего не поделаешь!

Зато теперь их труд вознагражден по заслугам. Готовое заглохнуть пламя ярко вспыхивает. Огонь увеличивается с каждой минутой. И вот уже запылали мороженые ветки, трещит горящая хвоя, и далеко разбрасывает искры беспокойно горящая елка.

Изнемогая от усталости, Моргунов делает последние резы пилой, вот еще, еще немного, и полотно лучка выйдет на сделанную зарубку. Моргунов внимательно осматривает пропил, он должен быть параллелен зарубке. Не дай бог скосить его в сторону – никакие вилки не удержат громадного дерева, падая, оно обломит недопиленную часть, испортит хлыст и, кроме того, может вывернуться и убить неосторожного вальщика.

Но ничего, результаты осмотра вполне удовлетворительны. Хорошо ли плохо ли, но Александр Сергеевич пилить научился, у него никогда не зажимает пилу, его деревья никогда не зависают на соседних, он кладет их туда, куда хочет.

– Берегись! – громко и радостно кричит он, откидываясь назад, и послушный его воле лесной гигант валится, все убыстряя падение, валится и вместе с кроной, с ветвями и сучьями уходит в глубокий снег.

И опять, копаясь в снегу, ползая в нем и проваливаясь по пояс, идут вдоль упавшего дерева люди. Сильными ударами топора срубают они сучья и ветки. Рубить надо заподлицо со стволом, чтобы хлыст получился гладким. А затем этот

хлыст нужно раскряжевать на отдельные отрезки определенной, установленной стандартом длины. Раскряжевку надо произвести так, чтобы получилось как можно меньше отходов, ведь отходы в выполненную работу не засчитываются, а нормы выработки даются в фестметрах – кубических метрах древесины в плотном теле. Поэтому Моргунов измеряет очищенный ствол, прикидывает в уме, что у него выйдет, и, отмеряя нужные отрезки, делает зарубки в соответствующих местах.

Попробуйте поднять хлыст, лежащий в снегу, если его длина доходит до 18–20 метров, а диаметр у комля до 30–35 сантиметров. Дело, прямо сказать, нелегкое. И тут на помощь приходит самое распространенное на лесозаготовках орудие – дрын. Дрын, или дрынок, – это, попросту говоря, обыкновенная толстая палка. Делается она из тонкого молодого дерева, отличающегося крепостью и прямизной. Один конец дрынка стесывается на клин, другой оставляют круглым и используют в качестве рукоятки. Назначение дрынка – быть рычагом. Это простое орудие труда с древнейших времен верой и правдой служит человеку и таит в себе огромные возможности. «Дайте мне точку опоры, – сказал Архимед, – и я поверну мир». Моргунову поворачивать мир не требуется, но поднять хлыст, чтобы распилить его на отдельные бревна, – необходимо.

Хлыст весит примерно три четверти тонны, но, действуя дрынком и берясь за тонкий конец, Моргунов и подсобник относительно легко приподнимают его и подсовывают под место будущего распила толстую чурку.

Да, Александр Сергеевич быстро познал обращение с бревнами. В первые дни, работая еще на погрузке, он пытался поднимать их, хватаясь за середину, но опытные люди никогда не упускали случая позубоскалить над ним. «Не трогай середку – бревно сломаешь!» – кричали ему, и он усвоил непреложное правило: «Если не хочешь, работая с бревнами, переломить себе спину – берись только за их концы!»

И вот хлыст приподнят, и опять пищит в руках Моргунова лучок. Туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно! Ложатся в снег готовые стандартные бревна, и трелевщик с лошадью, запряженной в один только передок от саней, наваливает их концами на этот передок, – по одному, по два, в зависимости от размера, – и волоком вытаскивает с лесосеки к месту погрузки.

Трелевка тоже тяжелый труд, но трелевать на лошади – еще полбеды, хуже, когда бревно приходится выволакивать непосредственно на себе.

В лесу начинает сереть, трудовой день близится к концу, норма схвачена, и Моргунов, надев гимнастерку и телогрейку, идет к костру. Зачерпывая старой, слегка заржавевшей консервной банкой из ведра, принесенного подсобником, холодную, с плавающими в ней льдинками, воду, он жадно пьет и садится поближе к огню. Непостоянный ветерок крутит дым в разные стороны и временами бросает его в глаза и горло Моргунову. Он отворачивается, прищуривается, сплевывает. Тело ноет, но он доволен: сегодня успел сделать много. Правда, если серьезно подумать, жаль времени, – «Сколько можно было бы прочесть за этот день!» – но, «снявши голову, по волосам не плачут». Зато теперь, у костра, он волен думать о чем ему только угодно. Во время работы почему-то не думается. Проклятые баланы... (Моргунов не сразу понял, что «балан» – это исковерканное и неправильно применяемое слово «баланс» – особый сорт и размер леса, идущего на изготовление высоких сортов бумаги). Проклятые баланы мнут душу и поглощают все мысли. Зато теперь... И он начинает думать о воле, о Марусе, вспоминает Катю и Дмитрия Ивановича Кучина. Думает о том, как причудливо переплетаются иногда между собой человеческие судьбы и как странно, что все эти находящиеся в лагере люди, среди которых так много коммунистов и безусловно советских людей, – как странно, что все они, такие

неприспособленные к тяжелому физическому труду, работают в лесу и числятся государственными преступниками.

XI

Физический труд всегда вызывал у Моргунова двоякое чувство: сожаление о потерянном для умственного развития времени и радостное возбуждение от самого процесса труда.

Работа в лесу требовала громадных усилий и больших напряжений, она утомляла, но утомление оказывалось странно-приятным и давало своеобразное удовольствие, хорошо знакомое велосипедистам, конькобежцам и лыжникам. Кроме того, приятно было видеть материальные результаты такого труда, приятно было сознавать, что вот эти самые бревна вырезаны твоими руками, что они пойдут куда-нибудь на стройку, лягут в перекрытия или стены, сделаются деталями ферм, стропил и иных конструкций, и при любом способе использования принесут пользу людям.

Последняя мысль казалась особенно значительной.

Для Моргунова и многих других заключенных интеллигентов польза, приносимая человечеству их трудом, имела большое значение. Она вносила смысл в их жизнь, служила моральным оправданием их существования и даже облегчала им трудности и тяготы лагерного бытия.

Широкая просека в лесу с каждым днем уходила все дальше и дальше. Воображение рисовало на ней насыпь, рельсы, быстро несущийся поезд. Север – «безмолвный край лесов и болот» – пробуждался от многовековой спячки, оживлялся, вступал в общую жизнь страны, преображал ее лицо, и делал это труд, их труд, их усилия, их работа. Пусть все это было ничтожным по сравнению с мировыми проблемами, пусть каждый из них, работая в обычных условиях, мог принести гораздо большую пользу, но и эта работа, – результаты ее, видимые воочию, – давала возможность считать, что жизнь уходит недаром.

Истина открылась Моргунову отнюдь не в первые дни. Сначала он, как и все, работал, стараясь не думать о том, кому приносят пользу его усилия. Он знал, что если даст сто одиннадцать процентов, то завтра получит хороший котел, будет сыт, весел, доволен, а если норма будет выполняться весь месяц, то ему выпишут еще и премвознаграждение. Значит, будут деньги, хоть и небольшие, но на марки, на конфеты, на табачок хватит. «А чего еще в лагере надо?! День прошел, и слава Богу! Думать – дело не наше, пусть лошадь думает: у нее голова большая». Так говорили зека, но «критически мыслящие личности» не удовлетворялись ходячими афоризмами и в очень скором времени они, а в их числе и Моргунов, начали искать смысл своего существования. Поиски были мучительны и порою безрадостны, но зато найденный ответ принес облегчение. К Моргунову он пришел неожиданно и был похож на находку.

В тот день в лесу у костра собралось много народу. Пришли и свои, и соседние. Кто-то затянул песню, остальные подхватили. Пели о суровой и угрюмой стране, о диком береге Иртыша, о Ермаке, объятом думой, об его победах и гибели на дне глубокой реки. Пели дружно, старательно выводя каждое слово сотворенной Рылеевым народной песни, а перед глазами вставали Северная Двина, лагерь, собственная судьба. Песня гремела, брала за душу, заставляла переживать, а когда пропели слова Ермака: «и мы – не праздно в мире жили!», Моргунов даже вскочил от волнения.

Может ли он, могут ли все присутствующие здесь полагать, что они тоже живут не напрасно, что жизнь уходит не зря, не впустую, что и они на что-то годятся и пройдут по миру, оставив после себя какой-то, хоть и малозаметный след?

– Да, могут, могут! – решил Моргунов. – Мы делаем полезное дело, мы трудимся! И как бы ни была нелепа система использования наших сил, после нас останется что-то большое, и, умирая, мы с полным основанием сможем сказать: «Нам смерть не может быть страшна, свое мы дело совершили». Да, у нас будет право утверждать, что «мы – не праздно в мире жили!»

– Кончай!.. Стройся! – послышался со сторожевой вышки крик конвоира.

Бригада выстроилась по два. Конвоиры пересчитали людей.

– Объясняю! – прочел обычную «молитву» начальник конвоя. – По дороге идти – не растягиваться, передние – короче шаг, задние – не тяни ногу! Шаг влево, шаг вправо считается побегом, оружие применяется без предупреждения!.. Понятно?

– Понятно! – ответили нестройные голоса.

– Пошли!

Колонна двинулась вперед.

Моргунов шел, не замечая пути. Он думал о жизни, о работе, о выводах, на которые натолкнула его только что спетая песня, о странном, смешанном чувстве горечи и удовольствия, возникающем в результате физического труда.

– Конечно, – думал он, – общественная эффективность выполняемой мной и другими интеллигентами работы несравненно ниже того, что мы можем дать, работая в сфере умственного труда. За двенадцать часов можно прочесть и усвоить двадцать–двадцать пять страниц трудного философского текста, можно прочесть сотню–другую страниц беллетристики, за двенадцать часов можно переписать тридцать–сорок тетрадочных страниц чернового конспекта или написать добрый десяток писем!

Воспоминание о письмах увело его мысли на другую дорогу. «Письма!.. Как жаль, что из лагеря разрешают отправлять не более двух штук в месяц, да и эти-то два надо писать покороче, а то могут пропасть. Цензура длинных писем не пропускает. Почему?.. А кто их знает, почему. Наверно, потому, что их долго читать! Конечно, писем много, а цензор один, он не управляется, но... но мне-то от этого не легче», – думал Моргунов и тоскливо мечтал найти возможность отправлять свои письма «налево», то есть по вольной почте. Ведь прошло так много времени, а он до сих пор так и не сумел написать Марусе ничего существенного. Короткие письма, вроде «Жив, здоров, целую, передай привет всем», конечно, не в счет. А сколько надо было бы рассказать, скольким поделиться!

Он думал о письмах, и все внутри него начинало кипеть. Письма из дома были в его положении единственным утешением и отрадой, но лагерные беликовы добавляли в отраду немало отравы: усердствующая цензорша – человек с куриным кругозором и психологией кухарки – вымарывала на них десятки строчек, вымарывала просто так, безо всякого смысла, по-видимому, для того, чтобы ее считали умной и бдительной. Моргунов пришел к такому выводу, когда ухитрился как-то, с помощью сидевшего вместе с ним реставратора, счистить с зачеркнутого текста цензорские мазки. Под ними оказались весьма обычные, ничем не примечательные строчки, вычеркивать которые, с точки зрения даже очень суровой цензуры, не было никакой необходимости. Но эти строчки имели для Моргунова исключительно большое личное значение. Они показали, что многие горькие слова, прочтенные им в нетронутой цензурой части письма, сошли с Марусиного пера только в порядке раздумья, и что она по-прежнему любит его и ждет его возвращения.

Ох, это письмо! Он запомнил его на долгие годы. Маруся писала, казалось, о самых обыкновенных делах: об учебе, об экзаменах, о переходе на следующий курс. Очень глухо и осторожно говорила она о каких-то неприятностях, о том, что ей удалось парировать наскоки неких злопыхателей, но Моргунов, успев за

недолгую совместную жизнь изучить самые тонкие нюансы в проявлениях душевной деятельности своей Марусеньки, прочел в письме ненаписанные в нем и страшные для себя факты.

Он понял, что Маруся устает нести тяжелый крест жены заключенного, что атмосфера вокруг нее сгущается, а ее положение вызывает какие-то неизвестные ему осложнения. Он понял также – и это было самым тяжелым, – что у Маруси в душе начался еще неосознанный ею разлад между любовью к нему и ее всосанными с молоком матери взглядами. Несмотря на бодрый тон, письмо казалось печальным, и только вымаранный цензурой, но восстановленный Моргуновым текст немного утешил его.

Он написал Марусе ответ. Написал, прочел и понял: посылать нельзя! Не пропустят! Да и неприятностей будет – вагон!

Надо было уничтожить написанное, но стало жаль. Письмо писалось душой, сердцем, нервами, всем существом. Захотелось во что бы то ни стало сохранить его, сохранить и прочесть Марусе хотя бы через пять лет, хотя бы тогда, когда все будет кончено. «Сохранить! Но как это сделать? Ведь заключенных систематически шмонают, каждую найденную бумажку отбирают с концами. Сколько обысков предстоит еще за остающиеся четыре с лишним года! Как ни прячь – гарантии нет: все равно могут найти!» Мелькнула мысль – выучить наизусть! Но он тут же отверг ее: «Прозаические тексты плохо запоминаются, вот если бы это были стихи!»

Новая мысль захватила его: «А почему, собственно говоря, не переделать письмо в стихотворение? Разве для этого надо быть Божьим избранником? Я же не претендую на звание поэта и членство в Союзе советских писателей, а ритмичная, рифмованная речь мне совсем не чужда. Ведь недаром я когда-то конспектировал Томашевского».

У Моргунова забилось сердце, мысли пришли в полную ясность, и карандаш быстро забегал по бумаге. Он писал, и зачеркивал, и надписывал над текстом новые слова и целые строчки, вставлял их в середину уже отработанных строф, делал дополнительные сноски, и звездочками отмечал места, куда их надо будет вписать. Через некоторое время перед ним лежало законченное стихотворение.

В сознанье врезались немые отпечатки,
Я стал иным,
В страницы мозга мрачные закладки
Мне заложило горе-пилигрим.

Я телом постарел,
Душой остался молод,
И мысль таю,
Что среди дел
Душевный стихнет голод
В чужом краю.

Здесь лес и снег,
И проволока зоны,
И вышка с часовым,
Здесь проклят человек,
Поются песни-стоны,
Мечты плывут как дым.

Здесь бревна душу мнут, здесь край нуждою дышит,
Тоской звеня;

Но всех оков и пут,
Всех тягостей мне выше
Жена, семья.

О вас одних, о вас одних мечтаю,
Летят мечты.
Мне безразлично все, мечты несутся стаей,
И в них я там, где ты!

Моргунов прочел свое стихотворение, и ему стало стыдно: «После Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского заговорил стихами и Моргунов! Фу, как банально!..» Но... дело сделано! Стихотворение, если его можно так назвать, написано. Оно запомнилось сразу, прочно-напрочно врезалось в память.

– Ну и пусть! – упрямо сказал он. – Пусть! Подумаешь – грех! Все мы через это проходим!

Откровенно говоря, само стихотворение казалось ему неплохим. Он не видел ничего предосудительного в том, что образ «песни-стоны» принадлежат Некрасову, а слова «край нуждою дышит» были несомненным перепевом гетевско-толстовского – «ты знаешь край, где все обильем дышит...» Ему нравились и форма стихотворения, и его ритмы, и неравномерность строк, и расстановка цезур, и даже придуманные им ассонансы. Неприятной была только мысль о том, что это он, так иронически относившийся к стихотворным потугам своих однокашников, – это он сам, в трудный для него момент, «опустился» до писания стихов. И еще неприятно было, что стихотворение оказалось «идеологически порочным», что оно рассказывало об упадочных настроениях, о безразличии к жизни, об уходе его автора в личный маленький и убогий мирок. Моргунов считал такие настроения для себя нехарактерными, и, действительно, они появлялись у него только временами и быстро исчезали.

Поэтому, совершив свой смертный стихотворный грех, Александр Сергеевич слез с нар, сел к столу и написал Марусе короткое, прозаическое, но содержательное письмо, назначением которого было поддержать и подбодрить ее.

Цитатой из Ромена Роллана: «Жить – значит каждый день умирать и каждый день бороться», – начал Моргунов свое послание, а кончил его цитатой из Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»

Он перечитал письмо, мысленно одобрил его, приписал внизу: «Крепко целую тебя, моя дорогая, желаю здоровья и бодрости. Выше голову!» и подписался: «Твой Саша».

XII

На весь мир прогремел в Москве процесс «троцкистского параллельного центра», показав человечеству, – как писали газеты, – «чудовищную картину омерзительного гниения контрреволюционного подполья». Во всех советских источниках информации – газетах, журналах, радиопередачах, кино, докладах и лекциях, – утверждалось, что Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков, Муралов, Богуславский и другие широко известные, высокопоставленные советские работники, старые члены ВКП(б), прошедшие с ней трудные и опасные годы революции и гражданской войны, что эти, думалось бы, беззаветно преданные партии люди уже много лет тайно боролись против дела социализма. Сталинские теоретики не находили в этом ничего удивительного. Они объясняли народу, что подсудимые, «начав с троцкистской антиленинской теории о невозможности построения социализма в одной стране», вполне закономерно и логично «докатились до предательства Родины, до шпионажа и диверсий, до террора и

попыток организовать интервенцию». «Они, – говорилось на процессе, – хотели реставрировать капитализм, уничтожить семичасовой рабочий день, распустить колхозы, отдать империалистам Украину, Приморье и Приамурье. Они хотели убить товарища Сталина!»

Известия, поступающие из Колонного зала Дома Союзов, в котором проходили заседания Верховного Суда СССР, личные безоговорочные признания и подробные показания обвиняемых поражали и ошеломляли так же, как и во времена предыдущих процессов, они казались немыслимыми, невероятными, неправдоподобными, но не верить им было невозможно: газеты печатали стенограммы допросов. И простые советские люди, оглушенные и потрясенные неслыханным вероломством, хитростью и лицемерием разоблаченных преступников, глубоко возмущались и негодовали на них, а поскольку дула террористических револьверов были направлены, как это «выяснилось» на процессе, на Иосифа Виссарионовича Сталина, новая вспышка любви к нему заполыхала на советской земле.

– Эти убийцы метили в сердце и мозг нашей партии, – взволнованно говорил секретарь Московского Комитета ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев на митинге трудящихся Москвы, посвященном приговору Верховного Суда. – Они подымали свою злодейскую руку на товарища Сталина. Подымая руку на товарища Сталина, они подымали ее против нас всех, против рабочего класса, против трудящихся! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали ее против учения Маркса-Энгельса-Ленина! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали ее против всего лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин – это надежда, это – чаяния, это – маяк всего передового и прогрессивного человечества. Сталин – это наше знамя! Сталин – это наша воля! Сталин – это наша победа!

И широкие народные массы советской страны, не задумываясь над подоплекой происходящего, одобряли, – по крайней мере на людях, – приговор Верховного Суда. Да и не только на людях! Многие действительно верили, что в СССР существует, как это утверждал один из ораторов, «невиданное раньше внутреннее моральное и политическое единство народа, моральное и политическое единство социалистического общества», – верили и вместе с тем не видели никакого противоречия между существованием единства и наличием в том же обществе широко разветвленных вражеских организаций. Им объясняли, что противоречие это – диалектическое, кажущееся, и разрешается очень просто.

«Как случилось, что в таком обществе скрывались изверги и злодеи, что они нашли в нем, хотя бы и ограниченную, питательную среду для существования и размножения? Почему их не распознали, не разгадали, не разоблачили сразу? Куда делась большевистская революционная бдительность советских людей?»

Ответ на эти вопросы давался необычайно простой. Во всем оказалось виновато «тлетворное влияние правого уклона, уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм и станут, в конце концов, настоящими социалистами; оно, это влияние, – разъясняли сверху, – проникает из смрадных тайников уклонистской идеологии в чистую атмосферу советской страны и незаметно, тихой сапой, заражает сознание наших людей политическим благодушием и обывательским ротозейством. Это явление нисколько не противоречит, – говорили объясняющие, – реально существующему морально-политическому единству народа и партии. Единство – единством, а враги – сами собой. Унывать, однако, не следует. Надо немедленно исправить допущенное. Выше бдительность! Долой гнилые теории о постепенном затухании классовой борьбы! Надо все время быть начеку!»

И граждане начинают подозрительно приглядываться друг к другу, ищут в своей среде врагов народа, шпионов и диверсантов, ищут притаившихся

двурушников и контрреволюционеров, уклонистов, шовинистов, троцкистов, зиновьевцев...

В каждом обычном поступке, в каждом обыкновенном действии сослуживца или соседа мерещится неведомый, тайный смысл, мерещится подвох или злонамеренность, в каждой ошибке мерещится умышленный выпад врага и скрытая контрреволюция. Идут аресты. Переполняются тюрьмы. Сеть «исправительно-трудовых» лагерей все шире покрывает страну. В воздухе пахнет страхом и неуверенностью. Прикрываясь флагом бдительности, интенсивно лезут наверх клеветники, карьеристы и перестраховщики.

И все это безумие быстро просачивается через колючую проволоку лагерных оград, и Моргунов видит, как заключенных по 58-й, несущих на себе всю тяжесть производственной деятельности и все хозяйство лагеря, снимают с руководящих и инженерно-технических должностей и переводят на общие работы. Для них отменяются зачеты рабочих дней, вводятся дополнительные ограничения переписки, цензура становится все свирепей, обращение хуже. На освобождающиеся административные должности выдвигаются урки и бытовики, и результаты не заставляют себя ждать: пышно расцветают взяточничество и воровство, интриганство и подхалимство. Лагерное хозяйство ухудшается с каждым днем, а виновных в этом ищут опять-таки среди 58-й: «Они – враги! Они и вредят!»

Моргунов тоже, хоть и в незначительной степени, попадает в число прижимаемых. Уже в первые дни пребывания в лагере стремление все знать и быть в курсе всех происходящих на свете событий привело его в КВЧ. Он завел там знакомство и ухитрялся первым на ОЛПе получать свежие газеты и журналы, приняв на себя обязательство читать их вслух в своем бараке.

Начальник КВЧ пришел в восторг от начинания Моргунова, но быстро сник: некто бдительный вспомнил, что Моргунов осужден по пятьдесят восьмой, и ему запретили проводить коллективные читки, поручив это дело какому-то ссученному уркагану. Уркаган был малограмотным, обладал скверной дикцией, не выговаривал ни одного иностранного слова и читать вслух вообще не умел, но зато он «не был контриком», и лагерное начальство считало его «своим», то есть таким, которому можно было доверить культурно-воспитательную работу среди «врагов народа».

«Врагами народа» администрация лагеря, подражая происходящему на воле, называла заключенных по пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса, и так же называл их заменивший Моргунова в роли чтеца уркаган, коему за его «высокополезный и тяжелый труд», как острили зека, начальство присвоило титул культорганизатора и предоставило официально узаконенное право на безделью и беззаботную жизнь.

Язвительные интеллигенты в виде негласного протеста против прилепливаемого к ним пакостного ярлыка прозвали своего новоявленного культурника «другом народа», ни в малейшей степени, конечно, не намереваясь обидеть этим ни светлую память Жана-Поля Марата, которого они искренне уважали, ни его «Journal politique, libre et impartial, l'ami du peuple».

Термин «друзья народа» возник неизвестно где и не был шуткой или остротой какого-либо отдельного балагура. Он появился в результате активной психологической обороны массы обиженных людей и распространился по всем лагерям Советского Союза как противовес этикетке «враги народа», вызывающей в среде образованной части заключенных явно саркастическую реакцию. Носители этикетки высмеивали ее как неумное и неуместное заимствование из истории Великой французской революции. Так называемые «враги народа» знали, что название это восходит к 10 июня 1794 года, то есть ко дню, когда якобинский Конвент принял «Закон 22 прериаля» и объявил «врагами народа» тех, кто

«способствует замыслам объединенных тиранов, направленным против республики»; знали они также, что в Конституции СССР, только что торжественно утвержденной VIII Всесоюзным Съездом Советов, в статье 131 черным по белому записана четкая формулировка: «Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа». Таким образом, название имело вполне определенное историческое и юридическое значение.

Но вот, вопреки историческим понятиям и юридическим нормам, по дикому сталинскому капризу, «врагами народа» стали клеймить всех, кто имел несчастье попасть под немилость органов НКВД.

Клеймо действовало безотказно, оно прилипало к любому без какого бы то ни было суда или следствия, и каждый обозванный им человек, независимо от наличия или отсутствия каких-либо доказательств его предполагаемой вины, мог считать себя обреченным если не на расстрел, то на долгие годы тюрьмы или лагеря.

Лишение права проводить громкие читки на том основании, что он – «враг народа», сильно обидело Моргунова, он возмутился всеми фибрами души, но спасительное свойство ко всему привыкать выручило и на этот раз.

Уже через два–три дня он вспоминал о случившемся с полным равнодушием, тем более что ход событий на воле и в лагере чуть ли не каждый день приносил новые треволнения и заботы.

XIII

Присвоение народному комиссару внутренних дел СССР Николаю Ивановичу Ежову звания Генерального комиссара государственной безопасности ознаменовалось в лагере поголовными дополнительными обысками. Людей поднимали среди ночи, сгоняли с нар, тщательно обыскивали, перерывали их вещи, осматривали щели в стенах, полу и потолке.

У Моргунова вохряк нашел большой складной нож, только что сделанный в мастерской. Он отдал за него целую пайку хлеба. Вохряк нашел и чуть было не завопил, но, увидев прекрасное качество лезвия, передумал и, подмигнув Моргунову, сунул нож себе в карман.

– Ладно, парень, – сказал он, хлопнув Александра Сергеевича по спине. – Давай, гуляй и не бубни!.. Понял?!.

Моргунов с благодарностью посмотрел на вертухая.

– Черт с ним, с ножом! Лучше один нож, чем пять–десять суток холодного карцера с трехсоткой и урками.

Ночь прошла без сна, а в пять тридцать утра, как и всегда, зазвенел под ударами железного штыря обломок железнодорожного рельса, висящий у вахты.

– Подъем!

И измученных, на ходу засыпающих людей опять повели на мороз, на работу.

Вечером удалось раздобыть газеты. Казалось – мир помешался. Ежова именовали «ближайшим соратником товарища Сталина» и «любимцем народа». Ничего не стоящему мелкому факту придали значение исторического события. Во всех предприятиях, учреждениях и организациях одной шестой части мира прошли митинги и собрания, и их резолюции слились в один восхищенный, ликующий и приветственный клич:

– Да здравствует верный страж государственной безопасности – НКВД и его славный руководитель, Генеральный комиссар государственной безопасности Николай Иванович Ежов!

Этот клич, размноженный лагерными художниками на десятке фанерных листов, заполнил стенды наглядной агитации ОЛПа, а начальник его обратился с заключенным по местному радио с призывом отметить событие ударным трудом.

Он совсем недвусмысленно намекал, что только не желающие исправляться враги народа, только озлобленные вражеские недобитки могут не перевыполнять в такие дни установленные нормы выработки. «Но для этих злодеев, – добавил он как бы нехотя, – у советской власти средства найдутся. Винтовочный патрон стоит всего семь копеек».

Речь произвела удручающее впечатление. Назавтра у всех все валилось из рук, но десятники, производя замер выполненных работ, – то ли из жалости, то ли по указанию свыше, – туфтили нещадно. По их рапортам, отстающих не было. Все бригады выполнили дневное задание и индивидуальные нормы на полтораста процентов, о чем торжественно и пространно сообщил начальник лагеря в своей поздравительной телеграмме Ежову.

Психопатический шухер, связанный с процессом «троцкистского параллельного центра» и присвоением звания Ежову, длился в лагере несколько дней, а потом подуло успокоительным лирическим ветерком столетней годовщины со дня смерти Пушкина, и все вошло в свою норму. КВЧ замыслила было устроить вечер памяти поэта, но среди урок и бытовиков не нашлось человека, способного сделать доклад, а «врагов народа» оперуполномоченный допускать не велел. Началась мышиная возня: кого-то готовили, кто-то готовился, где-то договаривались и упрашивали, согласовывали и утрясали, а дни тем временем все проходили и, в конце концов, годовщина миновала, а вечер так и не состоялся.

Моргунов с небольшой группой своих друзей по работе оказался намного оперативней. Выйдя 10 февраля, как и всегда, на свое место в лес, они окончили работу часа на полтора раньше, собрались у костра и начали – кто во что горазд – поминать Пушкина: декламировали на память его стихи, пересказывали прозу; Моргунов рассказал о дуэли, о Дантесе, о Николае I, о состоянии русской общественной мысли и о придворной камарилье тридцатых годов XIX века. Его слушали с громадным вниманием.

Нашелся у костра и еще один развитой человек, он побывал во многих пушкинских местах и очень интересно рассказал о них. Перед слушателями проплыли пушкинские музеи: дом на Мойке, село Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорский монастырь, подмосковные усадьбы Архангельское и Остафьево, дворец Воронцова-Дашкова в Алупке, знаменитое Болдино, и многое-многое другое. Рассказ в соответствующих местах иллюстрировался отрывками из стихотворений. У людей засияли глаза, раскрылись души. Казалось, не было позади ни тюрьмы, ни лагеря, ни несправедливых обвинений. Стало хорошо и спокойно. Сердца и мысли людей вознеслись на самые небеса.

Будничные окрики конвоиров, предлагающие построиться по два, вернули их на землю. Люди с грустью оторвались от костра, встали, как полагается, выслушали обычную «молитву» и пошли в лагерь.

На следующий день в лесу, у костра, снова зазвучали стихотворения Пушкина, и опять на душе стало тепло и приятно, но лирические настроения в лагере долго не держатся, – слишком сурова, а подчас и груба, жизнь заключенных. Мелочи вытесняют большое, и из-за деревьев становится не видно леса. Всего лишь через несколько дней новые, более острые и злободневные события, – война в Испании, смерть Орджоникидзе, – разрушили красивые иллюзии, созданные поэзией Пушкина, и снова борьба хоть за какое-то подобие человеческой жизни поглотила думы и внимание лагерников.

В Испании продолжались жестокие битвы. В феврале мятежники захватили Малагу и зверски расправились с враждебным им населением взятого города, а месяц спустя правительственные войска наголову разбили под Гвадалахарой две отборные дивизии воюющих на стороне Франко итальянцев и сильно продвинулись вперед. Моргунов и его товарищи по несчастью с жадностью

следили за положением на фронтах, наивно полагая, что успехи республиканцев могут ослабить испытываемые ими в лагере прижимы и притеснения, интенсивность которых они по инерции связывали с международным положением.

В начале апреля новая весть всколыхнула начавшее застывать лагерное болото: «ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного порядка отрешен от должности и передан следственным органам Народный комиссар связи СССР Г.Г.Ягода». Урки ликовали: «Ягода проворовался», но 58-я почесывала в затылках: «Нет, тут что-то не то! Как бы не было хуже!»

Много новых душевных мук и страданий принесло Моргунову прочитанное в газетах сообщение, что МХАТ показал 21 апреля премьеру «Анны Карениной». На премьере присутствовали Сталин и некоторые члены Политбюро. «Спектакль прошел с большим успехом. Он превратился в выдающееся явление театральной жизни», – писала «Правда». На Моргунова с новой силой нахлынули воспоминания и растравили начинающие заживать раны. Они напомнили о Москве, о Марусе, о совместных посещениях Художественного театра, и всю ночь, лежа на нарах в душном и темном бараке, Александр Сергеевич грезил о скромном, простом театральном занавесе с изображенной на нем стилизованной чайкой.

XIV

В марте и апреле дни уже заметно прибавились, а в связи с этим увеличилась и продолжительность рабочего дня. Работать в лесу стало трудней и утомительней, хотя впереди уже маячил конец. Шли последние дни зимнего повала. Широкая просека разрезала лес на много километров вперед и подошла к реке.

Приближалась весна. Все чаще и чаще расступались над замерзшей землей облачные покровы, выглядывало и грело солнце, оседала укутанная белой оболочкой поверхность, и снег становился слабым и рыхлым; плотно утоптанная тропа, по которой бригады ходили на работу, раскисла и перестала держать, люди часто проваливались в снег, попадали в скапливающуюся под ним воду, промачивали еще необмененные на летнюю обувь валенки и проклинали все на свете. Весна не радовала, хотя ее ждали с нетерпением и желали, чтобы она поскорее пришла.

Лагерь готовился к 1-му мая, обновляли громадные плакаты: «В жаркой работе тает срок!», «Труд искупает вину!», «Перевыполнение норм выработки – путь к досрочному освобождению!», «Ударим по врагам народа высокой производительностью труда!». На большой «доске объявлений» напротив вахты ежедневно появлялись огромные «молнии»: «24 апреля з/к Горобец (бр. № 49) выполнил норму на 187 %. Слава передовикам производства!». «Молнии» походили одна на другую, как новые телогрейки: в них обновлялись только фамилии и цифры, текст же оставался неизменным. Однажды кто-то ухитрился перед словом «слава» подрисовать еще одно – «вечная», получилась двусмысленность. После этого незадачливый лозунг из «молний» исчез, его заменили призывом, испортить который было гораздо труднее: «Равняйтесь на передовиков производства!» Оперуполномоченный начал, конечно, следствие по делу о порче плаката, но оно результатов не дало, и посаженных в изолятор художников выпустили обратно в зону.

За несколько дней до праздника возобновились усиленные обыски. Тщательно обшарили все бараки один раз, затем другой, а накануне первого мая и третий, с вниманием осматривали и ощупывали каждого переступающего порог вахты. Во время разводов перед выходом бригад на работу и при возвращении с нее у ворот образовывались значительные пробки. Искали ножи, карты, спиртные напитки,

неофициальную переписку. У дневальных на дни праздников отобрали пилы и топоры, всем расконвоированным закрыли пропуска, в зоне установили дополнительные дежурства вохровцев и регулярные обходы бараков. Десятка два «наиболее опасных врагов» водворили в изолятор.

И вот 1-е мая наступило. Питание в этот день оказалось резко улучшенным. Каждый заключенный дополнительно к обычному завтраку получил белую булочку и по паре жареных пончиков, а на обед – на третий котел – борщ, сваренный на мясе, мясные котлеты с гречневой рассыпухой и по два пирожка с повидлом. Вечером в столовой показывали кино – «Партбилет». Фильм, на удивление всем, оказался свеженьким, недавно вышедшем на экраны, и рассказывал об изворотливом враге народа – кулацком сыне, пролезшем, благодаря благодушию и ротозейству беспечных товарищей, в партию, и натворившем, конечно, много пакостей и бед. Фильм звал к бдительности, вниманию и настороженности, учил распознавать врагов народа, где бы они ни скрывались, и – косвенно – еще раз напоминал о мудрости и прозорливости вождя.

Моргунов, зная, что 1 мая будет нерабочим днем, надеялся как следует отоспаться, написать письма, раздобыть и почитать последние газеты, побеседовать с некоторыми людьми. Но его надежды оказались тщетными: отдыха не получилось.

Опасаясь, по-видимому, оставлять заключенных незанятыми, командование лагеря устроило в этот день генеральную поверку. Всех людей сразу после завтрака собрали по бригадам, вывели за зону и, оставив там под усиленным оцеплением, начали пропускать обратно, сверяя личность каждого с заведенным на него лагерным формуляром. Поверка шла медленно, кропотливо; в формулярах, разложенных по бригадам, попадались ошибки, иногда они лежали не на месте, и нарядчики в поте лица разыскивали их в других пачках.

С утра было тепло и солнечно, но потом, в середине дня, погода испортилась, набежали тучи, стало пасмурно, подул холодный ветер, – сивер, как его тут называли, – пошел мокрый, противный снег. Люди мерзли и томились от безделья, приплясывали, чтобы согреться, с нетерпением ждали конца и громко ругались; густой, лагерный мат висел в воздухе.

Недалеко от вахты находилась площадка для разделки и заготовки дров для зоны. На ней оставалось несколько кубометров готовых расколотых поленьев. Моргунов уговорил вохровцев пропустить туда ребят из его бригады, чтобы они принесли дрова и разложили костры – для себя и, само собой разумеется, для охраны. Вохровцы мерзли так же, как и зека, и поэтому согласились. Вскоре костры запылали: у вохровцев – маленький, у заключенных – громадный. Стало веселей. На огонь потянулись люди со всех сторон. Одни подходили боязливо, опасаясь, что их прогонят. Другие нахально, без спроса, лезли к самому огню.

Моргунов расположился у костра с наветренной стороны, предусмотрительно подложив под себя, – чтобы не сидеть на голой, еще неоттаявшей земле, – два гладких сухих полена. Он с удовольствием вытянул к огню усталые, захолодевшие ноги в новеньких хромовых, хорошо вычищенных сапогах, недавно присланных ему в посылке Марусей, и с удовольствием чувствовал, как они согреваются. Тепло шло на него волнами, стало приятно. Он вспомнил рассказы об Англии. «Вероятно, такое же блаженство испытывают и англичане, садясь после трудового дня у пылающего камина, вытянув ноги, расслабив все мускулы и не думая ни о чем тревожном... Хорошо!»

Его созерцательное настроение было нарушено небольшой группой урок, – женщиной и двумя мужчинами, подошедшими к костру. В противоположность разнузданности, проявляемой ими там, где они составляют большинство, урки, как и всегда в таких случаях, вели себя «чинно-благородно».

– Кто здесь старшой? – почти что робко осведомился один из них, здоровенный, с расстегнутым воротом и открытой татуированной грудью, детина. – Ты, что ль?.. Разрешите погреться!

– Садись! – поборов в себе неприятное чувство, сказал Моргунов. Он сразу узнал эту незваную троицу. Заговоривший с ним парень был бригадиром уркаганской бригады, звали его Васек. Конечно, кроме клички, у него несомненно имелись имя, отчество и фамилия (и по всей вероятности, даже несколько вариантов их), но все это – только для формуляра. В своем блатном мирке, да и во всем ОЛПе, его звали и именовали исключительно по кличке. Ему было за тридцать, но выглядел он гораздо моложе. Здоровый, настойчивый, временами добродушный, но чаще всего грозный, он отбывал срок по девятой судимости и одним своим видом наводил страх на всю воровскую мелкоту.

Его спутник, Мишка-Кирпатый, имел фигуру совсем незаметную: маленький, лысый, до времени состарившийся, обрюзгший, с постоянно небритым лицом. Когда-то наглый и опытный домушник с несчетным числом судимостей, он доживал теперь свой недолгий и незавидный век в положении преданной и послушной «шестерки» у здоровенного Васька. Васек очень ценил его, всюду таскал за собой и в обиду не давал, а Кирпатый в чем только мог высказывал ему свое почтение, услужал, льстил, подхалимничал, «шестерил» и наушничал обо всем, что удавалось услышать в бригаде.

Услуги Кирпатого часто бывали незаменимыми, особенно когда Ваську представлялся случай позабавиться с девочкой. Васек считал себя в этом отношении аристократом и, не желая уподобляться другим, терпеть не мог заниматься любовными делами на общих нарах, то есть у всех на виду. Кирпатому же почти всегда удавалось подыскивать для этого отдельные «апартаменты» и находить для нежных занятий своего покровителя самые невероятные места.

Пользуясь лично им изготовленными отмычками, Кирпатый имел доступ в некоторые, обычно запертые, но не охраняемые сооружения, вроде кухонного дровяного сарая, дневной обогревалки бараков-новостроек, тамбура дополнительного – как правило, закрытого – входа в управление ОЛПа и, наконец, самого излюбленного и безопасного для таких дел убежища – морга санчасти.

Ловко и незаметно проникнув в нужное помещение, Кирпатый быстро подготовлял импровизированное ложе любви к немедленной эксплуатации; он разбирал и раскладывал дрова, убирал мешающие предметы, сдвигал в сторону мертвые тела и вытирал сукровицу, которая иногда натекала на стеллажи из вскрытых трупов. Затем он давал знак своему патрону, а сам выходил и оставался на стреме до конца короткого и быстро совершающегося сеанса. Бывало иногда, что ублаготворенный Васек, грозя ножом, приказывал своей даме сердца «утешить и старика», и тогда Кирпатый, дрожа от возбуждения, испытывал на ней свои угасающие силы, но чаще всего Васек исчезал вместе с дамой, а несолоно хлебавший Кирпатый тщательно приводил грешное место в первоначальный вид и вновь запирал ранее открытые замки.

Надо полагать, что об отмычках Кирпатого вохровцы знали, но обнаружить их у него не могли: Кирпатый хранил отмычки в одному ему известном тайнике. Так же не могли они, а может быть, боясь связываться, и не хотели застать Васька на месте его утех, и Васек их нисколечко не боялся.

Когда Моргунову рассказали, для каких целей приспособили тоскующие заключенные олповский морг, он поразился:

– В морге?! Да что вы?! Как же это можно?

– А что особенного? – ответил ему вопросом на вопрос его собеседник, бывший ленинградский бухгалтер, человек средних лет, сидевший по пятьдесят восемь-десять. – В морге очень удобно, вохровцы туда не лазят: они мертвых боятся.

– Вохровцы боятся... а пользующиеся моргом – нет?

– Нет, эти не боятся, Они знают, что мертвый не стукнет и к куму не побежит. Живых надо бояться, а не мертвых! Вот так!

– Ну, все равно! Дело не в страхе. Но ведь противно же: должна существовать хоть какая-нибудь брезгливость!

– Брезгливость, Александр Сергеевич, дело условное, сегодня есть брезгливость – завтра нет. Мало ли кому что противно. Мне, например, противно в лагере сидеть, а приходится. Ну, и привыкаешь!.. А без этого ведь, знаете, как трудно!.. Закон природы!

Моргунов понял, что его собеседник тоже, вероятно, пользовался моргом, и, почувствовав неловкость, не стал продолжать разговор, но сейчас, когда Васек расположился напротив него у костра, вспомнил об этом и с любопытством стал к нему приглядываться.

Ему помешала Машка, она же «Графиня», – женщина, пришедшая вместе с Васьком и Кирпатым. Это была известная всему лагерю хулиганка, в прошлом московская проститутка, еще молодая, стройная и внешне – если бы не вульгарное и испитое лицо – даже привлекательная. Моргунов неоднократно видывал ее на разводах, одетую в ватные брюки и лагерный бушлат, грязную, оборванную, растрепанную, вечно с кем-нибудь скандалящую, и она внушала ему отвращение. Сегодня, то ли по поводу праздника, то ли по случаю недавно прибывшего женского этапа, состоявшего из «членов семьи», – этапа, разграбленного урками, прежде чем приехавшие успели сообразить, что с ними происходит, – Графиня была одета как великосветская леди. Хорошее платье, тонкие чулки, модные туфельки, причесанная голова и ярко накрашенные губы изменили обличие этой «особи женского пола» и превратили ее в женщину. Моргунов, взглянув на нее, неожиданно почувствовал какое-то смутное беспокойство и инстинктивное, им самим не осознанное желание оказаться с ней где-нибудь, пусть даже в морге, вдвоем.

– Дай погреться, студентик! – очень громко и игриво произнесла Машка, обращаясь к Моргунову, и, не ожидая ответа, опустилась рядом с ним на землю. – Ой, какие у тебя прохори классные! – закричала она, увидев сапоги, и прижалась к нему. – Давай протолкаем!.. А?

Как ни мало был знаком Моргунов с блатным языком, но смысл машкиного предложения понял и от внезапности густо покраснел. Не найдясь сразу что ответить, он отодвинулся от нее в сторону, но она, под дружный смех окружающих, тотчас прильнула к нему опять и даже сделала попытку обнять его.

В этот момент Васек неожиданно пришел Моргунову на помощь:

– Машка! – зычно закричал он с той стороны костра. – Ты чего, б..., к студенту лезешь? Все равно он тебя ...ть не станет!

Моргунов ужаснулся: «такие слова... женщине!» Но женщина ни капельки не смутилась.

– Почему же это он меня ...ть не станет? – так же громко и вызывающе закричала она в ответ Ваську, четко выговаривая все неприличные слова. – Что, у меня п... не как у людей?

И не дожидаясь ответа, повернулась к Моргунову:

– Не слушай его, миленький! Давай, протолкаем! Хочешь – Марусенькой буду?.. Я умею по-всякому...

Марусенькой!.. Произнесенное имя решило все. Моргунов как-то слышал мельком, что «Марусеньками» в лагере именовали особенно искусных во всякого рода извращениях жриц богини Венеры, помнил он также и то, что Графиню зовут Машкой, Марусей, но неожиданное случайное соприкосновение имени любимой жены с чем-то постыдным и грязным его потрясло.

У Александра Сергеевича потемнело в глазах. Густая смесь отвращения, ненависти, обиды поднялась откуда-то из груди и захлестнула мозг. Он видел перед собой не человека, не женщину, а омерзительную уголовницу-рецидивистку, для которой все человеческое ничего не стоит. И вся его интеллигентность испарилась как дым. Почти не отдавая себе отчета в своих поступках, он вскочил и, резко оттолкнув от себя Машку, громко и грубо сказал:

– Иди-ка ты отсюда к ...й матери!

Графиня, видимо, не сразу поняла, и тогда он, ухватив ее за шиворот, сильно наподдал коленом пониже спины и, не владея собой, закричал:

– Тебе говорят: убирайся... – он еще раз повторил только что произнесенное мерзкое ругательство и, трясясь от нервного возбуждения, повернулся к костру.

– Ах, ты так, сука позорная, – пронзительно завизжала Графиня. – Так вот же тебе! – Она быстро задрала юбку на голову и показала заднее место. – А прохори я у тебя все равно уведу! Прощайся с ними!

Народ у костра гоготал.

Через несколько дней у Моргунова, ночью, во время сна, исчезли сапоги. Розыски их никаких результатов не дали. Дневальный плакал и клялся, что не спал. «В эти сутки никто посторонний в барак не заходил, – утверждал он, – разве что в тот момент, когда я отлучился до ветру». Допрос его оказался безрезультатным. Выведать что-нибудь у урок тоже, конечно, не удалось. След сапог потерялся.

Моргунов очень огорчился пропажей, но еще хуже было, пожалуй, то, что ему мало кто посочувствовал. Большинство в похищение не верило.

– Да ну! – говорили они. – Скажешь тоже: украли!.. Почему же у нас не крадут?.. В нашем бараке не воруют! Протолкал, вероятно, с Машкой! Чего уж там... Парень молодой, утерпеть трудно.

Отрицать и оправдываться просто не стоило, и Моргунов молча проглотил обиду и еще больше возненавидел урок, почти полностью перестав замечать в них хоть какие-нибудь человеческие черты.

XV

Надо было терпеть и превозмогать отвращение ко всем этим Графиням, Васькам, Кирпатым, ко всей этой нечеловеческой и низменной лагерной системе, в которой даже хорошие, но недостаточно стойкие люди легко портились и смыкались с уголовниками. Моргунов часто вспоминал о пережитом, о воле, о доме, о тех, кто встречался на ухабистом жизненном пути, и среди наиболее ярких и чистых людей неизменно выделял Дмитрия Ивановича Кучина.

– «Где он теперь? Куда его взяли?.. Какова вообще его жизнь?.. И как странно: Катя!.. Наша любимая, близкая Катя – его жена!.. Они разошлись... и никому – ни слова!.. Надо же так!.. Написать, что ли, домой, поинтересоваться... Может быть, Катя что-нибудь знает о нем?.. Но как это сделать?!. Выдать их тайну?!. Нет, нельзя!»

Моргунов думал о Кучине, а тот в это время вместе с массой других заключенных грузился в маленьком поселке Порожске на баржу, с тем, чтобы по весенним разлившимся рекам – Ижме, Печоре, Усе – идти, как они случайно узнали из подслушанного разговора двух конвоиров, – на Воркуту. Дорога предстояла дальняя, но измученный лагерем Кучин не выражал недовольства. Кончился наконец-то кошмар пешеходных этапов и непомерно тяжелых земляных работ на строительстве тракта Чибью-Крутая. Можно будет теперь отлежаться и отдохнуть. Правда, жратва на этапе плохая: семьсот граммов хлеба, двести – селедки и сахара – двадцать. Не потолстеешь, но – не умрешь! Зато больше не надо надрываться на кубиках и катать тяжелую тачку, больше не надо

зависеть от уголовников, напиханных на всевозможные злачные должности, от нарядчиков и воспитателей до начальников лагерных пунктов.

Как скверный сон, вспоминал он последний свой год. После того, как ему долго шили, но так почему-то и не пришили восьмой пункт, после того, как, угрожая всем, чем только можно, и обещая все, чего нельзя, его долго уговаривали, но так и не сумели уговорить выступить свидетелем на процессе «троцкистского центра», – его совсем перестали вызывать на допрос, и он почти два месяца просидел в одиночке, теряясь в догадках, что будет дальше. А дальше его вдруг, так ни разу и не вызвав, перевезли в Бутырскую тюрьму. И здесь он узнал обо всем, что случилось в последние месяцы, и понял все, что было ему непонятно. Тут же, в камере, он встретился с Моргуновым – двоюродным братом своей ненаглядной Катюши, и сразу поверил в него, и сблизился с ним. О многом хотелось ему рассказать Моргунову, но он не успел: его неожиданно взяли и увезли на этап.

Который раз ехал Дмитрий Иванович в арестантском вагоне, и, как всегда, неизвестно в какие края. Теперь их везли – это он подсмотрел сквозь решетки – куда-то на север. В столыпине – душно и тесно, но люди попались свои: «сто процентов партийной прослойки», – острили в купе, и Кучин подумал опять, обращаясь к себе самому: «Ничего, не робей, не умрешь!.. В таких-то условиях жить еще можно!»

Когда приехали в Котлас, заключенных высадили из поезда, отвели в пересылку, прогнали через санпропускник, дали горячей баланды, а потом погрузили на баржи и потащили по Вычегде вверх. Маленький буксир тянул против течения медленно, не торопясь, попыхивая вонючим дымком, и время от времени длинно и хрипло гудел, очевидно, навстречу идущим судам. Сотни три километров шли трое суток и, наконец, ко всеобщему удовольствию, прибыли в Усть-Вымь.

Баржи причалили к берегу, людей вывели, пересчитали, проверили по формулярам, разбили на группы по шестьдесят человек.

Подошел начальник конвоя.

– Заключенные! Слушай сюда! Объясняю порядок. Идти, не растягиваться! К конвою не подходить! Соблюдать установленную дистанцию! Выход из рядов считается попыткой к побегу. Конвою приказано стрелять без предупреждения. У кого есть вещи, мешки, чемоданы, сдайте в обоз, на телеги! Самим нести будет трудно. Понятно?..

Началась кутерьма. Сдавали вещи. Строились вновь. Наконец все утряслось. Тронулись в путь.

Впереди три конвоира, за ними, после разрыва, этапная группа, с боков и сзади – стрелки с винтовками наперевес, собаки на поводках, затем интервал шагов сто и в таком же порядке группа вторая, за нею третья и так до конца. А в конце четыре подводы с вещами, и пятая, вроде тачанки, с пулеметом «Максим» и военной обслугой.

Первый переход – всего двадцать пять километров – прошли почти что легко. Шли ходко, но не спеша. Конвой не торопил. В пути по команде начальства несколько раз отдыхали.

Остановились в районе Серегова, в каком-то кулацком поселке. Сюда, на голое, лесом заросшее место пригнали в тридцатом году раскулаченных. За пять лет они обжились и устроились, Срубили хорошие избы, развели огороды, построили школу. Но на этом права их кончались. Ни выезжать, ни отлучаться они не могли. Даже сходить за пять верст в магазин, купить ниток, без разрешения было нельзя. Все ходили под комендантом. Он командовал всеми и всем.

На площади, в центре поселка, на врытом в землю столбе висел небольшой медный колокол – комендантское средство управления. По звону его просыпались, вставали, шли на работу, собирались на выполнение разных

повинностей и на ежедневные двукратные, утром и вечером, поверки, по его же вечернему бою расходились к себе, по домам, и ложились в постели.

Заключенных загнали в обширный, сырой и холодный этапный барак, в котором не было нар, и они повалились на пол, прижимаясь друг к другу. Тяжелый, промозглый воздух вызвал желание выйти проветриться, и Дмитрий Иванович, с группой других заключенных, попросился наружу.

– Давай, подыши! – благодушно сказал конвоир, открывая им дверь.

– А нельзя ли тут заодно протопить? – ободренный его отношением, спросил один из зека. – Барак-то не топлен, затхло в нем и знобко!

– Ну, что же, топи, коль не лень! – беззлобно ответил стрелок. – Длинник вона лежит: режьте, коль надо, колите! Пилу и колун в том сарае возьмете. Козлы – напротив. Берите кого на подмогу и – жарьте!

– Нас тут хватает, – ответил зека. – Ребята! Кто хочет? Давайте!

Он отобрал четырех человек на разделку, пять на подноску. Люди вышли на двор, наготовили дров, принесли их в барак, затопили железные печки, из-под бензиновых бочек. Скоро стало теплей и приятней. Работа была небольшая, как будто пустяк, но от того, что работали сами, без приказа и без охраны (конвоир оставался в дверях и поглядывал издали), Дмитрий Иванович прямо расцвел. Ощущение – словно на воле.

Утром он вышел, набрал воды из колодца, умылся, вернулся и с удивлением увидел молодую женщину в черном платочке, подошедшую к дверям барака. В руках у нее был чугун, накрытый глиняной миской.

– Стрелок, а стрелок! – говорила она конвоиру жалобным тоном. – Стрелок, разреши!.. Вот ведь беда!.. Наварила картошек, а кушать не хотцы. Неужли же им пропадать?.. Жалко картошек, стрелок!.. Разреши, Христа ради, ребятам отдать... Ну, позволь!..

Конвоир оказался сговорчивым.

– Черт с тобою, давай!

– Кушайте, кушайте, родные! – говорила она, подавая чугун заключенным. – Картошки горячие, я их тольки сварила. Тольки с печки сняла и – сюда... Соли берите, вот соль, с солью картошки скуснее...

И она протянула горсточку соли в чистенькой белой тряпице.

– Откедова будете? – тихо спросила она, когда Кучин случайно приблизился к ней.

– Я из Москвы, а он из Харькова, – так же тихо ответил Дмитрий Иванович. – В лагерь идем!.. А вы, видно, тоже нездешняя?

– Рязанские мы, раскулаченные... Я тогда о пятнадцатом годе была... Не посчитались, погнали... Батя сгинул тады же, мамка в дороге в товарном вагоне простыла, померла... И сюды не доехала...

«Кого же ты кормишь?! – подумал Дмитрий Иванович. – Сюда ведь может попасть и тот, кто тебя высылал».

Он осторожно спросил об этом молодку.

– А я завсегда несчастненьким выношу, – ответила она. – Мало ли что у кого раньше было. Христос приказал нам обиды прощать... И судить не велел... Это – дело Господнее! «Любите врагов ваших!» – он говорил.

Кучин не сразу нашел, что ответить.

– И вы каждый день сюда ходите, чтобы выполнить волю Христа? – спросил он после томительной паузы.

– Не кажный!.. А вот, как приходить этап, так и иду... По воле своей приношу, потому как людей жалеть надо... Стрелки только разные очень. Иной стоить, и гонить, и гонить. Не даеть передать, хоть ты душу отдай...

XVI

Второй переход оказался гораздо труднее. Прошли тридцать шесть километров по грязной, разбитой дороге. Дождило, дул сильный, порывистый ветер. Устали смертельно. Ночевали в Княжьем Погосте, на одном из лагерных пунктов. И утром вареной картошки им никто не принес...

И так шли и шли, день за днем, по мокрой, местами раскисшей дороге, и все больше и больше слабели и утомлялись. На длинных – километров по пятьдесят – переходах конвой гнал нещадно, чтобы придти на станок дотемна, и слабые падали, но их подгоняли пинками и бранью и опять заставляли идти.

И только тогда, когда изнемогший валился на землю, не отзываясь уже ни на ругань конвоя, ни на грозное рыканье псов, которых натравливали на лежащего, чтобы принудить очнуться, только тогда, когда он повисал, как мешок, на руках подымавших его конвоиров, а фельдшер, идущий с этапом, не находил его пульса, – только тогда его оставляли лежать на дороге. Этап уходил, а он, под охраной стрелка – чтоб ненароком не сбег! – лежал на холодной и мокрой земле, пока сердце его вновь не начинало нормально работать. Тогда он потихоньку вставал и медленно брел по дороге, шатаясь от слабости, а озлобленный стрелок, поминая и бога и мать, заставлял его ждать, пока подойдет идущая сзади группа больных и отставших. Сдав его в группу, стрелок уходил догонять свой этап, а группу вели все вперед и вперед, но замедленным темпом. И часто она добиралась до места ночлега чуть-чуть не под утро и, не успев отдохнуть, снова, с подъемом, шла вместе с этапом в очередной переход.

Через неделю дошли до Чибью и отдыхали три дня. От непривычки долго ходить многие были больны и лежали пластом, со сбитыми в кровь ногами, почти не вставая. Кучин выглядел бодро. Сердце его перебоев не знало, правильно наматывать портянки он умел, на ногах потертостей не было.

Кончился отдых, и их разбросали по восьмидесятикилометровой линии будущей трассы в разные ОЛПы. Началась суровая, трудная жизнь. Строили тракт, и Дмитрий Иванович Кучин сразу попал на земляные работы. Они оказались чудовищно трудными.

Сначала сдирали растительный слой толщиной в двадцать пять сантиметров и больше. Густо насыщенный перепутанными корнями деревьев и кустарников, он не хотел подчиняться лопате и усилиям слабых людей. Кучин работал над ним вместе с тремя такими же «КРТД». Никто из них раньше лопату в руках не держал. Один в прошлом был логопед, другой – лаборант, третий – бухгалтер, Кучин – научный работник. «Гоп со смыком – компания» – обозвали их бригадир и десятник, однако пайкой не обижали, писали сто одиннадцать процентов. Жить было можно.

Потом пошел грунт, и каждому дали отдельный участок. Кучин работал, напрягая все силы, но выкопать норму – три кубометра влажных суглинков и глин, налипающих на лопаты, – погрузить их на тачку и вывезти прочь метров за двести–триста оказалось ему не под силу, Заступ над ним издевался, в землю он под нажимом ноги еще шел, но вылезать не хотел. Кучин наваливался на рукоятку всем телом и, вырывая каждый комок тягучей коричневой глины, слышал тяжелое чавканье почвы. Почти после каждого броска с лопаты надо было счищать налипки, иначе ею становилось невозможно работать. Вязкая мокрая глина липла не только к лопате, но и к обуви, образуя на ней пудовые наросты и затрудняя движение, а каждая счистка ее длилась десятки секунд, тех драгоценных секунд, без которых нельзя было выполнить норму.

Но хуже всего приходилось Кучину с тачкой. Кучин не мог управиться с ней. Тачка дразнила его, как злая, коварная ведьма. Когда Дмитрий Иванович ее поднимал, напрягая при этом все силы, она, протестуя, как видно, против его неумелости, начинала качаться на своем колесе – единственной точке опоры – и

все норовила опрокинуться на бок; невидимое при движении колесо часто съезжало с узких ходов и вязло в грунте, сами ходы разъезжались в разные стороны и их надо было все время поправлять. А выгрузка тачки оказалась еще тяжелей. Поднять ее кверху за ручки и единым рывком разгрузить через нос, сохраняя притом равновесие, надо уметь. Кучин этому долго учился. Много ему приходилось трудиться на разных работах, но более тяжкой, чем землекопа и «шофера на одном колесе», он не знал. Она изнуряла его, пила его кровь, каждой ездке, казалось, не будет конца, и, когда он гонял свою тачку, то, чтобы отвлечься, шептал: «Эх, тачка моя, колесница ОСО, две ручки, одно колесо! Эх, тачка моя, колесница ОСО, две ручки, одно колесо!» И путь проходил незаметней.

Так продолжалось месяца два, пока были силы сражаться с зимой, а потом морозы сковали болота и землю, превратили их в камень, снег засыпал поверхность трассы двух–трехметровым покровом, и земляные работы пришлось прекратить. Но людей держали на тракте до мая. Они готовили материалы, возили их на себе (лошадей не хватало), строили мосты через Ижму, Леккем и Седью, через ручьи и речушки, строили бараки и ОЛПы, местные тюрьмы и зоны, ограждая восемью рядами колючей проволоки тех, кого посадили, в том числе их самих, от тех, кто еще оставался на воле. А как только солнце немного пригрело, опять начались земляные работы, снова поехали тачки по ходам, снова лопаты и ломы стали грызть на отталинах землю.

Но скоро все прервалось. Людей собирали в этапы и отправляли в Порожек. Шли пешком, под конвоем, так же, как раньше, но путь был намного короче: от самой дальней точки, от поселка Крутая, – километров сто тридцать–сто сорок, а от Чибью совсем рядом: всего пятьдесят.

В Порожске собрали тысячи три заключенных. По мере того, как они подходили, их, после проверки по формулярам, грузили на заблаговременно поданные к причалам три баржи. Сначала люди недоверчиво приглядывались друг к другу: что за народ тут собрался?

– Вы по какой?

– КРТД!

– А – вы?

– Тоже, по ней же!

– Очень приятно!

– Что тут приятного? Наоборот, очень плохо. Если нас собирают всех вместе, то это отнюдь неспроста.

– А-а!.. Хуже, чем было, не будет!

– Не говорите!.. После сталинской речи на февральско-мартовском пленуме ничего хорошего ждать невозможно.

– О хорошем что говорить!.. Но если нас отделят от урок, то, как бы ни было плохо, все равно будет лучше!..

То в одном, то в другом уголках возникали такие же разговоры. Кучин в них не участвовал. Пусть говорят новички, пусть потешат себя и других! Ему это неинтересно. За девять с лишком лет своих подневольных скитаний он уже вдосталь наговорился. Надо воспользоваться случаем: отдохнуть, полежать, почитать. Когда шли сюда, он подобрал по дороге кем-то брошенные книги: Маркса, «Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта» и два тома «Истории русской общественной мысли» Плеханова. Люди бросали в пути не только тяжелые книги, бросали одежду и обувь. Идти в пешеходном этапе – не шутка, и не каждый его переносит. Все сильней и сильней одолевает усталость, кто послабее, после какого-то шага чувствует, что сил больше нет, а затем каждый маленький сверток становится столь отягчающим грузом, что его остается лишь бросить. Кто посильней и способен пока что идти и нести, может его подобрать.

Кучин смог. Он подобрал и донес до Порожска. Объявил о находке, но хозяина книг не нашел, и они перешли в его собственность.

XVII

Баржи сцепили тросами, и буксир потянул их на север, вниз по течению Ижмы. Медленно уходили назад берега, то низкие, до горизонта затопленные водой, то крутые, заросшие лесом. Среди светло-желтых, прямых и высоких мачтовых сосен четко выделялись черно-зеленые заросли елей. Лиственницы узнавались по темным-претемным стволам с нешироко раскинутыми ветками, на которых едва зеленели начинающие пробиваться молодые побеги. Белели березы – и в одиночку и целыми рощами, – холодные, обнаженные, без единого пока что листочка. Начиналась весна, обновлялась природа. Кое-кто из зека восхищался красотами леса, разливом воды, живописностью видов, но Дмитрий Иванович не разделял их восторгов. Он видел и больше, и лучше. Все это давно надоело. Кучин лежал в трюме баржи, на грязном полу, подстелив под себя уже изношенное, худое пальто, и думал, и думал, и думал. Книга Маркса лежала возле него. Она навевала множество мыслей.

«Восемнадцатого брюмера VIII года республики, то есть 9 ноября 1799 года, Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, приведший его, сначала в звании консула, а потом императора, к неограниченной власти. Прошло много лет, пролилось много крови. Монархия снова сменилась республикой. Но нашелся другой Наполеон Бонапарт. И хотя его звали еще и Луи, и он был, по сравнению с дядей, пигмеем, но после трех лет президентства в республике сумел сотворить 2 декабря 1851 года второе, свое «восемнадцатое брюмера». Прошел еще год, и Луи Бонапарт стал Наполеоном III, императором с неограниченной властью. История все записала и отметила факты и даты. А вот как и когда произошло «восемнадцатое брюмера» Иосифа Сталина? Как и когда он пришел к неограниченной власти? Куда повернется страна при таком руководстве? К чему мы пришли? К миллионам зека? К миллионам погибших от голода и ликвидаций? И разве государственная собственность на средства производства и максимальная, принудительная концентрация в сельском хозяйстве, – разве это тот самый социализм, во имя которого делали мы революцию? Конечно же, нет! Мы свершили ее для людей. Социализм для них, а не они для него. А что происходит теперь? И рабочий класс, и крестьянство, и работники умственного труда, – все слои населения больше, чем когда бы то ни было, отчуждены от своего труда и его результатов, от своего духовного мира и личных способностей. Они политически угнетены и бесправны. И над всем возвышается – Сталин. Он, как бог, – всеведущ, всевидящ и вездесущ! Стоило ли бороться с религией, чтобы вместо Христа, Иеговы и Аллаха заставить народ преклоняться пред ним?.. И главное – выхода нет! Что можем мы сделать? Писать? Подавать заявления? Куда и кому? В водопроводную будку?»

Шли дни, проходили недели, баржа плыла и плыла, а Кучин все думал о том же и заключал: «Ничего не поделаешь, надо терпеть, а писать – бесполезно!»

С ним соглашались одни, не соглашались другие. Эти другие – писали. Просили о пересмотре, просили «учесть и понять». Клялись в невиновности. Кучин их презирал, называл «подаванцами». Но подаванцами были не все. Заявления многих были лишь формой, под которой скрывался протест. В них между строк можно было прочесть: «Мы честные люди, и вы это знаете. Но вы нас боитесь и поэтому приписываете нам вымышленные преступления. Все это ложь. Все это только террор».

Много позднее Кучин узнал, что на соседней с ним барже группа зека, немного поспорив и обсудив положение, решила писать коллективно. «Нельзя оставлять

без протеста, – решили они, – все, что делают с нами. Пусть ничего не получится, пусть письмо похоронят в архиве, но мы должны, хотя бы лишь для истории, заявить, что не согласны с разгромом партийных идей». И они написали письмо, адресовав его Сталину и Георгию Димитрову.

– Мы начали это письмо, – рассказал через несколько месяцев Кучину один из его составителей, – с обращения к Коминтерну. И через него ко всему международному пролетариату. В письме подвергалась острой, безжалостной критике вся карательная политика и деятельность НКВД. В нем утверждалось, что НКВД и тот, кто его направляет, проводят линию на физическое уничтожение сторонников оппозиции, на организацию для них немыслимых условий содержания, в которых люди, быстрей или медленней, но обязательно погибают. Мы предъявили в этом письме двенадцать требований. Чего мы хотели?.. Прежде всего, разумеется, не приканчивать нас втихомолку, не репрессировать в административном порядке через ОСО, а судить, если мы виноваты, как положено по закону. Ведь никто из нас не совершал ни одного из тех преступлений, которые клеветнически и бесстыдно нам приписали. Затем мы требовали создать нам человеческие условия жизни в местах заключения, ликвидировать власть уголовников над политическими заключенными, изолировать их от нас, не допускать назначения их на работы и должности, от которых зависит в лагерях наша жизнь. Мы требовали также свободной переписки с родными и товарищами, находящимися как на воле, так и в местах заключения, предоставления нам возможности оказывать помощь женам и сестрам, брошенным, так же, как и мы, в лагеря.

«Каждого из нас без какой-либо вины и тени ее доказательств, – писали мы в этом письме, – обвинили в контрреволюционной троцкистской деятельности и в административном порядке осудили на пять лет пребывания в концентрационном лагере. Мы требуем открытого и гласного суда, чтобы доказать всю безосновательность нашего осуждения и допущенного при этом произвола... Мы не являемся сторонниками перенесения на советскую почву карийских и зерентуйских трагедий, – писали мы дальше, – однако, если это наше заявление останется втуне, мы будем вынуждены бороться за свои права и человеческое достоинство».

Письмо подписали восемь человек, – Миньков, Рубинчик, Пергамент, Дипнер, Радзюминский, Зосимов, Дешкин, Давыдов, – все в прошлом члены партии и ответственные работники.

Приготовили два экземпляра, каждый в отдельном конверте, и когда на этапную баржу пришел важный чин из НКВД, вручили ему со словами: «Пошлите, пожалуйста, адресатам!»

Тот посмотрел на конверты, повертел их в руках:

– Ладно!.. Пошлем!..

XVIII

Больше двух месяцев шли баржи, теперь уже преодолевая сильное встречное течение большой воды в Печоре и Усе, и все это время заключенные не получали газет и не знали, что происходит в мире. Прошло мимо них и потрясшее все человечество сообщение о том, что «одиннадцать отважных сынов социалистической родины высадились на Северном полюсе». Ни вохровцы, ни начальник конвоя ничего не сказали. Впрочем, возможно, и сами они об этом не знали. Для людей на баржах жизнь планеты остановилась в момент их погрузки в Порожске.

Иначе было на лагерном пункте, затерянном в глубинах Архангельской области, на берегу одного из малых притоков Северной Двины, где отбывал свой

срок Моргунов. Газеты туда приходили с большим опозданием, но регулярно, и когда в руки Александра Сергеевича попала «Правда» за 22 мая 1937 года, он, забыв все на свете, впился с газетный лист и несколько раз перечитал так сильно взволновавшее его сообщение.

Моргунов знал, с каким колоссальным трудом и лишениями достигался Северный полюс. В молодые годы, как и большинство его сверстников, он пережил увлечение научно-фантастической и приключенческой литературой, с удовольствием читал Жюля Верна, Майн Рида и Фенимора Купера, но еще большее удовлетворение получал от невыдуманных историй и рассказов о путешествиях по земному шару, и особенно – от описаний экспедиций в Арктику и Антарктиду.

Читая дневники и документы путешественников и ученых, он ярко представлял себе все перенесенные ими трудности и опасности, успехи и неудачи, победы и поражения. У него обнаружилось особое умение вживаться в читаемое, и он страдал и радовался от прочитанного почти так же, как от реальных событий.

Воображение уносило его на два–три века назад, и – в мыслях – он вместе с тобольским казаком Семеном Ивановичем Дежневым плавал вокруг Чукотского полуострова, основывал поселения в устьях Колымы и Анадыря, бил моржей и возил их клыки и пушнину из Якутска в Москву; вместе с Берингом и Чириковым участвовал он в первой и второй Камчатских экспедициях, открывал новые острова и проливы, зимовал и умирал от болезней на безымянном в то время острове Беринга и, случайно уцелев, помогал оставшимся в живых членам команды строить из обломков разбитого корабля бот, на котором затем с громадным трудом добирался до Камчатки.

«Путешествовал» он также и с Фердинандом Петровичем Врангелем, составлял с ним карту Сибирского побережья, четыре года шел от устья реки Индигирки до далекой Колючинской губы, ходил и по льду «Ледовитого моря».

Воображаемый суровый мореход и путешественник, Александр Сергеевич Моргунов был в те годы нежным и впечатлительным. Когда он узнал, что Витус Беринг умер от цинги, то настолько расчувствовался, что даже заплакал. Что ж тут особенного? Ведь опытным и большим он был только в мечтах, а дети нередко воспринимают и чувствуют чужое горе сильней и непосредственней, чем притертые и пришлифованные к жизни взрослые.

Арктика – царство постоянной зимы и вечного льда, страна белого ослепляющего снега, край чудесных, все время меняющих очертания северных сияний, мир ярких звезд и мельчайшей метеоритной пыли на нетронутых чистых равнинах; о ней можно мечтать, ее можно любить и завоевывать, с ее суровостью можно бороться.

Поэтичность Арктики пленила воображение сначала ребенка, а потом и юноши Моргунова, он всерьез заинтересовался ею, начал штудировать и изучать написанные о ней книги, и для него открылись и стали живыми имена смельчаков и героев, дерзко вторгавшихся в неприступные ледяные просторы, героев-победителей и – побежденных!

Моргунов узнал тогда и о небывалом подъеме арктических исследований в конце XIX и начале XX века, и о первом в мире мощном ледоколе «Ермак», и об инициаторе его создания – Степане Осиповиче Макарове, и о великих норвежцах – Фритьофе Нансене и Роальде Амундсене, и об американце Роберте Пири, и о своем земляке Георгии Яковлевиче Седове. Сколько новых, захватывающе интересных знаний принесли ему книги про трехлетний дрейф «Фрама» и про двухлетний дрейф «Мод», про неудачную попытку Нансена достичь в 1895 году Северного полюса и про закончившуюся успехом – после четырех неудач! – экспедицию Пири.

Северный полюс был достигнут, но как мало еще человечество знало о природе Полярного бассейна; Арктика еще не открыла ему своих секретов, и исследования ее только что начинались. И одним из первых после блистательного похода Пири двинулся в Арктику Седов. Два года провел он в северных льдах, изучая особенности полярных районов. А потом – цинга. И скромная могила на мысе Аук острова Рудольфа увенчала его смелый, героический путь. Трудным было проникновение в Арктику, нечеловеческие тяготы и лишения приходилось переносить отважнейшим из отважных. Моргунов читал о них, и не раз сжималось от тревоги его сердце: ведь столько могил позади! И даже новая техника и невероятное улучшение оснащенности экспедиций не могли, казалось, устранить фатальную неизбежность человеческих жертв, они шли по пятам смельчаков, и громкозвучные победы над природой нередко чередовались с поражениями, уносящими жизни людей.

Да, труден, невероятно труден был путь на север, и, именно поэтому ахнул Александр Сергеевич от изумления и восторга, прочтя о высадке советских людей на свободно плавающую льдину и о создании дрейфующей станции «Северный полюс». Он не сомневался, что невиданные масштабы научно-исследовательских и организационных работ демонстрировали все возрастающую мощь Советской страны, свидетельствовали о ее способности одерживать большие победы.

Как же восприняли весть об этом событии изгои, отторгнутые от жизни советского общества, – люди, измазанные кличкой «враги народа», клейменые пятьдесят восьмой статьей Уголовного кодекса и посаженные за колючую проволоку лагерных оград? Как отнеслись они к выдающейся победе репрессировавшего их строя? Может быть, уныние и разочарование испытали они? Может быть, злоба и ненависть душили их, и слова недоверия, насмешки и злопыхательства готовы были сорваться с их губ?

С острым, тревожным любопытством приглядывался Моргунов к окружающим, ища ответа на поставленные вопросы: ведь этот опыт выявит истинное отношение каждого человека к советскому государству, к социализму и коммунизму. Ведь враг не может радоваться победе врага! И Моргунов пристально смотрел по сторонам, придирчиво пытаясь понять других и проверить лично себя.

И он увидел нечто, казалось бы, совершенно невероятное. Подавляющее большинство заключенных по пятьдесят восьмой ликовало и радовалось; так называемые «враги народа» восхищались победой советских людей и приветствовали ее. Лагерные ограды не смогли помешать им слиться душой со всем советским народом, почувствовать себя частицей Советской страны и преисполниться гордостью за ее деяния. Как ни искал Моргунов противоположных реакций, он найти их не мог. Вероятно, их не было совсем или они не попадали в поле его зрения потому, что численность их оказалась исчезающе малой. Среди разношерстной лагерной толпы было много малокультурных и необразованных людей, не понимавших значения высадки экспедиции на дрейфующий лед. Они не представляли себе, зачем это нужно и как это трудно, не знали, что такое Северный полюс, не имели понятия обо всей предшествующей истории его достижения, но и они не злились и не злопыхательствовали, не насмехались и не иронизировали. Зараженные общей реакцией, они отнеслись к непонятному им по существу факту как к радостному событию.

– Почему? – спрашивал себя Моргунов. – Почему это так? Разве это – естественно?

– Да, – ответил наконец он себе так, как уже не раз отвечал на подобные вопросы. – Да, это естественно! Это происходит потому, что все эти люди – не те,

за кого их принимают! Это не враги советской власти, не предатели, не шпионы, не изменники и не диверсанты!..

XIX

Прошел май, миновал июнь. Короткое северное лето вступило в свои права. Земля оттаивала, и от нее поднимались испарения, превращающиеся, как только солнце склонялось к горизонту и в воздухе опять становилось прохладно, в белесый туман. Появились тучи до невозможности злых комаров. Люди пробовали спасаться от них в накомарниках и толстых, непрокусываемых одеждах, но накомарники мало помогали, так как никто не имел шляп с широкими полями, а жара не давала работать тем, кто пытался одеться в брезентовку и телогрейки; ручьи пота и изнеможение заставляли сбрасывать их, и тогда комары с удвоенной злобой накидывались на распаренные, разогретые тела.

Солнце почти совсем не уходило с небес; закатившись за горизонт, оно меньше чем через час появлялось опять и заливало землю ослепительным светом; вечерняя и утренняя заря сливались в одну, окрашивая окрестности в чудесные оранжевые, зеленые и фиолетовые тона. Большинство заключенных, живших до лагеря в более южных местах, никогда не видело раньше ни светлых ночей, ни разноцветных закатов и созерцало их теперь с некоторым волнением, всегда вызываемым необычными явлениями природы. Те, кто читал Пушкина, вспоминали:

И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

Но Пушкин писал о Петербурге, там ночь хоть на полчаса, да приходила, – здесь же, в начале 64-го градуса северной широты, ночи не появлялись совсем.

Но не одни только красивые закаты и белые ночи волновали людей. Жизнь была насыщена неопределенностью и тревогой: с воли через каждые несколько дней приходили какие-нибудь необыкновенные новости, а внутри зоны, на относительно небольшом, отгороженном колючей проволокой прямоугольнике, свирепо и бестолково чудила администрация – она то усиливала, то снова попускала режим и, чуть ли не каждый день, неизвестно из каких высоких соображений, переводила задерганных и нервничающих людей из одной бригады в другую и переселяла их из барака в барак.

Высадка советской арктической экспедиции на Северном полюсе несколько ослабила внутреннее напряжение – казалось, жизнь станет теперь спокойней, – но не успело еще потерять свою выпуклость произведенное ею впечатление, еще бушевали вокруг нее неуемные восторги, портреты Папанина, Кренкеля, Ширшова и Федорова только еще входили в быт каждого учреждения, – как радио и газеты принесли новую, на этот раз совсем не веселую весть. 2 июня 1937 года Особое присутствие Военной Коллегии Верховного Суда СССР приговорило к расстрелу по статьям 58-1-б, 58-8 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР восемь крупнейших военных деятелей Советского Союза. Люди, имена которых были до сих пор неразрывно связаны с созданием и строительством Красной армии, – Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путна, – оказались «изменниками Родины» и «врагами народа». Приговор над ними был приведен в исполнение. Гамарник под суд не попал, он успел заблаговременно покончить с собой.

И опять обострилась обстановка в лагере, бойцы охраны стали поглядывать на заключенных с опаской, стали подозрительнее и злей, а заключенные платили

им – простым, только одетым в форменные шинели тюремного ведомства, людям – той же монетой. Прежние безразличие и терпимость, а иногда даже и некоторое доброжелательство в отношениях между охраняемыми и охраной постепенно заменялись недоверием и враждой.

Вести из внешнего мира то радовали, то пугали, и все это отражалось на положении в зоне, а таких вестей приходило – хоть отбавляй:

20 июня Чкалов, Байдуков и Беляков потрясают весь мир беспримерным беспосадочным перелетом из Москву в США через Северный полюс.

5 июля завершается строительство канала Москва-Волга, которое велось под эгидой НКВД. Канал принят в эксплуатацию. Сотни человек получают ордена и грамоты ЦИК СССР. 55 тысяч заключенных-строителей досрочно освобождаются.

12 июля Громов, Юмашев и Данилин повторяют чкаловский подвиг и превосходят его, пролетев 10300 километров, они побивают два мировых рекорда на дальность полета – по прямой и по ломаной.

17 июля народный комиссар внутренних дел Ежов награждается орденом Ленина.

И так, следуя по очереди одно за другим, как будто бы они были равнозначащими, заставляли восторгаться или трепетать весь мир и события, демонстрирующие величие и мощь человеческого разума, и факты, показывающие всесилие и власть органов НКВД.

В мире происходили грандиозные события, шли упорные бои в Испании, германский фашизм накапливал и набирал силы, Япония начала новую войну за захват Северного Китая, а в лагере администрация продолжала бесноваться и мудрствовать. Вохровцев собрали на срочный инструктаж и рассказали им, что нужно делать в случае бунта или восстания в зоне. Заключенные узнали об этом из записок, оброненных одним из инструктированных, и всласть посмеялись над нелепой подозрительностью и трусостью власть имущих, но от насмешек положение не улучшилось. Бригады, после длительного пребывания их на зимнем повале, как бы лишились постоянной работы. Каждый день их перебрасывали с места на место. Сегодня их посылали на расчистку и оформление катищ, завтра они скатывали в штабели разбросанные бревна и расчищали междуштабельные зазоры и интервалы, а на следующий день копали на берегу реки глубокие колодцы для мертвяков, долбя мерзлую глинистую землю и отогревая ее кострами.

Когда начался сплав, Моргунов, так же, как и другие, получил длинный деревянный, со специальным железным наконечником, багор и оказался на работе, именуемой в лагере «толкай-вода».

Труд на сплаве относительно легкий, и хотя рабочий день в связи с круглосуточным дневным освещением удлинился до 12 часов, заключенные уставали значительно меньше. Если бы не комары, то жили бы даже неплохо.

В резиновых, подвязанных веревками чунях, вместо украденных Машкиными эмиссарами сапог, целыми днями – или ночами – бродил Моргунов по берегу отведенного ему отрезка небольшой лесной речки и проталкивал вниз по течению почему-либо застревающие, идущие молем бревна. Иногда на реке образовывались большие заторы. Моргунов бесстрашно, не раздеваясь, входил в реку, погружаясь в воду по колено, а то и по пояс, и, действуя багром, растаскивал сцепленные между собой пиловочники, балансы и подтоварники; вода уносила их, а Александр Сергеевич, выйдя на берег, не спеша двигался дальше, высыхая под горячими лучами солнца и прислушиваясь к неумолчному говору леса и щебетанию птиц. То были недолгие и случайные минуты, когда ему удавалось оставаться наедине с самим собой.

Возможность побыть одному и не чувствовать возле себя постоянного присутствия какого-нибудь постороннего, чаще всего чуждого, иногда

враждебного, а в лучшем случае – просто мешающего тебе человека, считалась в лагере почти что немыслимой роскошью. Заключенные никогда не бывали одни и постоянно находились на виду друг у друга. Испытывая глубокое моральное одиночество, они вместе с тем всегда пребывали в окружении посторонних людей, и поэтому Моргунов очень ценил свою лесную работу на сплаве. Она казалась ему настоящим счастьем, но счастье, увы, никогда не бывает продолжительным.

Вода постепенно спадала, реки мелели, и на берегах оседали огромные скопления перепутанных между собой бревен. В обрывистых местах нарастали циклопические, грозящие неожиданным обрушением навесы. Их надо было ломать и сбрасывать в воду. Никакой механизации для этого не существовало. Правил безопасности – тоже. Люди расползались по залому, как муравьи, выдергивали из общей, нависающей над рекой громады отдельные бревна и кидали их вниз.

– Берегись! – кричали они, и работающие внизу ласточками кидались в разные стороны, спасаясь от гибели.

Но спастись не всегда удавалось. Время от времени пущенное сверху бревно задевало недостаточно юркого и тяжко его расшибало. Переломы ног на разборке заломов считались обычным явлением. К ним привыкали, а травмированному иногда даже и завидовали.

– Повезло человеку! Ногу сломал! Теперь ему кантоваться месяца три, не отбей!.. Вот счастливчик!

А бывало и так, что выдернутое из кучи бревно нарушало равновесие зыбкого переплетения спутанных между собой стволов, и оно приходило в движение. Раздавался грохот и треск, бревна лавиной устремлялись вниз, сметая на своем пути все и вся, число «счастливчиков» увеличивалось, а для кого-то дело кончалось «деревянным бушлатом». Зато те, кому удалось уцелеть, радостно считали фестметры, ушедшие в воду. «Вот сколько сразу процентов! Вот это – удача!»

Попав на разборку залома, Моргунов ужаснулся. Он захотел навести тут какой-то порядок, придумать безопасную организацию работ, заставить людей быть внимательней и осторожней, но из этого ничего не вышло. Мешала «норма». Она заставляла гнать и спешить. Не выполнишь норму – нечего будет жевать. Люди жили на нервах и отвергали все, что могло отозваться на получаемых ими «котлах». Моргунову не раз говорили:

– Брось ты волынку крутить! Что тебе?! Больше всех надо?.. Саврасову ногу сломали? Одну?!. Ну, и черт с ним! Вторая осталась, а в лагере ног сколько хочешь! Пусть шевелится ловчее! Бог сказал: «не зевай»!

Моргунов обратился к начальнику ОЛПа. Тот внимательно выслушал, хмуро ответил:

– Подумаем!.. Можешь идти!..

И... перевел Моргунова в другую бригаду. На лесозавод. Подтаскивать лес к пилораме.

– Подлец! – решил Моргунов. – Впрочем, он не один! Все они – сукины дети! Мерзавцы!

Чувствовал он себя плохо. Изнемогал от усталости. Не было сил ворочать тяжелые бревна, плохо переносилась и постоянная сырость. И ко всему – комары! Чтобы их отогнать, жгли костры, пускали побольше дыма, но дым помогал незначительно и действовал больше всего на самих людей. Комары же его почти не боялись. Гораздо эффективнее были разного рода движения. Энергичные подергивания туловищем, сильные качания головой с развевающимся на ней накомарником, обмахивание ветками или руками отгоняли кровососущих значительно лучше, но работающему человеку обмахиваться некогда – он ведь не лошадь, – да и непрерывные движения в продолжение многих часов утомляли до

изнурения. Выбиваясь из сил, Моргунов с умилением вспоминал о зимнем повале и мечтал о ветрах, прижимающих легкокрылых к земле.

Интеллектуальная жизнь, в связи с тяжестью работы и наступающей после нее прострацией, стала крайне бедна. Единственное, чему Моргунов научился, – как он потом, немного иронизируя, утверждал, – так это умению безошибочно предсказывать непогоду по усиливающейся перед ней активностью всевозможных неприятных насекомых, в числе которых первое место занимали, конечно, комары.

XX

Умение предугадывать погоду, конечно, не исчерпывало всего, познанного Моргуновым. Узнал он и о более серьезных вещах. Именно здесь Александр Сергеевич впервые столкнулся лицом к лицу с наиболее отвратительным, как ему показалось, явлением лагерной жизни – национальной рознью.

Познание началось с мелочей. Присел он как-то к костру, разведенному одним из рабочих бригады, щирым украинцем Тарасом Петренко, – присел, натурально, с наветренной стороны, чтобы дым не кидался в глаза.

Тарас поглядел на него и сказал:

– Слухай сюди, Олександр! Пересувайся, будь ласка, на инший бик!

– Почему? – не понял Александр Сергеевич. – Тебе-то не все равно, где я сижу?

– Не все... цей вогнище я для хлопцив своих розпалив.

– Для своих?!. А я что? Чужой?

– Ты – русский! – ответил Петренко.

Моргунов замер от удивления, но, секунду спустя, обиделся, встал и ушел.

– Вот уж не думал, что ты такой шовинист! – сказал он с горечью в голосе.

– Не думав! – печально качнул головою Петренко. – Не думав!.. А думати — треба!..

С этого дня Моргунов стал более внимательно приглядываться к окружающей среде и сразу увидел, что инструментальщик Кондрат Яхимович, белорус из-под Лепеля, оказывает своим соплеменникам явное предпочтение. Он отбирает для них самые лучшие пилы и топоры, точит их вне всякой очереди, а при поломках и утерях, если инструмент числился за белорусом, не составляет актов промота.

Затем Моргунов стал невольным свидетелем характерного в этих условиях случая. На лагерном пункте объявили аврал: сняли людей отовсюду, где бы они ни работали, и вывели всех на разгрузку барж с продовольствием. Один зека их бригады, Муса Рашидов, узбек, нес на спине очень тяжелый мешок. Переступая через неровности почвы, он потерял равновесие. Мешок свалился, а Рашидов упал и ушибся. Поднять с земли и взвалить на себя восьмидесятишестикилограммовый груз оказалось ему невмоготу. Рашидов долго упрямо пыхтел, выбиваясь из сил, но так ничего и не сделал. А мимо сплошной вереницей шли грузчики той же бригады. Они тоже несли «на горбах» от реки к прибрежному складу тяжеловесные, гнущие их в три погибели мешки с мукой и крупой. Груженые люди двигались медленно, осторожным, размеренным шагом, тяжко дышали; порожнем же, обратно, бежали бегом, торопились, чтобы успеть выполнить трудную норму. Мимо Рашидова гнали они на рысях, не желая терять ни минуты на помощь чуждому инородцу. Те, кто был погрубее, даже и насмехались:

– Что, ишак, забурился?! Это тебе не Ташкент!

– Аллаха проси! Он поможет!

– Чувствуй, с чем кашу едят!

– Что ты там колготишься?! Крупы испугался?!.

Рашидов молчал, растерянно озирался и снова, и снова, напрягая все силы, вцеплялся в мешок. Пот лил с него ручьями, лицо исказилось, правой рукой он

почти не мог шевелить, но все же пытался поднять свою ношу. Однако – напрасно.

Моргунов, тоже с тяжелым мешком на плечах, чуть-чуть задержался у места аварии.

– Погоди – сказал он. – Не натужься! Еще надорвешься, не дай бог!.. Сейчас я тебе помогу, на обратном пути.

На глазах Мусы выступили слезы. Он приложил руку к сердцу, но ничего не ответил.

Когда Моргунов, возвращаясь на баржу, подбежал к Рашидову, чтобы помочь, возле него уже копошился узбек Файзулла Бакиргани. Мешок он поднимал, но не так высоко, чтобы суметь погрузить на Мусу. Не хватало силенок, сам же Рашидов совсем ослабел: сильно болела рука. Так они и толкали друг друга без толку. Моргуновская помощь пришлась очень кстати. Александр Сергеевич и Файзулла взяли мешок за углы и мгновенно «налили» на спину Мусы.

– Ой, спасибо, спасибо! – качнулся Рашидов. Затем он пошел по дороге на склад, но, пройдя два шага, внезапно вернулся назад:

– Скажите, товарищ! Зачем вы мне помогали?.. Я ведь – узбек!.. Я нацмен, а вы – русский!

– Для меня все люди равны!.. – смущенно ответил Александр Сергеевич. Ему стало неловко, что давеча он обратился к Рашидову на «ты». – И... знаете что?.. Я ведь такой... не один. Таких... очень много.

– Где же их много, когда мне никто не помог?..

Моргунов немного замялся.

– Те, кто прошел мимо вас... очень... грубые люди. Они – эгоисты и... плохо воспитаны.

– Нет, – убежденно ответил Муса. – Я – узбек, они – русские. В этом все дело!

– Конечно, конечно, – поддержал его Бакиргани, – Муса говорил один правда. Русский узбеку не будет помочь.

– Ну как же не будет?!. А – я?!.

– Ты?.. Ты – тоже, наверно, узбек! Я пойду. Надо пайка работать, – явно желая, чтобы за ним осталось последнее слово, оборвал Файзулла и быстро смотался к реке.

– Еще раз, спасибо, товарищ! – опять приложил руку к сердцу Муса, сгибаясь под тяжестью груза. И медленно двинулся вверх.

Моргунов продолжал наблюдать: нацмены лепились друг к другу, как пчелы отдельного роя, и в их крепко спаянных группах легко сглаживались, при столкновениях с внешней средой, все внутринациональные противоречия и антагонизмы.

Сначала такое казалось нормальным. Не могли же, скажем, китайцы, хоть они и трудились с ним вместе, питать к нему больше симпатии, чем к единоплеменникам. Конечно же, нет! Он не знал их обычаев, нравов, не умел говорить по-китайски. Он им казался чужим, и все это было естественно.

Вскоре, однако, Александр Сергеевич убедился, что национальное чувство бывает совсем не невинным. Произошло это так. Его перевели на строительство ОЛПа. Бригадир и десятник новой бригады – оба грузины – отнесли к нему очень душевно, они называли его «генацвале», угостили сушеным урюком из домашней посылки, рассказали о прелестях Грузии, но, расставляя людей по работам, всегда посылали его на наиболее трудные и заболоченные места. Своим же «братьям по крови» подбирали участки полегче. При ежедневной приемке работ они норовили обмерять его и неоднократно записывали часть сделанного им объема кому-нибудь из «своих». Моргунов страшно возмутился и стал «качать права», но в процессе взаимной руготни и упреков выяснилось, что такие дела считаются здесь

обычным явлением и настолько распространены, что борьба с ними была бы сплошным донкихотством.

И еще узнал Моргунов, что все, довольно многочисленное, население ОЛПа было невидимо расчленено на полтора–два десятка явно обособленных друг от друга узконациональных курий, каждая из которых сплачивала между собой чуть ли не всех находящихся в лагере лиц данной народности.

Никто не оформлял этих групп, не основывал их, не определял их состава или их назначения. Они возникали стихийно, безотчетно, сами по себе, в результате тоски и одиночества составляющих их людей, и существовали не в форме реальных организаций, а как неосязаемые, трансцендентальные единства человеческих чувств. В них объединялись иногда совершенно разные по душевному складу и культурному уровню личности.

Вообще говоря, разноплеменные группы между собой не враждовали. Спаянность соотечественников проявлялась в увеличенном доверии их друг к другу. Они пытались сохранить преимущества, случайно появляющиеся в условиях лагеря лишь для «своих», они полагали, что у этих «своих» индивидуальные свойства приятней и лучше, чем у «чужих». Активная межплеменная неприязнь проявлялась не часто и направлялась, как правило, со стороны «слабых» и «малых» народов против «больших» и «сильных». Грузины, армяне и другие кавказские народности, забыв былую междоусобную вражду, прекрасно уживались между собой, но недолюбливали русских, а русские относились к ним равнодушно, хотя называли «зверями». Русские, впрочем, были единственной в лагере нацией, внутри которой единство и спайка возникали только среди земляков.

Секрет заключался тут, видимо, в том, что русские в массе, в противоположность нацменам, были неоднородны; условия их жизни в разных местах громадной страны имели свои исторически сложившиеся особенности. И если национальные характеры, к примеру сказать, карачаевцев, чеченцев или ингушей, даже проживающих в разных аулах и селениях, в подавляющем большинстве случаев совпадали, как совпадали их занятия, вера и быт, то между ленинградским инженером и кубанским колхозником или московским артистом и астраханским бахчеводом такого сходства никогда не бывало.

Моргунов сначала считал, что национализм находит благоприятную почву только в среде некультурных и примитивных людей, что интеллигенция и образованные слои заключенных заражены им значительно меньше, но потом убедился, что шовинисты встречались и в этих слоях. Последние были опасны. Они создавали «теории» расовой исключительности, придавали им наукообразную форму и проповедовали особую вредность одной или нескольких чуждых им наций. Чаще всего такие «теории» или злобная ненависть направлялись против евреев, хотя ярко выраженный антисемитизм до конца 1939 года существовал в лагерях только подспудно, как нередкое, но все же случайное явление.

Обдумав свои наблюдения, Александр Сергеевич решил, что в его былом окружении эту проблему, по меньшей мере, недооценивали. «Национальное чувство – огромная сила, и с ним не считаться нельзя. Оно несомненно внесет коррективы в исходы грядущих классовых битв».

XXI

Признавая могучую силу националистических тенденций и чувств, сам Моргунов их не знал и ничего похожего на них не испытывал. Ко всем без исключения людям, независимо от их рода и племени, он относился одинаково.

Для него имели значение не народность, не раса, не род, а культура и образованность.

Дружба с «простыми» людьми ему удавалась неважно. Он очень стремился понять психологию этих людей, вникнуть в их мысли и думы, разделять их печали и боли, но его всегда поражала примитивность их интересов, узость их кругозора, и ему становилось неинтересно и скучно. Зато товарищи по несчастью всех без исключения национальностей, принадлежащие к кругу «культурных» людей, очень быстро становились ему близкими и почти что родными. Одним из его лучших друзей, конечно, в тех ограниченных пределах, которые существовали в быстроизменяющихся и текучих условиях лагеря, был мордвин Иван Алексеевич Мельников, до ареста – секретарь райкома ВКП(б) в небольшом городке на берегу реки Мокши. Этот маленький ростом, щупленький, постоянно мерзнущий человек обладал широким кругозором, трезвостью взглядов и гибким, острым умом. Разговор с ним всегда доставлял удовольствие.

Вторым приятелем Моргунова был образованный и уже немолодой еврей, бывший начальник финансового отдела какого-то харьковского треста. Звали его Лев Соломонович Гольденберг. Очень энергичный и деятельный, обладающий обширными познаниями в области экономики и текущей политики, он отличался к тому же замечательным характером и славился как умница и острослов. Этот умел в любом, самом печальном положении найти что-то юмористическое, и Александр Сергеевич учился у него стойкости и любви к жизни.

Лев Соломонович принадлежал к категории ассимилированных евреев и считал себя убежденным интернационалистом и даже «космополитом». Взглядов своих он не скрывал и откровенно их высказывал.

– Знаете что? – сказал он в одной из бесед Моргунову. – Я сын чистокровной еврейской семьи, но, ей-богу, не чувствую в себе ничего специфически еврейского. Евреи в массе мне ничуть не ближе, чем, скажем, марийцы или татары. Я очень далек от их жизни и не знаю ни их языка, ни быта. Евреи мне, если правду сказать, чужды и непонятны. По воспитанию я – русский интеллигент, ну, немножко, может быть, украинец. И я считаю, что Сталин прав: евреи – это не нация; что общего, к слову сказать, между грузинскими, русскими, американскими и прочими евреями? Ничего! Что их может роднить? Религия? Но я ни в Бога, ни в черта не верю. Общее происхождение? Но в нем нет ничего сближающего! Выветривающиеся остатки «национального характера»? Да у меня их никогда и не было. Единственно, что связывает меня с евреями, – это мой нос да еврейское имя.

– И еще одно место, – возразил Моргунов, – но дело не в этом, а в том, что у большинства наших евреев были такие же условия развития, что и у вас, но они рассуждают иначе. Посмотрите-ка на Аронова, Ремеза, Блюменфельда, Хазанова, Полякова, они явно предпочитают свой кружок всем остальным гоминидам и в меру сил и возможностей помогают друг другу. Не знаю, как на воле, а здесь они ведут себя как явные националисты и прямо на глазах скатываются к шовинизму.

– Национализм – бред, блажь, предрассудок! – сердито ответил Гольденберг. – Люди рождаются и живут, не зная никаких национальных эмоций, и знакомятся с ними только в результате усиленной дрессировки. Я, например, свободен от этой пакости и для меня все люди одинаковы. «Несть ни эллина ни иудея в сердце моем!» Так, что ли, Христос говорил? Не помню точно!

Лев Соломонович сказал правду. Он действительно был очень далек от племенных и национальных симпатий, считал себя гражданином всего мира, в Бога не верил и с другими евреями компанию не водил, предпочитая общество Мельникова и Моргунова; однако, когда его как-то, в присутствии Александра Сергеевича, попробовали обидеть и использовали при этом его еврейство, он ощетинился как еж, и дал самый решительный отпор.

– Жид! – крикнул ему один из споривших с ним зека, исчерпав все другие доказательства своей правоты.

– Ну и что?! – возбужденно ответил Гольденберг. – А я горжусь, что я – жид!

– Жиды Христа распяли, – выдвинул неотразимый довод его оппонент.

– Жаль, что тебя заодно не повесили... сволочь... русская! – смачно ругается Лев Соломонович, делая ударение на последнем слове.

Моргунов слушал, приглядывался и увидел: «Еще немного, и Лев Соломонович начнет осознавать себя евреем, именно евреем, его приведет к этому антисемитизм – позорное чувство, которое и ныне, и присно, и во веки веков сплачивало и сплачивает преследуемых в одно целое и заставляет их, перед лицом врага, объединяться и защищаться». И Моргунов начинает понимать, что, кроме тоски одиночества, к национализму приваживает людей еще и гонение. И он вновь скрежещет зубами от негодования и делает еще один скорбный вывод, что пребывание в лагере не исправляет, а портит людей и изгоняет из них добрые мысли и советскую идеологию.

XXII

В лагерном ларьке появились хорошие продукты: сахар, конфеты, колбаса, сливочное масло, голландский сыр, – и заключенные набросились на них с естественной жадностью людей, которым смертельно надоела однообразная, изо дня в день повторяющаяся, нелакомая пища. Около прилавка выстроились толпы, места в очереди доставались с бою, урки, как всегда, лезли вперед и попутно очищали карманы рассеянных.

Прошло два дня, и очереди исчезли: у покупателей кончились деньги. Зато в КВЧ и в папках начальника ОЛПа появились горы заявлений с просьбами выдать энное количество рублей с личного счета. Подал такое заявление и Александр Сергеевич Моргунов.

Финансовые возможности заключенных и их материальное положение определялись специально разработанными в ГУЛАГе «инструкциями», а они дальновидно построили систему лагерного труда не только на чистом принуждении, но и на различных формах так называемого поощрения. Главную роль в этих формах играла организация питания.

Если заключенный отказывался работать, что среди урок случалось нередко, или вырабатывал меньше двадцати пяти процентов установленной нормы, то его водворяли в ШИЗО и сажали на штрафной котел, то есть на такую скудную пищу, которая оставляла на выбор только два выхода: либо подохнуть от голода, либо, если он мог это сделать, начать трудиться; работающих же кормили каждого индивидуально в зависимости от процента выполнения им дневной нормы выработки: выше проценты – лучше питание, и наоборот. Существовала шкала: столько-то процентов – такой-то котел. Перевыполняющие получали, кроме того, дополнительное премблюдо (пирожок с капустой или повидлом), а если средний процент выполнения нормы за месяц превышал цифру сто, то и денежное премвознаграждение. При этом подразумевалось, что все полученные деньги будут истрачены в том же месяце на покупку в лагерном ларьке разных мелочей: сладостей, курева, почтовых марок, небольшого количества хлеба или продуктов. В случае полного израсходования наличных разрешалось брать понемногу и с личного счета, но в пределах лимита.

На руки, как правило, выдавали не свыше пятидесяти рублей (сумма по тем временам небольшая: простой черный хлеб стоил 90 копеек кило, а носовой платок – четыре с полтиной), а излишки, если такие бывали, перечисляли на личные счета заключенных. Туда же поступали и все переводы, полученные на их имя, а также и деньги, отобранные во время очередных обысков, при которых

изымали все суммы, превышающие утвержденный пятидесятирублевый предел. Накапливать деньги у себя на руках категорически запрещалось. Начальство боялось побегов и уменьшения эффективности лагерной системы питания.

Рассуждало оно примерно так:

– Если у них будут деньги, так они и работать не станут, пойдут в ларек, а то и слева достанут, нажрутся, и плевать им тогда на штрафные котлы... Да и вообще: деньги в зоне! Разве мыслимо?! Сразу – пьянка, бабы, картеж, поножовщина!.. Нет, денег давать им нельзя!..

Каждый разумный человек понимал, что подобные мысли могли бы быть справедливы лишь в отношении урок, что же касалось других заключенных, то опасаться с их стороны отказов, разгула и пьяных дебошей не приходилось. Однако начальство психологией не занималось и мерило всех заключенных на один и тот же аршин.

При таком порядке вещей получение денег с личного счета иногда превращалось в проблему: согласно правилам, их надлежало выдавать только тем, кто перевыполнял нормы выработки, по характеристикам культурно-воспитательной части, но на деле частенько бывало иначе. Как и всегда, от ограничений страдали одни работяги; предприимчивые же взяточники, мошенники и авантюристы, выдвинутые за отсутствием более подходящих кандидатов на штатные должности культорганизаторов («врагам народа» такие посты не доверялись), шантажировали добросовестно работающих людей и выдирали у них за мнимую или действительную, но незаконную помощь в получении денег с личного счета определенную мзду.

Что же касается урок, против которых направлялась, по идее, вся система строгостей и ограничений, то она их не задевала. Они не нуждались ни в личных счетах, ни в зарплате. Они воровали у тех, кто работал, и, действуя силой, угрозами и блатом, присваивали их труд и проценты. Они умели прятать украденное и вели в лагере преступную, паразитическую жизнь, а в отведенных им бараках – «шалманах» – процветали азартные игры, грубые нечеловеческие забавы, извращенный секс, мужеложство.

Моргунову деньги выдали, но он в ларек не пошел. Добавив к полученной сумме несколько десятков заблаговременно сэкономленных и тщательно припрятанных рублей, он купил у одного из заключенных еще вполне пригодные яловые сапоги и сбросил с себя уродливые и неудобные чуни.

Никогда еще в жизни Александр Сергеевич не испытывал такого большого удовлетворения от владения чем бы то ни было, какое он испытал от этих поношенных сапог. Сапоги оказались на славу. Моргунов тщательно оберегал их, смазывал салом и тавотом, а снимая на ночь, прятал «под голова». Вот когда он впервые по-настоящему понял Акакия Акакиевича, понял, чем могут быть для человека шинель или сапоги.

Приобретение сапог вернуло ему жизнерадостное настроение, он почувствовал себя солидней и крепче, стало казаться, что удача будет следовать за удачей, и он даже обрадовался, когда его вызвали на медицинскую комиссию, подготавливающую людей для отправки «за пределы лагеря».

– Наконец-то! – подумал он. – Вот и избавление от работы на стройках. Куда ни куда, а хуже, чем здесь, не будет!

Он вошел в здание санчасти, где происходила комиссовка, и, сняв рубаху, направился к столу, около которого сидели три человека в белых халатах и еще несколько в военных и штатских костюмах.

– На что жалуетесь? – отрывисто спросил его врач, поднимаясь со стула и вертя стетоскоп в руке.

Моргунов пожал плечами:

– Как будто ни на что!

Врач приложил стетоскоп к груди Моргунова.

– Так! Не дышать... не дышать! Хорошо!.. Теперь дышите!.. Еще дышите!.. Повернитесь спиной!.. Дышите!.. Довольно!.. Грыжи нет?.. А ну, расстегнитесь!.. Можете одеваться! Как фамилия? Моргунов? Можете идти.

Александр Сергеевич помешкал и увидел, как в его формуляре, лежащем на столе, появилась новая запись. Он чуть нагнулся и прочел: «Годен к тяжелой физической работе в условиях Крайнего Севера». Так вот куда собирают этап. Ну что ж! Так дак так! Авось хуже не будет!

Уходя, Моргунов увидел, как свидетельствовали уркаганского бригадира Васька. Здоровый, богатырского сложения парень притворялся совершенно больным, он согнулся в три погибели, дышал широко открытым ртом и жаловался на «боль в грудях» и на грыжу. Врач выслушал его и записал в его формуляр то же, что было чуть-чуть раньше записано Моргунову.

Когда Александр Сергеевич вернулся в барак, дневальный передал ему только что полученное письмо от Маруси.

XXIII

Моргунов держал в руках вскрытое, прочитанное цензурой письмо, но не спешил вынуть его из конверта: мешали люди. Он видел адрес, написанный Марусиным почерком, ему очень хотелось узнать, что в письме, но читать его в присутствии посторонних, чужих, иногда любопытных, но, как правило, равнодушных и душевно черствых людей казалось ему святотатством.

И он пошел бродить по лагерю, пытаясь найти уголок, где бы никого не было, однако, несмотря на все его старания, такое место не находилось. Люди, как мухи, заполнили всю территорию лагпункта, они жужжали в бараках, обмениваясь незадачливыми новостями о своем пищеварении, еде или куреве, толпились у входов в помещения, греясь в косых лучах низко плывущего солнца, гуляли по главному проезду, прозванному лагерными остряками звучным наименованием «Трипперштрассе», слонялись по всем промежуточным дорожкам и трапам. И везде, куда бы ни повернул Александр Сергеевич, звучали мелкотравчатые, низменные и ничтожные разговоры о «забавных» сексуальных приключениях и баснословной жратве, о невероятном количестве выпитого, съеденного и прогулянного в прошлой жизни; и некуда было уйти от этой тоскливой прибитости и серости, и негде было прочесть дорогое, святое Марусино письмо.

Моргунов обошел все существующие закутки и закоулки, все неработающие в это время учреждения, побывал возле столовой, каптерки, кипятилки, амбулатории, стационара, конторы управления, возле всех уборных и даже около морга, но везде торчали люди, везде его окликали, приглашали поговорить или, наоборот, прогоняли. Он искал уединения и не мог найти.

– Как ужасно! – подумал Александр Сергеевич. – Как ужасно постоянно быть на людях, всегда чувствовать себя в окружении и никогда не иметь возможности остаться одному. Насколько же лучше в этом отношении в одиночке. Там на тебя почти непрерывно смотрит в глазок коридорный надзиратель, но к нему можно привыкнуть, как привыкают к стенам или решеткам на окнах, и он перестает мешать тебе думать. А здесь... бр-р-р, как противно!..

Побродив еще с полчаса и так и не найдя возможности уединиться, Моргунов вернулся в барак, забрался на нары и начал терпеливо ждать, но только ночью, когда все наконец уснули, прочел жегшее ему душу письмо.

«Мой дорогой, родной и любимый Сашенька! – писала ему Маруся. – Если бы ты знал, как тоскливо и одиноко у меня на душе, как я страдаю от того, что тебя нет рядом со мной, Мне так хочется прижаться к тебе, ощутить твою близость,

почувствовать, что я не одна. Ты часто снишься мне по ночам, и тогда я задыхаюсь от счастья, но когда просыпаюсь и обнимаю пустоту – мне хочется плакать.

Ты, вероятно, помнишь, Роднусь, что осенью я писала тебе об одной женщине, с которой случайно познакомилась на Большом Каменном мосту. Недели две тому назад я решила проведать ее, долго звонила по телефону и, не дозвонившись, пошла так. Ее не оказалось совсем! В квартире живут другие люди. Они явно побоялись, а может быть, просто не захотели, ответить мне, куда делась их предшественница, и я догадалась, что ее – забрали, забрали за мужа. Теперь такое – очень нередко...

А через неделю меня неожиданно вызвали в НКВД. Можешь себе представить, как я испугалась. Я решила, что наступил мой черед, и пошла туда, надев на себя, несмотря на жару, три полных комплекта белья. «Ничего! – думала я. – В случае чего, скажу, что мерзну». Кроме того, я захватила пальто и платок. Но все обошлось благополучно. Меня вызывали совсем по другому вопросу и быстро отпустили. А как мне было жарко, Сашок! Пот лил с меня градом. Когда я наконец добралась домой и разделась, то не только бюстгальтеры, трико и рубашки, но даже чулки были мокры насквозь и прилипали к телу. Со стороны все это страшно смешно, правда? Но я не смеялась. Наоборот. Как только осталась одна – я расплакалась. Расплакалась от нервного напряжения, от сознания своей трусости и своего ничтожества, от сознания того, что я совсем не героиня.

Весь вечер потом я тосковала и не знала, куда себя деть, настроение было ужасное, отвратительное. И вдруг пришел Ильин. Это наш студент биофака, он мой ровесник, но курсом моложе меня. Умный парень и не боится знакомства с женой заключенного. Увидел меня заплаканную, начал расспрашивать и меня прорвало. Я рассказала ему все, и он уговорил меня, чтобы развеяться, пойти с ним в Парк культуры и отдыха. Мы пошли, и там мне стало немного легче.

Видишь, родной мой, я пишу тебе все-все подробно. Только не вздумай ревновать меня к Ильину. У меня с ним абсолютно ничего нет. Ты для меня – единственный в мире, и никого, кроме тебя, мне не нужно. И не думай, Роднусь, о своем сроке. Ведь «все проходит!»

Что касается меня, то я крепко держу себя в руках, и если раньше мне казалось, что я не смогу пережить даже месяца разлуки с тобой, то теперь остающиеся четыре года меня не пугают: я знаю – они пройдут, и мы опять будем вместе...»

После этих слов несколько строчек было тщательно вымарано цензурой, но Моргунов, просматривая письмо на свет и используя чуть заметные вдавленности на обратной стороне листа, сумел разобрать еще несколько слов: «посылаю тебе французско-русский и русско-французский словарики...» Что подозрительное обнаружила в этих словах бдительная цензорша, почему она при этом пропустила рассказ Маруси про арест Горинской и визит в НКВД, было совершенно неясно.

Моргунов откинулся на наволочку с бельем, заменявшую в его небогатом имуществе отсутствующую подушку, и глубоко задумался. Сна как не бывало.

Он думал о далекой Москве и об этом новом, незнакомом ему Ильине. И вдруг он очень ясно осознал то, о чем до сих пор не думал или, вернее говоря, избегал думать.

Он вспомнил, что Маруся безумно молода, что ей всего лишь 21 год. Что должна перечувствовать она – одна, вдали от него, – в течение всех предстоящих долгих лет одиночества и разлуки? Как бы ни были велики ее горе и преданность, они не могут сохранять свою остроту бесконечно. Ведь время лечит все, – это он хорошо знал по собственному опыту, – время вылечит и Марусю от ее психологической боли, и тогда она увидит, что свет не сошелся клином на нем одном, она увидит, что кроме него есть еще хорошие люди, может быть, тот же Ильин, или какой-нибудь Иванов, Петров или Сидоров... все мы – человеки!.. И не станет тогда Маруси, Маруся уйдет... и, как знать, может быть, такой исход

лучше и естественней прочих. Ведь она – живой человек... Имеет ли он моральное право обрекать ее на роль простого придатка к нему – неудачнику? Имеет ли он моральное право заставлять ее страдать только потому, что его самого постигла такая катастрофа?.. Она пишет, что четыре года ее не пугают! Четыре?!. А вдруг – это будет не четыре, а больше! Ведь все «старики» уверяют его в сугубой относительности официального срока... А если даже и четыре?! Ведь для нее – это лучшие, молодые годы!.. Нет! Нет! Нельзя быть таким эгоистом! Он искренне желает ей настоящего счастья. Пусть живет, пусть будет счастлива, пусть даже оставит его! Может быть, тот же Ильин принесет ей то, что не мог дать он – Моргунов. Ну что ж, пусть будет – Ильин! «Мы живем в 1937 году, нельзя же мыслить категориями средневековья. А то еще докатишься до признания собственности на женщину, до поясов целомудрия, до психологии Ницше. Нет, этого не будет! Я – человек нашего времени и в состоянии заставить себя мыслить по-новому. Надо написать Марусе, что она свободна, что я не имею к ней никаких претензий. Надо написать, что я буду счастлив ее счастьем, что я хочу ее счастья!»

Сосед по нарам зашевелился, заворочался и, вскочив, поспешил, как был в одном белье, к двери на улицу. Моргунов на него не взглянул. Невидящим взором уперся он в расположенные над ним доски верхнего ряда нар и пытался подавить в себе почти физическую боль от сдавливающего горло комка.

XXIV

В жизни бывают иногда странные совпадения. В ту самую ночь, когда Моргунов болезненно и остро переживал мысли, навеянные полученным письмом, Маруся тоже не могла уснуть. Она лежала на узкой раскладушке, поставленной на застекленной террасе на даче у родителей, куда приехала, по ее словам, навестить мать и Иовиса, и смотрела сквозь стекла на черные тени деревьев. Она тоже думала, думала о жизни и о превратностях судьбы, о настоящем и будущем, вспоминала о прошлом, и сон отступал от ее взбудораженного мозга.

«Зачем, зачем все так нелепо получается?! Как несовершенна и неустроенна жизнь! Уже год, как арестовали Сашу, а впереди никакого просвета. Обстановка становится все сложнее и хуже, тучи сгущаются... и, как назло, – страшно хочется жить».

Ей стыдно вспомнить, как она испугалась этого неожиданного вызова в НКВД. «Чего мне бояться? Ведь я никаких преступлений не совершала. Ни в каких оппозициях не участвовала. Я – дочь своего народа и студентка советского вуза. Я люблю Родину, люблю Сталина... Правда, Сашу я люблю больше... но ведь это – другая любовь! Так с чего же я вообразила, что меня посадят? За что? Может быть, за то, что я не отказалась от мужа? Но разве за это сажают?.. Конечно, нет! Это немыслимо! Те, кто утверждают это, – клевещут на НКВД».

Она думает, и мысли перебрасывают ее в кабинет следователя, у которого она недавно была. Как же нелепо, должно быть, выглядела она, внезапно потолстевшая в своих трех, одетых одна на другую, одежках! Правда, все это, кажется, прошло незамеченным. Спросили только, знает ли она такого-то, и бывал ли он у них дома, она откровенно ответила, что такого-то знает по университету, но лично они не знакомы, и он у них никогда не бывал. Следователь записал ответ в протокол, она его подписала, и все! Ей выдали пропуск, и она ушла. Теперь забавно и стыдно вспоминать об этом.

Стыдно? Да! Но еще стыднее вспоминать о беседе с отцом. Отец, ссылаясь на примеры других, потребовал, чтобы Маруся подписала заявление об отказе от Моргунова, чтобы она поступила так, «как поступают советские женщины». Он привел много наглядных примеров и рассказал, что после того, как «Правда»

опубликовала письмо вдовы расстрелянного Якира, в котором она «отрекалась» от бывшего мужа и проклинала его как «изменника и предателя Родины», в редакции газет, в партийные и советские организации стали поступать подобные же заявления и от других «жен», спешащих не отстать от потока и выразить свою преданность и любовь к партии и товарищу Сталину. Они, эти жены, публично отказывались от «преступных» мужей, порывали с ними всякие отношения и выражали горькое сожаление, что своевременно не разглядели в них «тайных врагов народа».

Маруся знала о таких письмах и заявлениях, знала и о тех – в большинстве случаев глубоко несчастных – женщинах, которые писали или подписывали их, но эти женщины не вызывали у нее ни жалости, ни сочувствия. Со свойственной ей прямотой и порожденной молодыми годами нетерпимостью она испытывала к ним только гадливость и презрение. Она искренне считала их беспринципными шкурницами, готовыми ради собственного благополучия на любую безнравственность, и не хотела признавать никаких смягчающих вину обстоятельств.

– И это – «русские женщины»?! – восклицала она с нескрываемым возмущением. – Это те, кто могли стать идеологическими наследницами Трубецкой и Волконской?! Да ведь они – предательницы! Они – позор человечества!

Многие с ней не соглашались. Они указывали Марусе на беспощадность текущего времени и оправдывали подательниц заявлений, считая, что их поступки, продиктованные законным стремлением избавить себя и свои семьи от дополнительных репрессий, разумны и по-человечески допустимы.

– Цель оправдывает средства, – говорили они. – Было бы глупо не использовать любую возможность для того, чтобы спастись. Противоположный путь, хоть он и выглядит несравненно благороднее, – не героизм, а глупость. Незачем жертвовать собой! Такая жертва все равно никому не поможет!

Маруся бледнела от ярости, обзывала собеседников двурушниками и, забывая о вежливости, именовала их взгляды проповедью воинствующей подлости и низости.

Люди на нее обижались, но она вела себя непримиримо.

Можно после этого представить, как отнеслась Маруся к предложению своего любимого родителя. Услышав его слова, она замерла, похолодела, кровь отлила от ее лица; казалось, еще минуту, и она потеряет сознание, но она совладала с собой и медленно, как бы тщательно взвешивая слова, тихо проговорила:

– Папа! Как ты мог предложить мне такую гадость?

– Гадость? – удивился отец. – Какая же это гадость? Человек оказался врагом народа! Его посадили! Чего же тебе за него держаться? Любая советская женщина – настоящая советская женщина! – должна разорвать с ним, разорвать, не медля! Тут никакого вопроса и быть не может! Ты, что же, дочка, хочешь с врагом народа поддерживать связь?! Опомнись, родная!

– А если он не враг? Если он ни в чем не виноват?

– Как это не виноват?! Был бы не виноват – не посадили бы! У нас невинных не сажают!

В наивной уверенности Северцева было что-то чуточку комичное, и Маруся слегка улыбнулась.

– Блажен, кто верует! – сказала она. – Но я от Саши отказываться не собираюсь и никогда-никогда этого не сделаю. Понял, отец? Никогда!

Маруся впервые в жизни назвала отца этим словом. До сих пор она называла его только папой. И Северцев понял, что произошло что-то непоправимое. Действительно, в этот момент Маруся перестала его уважать и утратила к нему

добрую половину любви. И он как-то сразу съежился, потерял свою горделивую осанку и боязливо взглянул на Марусю.

– Но почему же... – начал было он, однако Маруся не дала ему говорить.

– Ни-ког-да! Понял? – отчеканила она. – Ни-ког-да! Ни за что! Я считаю подлостью то, что ты мне предложил. Подлостью и гадостью! Сашу в беде я не брошу... Так и знай! Не брошу! Я – люблю его!

Она вскочила и, чувствуя, что вот-вот разрыдается, быстро выбежала из комнаты.

С тех пор прошло уже две недели, но до сих пор, стоило только Марусе вспомнить о происшедшем, ей становилось стыдно за наивно-циничную примитивность отца, за его вульгарную толстокожесть и... и за все, что произошло в последующие дни.

Собственно говоря, в последующие дни не произошло ничего примечательного. Просто к ней несколько раз заходил Ильин. Он просиживал у нее вечера, уводил гулять в Парк культуры и отдыха, принес ей собственноручно набранный букет полевых цветов, два раза приглашал в кино...

А она, совершенно уверенная в его бескорыстном сочувствии, не думая, что в этом может быть что-либо предосудительное, не предвидя никаких вредных последствий, с благодарностью принимала робкое и скромное ухаживание молодого парня, с удовольствием беседовала с ним у себя дома, бывала в кино, бродила по аллеям Нескучного сада. И вдруг на днях он сделал, правда, не очень настойчивую, попытку поцеловать ее. Она ужаснулась, оттолкнула его, хотела прогнать, запретить приходить и – неожиданно почувствовала, что не может этого сделать, почувствовала, что он ей нужен, что он ей глубоко симпатичен и мил, что ей будет очень его не хватать. В смятении бежала она от себя самой на дачу к родителям. Ей казалось, что произошло что-то ужасное, что она совершила преступление против Саши, против мужа, которого любила больше всего на свете. Тщетно пыталась она успокоить себя рассуждениями, что, в сущности говоря, ничего особенного не случилось, что все это естественно и безобидно. Она чувствовала, что пытается обмануть саму себя, и что именно в естественности происшедшего скрыт тайный трагизм ее положения.

И она томилась на узкой раскладушке и, пытаясь забыться, мысленно обнимала и целовала своего Сашу, шептала ему нежные слова, называла Роднусем, и с ужасом чувствовала, как сквозь созданный ее воображением образ проступают черты другого, совсем не желаемого, и вместе с тем желанного – Ильина.

XXV

К великому неудовольствию отца, кадрового машиниста паровоза, его младший сын Алексей Андреевич Ильин, тот самый, который оказался причиной Марусиного волнения, чуть ли не с пеленок потянулся к цветам и природе и, несмотря на мягкость характера, упорно отвергал все попытки родителей пристрастить его к технике и машинам. Учился он, в общем, неплохо, аккуратно приносил домой четверки и пятерки, славился отличным поведением и прилежанием, но математику не любил и старался ее избегать. Зато он мог часами просиживать в саду, с увлечением рассматривая какое-нибудь самое обыкновенное и ничем не примечательное растение, изучать, по собственной охоте, строение его листьев, цветка, пестика и тычинок, сравнивать их с подобными же частями других представителей зеленого мира и наслаждаться скромным, едва уловимым ароматом, часто не замечаемым другими людьми.

Ильины жили на окраине Тулы, в собственном домике, расположенном на небольшом, но очень зеленом участке земли. Ребятам там было раздолье. Семья

Ильиных владела коровой, имела небольшой огород, время от времени заводила кур и каждый год выкармливала поросенка; дома всегда, даже во времена нехваток и карточных систем, имелось достаточное количество еды, и Алексей понятия не имел о том, что значит голод, недоедание или нужда. Избалован он, впрочем, не был: довольство с неба не падало и доставалось отнюдь не задаром, домашнее хозяйство требовало значительного труда, и все члены семьи, в том числе и Алеша, вносили в него свою лепту. Алексей заготавливал и колол дрова, ухаживал за садом, окапывал и белил яблони, расчищал дорожки, помогал в работах на огороде. Тем не менее, времени на занятия и развлечения у него хватало, так как родители превыше всего ценили образование и, боясь повредить детям, особенно их не загружали. Досуга Алеше хватало, и он, вкупе с несколькими друзьями, постоянно навещал городскую библиотеку-читальню, где больше всего интересовался книгами о живой природе и художественной литературой.

Читать Алеша любил, но читал не особенно много, и его литературные вкусы изысканностью не отличались. Он любил русскую классику, по нескольку раз перечитывал произведения Чехова, Тургенева, Гоголя и Льва Толстого, но когда ему потребовалось прочесть «Божественную комедию» Данте, пять раз принимался за нее, но так и не дочитал до конца. Вообще, иностранные писатели его не привлекали: необычайные для русского уха имена героев и незнакомая обстановка, в которой они действовали, мешали ему понимать их чувства и переживания, мешали вживаться в их мысли и страсти. И поэтому Алексей инстинктивно избегал их, как избегал, например, математики, а если и читал иностранцев, то только тогда, когда это требовалось школьной программой или программой литературного кружка, членом которого он состоял.

Да, Алексей Ильин состоял членом литературного кружка. Ведь он жил в Туле, а Тула – город, многажды овеянный наивысшей литературной славой. Ведь именно здесь, в Ясной Поляне, под Тулой, родился и прожил большую часть своей жизни один из величайших писателей мира, Лев Николаевич Толстой; ведь именно здесь, в самой Туле, в зале дворянского благородного собрания на Киевской улице, переименованной после революции в улицу Коммунаров, там, где теперь помещается Дом Красной Армии, встретил на вечере Лев Николаевич поразительно красивую женщину, Марию Александровну Гартунг, дочь Александра Сергеевича Пушкина, и запечатлел ее красоту в образе Анны Карениной; именно здесь работал и умер Иван Ильич Мечников – прокурор Тульского окружного суда, под впечатлением смерти которого, изменив только фамилию Мечников на Головин, написал Лев Толстой «Смерть Ивана Ильича». И здесь же в Туле, в поныне существующем доме, номер сорок два, на улице Коммунаров, служил в молодости Лев Николаевич обыкновенным чиновником. В Туле... впрочем, зачем продолжать? Разве перечислишь все, что здесь так или иначе связано с именем Льва Николаевича? Здесь все им дышит, все наполнено памятью о нем.

И не только о нем!

В Туле, на круто лезущей к кладбищу, в гору, Тургеневской улице, в небольшом деревянном рубленом доме под номером 57 родился и жил Глеб Иванович Успенский. Он оставил миру «Власть земли» и «Нравы Растеряевой улицы», а его земляки-туляки сразу признали в ней хорошо им знакомую, родную Никитскую.

И Викентий Викентъевич Смидович, известный под именем В.В. Вересаева, родился и вырос в городе Туле. И написал о ней мемуары «В юные годы».

И Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не миновал ее. В 1867 году управлял он здесь Тульской казенной палатой, не забывая при этом писать «Помпадуров и помпадурш».

В Туле и в ее окрестностях бывали, жили, учились и работали известные всему миру писатели и поэты – Грибоедов, Жуковский, Достоевский, Чехов, Сухово-Кобылин и многие другие выдающиеся деятели русской культуры великого XIX века.

«Так где же, как не в Туле, продолжить русскую литературную славу? Где же, как не в Туле, у ее древних, возведенных в десятых годах XVI века, кремлевских стен, возродить литературное блистание великой русской земли? В Туле, в Туле, именно в ней!»

И группа юношей – и Ильин в их числе! – организует при ГСПС литературный кружок. Ребята преисполнены лучшими намерениями. Они хотят стать писателями и поэтами, хотят создать «Магнитострой советской литературы», они знают, что это непросто, что для этого надо учиться, сначала учиться, а потом уж – писать. И они учатся, упорно учатся для того, чтобы писать стихи, рассказы и повести, для того, чтобы писать романы! Правда, кроме знаний, для этого нужно и еще кое-что, нужен талант, но каждый надеется, что Бог его не обидел; неспроста же каждый из них, иногда тайком, а иногда и открыто, что-то пишет и сочиняет. А теперь-то тем более! «Теперь в воздухе, как по весне – черемухой, пахнет большой советской литературой. В такое время нельзя быть пассивным! Посмотрите – сколько событий произошло за последние годы. Из-за границы вернулся Горький, начал издаваться журнал «Литературная учеба», ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидирован РАПП, создан единый Союз советских писателей. Кончилась мышиная возня с всякими там попутчиками и пролеткультами. В Москве состоялся Съезд советских писателей, и литература стала кровным делом широких трудящихся масс».

По стране катится мощная волна «литературного движения», и Тульский горком ВКП(б) не отстает от нее: 21 декабря 1934 г. бюро горкома принимает специальное постановление: «О литературном движении в Туле». В нем много такого, от чего может радостно биться еще неискушенное сердце начинающего литкружковца. Постановление обязывает газету «Коммунар» периодически издавать «Литературную страницу», объявляет всегородской конкурс на лучшее литературное произведение, ассигнует средства на премии и на содержание литературных кружков, придает официальные организационные формы стихийным потугам молодых туляков выйти на литературное поприще.

Члены центрального литературного кружка при ГСПС – теперь он уже стал центральным! – Кирьянов, Мельников, Пучков, Ильин, Дорохин и многие другие – на седьмом небе; самые широкие горизонты раскрылись перед ними. Они начинают, как правоверные мусульмане Мекку, усиленно посещать Ясную Поляну, тайно надеясь в глубине души что-то в ней перенять, чему-то в ней научиться. Вновь и вновь с благоговением проходят они по заснеженному «Прешпекту» к дому Толстого, бродят по зимним тропинкам «Старого заказа» и «Чепыжа», сидят у могилы Льва Николаевича; в десятый, двадцатый, тридцатый раз рассматривают они старинный, фамильный, столь знаменитый диван и письменный стол, за которым создавались «Война и мир» и «Анна Каренина».

Ильин бродит по комнатам Ясной Поляны с чувством, напоминающим переживания Николеньки Иртеньева перед исповедью: он трепещет! Здесь все свято для него, все бесценно, все вдохновляет. Ему все сильнее хочется стать писателем, но вот он видит в витринах тексты Толстого, и каждая прочитанная строчка вновь поражает его своей глубиной. Алексей чувствует, что никогда не достигнет такого яркого видения мира, никогда не приблизится к такому таланту, и червь сомнения все больше и больше гложет его, Он уже знает, он убежден, что никакого писателя из него не выйдет, что все его мысли – наивные и глупые мечты, а литературный кружок при ГСПС – детская забава и пустая трата времени.

И он покидает Ясную Поляну сумрачный и сомневающийся, и мысленно дает себе слово немедленно бросить все свои литературные экзерсисы, но проходит день–два, и он снова бежит на очередное занятие литкружка и, лукавя перед самим собой, оправдывает свой поступок тем, что пропустить тему «Язык художественного произведения», проработкой которой будет руководить сам Борис Леонидович Гольдман – известный всей Туле умный, авторитетный и очень эрудированный литературовед – было бы просто обидно.

Алексей – неплохой человек, но характер у него не железный. Он пошел характером в мать и унаследовал от нее послушность, застенчивость, чуткость к людям и... нерешительность. Вот как расходится истина с людской молвой. Среди соседей родители Алексея считались людьми упрямыми, настырными, хозяйственными и серьезными, но на самом деле вся семья Ильиных держалась только на воле отца. Отец был всему головой. Мать сильно любила его и делала так, как он хочет. Вероятно, поэтому дома у них всегда царили мир, довольство и хороший достаток. Отец Алексея обладал характером властным и колебаний не знал, нерешительность же Алеши доходила иногда до смешного.

Еще за год до окончания средней школы он стал думать – куда пойти дальше. И все не мог решить. Отец хотел сделать его инженером, мать, считая себя некомпетентной, молчала, а самому Алексею нравились все науки, кроме технических. Ему хотелось стать и врачом, и географом, и естественником, и литературоведом, и мало ли еще кем, но так как поступить сразу на все факультеты было невозможно, а выбрать что-нибудь одно он никак не решался, то время шло, а он, как Буриданов осел, топтался на месте.

Колебания продолжались долго. Уже осталась позади средняя школа, уже собрали и подготовили к отправке документы для поступления в вуз, а он все не знал, куда податься, что выбрать.

И неизвестно, сколько бы еще продлились его колебания, если бы не случайная встреча в той же Ясной Поляне, куда он поехал на массовую вылазку за город в общий выходной день, чтобы вместе с другими членами литкружка выступить среди гуляющих с чтением своих произведений.

Погода в этот день была изумительной, цвели вокруг яблоневых садов липовые аллеи парка «Клины», наполняя ароматом чуть ли не всю территорию усадьбы, старые высокие липы лишь слегка шелестели листвой, и Ильин невольно подумал о том, сколько раз видел Лев Николаевич эти могучие деревья с их широкими тенистыми кронами; нежаркое солнце отражалось в прудах нижнего парка, искрились и переливались лучи в зеркальных, окаймленных деревьями водах, молодая, не успевшая еще огрубеть зелень лесов и полян манила к себе, обещая немыслимые в городе отдых и блаженство.

Охотников слушать литературные чтения нашлось немного, но начинающих писателей и поэтов это не смутило. С большим чувством декламировали они свои стихи и читали рассказы. Небольшая аудитория слушала их с сочувствием и завидным вниманием, их подбадривали, им аплодировали. Алексей выступал последним. Он прочел небольшой, только что написанный им рассказ о судьбе маленького безработного человека в столице Третьего рейха, и ему тоже активно похлопали. Затем распорядитель объявил, что программа исчерпана, и все разошлись.

Алексей шел по лесной, неизвестно кем натоптанной тропинке и наслаждался запахами леса. Волнение, испытанное им перед выступлением, теперь улеглось, и ему было хорошо и приятно. Сначала он шел один, но скоро нагнал небольшую группу молодежи и пошел тише, машинально прислушиваясь к доносившимся до него словам. Люди говорили о растительности Ясной Поляны и пробовали определять породы кустов и деревьев. По их разговору Алексей понял, что они приехали на выходной день из Москвы, что они студенты-биологи и в Ясной

Поляне – впервые. Они восторгались красотою природы, но в названиях древесных пород часто путались; Алексей шел за ними, слышал, как они ошибались, но вступить в разговор не решался. Наконец, они заговорили с ним сами. Спросили, далеко ли отсюда до села Бехова – имения художника Поленова. Алексей ответил очень подробно и заодно заметил, что дерево, которое они только что назвали берестом, на самом деле не берест, а ильм. Студентов такие слова удивили. И заинтриговали. Посыпались дополнительные вопросы. Ребята оказались необидчивыми и очень общительными. Между ними и Алексеем тут же завязалось знакомство, а к концу дня у него уже не оставалось никаких сомнений в том, что он и биология созданы друг для друга, и что биология не помешает ему, если только у него обнаружится литературный талант, стать большим и хорошим писателем.

Поздно ночью, попав домой, Алексей сразу написал заявление о приеме на биофак и, боясь передумать, тут же заклеил конверт и надписал на нем адрес приемной комиссии Московского университета.

XXVI

Москва на первых порах ошеломила Ильина своей грандиозностью и обилием достопримечательностей, среди которых наиболее близкими душе его оказались Толстовский литературный музей на улице Кропоткина и дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Правда, особенно увлекаться московскими чудесами он сначала не мог. Надо было как следует подготовиться к экзаменам и сдать их, сдать не как-нибудь, а только на отлично. Конкурс был трудный – желающих поступить на биологический факультет оказалось почти в три раза больше числа имеющихся мест, но Ильин готовился очень упорно, и труды его увенчались успехом. Он выдержал все вступительные экзамены на круглое пять и, когда вывесили списки принятых, с громадной радостью послал родителям телеграмму, что стал студентом Московского университета.

И только после этого он начал бродить по всем существующим в Москве музеям, начиная с Третьяковской галереи и кончая Музеем охраны труда, побывал в Ботаническом саду и в зоопарке,– в Храме Василия Блаженного и на Новодевичьем кладбище, в Планетарии и в Подпольной типографии ЦК РСДРП(б), осмотрел Красную площадь и Парк культуры и отдыха имени Горького, исходил всю Москву вдоль и поперек, посетил многие театры и кино, записался в четыре читальни. Застенчивость мешала ему сближаться с людьми, особенно женского пола, но с кое-кем он все-таки познакомился. Среди них оказалась молоденькая, хрупкая, умная и сердечная девушка, студентка второго курса его факультета, с которой он часто встречался в трамвае, когда ездил на лекции. Девушку звали Марусей Северцевой. С первых же дней они, по студенческому обычаю, перешли на «ты», но дальше случайных встреч на улице или в университетской читальне их отношения не пошли. Они были просто знакомы и при встречах здоровались, иногда перекидываясь ни к чему не обязывающими словами.

Начался учебный год. Ильин жил собственной жизнью, усердно занимался, аккуратно посещал профсоюзные и комсомольские собрания, потихоньку от других писал небольшие рассказы, а в свободное время перечитывал художественные произведения Льва Толстого и, вместо Ясной Поляны, ходил вдохновляться в Хамовники. Его беспокоил вопрос, удастся ли отлучиться из университета и побывать в день двадцатипятилетия со дня смерти Толстого в Туле, где эту дату, как ему писали товарищи, намеревались отметить с большой торжественностью и помпой. Ильин готовился к этому дню с все возрастающим волнением и, мечтая когда-нибудь стать толстоведом, написал небольшую статью

о Толстом в тульскую газету «Коммунар». Статья редакции понравилась, и ему обещали ее напечатать в «Литературной странице», подготавливаемой к выпуску в юбилейные Толстовские дни.

Наконец, наступило 22 ноября. Союз советских писателей заказал к этому дню специальный поезд, и очень большая группа «инженеров человеческих душ» прибыла в Тулу. Ильину тоже удалось вырваться туда. Он приехал накануне, запасся по старому знакомству корреспондентским удостоверением газеты «Коммунар» и вместе с другими ребятами из Литературного кружка, репортерами газеты и представителями Горкома ВКП(б) и Горсовета встретил гостей на перроне Тульского вокзала. С бьющимся сердцем узнавал он выходящих из вагонов корифеев советской литературы. «Вот Борис Пильняк, вот Бергельсон, вот Новиков-Прибой, а этот старик?.. Бог его знает: не то Бонч-Бруевич, не то Лебедев-Полянский!.. Женщина с челочкой, несомненно, Вера Инбер... Господи, как это все интересно!.. Хорошо, что догадался захватить удостоверение от газеты, а то могли бы и не пропустить».

Действительно, предусмотрительные власти заблаговременно оцепили вокзал и, прекратив автобусное движение по городу, согнали к нему весь наличный автобусный парк: гостей после обеда должны были везти в Ясную Поляну на торжественно-траурное заседание.

Пока писатели насыщались за роскошно – по тульским понятиям – сервированными столами вокзального ресторана, репортеры и литкружковцы времени не теряли. Они делали снимки издалека и, подкрадываясь поближе, крупным планом; интервьюировали каждого задержавшегося или, наоборот, раньше времени вышедшего из-за стола; писали заметки и корреспонденции, обменивались впечатлениями. Не обошлось и без маленького конфуза: фотограф редакции собрал группу наиболее известных писателей в читальный зал вокзала, сфотографировал их, а затем начал спрашивать фамилии по порядку – слева направо. Маститые повеселели, фотограф же, ничтоже сумящееся, ухитрился еще и напутать: фамилию Инбер написал через э-оборотное, а вместо Бергельсона записал нечто совсем несуразное – Бердель Сон. Пильняк заметил и возмутился: «Как?!. Вы не знаете Бергельсона?!. Давида Бергельсона – автора замечательного романа «У Днепра»?!

Фотограф не знал, и кто-то вспомнил по этому поводу рассказ Чехова «Пассажир 1-го класса». Присутствующие захохотали.

Ильина покоробило. Он хотел возразить, сказать, что пример неудачен: «крикуновы, мол, и пушковы стали в наше время известными всем, теперь вся страна знает не только выдающихся инженеров и академиков, но и рабочих. Стаханов, Дюканов, Бусыгин, Кривонос, Сметанин, Дуся и Маруся Виноградовы...» Однако он ничего не сказал, не успел даже додумать: прибежал человек с красной повязкой на рукаве и пригласил всех садиться в автобусы.

Минут через 40–50 вереница машин подъезжала уже к каменному, двухэтажному, добротному зданию школы, расположенному на пригорке в деревне Ясная Поляна, почти что напротив въезда в усадьбу. Здесь в большом актовом зале и состоялось торжественно-траурное собрание.

Ильин на всю жизнь запомнил его.

В зале собрались крестьяне Ясной Поляны, шахтеры близлежащего Щекинского района, местные ответработники и гости, приехавшие из Москвы. Единогласно избрали в рабочий президиум двадцать пять человек. Ильин записал их в блокнот: Феликс Кон, Луппол, Постоловский, зав. культотделом МК ВКП(б) Фурер, Новиков-Прибой, Борис Пильняк, Анна Караваева, Вера Инбер, Аплетин, итальянский писатель Джерманенто, немец Брюгель, итальянец Росси, американец Юджин Гордон, племянница Толстого Елизавета Сергеевна Денисенко, бывший секретарь его Гусев, внучка – Есенина-Толстая, крестьяне

Ясной Поляны Басов, Иванов и Ребров, директор музея Цявловский, артисты и режиссеры: Амаглобели, Охлопков, Мансурова, председатель Яснополянского сельсовета Амелин и начальник Тулугля Рыбин. Затем поднялся Феликс Кон и предложил избрать почетный президиум, и первая названная им кандидатура – «вождь всемирного пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин» – утонула в буре восторженных выкриков и бурных аплодисментов. Ильин, как и все, вскочил и долго, нескончаемо долго, аплодировал и кричал «ура» и «да здравствует». Наконец буря затихла. Феликс Кон быстро прочел по бумажке 16 фамилий членов Политбюро, и под конец еще трех человек: «Максим Горький, рулевой Коминтерна товарищ Георгий Димитров, узник фашистской Германии товарищ Эрнст Тельман». Зал отвечал на каждую кандидатуру взрывом дружных аплодисментов.

Ильин смотрел на Феликса Кона и удивлялся. Кону шел семьдесят второй год, но он был ярок, энергичен, остроумен и неутомим, голос его звучал звонко и четко. «Откуда он берет силы, ведь он уже глубокий старик!» – думал Алексей и любовался на еще стройную, подвижную, живую фигуру.

На трибуну взошел Луппол. Он произнес краткую вступительную речь «Лев Толстой, история и современность», в которой повторил известные ленинские формулировки о Толстом как «зеркале русской революции» и «помещике, юродствующем во Христе». Луппол подчеркнул, что советский народ преклоняется перед Толстым – художником, но не моралистом.

Вслед за ним колхозник Яснополянского колхоза «Путь Ильича» Фоканов рассказал, как неузнаваемо изменилась деревня Ясная Поляна за годы Советской власти: «Соломенные крыши заменены черепицей, построен скотный двор, проведен водопровод и электрическое освещение, в память Льва Николаевича выстроены образцовые здания школы и больницы».

Большой доклад «Толстой и Ясная Поляна» сделал профессор Цявловский. Он говорил, что «без Ясной Поляны нельзя понять Толстого», что «именно яснополянская мать сыра-земля дала нам то, что мы называем теперь собранием сочинений Л.Н.Толстого». Цявловский утверждал, что все картины природы в сочинениях Льва Николаевича представляют собой художественные описания отдельных мест Ясной Поляны: и Лысые Горы – это Ясная Поляна, и Левин (фамилия которого символически образована от имени Лев) выкашивал не что иное, как самый доподлинный Калинов луг, и «Утро помещика» – настоящее утро Толстого в Ясной, и многие крестьяне – герои его произведений – подлинные жители этой деревни, у которых Лев Николаевич сохранил даже их настоящие фамилии.

После Цявловского выступил «герой Донбасса – Никита Изотов». Заполнив громадной фигурой большую, просторную трибуну, он говорил о великой темноте и невежестве неграмотных донецких шахтеров до революции и о громадном взлете их культуры после нее. «Тогда мы не знали никакого Толстого, – говорил он. – Сейчас Толстого читают не только рабочие массы Донбасса, но и наши малые дети. Здесь собрались все лучшие люди, и я говорю: нам – шахтерам нужны теперь книги и новые знания. Мы требуем нынче не водки, а пианино, патефонов и радио. Мы хотим жить культурно! Да здравствует народное просвещение, для которого работал Толстой, да здравствует наш вождь, великий Сталин!»

В зале зааплодировали, Изотов поклонился и сошел с трибуны. Его сменил Новиков-Прибой.

– Толстой пользовался в царском флоте большой популярностью, – сказал, поглаживая усы, Алексеи Силыч, – но читать его было все равно, что в чужой амбар залезть, – опасно! У меня нашли томик Толстого, и он полетел за борт, но, тем не менее, я еще до революции написал автобиографический рассказ «Одобренная крамола», который хочу прочесть на этом собрании...

За Новиковым-Прибоем выступили «от молодых горняков Щекинского района» забойщик Журавлев, «представитель города Тулы» Сальников, и от Яснополянской школы – Атяскин.

Наконец, Феликс Кон произнес заключительное слово. Торжественно-траурное собрание кончилось, за ним последовал небольшой концерт, после чего гостей опять посадили в автобусы и увезли в Тулу ночевать в вагонах специального поезда, на котором они приехали из Москвы. Осмотр Ясной Поляны и посещение могилы Толстого производились на следующий день.

Ильин пропустил вперед себя всех желающих и сел в последний, по-провинциальному плохо освещенный автобус. Он стоял в проходе, держась за ремень, и его плечо билось на ухабах о плечо какого-то неизвестного ему писателя, стоявшего рядом с ним.

– Ну, какое впечатление у вас от этого вечера? – осмелился наконец Алексей спросить своего соседа.

– Впечатление?! Огромное! Знаете, я не буду спать эту ночь. Я буду писать! Я возбужден, я переполнен! Ведь Ясная Поляна – колыбель...

– И ты тоже! – подумал Ильин. – В таком случае, нам – начинающим – и сам Бог велел...

На следующий день гости посетили могилу Толстого, осмотрели его дом, литературный музей и усадьбу. Следом за ними двигались турецкий и чешский послы со своими женами, также приехавшие в Ясную поляну помянуть Льва Николаевича и отдать ему дань уважения.

Вечером Ильин, тоже до краев наполненный впечатлениями последних двух дней, ехал в Москву: занятия в университете шли полным ходом, и пропустить лабораторную практику было нельзя. Он сидел на жесткой скамье скудно освещенного общего вагона и думал о жизни и трагической судьбе великого человека, ушедшего на старости лет из обжитого и привычного дома, от жены и семьи, от жизни, в которой увидел тяжкое зло. Как же он, убежденный проповедник непротивления злу насилием и тончайший знаток человеческой психики, не понял, что его уход – жесточайшее насилие над окружающими его людьми и, в первую очередь, над прожившей с ним полвека женой?.. Он, Ильин, так поступить бы не смог...

XXVII

Наступила весна 1937 года. Ильин усердно учился, готовился к переходу на третий курс и, поглощенный занятиями, не беспокоил себя никакими каверзными вопросами. Истинная подоплека развертывающихся в стране событий его просто не интересовала, и он стоял в стороне от всех болезней сегодняшнего дня. В газетах писали о вредителях и диверсантах, о шпионах и изменниках Родины, о гнилой и опасной теории затухания классовой борьбы и о необходимости повышать бдительность и быть начеку; в газетах писали также о громадных успехах страны во всех областях социалистического строительства, о выполнении и перевыполнении хозяйственных планов, об упорной борьбе правительственных войск с мятежниками в Испании и о высадке советской арктической экспедиции на Северном полюсе. Ильин газеты читал, но углубляться в них было ему недосуг: слишком много других забот стояло на очереди. Конечно, он радовался успехам и победам советских людей и сокрушался о провалах и неудачах, но все они в основном проходили мимо него, едва касаясь его памяти и сознания. Мысли Ильина были заняты эволюционной морфологией, проблемами филогенеза, влияниями внешней среды на биологический прогресс и прочими вопросами, выплывающими на поверхность его все увеличивающихся научных интересов.

За истекшие после окончания средней школы два года Ильин сильно возмужал и немного охладел к художественной литературе: во-первых, некогда было ею заниматься, во-вторых, попробовал пропихнуть свои рассказы в печать, – послал их в один журнал, в другой, в третий, – но отовсюду получил отказы и, сопоставляя между собой присланные ему рецензии, пришел к выводу, что в этом направлении его дела совершенно безнадежны. То ли у него действительно не хватало таланта и умения писать, то ли для того, чтобы печататься, кроме этих качеств, требовались еще какие-то привходящие данные – знакомства, рекомендации, где-то и кем-то вовремя замолвленное словечко. В литературных журналах сплошь да рядом печаталась удивительная серятина, подписанная как уже известными, так и вновь появляющимися именами, а от него рецензенты требовали чего-то сверхъестественного, чуть ли не гениального. Все они хвалили его слог, остроту выдвигаемых ситуаций, «грамотность» письма, интересную манеру изложения, но вместе с тем всегда находили что-нибудь непригодное – один – одно, другой – совершенно другое, – и, подсластив в той или иной форме преподносимую пилюлю, признавали его произведения для печати не подходящими.

Ильин ничего не понимал: уж больно противоречивы были оценки и заключения, получаемые из разных редакций. Порой ему приходила в голову мысль, что он, вероятно, ведет себя слишком пассивно, что надо быть напористее и смелее, ходить по редакциям, устанавливать связи, добиваться полной ясности в оценке его писаний. Ему наивно хотелось получить точные и определенные указания, что нужно убавить или, наоборот, прибавить в данном конкретном рассказе, чтобы сделать его, как говорили в редакциях, «проходимым», ему хотелось ясно понять, чем плох тот или иной из его рассказов, – но он даже пальцем не пошевельнул, чтобы осуществить такие желания: претила прежде всего сама мысль, что в писатели можно «пробиваться», и, кроме того, он хорошо знал себя, знал, что решительности и настойчивости все равно не хватит. Правда, он не совсем еще отказался от намерения когда-нибудь заняться писательством, хотя бы и по совместительству с биологией, но никаких действенных мер к осуществлению этого желания не предпринимал и лишь изредка, по старой привычке, делал в своих тетрадках отдельные небольшие наброски.

В Москве весна чувствовалась не так остро, как в Туле, где Алексей уже в начале апреля мог собирать подснежники в окрестных лесах, а в первой половине мая любоваться цветущими яблонями, кроны которых так густо покрывались цветами, что издалека казались занесенными снегом. Но, тем не менее, и в Москве, когда начинало пригревать солнце, а на бульварах и скверах появлялась зеленая травка и набухали почки на деревьях, Ильин испытывал особое, весеннее беспокойство.

Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови...

С восхищением вспоминал он слова Пушкина, пытаясь объяснить себе, почему так не хочется сидеть в читальне, почему так тянет его на природу. А тут, как на грех, потянуло не только к цветам и деревьям. Несколько недель тому назад он вновь встретился в университетской библиотеке со студенткой их факультета, Марией Александровной Северцевой. Она была в новом, очевидно, недавно пошитом платье, эффектно подчеркивающем ее стройную, хрупкую фигурку, и хотя Ильин был знаком с ней почти что два года, он только теперь увидел, что она обаятельна и интересна. Открытие его поразило. Он взял книги, сел за соседний с ней стол, и не столько читал, сколько глядел на нее. И вдруг – почувствовал в ней

человека, о котором мечтал все последние годы, и понял, что жить без Маруси ему будет трудно.

Когда она уходила домой, Ильин пошел за ней. Поборов застенчивость, он подошел и что-то спросил, придумав заранее хитрый вопрос по биологии. Маруся ответила очень любезно и начала подробно доказывать, что подобные задачи надо решать только таким-то путем. Ильин осторожно возразил, Маруся не согласилась. Начался научный спор, и дискуссия затянулась надолго. Сначала они обсуждали проблему на лестнице и в вестибюле, затем вышли на улицу и долго бродили по вечерней Москве, и проговорили до полуночи, не замечая того, что их разговор давно соскочил с исходной научной почвы на общежитейские вечные темы.

С громадным удивлением Ильин узнал, что Маруся ничего общего с академиком Северцовым не имеет, что прославленный биолог и она – даже не однофамильцы, и что Маруся, несмотря на свою явную приверженность к науке, происходит из семьи, в которой любые книги, кроме разве учебников, считались ненужной роскошью. С еще большим удивлением он узнал, что Маруся замужем и что ее муж причислен к сонму «врагов народа», осужден за контрреволюцию и находится в исправительно-трудовом лагере.

– Вот, товарищ Ильин, – как-то естественно перейдя на «вы», улыбнулась Маруся. – Теперь вам известно, кто я такая, и самое благоразумное, что вы можете сделать, – это скорее уйти от меня, чтобы вас случайно не заподозрили в сочувствии жене заключенного! Нужно быть бдительным!

Ильин возмутился.

– Зачем ты так говоришь?! И что это за рекомендация – «уйти, чтобы не заподозрили»?! А я и не собираюсь скрывать своего сочувствия тебе... И причем тут – жена?.. Мало ли что муж может сделать!.. Жена за мужа не отвечает!

– Наивный мальчик! – ответила на его тираду Маруся.

Откровенно говоря, отвечая Ильину именно так, Маруся немного кокетничала. В глубине души она тоже считала, что жена за мужа не отвечает, и что знакомство с женой заключенного никого скомпрометировать не может, но вместе с тем она знала, как шарахались от нее некоторые знакомые, как исчезали неизвестно куда жены ранее арестованных людей, и, хотя она всегда утешалась предположениями о наличии у этих женщин каких-то собственных «дел», полного спокойствия за себя все же не ощущала.

Она попробовала объяснить все это Ильину, но он зажал уши и начал обвинять и ее, и ее знакомых в собирании бабских сплетен, в трусости, в отсутствии элементарной человеческой порядочности.

– Я не боюсь! – гордо заявил он. – Ну, подумай сама, какую чушь ты несешь: разве может быть, чтобы невиновного человека преследовали за то, что член его семьи совершил какое-то преступление?! Ты понимаешь абсурдность того, что говоришь?

Маруся подумала и согласилась с Ильиным, что такого действительно быть не должно. Оба они были плохими юристами и не знали, что в уголовных кодексах всех союзных республик имеются специальные, по указанию Сталина внесенные, статьи, в силу которых в случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет, хотя сами они никакого преступления не совершали. Не зная об этом законе, они, конечно, не знали и того, что всемогущий и никем, кроме Сталина, не контролируемый НКВД, при молчаливом попустительстве Андрея Януарьевича Вышинского, занимающего высокий пост Прокурора СССР, давно уже распространил эту статью на членов

семьи любых репрессированных граждан, независимо от места их работы и характера инкриминированного им преступления.

Ильин и Маруся были несведущи и наивны, – он больше, она меньше, – но они не являлись каким-нибудь исключением в общей массе советских людей: большинство их было подобно Ильину, никто ничего толком не понимал, деятельность НКВД скрывалась от них во мраке неизвестности, и ясность наступала только для тех, кто попадал в тюрьмы и лагеря.

Почему же тогда так боялись знакомства с родными заключенных некоторые трусливые и осторожные люди, почему бросались они в сторону от таких, как Маруся, как Горинская, как многие-многие другие, почему жены публично отказывались от мужей, дети от родителей, сестры от братьев? Почему? Ведь подавляющее большинство населения ничего не знало и поэтому не имело оснований бояться арестов. По всей вероятности, это подавляющее большинство никогда о них и не думало.

Ильин перед собой таких вопросов не ставил. Маруся же давно ответила на них, ответила по-молодому, по-задиристому, с свойственными ей прямотой и нетерпимостью.

А ларчик просто открывался. Люди боялись не ареста, а мелких, повседневных уколов и неприятностей. Боялись обвинений в недостаточной преданности советской власти и родной коммунистической партии, боялись обвинений в потере бдительности и в отсутствии всепоглощающей любви к товарищу Сталину, боялись увольнения – под каким-нибудь благовидным предлогом – с работы, партийных взысканий и множества других, ничем не регламентированных, но тяжких в обычной жизни репрессий.

Конечно, все эти страхи и опасения вызывались отнюдь не высокими чувствами. Не благородство и не любовь к ближнему своему стояли у их колыбели. Страхи и опасения отражали, с одной стороны, эгоистические заботы не очень щепетильных людей о собственном благополучии, а с другой – диктовались инстинктом самосохранения или чувством ответственности за судьбы детей и семьи. До каких-то пределов последнее было понятно: на самопожертвование и героизм способны не все. Но вместе с тем существовала в этих чувствах некая тонкая, едва ощутимая, неуловимая грань, при переходе через которую отпадало все, что могло их оправдать, грань, за которой они уже смыкались с подлостью и предательством. И немало оказалось в те горькие годы обыкновенных и неплохих в обычной жизни людей, которые незаметно для себя перешагнули через эту неясную и незаметную в потоке человеческих переживаний границу.

Ильин, поглощенный университетскими занятиями, никогда не думал над такими метаморфозами и не пытался анализировать и понимать все тонкости и нюансы, запутанных сложными жизненными условиями тех лет, людских отношений. Он с негодованием отверг полушутливое-полусерьезное предложение Маруси отказаться от знакомства с ней, потому что она – жена заключенного. И искренность молодого человека, его явно неподдельное участие к ее судьбе, отсутствие в нем каких бы то ни было признаков столь отвратительной, унижающей человеческое достоинство боязни, пленили Марусю. Она почувствовала к Ильину глубокую, смешанную с благодарностью, симпатию. Ей стало легко и хорошо с ним и, не думая ни о чем плохом, не видя в этом ничего предосудительного, она пригласила его к себе, и с этого момента началась их не совсем обычная, а поначалу даже немного странная, дружба.

И именно об этой дружбе, вспоминая все перипетии ее, думала Маруся, ворочаясь на узкой раскладушке, на даче у чуждых ей духом родителей. Она думала о дружбе с Ильиным, о сложности человеческих чувств и отношений, о своей любви к дорогому, страдающему вдали от нее Сашеньке, и сон – «утешитель

нужных» – бежал от нее, и она смотрела на черные тени деревьев, и томилась, и страдала, и нечем было успокоить до предела возбужденные, взбудораженные нервы.

XXVIII

В начале августа тридцать седьмого года у Моргунова резко ухудшилось настроение. Появились тоска и уныние, нервы напряглись, и состояние хронической тревоги и беспокойного ожидания чего-то значительного назойливо преследовало его. Казалось, вот-вот произойдет нечто невероятное, что перевернет всю его жизнь. Казалось, что все переживаемое им – какая-то кратковременная драма, что не может дальше тянуться эта бестолковая лагерная канитель, что не сегодня – завтра раздастся на весь мир новое громкое сталинское слово – какое-то новоявленное «головокружение от успехов», от которого рассыплются сторожевые вышки на углах зон, откроются оплетенные колючей проволокой ворота, и огромная, одетая в серое лагерное обмундирование масса ни в чем не повинных людей выйдет из них и, сбросив с себя позорную и глупую кличку «врагов народа», вновь обретет свободу и честное имя.

Моргунов, конечно, понимал всю несбыточность и фантастичность подобных мечтаний, он видел, что ничто в текущих событиях не дает повода надеяться на улучшение, могущее придти сверху, от Сталина. Наоборот, тучи явно продолжали сгущаться. Как злая, граничащая с сарказмом, ирония прозвучала 20 июля напечатанная в газетах новость о награждении Андрея Януарьевича Вышинского орденом Ленина «за успешную работу по укреплению революционной законности и органов прокуратуры».

«Неужели, – спрашивал себя Моргунов, – миллионы честных советских людей, заключенные в тюрьмы и лагеря по постановлениям всевозможных «троек» и Особого Совещания, могут служить показателем такого укрепления? Неужели тьмы скоропалительных и предвзятых приговоров Военной Коллегии, военных трибуналов и спецколлегий областных судов, беспрекословно утверждающих надуманные, а порой и фантастические обвинительные заключения, составленные в стенах НКВД, можно считать символом справедливости и закона? Что же тогда – беззаконие?!

Конечно, – думал он дальше, – на воле все это не кажется столь острым: ведь там не знают почти ничего! Но в лагере чуть ли ни каждый заключенный, крещеный пятьдесят восьмой статьей Уголовного кодекса РСФСР или соответствующими статьями уголовных кодексов других советских республик, считает фамилию «Вышинский» синонимом слова «произвол». За что же его наградили? Можно ли надеяться на изменение существующего положения?»

Моргунов искал ответа в газетах, которые приходили с большим опозданием.

– Нет, нельзя!

Вот перед ним газета за 28 июля: громадное место в ней отведено церемонии вручения ордена Ленина наркому внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову: «Любимый сталинский нарком выступил с благодарственной речью. Он сказал, что работа в органах НКВД сама по себе является наградой любому работнику, что органы НКВД пользуются заслуженным уважением и любовью всего советского народа, и что высокая награда обязывает их быть еще более примерными на любом участке борьбы с врагами советского государства. От имени всех своих работников Н.И. Ежов поклялся нашему вождю товарищу Сталину не опозорить славного имени наркомвнудельцев-большевиков и с честью носить полученную награду».

– Нет, ожидать изменений – нельзя!

Да! Умом Моргунов понимает бесплодность своих тревог и ожиданий, в душе он даже смеется над своей способностью «мечтать о сладостной свободе», но справиться со своими настроениями не может. Он хандрит, нервничает, временами возмущается, негодует и даже теряет самообладание, но такие активные эмоции быстро у него иссякают и сменяются тягучим, унылым сплином. И тогда все становится безразличным и неинтересным, все в равной степени кажется отвратительным и ненужным.

Обдумав свое состояние, Моргунов пришел к выводу, что все это блажь и хандра, что все это временно, и, надо надеяться, скоро пройдет. Но дни шли за днями, уходили недели, а настроение не улучшалось. Во всем, – решил он, наконец, – виновата неопределенность существующего положения: ведь его отобрали для отправки на Крайний Север, освидетельствовали, признали годным, внутренне он уже подготовился к предстоящему, а этапа все нет и нет, и неизвестно, когда он будет. В УРЧе делают вид, что ничего об этапе не знают, нарядчики молчат и не хотят о нем говорить, узнать что-нибудь стороной тоже не удается, а тут еще нет весточек из дома. Нет сообщений и от Маруси. Она до сих пор не ответила на письмо, в котором Моргунов признавал себя морально умершим и просил Марусю оставить его и устроить свою жизнь по-новому. Словом, все неопределенно, все неясно, и остается только томиться в предчувствии чего-то неизвестного, наверняка нехорошего и, вместе с тем, неизбежного и неотвратимого. А ему уже захотелось поскорее уехать, захотелось ясности, избавления и от тяжелых земляных работ, и от мерзкого окружения блатарей и урок, и от гнетущей душевной тоски.

В моменты уныния Моргунов испытывал сильное желание плюнуть на все, он стал значительно хуже работать и несколько раз подряд не выполнил норму. В первый раз десятник, производя замер, с удивлением посмотрел на него и вместо двух кубометров, фактически сделанных им, записал ему три с половиной; второй раз он тоже добавил в замер недостающие до 101% полкубометра, но когда и на третий день у Моргунова оказалось что-то около 60% положенного, то десятник, с ожесточением сплюнув, записал ему 25% нормы и, небрежно бросив через плечо: «обрабатывать тебя – некому», пошел дальше. В этот день Моргунову выписали первый котел, но назавтра он опять работал с прохладцей и, сделав четверть нормы, ушел к костру спасаться от комаров.

До конца рабочего дня было еще далеко, работяги копали какую-то выемку, нечто вроде огромного пруда, «втыкали», как говорят, «тильки так», но у костра недостатка в людях не наблюдалось. Когда Моргунов подходил к ним, он уже издалека услышал высокий, противный голос одной из постоянных обитательниц лагеря – уркаганши Тоньки, известной всему уголовному миру под кличкой «Капитанша». Кличку эту она заработала потому, что выдавала себя за жену капитана дальнего плавания, утонувшего в Черном море во время чудовищного шторма, приключившегося будто бы несколько лет назад у берегов Феодосии. Громким голосом, пересыпая речь замысловатыми ругательствами и называя все части человеческого тела терминами, не могущими быть воспроизведенными в печати, Тонька, захлебываясь от восторга, рассказывала присутствующим о том, как избивал ее некий Юрок за то, что она ходила в кусты с Николашкой.

– ...А потом за волосы выволок и об порог, об порог. Я кричу, а он меня сапогом поддых, да под ребра. А потом уселся верхом и давай кулаками волтузить. Я аж ...лась!

Урки слушали и радостно ржали, уркаганши с деланным недоверием покачивали головами, на их лицах явственно проступала испытываемая ими зависть. В этом паскудном мирке все понятия о морали стояли кверху ногами. Уркаганши завидовали Тоньке, потому что нанесенные ей побои служили доказательством горячей любви к ней так зверски избивающего ее Юрка.

– Бьет – значит, любит! – говорили они.

Моргунову стало противно и расхотелось идти к этой дикой орде. Он отошел в сторонку и, став под дым, начал издалека наблюдать за Тонькой. Теперь она уже рассказывала про Николашку. Она осталась им недовольна. Во-первых, он слишком скор на любовь, прямо как кролик или воробей, а во-вторых, его орудие любви слишком мало. Чуть-чуть разведя большой и указательный пальцы правой руки, Тонька наглядно показала присутствующим не удовлетворяющие ее размеры, И ведет себя Николашка неделикатно, все время пускает шептунов. Ртом и губами Тонька имитировала слышанные ею звуки.

– Мерзотина, – подумал Моргунов про Тоньку. – Неужели она не понимает, как отвратительно все, что она рассказывает, как неприлично, как гадко!

И сразу понял: да, не понимает. У Тоньки – так же как и у «Графини» – Машки, так же, как и у массы других уркаганш, – в детстве не было гувернанток, не было хоть в какой-то мере культурных наставников, ее не поили какао, она выросла в среде, где неприличные слова считались обыкновенным средством выражения мысли, а все функции человеческого организма – не подлежащими сокрытию. Блатной мир завершил ее воспитание, и теперь она, без всякого умышленного озорства, лишь немного рисуясь и бахвалясь, рассказывала в своей компании о тех забавных и представляющих, по ее мнению, общий интерес приключениях, которые произошли с ней совсем недавно. Возможно, что в своих рассказах она кое-что прибавляла и придумывала, возможно даже, что она сознательно лгала, но способ изложения, избранный ею, был в ее кругу обычным, постоянным и повседневным.

– Эй, студент, чего стоишь? – закричал Моргунову один из «знакомых» урок. – Иди, присядь! Поди уморился!

Отказываться было неудобно. Моргунов нехотя подошел.

На этот раз у костра сидела вся блатная аристократия: сюда из работающих поблизости бригад собрались все уркаганские вожди и атаманы, все «бугры» и «бугорочки», кое-кто из их «корешей» и «шестерок», а также отдельные бригадиры и десятники, злоупотребившие своим положением командиров производства для блаженного ничегонеделания у яркого огонька.

Вдоволь позубоскалив и похохотав над Тонькиными рассказами, сидящие у костра заговорили про вчерашний случай, о котором Моргунов уже слышал в своем бараке. История была несложной. На реку, на разгрузку баржи, вывели подконвойную бригаду. Конвоир подвел заключенных к реке, положил по бокам дорожки, назначенной для движения грузчиков, несколько чурок и объявил, что невидимая линия, соединяющая их, является запретной зоной. К переступающим ее оружие будет применяться без предупреждения. Дорожка была узка и неудобна, а предупреждение обще и стереотипно. Один из заключенных почему-то заторопился, хотел обогнать впереди идущего и ступил на обочину. Конвоир вскинул винтовку и, не произнеся ни слова, уложил «нарушителя» наповал. Все бы прошло шито-крыто и обошлось без особого шухера, но убитый подложил конвоиру свинью: он упал так неловко, что полностью вписался в отведенные для работы пределы: невидимая запретная зона, по самым пристрастным замерам оперуполномоченного, оказалась в пятнадцати сантиметрах от ног убитого.

Теперь у костра обсуждался вопрос о возможной ответственности конвоира за неосновательное убийство.

– Ничего ему за это не будет, – авторитетно заявил один из видавших виды сокостерников. – Начальство как смотрит? Застрелил – и ладно! Так и надо! Не лезь, куда не положено.

– Почему это «куда не положено»? – возразил другой. – Ведь убитый-то запретную зону не переступал.

– Ну и что же, что не переступал? А зачем близко подошел? Сказано: не лезь! Значит, не лезь!

– Да не лез он! Он внутри зоны был. Куда ж деваться человеку, когда узко. Я бы эту сволочь, стрелка, на первой осине повесил.

– А ему ничего не сделают. Может, еще и награду дадут. За бдительность!.. Он сегодня опять бригаду повел, опять стрелять будет.

– Зверье! – подумал вслух Моргунов. – И зачем стрелять?! Из этого места и так никто не побежит. Бесполезно! Самое большее – через день–два поймают.

– Ну, это ты так рассуждаешь, – возразил ему сидевший рядом, одетый в новое обмундирование, немолодой уркаган по кличке «Сурок». – Ты не побежишь, а я побегу... Через день поймают? Ну и что ж! Хоть день, да мой! Сколько же можно ишачить? У меня вон девять лет неотбытого срока. Что ж я? Так и буду до морковкиных заговенов сидеть?.. Не буду! При первом случае убегу.

– Что ты ему толкуешь? Нешто он может понять? – вмешался в разговор черный, с блестящими глазами, грузин, которого блатные называли «Усы». – Ты ему ксиву на руки дай, денег дай, и билет в мягкий вагон – все равно не подорвет. «Меня – скажет – по ней в Москве не пропишут!» – Ха-ха-ха-ха! – расхохотался он над собственной остротой.

– Верно, – серьезно ответил Моргунов. – Не побегу! И чужая ксива меня не устроит. Куда я с ней денусь? Мне нужно – официально. Иначе – какая же жизнь: без работы, без дома?

– А-та-та-та-та! – защелкал языком Усы. – Без работы, без дома! Слышишь, Сурок? Что я тебе говорил?! Ему нужна – работа!

– Слышу, – отозвался Сурок. – А на что тебе работать? – обратился он к Моргунову. – Ты – парень с головой, образованный. Неужели не сообразишь украсть? Работать-то ведь и медведь может, чего в ней завидного? Я об этом предмете полагаю иначе. Вон, к примеру, лопата лежит. Ну и пусть лежит. Она меня не трогает, и я ее не трону. Пусть лучше другие ишачат! – со смаком повторил он нравящееся ему слово.

– Как это – другие? – возмутился Моргунов. – А чем ты или я лучше других? Работать должны все! Мир создан трудом человека и без труда существовать не может. Человек развился из обезьяны только в результате труда. Все материальные ценности – это овеществленный труд.

У костра захохотали: Моргунов, заговорив на языке политической экономии, явно не учел культурного уровня своих собеседников.

– Неужели действительно лучше жить так, как живете вы? Жить тунеядцами, таскать друг у друга пайки? – немного смутившись, закончил он.

– Ты нас с кусочниками не путай! – угрожающе ответил Сурок. – Мы друг у друга паек не таскаем. И вообще паек не берем. Мы – воры! – с гордостью отчеканил он последнее слово. – Настоящие воры! И воруем не у своих, а у фраеров... Излишки берем... чтоб не зевали!

– Конечно, – иронически сказал Моргунов. – Излишки! Человек трудится, трудится, заработает на жизнь. А вы у него последнее пальто, последнюю зарплату тянете. Вы же за его счет, за счет его труда существуете.

– Ну и что ж! Не будь дураком! Сильный или хитрый всегда за счет глупого живет. Закон природы. Кто кого одолеет, тот и наверху. Мужик лошадь запряг и пашет на ней, значит – одолел, а мы у мужика украдем, значит – мы его одолели.

– Но ведь это же гадость! – закричал Моргунов. – Вы же паразиты, ваша идеология враждебна человечеству, враждебна народу. Вы, именно вы, враги народа! Настоящие враги...

Моргунов не договорил. Сильный удар по затылку чуть не вогнал его в самый костер.

– Ишь, расшухарился! – услышал он голос позади себя. – Пришью курву, и – вот тебе весь ...й до копейки!

– Не тронь его, Жорик! – повелительно сказал Сурок парню, нанесшему удар. – Не тронь! Я ему и так докажу.

– Ты, значит, утверждаешь, что мы – враги народа, – обратился он опять к Моргунову. – Мы воруем, а вы, мол, нет. Врешь: вы тоже воруете, только по-своему. Вот был у меня случай: работал я в стройконторе, электромонтером. Как полагается работал, без туфты. И задумал начальник этой конторы у себя дома проводку переоборудовать. Вызывает прораба: «Пошли мне на дом монтера!» Посылают меня. Прихожу: материал казенный, со стройки, работы много. Проработал я у него с подсобником девять дней. Сделали все, как надо. Посмотрел начальник работу – доволен остался. Наливает мне стакан водки, ставит на стол закуску. «Выпей, – говорит, – парень!.. Молодец! Чисто работаешь!» А я про себя думаю: «Нет, это ты – молодец! Ты чисто работаешь!» – Платили-то мне за счет стройконторы. И материал, и зарплату – все на строительство записали. Это он, значит, не ворует!.. Или другое: тебе, к примеру, дрова нужны квартиру топить – иди на склад, покупай! Взять со стройки не моги! «Кража!» А для начальника – или, там, для себя – прораб рабочих поставит, они ему сухеньких выберут, напилят, наколют, на подводу погрузят и в дом отвезут. Это – они не воруют? Они – честные? А почему им можно, а мне нельзя?!

– То, что ты говоришь, Сурок, ничего не доказывает, – спокойно ответил Моргунов. – И начальник, и прораб, о которых ты рассказал – просто воры. И не по ним равняется человечество.

– Нет, не воры, а обыкновенные фраера. Воры – мы! – с возмущением закричал Сурок. – Мы – воры, у нас закон есть! Если вор хочет работать, мы допускаем – пускай ишачит, но не выше бригадира, а кто выше бригадира пошел – ссученный тот! Смерть ему!.. И друг друга не продаем, а легавым – смерть! А те начальники да прорабы родного отца заложить рады. Нет, не воры они, а фраера, и нас, воров, с г... съесть готовы!

– Я смотрю, ты не просто вор, а вор – теоретик. Среди блатных таких, как ты, мало, а работать все равно... – хотел было возразить Моргунов, но Сурок не дал ему продолжать.

– Работать, работать! – заорал он еще громче. – Ну и иди отсюда ко всем ...м! Иди, работай, коли хочешь!.. За работу агитируешь, а сам к костру уселся. Видать, она и тебе не по нутру пришлась. Чем ты лучше нас?.. Работать!..

Слова Сурка стегнули по Моргунову точно ремнем. «Неужели между мной, Моргуновым, и этими обезьянами может быть хоть что-нибудь общее?.. Единство противоположностей?.. Нет, нет! Скорее прочь из этого ада, из этой грязной, вонючей, зараженной ямы. Прочь, скорее прочь!»

Он поднялся и громко сказал:

– Нет, ты ошибаешься! Работа мне как раз по нутру!

Он быстро вернулся на свое рабочее место и до самого прихода десятника работал с нечеловеческим напряжением. Голова его разламывалась от дум. Моргунов впервые столкнулся с идеологом и апологетом блатного мира, имеющим какое-то, пусть примитивное, образование и небольшое, но превышающее средние нормы, развитие.

«Так вот откуда идет позорная блатная романтика. Вот какие соображения лежат в основе воровского «закона»...

Его охватило омерзение, мелькнула мысль: «Согнать бы их всех в один большой загон... и из пулемета... Сам бы лично... Не дрогнула бы рука... паразиты!..»

По дороге в зону он все время думал о том же.

А вечером его, как и всегда – неожиданно, вызвали на этап, направляемый «за пределы лагеря».

XXIX

Всю ночь шли приготовления к этапу. Людей согнали в один барак и заперли там, а потом поодиночке вызывали сдавать постельные принадлежности и излишки обмундирования. В случае нехватки чего-либо недостающую вещь не списывали, и за тем, у кого она числилась, оставался «промот».

Пятьдесят восьмая и бытовики шли на этап беспрекословно, зато с урками опять началась возня. Когда нарядчики, подкрепленные группой надзирателей, ворвались в забаррикадированный изнутри шалман, они встретили на нарах абсолютно голых людей. Одежда всех обитателей барака, неизвестно кем заблаговременно извещенных о предстоящей отправке, была перемешана и свалена в общую кучу в самом дальнем углу. Ни один из них не откликался на вызовы, и нарядчики опознавали подлежащих этапированию людей по лицам и татуировкам, используя в сомнительных случаях фотокарточки и описания особых примет, предусмотрительно сделанные в личных делах каждого при его аресте. Окончательное уточнение идентичности того или иного субъекта могло быть произведено, в случае необходимости, позднее, путем сверки дактилоскопических оттисков, имеющихся в деле, с фактическими отпечатками его пальцев. Впрочем, такая сложная процедура установления личности требовалась лишь в исключительных случаях. Нарядчики, как правило, знали всех заключенных своего отряда в лицо и легко их узнавали.

Но опознать человека – еще не значит отправить. Голого на этап не поведешь, а опознанные категорически отказывались одеться. Надзиратели хватали их за руки и за ноги, вытаскивали на улицу, волочили в изолятор, грозили всеми земными и небесными карами и, пользуясь отсутствием свидетелей, втихаря как следует накладывали по шее. Наглядная «агитация дрыном» действовала весьма эффективно, вкупе с испытанным военным приемом – изоляцией от главных сил противника – она быстро приводила оторванного от моральной поддержки окружающей среды и оказавшегося в одиночестве «героя» к покорности и смирению. Он очень быстро расставался с бравадой, переставал фордыбачиться и послушно надевал принесенные ему штаны и прочие причиндалы лагерного обмундирования.

Прошло совсем немного времени, и шалман очистили почти до конца. Только несколько закоренелых мастыряг проявили отчаянную стойкость и вместо этапа попали в стационар. Не желая расставаться с насиженными местами, где им удавалось жить, не работая и выезжая на спинах других, они наносили себе ножевые ранения, вспарывали (предварительно оттянув кожу, чтобы не задеть внутренности) животы, вскрывали (с такими же предосторожностями) вены и даже прибивали себя за мошонки к нарам гвоздями. Отрывать прибитого к доскам человека вохровцы не решались. Приходилось наваливаться на него вчетвером–впятером, лишая его возможности сопротивления, вытаскивать затем гвозди клещами и только после этого отправлять окровавленного и благим матом кричащего упрямца в санчасть в крепко связанном виде.

Утром запертым в отдельном бараке людям принесли завтрак и этапный паек на день вперед; затем их еще раз пересчитали, проверили по формулярам и вывели за зону, где сдали начальнику прибывшего извне конвоя под расписку.

Дальше все шло как по маслу. Начальник конвоя, играя могучими голосовыми связками, и с таким серьезным видом, словно он командовал, по крайней мере, дивизией, объявил построенным по четыре в ряд людям давно известные им

правила передвижения: «...шаг вправо, шаг влево... оружие...» и т.д. Партия нестройно прокричала в ответ: «Понятно!» и тронулась в путь.

Шли лесом. Солнце, пробиваясь сквозь разреженную выборочной рубкой чащу, золотило стволы деревьев, сверкало на листьях, осветляло хвою, и Моргунов опять вспомнил чарующий лес под Москвой, На мгновенье шевельнулись в душе тихая радость и умиление, появилось ощущение покоя, лес показался давно желанной отрадой, но чуть ли ни в этот самый момент сзади неизвестно на кого заругался конвоир: «Куды прешь, твою в три господа мать!.. Стрелять буду!» И очарование – исчезло.

– Так, так его, так! – иронически проговорил шагавший рядом с Моргуновым Лев Соломонович Гольденберг. – Стреляй в него! Пли! К празднику премию дадут!

Моргунов улыбнулся.

– Все шутите! – сказал он Гольденбергу. – А этот идиот возьмет, да и действительно выстрелит... вот и пошутите!

– А что мне в таком случае останется делать?! Разодрать одежды и посыпать голову пеплом? Я на это не способен... с детства не обучили...

Сзади раскатисто грянул выстрел. Пуля с сухим треском разорвала воздух где-то над головами идущих людей. Колонна шарахнулась, послышались негодующие крики, проклятия, возгласы испуга, движение на минуту остановилось.

– Господи! – крестясь, воскликнул вблизи от Моргунова бывший православный священник Николай Павлович Ревунов. – Господи, прости им, грешным, не ведают бо, что творят!

– Заве-ел волынку! – пренебрежительно бросил Гольденберг по адресу Ревунова и, обращаясь к Моргунову, добавил: – А вы чего взволновались? Ничего страшного пока что не произошло. Этот идиот, как вы только что его назвали, стрелял в воздух.

– Этап, смирно! – раздался, перекрывая возникший шум и взволнованные возгласы людей, зычный окрик начальника конвоя. – Слушай мою команду! Разобраться по четыре!.. Шагом... марш!

– Кто против? – игриво спросил Гольденберг. – Кто воздержался?.. Принято единогласно!.. Пошли!

Колонна снова недружно заколыхалась. Этап двинулся дальше и часа через три вышел к небольшой, сооруженной из подтоварника и древесных отходов, заброшенной пристани с пришвартованной к ней баржей.

Утомленный переходом Моргунов с облегчением растянулся на грязном полу трюма, положив под голову мешок с принадлежащими ему вещами. Рядом с ним с одной стороны расположился Гольденберг, с другой – Ревунов, возле которого пристроился неизвестно откуда возникший Иван Алексеевич Мельников.

Мельникова никто из присутствующих увидеть здесь не ожидал. Маленький, худой и слабосильный, он безусловно не годился «для тяжелой работы в условиях Крайнего Севера», на медосвидетельствовании ему поставили «ЛФТ» и к отправке не готовили, но, как оказалось, в самую последнюю минуту, когда основную этапную партию уже вывели за ворота, за ним прибежал нарядчик, и его собрали в этап с такой молниеносной быстротой, что он не успел даже убрать со стола плановой части ОЛПа, где он работал, разложенные на нем дела и бумаги. Появление Мельникова наводило на тревожные раздумья. Стало очевидным, что в этап отбирали людей не только по физическим данным, а и по другим, скрытым во мраке неизвестности, соображениям.

– Да, странная компания! – согласился Мельников, озираясь по сторонам в полутемном, заполненном людьми трюме.

– Компания невелычка, но гарна! – откликнулся Лев Соломонович, с искренним удовольствием укладываясь на свое место. – Кстати, друзья, не

напоминает ли вам имеющаяся налицо ситуация дуровский зверинец? Там у него, говорят, кошка и мышь живут вместе и даже из одной миски едят, а вы посмотрите, что делается здесь: секретарь райкома ВКП(б), убежденный атеист и богоненавистник, товарищ Мельников, лежит рядом с попом Ревуновым – человеком фанатичным и исступленным, из коего божественные выражения и цитаты сыплются, как горох из рваного мешка. Как, вы думаете, относились бы они друг к другу на воле?

Гольденберг с удовлетворением захохотал, и за ним постепенно засмеялись все окружающие, не исключая и виновников торжества – Мельникова и Ревунова. Моргунов тоже смеялся от всей души. Он воочию представил себе Ревунова в рясе, с длинными волосами и большим наперсным крестом на груди, и рядом с ним маленького, щупленького Мельникова в полувоенном, a-la Сталин, костюме, с орденом Красного Знамени, полученным за участие в разгроме одной из врангелевских дивизий. Это были подлинные антиподы друг другу, полные противоположности, но лагерная жизнь столкнула их лбом ко лбу, и, вот они лежат рядом, и мирно беседуют, и Мельников любезно оставляет Ревунову покурить от своей с великим трудом добытой папироски, а Ревунов не только не гнушается этим обсосанным и изжеванным окурком, но готов считать Мельникова истинным христианином за то, что тот услышал его трепетное «сорок» – лагерное словечко, означающее в приблизительном переводе на русский язык убедительную, а порой даже отчаянную просьбу: «браток, оставь покурить!»

Мельников и Ревунов! Для большинства присутствующих сочетание этих фамилий звучало примерно так же, как сочетание слов волк и ягненок, ястреб и воробей, сова и комар, лисица и курица, но... крайности сходятся... Мельников и Ревунов лежали рядом, и их дружелюбное соседство напомнило Моргунову закон единства противоположностей и слова Энгельса о том, что «оба полюса какой-нибудь противоположности – положительный и отрицательный – столь же неотделимы один от другого, как и противоположный...

Моргунов не довел свою мысль до конца. После вчерашнего трудного дня, бессонной ночи и сегодняшнего короткого, но сильно утомительного этапа страшно хотелось спать, и он так же, как остальные, воспользовался прекрасной возможностью: опустив голову на мешок с вещами, почти мгновенно заснул.

Проснулся он от чужого прикосновения. Открыв глаза и не сразу поняв, где он находится, Моргунов увидел наклонившегося над ним Мельникова с сильно помятыми газетами в руке.

– Александр Сергеевич! – взволнованно сказал Мельников. – Уходя на этап, я захватил с собой из планчасти две почти свежих газеты. И сейчас прочел их. Япония начала в Шанхае новую агрессию против Китая. Леваневский, Кастанаев и Левченко полетели через Северный полюс в Америку на самолете Н-209. Самолет пропал, об экипаже – ни слуху, ни духу! На воле все то же: «враги народа»... «бдительность»... «великий вождь и учитель»... хвалебные гимны Ежову...

Моргунов вскочил и потянулся к газетам.

– Дай, дай мне прочесть, ну дай, пожалуйста!..

Баржа тихо поскрипывала у причала. В ее огромном, плохо освещенном чреве, густо напиханном живыми людьми, скрестились сотни жизней, сотни судеб, сотни сходных и диаметрально друг другу противоположных умов и психологий.

Баржа стояла долго. Только вечером, когда зажглись на небе отдельные звезды и стали особенно сильно злобствовать комары, сверху пришел маленький, юркий и, по-видимому, могучий, но тихоходный буксир. Не теряя времени зря, пароходик лихо развернулся, подошел к носу баржи, зацепил ее тросом и потянул за собой вниз, на север. Ревунов истово перекрестился. Гольденберг сострил: «Исход евреев из Египта!» Мельников и многие другие стояли молча. Моргунов

вспомнил заключительные строчки из какой-то книжки: «Кто скажет? Кто ответит? Кто предречет поток событий в густом молочном тумане просыпающегося дня?»

Ему было не по себе.

XXX

– Вы – любитель всякой экзотики, – сказал Моргунову Лев Соломонович Гольденберг, когда баржа уверенно пошла в фарватере тянущего ее буксира. – Поговорите-ка с Ревуновым. Этот поп не просто служитель культа, а настоящий кладезь церковной премудрости... Не смейтесь – действительно уникальный экземпляр. И умен, и начитан, и доброжелателен, а главное – оригинален. Не просто поп, а какой-то клерикозавр, или, если хотите в рифму, – клерикантроп.

– Не хочу! – мрачно ответил Моргунов. – Надоели мне все эти дела и уникальные личности... Какое-то бесконечное однообразие разнообразий, а нового ничего нет... Ну их совсем!..

– Не скажите! – ответил Гольденберг. – И никогда я вам не поверю, что вы – и вдруг не хотите! Блажь, ерунда, случайный каприз!.. Будете утверждать, что я неправ?.. Давайте проверим!..

И, не дожидаясь ответа, Лев Соломонович обратился к Ревунову, возвращающемуся на свое место после кратковременной отлучки в нужник.

– Николай Павлович! Ну-ка, присядьте сюда!.. Разрешите вас проинтервьюировать. Вот у нас с Александром Сергеевичем зашел спор по делу о Боге. Каково будет на сей счет ваше просвещенное мнение? Как вы думаете? Есть Бог, вообще говоря, или нет?

Ревунов почесал колючий, начинающий седеть подбородок.

– Бог? – переспросил он, не обращая внимания на иронический тон Гольденберга и поочередно взглядывая то на него, то на Моргунова. – Да ведь как вам сказать?.. И что вы под словом «Бог» понимаете? В Евангелии от Иоанна, к слову сказать, говорится: «Бог есть любовь»... Впрочем, вы люди образованные, мне на слово все равно не поверите. Отвечу, как Лука отвечал... Не евангелист Лука, а Лука Горьковский, из пьесы «На дне»: «Коли веришь – есть, не веришь – нету!»

– Ого! – вырвалось у мгновенно зажегшегося Моргунова. – Ваше преосвященство, оказывается, знает не только церковные службы! Вы и по театрам похаживаете, и пьесы Горького смотрите. Ловко!

– Нет, – спокойно ответил Ревунов. – В театрах я не бываю. Сие нам не разрешается. Но читать – отчего же?! Обязательно надо! Тем более Горького. Горький – поэт героической удали. Он молнией ворвался в нашу жизнь, и все в ней зажег и осветил. «Человек – это звучит гордо! Человек – святыня. Все – для человека. Люди, вы и сами не знаете, как вы сильны и прекрасны», – говорит Горький своими творениями. Как же нам, в наших повседневных заботах о людях, не читать восторженные псалмы человеку, кои поются в произведениях Горького?

– Вы, ваше преосвященство, поэт! – улыбаясь, сказал Моргунов,

– Ну, куда мне до поэта, что вы, – опустил глаза Ревунов. – Просто я читать люблю очень. Вот и начитался всего. А вы меня, Александр Сергеевич, преосвященством не величайте! Это же как насмешку понять можно. Преосвященством у нас называют епископов, а я есмь простой иерей и до епископа мне так же далеко, как прапорщику до генерала.

– «Далеко» – не значит недостижимо, – незаметно подмигнув Моргунову, вставил реплику Гольденберг. – Кончите срок, вернетесь в свою епархию, вас там, как мученика, за веру Христову пострадавшего, сразу в архимандриты переведут, а уж из архимандритов в епископы – один шаг! Главарь «Живой церкви» Алек-

сандр Введенский за какой-нибудь год–полтора из протоиереев в митрополиты сиганул. Было бы желание!

– Александр Введенский нам не пример, – как бы не понимая, что его разыгрывают, по-прежнему спокойно и серьезно ответил Ревунов, – и «Живую церковь» возглавлял, кстати говоря, не он, а протоиерей Красницкий. Введенский же был вождем другой группировки, «Древнеапостольской церковью» называемой.

– Как? – удивился Моргунов. – Разве обновленчество не единое течение? Были две группы?

– Какие там две! – сказал Ревунов. – Кабы две! А то была там еще и группа «Церковное возрождение», руководимая митрополитом Антонином, и другие группы были. Мало ли раскольников видела православная церковь на пути своем? «Имена же их, Господи, веси!» Распались они, все эти группы, ликвидировались, живоцерковцы с тихоновцами слились, да и обновленцы постепенно самоуничтожаются. Остатки-то их давно на ладан дышат. Скоро – верую я! – будет у нас опять, как говорится в догмате, «единая, святая, соборная и апостольская церковь». Вот как!

А насчет желания стать епископом, – продолжил Ревунов после небольшой паузы, – Господи, помилуй мя, грешного! Нет у меня такого желания. И не было никогда. Ведь я ж не англиканец какой, я – православный, а у православных епископ должен быть из монахов, неженатый. Грешен я, не хочу монахом быть, не хочу мирских радостей лишаться! У меня – слава Господу нашему Иисусу Христу! – жена есть, и детишки тоже растут.

– А почему вы, Николай Павлович, говорите: «не англиканец какой»? Разве англичане – язычники? Такие же христиане! – сказал Моргунов.

– Об англичанах что говорить, – возразил ему священник. – Англичанин может и католиком быть, и лютеранином, и кальвинистом, и мало ли еще кем, а англиканцы – это последователи англиканской церкви. Не язычники они, нет, христиане, и очень близки к православию. Но англиканская церковь признает женатый епископат, разрешает второбрачие рядового духовенства, отказывается считать Священное Предание источником вероучения, из всех семи таинств – крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение – признает только два, – крещение и брак, – да и то придает им лютеранский смысл, от монашества открещивается, отвергает его, почитания икон и святых мощей не приемлет, и к цезаропапизму склоняется – дает королю главенство над собой. Король там имеет власть верховного судьи в делах веры и определяет на должности всех духовных лиц.

– Ай-яй-яй, как нехорошо! – с притворным сокрушением произнес Мельников. – И чего вы, православные, в таком случае к англиканцам в компанию лезете? Церкви свои объединить хотите? И не стыдно вам такую беспринципность проявлять?

– Как?! – изумленно воскликнул Моргунов.

– А так, – весело ответил Мельников. – Именно так! Скажи ему, отец Николай, что не вру я, а то ведь не верит он мне... Слышишь?

Ревунов облизал губы.

– Да, верно это, – нехотя подтвердил он. – Были такие разговоры. Только это не мы, не староцерковники, хлопотали... А что было, то было. Ездил митрополит Евлогий осенью двадцать шестого года в Лондон, вел там переговоры об унии с англиканской церковью. Настойчиво вел. Да, видимо, о чем-то не договорился... А беспринципности, Иван Николаевич, я тут никакой не усматриваю. В наш век всеобщего неверия церкви, как только можно, объединять надо, ибо что такое церковь есть? В писании сказано: «Единение всех верующих через Христа и во Христе и есть святая церковь». Ведь в первые века христианства церковь наша

единой была, начала-то она распадаться на ряд несогласных друг с другом религий только после Седьмого Вселенского собора, а сей, последний, собор состоялся в 787 году, 1150 лет назад. Окончательное же отделение западной церкви от вселенской произошло еще через два с половиной века, точнее, в 1054 году, а ведь могли же церкви и не разъединяться. Ведь тысячу лет – тысячу лет! – вместе молились. Что же тут беспринципного найти можно? Все верующие необходимость единства понимают – даже обновленцы! Профессор Титлинов еще в двадцать пятом году, на обновленческом соборе, предложил пойти на уступку тихоновцам и какой угодно ценой восстановить единство Русской православной церкви, а за нею, на VIII Вселенском соборе, объединить все автокефальные церкви и все христианские религии, ибо раскол ведет к безбожию, а безбожие страшнее всяких инакомыслий. Хоть и обновленец он, а правильно предлагал, я так считаю.

– А почему же только христианские религии? Объединять так объединять, – вмешался в разговор Гольденберг. – Давайте такой вселенский собор созовем, чтоб и магометан, и буддистов, и иудеев с христианами объединить. В один колхоз, так сказать!.. Не хотите, что ли, отец Николай? Морщитесь что-то! Не хотите вместе с евреями одному богу молиться? Эх, вы, апостолы бога любви, фарисеи ...евы! – Лев Соломонович закончил свою тираду совсем не печатным эпитетом.

– Почто сквернословите, блудный сын? Почто хулу Богу возносите? Зря вы это делаете, «Бог поругаем не бывает», – говорили святые наши... И зачем вы мне вражду к евреям пришить хотите? «Несть эллин, иудей, раб и свободь, но все едино во Христе», – записано в книгах наших, а апостол Павел в послании к римлянам так писал: «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от Бога». Видите, как церковь наша подлинных иудеев высоко ставит. А объединять иудеев, буддистов и магометан с христианами никак нельзя. Они Христа за бога не признают... Несерьезно вы это предлагаете, несерьезно, курьеза, видимо, ради.

– Да бросьте вы воду в ступе толочь, – не выдержал Моргунов серьезности комичного спора. – Один другого разыгрывает, а тот поддается. Я вот слушаю и никак не пойму: то ли мне все это во сне снится, то ли я в театре на какой-то допотопной пьесе сижу. Неужели на свете до сих пор вся эта ерундистика сохранилась? Черт знает что такое! Двадцать лет после революции прошло, две пятилетки выполнили. Мир раскололся. А люди все еще всерьез говорят о церковных группировках и спорах, о женатом епископате, о монашестве... Уму непостижимо!.. Послушайте-ка, святой отец, Николай Павлович, объясните вы мне всю эту премудрость. Зачем нужен, например, безбрачный епископат у нас, безбрачие рядовых ксендзов у католиков? Неужели церковь считает, что нормальная, естественная, плотская любовь – грех? Не понимаю я этого. Хоть убей, не понимаю.

Ревунов испытующе поглядел на Моргунова. «Нет, на насмешку не похоже. Человек, видно, спрашивает всерьез». Он опять поскреб свой подбородок.

– Ну, что же, коли на самом деле интересуетесь, могу поведать... О плотской любви спрашиваете вы – не грех ли? Нет, не считает наша церковь такую любовь грехом, наоборот даже: «Муж, предавайся наслаждениям с женою твоею, ибо в трудах жизни это для тебя единственное утешение», – сказано в книгах наших. Да и как же иначе может-то быть? Ведь сказал Господь: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и господствуйте над нею», а как же исполнять заповедь сию без плотской любви? Никак нельзя! Так почему ж, говорите вы, епископы должны быть безбрачными? Почему весь католический клир безбрачен есть? За католиков не скажу. Излишняя строгость, на мой взгляд, проявлена к ним. А у нас канон о

безбрачии епископов установил VI Вселенский Собор. Зачем установил? Да чтоб не отвлекала епископа мирская жизнь и мирская любовь от паствы его, чтобы все мысли его были отданы Богу и людям. Есть в Евангелии от Матфея рассказ такой: спросил один законник Господа нашего Иисуса Христа, искушая его: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?». Ответил Иисус: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим – сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон». Вот как сказал Христос. И чтобы мог один из высших руководителей церкви – епископ – выполнять заповеди сии, не отвлекаясь на мирские заботы, а подчас и дрязги, неизбежно от семьи проистекающие, чтобы мог он целиком посвятить себя Богу своему, вот засим и канон сей о безбрачии установлен.

– Брось, батя, чепуху молоть, – решительно, но без злобы перебил его Мельников. – Ведь ты и сам знаешь, что врешь! Ишь, нарисовал картинку: Бог, любовь, заботы о пастве. Дай-ка я тебе скажу, почему епископам жениться нельзя. Дело в том, Александр Сергеевич, – обратился Мельников к Моргунову, – что высшее духовенство, то есть епископы и митрополиты, – это князья церкви, в руки которых, в силу их положения, стекаются громадные богатства. Представьте себе теперь, что они женаты, имеют детей, семьи и прочее. Помрет такой князь, и все его богатства перейдут по наследству разным потомкам. А ежели он монах и потомства у него нет – единственным наследником является церковь. Вот в чем дело! Смысл института монашеского, и, следовательно, неженатого духовенства, в старой церкви заключался именно в том, что огромные сокровища монастырских ризниц и подвалов, громадные доходы от земельных латифундий и от доброхотных, так сказать, пожертвований одураченных верующих, – оставались при нем в руках церкви. Вот в чем дело, а совсем не в отречении пастыря от суеты мирской.

Молчи, поп, не перебивай! – прикрикнул Мельников на Ревунова, заметив попытку священника возразить ему. – Будешь в мои речи встревать – курить не дам! – шутливо пригрозил он. – Ну так вот, слушайте, друзья мои, дальше. Неженатый епископат появился в христианской церкви еще в VI веке, в период усиления царской власти. Почувствовав в церкви растущую силу, цари стали сами внедряться в богослужение, придумали себе особое облачение – «саккос» – и постепенно прибрали церковную власть к своим рукам. Сначала в Кодекс законов Юстиниана записывается правило: «Избирать в епископы только тех из женатых, у кого нет детей и племянников». Чувствуете, что делается?!. А через некоторое время кодекс обновляется, и в него вносится новое постановление: избранному во епископы женатому совсем запрещается жить со своей женой. Заметьте, все это законы светские, государственные. Церковь тут не при чем. А затем еще один нажим, и покорная церковь на Трульском Соборе не только подтверждает царские указы, но идет еще дальше – жена рукоположенного во епископы должна идти в монастырь! Зачем все это? – спросите вы. – Кому это надо? Отвечаю: мирской власти, царям. Церковь вырастала в то время в громадную, конкурирующую с ними силу. Потребовалось заблаговременно, пока она еще не полностью оседлала царскую власть, подчинить ее, сделать послушной и преданной служанкой. Ну, а с кем царю легче справиться – с сиятельным владыкой, сосредоточившим в своих руках громадные наследственные богатства, поддерживаемым сонмом влиятельных родственников, – или с отрекшимся от роду и племени монахом, имущество которого не превосходит накоплений одной его жизни?.. С кем?.. Вот то-то и оно! Поэтому-то высших руководителей церкви сделали монахами, именно поэтому, а вовсе не от любви к Богу.

– Все это убедительно, – сказал Моргунов, – когда касается церковных верхушек, а какой смысле не давать жениться рядовым католическим ксендзам?

– Хороший вопрос! – ответил Мельников. – Католическая церковь развивалась иначе. Ей были необходимы мобильные кадры проповедников, которых можно было бы быстро перебрасывать в любой конец света. А ну-ка, переведи, к примеру сказать, нашего священника с его попадьей да кучей детей, со всяким там скарбом, скотом, курами и петухами, – переведи-ка его в другое место. Наплачешься! А здесь – чик-чик, и поехали. Надо – в Испанию, надо – во Францию, надо – куда-нибудь и подальше, в общем, – куда хочешь! Ну, поп, прав я или нет? Что ты теперь скажешь?

У Ревунова задрожали губы.

– Скажу словами Священного Писания: «Нет правды в людях, только одна ложь и обман».

– Это ты, Николай Павлович, про кого? Про Юстиниана или про господ-депутатов Трульского Собора?

– Про тебя, про тебя говорю, нечестивец ты, богохульник! И не стыдно тебе? Не совестно?

– Чего?! Я ж правду сказал. Чего мне стыдиться?

– Не стыдишься, значит?.. Истинно сказано у Иеремии: «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, никакого стыда не чувствуют, даже не знают, что значит краснеть».

– Это, Николай Павлович, Ерема про таких, как ты, говорил. Вот у тебя, действительно, ни стыда, ни совести нет. Не ты ли сам мне рассказывал, что принял сан «не ради Иисуса, а ради хлеба куса?» Что ж ты не краснеешь, не стыдишься?

– Злой ты человек, Иван, злой. Ладно, я стерплю, поступлю, как Спаситель велел: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую».

– Это ты откуда цитируешь?.. Из Матфея?.. А если я тебя тем же боком, да по другому месту? Что ты тогда запоешь? Ну-ка, вспомни, что Христос фарисеям сказал: «Лицемери! Лицо убо небесе умеете рассуждати, знамении же временом не можете искусити»... Что?.. Взял?..

Ревунов вытянул шею и подставил Мельникову левую, покрытую от волнения красными пятнами, щеку.

– На, бей!

– Нужен ты мне, еще бить тебя... Придумает тоже!.. Ладно, отец Николай, не обижайся на меня!.. На лучше, закури! – И Мельников протянул ему целую, не начатую еще папироску.

Ревунов слегка помешкал. Потом лицо его просветлело, он взял папироску и с воодушевлением сказал:

– А ты, Иван, хоть и супостат, а настоящий христианин. Быть тебе в Царствии Небесном, «ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня...»

– Курить хотел, – в тон ему перебил его Мельников, – и вы уделили мне зелия вредного сего. Молчи лучше, отец Николай, а то и сам в геенну огненную попадешь и меня за собой потянешь.

Ревунов смущенно засмеялся.

– Я потрясен твоей эрудицией, Иван Николаевич, – сказал Моргунов, обращаясь к Мельникову. – Николай Павлович – священник. Ему, как говорится, и книга в руки. Ну, а ты-то откуда всю эту чертовщину знаешь?

– А ты попробуй побыть секретарем райкома в отсталом районе, да поспорь там с попами, да с сектантами, да с миссионерами разными, тогда и не это узнаешь, – ответил Мельников. – Ну ладно, на сегодня хватит! – переменил он тон. – Давайте-ка по местам, спать пора. Завтра тоже день будет. Лучше самим улечься, чем ждать, пока конвой уложит. Спокойной ночи.

XXXI

Моргунов проснулся, когда солнце, проникая сквозь открытый палубный люк, осветило вповалку лежащих людей косыми, отраженными от стенок лучами. Наступил ясный, солнечный и прохладный день, но в туго набитом брюхе баржи было душно и полутемно. Баржа медленно плыла вслед за буксиром. Встречный ветер то и дело загонял в трюм обрывки едкого, вонючего дыма из трубы парохода, и он, попадая в носоглотку людей, вызывал у них неприятный привкус во рту, а порой, при случайных больших задуваниях, даже пощипывал глаза.

Рядом с Моргуновым, распластавшись на подложенной под бок телогрейке, мирно похрапывал бывший служитель религиозного культа Ревунов. Подбородок его за прошедшую ночь стал еще более колючим и казался еще более седым. Тем не менее, при внимательном взгляде, на лице его легко обнаруживалась чуть заметная радостная улыбка, притаившаяся в уголках время от времени причмокивающего рта.

Ревунову, по-видимому, снилось нечто приятное. Может быть, он видел во сне «наслаждения с женою своею», или другую, более скромную, картину спокойного отдыха в любимом семейном кругу, а может – чего во сне не бывает! – может быть, ему мерещилось неожиданное освобождение или даже то, что он умер, и сам Господь Бог, с золотым лучезарным нимбом вокруг головы, светлый от источаемого из себя яркого солнечного сияния, привел его за руку туда, «где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий, ни страданий, но где жизнь вечная и свет невечерний». Трудно сказать, что виделось ему, но, во всяком случае, вчерашние обиды, воспринятые им с такой большой горечью и еще большим смирением, в его сновидениях явно не участвовали.

Он спал, и хорошие, благодатные сны вились над его головой. Что же могли принести они к жесткому ложу Ревунова?

Крестьянину может присниться родная деревня, пашня, сенокос, сдача хлеба государству; рабочему металлургической промышленности – огненный поток чугуна, мартеновские печи, бессемеровские конверторы; домашней хозяйке – груды невымытой посуды, убегающее молоко, длинная очередь в магазине.

Что могло присниться священнику? Конечно, только то, что он когда-нибудь пережил, что видел, о чем слышал, читал или знал, только то, что встречалось в жизни. Может статься, ему снилось собственное детство в небогатой, но дружной семье уездного священника, и Торопецкое духовное училище, где он неизменно был первым учеником, и Псковская духовная семинария, выпустившая когда-то из стен своих будущего первосвященника российского, ныне усопшего уже патриарха Тихона, – семинария, которую лет через тридцать после «святейшего» блестяще окончил и он, теперешний «враг народа» Ревунов, – простой, незаметный человек, любящий мирскую жизнь и художественную литературу, легко искушающийся и грешный, но кроткий и в вере упорный священник-староцерковец.

Ему могло присниться и мальчишеское катанье на одном самодельном коньке по льду замерзшей речушки, и нежная, ласковая мать в их небольшом, деревянном домике в Торопце, и грубый, совсем не ласковый следователь в огромном каменном здании Областного управления НКВД.

Будто почувствовав взгляд Моргунова, священник проснулся. Они обменялись несколькими незначащими фразами, а потом Александр Сергеевич попросил Ревунова рассказать о себе. Тот оживился.

Первые детские шаги в церковном служении память священника запечатлила на всю последующую жизнь. Он не помнит теперь, в связи с каким событием пришел тогда к ним, на помощь его отцу, еще один батюшка, и они вместе, вдвоем, служили в их старенькой, но поместительной церкви торжественную

литургию. Священникам во время молитвы прислуживали в алтаре три мальчика – двое в стихариках из белого коленкора, перепоясанные орарями, как иподиаконы, а один в обыкновенном костюме. Первые два во время малого и великого входа важно шествовали с большими свечами, а третий подавал кадило, закрывал царские врата, задергивал и открывал церковную завесу, Одним из трех был, конечно, он, Коля – Коленька – Николай, выросший постепенно в семинариста, потом в священника и, в конце концов, в заключенного по статье 58-10 Николая Павловича Ревунова.

Немудреной, вообще говоря, была его жизнь. Окончил он семинарию в 1914 году, окончил прекрасно, но все же не первым, а посему на казенный счет в духовную академию не попал. Сначала он не очень-то и огорчился. Откровенно говоря, идти в академию ему не хотелось, духовная карьера не привлекала. Мечтал он о ветеринарном институте, но отец денег не дал и пригрозил проклятием. Ему бы расплеваться с отцом и поступить по-своему, да не так был воспитан, да и испугался нужды. Поволновался немножко, поерепенился, а потом смирился и принял сан – питаться-то надо! Послали его священником в воинскую часть, прямо на фронт, а там в первый же день подстрелили. Долго лежал он в госпитале, вылечился, вернулся в тыл, получил приход и до самого ареста священствовал; почитай что двадцать лет подряд.

Эх, милые молодые годы, куда вы умчались, куда улетели? Как верилось, как мечталось тогда! Были у него, Ревунова, когда он смирился с необходимостью стать священником, самые наилучшие намерения, была огромная учительная ревность; искренне хотелось послужить ближнему своему, отдать все силы свои религиозно-нравственному просвещению вверенной ему паствы.

Но вот прошло всего лишь два десятилетия, и в церковных делах царит такой ералаш, что жутко становится, идет жестокая, скрытая и открытая, тайная и явная борьба за церковную власть. Одиннадцать патриарших местоблюстителей объявилось уже. Рвут друг у друга из рук патриарший жезл и белые клобуки с крестами митрополиты Агафангел, Кирилл, Петр, Сергий, Михаил и Арсений, не отстают от них архиепископы Иосиф, Фаддей, Корнилий, Серафим и Аркадий. Наказание Божие пришло в церковную жизнь.

Болит у Ревунова душа за Русскую православную церковь, нестроения всякие волнуют его. Обновленцев любого оттенка он не признает – раскольники они! Митрополита Сергия – тоже. Не каноничен он; сам себе звание заместителя патриаршего местоблюстителя присвоил. И вообще, с точки зрения истинного христианина, Сергий – persona non grata. Прежде всего, он не особенно щепетилен. В 17-м году поклялся в состав нового Синода не входить, а через короткое время вошел. Ему Всероссийский собор за это «на вид» поставил. В 22-м к живоцерковцам примкнул, вместе с ними пытался лишить сана патриарха Тихона, но как только Тихона выпустили, так сразу на попятную пошел, покаялся перед ним. А теперь опять церковную смуту заводит, отвергает правомочность Временного Высшего церковного совета, хочет управлять церковью единолично, а ведь церковь-то наша православная «соборной» должна быть, так и в догмате записано! Нет, Сергий не тот человек, кто церковь спасет. Насадитель он нового и самого бессмысленного раскола. Не признает его Ревунов духовным отцом.

Воевал отец Николай с раскольниками непримиримо и рьяно. Воевал-воевал и довоевался. Назвал как-то в проповеди своей обновленцев «большевистскими прихвостнями», обвинил их в продажности: «Советской власти – мол – продались, ее агентурой заделались». Недремлющий НКВД усмотрел в этих словах контрреволюционную агитацию. Взяли его за мягкое место – и в конверт. А там – «день тот да будет тьмою!» – наподписал он бог знает чего: не только себя виновным признал, но еще человек десять в несуществующих грехах обвинил – «помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и твое есмь создание!»

Слушает Моргунов Николая Павловича, широко открывая глаза, а порою и рот. Тихо поскрипывает баржа на стальном буксирном канате, ветер доносит запахи дыма, едва-едва слышится сквозь стенки и обшивку деревянного судна несмелое журчание воды. В барже уже гомон и шум. Конвой принес кипятку. Люди едят, пьют, разговаривают. Но Александр Сергеевич ничего не слышит. Он поглощен рассказом священника. Временами лишь оглядывается он по сторонам, как бы желая убедиться, что это не сон, не мираж, не бред. Нет, он не спит. Все, происходящее в данный момент, реально свершается наяву. Сидит перед ним небритый, седой человек в серой лагерной гимнастерке, сидит и рассказывает о чем-то совершенно фантастическом, о каком-то прямо-таки «потустороннем» мире.

– А не все ли вам равно, Николай Павлович, кто будет главой церкви: Агафангел, Петр, Сергий, Серафим, Херувим? Все они одним миром мазаны!

– Что вы, Александр Сергеевич, как можно так говорить! – всплескивает руками Ревунов. – Ведь вы и вопрос-то неправильно ставите. Не о главе церкви речь идет. Мы исповедуем, что главой церкви является Господь наш, Иисус Христос. Патриарх же возглавляет лишь управление делами церковными, он – первый среди равных ему епископов и вместе с органами церковного управления подотчетен Поместному Собору, коему принадлежит высшая власть в церкви российской. Мы же не католики! Католики, те – другое дело, они полагают, что папа римский является наместником Христа на земле, а мы их за это врагами святого православия считаем, вроде сектантов, обновленцев или безбожников.

– Понимаю вас, Николай Павлович, и ставлю вопрос по-другому: не все ли вам равно, кто будет возглавлять управление делами церковными?

– Не все равно! На это каноны есть. Патриарх должен быть каноническим.

– Неясно, по совести говоря. Что за штука такая – каноны, и кого вы каноническим патриархом считаете?

– Каноны – это, по-гречески, правила, – поучающим тоном говорит Ревунов. – Еще апостол Павел слово сие употребил в послании своем к галатам. Без канонов нельзя, а то каждый по-своему мудровать будет. Мы канонами признаем письменные источники наши: «Учение двенадцати апостолов», «Наставления апостольские», «Правила святых апостолов», их же «Церковные каноны» и «Постановления через Климента – епископа римского данные», а кроме того, само собою разумеется, правила, Вселенскими и Поместными соборами установленные...

– ?!

– Понимаю вас, Александр Сергеевич, понимаю, что хотите сказать... отвечу вам... Да, конечно, канон не догма, принятый собором канон и изменить можно, «если жизнь того потребует», как вы говорите, но, во-первых, право сие, право каноны менять, только большому, авторитетному собору предоставлено быть может, а во-вторых, и такой даже собор не мог бы внести изменения, выходящие за пределы догматического и нравственного учения, в Священном Писании и в Святом Предании содержащегося. Это – край, граница и предел всяких возможных изменений.

Ревунов вздохнул и облизал губы.

– Курить хочется, сил моих нет, – жалобно произнес он. – Господи Иисусе Христе! Почто наказал меня страстию пагубной сей?.. До сорока лет не курил, а начал, и – сразу втянулся!.. Готов, как Иов, взывать: «Страдания мои тяжелее стонов моих».

Моргунов пошарил по карманам:

– Где-то был у меня окурочек. Ага, вот он. Нате, курите, отец святой.

Ревунов сразу повеселел.

– Бог благословит вас, добрый человек!.. Не надоел я вам еще рассказами-то своими?

– Да нет, что вы! С громадным интересом слушаю. Рассказывайте, рассказывайте дальше! Обязательно даже!

– Да… Ну, так вот, – продолжал Ревунов, с удовольствием выпуская дым через обе ноздри. – Канонический наш первоиерарх, святейший патриарх Тихон, избранный самим Господом Богом на Московском Поместном соборе Русской православной церкви, скончался 7 апреля 1925 года, считая по новому стилю. И с тех пор патриарший престол пустует, а неканонические патриаршие местоблюстители оспаривают друг у друга право занять его.

– Позвольте, Николай Павлович, что вы такое сказали? Как это «самим Богом избранный»! Не оговорились ли вы?

– Нет, не оговорился… Да вы, очевидно, не знаете, как патриарха выбирали?

– Никакого понятия не имею.

– Да что вы?!. Тогда я, конечно, расскажу.

Ревунов последний раз затянулся окурком, вставленным, для наиболее полного использования его, в расщепленную лучинку, чуть-чуть прижег себе губы и, выдохнув дым, перекрестился.

– На Соборе выбирали сначала не самого патриарха, – с воодушевлением продолжил Ревунов свой рассказ, – а только кандидатов на патриарший престол. Делегатам Собора раздали записки. Каждый лично от себя, без всякой предварительной подготовки и рекомендаций, написал на ней одного, желательного ему кандидата. Затем из названных имен составили список, численностью 26 человек, а из него выбрали троих. Голосование за этих троих повторили три раза, на первом круге абсолютное большинство получил харьковский архиепископ Антоний, на втором больше половины голосов собрал архиепископ Арсений Новгородский, и на третьем – митрополит московский Тихон. Из этих троих Господь Бог жребием и указал на Тихона.

– Жребием?! – поразился Моргунов.

– Жребием, конечно, – спокойно подтвердил Ревунов. – А как же иначе волю Божью определить?

– Чудно’! – искренне удивился Александр Сергеевич.

– Не чудно’, а чу’дно! – с улыбкой поправил священник. – А видели бы вы, как торжественно жеребьевка-то проводилась. Представляете себе, Александр Сергеевич, Москву первопрестольную в день 23 октября 1917 года по старому стилю? По новому это будет 5 ноября. В Москве еще ведутся бои. Слышится сатанинский грохот орудий, такают пулеметы, бессмысленно проливается людская кровь; в Кремль не пускают, и поэтому церемониал вынутия жребия, вместо Большого Успенского Собора, производился в Храме Христа Спасителя. С большим трудом проникает депутация в Кремль, и оттуда в карете – крестный ход невозможен! – доставляется в храм наибольшая святыня московская – древняя чудотворная икона Владимирской Божьей матери, перед которой и встарь всегда совершалось избрание патриархов. Двенадцать архиереев и 24 священника служат торжественную литургию. Всю середину храма у архиерейской кафедры занимают члены Собора. Они все здесь, за исключением кандидатов в патриархи. Эти никакого участия в торжестве не принимают. Их даже в храме нет, они молятся в крестовой церкви Троицкого подворья, в Московском митрополичьем доме. Перед началом литургии секретарь собора подает на золотом блюде митрополиту Владимиру Киевскому, руководящему церемонией, три чистых билета. Владыка своею рукою пишет на них имена трех избранников, свертывает билеты трубочкой, складывает их поперек и надевает на каждый резиновое колечко, кладет в особый ковчежец, закрывает его, обвязывает тесьмой и запечатывает соборной сургучной печатью. Ковчежец ставят на столик на солее

перед иконой, а возле становятся, вроде почетного караула, шесть особо избранных членов Собора.

Долго длятся молитвы, поют два лучших хора, синодальный и храма Христа Спасителя, произносятся проповедь и поучение. Но вот молитва окончена. Митрополит Владимир вместе со всем сонмом иерархов взошел на солею, взял ковчежец, перенес его на амвон посередине храма и, встав лицом к народу, сильно встряхнул, как бы осеняя присутствующих крестным знамением. Затем, высоко держа ковчежец на виду у всех, владыка разрезал ленту поданными ему ножницами.

Наступил самый торжественный момент. Из среды стоявшего на солее духовенства вышел старейший из соборян, схимник и затворник Зосимовой пустыни, иеросхимонах старец Алексий, которому по воле Собора предстояло вынуть жребий. Медленно трижды осенил он себя крестным знамением, поклонился архипастырям и народу, поднял руку, вынул из ковчежца один из свитков и подал его митрополиту Владимиру. Владимир развернул билет и громко прочел:

– «Тихон – митрополит Московский».

Что тут поднялось, Александр Сергеевич! Кто-то из народа первый возгласил «Аксиос!». Трижды пропели его, затем «Тебе Бога хвалим», а затем протодиакон, голосом трубным своим, возгласил многолетие избраннику Божьему, святейшему патриарху всея Руси, архипастырю града Москвы Тихону.

Послали делегацию, с тремя митрополитами во главе, в Троицкое подворье сообщить об избрании. Патриарх облачился в мантию, малый омофор и митру, один, без дьякона, совершил краткий молебен и вышел на амвон, около которого стояла депутация.

Глава депутации – митрополит Владимир провозгласил:

– «Высокопреосвященнейший митрополит Тихон! Священный и великий собор и промысел Божий призывают твою святыню на патриарший престол богоспасаемого града Москвы и всея России!»

– «Понеже Священный и великий собор, по воле Божией, судил мене недостойного быти в такове служении, благодарю, приемлю и ничегоже вопреки глаголю», – тихо, но внятно ответил патриарх.

– Прямо как в театре! – невольно срывается с уст Моргунова неосторожное восклицание.

Ревунов обижается. Он краснеет и не очень внятно бормочет что-то о людях, которые «имеют очи и не видят, уши и не слышат».

– Поп обиделся! – неожиданно вставляет реплику Мельников, который, как оказывается, давно проснулся и молча прислушивался к разговору. – Сбил ты его, Александр Сергеевич, с занимаемых позиций одним ударом.

– А вот и не сбил, – приходит в себя Ревунов. – Нельзя меня сбить. Отвечу словами Иоанна Златоуста: «Громадны волны, сильна буря, но я нисколько не боюсь, ибо стою на камени».

– Не на камени, а на колени, – острит Мельников. – Что ж ты на камени стоишь, а перед каждым надзирателем шапку ломаешь?

– Надзиратель – власть! – пытается парировать Ревунов. – А апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти аще не от Бога – существующие же власти от Бога установлены».

– Построиться на поверку! – раздается с палубы зычная команда начальника конвоя, и вслед за ней в трюм спускаются несколько бойцов.

– Эх, ушел от разгрома, – с сожалением говорит Мельников, становясь в затылок Ревунову. – Я бы тебе сейчас душу вывернул. Ты бы у меня насчет властей пофилософствовал. Ишь ты, высшую власть нашел: надзирателя.

XXXII

Сожаление Мельникова оказалось напрасным. В тот же день душа Ревунова попала ему в руки, и он получил полное удовольствие, выворачивая ее наизнанку и доказывая – в который раз! – непоследовательность и нелогичность взглядов священника.

Сначала все шло тихо-мирно. Поверка кончилась, люди поели хлебушка и селедки, выпили кипяточку. Соседи слева достали припрятанное домино и стали «забивать козла», кое-кто опять захрапел. Где-то, в середине баржи, молодой еще парень затеял большой разговор о поэзии 30-х годов и громко декламировал неопубликованное стихотворение Марины Цветаевой:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно,
Где совершенно одинокой
Быть...

В другом месте энергично обсуждался вопрос о возможности выполнения лагерниками установленных норм выработки. Крепкий, коренастый человек с татуировками на обеих руках, побывавший уже на строительстве Беломорско-Балтийского канала, доказывал, что нормы никто и никогда по-настоящему не выполнял, и что без туфты тут не обойдешься. Он с особым смаком вспоминал поговорку, рожденную в лагере: «Без туфты и аммонала не построили б канала». Большинство спорящих сочувственно поддакивали ему, но нашлись и возражающие, однако их было меньше и вели они себя более пассивно.

Рядом с ними кто-то полуголый, в одной короткой рубашке, неловко орудовал иголкой и, не обращая никакого внимания на соседей, накладывал заплату на истрепанные, дырявые кальсоны.

Ревунов продолжал свои экзотические рассказы. Волнуясь и временами умиляясь, он поведал слушающей его компании, как проходило торжество возведения Тихона на патриарший престол, – торжество, свидетелем коего ему довелось быть.

– Двадцать первого ноября, в праздник Введения во храм пресвятые Богородицы, – рассказывал он, – сошлись к Кремлю огромные толпы народа. Депутаты Собора, во главе с епископами, собрались в мироварной палате, а члены Святейшего синода – в храме Двенадцати апостолов. Тут и ждали прибытия патриарха. Холодно было в храме, неприглядно; в одной стене зияла большая дыра, пробитая во время недавних боев артиллерийским снарядом, а против нее, на другой стене, висело святое распятие с оторванными взрывом руками. Разгромлен был храм, но не смотрели присутствующие на неустройство его. Все мысли их сосредоточились на предстоящем торжестве.

Ожидать пришлось недолго. К 9 часам утра прибыл святейший и после восторженных приветствий, оказанных ему, направился в Большой Успенский собор. Видели бы вы эту процессию! Впереди шли певчие, затем члены Собора, за ними миряне и духовенство, а сзади них скромно, смиренно, с опущенным долу взором, шествовал он – избранник Божий, первоиерарх великой российской церкви.

Войдя в собор, Тихон встал на свое святительское место посредине храма и под звуки молитв и церковного пения начал облачаться в великолепные архиерейские одежды. До малого выхода литургия шла как обычно, все присутствующие истово молились и ждали интронизации, но когда запели «Прийдите, поклонимся», народ не выдержал, пение подхватили все. Тихон, поддерживаемый священнослужителями, вошел в алтарь и поднялся на горнее место. Молящиеся стояли с зажженными свечами, как на пасху. Наступила самая важная минута, –

Ревунов расчувствовался и всхлипнул, но сразу овладел собой и продолжал дальше. – Два митрополита – Владимир Киевский и Платон Кавказский – взяли Тихона под руки и посадили на патриаршее место со словами: «Во имя Отца, аминь», затем приподняли и опять посадили: «и Сына, аминь» и в третий раз также: «и Святого Духа, аминь», а затем старейший из присутствующих, митрополит Владимир, прочел над ним особую молитву, только на настолование патриарха произносимую, и громко возгласил: «Аксиос!» В ответ все и священнослужители, и хор, и народ трижды ответили: «Аксиос, аксиос, аксиос!» Когда смолкли народные клики, архиепископ Арсений Новгородский стал перед престолом и произнес великую ектению, а митрополиты с помощью дьяконов облачили патриарха в древние патриаршие одежды его предшественников, сняв с него все митрополичье.

– «Водевиль с переодеванием», – подумал Моргунов, а вслух спросил:

– А что это за древние патриаршие одежды? Разве у Тихона были предшественники?

– Поп имеет в виду патриархов XVII века. Ты, я вижу, русскую историю начисто забыл. Эх ты, философ! – с укоризной сказал Мельников Александру Сергеевичу. – Давай, отец Николай, не смущайся, сыпь дальше! – обратился он уже к Ревунову.

Ревунов облизал губы:

– Внемли, Иван, гласу страждущего раба Божьего, дай закурить! – умоляюще обратился он к Мельникову.

– Ишь, чего захотел – закурить! Больно жирен будешь! Сорок, так и быть, оставлю, – вытащил кисет Мельников.

Ревунов повеселел.

– Когда кончилась литургия, – продолжал он свой рассказ, – святейший отошел на свое патриаршее место и переменил облачение на мантию и белый клобук патриарха Никона, надел две панагии и крест и вышел на амвон к народу. Под торжественные возгласы толпы вручил ему митрополит Владимир патриарший посох как знак всесвятительской власти над всей Русской православной церковью. Святейший благословил всех, направился к выходу, совершил вокруг Успенского собора крестный ход, отслужил молебен и, объехав кремлевские стены в карете, окропил их святой водой. Так свершилось настолование патриарха и был ознаменован день тот в Москве и во всех городах всея Руси целодневным колокольным звоном и торжеством народным. Народ ликовал, – выспренне закончил Ревунов и потянулся к Мельникову за окурком.

– Народ безмолвствовал, ликовали попы! – уверенно возразил Мельников и отдал Ревунову недокуренную самокрутку. – На кой ляд народу твой патриарх и вся эта мышиная возня с переодеваниями и клобуками?! Как ты думаешь, отец Николай, рабочим это нужно? Крестьянам – нужно?

Ревунов не ответил.

– Ты чего молчишь? Я тебя спрашиваю, что выиграли рабочие и крестьяне от патриарших торжеств?

– А что ты меня спрашиваешь, Иван? Ты бы посмотрел, к примеру, как радовался народ, когда в необъятном храме Христа Спасителя из-под мраморного кивория через отверстые царские врата выходил сонм архипастырей церкви российской в фиолетовых мантиях и занимал уготованные им посреди храма места. Зрелище-то какое бесподобное!

– Вот, это ты сподобился правду сказать. Именно зрелище, и зрелище чисто театральное. А не лучше было бы народу в театр сходить, в оперетту, например? Там веселей во сто крат и искусства больше.

– И не стыдно тебе Божий храм с опереткой равнять?! Богохульник ты! – возмутился Ревунов.

– Да ведь действительно на театр похоже, – вмешался в спор Александр Сергеевич. – Зря вы обижаетесь, Николай Павлович. Ну, скажите сами, какая польза трудовому народу от существования религии, церкви, громадного сонма неработающего духовенства, патриарха и всего такого прочего?

– Дай я отвечу, – перехватил инициативу Мельников. – Прежде всего, и патриарх, и духовенство, и вся религиозная организация в целом, – это, так сказать, потребляющий организм. Сами они ничего не производят и живут за счет прибавочной стоимости, за счет общественно-полезного труда рабочих и крестьян. Сели эти паразиты на шею народную, присосались к ней и сосут, и сосут. Ясно, что они трудовому народу – враги. Церковь, в лице собора и патриарха, в первые годы существования советской власти встречала в штыки любое ее мероприятие: и декрет о гражданском браке, и отделение церкви от государства, и все остальное. Патриарх объявил советам войну, анафематствовал их, а когда разразился голод в Поволжье и люди стали умирать как мухи, выпустил воззвание против изъятия из храмов церковных ценностей, на которые можно было купить хлеб для голодных. Он организовал сопротивление изъятию и вызвал массу кровопролитных инцидентов. Вот вам истинное отношение церкви к пастве своей. Не лишено при этом интереса, что, когда приказы об изъятиях давали в свое время цари и императоры, и совершали их не для благотворительных целей, а на военные нужды, то церковь не только молчала и не сопротивлялась, но зачастую и сама помогала в таком, так сказать «святотатстве».

– Не было этого! – чуть ли не выкрикнул Ревунов. – Напраслину на церковь возводишь, не было этого!

– Не было?! – в свою очередь возмутился Мельников. – То есть как это не было?! А ну-ка, давай вспоминать! В конце XV века великий князь Иоанн III отобрал у новгородцев часть земель, принадлежавших архиепископам и монастырям, и раздал их детям боярским. Было это или нет?.. Ах, не знаешь!.. Зато я знаю. Было!

При царе Алексее Михайловиче у монастырей отобрали и присоединили к государственному хозяйству слободы, посады и города, населенные главным образом ремесленниками и торговыми людьми. Ты про это тоже не знаешь?.. В таком случае слушай и учись!

В 1701 году Петр Великий отобрал у церкви и передал государству патриаршие земельные владения... Это-то тебе известно?.. Очень хорошо! А не помнишь ли и того, что тот же Петр снимал со звонниц церковные колокола и переливал их в пушки?.. Помнишь?.. «Сам не видал, но читать приходилось!» Как же это ты так опростоволосился? Надо было самому поглядеть!.. Ладно, не оправдывайся, я пошутил. Поехали дальше!

Не помните ли вы, уважаемый товарищ поп, что императрица Анна Иоанновна в тысяча семьсот тридцать – если не ошибаюсь! – шестом году отобрала у монастырей приобретенные ими земли, как это тогда говорили, «на государя»?.. Не помните?! Тем хуже для вас!

Ну, а про то, что Екатерина Вторая, тоже Великой нареченная, отобрала в 1764 году в казну церковные имения – помните?.. Это помните! Гениальная у вас память, товарищ поп! При такой памяти вы, конечно, не могли забыть, что Троице-Сергиевская лавра в начале войны 1914 года предложила отдать церковные ценности, и свои и прочих монастырей, на военные расходы?.. Предлагала?.. Подтверждаете?.. Так что ж ты, в таком случае, брешешь, что я на церковь напраслину возвожу? Как у тебя язык поворачивается?

– Так ведь то на войну, для защиты отечества, – неуверенно возразил Ревунов. – Пророк Иоил, говоря о временах Нового завета, призывал: «Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все

ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть скажет: «силен и я».

– Здорово ты Ветхий завет знаешь, мудрец церковный. А как же тогда быть с пророчеством Исайи? Ну-ка, вспомни его: «Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет меча народ на народ и не будут более упражняться в войне»... Ведь это полное отрицание слов Иоила! Как раз обратное тому, что он говорил. Ну, что скажешь, ловкач?.. Ишь ты, вздумал Священным Писанием войну оправдывать! Забыл шестую заповедь – не убий?! Эх, ты, поп православный!

Ревунов опять поник головой.

– Что ж ты смолк, отец Николай? Давай, защищайся! – не унимался Мельников.

Ревунов пристально взглянул на Мельникова и, вздохнув, произнес как бы про себя.

– Нет, не доходит моя грешная молитва до престола Господнего. Все время молю: «Воззри, Господи, на раба твоего, Ивана, пусть услышит призыв твой: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные и аз упокою вы»... Не слышит, не чувствует... Истинно сказано у Иоанна: «Никто же может прийти ко мне, аще не отец, пославый мя, привлечет его». Нет, не привлекает тебя Господь, Иване! Блуждаешь ты на неверных путях... «И свет во тьме светит, и тьма его не объят», – говорил Иоанн, а не видишь ты света, не хочешь видеть его. Спаси тебя Господь и помилуй!

– Сдался, значит?!. Ну, ладно, молись теперь! За меня молись, за раба Божьего Александра Моргунова, да и за Льва Гольденберга не забудь. Он ведь тоже из нашей компании. Так ты – чохом, и прямо по Иеремии: «Возмести им, Господи...» Как это там у него, в плаче? Не помню я.

– Воздай им, Господи, возмездие по делам рук их! – подсказал Ревунов и, неожиданно для всех, засмеялся.

– Смеешься! – как-то сразу успокоился Мельников. – Самому смешно стало?.. Вижу я – веришь ты в своего Бога, как я в то, что Земля на трех китах стоит!..

Мельников, конечно, ошибался, подозревая Ревунова в неверии; Ревунов в Бога верил, верил по-настоящему, хотя и сознавал нелепость многих библейских сказаний. Он называл себя православным и считал, что его вера и понимание религиозных учений безупречно правильны и могут даже служить образцом для других, но на самом деле, как и почти все верующие, был эклектиком и пантеистом. Он добросовестно изучал Ветхий завет, Евангелие, послания апостолов, Апокалипсис, богословие, историю религий и многие другие предметы, входящие в круг духовного образования, но принимать все абсурды библейских сказаний за чистую монету не мог. Поэтому, не разумея, что уклоняется от чистой веры, и бессознательно пытаясь совместить религию с наукой, Ревунов прибегал к условным толкованиям священных текстов и находил метафоры и аллегории там, где ими никогда и не пахло. Он уверял, например, что шесть дней, в течение которых, согласно книге Бытия, был сотворен мир, – это шесть геологических эпох, что Адам не первый человек, а условное олицетворение первых живых существ на земле, которые размножались как амебы, путем деления, и что именно этим объясняется рассказ о сотворении Евы из ребра Адама. Во всех таких выдумках, несомненно, содержались зерна действенного неверия, и надо полагать, что если бы Ревунов своевременно попал в другую среду и иные условия, если бы он, кроме своего священничества, имел какую-либо иную профессию или специальность, то давным-давно отошел бы от церкви, сложил сан и превратился в обыкновенного гражданина.

Все это могло произойти «если бы», но этого «если бы» не случилось, и жизнь Ревунова сложилась иначе. Он варился в собственном соку, имел семью, о

благополучии которой надо было заботиться, и ничего, кроме религиозных треб, делать не умел, а посему, волей-неволей, тянул священническую лямку, вспоминал иногда о неудовлетворенном юношеском желании стать ветеринаром и оправдывал себя бессознательным убеждением в необходимости религии для народа. На своем священническом посту он чувствовал себя относительно свободно и часто говаривал: «Чем служить начальнику – лучше служить Богу», но, где-то, в тайнике души, сознавал, что его слова – не больше, чем пустая бравада.

– Я никак в толк не возьму, – сказал Моргунов, обращаясь к Мельникову, когда смог рассчитывать на то, что их никто не подслушает, – что у тебя общего с Ревуновым, каким образом завязалась ваша поистине противоестественная дружба?

– Это гораздо проще, чем ты думаешь, – ответил Мельников. – Во-первых, мое место на нарах в бараке оказалось рядом с местом Ревунова, он мой сосед по нарам, а это уже к кое-чему обязывает. Во-вторых, у него имеется хороший алюминиевый котелок, а у меня нет ни черта. Есть-то из чего-нибудь надо. Ну, мы и кушаем вместе. В-третьих, поп неплохой человек, добрый, работящий, благожелательный и очень забавный. У нас с ним своеобразное соревнование: кто кого в свою веру перетянет. Пока что сохраняется статус-кво. И еще одна особенность у него есть: первый ударник в бригаде. Работает как трактор. Когда я на общих работах был, он меня всегда в напарники брал. Я ему говорю: «Не надо, я слабосильный, я тебе не товарищ», а он мне в ответ: «Ничего, Иване, идем со мной. Сколько сможешь – столько сделаешь, и с тобой лучше, чем с урками, не хочу я их обрабатывать». – «А меня – хочешь?» – говорю. – «Тебя хоть не обидно, вижу – ты по-честному стараешься».

– А ты его, случайно, не спрашивал, во имя чего он сам так сильно старается? Для чего работает на власть, которая его посадила?

– Конечно, спрашивал. Отвечает очень ехидно, но, по-видимому, искренне. Говорит, что труд предписан христианину Господом Богом, что этот самый Бог, сотворив первого человека, поручил ему возделывать рай, то есть трудиться. Труд тогда был райский, легкий, в свое удовольствие, а изнурительным он стал в наказание Адаму и Еве за первородный грех... Погоди-ка, мы сейчас попросим его самого рассказать. Ну-ка, ты, отец Николай, поди-ка сюда!.. Скажи вот Александру Сергеевичу, что твой Бог насчет труда Адаму сказал; я не помню... Говори, говори! А я пока папироску сверну.

– Ну, коли так, придется сказать. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят», – сказал Господь.

– И вы, Николай Павлович, добросовестно, как я слышал, выполняете это предписание, трудитесь в лагере не за страх, а за совесть? – чуть-чуть иронизируя, спросил Александр Сергеевич.

Ревунов пожал плечами.

– Не только это предписание! А четвертая заповедь, на горе Синае данная?! «Шесть дней делай и сотвориши в них все дела твоя, день же седьмой – суббота Господу Богу твоему». Шесть дней в неделю велел трудиться Господь, а апостол Павел прямо сказал: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь»... Вы эти слова знать должны, Александр Сергеевич. Советская власть их в конституцию записала. «Кто не работает, тот не ест!» – сказано в ней.

Ревунов умоляюще взглянул на Мельникова.

– Иване, сорок!

– Да помню, помню я, – ответил Мельников, торопливо затягиваясь. – Ну ладно, на, кури! Бог с тобой.

Ревунов взял окурок и поспешил уйти.

– Ну, как, понял теперь, почему я с попом дружу?.. Работал я как-то зимой на реке, выкалывали мы залом изо льда. Каждый за себя. На индивидуальном уроке... Обессилел я, впору подыхать, а ни одного бревна еще не выколол: сил нет!.. Ну, думаю, штрафной котел и изолятор мне на сегодня обеспечены. Ведь в лагере пощады не жди. Вдруг подходит он. «Что это, – говорит, – слабо так у тебя дела идут? Давай-ка я подсоблю!» И как начал пешней долбить, только осколки летят. Наковырял мне за час добрый десяток стволов, и все с прибауточкой. Притчи Соломона рассказывал, о том, как муравьи да пчелы трудятся. «Ни начальника, ни приставника, ни повелителя, – говорит, – нет у них, но работают они сами на совесть. Так, мол, и мы должны». Этот поп, Александр Сергеевич, золотой человек. Если б не его дурацкая профессия да идиотская вера, замечательный бы коммунист из него получился. Я первый рекомендацию дал бы.

– Даже так? – улыбнулся Моргунов.

– Честное комсомольское! – Мельников засмеялся и, резко изменив тему, спросил:

– А что, Александр Сергеевич, не устал ты еще? Давай полежим, поспим. Когда еще такая возможность представится?! Смотри, как Гольденберг дрыхнет. Так ведь и не поднимается... Давай!

Моргунов согласился.

XXXIII

До Архангельска осталось часа три хода, но с буксиром что-то случилось: его машина заглохла и из трубы перестал валить дым, почти всю дорогу отравлявший существование обитателей баржи. Уже вторые сутки стоят они без движения у незнакомого берега, и слухи, один нелепее другого, ползут по переполненному, как общая камера, трюму. Такие слухи в местах заключения называют «парашами». Название, что и говорить, не совсем благозвучное, но оно метко отражает сомнительность источника, из которого исходят подобные вести. В самом деле, не из этих ли полезных, но, тем не менее, зловонных сосудов выуживаются они? Ведь никакой связи с внешним миром у их авторов, как правило, не бывает.

«Взорвался котел», – «погнулся ведущий вал», – «сбежала подкупленная англичанами команда», – «кончилось горючее, запас которого вредители нарочно рассчитали неправильно», – «арестовали капитана, оказался шпионом иностранной разведки». И не поймешь, где просто наивная выдумка или обыкновенное, рядовое вранье, где благодушная, чуть-чуть насмешливая ирония, а где окрашенный в политику злой, издевательский сарказм! Впрочем, это неважно. Такие слухи жить не мешают. Людям пока что неплохо. Этап еще не успел надоесть. Они лежат и благодаря случайной удаче отдыхают от повседневной тяжелой работы. «Когда еще представится второй такой случай?! И представится ли он вообще?!»

Что будут делать с ними теперь? А не все ли равно?! «Пусть беспокоится об этом начальство. Оно газеты читает, по телефону разговаривает, ему и думать положено. А наше дело – телячье! День прошел, и слава Богу! В лагере живут одним сегодняшним днем»!

– Хоть день, да мой! – вспоминает Моргунов недавно слышанное им изречение профессионального вора, и ему становится обидно за всю эту массу вполне порядочных людей, которых уже коснулось заразное, разлагающее влияние уркаганской психологии.

Наконец, стоянка кончается. Получено «руководящее указание». Заключенных выводят из трюма и размещают в крохотном, насчитывающем всего

шесть жилых бараков ОЛПе, сторожевые вышки которого, как оказалось, были видны с палубы замершей у берега баржи. Сразу становится известным, что ОЛП, хотя он и очень мал, стоит на бойком месте. Людей из него водят работать на близлежащую запань, оборудованную несколькими высокопроизводительными бревнотасками. При помощи их готовые, прошедшие сплав бревна вытаскивают из реки на берег, сортируют по сортам и размерам, складывают в огромные штабеля, а из штабелей уже грузят в железнодорожные вагоны, подаваемые по специально сооруженному подъездному пути.

Кончилось счастье! Не успели люди как следует осмотреться, как их сформировали в бригады и вывели на работу.

И вот Моргунов стоит на высоком, ничем не огражденном помосте бревнотаски, по которой почти непрерывным потоком идут, одно за другим, бревна самых различных сортаментов и размеров. Порученная ему работа не сложна, но здорово утомительна. Он обязан сбрасывать пиловочники длиной шесть с половиной метров и толщиной от 22 до 28 сантиметров, попадающиеся в общем потоке древесины, влекомой непрерывно движущейся цепью, на штабель, находящийся перед ним. Для такой работы нужны сила, глазомер и некоторая сноровка. Ведь сбрасывание производится на ходу. Нужно заблаговременно, на глаз, определить размеры приближающегося бревна, подцепить его в надлежащий момент точно под центр тяжести дрыном, сильным рывком сорвать с цепи и откатить к штабелю. Там его уже примут подсобники и покатят дальше. Ошибаться нельзя. Нельзя сбрасывать бревна, которые должны лечь в другие штабеля, и нельзя пропускать мимо свои; нельзя опаздывать со сбрасыванием ни на одну секунду, и нельзя, вместе с тем, опережать событие и торопиться. Самые лучшие результаты будут тогда, когда положение движущегося дрынка совпадет с осью штабеля, а сброшенное бревно точно впишется в его габариты.

Работа на бревнотаске имеет и еще одну особенность: нагрузка работающих зависит от случайности, зависит от никем не определяемого количества леса, подлежащего по своим размерам сбрасыванию именно в этот штабель. И в этом отношении Моргунову явно «везет». Один за другим идут по скрежещущей цепи именно его пиловочники, и он, с мокрым от напряжения лицом, орудует дрыном, с ритмичностью хорошо отрегулированной, заведенной машины.

– Давай, давай! – подгоняет его проходящий мимо десятник. – Давай, нажимай!

– Один «давай» в Москве удавился! – со злостью отвечает Моргунов и ловит себя на заимствовании произнесенных слов у кого-то из урок.

– Поговори еще, твою мать! Умен очень! – приходит в ярость десятник и замахивается на Моргунова палкой.

Александр Сергеевич в долгу не остается. Тяжелый дрын его легко и быстро поднимается в воздух.

– Ты, что? Спятил? – сразу успокаивается десятник. – Скажи, какой горячий!.. Смотри, пиловочник идет, пропустишь! – вскрикивает он уже совсем другим тоном и торопливо уходит дальше.

Бревнотаски работают непрерывно круглые сутки. Круглые сутки грохочут и скрежещут их цепи и тянут, тянут, тянут без конца и без передыха тяжелые мокрые бревна из реки в штабеля. Даже пересмены – и те производятся на ходу. Пренебрегая правилами безопасности, слесари и мотористы ухитряются смазывать трущиеся части, чистить головки и производить мелкий ремонт, не останавливая моторов. А если иногда и попадет какой-нибудь растяпа в машину, если повредит ему ногу или руку, оторвет палец, так что ж теперь делать? Палец вновь, конечно не вырастет, но что такое, в сущности, палец? «У заключенных пальцев много!»

Моргунов возмущается такой постановкой дела. Он считает ее по-настоящему вредной, он считает руководителей запани и командование ОЛПа преступниками и негодяями, но... но он бессилен что-нибудь сделать, выступление против существующего порядка равносильно самоубийству. И все же порой мелькает лукавая мысль: «А может быть, все-таки написать прокурору СССР?.. Написать Вышинскому?..»

Но Александр Сергеевич уже заражен неверием в эту персону. Он не хочет, не может писать ему. И, содрогаясь от негодования, он продолжает пассивно созерцать развертывающиеся перед ним картины и молча принимает события такими, какие они есть.

Моргунов работает в ночной смене, август уже на исходе, и порой бывает порядком темно, а его рабочее место освещено очень слабо. Он решает просить осветить его штабель получше. Мотивы? Конечно, не безопасность! Просто – «от хорошего освещения увеличивается производительность труда. Цель оправдывает средства». И, немного поспав после смены, он идет с письменным заявлением в контору ОЛПа.

И тут происходит нечто неожиданное.

В конторе за одним из столов сидит женщина средних лет. Густые темно-каштановые волосы ее заметно тронуты сединой. Одета она в обычное лагерное платье и так же сера, как все остальные. Так же, как и они, она неприметна, и ничего особенного в ней нет. Но ее лицо чем-то знакомо Моргунову. «Где я ее видел? Дай Бог память! Где?»

Моргунов проходит мимо нее раз, проходит другой. «Нет, не помню!» И вдруг в сознании ярко вспыхивает давно позабытая картина: Москва, Большой театр, волнующая цветовая гамма багрового бархата и золота в зрительном зале, ликующее неистовство аплодисментов и цветы, цветы, сыпящиеся со всех сторон к ногам Екатерины Гельцер, так чудодейственно преображенной ролью Тао-Хоа. И среди цветов – небольшой букет, брошенный на сцену им, Моргуновым, букет, принадлежащий его соседке, той самой женщине, которая... сидит сейчас перед ним в совсем не выходном и не парадном, а обыкновенном лагерном платье и грубых солдатских ботинках. Боже, как постарела, как осунулась она за это время. Тогда она имела осанку горделивой красавицы и очаровала его сначала своим, по-видимому, деланным негодованием, а потом скорым и милостивым прощением содеянного им греха. А теперь?.. Впрочем, ее взгляд и контуры лица остались неизменными. А платье?! Что платье! Он и сам сейчас одет совершенно иначе.

– Простите... Вы из Москвы? – говорит он, подходя к окну, сделанному в металлической сетке над барьером, возле которого сидит эта женщина. И он рассказывает ей все, что только что вспомнил о ней.

Она поражена. Она пытливо вглядывается в его лицо. «Да, сомнения нет! Это тот самый экспансивный юноша, который сидел рядом со мной в ложе бенуара на «Красном маке». Мир тесен – вот где пришлось встретиться. Кто бы мог только подумать!»

Они знакомятся, и буквально через десять минут у обоих появляется странное ощущение взаимной близости и единства. Это не только то широко распространенное чувство некоторой радости и общности, которое испытывают земляки или единомышленники при неожиданной встрече на чужбине, нет, это – нечто значительно большее. Они почувствовали друг к другу неудержимое стремление людей, истомленных длительным моральным и физическим одиночеством. Они долго страдали, замыкаясь в себе, намеренно отстраняясь от всего, что их окружало, оберегая себя от соприкосновения с той частицей лагерного бытия, которая могла раздробить целостность их душевного склада, и вдруг теперь они встретились, два «так похожих и так несхожих» человека,

встретились с общими воспоминаниями, с одинаковыми переживаниями и сомнениями, и идентичными, длительно сдерживаемыми страстями.

И не стало сил держать себя под непрерывным, надуманным самоконтролем. Их потянуло друг к другу со всей силой первородного влечения. И если Моргунов еще сохранил какую-то минимальную способность сдерживать свои инстинкты, то ее разум замолк окончательно. «Она свою познала красоту, и негу чувств и сердца трепетанье».

«Это ничего, что я старше его, по крайней мере, лет на двенадцать. На воле это могло бы иметь какое-то значение. А здесь?! Здесь это не препятствие. Лагерь сближает и сглаживает все шероховатости, заметные в жизни вовне».

Ни слова не говорят они друг другу о своих чувствах, но когда она вновь принимается за работу, прерванную его приходом, и как бы невзначай роняет слова о том, что вечером выйдет из барака пройтись, он без уточняющих слов сразу понимает ее.

Вечером она подробно рассказала ему свою историю. Ее зовут Екатерина Ивановна Михайлова. Она – бывший научный сотрудник института экономических исследований Госплана СССР. Муж – директор завода, член бюро райкома, известный в Москве человек. Конечно, все это – в прошлом. Теперь она просто счетовод и зека. Ей инкриминированы анекдоты про Сталина, которые будто бы рассказывались у них за столом во время приема гостей в день ее рождения. Муж посажен «без права переписки». («Значит – расстрелян!» – холодея, подумал Моргунов). О его судьбе ей совсем ничего неизвестно. Детей взяли в детдом. Куда, как, что с ними, – она до сих пор тоже не знает. Вначале она страшно тосковала, хотела руки на себя наложить. Теперь примирилась, но жизнь ужасно убога. Спишь и во сне видишь Москву, свою квартиру, Большой театр, Консерваторию, органные концерты Баха, родных и знакомых. Это бы еще ничего. Такие сны вспоминаются с отрадой и навевают тихую грусть. Но бывает хуже. Бывают сны, подобные кошмарам, сны, когда снятся мужская близость и мужские объятия. От них остается тоска, раздражение и головная боль. Женщины бывают разные. У них в бараке многие страдают от обыкновенных житейских неудобств, от отсутствия водопровода и теплой уборной, а «об этом» и не вспоминают. А она – не может. Ей нужна мужская любовь, нужна ласка. И во всем лагере нет ни одного подходящего мужчины. Интеллигенты застенчивы и нерешительны, а урки и «мужики» слишком грубы. Противно. «Вы, вероятно, осуждаете меня за откровенность, но я так обрадовалась вашему появлению, что просто забыла обо всех условностях и хороших манерах».

Моргунов слушает ее с громадным вниманием. Ему и в голову не приходит хоть как-нибудь осудить ее, заметить в ее словах следы нескромности или цинизма. Он чувствует, что они знакомы очень давно, что они по-настоящему, по-хорошему близки и единодушны. Ее рассказ так искренен, так прост, и не может быть между ними ничего недостойного. «Неужели же нормальная, естественная, плотская любовь – грех?» – возникает у него вопрос, который он только на днях сам задавал Ревунову. И, не успев даже понять мимолетную мысль, он сразу отвечает на нее отрицательно. «Нет, нет, не грех!.. Разве похоже наше внезапно вспыхнувшее чувство на обычную грязную похоть, о которой потом, в минуты успокоения, бывает до тошноты противно подумать? Ну, конечно, нет! Наше чувство неповторимо. Оно светлое, чистое, ясное, как пушкинские стихи, как яркое весеннее солнце». Именно так воспринимает его Моргунов, и нет никакого сомнения, что она испытывает нечто подобное.

Тихо звенит ее голос. В сумраке открытого для всех проходящих по зоне пространства она ловит его руку и, улучив мгновение, прижимает ее к своей щеке. Щека горит...

Моргунов видит, что она готова отдаться ему, и сам, забыв о всяких «моральных» соображениях, стремится к ней всем своим существом. Он не думает ни о тяжелых последствиях, могущих наступить в результате их связи лично для нее, ни о преследованиях, коим, если вскроется их прегрешение, подвергнется сам, ни о том, что его стремление к Михайловой является «изменой» Марусе. Перед ним умная, интеллигентная, вполне достойная него женщина, страдающая от одиночества и нерастраченной любви, и ему безумно хочется взять ее, взять и физически, и морально.

– Но как? Где? Не на общих же нарах мужского барака? А в этом проклятом малюсеньком ОЛПе нет даже несчастного морга!

А время идет! Становится все позже и позже. И вот зазвенел под ударами железного штыря обломок железнодорожного рельса, висящий у вахты. Звонят на развод. И, наскоро поцеловав в тени от фонарного столба Екатерину Ивановну, Моргунов двигается к воротам зоны, так ничего не придумав и не решив.

И еще три вечера подряд встречался Александр Сергеевич с Михайловой, и оба они ходили по тропинкам, пробитым в зоне многочисленными шагами заключенных, и везде навстречу им попадались люди, и они думали, и страдали, и расходились при звонке на развод, но так ничего придумать и не сумели.

А потом снизу, из Архангельска, пришел и стал на виду у лагеря пассажирский пароход «Ямал». Людей, высаженных из баржи, спешно собрали, пересчитали, проверили и увели из ОЛПа на реку, грузиться в трюмы. Когда этап уводили, заключенные, оставшиеся в ОЛПе, собрались у предохранительной нитки колючей ограды. Они провожали своих случайных гостей. И в первом ряду их стояла и махала белым платочком Екатерина Ивановна. Она не скрывала своего отчаяния и плакала в голос. Моргунов видел ее хорошо. Смутные чувства обуревали его, и он шел, втянув голову в плечи, стараясь не глядеть по сторонам и не слышать шуточек, отпускаемых по его адресу кое-кем из товарищей.

XXXIV

Через несколько часов «Ямал» пришвартовал баржу в Архангельске, у левого берега Северной Двины, вблизи пересыльного пункта. Заключенных вывели, выстроили, пересчитали, затем проверили по формулярам и развели по баракам. Моргунов вспомнил, конечно, как восемь месяцев тому назад впервые попал на эту самую пересылку и сражался с урками. Он приготовился к бою, но на этот раз воевать не пришлось. Весь этап поместили в отдельный барак.

В Архангельске пробыли несколько дней. На работу не выводили, кормили первым котлом и обращались паскудно: сказался февральско-мартовский пленум ЦК. Затем приказали собраться с вещами и повели.

Снова поверхностный шмон, снова проверка по формулярам, и наконец-то посадка на небольшой пароход, в трюм с трехэтажными нарами. Посадили, проверили, пересчитали и заперли.

Моргунов, Гольденберг, Мельников и Ревунов захватили смежные места на первом этаже, но уже через час почувствовали духоту. Настроение резко испортилось: «Неужели придется весь путь провести взаперти?»

Опасения не подтвердились. Как только вышли в открытое море, замки открыли и заключенных пустили гулять.

Моргунов бродил по палубе и смотрел на далекий горизонт. Вода и вода! Необъятное, непостижимое для сухопутного человека количество воды. Неприятно крича, за пароходом летели чайки. И Моргунов вспомнил стихи Гумилева:

Чайки манят нас в Порт-Саид,
Ветер с моря свежесть принес,

Остается направо Крит,
А налево милый Родос.

Почему они всплыли в памяти именно здесь? Неужели есть хоть малейшее сходство между возвышенным «сентиментальным путешествием» поэта и этим гадким, низменным, terre-a-terre этапом?

Моргунов на секунду задумался. «Мало похожего! Разве только движение по морю, и свежесть, и ветер, и чайки, и острова справа и слева».

– Остается направо Колгуев,
А налево – Новая Земля! –

громко, с расстановкой, сделав паузу после слова «налево», проговорил он и ухом уловил в произнесенных словах неясный топорный ритм усеченного анапеста.

Рядом с Моргуновым остановился и жадно глядел на него, очевидно, желая, но не решаясь заговорить, молодой человек в форменной одежде и морской фуражке на голове, как оказалось потом – помощник капитана парохода.

Александр Сергеевич взял инициативу на себя, и они долго беседовали.

– Нам не велят, а мне интересно... Я здесь еще новичок. Всего второй рейс... Расскажите – за что?

Моргунов рассказал.

– Невероятно!.. Но... видимо, правда?.. Я уже слышал подобное. В первый раз не поверил... Теперь же...

Потом помощник тихонько сообщил Моргунову, что их пароходик идет в Нарьян-Мар. Затем вернется назад: он – морской, ему по рекам ходить не положено.

– Нарьян-Мар? Так себе городишко! Да, Крайний Север... Километров сто с чем-нибудь от Полярного круга... Но вас там не оставят, а повезут еще дальше... Куда? Я не знаю, куда. Сначала, вероятно, на юг, вверх по Печоре, а дальше... не знаю. По какому маршруту идем? – помощник умолк, огляделся вокруг, и продолжил:

– Из Архангельска мы по Двинской губе вышли в Белое море, пойдем по нему между материком и полуостровом Кольский, поднимемся выше, минуем мыс Канин Нос и попадем в Баренцево море. Оно глубокое, теплое. Идти по нему хорошо. Обогнем широкой дугой остров Колгуев, а там, почти на 70-й параллели, резко свернем на юго-востоко-восток. Из Баренцева выйдем в Печорское море, а потом в Печору, и все!

Моргунов ликовал. «Много ли надо зека? Встретил случайно кого-то, а он – человек! И стало легко на душе».

– Спасибо, товарищ!

Помощник немного смутился.

– Только вы... того... никому!..

– Что вы, что вы?! Конечно!

– Не подведете?

– Ну, что вы?! Будьте уверены!

...Проходят недели, пароход все плывет и плывет. Перерезав одно за другим Баренцево и Печорское моря, пройдя по не очень широкому проливу, между двумя островами маленького архипелага с удивительно домашним названием – Гуляевские Кошки, он вышел в Печорскую губу.

Тут уже чувствовалась близость земли. Чаек становилось больше, их крики – громче. Неизвестно с чего свирепел конвой.

А потом незаметно оказались в Печоре. Шли по ней против течения, шли медленно, приветствуя гудками изредка попадающиеся навстречу суда. На берегах – ни деревца, низкорослый кустарник, невысокие травы. И редко-редко следы человека.

В Нарьян-Маре пересадка. Сначала – охолоделые, заклопленные, на живую нитку сколоченные бараки, санобработка, горячая пища, а затем опять трюм парохода поменьше – речного. Опять трехэтажные нары, и – вверх по Печоре, на юго-запад и юг. Река постепенно становится уже, на берегах появляются деревья и населенные пункты, а потом – сплошной лес. Если любишь природу – наслаждайся красивыми видами. Пароход идет плавно, его не качает. И поразмяться – пожалуйста: на судне ежедневно пополняется запас дров. Охотников грузить их немного, но Моргунов не пропускает ни одного случая поработать. Физический труд доставляет ему удовольствие. Тем более на воздухе. Дыши, сколько хочешь.

Так проходит неделя, начинается другая. В Усть-Цильме река чуть ли не под прямым углом сворачивает на восток. Солнце, которое все время вставало с левого бока, начинает всходить по носу. Впрочем, его мало видно. Погода сумрачная, небо все время закрыто облаками, чувствуется, что лето уже миновало. На лиственных участках берегов видны «в багрец и в золото одетые леса», и «дыхание осени» все чаще холодит, особенно по утрам, разогретые в душном трюме тела.

Пароход идет и идет, старательно обходя мели и перекаты, идет на север, потом опять на восток, а затем вроде снова на юг. Не поймешь, куда же, в конце-то концов, везут тебя. На левом берегу селений почти что не видно. На правом время от времени появляются незнакомые названия причалов и пристаней: Брыкаланск, Кипиево, Мутный Материк, Захарвань, Ипаткерка. Не об этих ли местах говорят в народе: «куда Макар телят не гонял»?

Но вот вдали появляется Усть-Уса. Приехали? Нет, куда там! Пароходик направляется к противоположному берегу, к небольшому пересыльному пункту – Вожкурья. Снова пересадка, и на этот раз весьма незавидная – в открытую баржу. Люди ропщут, ругаются. Гольденберг с озабоченным видом созывает их на спешное совещание и без тени улыбки ставит вопрос: «Как быть? Кают «люкс» для всех не хватает! Может быть, кто-нибудь согласится следовать в 1-м классе?.. Несогласным придется вернуться в Москву!» В первый момент не все понимают, что это – шутка. Но вот громкий хохот огласил берега. «Этому балагуру только бы подурачиться!» Народ смеется, и мрачное настроение исчезает.

А в общем, очень скоро «совещания» перестают помогать. Настроение все ухудшается. Ехать по Усе в открытой барже, да еще в начале октября, когда по ночам на реке то и дело появляется шуга, приятного мало. Холод сбивает людей в плотные кучи. Тесно укладываясь впритык один к одному и накидывая поверх себя все могущее быть собранным тряпье, жмутся они друг к другу, пытаясь согреться, а вши беспрепятственно разгуливают по ним, и, забыв, что природа велела им ползать, быстро перебегают с места на место, по пути меняя окраску.

Моргунов часто вскакивает по ночам, отогревает движением закоченевшие ноги, смотрит на небо, на берег и думает, думает, думает без конца.

Он думает о Марусе, о незнакомом ему Ильине и о Екатерине Ивановне Михайловой, он думает и о смысле жизни, об идеях коммунистической партии и о путях развития мира. Ему приходится переносить физические страдания, ему холодно, голодно, сыро, но он старается не замечать неудобств и лишений, старается относиться к ним с пренебрежением. «Я здоровый, я выдержу! Вот Мельникову, например, гораздо хуже. Хоть и крепится, а как бы, глядишь, не загнулся... За что, за что их всех так?!. Интересно, знает ли Сталин об этом?.. Видимо, знает! Не может не знать. Ведь все это – не единичные случаи!»

И Моргунов чувствует, что у него нарастает ненависть к этому «мудрейшему из людей», но он не хочет додумывать, он гонит прочь свои крамольные мысли и пытается переключить их на поэзию:

Река становится, по ней плывет шуга,

Скользят по водам льдинки цвета стали… –

пробует он сложить начало нового стихотворения, а мысли бегут и бегут, и вновь возвращаются к опасной, отвергнутой им теме, и стихи не идут из души и не отвлекают его.

В Усть-Воркуте путешествие по воде кончилось. Буксир подчалил баржу к небольшой пристани и сразу повернул назад, чтобы успеть вернуться и не вмерзнуть где-нибудь на обратном пути в начинающий покрывать реку лед. Впрочем, он больше здесь и не нужен: река Воркута никогда не была судоходной, она изобилует порогами и перекатами, передвигаться среди которых можно только на небольших лодках. Поэтому те полсотни километров, что лежат между устьем реки и поселком Ру'дник – первым поселком будущего города – люди в начале начал преодолевали пешком. Но – только в начале. Уже в 1934 году эти точки, не нанесенные пока ни на одну опубликованную карту, связала между собой узкоколейная железная дорога. И по ней теперь, в тех же самых товарных вагонах, в которых перевозили три месяца назад этап КРТД – и Кучина в нем – из Порожска, доставили к месту назначения вновь прибывший этап.

XXXV

Надежды репрессированных по КРТД, что их наконец-то отделят от урок, оказались напрасными.

Когда три баржи, на одной из которых ехал Дмитрий Иванович Кучин, дошли до Воркуты, новоприбывших сначала действительно поселили отдельно, в огромных палатках, но в них они пробыли только три дня.

А потом новичков, разбросав по разным участкам, вывели на работу, и им пришлось перебраться в бригады, где среди работяг находились и уркаганы.

Кучин попал в лесогоны.

Работа оказалась тяжелой и нервной. Вместе с напарником Дмитрий Иванович ежедневно грузил на поверхности несколько «коз» деревянными шахтными стойками, – их называли здесь лесом, – потом подгонял эти «козы» к стволу, вместе с ними спускался на рудничный двор, откатывал их, упираясь спиной, по вентштреку, на километр и больше, до бремсберга, там разгружал, стойки складывал в штабель, а порожние «козы» выталкивал на разминовку. Затем, цепляя веревочной петлей, волочил по одной–две штуки по бремсбергу, печкам, промежуточным штрекам и лавам к забою.

И все это спешно, и быстро, и только вручную. Кроме ствола – нигде никаких механизмов. Все делалось мускульной силой, руками, ногами, горбом, напряжением корпуса, иногда – во весь рост, чаще – сгибаясь почти пополам или даже ползком, на коленях, на четвереньках. Когда тащишь волоком стойки, пот заливает глаза, а вытереть некогда: надо скорей, скорей.

– Лесу, лесу давай! Давай лесу! – несется из лавы. – Лесогоны – мать вашу так! – куда вы там запропали?! Лесу давай! Крепить нечем!

После длительного вынужденного бездействия в барже во время этапа, когда тело привыкло лежать и обмякло, а мускулы сделались вялыми, они реагируют болью. Кучин изнемогает, но, вспоминая работу на тачке и мокрую глину, сам себе говорит:

– Ничего! Обойдется! Здесь жить еще можно! Там вот, действительно, трудно бывало!..

Впрочем, и тут нелегко. Нормы огромные. Чтобы их выполнить, надо быть сильным и сытым. А попробуй не дать сто процентов – получишь голодный котел, и станет еще тяжелее. Трудно и так, но хуже всего – постоянные крики: «Лесу давай! Давай лесу!» К ним не привыкнешь, они бьют по нервам. Кроме того, донимают высокая влажность и слякоть. На-гора, на поверхности, мерзко: июль

на исходе, а мокрядь замучила, небо все в тучах, дуют холодные ветры, на днях выпал снег и лежал целый день. В шахте – холод и сырость: уголь берут в вечномерзлых слоях, а они от воздушной струи размокают. В общем – паршиво!.. Еще хорошо, что попался приличный напарник.

Приличный напарник – парень высокого роста, сильный, выносливый, двадцатипятилетний бандит – был участником шайки, «взявшей» агентство Госбанка.

– Сам я не грабил и не убивал, – рассказывал он. – Все получилось случайно. Я не хотел, да ребята пристали: «Пойдем да пойдем! Дело – верное, денег там – тьма!» Ну!.. Соблазнился на деньги, а пуще того, не хотелось перечить друзьям: своя же компания, скажут, что струсил... обидят!.. Ну!.. Пошел! Делать нечего! А нас загребли, как облупленных. Ребята стали стрелять, убили милиционера. Нас оцепили и – взяли. Им – вышака, а мне – по малолетству – десятку. Ну!.. И сюда привезли... Надо же так: первый раз в дело пошел и – поди ты! – попал.

Софронов, так звали напарника Кучина, вероятно, не врал. Он не был похож на обычного жлоба, вел себя смирно, охотно работал, не хвастался, с урками не якшался, блатных выражений и слов употреблял относительно мало и жадно мечтал о свободе.

– Вот кончится срок, и тогда – заживу! – сказал он как-то, пооткровенничав, Кучину.

– Заживешь!.. И сразу вернешься по новой сюда, – иронически ответил Дмитрий Иванович.

– Нет, не вернусь... Завяжу навсегда!

– Знаю я тех, кто завязывал... До первого случая.

– Никакого не может быть случая. Я в душе-то не вор, не бандит. Раз ведь один и пошел-то... по глупости... а теперь я не буду... Шалишь! Только сроку еще остается порядочно... Хоть бы время скорей проходило.

Софронов чувствовал то же, что многие. «Скорей бы, скорей!» Ведь каждый прожитый день приближал далекий и страстно желаемый – конец срока.

Уходящего времени в лагере, как правило, не жалели; почти все радовались, что дни и недели улетают в ничто, и согласились бы, если бы было возможно, их подтолкнуть, – чтобы скорее бежали! – но вместе с тем, понимая, что с этими днями уходит и жизнь, ревностно подсчитывали их и с тоской отмечали проходящие годы. Одни занимались отсчетом с регулярностью автоматов, каждый вечер вычеркивая в своем мысленном календаре еще одну палочку, и вслух провозглашали: «Еще день прошел, до срока осталось две тысячи двести семьдесят три дня... две тысячи двести семьдесят два... две тысячи двести семьдесят один...» и так далее, уменьшая ежедневно называемую цифру на одну единичку. Другие делали вид, что им на все наплевать, они часто куражились над новичками:

– Тебе, паренек, сколько дали?.. Пять лет?.. Есть о чем говорить!.. Пять лет – пустяки! Не заметишь – пройдут! – и скороговоркой добавляли: – Зима – лето, зима – лето, зима – лето, зима – лето, зима – лето. Вот и весь срок, до копейки!.. А ты, глупенькая, боялась!..

– Что, браток! Очень тяжко? – изображая глубокое участие, спрашивали они у начинающего солагерника. – Да?.. Ай-яй-яй!.. Ну, ничего, потерпи! Очень скоро привыкнешь, и все обойдется! Тяжело ведь первые десять лет только! А потом – благодать!

Третьи над людьми и над сроками не издевались, относились к ним очень серьезно, но дней и недель не считали. Они просто помнили даты и отмечали свои «юбилеи». Вступая в новый год заключения, кому-нибудь потихоньку сообщали:

– Еще один год разменял! Теперь до конца уж недолго, – а этого «недолго» иногда оставалось чуть ли не столько же, сколько отбыто.

Часто встречались такие, кто не хотел говорить на подобные темы, а если к ним приставали, то на вопрос о сроке с хитрецой отвечали:

– Хватает пока! Если у вас недостаточно, я могу поделиться... Возьмете?

Большинство сидящих впервые к понятию «срок» относились очень ревнительно и с нетерпением ждали его окончания. А «старички», просидев много лет и на себе испытав всю мерзость очень частых, но всегда неожиданных «довесок» и «добавок», ничего не высчитывали и ни на что не надеялись.

– Срок – понятие очень условное, – говорили они. – Захотят – и добавят. У них не задержится. А то отпустят и сразу же новый дадут... не успеешь даже уехать.

Кучин соглашался с последними.

В правоте таких мыслей его убеждал собственный опыт почти непрерывных десятилетних репрессий. О сроке он не вспоминал. Его донимали другие заботы. Дело в том, что он встретил на Воркуте кое-кого из знакомых, с которыми вместе боролся в рядах оппозиции. Сюда после убийства Сергея Мироновича Кирова, в тридцать пятом и тридцать шестом годах завезли очень много троцкистов – и тех, кто покаялся, и тех, кто не покаялся. Их хватали везде: в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, столицах союзных республик, во всех областных и районных центрах, в рабочих поселках и на курортах, в селах и деревнях. Никакой вины они за собой не знали. Их брали за взгляды, за убеждения, за то, что они предлагали пути, неугодные Сталину, и выступали против него и его окружения. Часть их загнали в политизоляторы, в тюрьмы и лагеря. Несколько тысяч пригнали на Воркуту, здесь их поселили в барако-палатках вместе с урками, включили в сквозные бригады, подчинили их уголовникам. Всем им, не считаясь с здоровьем, специальностью, образованием, подписали тяжелый физический труд – ТФТ, а так как они не могли выполнять очень высокие нормы, то получали плохое питание или штрафные котлы. И стали гибнуть.

На жалобы и заявления не приходило ответов, а обстановка с течением времени все ухудшалась и становилась безвыходной.

И тогда, обсудив положение, люди решились на крайнюю меру – на голодовку. Ее проводили на добровольных началах, никто никого не неволил и даже не приглашал: «Хочешь – примкни, не хочешь – не надо, дело твое. Мы считаем, что смерть предпочтительней нашей гибельной жизни, мы лично не видим другого исхода, но для тебя наше суждение не обязательно. Действуй, как сам понимаешь!»

И еще раз подтвердился известный закон диалектики о переходе количества в качество. Затаенные, глухие протесты отдельных людей, сливаясь друг с другом, постепенно росли и росли, и дошли наконец до предела. Ничтожный толчок – неведомо чье предложение, и последовал – взрыв. Произошел – как назвал его Гегель – «перерыв постепенности»: началась массовая, бурная, ожесточенная голодовка. В ней принимало участие около четырехсот человек. Они требовали дать им работу в отдельных бригадах, без уркаганов, использовать их по специальности, соединить семьи, некоторые члены которых находились на том же лагпункте, и, наконец, в качестве мер против физического уничтожения, улучшить бытовые условия и повысить нормы питания.

Голодовка началась во второй половине октября тридцать шестого года и длилась сто дней. Она была очень упорной. Многие умерли, хотя их кормили насильно, применяя искусственное питание.

Однако ни смерть, ни насилие не смогли сломить голодающих, и начальству пришлось уступить. Власти условия приняли, объявили об этом формально, но, приняв на себя обязательства, выполняли их не буквально: работу по специальности дали не всем – будто бы мест не хватило; семьи объединили, но по каждому отдельному случаю придирались нещадно. Впрочем, питание немного улучшили, палатки немного разуплотнили.

Люди вздохнули свободно, но ненадолго. Надо думать, сказался февральско-мартовский пленум ЦК, и в мае тридцать седьмого все вернулось назад, к исходному положению. Протесты не помогали, а вновь голодать уже не было сил. Люди еще не оправились от предыдущих событий.

Все это Кучин узнал сразу же после приезда, и теперь, волоча лес по шахте, думал лишь об одном:

– Надо что-то придумать, чтоб изменить положение! Надо... но что?!.

Он советовался об этом с друзьями, с теми, кто был и остался троцкистами, но ни он, ни они не смогли ничего предложить.

В августе тридцать седьмого что-то произошло. Участников голодовки и кое-кого из новоприбывших на баржах стали – этап за этапом – гнать на Кирпичный завод. Их уводили пешком неизвестно куда, но кто-то из конвоиров, нечаянно или нарочно, что-то кому-то сболтнул, и правда открылась.

– Почему на Кирпичный? Зачем туда столько народу? – люди терялись в догадках.

А однажды случился конфуз: увели на Кирпичный Петрова, а он оказался не тем. Однофамилец, тезка, и лет ему столько же, а место рождения не досмотрели.

– Петров!

– Я Петров!

– Инициалы?

– Петр Иванович.

– Год рождения?

– Девятисотый.

– С вещами давай!.. Выходи!..

При приемке на месте сам же Петров, случайно увидев чужой формуляр, заявил:

– Я же не этот Петров! Я – другой!

Он получил две здоровые затрещины, но вернулся назад и рассказал обстановку:

– Кирпичный завод стоит на реке Юнь-Яге. Километров отсюда за тридцать. Наши живут в малой зоне в паршивых палатках: они целиком из брезента. Только крошечный деревянный тамбур. В одном торце – вход, а в другом – небольшое окошко с решеткой. Там двухэтажные нары-сплошняк, но скученность невероятная. Словно в Бутырской тюрьме. На сто двадцать мест до трехсот человек. Спят в две смены. Одна очередь спит, а другая стоит на ногах: не на что сесть, да и места для этого нет. Полутюремный режим. После вечерней поверки их запирают. Если что надо – садись на парашу! И так – до утра... Работать им не дают. Морят голодом. На день положено хлеба – четыреста граммов, сахара – только тринадцать, поллитра баланды, кусочек соленой трески, кипяток. Ни ларьков, ни посылок. Медицинской помощи нет. Территория зоны совсем небольшая, частые вышки, а на них – пулеметы. Направлены прямо на зону. Там загнешься, как пить дать!.. Хорошо, что я оказался не тот!..

Кучин был потрясен. Так же, впрочем, как все остальные. А еще через несколько дней его самого, вместе с десятком других, отвели на Кирпичный завод и посадили в одну из палаток, о которых рассказывал «не тот» Петров.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Моисей Наумович Авербах

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ
(AD MAJOREM DEI GLORIAM)

Роман в четырех частях

Москва, 2008 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Попав на Воркуту, Моргунов сразу окунулся в незнакомый ему, странный и удивительный мир. Впервые в жизни увидел он тундру – громадное, теряющееся на горизонте, рыже-бурое, по-осеннему мокрое, наполовину заболоченное пространство. Оно казалось мертвым и мрачным, но в первый же день Александр Сергеевич увидел, что ошибся. Тундра жила: жила особенной, суровой и жесткой, незнаемой в южных широтах, но по-своему прелестной и привлекательной жизнью. Она почти сплошь заросла невысокой травой, мхом и кустарником. Карликовая кустистая березка с малюсенькими, как бы игрушечными, листочками в изобилии раскинулась на многочисленных кочках, и только на отдельных участках то там, то тут виднелись грязно-коричневые пятна голого грунта. Моргунов сначала подумал, что это специально очищенные площадки, но потом узнал, что люди к ним рук не прикладывали. В этих местах на поверхность выступала вечная мерзлота, и поэтому на них ничего не росло. А за пределами пятен, в траве и на склонах небольших бугорков, прятались кустики брусники и гонобобеля. Небогатый состав разнотравья ясно показывал, что весной тут все же бывают цветы.

– Всюду жизнь! – подумал Моргунов, глядя на тундру. – Неуютная, тяжкая, но все-таки – жизнь!

Но не природа, не климат, не трудные условия бытия поразили на Воркуте Александра Сергеевича. В первую очередь поразили – люди. Их согнали сюда со всех концов Советского Союза как опасных преступников и противников советского строя, как врагов советского народа, а они, эти «враги», невзирая на чувство личной обиды, несмотря на все, что с ними сделали, работали здесь не за страх, а за совесть и, хотя они говорили об этом со значительной долей иронии, по-настоящему строили социализм.

И строительство шахты, и лагерь, и «хитрый домик» с выстроенным при нем руками самих заключенных ШИЗО, располагались в то время в крутой излучине реки Воркуты, на косогоре правого берега, и назывались поселком Ру'дник – к огорчению филологов, с ударением на первом слоге. Жилой фонд лагерного селения состоял из нескольких десятков землянок, нескольких палаток и четырех больших бараков, именуемых домами-коммунами, в которых жили бригады шахтеров. Каждый дом имел свое имя: «Дом-коммуна имени Горького», «Заря Севера», «Парижская коммуна», «ВЧК-ОГПУ». Во главе их стояли «бригадиры» – известные всему уркаганскому миру бандиты Москва, Соловей, Баргузин и Ярило. Производства они не касались, а в бараках их окружали сонмы шестерок, и власть их была беспредельной. «Бригадиров» боялись и слушались, но они не особенно притесняли своих подопечных и давали им полную волю: «Хочешь работать –

работай! Не хочешь – не надо, но – сумей затуфтить! Не сумеешь – иди в изолятор! Отработал, с работы вернулся, норму схватил – крой куда хочешь, благо оград никаких. Хочешь в тундру, по грибы да по ягоды – вались в тундру! Хочешь рыбу ловить – мотайся за рыбой! А то – в гости сходи, в землянку к знакомым, там сыграешь в девятку, в очко, в шмен де фер. Это – дело твое. Загибайся хоть до утра, но – смотри! – не проспи на работу!»

Все было ново, и Александр Сергеевич, изнемогая от неудовлетворенной любознательности, расспрашивал старожилов об их жизни и быте, мечтах и идеях, о том, как и когда это все началось. И они рассказали, как их сюда привезли, как они жили и строили шахту, как прошли два наклонных ствола и выдали в тридцать четвертом году первые тонны эксплуатационного угля, как приходилось учиться работать и осваивать новые специальности.

– История создания Воркуты неотделима от общей истории исправтрудлагерей, – рассказал Моргунову один из новых знакомых, шахтный крепильщик Анатолий Васильевич Волгин. – Нас сюда привели весной тридцать первого года. Тогда еще не было здесь ни поселка, ни зоны, ни колючих оград, ни ШИЗО, ни бараков. Голая тундра и серое небо. Мы селились в палатках, в землянках, которые сами копали, селились там, где могли. Мы начинали с нуля и делали все одновременно: вели геологическую разведку, строили дома и бараки, вошебойки и склады, и вот эту, родимую, самую первую на Воркуте разведочно-эксплуатационную шахту. И хотя нам никто не командовал «руки назад», не конвоировал при ходьбе на работу, не отбирал ножей и «недозволенной переписки», стройка быстро двигалась. Мы – заключенные – работали тут почти что на всех должностях. Мы сами себя стерегли и снабжали, сами возглавляли отделы и службы, занимали должности начальников и руководителей всех видов работ, и Воркутстрой день ото дня развивался и рос.

В то время охраны практически не было, но наше начальство побегов совсем не боялось. Нас сторожили климат и тундра: сотни на три километров кругом – ни единого дыма! И – ни дорог, ни тропинок! Куда побежишь?! На погибель?..

А впрочем, кому и бежать?! Урки сначала пытались, но неудачно. Или сами в тундре загнутся, или поймают их да отутюжат: все внутри отобьют, привезут инвалидами или совсем мертвяками...

Мы тогда жили одним коллективом. Работали зверски, и все поголовно мечтали о воле. Жили довольно сытно, еды хватало на всех, а вот книг и радио не было. Газеты и письма приходили раз, примерно, в полгода... А как задует пурга, значит – стихийное бедствие. В уборную выползешь – и то по веревке. Иначе – заблудишься, назад не придешь. Так бывало не раз! Не дойдет человек до палатки метров десять-пятнадцать, заблудится и погибает...

Трудно было, конечно, что говорить! Да вот, видите, выжили... Важно не раскисать. Я в прежней жизни своей пилу и в руках не держал, а теперь она мне как родная, кормилица-матушка. Я ведь – крепильщик первой руки. Профессию так изучил: зуб буду делать – лишний раз топором не ударю, а выйдет как вылитый... Да и желонга с лопатой! Чего их бояться?!. У меня из рук и лопата не вырвется. Важно – руки иметь, остальное приложится... Я до ареста учителем был, мои инструменты – цветной карандаш да ручка с пером, тяжелее не поднимал! Какой из меня шахтер и крепильщик, казалось бы! А втянулся, и – ничего!..

Моргунов слушал, и у него перехватывало дыхание:

– А каким путем вас сюда завезли, Анатолий Васильевич?.. И на чем?.. На самолетах?

– Скажете тоже – на самолетах!.. На своих на двоих, Александр Сергеевич. Пешочком. От устья Оби, через Полярный Урал, по следам ненецких арьюшей. Вперед – они, то есть – оленьи обозы, а по их следам уж и мы!

– Через хребет?!. И дошли?!

– Дошли кое-как! Правда, не все!.. Хотя нет! Все дошли. Только одни дошли просто, а другие – до Воркуты.

Игру слов Моргунов понял сразу. Помолчал.

– Но ведь здесь – очень много народу, многие тысячи. Неужели все шли одинаково? – спросил он после длительной паузы.

– Нет, не все! Нас сильно пополнили летом прошлого года. Тогда на Воркуту двинулись этапы из политизоляторов. Первые два пришли вместе, один – из Красноуральского, другой из Ярославля. Кажется, так!.. Их по рекам везли. Вы барак «Дом-коммуна имени Горького» знаете?.. Вот их туда сначала и поселили, а потом они кто куда разбрелись. Люди-то разные. С одной стороны КРТД – коммунисты, а с другой – анархисты, эсеры, меньшевики. Ну, и не ужились.

– А что они не поделили? Что их, кормили по-разному, что ли?

– Нет. Кормежка была одинаковой. От процентов, от нормы. А не сошлись на отношении к лагерю. КРТД – так те все на работу пошли. «Надоело, – говорили, – без дела сидеть. Поработаем! Все равно, мол, для нашей страны: вроде как для себя». А остальные – не так: «Нет, – говорят, – мы – политические противники. Нам давайте условия политизолятора! Своим трудом врагов укреплять не намерены!»... Ну, и вот!.. До сих пор сговориться не могут.

– Интересно! – сказал Моргунов. – Впрочем, вам-то от них ни жарко, ни холодно?

– Да нет, не скажите!.. От них пользы много. Они же, знаете, как приехали? С книгами, с новостями. У некоторых чуть ли ни целые библиотеки с собой. И – дают, не отказывают. Я на книги, как ястреб на курицу, набросился. Читаю теперь каждый день.

– А что там за люди, Анатолий Васильевич?

– Да как вам сказать? Всякие есть. Троцкистов много. Настоящих! Активных!.. Мы их «ортодоксами» кличем. А много и так, за шалтай-болтай взятых... Разный народ... Кто из известных?.. Сергей Седов, например, – младший сын Троцкого – был среди них. Он инженер-теплотехник, в паросиловом дежурным по смене работал. Однако недолго: в прошлом году, в октябре, увезли. Познанский там был – секретарь. Теперь на Кирпичном заводе. Туда их многих отправили. Всех, почитай, кто в голодовке участвовал.

– В голодовке?! Какой голодовке?

– А вы и не знаете будто, в какой?!. Не слыхали?!. О ней же все знают!..

– Все, но не я! Мы же недавно приехали!

– Правда!.. Совсем позабыл... В общем сказать, дело было такое. В тридцать пятом году сюда привезли очень много троцкистов. До этого здесь политических не было, а только одни уркаганы да немного опасных бытовиков: убийцы, бандиты...

– Позвольте... А вы?

– А я, Александр Сергеевич, тоже попал за убийство... Но не подумайте! Я не бандит!.. Я по семейному делу... Жена моя – дай ей Бог счастья! – спуталась... с крупным работником... Я ревновал, но надеялся: а может быть, это неправда. А когда убедился наверно, пошел к нему на квартиру и топором зарубил... мне пришили террор, дали вышку... а потом ВЦИК заменил на большую катушку... Впрочем, время идет. Я от нее отмотал – дай бог каждому... И не думал, что столько удастся!.. Теперь остается немного...

– Да!.. Но мы отвлеклись. Расскажите про голодовку!

– Что я могу рассказать?! Знаю только – была. Коллективная!.. Длилась месяца три, почитай. Может, больше. Ради чего?.. Не скажу... я не знаю!.. Что еще?.. Их кормили силком... Из нашей бригады кое-кого привлекали на помощь. Хотели взять и меня, но я отказался... Не стал... Как это делают?.. Трубку вставляют в гортань... Через рот! А кто зубы стиснет – тот через нос... и вливают в нее в жидком

виде питание... Особая смесь какао, масло, белки, углеводы, спирту туда добавляют... Урки ходили охотно, а после ругались: из-за них, мол, для нас остается одна затируха... У нас было плохо с жирами...

– Так! – сказал Моргунов. – И когда ж это было?

– Когда?.. Да в конце того года... Кончилось в этом... Зимой!.. Крепко держались ребята... героически – можно сказать!.. Ну, вот и все, что я знаю!

– Немного, конечно!.. А где эти люди теперь?.. Те, кто голодал?

– Кое-кто умер, «ушел в Могилевскую», – так у нас говорят. Тех же, кто выжил, в августе этого года стали гнать на Кирпичный завод. Недолго они наслаждались победой.

– Победой?!. Значит, они победили?

– Да, говорят – победили. Только победа-то пиррова: истощились, ослабли. А достигли чего?.. Ну, поработал кое-кто по специальности месяца три, а потом их опять шуганули на общие. Вот вам и вся недолга!.. Вздумали с властью бороться! Разве это разумно? Ведь загодя знали все: плетью обуха не перешибешь! Не надо было и браться...

– За оружие, – мысленно закончил Моргунов, вспомнив Плеханова, и, помолчав, сказал вслух:

– Трудно сказать... а может быть – надо!.. И что же, – продолжил он через несколько секунд, – так их всех туда и загнали, на этот Кирпичный завод?

– Нет, пока что не всех, пока еще есть и у нас. Да вы сходите к ним, Александр Сергеевич, познакомьтесь! Книжек попросите, поговорите. В нашем положении все любопытно.

Моргунов загорелся.

– Сейчас же пойду!.. Я вас попрошу, Анатолий Васильевич, проводите меня и – представьте!.. Вот только в барак забегу, может, кто из наших пойдет. Им тоже, поди, интересно.

Он поспешил, но в бараке застал одного Ревунова.

– Иван Николаич заболел... воспаление легких... в стационар взяли... врач говорит, очень плох, – чуть не рыдая, рассказывал бывший священник. – Господи Иисусе Христе, что же с ним будет теперь? Ведь человек-то какой!.. Мне кисет с табаком отдал: «На, – говорит, поп, кури! Мне теперь ни к чему!.. Прощай!» – говорит. Я его провожал – на руках нес. Ослабел он совсем – идти не может. «Кланяйся всем! – говорит. – Спасибо передавай!» О, Господи Иисусе, Богородица пресвятая, помилуй нас!

Моргунов, конечно же, пошел не к «ортодоксам», а в больницу, но его туда не пустили.

– Да, больной очень плох, – сказала ему дежурная медсестра, которую тут называли «товарищ Горинская». – Не нужно его сейчас беспокоить. Организм ослаблен, не борется...

Она вздохнула и тихо, ни к кому в сущности не обращаясь, как бы про себя проговорила:

– Привозят таких вот, на верную гибель, а здесь и здоровые-то не всегда выживают.

Горинская посмотрела невидящим взглядом куда-то в пространство, но тут же овладела собой и обратилась к Моргунову.

– Вы товарищ его?.. По воле?.. По лагерю!.. Сочувствую вам, но утешить пока не могу... Приходите завтра... авось... – она не договорила.

Моргунов с тяжелым сердцем ушел.

Назавтра он пошел проведать больного вдвоем с Ревуновым, но их опять не пустили и ничего хорошего сказать не смогли, а вечером, поздно, в барак прибежал бледный как смерть Гольденберг.

– Мельников – умер! – принес он тяжелую весть.

Дул холодный ветер. Шел сильный снег. Природа будто ткала саван покойнику.

II

С горечью смотрела Анна Павловна Горинская на маленькое, худенькое тело умершего. Она работала в стационаре недавно, еще не привыкла к смертям и жалела покойного. Жалела его самого, жалела и его товарищей, и жену, и детей, которые остались теперь без отца где-то в далекой Мордовии. В голову лезли страшные мысли, воспоминания вновь обступили ее, и она застонала.

Ее мужа арестовали осенью прошлого года. Ее – на несколько месяцев позже, весной. За что? Она до сих пор не может понять. Она долго тогда хлопотала о муже, все искала следы, но найти ничего не могла. На все ходатайства ей отвечали отказом. На вопросы – молчанием. И вот, наконец, долгожданная справка. «Но что это, Боже?!»

– Он осужден. Не ищите его!.. Осужден на десять лет... Без права переписки! Она уже знала, что это почти наверняка значило – расстрел!

Кто поймет ее ужас и горе? И все же она тогда решила, что это конец ее мытарств. Но конец оказался неблизко.

Спустя десять дней – неожиданный вызов и – арест! «Что же будет с детьми?!. Ведь там – дети! Понимаете – дети! Дети остались – одни!» Нахмуренный следователь смотрит сурово: «Теперь вам о них беспокоиться нечего! Для этого есть детдома!». Она долго-долго рыдала.

Ее посадили в тюрьму, и колесо завертелось. Пришлось пережить и допрос. Один!.. Только один!.. Омерзительно-гадкий.

– Знали ли вы о контрреволюционной деятельности вашего мужа, Всеволода Николаевича Горинского? – спросили ее.

– Какой деятельности? Что он именно сделал?

– Вопросы задаем мы, а не вы! Отвечайте – знали?

– Нет, не знала, не знаю, ничего совершенно не знаю.

– Я советую вам, гражданка Горинская, признаться по-доброму. Если будете запираться – отправитесь в лагерь, там отдадут вас – китайцам!.. Понимаете это?!. Вы – порядочная женщина, а вас заставят там – жить с китайцами!.. Лучше признайтесь по-доброму!

Сначала у Анны Павловны захватило дыхание. Но потом перед глазами возник симпатичнейший Ван Хуа-фу, студент Коммунистического университета трудящихся Китая. Он бывал иногда у них дома, и так интересно рассказывал ей о Пекине! С ним всегда было очень приятно.

«Знает ли следователь об этом знакомстве? Должен же знать! Так зачем же он, недоумок, толкует мне о китайцах?!»

Анна Павловна брезгливо поморщилась. Неумелый шантаж показался наивным и грубым: «За кого он меня принимает?! Что я – институточка Лидии Чарской?!»

Несмотря на трагизм своего положения, она слегка усмехнулась:

– С китайцами?!. Это неплохо! Они такие милые люди!

Следователь явно смутился, но глупых угроз не прекратил. Он пытался ее запугать и заставить «добровольно признаться». А она – неопытная и ничего не понимающая – хотя и не очень верила, но только высокие моральные свойства удержали ее от неверных шагов. И следователь, в конце концов, отступил.

Она подписала протокол: «Не знала... не знаю... не имею понятия», а месяц спустя ей объявили постановление Особого Совещания – «Заключить в ИТЛ сроком на пять лет, как члена семьи изменника Родине». И с этого дня на вопрос вертухаев: «По какой статье осуждена?» Анна Павловна была обязана отвечать:

– Чесеир!

Ей долго мерещилось, что происшедшее – бред или сон, но она не спала, и горькая действительность быстро убедила ее в реальности внешнего мира. Тюрьма, этап, пересыльные пункты, много милых, страдающих женщин. Одни – такие же «члены семьи», другие по «своим», индивидуальным «делам»: соэ, каэрде, каэртеде, кра и аса, ша и пеша, – всех формулировок не счесть, но все их носительницы были растерянными, недоумевающими, не могущими понять, что случилось, почему с ними – так. После дома, семьи, нормальных жизненных благ, жизнь на нарах, в этапах, вповалку, казалась ужасной, а в довершение бед к ним иногда добавляли простых уголовниц. Хулиганки, воровки, грабительницы и проститутки, нахальные, мерзкие, грубые, терроризировали их как могли. «Сколько горя способен пережить человек?! Как я это вынесла? Как?!» Сейчас ей самой непонятно.

Она стоит над трупом маленького, истощенного человека. Несколько минут назад он еще жил, он хрипло и трудно дышал, он страдал. Это был – живой человек. С острым и ясным умом. Его звали Иван Николаевич. Иван Николаевич Мельников.

– Недолго же прожил ты, бедный страдалец! Ведь ты только-только что прибыл с этапом!

Анна Павловна вспоминает, как везли ее самое, как после долгих и трудных путей попали они на изрытый землянками Ру'дник. «Как странно его называют! Почему не Рудни'к?.. Впрочем, это неважно!»

Их пришло тридцать семь человек. Женщин! Весь лагерь собрался навстречу. Тридцать семь женщин – не шутка! Анна Павловна вспоминает Архангельск. Там заполняли на них формуляры. Нарядчик глядел на нее раздевающим взглядом: молодая, красивая.

– Образование есть?

– Окончила среднюю школу и один курс медицинского института.

– Медицинского?!. – голос нарядчика превратился в таинственный шепот. – Приходи сегодня в контору, ночью, попозже, когда все уйдут!.. Я напишу, что ты – врач!

– Не надо! Пишите, что есть!.. Я и не врач, и к вам все равно не приду.

– Ишь, недотрога! Собственной пользы не понимаешь!.. Приходи... у меня есть сахар, конфеты!..

– Я подам на вас заявление прокурору.

– Тьфу, обезьяна!..

Все же записал медсестрой. Здесь и это очень пригодилось. Других послали на шахту: в забои и лавы, добывать уголек, гонять вагонетки, разделывать лес. Мало кто попал в контору, в бухгалтерию. А ее сразу взяли в медчасть.

– Но я ничего не умею! Какая из меня медсестра?! – сказала она пожилому врачу при первой же встрече.

– Не важно! Научитесь! Не боги горшки обжигают!.. Лучше-то нет, а вы, как-никак, на медфаке учились!.. Постарайтесь освоить!

«Постарайтесь освоить!» Перед ней появилась цель жизни, и горе начало отступать.

Она оказалась способной, быстро все поняла, и уже через месяц уверенно делала все, что ей полагалось по чину. Врач не мог на нее нарадоваться.

«И в несчастье надо счастье иметь!» – гласила народная мудрость, и, приглядываясь к своему окружению, Анна Павловна с радостью констатировала, что ей «дьявольски повезло».

Она могла, например, попасть на Воркуту годом раньше, и судьба ее сложилась бы много печальней. Она видела их, первых женщин, привезенных в прошлом году; они бывали, случалось, на амбулаторном приеме, иногда попадали и в

стационар. Их было четверо – только! Начальство их поселило в отдельной палатке, но чуть ли не сразу их взяли к себе, как берут неодушевленные вещи, бригадиры бараков-коммун. Все прошло ужасающе просто:

– Какую тебе, Соловей? Вот эту, аль эту?.. Ты ту, вон, возьми! А эту не дам!.. Эту я себе приберу, – говорил сифилитик Москва, ощупывая у всех на глазах полненькую брюнетку.

И молча, оцепенев от ужаса и потеряв от страха и невзгод последние остатки соображения, без слез и без стонов, без слова протеста, пошли к своим новым хозяевам ошеломленные, запуганные, не смеющие сопротивляться и возражать те, что звались недавно гражданками. А толпа заключенных стояла кругом и тяжко молчала. Бригадир – это бог! Он кормит, он поит, от него зависит самая жизнь.

Теперь эти женщины жили «привольно», исполняя роли «хозяек». Жили, совсем не работая, в общих мужских бараках, на открытых со всех сторон нарах. Во время любовных утех их отделяло от взоров соседей только одно одеяло, да и оно от резких движений часто сползало на пол. Но это никого не смущало. Как оказалось, стыд – чувство условное и от него легко отрешиться.

Положение «бригадировой бабы» являлось надежной защитой от вожделений со стороны. Подступиться «к их бабам» никто не решался, но сами паханы были не так щепетильны: иногда они проигрывали любовниц друг другу в карты, а бывало, и запросто ими менялись – на время или совсем.

Анна Павловна смотрела на этих людей с содроганием. «Нет, такого бы со мной не случилось. Я бы за себя постояла. Пусть – ценой жизни! Лучше смерть, чем подобное рабство! Хорошо, что об этом можно не думать. Ведь я на работе. Я почти что – свободна. Для меня Воркута, по сути дела, не лагерь, и даже не ссылка, а что-то вроде того, что здесь именуют «колонизацией».

Анна Павловна накрыла Мельникова простыней и позвала санитаров. Те принесли носилки, взяли тело за руки и ноги, стащили с кровати и унесли в отдельную будочку – морг.

III

Отдых после этапа продолжался всего лишь два дня, а потом людей распределили по бригадам и послали работать. Начальник проходческого участка, на который попал Моргунов, опытный, но малограмотный донецкий шахтер Мануйленко, предложил Александру Сергеевичу работу учетчика.

– Ты – хлопець письменный; пидеш до мене в помичники: рапорта писаты. Буриты да навалюваты завсиды поспиеш!

– Нет, Остап Григорьевич, я лучше в шахту, – успев уже кое-что разнюхать, сказал Моргунов. – Учетчиком быть не хочу. Что это за работа! Все завидуют, все подсиживают, все попрекают: «Ты, мол, придурок! Тебе, мол, все нипочем! Ты поработай, пойди!..» На кой мне ляд это нужно?!. Да еще три раза в день выходить, во все три смены! И ни выходных, ничего!.. Толком никогда и не выспишься... Нет, я действительно не хочу!.. В забое лучше!

Мануйленко с удивлением посмотрел на Моргунова:

– Он як!.. От ти який!.. А не боишся – убьот?.. Ну, як хочеш. Силуваты не стану. Як на те пишлося – працюй в забою.

И Моргунов пошел работать в забой.

Шахта его потрясла. Он не знал подлинного значения этого короткого слова, а узнав, на какую-то долю секунды пожалел, что отказался от работы учетчика. Однако Александр Сергеевич пришел в себя очень быстро и начал искренне верить, что в лагере «лучше быть тузом на общих работах, чем шестеркой в придурках».

Анализируя потом уже отвергнутые сомнения, Моргунов нашел, что их можно легко извинить: ведь они появились в тот день, когда небольшая группа новичков, и он в их числе, первый раз в жизни спустились под землю. Этот день Моргунов никогда не забудет: он памятен так же, как первое посещение школы.

Сначала они – и Мануйленко с ними – долго шли под уклон по людскому ходку наклонной, не имеющей вертикального ствола шахты. Наклон был велик, градусов двадцать, и люди часто скользили на влажной и ничем не устланной почве. Взмахивая занятыми руками, они пытались держаться за стойки крепления, но это не всегда удавалось. Александр Сергеевич чувствовал себя отвратительно: в одной руке он нес бензиновую шахтерскую лампу, в другой – лопату с желонгой, ноги разъезжались, лопата лезла в одну сторону, желонга в другую; в лицо била сильная исходящая струя отработанного воздуха. Чтобы удерживать равновесие, приходилось по-особому напрягаться и ступать с большой осторожностью.

Лампа все время собиралась погаснуть. Ее надо было оберегать и от толчков, и от воздушной струи, и от сильных движений; ведь без индивидуального света в шахте работать нельзя. Моргунов уже знал об ее исключительной роли: ему про нее рассказали заранее и предупредили, что тухнет она чрезвычайно легко.

Из людского ходка вышли на штрек и заковыляли по шпалам проложенной тут узкоколейки. С непривычки и от напряжения Александр Сергеевич взмок, ноги дрожали и подламывались от усталости, а Мануйленко шел как ни в чем не бывало и только покрикивал:

– А ну, пидтягайтеся, чого розтягнулись! Швидче, задние, швидче!.. Передние пидождить!..

Пришли на рабочее место. Начальник показал, что надо делать. Предупредил – слушаться десятника и старых рабочих, ни в коем случае не курить – «а то висаджуетеся в повитря!» – и в незакрепленные места – «боронь боже!» – не лазить. Крепильщик тут есть – пусть крепит! «А ви вантажте породу у вагонетки да видкочувайте до розминовки!» Там ее примут откатчики и погонят дальше к стволу.

– Чи зрозумило для вас, за що я говорив?.. От и гарно!.. Працюйте поки що, а я тим часом забои обийду.

И ушел.

Моргунов покачал головой.

– Как же так? Говорят, в шахте работать опасно, убить может, а нас сюда, как овец, привели без обучения, без инструктажа. «Працюйте поки що!» и будьте здоровы!

– Учиться захотел? – насмешливо ответил ему бурильщик, работавший в самом забое. – Научишься еще! Какие твои годы! Поспеешь!

Он помолчал и неожиданно переменил тон:

– Иди сюда, парень!.. Иди, не бойся!.. Я тебя бурить научу!.. Хочешь?

– Хочу, – сказал Моргунов и подошел поближе.

– Вот и ладно! Ты, я вижу, хлопец что надо! Самостоятельный!.. А ну, ребятишки, разбейте понт! – обратился он к спутникам Моргунова. – Вам чего сказано?! Грузить и откатывать!.. Ну и действуйте! Чего вы, как ...й на именинах, стоите?!

Замысловатое сравнение имело успех. Пришедшие переглянулись и нехотя взялись за лопаты, а бурильщик вставил штангу в гнездо электробура и воткнул ее в начатый бурением шпур.

– Держи крепче! Жми! Собачку придавливай!

Моргунов ухватился за рукоятки, нажал на собачку, и его всего затрясло. Тяжелый электробур пришел в действие, заворчал, зашумел, заскрежетал. Штанга

потихоньку вгрызалась в породу. Она крутилась с такой скоростью, что казалась неподвижной металлической палкой.

– Жми, жми, нажимай! Грудью, грудью! – с азартом подбадривал Моргунова бурильщик.

Он обхватил Александра Сергеевича сзади и всем своим весом наваливался на его спину, покрякивая и покрикивая.

– Давай, давай, надавливай!.. Так ее черт!.. Дави, дави, а то не пойдет!..

И Моргунов нажимал, и держал, и давил, а бурилка тряслась и трясла его так, что, казалось, – вытрясет душу.

Шпуру, мнилось, не будет конца; штанга уходила в породу медленно-медленно, но Моргунов ни на секунду не прерывал работу, стараясь не показать усталости и не дать бурильщику повод для возможной насмешки.

– Пойдешь, пойдешь! – зло шептал он вслед за бурильщиком, и пот скатывался с его лба крупными каплями, а породная пыль, выходя из шпура, отлетала в лицо, хрустела на зубах, попадала в глаза и понемногу покрывала его сплошным желтовато-серым налетом.

– Дави, дави, нажимай! – подбодрял его сзади бурильщик. – Зарабатывай паечку!.. Тут тебя сразу обучат... Быстро узнаешь, почем соль на базаре!

– Слушай, дядя, как тебя кличут, не знаю, – спросил Моргунов, когда они кончили бурить и появилась возможность вытереть пот. – А что мы с тобой делаем? Кому нужны эти дырки?

– Это не дырки, а шпуры, – ответил бурильщик. – В них взрывчатку кладут и взрывают... А звать меня Сергей, по батьке Иванович. Фамилие мое – Степанов. Понял... почему козел хвост поднял!

– Угу! – утвердительно пробурчал Моргунов, хотя в речи бурильщика понятного было немного. Прошло полминуты.

– Ну, хватит отдыхать! Так и воробью на просо не заработаешь! – поднялся бурильщик. – Давай следующий шпур! Ты погоди! Я наперед забурюсь, а ты потом поднажмешь!

– Я сам забурюсь, – вызывающе ответил Моргунов и поспешно поднял бурилку. Приставив штангу к заранее намеченной мелом точке, он включил ток, но штанга запрыгала по груди забоя с места на место. Растерявшийся Моргунов едва удерживал бурилку в руках, не понимая что происходит.

– Ток выключи, ток! Собачку отпусти! – закричал Степанов. – От, дурья голова... Да нешто так забуриваются!.. Не умеешь пока, так и не хватайся!.. Дай сюда баран!

Александр Сергеевич обиделся:

– А повежливее нельзя?! Никакой я тебе не баран!

Бурильщик расхохотался:

– А я тебя и не обзывал. Баран – это вот! Бурилка, ЭБР-1... Видишь ручки, как рога у барана?.. Вот ее бараном и зовут. Умная машина, труд облегчает. Только пользоваться – надо уметь... Ну, ничего, научишься!.. Бери кайло, помогай!

По указаниям бурильщика Моргунов, сняв с себя предварительно все до рубахи, выдолбил в породе неглубокую ямку. Затем подставил кайло и до тех пор поддерживал им непокорную штангу, пока она не вошла, наконец, сантиметра на два или три в грудь забоя.

– Хорош! – одобрительно молвил Степанов. – Бросай кайло, иди нажимай!

И они опять вдвоем нажимали на бур, а когда добурили шпур до конца, сели передохнуть и вытереть пот.

– Оденься! – заботливо приказал Моргунову бурильщик. – Простынешь! Здесь тебе не Донбасс... Порода холодная, в вечной мерзлоте штрек идем.

– А ты разве в Донбассе работал? – послушно надевая телогрейку, спросил Моргунов.

– А как же! Оттуда и взят! С Артема... может, слыхал?

– Нет, – признался Моргунов. – Не слыхал... Хотя постой... Артем!.. Это где шахтинцы были?

– Ну да! – ответил бурильщик. – Только я до них не касался. У меня дело свое!

– Какое же дело? За что тебя взяли?

– У меня делов много! Перво-наперво, я из кулацкой семьи. Как в двадцать девятом раскулачивать начали, я затаился, из деревни ушел, и – в Донбасс. Работал, как нужно. А потом, в тридцать третьем, – прорыв. Начал народ из-за снабжения плохого бечь. Кто куда, а мне – некуда... Я на шахте остался, но на собрании выступил – против. В прорыве, говорю, сами вы виноваты. Ежели, говорю, в потребиловке, окромя гнилых помидоров, нет ничего, так какой вы работы с шахтера хотите?! Этак и мы, которые остались, работать не будем. Давайте нам мяса, сала, свинины!.. Как начали меня ругать, как начали! Обиделся я, назавтра на работу не вышел. И еще много народу не вышло. Ну, мне в тот же день забастовку приштопали и организатором сделали. Все разыскали: кто, что, откуда. Дали десятку, сюда привезли.

– Кто же судил? Облсуд?

– Какой там суд!.. Коллегия ОГПУ.

– И ты уже четыре года в таком положении? В шахте? Поди, тяжело!

– Да разве теперь тяжело?! Теперь в теплых бараках живем, баня есть, клуб. Кормят от пуза. Хлеба – кило триста! Ешь, не хочу, и машины потихоньку пошли... Раньше куда труднее было.

– Я в шахте, Сергей Иванович, первый раз в жизни, но труд горняцкий уже увидал. Каторжный труд! Без света, без воздуха, в постоянной пыли! Я тоже не белоручка какая, не христова невеста – токарь по металлу, и в лесу маленько работал, на повале был, на земле, но тяжелее шахты пока не видал.

– Ну что ты! Это уже и не тяжело, можно сказать! Раньше знаешь как было? Шпуры долотом и кувалдой долбили! А потом коловорот ввели – ручной! Вертишь и вертишь, вертишь и вертишь, думаешь – совсем изойдешь, а забурник – ни с места! Я еще год назад шпуры коловоротом бурил. И в лавах было не лучше. Забойщики вруб только вручную рубили. Обушком. И кайлом отбивали. Приводов не было. Уголь по мертвым рештакам движками толкали. Цельный колхоз пропускальщиков стоял. И ничего, пропихивали! А теперь у нас в шахте и электробурилки, и привода, и врубовые машины. Лошадей, правильно, нет, вагонетки до самого ствола, с километр будет, люди вручную катают, но это временно, – нам говорят. Обещаются лошадей завести!.. А для лебедок и энергии нету, ТЭЦ-то еще не достроена. На локомобилях покеда что едем.

Моргунов слушал очень внимательно. Он вспомнил «Записки из Мертвого дома» и подумал о разнице между бесцельным трудом каторжан времен Достоевского и работой нынешних заключенных, у многих из которых осмысленность непомерных усилий снимала какую-то долю их беспросветной, мучительной тяжести. Люди, видя полезность труда, увлекались им, забывали свое положение и работали с огоньком и охотой.

Время шло незаметно. Десятник не появлялся. Начальник участка тоже как в воду канул, но работа спорилась и без них. В случае нужды шахтеры охотно помогали друг другу.

Сзади, в штреке, произошла небольшая авария. Сошла с рельс вагонетка, доверху загруженная породой. Бывшие спутники Моргунова суматошно и неумело всем скопом ставили ее обратно. Вагонетка им не давалась. Люди нервничали, кричали, толкались, а толку все не было. Среди других голосов четко выделялся бархатный бас Ревунова.

– А ну, православные, навалимся!.. Еще чуток, еще чуть!.. Давайте, милые, по команде, сразу... Эх раз, дружно!.. Еще, дружно! Ну-тка, дружно!.. Кому нужно!.. Сама пойдет!.. Сама пойдет!..

Но вагонетка не «шла».

Подошел крепильщик, поглядел:

– Что, новички, забурили?.. Со всех четырех!.. Ну ничего, поднимем! Только не так, тут сноровка нужна. Ну-ка, ты, долговязый, держи распил!.. Как приподнимем – под колеса подложишь... Понял? Ну, вот. Давай все на одну сторону... Спинами... дружно!.. Раз, два, взяли! Держи, держи, а ты веселее подсовывай! Подложил? Хорошо!.. Опускай понемногу!.. Давай все на другую сторону... Приготовились!.. Командую: раз, два, взяли!.. Вот и хорошо! Теперь трое сюда, на торец... Спинами! А вы там, кто потяжельше, на панцирь становьтесь... А ты, большой, тоже на панцирь иди! Ты тяжелый, в тебе г... много... Приготовились!.. Слушай команду! Раз, два, взяли!.. Стоит! Теперь этот конец... Раз, два... На рельсах!.. Вот и все!..

Крепильщик подошел к забою. Вместе с подсобником притащил и поставил раму крепления. Моргунов и бурильщик помогли им поднять тяжелый верхняк.

– Стоит! Хорошо! Норма схвачена! – удовлетворенно сказал крепильщик, загоняя обухом топора клин между рамой и стенкой забоя. – Вот, еще мальчика поставлю, и на-гора!

– Я тоже пойду! – отозвался бурильщик. – Последний шпур кончили. Кило триста в законе!

Они ушли.

Пришел запальщик. Отогнал людей от забоя. Зарядил шпуры. Заложил два пальца в рот, пронзительно свистнул: «Уходи подальше! Палю!»

Грохнул взрыв. В выработке запахло едким, вонючим, сладковатым дымом.

– Куда ты?! Стой! Не ходи!.. Дай проветриться! – прикрикнул взрывник на двинувшегося к забою рабочего. – Некогда тебе? На свадьбу спешишь?

Сложив неизрасходованные патроны и принадлежности для паления в небольшой мешок, заменявший ему специальную сумку, он пошел дальше.

Новички присели отдохнуть.

– Закурить бы! – вздохнул Ревунов и полез в карман, но на него зашикали и заругались.

– Начальник что говорил?! Курить в шахте нельзя! Взорваться можно! Тут газ – метан выделяется!

– Не спорю, родненькие, – согласился Ревунов. – Однако почему оно так, мне непонятно. Почему запальщик открытым огнем шпур поджигает, – метан не взрывается, а ежели закурить – взорвется? Неувязочка тут.

Люди замолкли.

– Я думаю вот что, – сказал кто-то после небольшого раздумья. – Метан взрывается, когда его много, а ежели его нет, так и взрываться нечему. Но запальщик знает, сколько его, а мы не знаем.

С ним согласились.

И люди начали строить догадки о том, как бороться с метаном. Кто-то вспомнил «Жерминаль» Золя, вспомнил, как много метана было в шахтах Воре и Жан-Барт, как плохо проветривались там действующие выработки, вспомнил запечатленные Золя духоту и сырость в забоях, мертвый воздух, совершенно голых забойщиков и догола раздевшуюся Катерину, катавшую вагонетки по штольне, нагретой местами до 60 градусов жары.

Невольно сравнивали люди копи Монсу с шахтой, где они находились, и хотя с времен описанных Золя прошло более полувека, схожего оказалось немало: слишком много ручного труда сохранилось на шахте. Кто-то даже пошутил, что раньше техника горных работ стояла значительно выше. В Воре и в Жан-Барте

вагоны катали вручную только по промежуточным штрекам, а на откатке работали лошади, здесь же...

Подошедший десятник резко перебил говорившего:

– Бросьте вы языком-то трепать! Много вы все понимаете! Ишь, нашли объект для сравнения – шахты Монсу! Ничего же похожего нет. Там же нечеловеческие условия, десятичасовой рабочий день, артельные торги, люди ходят по земле на деревяшках, а в шахту совсем босиком, детский труд, нищенская голодная жизнь. И техника – тоже: вентиляторов нет, главное проветривание – с помощью топки, механизации никакой, правилами безопасности даже не пахнет!..

– Все это, может, и так, но с откаткой-то как? – возразил один из сидящих. – Вы, гражданин десятник, немного – того...

– Какой я вам – гражданин?!. Товарищ десятник!.. Такой же зека, как и вы... Ну, ладно! Споры потом! Айда на-гора! Рабочий день кончился.

– Откуда вы? – тихо спросил Моргунов. – Почему «Углекопов» так помните?

– Приходилось читать, – улыбаясь, ответил десятник. – Французская литература двух последних столетий – это моя основная специальность. Я ведь – филолог. У Когана и у Фриче учился.

– А теперь...

– А теперь – сами видите!.. Берите инструмент, товарищи, пошли на-гора. Только – ходком! Кто на канате поедет – голову оторву!.. Кому не понятно? А?

Никто не ответил.

IV

Мельникова похоронили на Ерани. Так называлось небольшое плато на правом берегу реки Воркуты, к югу от Рудника, где кочевые ненцы-оленеводы ставили иногда свои чумы. Вот тут и возникло первое воркутское кладбище. Сюда, на южную сторону высокого берега, чаще попадали лучи робкого заполярного солнца. Площадка получала больше тепла, чем другие участки, и вечная мерзлота здесь отступила. Островок талого грунта, затерянный в широких просторах тундры, быстро привлек внимание опытных в своем деле могильщиков: в сухом, непромерзшем грунте легче копать неглубокие ямы. И Ерань скоро стала погостом.

Мельникова похоронили. Молча и скорбно стояли у свежей могилы безвременно погибшего друга Ревунов, Гольденберг и Моргунов.

Снег падал у на их непокрытые головы и быстро заносил только что насыпанный холмик. Хотелось плакать, но слезы не шли, и вместо людей тихонько рыдала над тундрой начинающаяся пурга. Моргунов первый нарушил молчание:

– Вот и все!.. Ничего не поделаешь!.. Пойдемте домой, пока еще видно дорогу... Ему мы ничем не поможем, а нам надо жить!.. «Мертвым покой, а живым живое»!..

Он надел шапку и, не оглядываясь, зашагал к скрытому непогодой поселку. Товарищи двинулись следом за ним.

Ревунов отошел от могилы последним. Потихоньку, чтобы никто не заметил, он перекрестил ее и что-то прошептал на прощание. Должно быть, вознес к небесам жаркую молитву «единому, но в трех лицах» Богу – «Со святыми упокой!» – и посмертно отпустил «новопреставленному рабу Божьему Иоанну» все его «вольные и невольные» грехи.

Моргунов шел впереди и думал, и думал. Он думал о жизни, о смерти, о том, как грустно, в сущности говоря, умереть после стольких мучений, не успев оправдать их, не дождавшись зари и рассвета. Он думал также о том, что где-то вблизи живут интересные люди, которых людская молва нарекла «ортодоксами».

Кто они? Что собой представляют? Похож ли на них Дмитрий Иванович Кучин? Моргунов так и не побывал пока что у них. А интересно сходить... Но ведь просто так не пойдешь!.. Нельзя же прийти, как к хорошим знакомым: «Здравствуйте, мол! А ну, расскажите-ка мне, чего вы хотите, чего добиваетесь!» Сочтут за сексота и пошлют «ко всем и подальше». Нет, так не годится. Надо, чтоб кто-нибудь проводил и представил. Да, ведь тот учитель-крепильщик обещал... Надо ему напомнить...

– В ближайшие дни соберусь, – решил Моргунов.

И, действительно, вскоре собрался.

Близился вечер, темнело, октябрь шел под уклон. Где-нибудь ненамного южнее Москвы – это чудное время. Золотая левитановская осень еще в полном расцвете и продолжает радовать взоры людей. Желтые березы и красные осины подставляют тонкие ветки солнечным теплым лучам. А тополя все пытаются зеленеть, как будто бы осень их не касается. Клены устилают землю фигурными листьями. Желтеют дубы, но желтеют с достоинством, как и положено «великанам лесов», листва их держится на родимых ветвях упорно и долго. Если нет дождей, то природа прекрасна, и людям дышится легко и свободно. На Воркуте же конец октября – почти полностью зимний. Снег лежит и не тает. И река незаметно покрывается тонкой пленочной льда. Мороз хулиганит, щиплет за уши, нагоняет краску на щеки и нос. Ему помогает резкий, порывистый ветер.

Моргунов, обмотав шею, вместо не имеющегося у него кашне, полотенцем, надев поверх телогрейки бушлат и поглубже надвинув ушанку, зашел в барак к Анатолию Васильевичу Волгину, чтобы с ним вместе пойти к ортодоксам.

Волгин стоял посередине барака и декламировал окружающим его двум–трем десяткам зека блоковских «Скифов». Когда Александр Сергеевич вошел, Волгин произносил: «... и заглушал грома лавины...»

Моргунов присел на краешек нар, рядом с высоким, могучим зека, в зубах у которого дымилась махорочная самокрутка, и стал внимательно слушать. Волгин читал хорошо, с выражением, как настоящий актер, но когда он дошел до строки – «и с ненавистью, и с любовью! – у него неожиданно скрипнули зубы.

Следующую строфу –

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит! –

Волгин прочел с каким-то особенным чувством и даже закрыл глаза. Лицо его исказилось, и Моргунов неожиданно вспомнил, что Анатолий Васильевич сидит за убийство, и ясно представил, как этот внешне холодный, деликатный и рассудительный человек взмахивает топором и рассекает череп себе же подобному.

– Как же он смог это сделать? Что подтолкнуло его? Оскорбленное чувство самца, или, быть может, любовь, та самая любовь, «которая и жжет, и губит», и которая сожгла и погубила его?..

На раздумье времени не хватило. Волгин кончил «Скифов» и объявил:

– На сегодня хватит!.. Больше сегодня читать не буду.

– Как не будешь?! – возмутился кто-то. – Пайку взял, да не будешь?!. Давай хлеб назад!..

– Тю!.. Ты, что, не знаешь меня?! За мной не пропадет! Я вам завтра дотискаю полностью. А сейчас мне надо идти... Вы пока прислонитесь маленько, от нечего делать, а рассчитаемся завтра... Пошли, Александр Сергеевич! – проговорил Волгин, на ходу надевая бушлат.

Они вышли из барака и пошли под горку, мимо края глубокой расщелины, прорезающей у северной границы поселка крутой и высокий берег реки Воркуты. Тут на отлете стояли четыре барако-палатки. В них жили строптивые люди.

– Объясните мне прежде всего, Анатолий Васильевич, – попросил Моргунов, – что происходило в вашем бараке? Вы читали стихи – это я понимаю! Но при чем тут какая-то пайка, что такое «дотискаю», зачем и к чему рекомендовали вы прислониться!

– А вам, поди, непонятно?.. Или вы это – в шутку?

– Нет, совершенно серьезно!

– Наивный вы человек, Александр Сергеевич!.. Я читаю стихи, рассказываю романы и повести. Уркачи – а они у нас есть! – это любят. Так что же? Задаром мне их потешать?! Пусть платят!.. Лишняя паечка хлеба – это товар!..

– А зачем вам она? Вы и так кило триста имеете!

– Конечно!.. Но мне табаку не хватает. Вот я и сменяю!.. Чего удивляетесь?!. Это – лагерь! Тут иначе не проживешь!.. Вы, в самом деле, чудной. Урки в шалманах не то еще делают. Тех, кто им «тискает романы» или «бацает» – пляшет чечетку – они держат на иждивении: кормят и поят. Плясуны и рассказчики у них на работу не ходят. А чем они лучше меня?! Я хоть норму гоню, а «романы» – по совместительству. Ну, теперь вам понятно, что «тискать» – значит рассказывать, а «прислониться» – поспать?

Моргунов помолчал. Шагов тридцать они прошли молча.

– Ну, ладно! – сказал, наконец, Моргунов, – Мы идем сейчас вроде бы в гости. Не расскажете подробнее об этих людях?

– Да что еще вам рассказать? Я ведь тоже не очень-то много о них знаю. Бывшие начальники там есть, но больше, конечно, простых... Никто их друг к другу не подбирал, но «рыбак рыбака» – сами знаете... Вот и сошлись в одном месте... Вообще – интересный народ, начитанный, умный, но со мною они – втихаря. Все темнят и темнят.

Моргунов слушал внимательно. Скорей бы на них поглядеть! Он шел под благовидным предлогом: «Пожалейте, друзья! Пропадаю без книг. Дайте хоть что почитать! У меня, к сожалению, нет ничего, разве что – том Геродота. Конечно, он на любителя, но все же смотрите: греко-персидские войны, сражение при Фермопилах, морское сражение при Саламине, битвы Платейская и при Микале, обычаи и законы эллинов и персов. От нечего делать все это можно прочесть». Внешне Александр Сергеевич казался спокойным. А внутри него – маленький бес любопытства настойчиво требовал пищи. Хотелось скорее увидеть людей, о которых он так много слышал.

V

В барако-палатке было почти что темно. Две небольшие электрические лампочки ярко освещали столы в середине, но так как темная парусина кровли и стен поглощала световые лучи, то, чуть-чуть отступя от столов, а тем более в углах, прочно царил полумрак. В первый момент Моргунов не мог ничего разглядеть, но глаза очень скоро привыкли, и он с любопытством осмотрелся вокруг.

Нового он не увидел. Сплошные двухэтажные нары, две жарко топящиеся железные печки. Все, что было когда-то в Архангельске. Только пол – деревянный. Это дань Воркуте. На вечномерзлых грунтах земляные полы превращаются сразу в болото.

– Чего вам, ребята? – подошел к ним дневальный, суровый, небритый старик. – Аль заблудились?

– Нет, мы сюда! – ответил Анатолий Васильевич. – Мне Анисимов нужен. Я ему книжку принес.

– Его дома нет! – посмотрел вглубь палатки дневальный.

– Вот так фунт!.. Как же быть?! Мы же сверху идем!

– Ну и что ж!.. Можно снова прийти! Подумаешь, невидаль – сверху!

– Далеко!.. Мы лучше его подождем!

Дневальный секунду подумал:

– Нет, ребята, давайте, идите! Ждать я вам здесь не позволю...

– Да чего ты боишься?!

– Ничего не боюсь, а вы все же сыпьте подальше. Здесь не вокзал и не приемная Михаила Иваныча. Нечего ждать!

За столом сидело несколько человек. Они с любопытством приглядывались к происходящему, но в ход событий не вмешивались и скромно молчали.

Александр Сергеевич совсем не хотел уходить. Он долго рвался сюда, и вдруг – такой нелепый афронт. «А ведь ничего не поделаешь. Ссориться с дневальным не станешь!» Он повернулся и покорно сказал:

– Придется прийти в другой раз! Пойдемте, Анатолий Васильевич!

В этот момент с нижних нар быстро поднялся черно-седой человек, подбежал к Моргунову и, схватив его за руку, возбужденно закричал:

– Пагады!.. Маргунов!.. Это ты? Ну, конечно!..

Изумленный Александр Сергеевич сразу узнал Алиханяна, с которым сидел в Москве, во внутренней тюрьме НКВД.

– Акоп Иванович!.. Алиханян!.. Вот встреча!

Их обступили, повели к столу, усадили. Подозрительный дневальный мигом сменил гнев на милость, принес кипятку. Начались расспросы, рассказы... Со всех сторон появились разные книги: политические, научные, беллетристика. На Иродота Аликарнасского – так называл Геродота переводчик XVIII века Андрей Нартов – нашлось, сверх ожидания, много охотников. После кратких переговоров ободранной книгой завладел худой и высокий Игнатов. Он сразу залез на верхние нары, лег головой к свету и начал читать. Моргунов и спрашивал и рассказывал сам. Разговор кипел, как Терек в Дарьяльском ущелье. Стало весело, хорошо, беспокойство куда-то исчезло. «Ортодоксы» оказались простыми людьми. Они так же, как все, пили чай, болтали о пустяках, интересовались кормежкой в других лагерях и жаловались на отсутствие женщин.

Анатолий Васильевич скоро ушел. То ли ему стало неинтересно слушать чужой разговор, то ли он, действительно, сильно устал, а скорее всего – забоялся: как-никак это были – троцкисты! «Кто их знает, что за народ! Время такое – опасное! Как бы чего не вышло!»

Моргунову хотелось поговорить о политике, услышать оценку текущих событий, прошедших судебных процессов и пройденного этапа внутрипартийной борьбы с точки зрения этих, столь похожих на Кучина, упорных изгоев. Ведь они оставались – так гласила молва – непреклонными. Их вожди, за исключением Троцкого, давно сдали позиции, давно отступили, дали развернутые показания на процессах, восславили Сталина и призвали их покориться, а они все держались, несмотря на свирепость репрессий. «В чем же их суть? Каковы их идеи? Почему они «больше католики, чем папа римский?» И – для чего?» Несколько раз Александр Сергеевич закидывал удочку и пытался об этом спросить, но его неумелые заряды пропадали напрасно. Никто не поддержал выдвигаемой темы.

И вдруг с верхних нар послышался хохот.

– Ха-ха-ха!.. История повторяется! Ты смотри, что написано в книжке!

Игнатов слез с нар и, продолжая смеяться, начал читать Геродота. Он добавлял к тексту свои замечания, и слова, написанные 2400 лет назад, приобретали острую злободневность.

– Послушайте-ка, вот, из речи Артабана: «Когда противных мнений не предлагают, то и не можно избрать из них лучшего, но должно принять просто

вышеобъявленное мнение; а ежели бывают представляемы мнения различные, то подобно сие чистому золоту, о доброте которого рассуждать да тех пор не можно, пока не сделаешь сравнение с другим чистым золотом; тогда ясно увидишь, которое из них есть лучшее». Каков Артабан! Ведь это о наших дискуссиях речь!

А вот о вожде и о нас: «Бог весьма великих зверей убивает молнией, не допуская о себе надменно думать... высокие здания и великие дерева молнией низвергаются... ибо Бог не повелевает возвышаться выше себя». Понимаете, товарищи, в чем тут дело: божество не терпит, что бы кто-нибудь другой, кроме него самого, много о себе воображал: здесь нет и речи о каких-либо преступлениях со стороны сильных против людей или богов; божество не терпит никакого превосходства, и только поэтому сокрушает высокие дома и деревья, истребляет больших животных и губит сильных людей. Каково?! Точный характер «вождя и учителя»...

Один из сидящих за столом незаметно ударил Игнатова ногой и показал глазами на Моргунова. Игнатов осекся. Алиханян перехватил намекающий взгляд и рьяно вступился:

– Ничего, это – свой! Этот парень – что надо! У него мозги чуть-чуть набекрень, но стучать он не станет!.. При нем – можно!

Лед растопился, но настроение Игнатова сразу упало. Помянув бога, душу и мать, он вновь поднялся на верхние нары и дальше читал уже про себя.

– Ну чего ты, Игнатов?! – укорил его Акоп Иванович. – Я же сказал!..

– Да я не поэтому!.. Просто не хочу детей развращать. Пусть остается невинным!

Моргунов почувствовал себя неудобно и хотел было сразу уйти, но Акоп Иванович стал рассказывать о своих злоключениях по дороге на Воркуту, и пришлось его слушать. А потом неприятное впечатление сгладилось, и на вопросы Алиханяна Александр Сергеевич подробно поведал о том, что с ним было после Лубянки. Вспоминая о людях в Бутырской тюрьме, Моргунов с теплотой отозвался о Кучине.

– Какой это Кучин? Дмитрий Иванович? – сразу взвился Алиханян. – Как же, как же! Мы его знаем. Он – настоящий боец!.. Человек!.. Был он здесь, в этом самом бараке. Его увезли на Кирпичный завод. Мы получили сообщение... Не спрашивай – как! Не спрашивай – через кого! Зачем тебе лишнее знать?! Получили, и все!.. Там, говорят, очень плохо!.. Работать им не дают, тюремный режим, карцерный паек: четыреста граммов и миска баланды. Они там дойдут очень быстро...

Моргунову стало жутко:

– А чем это вызвано, Акоп Иванович? Почему с ними так обращаются? Разве есть у начальства такие права?

– Права?!. – чуть не задохнулся Алиханян. – Что такое права там, где царит произвол?!. Качать права в лагере – самое глупое дело!.. Все равно, что в борделе невинных искать!.. Ты как будто не первый день замужем, а никак не поймешь, что к чему?!. Все это – сверху, от Сталина... Я убежден, что он приказал уничтожить физически тех, кто с ним был не согласен...

Алиханян замолчал, и ошеломленный Моргунов не посмел ему возразить. Ему вдруг показалось, что Акоп Иванович прав. Он растерялся и долго не знал, что сказать, как ответить. Наконец, с трудом собрав свои мысли, он произнес:

– Это надо продумать... я не могу... сейчас уже поздно... Побеседуем после...

Чувствуя большую неловкость, с тяжелым, неприятным осадком на взбаламученной душе, Александр Сергеевич встал, попрощался со всеми и, крепко пожав руку Алиханяну, ушел.

Он шел домой, в свой барак, поднимаясь в гору и любуясь ярким северным сиянием желтовато-лунного цвета. Гигантская изгибающаяся бахрома, сквозь

которую просвечивали звезды, колыхалась на небе, то образуя причудливые складки, то распуская их, переливаясь и все время меняя свои очертания. И неожиданно всплыла мысль:

– Красотища какая! Жаль, что Маруся не видит...

Маруся! Где она? Что с ней? Последнее письмо от нее он получил почти пять месяцев тому назад. Письмо, принесшее столько переживаний и мук; то самое, в котором она рассказала о вызове в НКВД и об Ильине. Он не спал и терзался тогда. И не знал, что в эту же ночь Маруся тоже страдала и мучилась, и не могла уснуть до утра.

VI

Да, в ту ночь Маруся страдала и мучилась, ворочалась на узкой раскладушке, на застекленной террасе, томилась и изнывала, включала и снова тушила настольную лампу, стоящую у изголовья, несколько раз принималась читать случайно привезенную с собой «Одиссею», но воспоминания не уходили, и смутное, волнующее ее беспокойство не исчезало. Она листала страницы, выхватывая из текста отдельные строчки, большинство их тут же улетучивалось, и только немногие въедались в сознание.

«Несносно лежать на постели, глаз не смыкая», – прочла она и горько улыбнулась. Ночи, казалось, не будет конца, время ползло, как улитка, медленно-медленно, спать не хотелось, и только под утро, когда «встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос», а взошедшее вслед за ней солнце залило ярким, горячим светом пробуждающийся сад, когда растаяли темные тени деревьев и высохли на траве бриллиантовые капельки, а вместе с росой испарилась последняя надежда заснуть, прилетел неожиданно он – «чарователь тревог, успокоитель сладкий». Маруся закрыла глаза и почувствовала, что куда-то проваливается. «Сон непробудный, усладный, с безмолвною смертию сходный» миротворно слетел на ее «истомленные вежды», и она крепко-крепко заснула.

А часа через два проснулся маленький Иовис. Открыв глаза, он внимательно осмотрелся, прислушался к наполненной неясными звуками тишине и, что-то вспомнив, стремительно вылез из кроватки. Минуту помедлив у ночного горшка, он как был, в одних трусиках и босиком, направился на террасу к сестре. Маруся спала и на вопросы не отвечала. Иовис недовольно надул губы: «Обещала со мной поиграть, а сама спит и не шелохнется!» Он уже собрался ее разбудить, но какая-то новая мысль промелькнула в его русой, набитой черт знает чем головенке. Иовис потоптался немного по полу террасы, почесал одной ножкой другую и опрометью побежал в комнату, к игрушкам. Схватив ружье, он зацепил второй рукой коробку с солдатиками и вооружением и потащил все это на террасу. Через несколько минут Маруся была в безопасности. Вокруг ее головы, прямо на подушке, расположилась грозная танковая колонна. Пехота заняла оборонительные рубежи по обеим бокам ее ложа, глубокие складки на одеяле превратились в окопы. Артиллерию Иовис, руководствуясь своей собственной тактикой, выдвинул вперед. Затем он скомандовал армии «смирно» и, с ружьем наперевес, застыл у дверей застекленной террасы. Появись теперь какой-нибудь враг, он встретил бы на путях подхода к Марусе непобедимый заслон.

Некоторое время Иовис стоял, стараясь не шелохнуться, и чутко прислушивался к шорохам сада. Временами он вскидывал ружье к плечу и стрелял в кусты, за которыми, по его глубокому убеждению, притаились шпионы, вредители и диверсанты; стрелял он, конечно, без промаха – ведь он был лучший в мире ворошиловский стрелок! – но враги из-за кустов почему-то не вылезали и в атаку не шли. И очень скоро Иовису надоело стоять на посту.

Сквозь сон почувствовала Маруся прикосновение чьих-то холодных рук к разгоряченным щекам. Кто-то забрался к ней на кровать и гладил ее по голове. Маруся спала. Но усталые мысли, не управляемые бодрствующим сознанием, беспорядочно бродили в мозгу. Ей приснились объятия Саши, и стало легко и спокойно.

Не зря Гомер называл сон «усладителем наших тревог», не зря говорил он:

Но и тяжелые скорби становятся легче, когда мы,
в горьких слезах, в сокрушении сердца день целый проведши,
ночью в объятия сна предаемся – мы все забываем,
зло и добро, лишь коснется очей он целебной рукою.

Несказанное блаженство охватило Марусю. От избытка чувств она застонала и резко повернулась. И в тот же миг громкий рев свалившегося с нее Иовиса вернул ее в мир «тяжелых скорбей и сокрушения сердца». Маруся проснулась.

– Ив, ив, что с тобой? – в испуге вскрикнула она, увидев на полу плачущего ребенка. – Ив, ты упал? Ты ушибся?

Она вскочила с постели и, неловко прикрываясь одеялом, подняла брата.

Иовис ревел благим матом, хватаясь за ушибленную голову, и сквозь слезы пытался объяснить Марусе, что охранял ее от врагов народа. Один из них все же тайком подобрался к постели и сошвырнул его на пол. Иовис больно ударился головой о ножку стола: «Смотри, Маруся, какая шишка!»

У Маруси сразу испортилось настроение:

– Противный мальчишка! Что ты мелешь всякую чепуху?!

Сон улетел. Нервы опять напряглись до предела.

– Иди отсюда! Дай, я оденусь.

Разбуженная плачем Иовиса, растрепанная, обеспокоенная, в несуразном, немодном сатиновом халате выбежала на террасу Марусина мать, за ней, в наскоро накинутом платье с подвернувшимся в спешке подолом, двигалась бабушка.

– Ив, дитятко, Ив! Кто обидел тебя?

Увидев на лбу Иовиса вздувающуюся шишку и несколько небольших царапин, мать пришла в ужас:

– Воды! Скорее воды! Что ты стоишь?! Видишь, что у ребенка?! Скорее холодной воды! – закричала она на бабушку.

Выскочив на террасу и Александр Васильевич Северцев, с торчащим на боку револьвером, в незастегнутых галифе и сапогах, но без кителя, в одной лишь старой, застиранной, когда-то голубенькой майке, и быстро осмотрел голову Иовиса.

– Ничего страшного нет, успокойся! – сказал он жене. – Синяком обойдется... пройдет... Ну, замолчать! – повелительно обратился он к продолжающему плакать сыну и мгновенно смягчил тон: – Ты же не девочка! Что ж ты ревешь? Если от каждой мелочи плакать, то и слез не хватит... Как же ты, размазня, будешь Родину защищать?! Товарищу Сталину вон как трудно бывает, а он ведь не плачет!

Последний довод показался ребенку весьма убедительным. Рев прекратился.

Появилась расстроенная бабушка с кастрюлей холодной воды и полотенцем в руках. К ушибленному лбу Иовиса стали прикладывать мокрую тряпку, а он, забыв про боль, визжал, не давался, кричал, что ему холодно. Маруся не выдержала тарарама и убежала к колодцу умываться. Александр Васильевич потихоньку вздохнул, вышел в сад и закурил папиросу. Невеселые мысли добрались все-таки и до него.

Северцев курил, делая большие затяжки, и инстинктивно старался держаться прямее. Он бодрился, но ему все трудней становилось скрывать от семьи обуревающее его беспокойство.

Не сразу решился Александр Васильевич подать заявление, поставить в известность бюро своей партячейки об аресте зятя. Тянул много месяцев. Представлялось совсем невероятным, что у него, у Северцева, кристально чистого коммуниста и начальника штаба охраны такого большого учреждения, муж дочери мог оказаться врагом народа. Северцев не понимал, как такое случилось, насколько он сам виноват в происшедшем. Он все время себя вопрошал – виновен ли он вообще, виновен ли в частности, – и никак не мог найти однозначного, безоговорочного ответа. В конце концов, солдафон победил в нем человека, и он решил считать себя – виноватым.

– Да, виноват, конечно, виноват! – мысленно говорил он себе, – Что-то упустил в воспитании дочери, не смог ее уберечь... И ведь не хочет, не хочет она отказаться от мужа... Уж я ли не старался, я ли не пытался объяснить ей положение дел?!. Не понимает Маруся... не хочет понимать. Не хочет даже слушать меня.

Александр Васильевич нагнулся над клумбой, стал поправлять цветы.

– Ишь разрастаются... надо подпорки подлиньше поставить, эти коротки стали, – отвлекся он на минуту от тягостных дум, но тут же, словно его подтолкнули, прилепился к ним с новой силой:

– Да, так о чем я?.. Ах, да, о Марусе!.. С Марусей погано: воспитать не сумел, а теперь уже поздно!.. Придется так и сказать на бюро: «Виноват, мол! Судите меня! Хотел я – как лучше, а вышло – видите как... Плохо вышло!.. Конечно, я виноват, проморгал и прохлопал, бдительность потерял, оказался негодным отцом!»

Северцев с раздражением отбросил окурок, но тут же подошел к нему, поднял, аккуратно затушил о подошву сапога и понес в мусорную яму. Ему стало как-то тоскливо, неудобно на душе, расхотелось заглядывать в будущее.

– Будь что будет! – махнул он с грустью рукой, хотя внутренне, в подсознательном, знал, что если что-нибудь будет, то наверняка – нехорошее.

Александр Васильевич вспомнил, как омрачилось лицо секретаря партийной организации, когда он прочел его заявление.

– Как же так? – ни к кому, в сущности, не обращаясь, спросил он. – Как же так это вышло?..

Не получив ответа и, видимо, не ожидая его, секретарь несколько изменил тон:

– Ладно, товарищ Северцев, подумаем, разберемся, с кем надо поговорим.

Теперь Северцева мучила неопределенность: «Что со мной будет? Как отнесутся к тому, что случилось, члены бюро? Как отнесется начальство?..»

Впрочем, как отнесется начальство, уже было ясно: на днях в штаб поступило новое распоряжение о пайковом довольствии работников охраны, а на нем резолюция начальника учреждения: «Тов. Панкратову к исполнению». Панкратов был заместителем Северцева, и хотя пайковым довольствием ведал именно он, Панкратов, направлять ему распоряжения, минуя непосредственного начальника штаба, конечно, не полагалось. Случай этот в прошлом прецедентов не имел, и Александр Васильевич прочел в нем свою будущую судьбу.

– Нехорошо! – потрогал он кобуру пистолета. На какую-то долю секунды захотелось покончить с собой, уйти от всего, что его ожидает. Мелькнула страшная мысль: «Снимут с работы, и револьвер отберут. Нечем будет стреляться». И сразу стало стыдно за себя, за гадкие, недостойные коммуниста предположения, за паникерство и трусость. Трясущимися пальцами, торопясь и дрожа от волнения, Александр Васильевич вытащил из кармана новую папиросу и жадно закурил.

– А, будь что будет! – еще раз, но с наигранной уже бравадой, подумал он и, пересилив себя, пошел умываться.

VII

Не находил покоя в эти жаркие дни и Алексей Андреевич Ильин. Последняя встреча с Марусей выбила его из колеи. Отдельные подробности их свидания все время вставали перед глазами, мешали работать и не давали сосредоточиваться на чем бы то ни было другом. Алеша все время вспоминал о происшедшем и никак не мог решить, что ему надлежит теперь делать.

Они гуляли в тот день в Нескучном саду, наслаждались вечерней прохладой, вдыхали запахи цветов и деревьев, и он трепетал от близости любимого существа, от случайных прикосновений к Марусиной руке, от звуков ее милого, приятного голоса.

Когда подошла ночь и дежурные милиционеры криками оповестили гуляющих о закрытии парка, они пошли домой, продолжая на ходу начатую беседу. На улицах в это время становилось тише и, вроде, просторнее. Отдельные прохожие им не мешали. И они шли и говорили, и говорили, и никак не могли наговориться вдосталь. И так, разговаривая, незаметно для себя, добрались они до дверей Марусиного жилища.

Стали прощаться. Ильину страшно не хотелось уходить. Он почувствовал внутреннюю скрытую дрожь, непонятную тоску и глубокую душевную горечь. «Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел», а может быть, это было нечто более серьезное и совсем не минутное, – Ильин в этом вопросе не разбирался, – но ему показалось невозможным расстаться с Марусей просто так, не выразив своей любви, не поведав о сердечном трепете своем и о тревожном волнующем беспокойстве. И он инстинктивно потянулся к ней губами, хотел обнять, поцеловать, забыть в ее объятиях обо всем, что беспокоило, волновало и мешало жить.

Но она отпрянула. Она оттолкнула его, и он отступил. Отступил, закрыв глаза, холодея от ужаса, как будто не просто прильнуть к ней хотел, а пытался сделать бог знает что. Только через несколько секунд овладел он собой и осмелился взглянуть на Марусю. Она стояла бледная и растерянная, с чуть-чуть приоткрытым ртом и, казалось, со страхом смотрела ему прямо в лицо. И с громадным недоумением не увидел Ильин в ее взгляде ни отвращения, ни ненависти, ни возмущения, ни негодования. Больше того, ему показалось – но разве могло это быть?! – ему показалось, что в Марусиных глазах светится нечто теплое-теплое, что в них проглядывает и неудержимая тяга к нему, и скрытая борьба с самой собой, и затаенный, но жадный, призыв.

– Марусенька! – тихо вскрикнул Ильин и рванулся к ней. Но она подняла обе руки на уровень груди и, как бы отталкивая его, не то проговорила, не то простонала:

– Не надо, Алешенька, не надо!

Ильин остановился, а Маруся скрылась за дверью и на прощание по-особому грустно, беспомощно и жалко улыбнулась ему.

Ильин растерялся. Закружилась голова, «закружились мечты, словно листья», прервалось на секунду дыхание. Машинально спустился он по лестнице вниз, вышел на двор, потом вернулся назад, позвонил. Маруся ему не открыла. Он позвонил еще раз. Маруся не ответила, Маруся не вышла.

А когда, кое-как пережив эту ночь, он снова явился к Марусе, ему сообщили, что она уехала на дачу к родителям.

И Ильин заскучал, затомился, затосковал. Несколько дней он бродил по Москве без какой бы то ни было цели, «топтал» мостовые, много раз побывал у Маруси, но ее не было, она с дачи не возвращалась.

И тогда, поразмыслив над своими страданиями, вспомнив о том, что и у него есть родители, Ильин перестал колебаться, плюнул на все и решил съездить в Тулу.

На Курском вокзале народу собралось невпроворот. Все жаждали уехать немедленно, но билеты оказались распроданными на несколько дней вперед. До Тулы, конечно, можно было добраться и местным поездом, но он уходил из Москвы только раз в день, по утрам, и шел вдвое дольше, чем скорый, а Алексею ждать не хотелось. Потолкавшись в толпе, осаждающей кассы, он убедился в зряшности хлопот и решил ехать зайцем, что в то время считалось несложным.

Покупать перронный билет Ильин тоже, конечно, не стал. Он вышел к поездам вместе с потоком пригородных пассажиров, обошел по путям вокруг маневрирующих составов и за несколько минут до отхода подошел к скорому, сочинскому.

– Браток, до Тулы доедем? – обратился он к проводнику одного из плацкартных вагонов.

– Доедем. Садитесь! Билет есть? – как бы не понимая, о чем идет речь, приветливо сказал проводник.

– С билетом я бы и спрашивать не стал, – ответил Ильин. – Ты меня так довези, без билета! Я заплачу!

– А почему же?.. Нешто в кассе билетов нет?

– Ни одного! А мне срочно надо... Довези как-нибудь! Здесь и дороги-то... четыре часа... Довези! В обиде не будешь!

– Да я-то не против. А как контролер пойдет?!. Тогда что?

– А ничего!.. Во-первых, контроль на этих перегонах не ходит – слишком близко, а во-вторых, если пойдет, скажу, что сел сам, проводник-де меня не видал... Да и вообще-то, чего контролер сделать может? Ну, высадит в Туле, а дальше мне и не надо; ну, оштрафует: я – студент, с меня взятки гладки, штрафа не взыщешь.

– Ладно, садись! Только в вагоне все места заняты, в проходе как-нибудь примоститься придется.

– Примощусь!.. У меня отец – машинист паровоза. Я порядки-то как-нибудь знаю.

Ильин вошел в вагон. Сначала он по-честному поместился в проходе и долго смотрел в окно на несущиеся мимо пригороды и дачные поселки, потом это занятие ему надоело, и он повернулся. В крайнем купе, совсем близко от него, женщина средних лет, одетая по самой последней моде, безуспешно пыталась поставить чемодан на третью полку. Видно было, что она напрягала все силы, но ее старания пропадали даром: поднятый до половины нужной высоты тяжелый чемодан неизменно оказывался внизу, а женщина тихонько ахала и, немного передохнув, начинала попытку сначала.

Ильин немедленно поспешил ей на помощь:

– Позвольте, я вам помогу!.. Смотрите, как просто: р-раз, и – готово!

– Я даже не знаю, как вас благодарить, – дотронулась до его руки женщина. – Муж хотел сам его положить, а я не позволила. Надо было кое-что вынуть.

– Какой муж? – с недоумением спросил Ильин. – Вы разве не одна едете?

– Еду одна, муж меня провожал. Видали – военный, три шпалы?

– Это – муж?!. А я думал, что сын... больно молод для мужа! – наивно признался Ильин, но заметив, что дама нахмурилась, поспешно добавил: – Впрочем, не знаю, может быть, я ошибаюсь... Простите меня за бестактность!.. Простите, пожалуйста!

– Ну, что вы! Это совсем не бестактность! Он же действительно молод! – испорченное настроение женщины начало потихоньку улучшаться. – Вы правду сказали!

– Нет!.. Простите меня!.. А почему же он с вами не едет? Позвольте, я кажется... снова...

– Что вы!.. Он занят. Учения разные!.. Не отпускают его... Вот и еду одна.

– В Сочи?.. Извините за любопытство!

– Да ну, любопытство! Обыкновенный вопрос. Да, в Сочи, конечно. На отдых, месяца на два, а потом опять на работу... Я – преподаватель французского языка в военной академии. Там и с мужем своим познакомилась... У нас это просто повально! – вдруг разоткровенничалась она. – Все преподавательницы выходят замуж за курсантов... Они теперь обеспеченные... А академию кончат – будет совсем хорошо.

«Опытная совратительница!» – подумал Ильин и ясно представил себе, как она приглядывается к курсантам и, ничего абсолютно не чувствуя, выбирает подходящий объект. Она считает, что быть за военным – прекрасно. Обмундирование даром, квартира, паек. Глядь-поглядь, академию кончит, а там – повышение!.. Значит, надо ловить, отбивать у жены, хватать, пока не упустила. Она помнит одиннадцатую заповедь – «не зевай!» – и действует энергично. Так ведь и немного для этого надо... Люди молодые, здоровые, живут, как правило, одни. Улыбнись ему несколько раз: «Не так-де вы отвечаете. Вам, видно, трудно дается!» Затем предложи бескорыстно помочь, пригласи к себе на дом... Вот и все! Пирожочек испекся!»

Она этого не говорила, но Алексей понимал и без слов.

– А не боитесь вы, – неожиданно для себя спросил вдруг Ильин и сел рядом с ней на скамью. – Не боитесь вы, что выйдет ваш военный в большие люди, а его в один прекрасный день чик-чирик, как Тухачевского или Якира?

– Не говорите об этих подонках, – томно закатила глаза пассажирка. – Мой муж – коммунист настоящий, а все эти тухачевские да якиры – предатели. Родину продали.

– А за сколько, мадам? – послышался вдруг иронический голос из соседнего отделения, и вслед за тем в купе появился сильно тронутый сединой человек. – Вы так хорошо осведомлены, мадам, о состоявшейся сделке, что наверняка знаете, сколько получил Якир за проданную Родину... Может быть, нам сообщите?

– Позвольте... Кто вы такой? Почему вы вторгаетесь в наш разговор?

– Кто я такой?.. Петухов... Степан Владимирович... Начальник кафедры военного дела Орловского педагогического института... Какие еще сведения обо мне вас интересуют?

В глазах пассажирки промелькнули хищные огоньки.

– Зачем такой тон, Степан Владимирович, – примирительно заговорила она. – Можно подумать, что вы защищаете изменников Родины. Вы, может быть, не верите, что Тухачевский, Якир, Уборевич и прочие – предатели и шпионы?

Петухов покраснел.

– Не верю, мадам, – резко ответил он. – Я Иону Эммануиловича Якира как самого себя знаю. В гражданскую войну на Дону вместе сражались, Краснова громили, Лиски брали, а потом и на поляков ходили. Я в 45-й стрелковой дивизии, с вашего разрешения, полком командовал... Мне ли Якира не знать?! Не мог он изменником быть. Голову на отсечение даю...

– По-вашему выходит – зря их всех расстреляли?! Рискованное утверждение, скажу я вам! – ощетинилась преподавательница и вызывающе-вопросительно посмотрела на Ильина.

– Я не знаю... – замялся Алеша, вспомнив Марусиного мужа, – кто их там разберет... Но ошибки могут ведь быть.

– Ах, вот как! Ошибки!

В тоне женщины послышалась чуть уловимая угроза. Она замолчала, затем достала из сумочки зеркальце и начала поправлять крашеные волосы.

– Рискованное утверждение, – в тон ей передразнил Петухов. – В наше время рискованно все... Человеком рискованно быть... Жить рискованно!

Он круто повернулся и ушел к себе.

– Вы с ним в одном институте работаете? – выдержав длительную паузу, спросила пассажирка у Ильина. – Почему у вас такое странное единство взглядов?

– Я его совершенно не знаю, – ответил Алеша. – Ни его не знаю, ни его взглядов... И вообще я не из Орла, я из Тулы... а учусь в Московском университете, на биофаке.

– Ах, как это интересно, – воскликнула она, всплеснув руками. – Давайте знакомиться. Мария Николаевна Рябинина. А вы?

– А я Ильин, Алексей Андреевич... Еду домой, на побывку.

Мария Николаевна Ильину не понравилась. И самый облик ее – молодящейся женщины, и неестественная манера всплескивать руками, и закатывание глаз, и наивно-циничная откровенность в разговоре о выгодах быть женою военного внушали Алексею чувство брезгливости, но уходить из ее купе он не хотел. Уйти – значило вновь оказаться в проходе, стоять на ногах и чувствовать на себе вопрошающие взгляды пассажиров, а здесь, возле нее, он был отовсюду прикрыт и, кроме того, не стоял, а сидел. И он не ушел, а нарочно затеял с Рябининой длительный разговор и постарался тянуть его как можно дольше.

Рябинина, судя по ее рассказам, была дочерью царского генерала, убитого на фронте в конце империалистической войны. Детство ее прошло в обстановке богатого аристократического дома, в котором няньки и бонны считались необходимой принадлежностью. Одна из них – немолодая и достаточно образованная гувернантка, mademoiselle Janette, научила ее в совершенстве говорить по-французски. И это ей впоследствии очень пригодилось.

После революции Мария Николаевна хлебнула много горя. Она испытала и нужду, и голод, и притеснения, и научилась ценить материальное благополучие превыше всего.

– Последнюю рубашку отдать – только богатой быть! – шутя, но в то же время серьезно изрекала она.

Теперь она нашла свой идеал. Командир полка оказался очень податливым. Он женился на ней, зарегистрировал брак, и Мария Николаевна ехала в Сочи праздновать сказочную викторию. Вообще говоря, она принадлежала к разряду очень общительных женщин, быстро перезнакомилась со всеми соседями по вагону и, вытащив маленькую записную книжку, тщательно записала адреса своих новых знакомых.

До Тулы оставалось больше часа езды, когда Мария Николаевна пожелала прилечь, и Ильин, спасаясь от стояния в проходе, пересилил свою нерешительность и обратился к Петухову с просьбой рассказать про находящийся в Орле Тургеневский музей.

Степан Владимирович согласился охотно. Историк по образованию, весьма благожелательно относящийся к молодым, широко образованный и эрудированный марксист, с прекрасно отлаженной речью, он так интересно говорил о Тургеневе, связывая его жизнь и творчество с историей России XIX века, что, когда поезд прибыл в Тулу, Ильину не захотелось выходить.

– Черт возьми! – воскликнул он, не скрывая досады. – Когда же мы успели приехать?! Прямо, хоть не слезай... хочется дальше послушать.

– Ничего, Алексей Андреевич, – успокоил его Петухов. – Соберитесь как-нибудь на досуге, да приезжайте в Орел. И музей посмотрите, и в гостях у меня побываете. Я вас с женой познакомлю. Она такая душевная, гостеприимная. Посидим, побеседуем. И о Тургеневе все доскажу. Приезжайте-ка, правда... Запишите мой адрес!

Ильин записал и заторопился к выходу. В тамбуре его встретил проводник и тихонько напомнил:

– Вы обещалися мне заплатить...

– Как же, как же, – ответил Ильин, и сунул ему в руку десятирублевку. – Нате, возьмите!

– Маленько прибавить бы надо! – поглядел на бумажку проводник, но, увидев удивленное лицо Ильина, поспешно добавил: – Ладно, ладно! Чего говорить!.. Назад поедете, может, опять ко мне попадете – билета тогда не берите, так довезу... Счастливо вам до места добраться!

VIII

Радость свидания с родными не заслонила от Ильина горечь разлуки с Марусей. Он не помнил, как это случилось, когда он успел так увлечься. Маруся нравилась ему, конечно, и раньше, но он никогда не думал, что простое «нравится» может перерасти во всепоглощающую любовь.

Стремясь заглушить в себе голос природы, он сразу по приезде в Тулу с головой окунулся в местные дела и интересы. Он помогал матери по хозяйству, заготовлял на зиму дрова, ухаживал за садом и огородом, встречался с ребятами из литкружка, ходил на его заседания, посещал редакцию газеты, участвовал в экскурсиях в Ясную Поляну и подговорил ребят съездить в Орел. Последнее далось нелегко: ни сам литкружок, ни его члены средств не имели, а поездка грозила въехать в копеечку. Долго ходили кружковцы к редактору тульской газеты. Тот сначала и слышать ничего не хотел:

– Что?! Деньги на экскурсию отпустить?! А за какие шиши? Нет у нас средств на такие дела, газета ведь не собес!.. Хотите ехать в Орел – поезжайте, я не возражаю... хоть в Сочи!.. Но при чем тут газета?!

Его убеждали:

– Как при чем?.. Что вы такое говорите?! Литературный кружок теперь состоит при редакции. Вы обязаны заботиться и о газете, и о кружке. Вы же знаете, какой у нас год? Тысяча девятьсот тридцать седьмой! В этом году исполнилось 75 лет со дня появления «Отцов и детей», 70 лет со времени опубликования «Дыма», 60 лет стукнуло роману «Новь»!.. Вы помните «Новь»? Помните, как там прекрасно описано революционное движение 70-х годов, как правдиво обрисованы народники и крушение их идеалов?.. Владимир Ильич Ленин называл Тургенева «знаменитым русским писателем». Каждая советская газета обязана отметить эти юбилейные даты... Дайте нам денег, мы съездим в Орел. Орел – родина Тургенева. Мы побываем в Тургеневском музее и коллективно напишем об Иване Сергеевиче хорошую-хорошую статью. А гонорар зачислим в оплату поездки.

Последняя мысль редактору понравилась. Он подумал и сменил гнев на милость:

– Ну, ладно! Уговорили!.. Не только – не статью! На одной статье далеко не уедешь!.. Давайте посвятим Тургеневу очередную «Литературную страницу»... Позовите ко мне бухгалтера!

Делать так делать! Редактор не только выдал кружковцам аванс, но и позвонил в Орел, попросил редакцию «Орловской правды» оказать им «всяческое содействие». Орловцы любезно обещали.

И вот экскурсия побывала в Орле. Ребята прошли по всем комнатам небольшого музея. «Нет, не производит он впечатления, остающегося, скажем, от Ясной Поляны! Во-первых, и дом не тот – Тургенев в нем никогда не жил, и мебель не полностью та – на этой кровати, к примеру сказать, Иван Сергеевич почивать не изволил.

Конечно – часы, шахматный столик, одеяло, икона, диван «Самосон» («Как только ляжешь на него, так и засыпаешь», – писал Тургенев), но, откровенно говоря, диван из Ясной – тот самый, на котором родился Толстой – сердцам молодых говорит много больше. Во-вторых, не дает музей представления о

повседневной, живой, человеческой жизни писателя. Нет в нем теплоты, интимности, душевности, охватывающих вас при посещении других мемориально-бытовых музеев страны... Книги, книги, книги, без конца и без края, книги на семи языках... библиотека Белинского, комната Фета...»

Конечно, – Ильин это помнит! – Тургенев – другой человек. Он не Лев Толстой, не Пушкин и не Кольцов. Он жил бобылем, семьи не имел и много скитался по белому свету. «Разве мог он жить на толстовский манер? Разве могла Полина Виардо уподобиться, к примеру сказать, Софье Андреевне или хотя бы молодой и ветреной Наталье Николаевне? Мог ли Тургенев свить с ней свое, настоящее, родное гнездо?..»

Впрочем, не все думают одинаково. У Ильина впечатление небольшое, а Кирьянов и Мельников просто в восторге. Они утверждают, что посещение Тургеневского музея расширило их горизонты, что они много-много узнали и многому тут научились.

– С тургеневским бытом нужно знакомиться не здесь, а в Спасском-Лутовинове, – резонно изрекает Пучков. – Будет время, и там откроют музей, вот тогда и посмотрим.

«Пучков прав, – про себя замечает Ильин. – Жаль, очень жаль, что в Спасском-Лутовинове усадьба Тургенева фактически не сохранилась».

Хотели ребята для полноты впечатления посмотреть Бежин луг, Кобылий верх или Парахинские кусты, но оказалось, что дело это весьма «времяломное» (как выразился некогда Герцен), и пришлось им свои затеи отставить. Вместо этого орловские хозяева организовали им встречу с местными литкружковцами. Существовали, оказывается, и такие!

Рандеву состоялось в городской библиотеке, что на Ленинской улице, возле моста через Орлик. Орловские прозаики – Леонов, Петрищев, Лопатин, Гергенредер, Головин, поэты Владимиров, Орешкин, Петрушин, Архангельская – все оказались людьми симпатичными, милыми и благожелательными. Правда – из песни слова не выкинешь! – темы их творчества тулякам показались слегка устарелыми. Как-никак, шел тридцать седьмой, кончалась вторая пятилетка, а орловцы все еще вдохновлялись первым периодом революции и событиями гражданской войны, писали про юнкеров, про японцев, про белых офицеров, и делали это нисколько не лучше, чем былые «попутчики».

Из всего услышанного при встрече Ильину понравились только лирические стихотворения Ольги Архангельской.

Она их читала с большой выразительностью:

Мы совсем не ждали этой встречи.
Свежестью тянуло от реки,
Яблони рассыпали на плечи
Светлые тугие лепестки...

Но совсем по-другому воспринял он творчество Петрушина, который в очень слабых стихах восхвалял Сталина и называл его «потомком Прометея».

...Но Кавказ, где Прометей страдал,
Дал для мира нового титана,
Мудрого вождя и капитана,
Всемогущего героя дал!

Орловцев благодарил староста тульских экскурсантов Родион Николаевич Зорин. Он без удержу хвалил стихотворение Петрушина, но туляки недовольно зашумели, а Ильин отрицательно покачал головой. Увидев это, Зорин перестроился на ходу, заявил, что излагал свое личное мнение, что товарищи с ним, по всей вероятности, не согласятся, и что член их кружка, товарищ Ильин, скажет об этом более подробно.

Захваченный врасплох Алеша не стал возражать. Чувствуя, как забилось от волнения сердце, он выступил и совершенно откровенно высказал все, что думал о зачитанных виршах. В зале, когда он говорил, стало тихо-тихо. Ребята молчали.

Выкроив время, Ильин забежал к Петухову. Но Степана Владимировича дома не оказалось. Жена и восьмилетняя дочь Петухова, Светлана, встретили Ильина не очень любезно. К себе не позвали, садиться не пригласили. Разговор велся через порог открытой двери.

– Нет, его нет дома... Нет, сегодня не будет... Не могу вам сказать, когда он вернется...

Ильин недоумевал: тогда в поезде, приглашая его в гости, Петухов говорил о жене: «Такая душевная, гостеприимная».

– Ничего себе – гостеприимная! Даже зайти не дала!

Положение разъяснилось только на улице. Соседский мальчишка, завидя Ильина, вынул изо рта палец и серьезно спросил:

– А вы к Светкиному папе ходили?.. А его заблали!.. Он тепель влаг налода.

И Ильин задрожал: «Вот, значит, как! Вот почему Петухов заступился тогда за Якира. Все они – заодно! Но все-таки какой человек! Такой образованный, умный, и вдруг – с врагами! Черт знает, чего им всем надо! Чего не хватает! Жили бы, как все люди живут, так ведь нет: лезут и лезут... И это само по себе еще раз подтверждает гениальность товарища Сталина, незаурядность его ума, проницательность и дальновидность! Предупреждал же он на февральско-мартовском пленуме о неизбежном обострении классовой борьбы, о необходимости повышать бдительность и быть начеку! И – вот, вот!..»

У Ильина перехватило дыхание. Если бы кто-нибудь знал, как велико было в этот момент его восхищение мудростью Сталина! «Такие люди рождаются раз в тысячелетие! Какими пигмеями кажутся по сравнению с ним все остальные!»

И почудилось Алеше, что если бы потребовали у него отдать свою жизнь за товарища Сталина, сказали бы: «Твоя жизнь нужна для того, чтобы он был здоров. Умри за него!» – и Алеша, не дрогнув, умер бы, умер с радостью и умилением.

Мысли о любви и преданности сразу перенесли его в Москву, на лестничную площадку перед дверью Марусиной квартиры. «Где она? Где? Почему не отвечает на мои письма? Почему молчит? Неужели все еще сердится за мою несуразную вольность?» Нет, не Сталина, не мать, не отца, не сестер и не братьев, а Марусю, одну лишь Марусю, любит Ильин. «Зачем я уехал, зачем лишился возможности встретиться с ней? Неужели не мог побороть проклятой своей нерешительности, не мог ее разыскать, поехать на дачу, подкараулить у калитки их сада? Никогда не прощу я себе этой глупости. Надо немедленно ехать домой, в Тулу, позвонить оттуда по телефону в Москву, вызвать Марусю, и – вернуться к ней...»

Но не успел он довести мысль свою до конца, как снова появилось сомнение. «А если Маруся этого не захочет?!.»

– Все равно надо уезжать, – решил все-таки он. – В Орле делать больше нечего, а через две с половиной недели – начало учебного года.

Теперь Ильин не понимал, как мог он прожить столько времени, не встречаясь с Марусей. Ведь где бы он ни был, чем бы ни занимался, ее образ неизменно следовал за ним. Он вспоминал ее, смущенную и растерянную, с теплыми, ласковыми глазами, с грустной, беспомощной и жалкой улыбкой на бледном лице. И вспоминания лишали покоя.

IX

Попытка связаться с Марусей по телефону успеха не имела. Ильин, вернувшись в Тулу, сразу же пошел на телефонную станцию, заказал срочный разговор с

Москвой, заплатил за предварительный вызов по телеграфу и целые сутки мучительно ждал. Но все оказалось напрасным. Маруся не пришла.

– Ваш абонент не явился, – сказала ему телефонистка, и Ильину показалось, что его ударили обухом по голове.

Не видя дороги, вышел он из телефонки на улицу Коммунаров и медленно побрел вверх. Он не подумал, что Маруся могла не получить его вызов, что вызов вручили соседям или просто бросили в ящик на двери. Он не подумал, что Маруси вообще могло не оказаться в Москве. Ему казалось, что телеграмма с приглашением к телефону обеспечивает безусловную явку, и если Маруся, несмотря на нее, не пришла, значит – она сердится на него и знать его не хочет.

– Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей, –

бормотал он себе под нос строчки из Пушкина.

– Алексей Андреевич! Да ты никак сам с собой разговаривать начал, – окликнул его кто-то из встречных. – Что это с тобой приключилось?

Ильин остановился. Перед ним в маленькой узбекской тюбетейке, расшитой шелком и золотой канителью, с «Лейкой» на узком кожаном ремешке через плечо, стоял член центрального литературного кружка города Тулы Константин Васильевич Пучков. Костя два года назад окончил среднюю школу, но в ВУЗ из-за своего непролетарского происхождения не попал. Отец его владел в былые времена бакалейной лавочкой, и сыну теперь приходилось сторицей платить за родительский грех. В средней школе Костя учился прекрасно, носил домой только пятерки, но двери ВУЗа перед ним не открылись. Другой бы затосковал и возненавидел весь свет после такого потрясения, а Костя отнесся к нему философически. Парень он был предприимчивый и чертовски способный; подумал немного и решил: «надо в люди идти!» И – пошел. Сфотографировал на тульском стадионе во время всероссийских велосипедных состязаний несколько острых моментов, написал к ним остроумные объяснения и поехал в Москву. Пришел в одну газету, в другую: «Не нужен ли в Туле собкор? Я – человек не капризный, согласен на минимальнейший фикс. А работа – вот, налицо, смотрите и удивляйтесь!»

В редакциях смотрели, удивлялись, хвалили, но на штатную должность не брали. Костя не унывал и продолжал ходить. И все-таки выходил: в Тулу вернулся собственным корреспондентом двух маленьких еженедельных газет. И хотя фиксированные ставки, установленные ему, были очень малы, Константин ликовал: теперь его корреспонденции печатались почти в каждом номере, и гонорар за них давал ему возможность жить «не хуже других».

– Ну, что ты на меня уставился? Не узнаешь, что ли? – весело продолжал Пучков. – Давай! Проснись!

– Да я ведь не сплю, – ответил Ильин. – И что тебе надо? Куда ты несешься?..

– Как куда?! В гостиницу. К Чижевскому.

– К какому Чижевскому? Кто он такой?

– Вот тебе на! – удивился Пучков. – Да ты с неба, что ли, свалился? Чижевского не знаешь! Он – представитель Союза писателей, приехал в Тулу организовывать литературное движение и очень, между прочим, обрадовался, узнав о существовании нашего кружка. Он уже побывал и в редакции, и в горкоме, а теперь знакомится с каждым из нас персонально. Я ему все наши рукописи из редакции приволок. Пять уже дней как читает. Твою новеллу хвалил, говорит – «здорово сделано!» Да как же ты про это не знаешь? Ведь на последнем кружке только об этом и говорили.

– Я последний раз не был, дома мамины именины справляли, – извиняющимся тоном сказал Ильин. – А не брешешь ты все, Константин Васильевич? Я ж тебя знаю!

– Крест святой, правда! – побожился Пучков. – Да ты чего сомневаешься? Очень нужно мне врать! Пойдем-ка со мной – сам увидишь. Чижевский в гостинице, в номере. Мы там с ним часочек посидим, поговорим, чайку попьем. Впрочем, он предпочитает пиво. Если лишние есть – можешь его угостить. Не откажется.

– Ладно, пойдем. Все равно, делать нечего... Я сейчас взбудоражен, писать не смогу... Так и быть... топаем к Чижевскому. Посмотрим, что он за птица.

Ильин повернул и пошел вместе с Пучковым в гостиницу.

Они застали Чижевского лежащим на кровати поверх одеяла. В небольшом, одноместном номере чувствительно пахло перегаром. На столе и под столом стояли пустые пивные и водочные бутылки. Чижевский был явно на взводе, но мысли его работали четко.

– А! Молодое поколение! – встретил он Ильина и Пучкова, поднимаясь с кровати. – Входите, входите, не стесняйтесь!.. С кем честь имею?.. – повернул он голову в сторону Ильина. – Ильин?!. Тот самый! Понятно, понятно... Читал я вашу новеллу, читал. Схематично, конечно, но – хорошо! Подредактируем малость и будем печатать!.. Конечно – печатать!.. Что еще принесли?.. Как ничего?.. Да вы что?! Смеетесь?.. Надо писать, мои милые, обязательно надо писать!.. Ряды советских писателей редеют... Время такое... Мы чистим, и чистим, и чистим. На каждом заседании только исключаем, исключаем и исключаем... Смена нужна! Давайте смену! Давайте новое, молодое, преданное! Классовая борьба обостряется. Старые писатели ненадежны. Иван Катаев, Бабель, Пильняк – все оказались врагами народа. Меня Фадеев послал: «Поезжай, поищи!» И вот я нашел, да, нашел!.. Давайте книги, мы будем печатать. Новые имена в литературе... подумать только! Алексей Ильин, Константин Пучков!.. Неплохо звучит? Ну-ка, скажите... – Чижевский поперхнулся и, ухватив со стола пустую бутылку, попробовал налить из нее в стоящий тут же нечистый, замызганный стакан. Его усилия оказались тщетными.

Пить хочется! – заглядывая в бутылку, настойчивым тоном продолжал он. – И денег нет... Опоздал получить по переводу... Вот напасть какая!.. Алексей Андреевич, Константин Васильевич, неужели вы пить не хотите? Сходите, пожалуйста, в ресторан, принесите пивка, на мою долю бутылочки три, деньги я вам завтра отдам... Получу по переводу и отдам... Перевод – вот он... тут где-то.

Чижевский вынул бумажник и начал в нем что-то искать.

– Не он, опять не он... Куда я его заложил?!. Впрочем, неважно, выдадут так... Сходите, молодые люди, принесите пивка! Ресторан здесь, внизу.

Пучков незаметно подтолкнул Ильина ногой и иронически показал глазами на дверь, но Ильин и не думал бежать. Он счел неучтивым отказывать в просьбе писателю. Кроме того, Чижевский много болтал, а ведь не зря говорят: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

«Может, действительно, он напечатает нас? Его сам Фадеев послал! Вон у него что за связи!»

– Пойдем, Константин, принесем, – промолвил Ильин, поднимаясь со стула. – Ты – как хочешь, а я на три бутылки могу разориться... Давайте посуду в обмен! – сказал он Чижевскому. – Мы сейчас сходим.

Пучков молча последовал за Ильиным и, к его удивлению, вызвался заплатить за пиво сам.

– Я его уже трижды поил, – махнул он рукой, – а он все никак перевод не найдет. Тем не менее – интересно! То, что он из Союза писателей – факт. При мне

документы показывал... Но пьяница – жуткий! Откуда их, алкоголиков, только берут?!

Когда появилось пиво, Чижевский заметно оживился. Один стакан он осушил залпом, от второго стал отпивать понемногу. И все рассказывал о положении в Союзе писателей, о засоренности его врагами народа, сыпал именами и фамилиями исключенных; некоторые из них – Леопольд Авербах, Воронский, Киршон – были известны ребятам и раньше.

Выбрав подходящий момент, Ильин и Пучков попросили Чижевского дать оценку их творчеству. Тот согласился, вытащил рукописи из-под матраца – как оказалось, он их туда положил, чтоб изголовье стало повыше! – и приступил к критическому разбору. Говорил Чижевский с апломбом, непререкаемым, менторским тоном, но ребятам казалось, что он весьма субъективен, а его утверждения спорны. Однако было приятно, что все это «годно к печати», и они принимали всерьез обещание – выпустить сборник тульских рассказов и повестей.

Ильин отвлекся от тягостных дум, забыл, что Чижевский под мухой, и в разговоре признался, что очень хотел бы стать настоящим писателем, хотя и учится на биофаке.

– Вы всю жизнь живете с нелюбимой женой – биологией, в то время как очаровательная любовница – литература владеет всем вашим сердцем и помыслами, – высокопарно сострил Чижевский и снова налил себе пива.

Ребята ушли от него очень поздно, трамваи уже не ходили, и Алеша пешочком поплелся домой. Его мрачные мысли на людях развеялись, но как только он распрощался с Пучковым, образ Маруси вновь завладел его мыслями, и Алеша – обычно колеблющийся и несмелый – сразу решил: «Завтра же уеду в Москву, без Маруси я жить не могу».

Принятое решение воодушевило его. Он прибавил шаг. «Сейчас же, ночью, соберу свое бельишко, запакую чемодан, а завтра утром – поминайте, как звали! Хватит болтаться здесь, в Туле! Пожил, и будет!»

Вдали показался дом Ильиных, и Алеша с трепетом остановился: дом был освещен. «Что это значит? Уж не случилось ли чего?»

Дома его встретили три человека в форме работников НКВД.

– Ильин?.. Алексей Андреевич?.. Год рождения?.. Вы арестованы!.. Собирайтесь, поедете с нами!

– А в чем дело? За что вы меня берете? Я же, кажется, ничего такого не делал? – пробовал спрашивать Ильин.

– Ничего не могу вам сказать, Алексей Андреевич. Там все узнаете, там все и выяснится. Собирайтесь, пожалуйста, поскорее! Мы вас и так долго ждали... Ремень, нож, кошелек не берите. Вам их там все равно не дадут...

Трясущимися руками собрал Ильин кое-что из белья и одежды и, по совету энкаведешника, уложил собранные вещи не в чемодан, а в подушечную наволочку.

Плачущая мать перекрестила его на дорогу и сунула ему пакетик сухарей и пачку сахара. Братья и сестры не скрывали охватившего их ужаса, младшие плакали. Отца не было дома: он находился в рейсе.

Алексей попрощался, поцеловал ребятишек, поцеловал мать, сказал ей несколько утешительных слов. Хотел идти.

Начальник тройки остановил его:

– Подпишите сначала протокол обыска! Вот, видите: «Изъята разная переписка». Подписывайте здесь! Так, хорошо. Теперь пошли!

Ильин вышел на улицу. Его посадили в бесшумно подъехавшую легковую машину и увезли.

X

Дело Северцева рассматривалось сначала на бюро. Александр Васильевич явился точно в назначенный срок, подтянутый, выбритый, в чистом подворотничке. Он вошел в кабинет секретаря ячейки, куда собирались участники заседания, и сел в сторонке, около стены. На душе у него было скверно.

Сколько раз в этом самом кабинете он, будучи членом бюро, высказывался по персональным делам, требуя от членов партии, в чем-нибудь провинившихся, абсолютной чистоты и правдивости, сколько горьких и убедительных обвинений в двурушничестве и неоткровенности сформулировал он здесь, разбирая дела товарищей, в семьях которых обнаруживались враги народа! И вдруг он сам – он, Северцев Александр Васильевич! – сидит не за главным столом, приставленным ножкой от «т» к письменному столу секретаря, а где-то в сторонке, у стены, и ждет разбора своего собственного персонального дела.

«Что сделал я? Чем согрешил перед партией? Чем согрешил перед вождем всего прогрессивного человечества, товарищем Сталиным, портрет которого висит как раз напротив меня? Разве виноват я, Северцев, что муж моей дочери оказался врагом народа?..» Который раз задает он себе этот вопрос и, чувствуя в глубине души полную невиновность, со злостью и яростью глушит в себе этот внутренний человеческий голос и, бичуя себя ходячими, трафаретными фразами, почерпнутыми из газет, сам себе отвечает: «Да, виноват!»

«Да, виноват! Виноват в том, что потерял бдительность и не распознал врага в своем собственном доме, в том, что не заподозрил его с первого же раза, в том, что считал Моргунова своим человеком, любил его даже, и радовался за дочь. Больше того, я виноват – жестоко виноват! – в том, что не смог добиться от дочери отказа от мужа-врага, в том, что пожалел ее, и увидев, насколько мучителен ей такой разговор, не попытался повторить его вновь».

Северцев объективен и справедлив. Он представляет себе, как отнесся бы сам к любому другому, с кем произошел бы такой же казус, как с ним, и предъявляет к себе такие же требования. «Но насколько проще и спокойней разбирать чужие дела: при них никогда не бывает этой несносной внутренней дрожи».

– Александру Василичу – здравствуй! – подходит к нему вошедший в комнату начальник спецотдела, Пономаренко. – Папиросы есть?.. Дай закурить!

Северцев молча достает портсигар. Руки у него ходят ходуном, как у дряхлой старухи. Пономаренко сразу замечает его волнение. – Не трусись, ну тебя в болото! – говорит он. – Ничего с тобой не будет. Я сегодня там был, – Пономаренко произносит слово «там» с особым выражением. – У нас, – говорят, – на него нет никаких материалов... Честное комсомольское – правда! С места не сойти!

– Прошу садиться! – раздается голос секретаря партячейки. – Пора начинать! На повестке дня один вопрос – персональное дело члена нашего бюро, Александра Васильевича Северцева. Какие соображения будут?.. Других предложений нет?.. Принято единогласно... Товарищ Северцев, пересядьте поближе! Сюда, за стол! Вы же пока член бюро!

Начинается заседание. Секретарь зачитывает заявление Северцева и предоставляет ему слово для объяснения.

Северцев встает. Он повторяет написанное, и кается, и казнится. Он обвиняет себя в гнилом либерализме и беспочвенном благодушии; говорит, что такие люди, как он, льют воду на мельницу врагов народа, что он примиренец, маниловец и утративший классовое чутье, растерявшийся хлюпик.

Северцев никогда не читал произведений Захер-Мазоха, он даже не слышал о них, но он – мазохист. Он очень несчастен сейчас, но если бы били его, терзали и истязали, ему стало бы легче.

Греха таить нечего, Северцев шел на бюро со страхом, но и с надеждой. Он мечтал, что товарищи разубедят его в серьезности его прегрешений, что они выслушают его, поговорят и вынесут хорошее, человеческое решение, которое позволит ему смотреть на мир открытыми глазами, никого не стыдясь и не чувствуя себя виноватым. Да, именно на это надеялся он в глубине своей грубой, топором вырубленной души. Но такие чувства испытывал он только до прихода сюда. Теперь же, здесь, в ожидании страшного суда над собой, глядя на портрет Сталина на стене и на большой, желтоватый гипсовый бюст его на столе секретаря партячейки, Северцев испытывает неподдельный ужас перед глубиной своего мнимого падения. Он хочет быть честным, правдивым и откровенным, и надежды на благополучный исход кажутся ему недостойными совести настоящего большевика. Он жаждет искупления за свои грешные мысли, жаждет возмездия. Он не хочет, чтобы его жалели и прощали, он понял, что нет и не может быть ему никакого прощения. И, горестно каясь, он сам предлагает членам бюро обсудить вопрос о возможности оставить его в рядах ВКП(б).

Когда Северцев выступал, мертвое молчание стояло в кабинете. Он кончил, сел, вытер со лба струйками льющийся пот, а молчание все еще продолжалось. И внезапно оно нарушилось высоким, растерянным выкриком единственной в составе бюро женщины – заведующей фондовой библиотекой:

– Господи, да ведь это же – бред!.. Что у него – не все дома, что ли?

Возглас породил эхо. Члены бюро заговорили, заспорили. Секретарь постучал карандашей по графину:

– Тише, товарищи, тише, давайте по порядку. У кого какие вопросы к товарищу Северцеву?.. Вопросы есть?

Есть вопросы, есть! Конечно, есть. Их много. Члены бюро интересуются, за что осужден муж его дочери, почему Северцев обвиняет себя, знал ли он раньше о преступлениях зятя, были ли с ним у него политические, идейные и организационные связи, в чем они выражались.

– Как так? Зять до самого ареста состоял членом партии?.. И не исключался?.. И арестовали – с партбилетом в кармане?.. Верно ли это?.. И вы, действительно, не только тогда, но и сейчас, не знаете, за что его посадили?.. Как же это может быть?.. И никаких связей, кроме бытовой, у вас с ним никогда не было?!. Странно, странно... «Свежо предание, а вертится кругом»?.. Ну, хорошо. Допустим, что все сказанное здесь – безусловная правда. Тогда в чем же вы виноваты? Объясните конкретно! Членам бюро ваше выступление непонятно.

И Северцев вновь и вновь отвечает на заданные вопросы. Вновь и вновь он кается и бичует себя, и пытается доказать свою собственную вину, но чем больше он говорит, тем меньше его понимают.

Стоит шум. Секретарь партбюро то и дело стучит по графину. Выявились разные точки зрения. Одни защищают Северцева от него самого, другие считают его двурушником и требуют немедленного исключения из партии.

Большое впечатление производит выступление начальника спецотдела учреждения, члена партбюро товарища Пономаренко. Напомнив о том, что назначение Северцева на должность начальника штаба охраны согласовывалось с соответствующими органами, он довольно прозрачно намекает на свои попытки связаться с ними по вопросу о Северцеве и на полученные в результате этих попыток сведения об отсутствии в НКВД каких-либо материалов, компрометирующих его.

– Я считаю, товарищи, – говорит Пономаренко, – что Северцев чрезмерно строго подходит к себе самому. Такая высокая требовательность к личной незапятнанности делает ему честь, показывает его высокую сознательность и преданность партии, но мы, глядящие на его дело со стороны, должны быть более объективны. Мы должны сказать, что Александр Васильевич ни в чем не виноват,

и пожелать ему, в его последующей работе, оставаться таким же честным, чистым и требовательным к себе.

– Я не согласен с товарищем Пономаренко, – говорит другой член бюро, – то, что мы сейчас слышали от Северцева, совсем не свидетельствует об его сознательности и преданности делу партии, это скорее крик запутавшегося в своих антисоветских связях, боящегося разоблачения путаника-разложенца. Если бы мы послушались товарища Пономаренко и вынесли решение о полной невиновности Северцева, мы совершили бы грубую политическую ошибку. Нельзя принимать таких резолюций. Нельзя забывать, что мы живем в условиях капиталистического окружения, что обостряющаяся классовая борьба внутри страны протягивается, как сказал товарищ Сталин, своим вторым концом в пределы окружающих нас буржуазных государств. Случай с Северцевым – типичное отражение этого большого процесса в маленьком зеркале нашего учреждения. Ярким доказательством сказанного выше является факт умышленной задержки Северцевым сообщения об аресте зятя. Товарищи, не забывайте, ведь он сообщил нам об этом почти через год!.. Вы скажете, что это быт? Да, быт, бытовое разложение. И за это мы должны его наказать. Как нам следует поступить? Это надо обдумать. Учитывая сведения, полученные товарищем Пономаренко, я считаю, что мы можем пока что не исключать Северцева из наших рядов; я предлагаю ограничиться на этот раз строгим выговором с предупреждением. Я считаю, что именно такое решение будет политически правильным и верным.

Долго еще продолжаются выступления. Одни требуют исключения, другие согласны ограничиться строгачом, и только два человека – Пономаренко и заведующая фондовой библиотекой – требуют Северцева не наказывать, а его заявление «принять к сведению».

Секретарь ставит внесенные предложения на голосование. Большинством голосов проходит строгий выговор с предупреждением. За исключение из партии голосуют трое, и в их числе сам Александр Васильевич Северцев.

Вслед за этим Северцева выводят из состава бюро, а начальник учреждения по телефону диктует секретарше приказ: «Тов. Северцева А.В., как утратившего политическое доверие, снять с занимаемой должности начальника штаба охраны и перевести на вакантную должность бойца...» Северцев слышит эти слова, но не трясется и не горюет: «Пусть будет так!» Ему сейчас хорошо и легко: «гора с плеч свалилась». Сейчас он поедет на дачу, захватит с собой литр водки, как следует выпьет и будет спать до утра. Возмездие наступило. Он успокоился.

XI

Ильина привезли во внутреннюю тюрьму Тульского городского отдела НКВД, заполнили на него «анкету арестованного», остригли под машинку, пропустили через «санобработку» и водворили в маленькую одиночку. Как только он вошел в нее, дежурный по коридору приказал ему ложиться спать.

Ильин лег, но заснуть не сумел: бунтовали нервы. Он терялся в догадках, за что его взяли, но ничего толкового придумать не мог. Неужели же знакомство и частые встречи с Марусей могли дать кому-нибудь повод заподозрить его во враждебности к советской власти?

– Нет, это – явная чепуха! Так быть не может!.. Но... если не Маруся, за что же тогда?..

Алексей Андреевич мысленно проверил всю свою жизнь. Нет, не находит он в ней ничего предосудительного. Ничего!..

Загадка оставалась неразрешенной, и он сильно волновался: должна же существовать причина ареста. «Ведь без причины и прыщ не вскочит!» И перед Ильиным возник новый, чуточку комичный по стилю вопрос:

– Но если – ничего, то все-таки – что же?

И единственный правдоподобный ответ, к которому он пришел после долгих раздумий, обозначился словом – ошибка!

– Ну, конечно! – обрадовался он найденному выходу. – Меня арестовали по ошибке! Спутали двух Ильиных! Пройдет день, максимум – два, и разберутся. Как же я раньше не вспомнил об этой возможности? И, наверное, тот Ильин – какой-нибудь важный преступник. Иначе не посадили бы меня в одиночку, – продолжал рассуждать Алексей Андреевич, рассматривая камеру, которая, по новизне, показалась ему интересной.

«Смотри, как устроена! Окно над решеткой, за нею щиток, дверь с глазком, параша... Электричество горит постоянно, не отключается. Вот, значит, тюрьмы какие!»

Чем больше он думал о своем деле, чем сильнее хотел угадать причины пребывания тут, тем убедительнее казалось найденное им объяснение.

– Ошибка. Конечно, ошибка! Ничего другого быть не может!

И он настолько уверился в своем предположении, что перестал даже сомневаться в его действительности. Тяжелое чувство тоски и инстинктивный страх перед неопределенностью исчезли. Он почувствовал себя хорошо и уютно, как будто лежал не на жестком, набитом соломой матраце в одиночной камере внутренней тюрьмы, а дома на мягкой и чистой кровати, в нормальной, с потушенным на ночь светом, комнате.

В семь часов утра его подняли, выпустили на оправку, дали дневную пайку хлеба и кипятку, днем принесли обед – черпак баланды и размазню из перловки, вечером ужин – кашу из той же перловой крупы. Между обедом и ужином спросили, пойдет ли он на прогулку.

– Конечно, пойду, – удивленно ответил Ильин, и его минут на двадцать выпустили на двор.

– Руки назад! – скомандовал ему конвоир, как только он вышел из камеры.

Ильину такая команда показалась обидной, но – пришлось покориться.

Процесс прогулки показался мучительным: крутись на одном месте, ходи по кругу, как лошадь на манеже, и не смей почему-то оглядываться по сторонам. Открыто нарушить запрет Алексей не решился, но потихоньку смотрел, куда хочется. Даже голову чуть поворачивал, но – осторожно, чтобы не заметили. И все обошлось без последствий. Плохо только, что, кроме стен, все равно ничего не увидишь, а также и то, что конвойные не отвечают ни на какие вопросы.

Двор Ильину показался знакомым. Позднее он вспомнил, что видел его на открытке, в альбоме у тетки. Внутренняя тюрьма НКВД была перестроенной домовой церковью бывшего митрополичьего дома, в котором разместился Тульский городской отдел НКВД. Помещение – лучше не надо. Особняк или, может быть, даже дворец. Алеша не знал, что вернее. Видно, у Тульского митрополита губа не дура была. Знал человек, что такое комфорт и удобство.

Наступил новый день, но ясности не принес. Ильин сидел в одиночке. Ему давали еду и питье, выпускали на оправку, водили на прогулку, и – все! Никто его не вызывал, не допрашивал, не торопился освобождать, хотя он попал сюда по ошибке, – в этом Алеша не сомневался!

За вторым днем пошел третий, потом четвертый. Все оставалось по-прежнему. Временами Алеше казалось, что он или спит, или попросту сходит с ума. Версия ошибки постепенно бледнела. «Какая тут, к черту, ошибка, если держат и держат, и не сообщают, за что его взяли. Очевидно, что-то все-таки есть. Однако же – что?!.»

Ответа не находилось. Стены молчали, молчали и конвоиры, и надзиратели, и раздатчики пищи.

XII

Какие только мысли, какие воспоминания не посетят находящегося в одиночке! Тишина и отсутствие внешних помех располагают к раздумьям. Перед запертым в каменный мешок проходит вся его жизнь, вспоминаются давно позабытые мелочи, по-иному освещаются и звучат факты, оценка которых, данная в прошлом, мнилось, была окончательной.

Без конца толчется Ильин по камере. Три с половиной шага в длину, поворот – и обратно. Ходить по периметру не дают койка и стол с табуреткой. Шаг небольшой, примерно аршин. Значит, туда и обратно – только пять метров. За день можно пройти километров двадцать пять–тридцать, не больше. Бесконечные повороты до жути надоедают. Приходится просто сидеть.

Но это совсем не так просто! Думы, думы, думы – без конца и без края. Эх, если бы книги! Теперь, когда прошел почти месяц и нервы поуспокоились, Алеша смог бы довольно легко сосредоточиться и читать, читать без конца. Здесь – идеальная, можно сказать, обстановка для самых серьезных занятий.

Алеша вспоминает о проблемах, волновавших его в университете. Полностью ли верен закон необратимости эволюции, и не противоречит ли он в какой-то степени биогенетическому закону Эрнста Геккеля? Может ли дивергенция протекать скачкообразно, или процесс расхождения признаков вида длится веками? Порождается ли в действительности рожь пшеницей и выводится ли овсюг из овса, или это ничем не доказанная фантазия Лысенко, а на самом деле ничего подобного никогда не бывает? Конечно, Алешу до сих пор волнуют такие вопросы. Более того, он считает, что интерес к ним в значительной мере определяет его смысл жизни, – «если этих вопросов не будет – не стоит и жить!» – но вместе с тем чувствует, что происшедшее с ним сильно убавило важность всего, чем он жил. Всего, но не Маруси!

– Что с ней случилось?.. Куда она делась?.. Почему не пришла на телефонный вызов?

И страшная догадка осеняет Алешу:

– А если ее – посадили?! Господи Боже! Как же я не подумал об этом?!

Алеша вспоминает, что Марусю вызывали в НКВД, что она ходила туда в трех сменах белья. Он вспоминает ее рассказы и холодеет от ужаса.

– Ну, конечно! Конечно! Ее посадили! Не зря же ее тогда допрашивали о каком-то знакомом ей типе!

Он вскакивает и пытается бегать по камере, но несколько раз налетает на стену и снова садится на место. Алеша взволнован, страшно взволнован. «Маруся сидит!» – думает он, и ему становится больно от сознания собственного бессилия. И он долго мучается в своей одиночке, мучается надуманными страданиями, и не знает, что они беспочвенны и беспредметны, и что он просто ошибся.

Да, Ильин, к счастью, ошибся. Марусю не арестовывали, не сажали, не привлекали к уголовной ответственности. Но она тоже сильно страдала. Последняя встреча с Алешей ей дорого стоила. Обычно решительная, не знающая сомнений и колебаний, трезвая и объективная, она долго жила как в тумане, не зная, что делать, как быть.

Оттолкнув тогда Ильина, Маруся вдруг ощутила боль и смятение, она почувствовала, что Алеша ей нужен, что она не может прогнать его прочь, не может снова остаться одна, лицом к лицу с нерастраченной скорбью и грустью по милому Сашеньке. Ей захотелось жить, жить всей полнотой человеческой жизни, ей захотелось вновь увидеть искаженное страстью лицо с крепко зажмуренными

глазами, вновь почувствовать прикосновение ласковых рук, легкую шершавость мужской щеки, теплоту ищущих губ и прелесть крепких объятий.

И тут же увидела она мысленным взором печальное лицо Моргунова, увидела его укоризненный взгляд и тянущиеся к ней из-за железной тюремной решетки знакомые, близкие пальцы, и ужаснулась. Она рванулась назад, подняла руки, готовая еще и еще раз оттолкнуть Ильина и, чувствуя пугающее бессилие, быстро скрылась за дверью. Внутри нее все бушевало. Первозданный хаос и сумбур перевернул кверху дном ее мысли и чувства. Разум и чувственность столкнулись в решительной схватке. Кто победит? О, как все это сложно!

Она слышала звонки Ильина. И тянула. «Вот он позвонит еще раз, и тогда я – открою!» И снова – звонок! Маруся готова вскочить. Кровь отливает от мозга. «Нет, нет, нет!.. Не сейчас! Пусть – еще раз! Еще!» Но «еще» не пришло: звонки прекратились.

Она долго сидела у себя на кровати. Потом пошла к двери, открыла ее и выглянула на лестничную площадку. «Нет!.. Никого!» А голова кружится, словно с похмелья. И странное ощущение – будто что-то прилипает к груди и ногам. Маруся прошла в ванную, сбросила одежду и долго поливалась холодной водой, а потом, все еще полная растерянности и тайной тревоги, собрала кое-какие вещички и первым поездом уехала на дачу к родителям.

Она уезжала с исключительной торопливостью. Она боялась себя и от себя самой убегала. Ей казалось, что смена обстановки охладит ее страсти, успокоит ее и избавит от позора моральной измены.

До сих пор жизненный путь, по которому ей предстояло идти, казался преодолимым и ясным. Она сильно любила Моргунова и считала своим нравственным долгом ждать его годы и годы. Она считала, что любая привязанность к кому бы то ни было будет в ее положении моральной изменой и подлостью. «Не только изменой, но и предательством!» – внушала она себе самой. И она отвергала возможность каких бы то ни было «взглядов на сторону», и гордилась силой своего духа, могущего преодолеть любые соблазны и земные влечения.

– На то я и человек! Не просто – Homo, а – Homo sapiens! А разум на то и существует, чтобы иметь возможность критически мыслить, – думала она, наивно надеясь, что сумеет выполнить тяжелую, но добровольно принимаемую на себя долголетнюю епитимью.

И вместе с тем она сознавала, что пять лет – срок очень долгий. Как бы ни любила она Моргунова, но жизнь – это жизнь! Она не только «критически мыслящая личность», но и составная единица определенного биологического вида. Она Homo sapiens, семейства гоминидов, отряда приматов, класса млекопитающих, подтипа позвоночных, типа хордовых. Она – член системы животного мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она считает, что это ужасно, но, раз она «Homo», ничего не поделаешь. «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» – говаривал когда-то Моргунов, и она, жена его, с тоской и страхом повторяет эти слова. Она повторяет и все-таки думает, что человеческий разум окажется сильнее природы, что она сумеет победить в себе «дикого зверя» и силой своей мысли приподнимется над окружающей ее средой врожденных инстинктов.

А теперь она выбита из колеи. Свершилось нечто ужасное. Она – Маруся! – с ее стойкими несгибаемыми взглядами, с ее прямотой и непримиримостью к человеческим слабостям, оказалась такой же, как все, оказалась немощной духом, способной увлечься, способной «изменить»! Мысль об этом кажется страшной. Маруся не может, не хочет признать ее справедливость.

– Нет, нет, никогда! Признать это – значит признать право на голый животный эгоизм, на черствость и себялюбие, на лицемерие и вероломство, на отвратительную мещанскую формулу «своя рубаха к телу ближе!»

Маруся страдает и мечется. Ей тяжело. Ее угнетает домашняя обстановка на даче, угнетает убогий мир ее матери (котлеты, блины, цветная капуста, состояние желудка Иовиса), угнетает хмурый, тоскующий вид что-то скрывающего отца. На отца вообще страшно смотреть. Он похудел, осунулся и курит теперь одну за другой безо всякой меры и счета. Наверняка у него неприятности, но он все молчит, а спросить – Маруся не может. После того памятного ей разговора об отказе от мужа между ними – глубокая, черная пропасть.

И Маруся мечется и страдает. С утра уходит она на прогулку и долго-долго скитается по лесу. Она пересекает и густые сосновые чащи, и зеленые лесные поляны, и светлые березовые рощи; она выходит на далекие поля и луга, минует деревни, вброд переходит ручьи, переплывает, держа одежду на поднятой кверху руке, встречные реки и доводит себя до изнеможения. Но мысли не отстают от нее. Куда она – туда и они. Или правду говорит народная мудрость: «от себя никуда не уйдешь»?!

Она бродит по лугам и полям. Сколько прелести и вдохновения таится в зеленом наряде земли! Сколько блаженства! Но ее встревоженный взгляд старается не замечать раскрывающейся перед ней красоты. «Алеша, – вспоминает она, – даже на городских бульварах и в парках умел находить нечто прекрасное». А она не хочет поддаваться влиянию Ильина. Прочь, грешные мысли! Ее Сашенька, ее Роднусь, был совершенно другим, он часто цитировал Фауста.

Ведь скоро надоест в лесах в полях блуждать...
Нет, что мне крылья и зачем быть птицей.
Ах, то ли дело поглощать
За томом том, страницу за страницей!

И Маруся отводит свой взор от манящих вдаль красот и пытается повернуть его внутрь себя. И – не может! Ей трудно. Она не привыкла ковыряться в себе, исследовать свои мысли и чувства, вывертывать наизнанку внутреннее, скрытое «я». Она не привыкла, но... это было когда-то. А теперь... Эх, что такое – «теперь»?!.

День проходит за днем, а борьба с собой продолжается. Физически и нравственно измученная, истомленная, голодная и уставшая, приплетается она поздно вечером домой и жадно набрасывается на еду. А потом – раскладушка и сон, глубокий, но непродолжительный. С первыми петухами она просыпается, и снова – мысли, мысли и мысли...

«Нет, так продолжаться не может, надо уехать, уехать немедленно. Надо встретиться с Ильиным, поговорить с ним, побыть вдвоем и... отдаться ему! Я люблю Моргунова по-прежнему, но ждать его больше не в силах. Я – человек, я – женщина! И Саша прекрасно понимает все это. Ведь он сам написал мне... Да, Саша поймет... Саша – простит!»

И вдруг жестокий, отчаянный стыд охватывает ее. Кровь приливает к щекам, к груди, к голове. Она краснеет до самых ушей, хотя нет возле нее никого, и никто не знает про ее земные, плотские мысли.

«Я ли подумала это? Я ли? Какой стыд? Какой позор! Какие грязные, подлые думы!» И она вновь решает не ехать, решает остаться на даче и всеми душевными силами сопротивляться «мерзким влечениям».

И вновь проходят дни и недели, а решительная, прямая Маруся не знает, как ей поступить, не может решиться ни на то, ни на другое, и снова терзается, снова томится, и все меньше помогают ей дальние прогулки отвлекаться от хаоса, царящего в ее дивной, кристально-чистой, несчастной, страдающей душе.

Проходят дни и недели. Жизнь идет своим чередом. Кончились летние каникулы. Начинаются занятия в университете. Волей-неволей Маруся едет в Москву. С бьющимся сердцем открывает она битком набитый почтовый ящик на двери, видит давнишний вызов к междугородному телефону. И все это – в прошлом! А самого Ильина на занятиях нет. Нет день, нет два, нет неделю. И, наконец, наступает неповторимый по переживаниям день. Маруся узнает о том, что Ильин арестован, и вместе с возгласом ужаса из ее груди вырывается глубокий облегчающий вздох.

XIII

В начале четвертого месяца дверь одиночки внезапно открылась. Надзиратели внесли в камеру еще одну койку, поставили ее в узком проходе и через несколько минут впустили к Ильину нежданного соседа.

Новенький – невзрачный, седой, невысокого роста человек – вошел, огляделся, протиснулся между койками, сел и спросил:

– Вместе сидеть будем?.. Вы кто такой?.. Давно здесь?

Ильин охотно ответил и подробно рассказал свою историю. Новенький возмутился:

– Девяносто пять дней – и ни разу не допросили! А вы молчите?.. И ни одного заявления не написали?.. Возмутительно!.. Следователь обязан предъявить обвинение не позднее четырнадцати суток со дня ареста. Если он не смог это сделать, вас должны были освободить!.. Статья 145 УПК РСФСР! Понятно вам это?

– Не знаю я никаких статей, – горестно ответил Ильин. – Знаю вот, что посадили и держат. А за что держат, что я им сделал, – понятия не имею... И про заявления не знаю ничего... Разве здесь можно писать заявления?

– А как же! Конечно, можно!.. Вот что, идите-ка к двери, постучите и скажите дежурному: «Хочу написать заявление следователю, дайте чернил и бумаги». Дадут!

– Допустим, дадут, а что я ему напишу?

– Напишете так: сижу я столько-то времени. Ни разу не вызывали, обвинения не предъявили, прошу сообщить причину ареста или, согласно закону, – освободить.

Ильин отнесся к словам незнакомца с недоверием, но все же послушался.

Коридорный равнодушно выслушал просьбу и ответил: «Послезавтра спроси! У нас заявления пишут по средам». Алексей возразил под подсказку соседа: для заявления следователю сроков не установлено.

– Следователю?!. Так бы и говорил! – хмыкнул дежурный. – Следователю можно сейчас.

Алексей написал заявление, отдал дежурному и, в свою очередь, поинтересовался, кто и откуда сосед.

– Александр Порфирьевич Свиридов, – представился тот. – И это все, молодой человек, что я могу вам сообщить. Я о себе говорить не люблю!..

Алеша растерянно замолчал.

Ровно через неделю его вызвали в коридор и дали расписаться под удивительным, на его взгляд, текстом.

«Начальнику внутренней тюрьмы НКВД. Объявите содержащемуся в вашей тюрьме Ильину Алексею Андреевичу, 1917 г.р., что он арестован по требованию Орловского городского отдела НКВД и при первой возможности будет этапирован в город Орел. Начальник следств. отдела – Хохряков».

Воскрешение мертвого удивило бы Алешу, вероятно, не больше, чем объявленное извещение.

– По требованию Орловского городского отдела НКВД?! Что за чепуха?! Зачем я им понадобился?

– Не могу знать, – ответил надзиратель. – Мое дело тебе объявить, а ты уж сам о себе понимай! Подпишись-ка вот тут, что объявлено!

Возбужденный сверх меры Ильин расписался там, где ему указали, и, возвратясь в камеру, обо всем рассказал соседу.

– ...И главное, никак не пойму, почему – Орел. Я был там всего один раз. На экскурсии. Правда, я там выступал в литкружке, ругал бездарные стихи о товарище Сталине... Но я ведь ругал-то стихи, а не товарища Сталина. Разве за это берут?

Сосед сильно пожал плечами:

– У нас за все берут... Черт знает что!.. Четырнадцать лет прокурором работал, а подобного не встречал!.. Прямое нарушение закона!

– Так вы – прокурор?! – удивился Ильин. – Вот почему вы статьи и кодексы всякие знаете. А где вы работали, Александр Порфирьевич?

Прокурор недовольно поморщился.

– Опять вопросы! Когда вы отучитесь их задавать?!. Впрочем, – изрек он, подумав, – шила в мешке не утаишь, а вы не похожи на лягаша... Слишком наивны! К тому же мы с вами – вдвоем, ergo – пришить мне агитацию в камере вы не сумеете... Один свидетель в такой ситуации дешево стоит.

– Я вас не понимаю, – сказал Ильин.

– И не нужно. Я не для вас говорил... Это так, мысли вслух... Ладно! – переменил он тон. – Так вы хотите знать, где я работал?.. Последний год, после того как меня сняли с должности прокурора и исключили из партии «за разложение» – сиречь, за похороны старухи матери по религиозному обряду и передачу ее имущества, как она того желала, в пользу церкви, – после этого работал я юрисконсультом в одном из тульских учреждений, а раньше четырнадцать лет и два месяца занимал пост городского прокурора. Удовлетворены теперь?.. Вот, и прекрасно!..

За что посадили?.. Сейчас еще точно не знаю, а в первый раз предъявлялись статьи 58-8 через 17, 58-10 и 58-11... Все – чистая ложь. Ни в чем абсолютно не виноват. Инкриминируется недоброжелательный, по отношению к НКВД, разговор о деле Тухачевского и других... Что с вами, юноша?!. Чего вы так побледнели и ахнули?..

Ильин действительно ахнул. Ему вспомнилась сцена в вагоне сочинского поезда: Степан Владимирович Петухов, его неосторожные высказывания о Якире, Мария Николаевна Рябинина, ее общительность, ее вопросы, ее записная книжка с адресами попутчиков, и все прояснилось:

– Вот почему – Орел!

Ильин рассказал Свиридову обо всем, что с ним произошло, и высказал предположение, что его арестовали и держат в тюрьме как свидетеля.

Свиридов засмеялся:

– Наивный вы человек! Разве свидетеля можно сажать? Нет, Алексей Андреевич, не тешьте себя напрасными надеждами! Мера пресечения, избранная в отношении вас, означает привлечение к делу в качестве обвиняемого. Ничего другого быть не может.

Ильин взволновался:

– Как обвиняемого?! В чем?

– Там найдут в чем. Вы же не исключение. Меня вот безо всякой вины полгода мытарили, доказать ничего не сумели, так придумали метод – освободили! Да, да! Целый месяц я был на свободе. А они мне сексотов подсунули, все рассказы подслушали, вкривь и вкось переделали и – опять посадили. Я-то держусь, но верти, не верти, а уж что-нибудь да приделают... Вот так!..

Ильин поник головой:

– Как же жить?.. Ведь то, что вы говорите, – кошмар!

– Ничего не поделаешь! Привыкайте!.. Да вы не горюйте! Хуже расстрела не будет.

– Расстрела?! – Ильин поглядел на улыбающегося Свиридова и с надеждой спросил. – Вы хотите меня разыграть? Как можно так мрачно шутить?.. Юмор висельника!

– А что?.. Вы боитесь расстрела?

– Не то, что боюсь, но мне неприятно даже и думать о существовании смертной казни вообще... Как это можно – взять, да и расстрелять человека?!. Конечно, я знаю... бывает... Но лично я... не приемлю... Не могу представить себе человека, который расстреливает... Не которого, а – который... Именно так!.. Какая у него психология?!

– Какая там психология! Скажете тоже!.. Ведь он приводит в исполнение утвержденный приговор. Почему же, если приказано, не привести в исполнение? Расстреливается-то – осужденный!

Ильин со страхом и волнением глядел на Свиридова.

– А вам... приходилось... расстреливать?.. – высказал он страшную догадку. – Вы знаете, как это делают?

– Сам-то я не расстреливал, – немножко вяло ответил Свиридов, – но на расстрелах бывал много раз... По обязанности, налагаемой должностью горпрокурора... Все это, юноша, просто... И делалось так:

Начальник тюрьмы, получив извещение, что ходатайство о помиловании отклонено, звонил мне по телефону и приглашал на исполнение приговора. Иногда посылал я помощника, а чаще всего ходил сам. В назначенное время, часа в 2–3 ночи, когда город спит, мы собирались в кабинете начальника тюрьмы. Я, начальник тюрьмы, председатель или член вынесшего приговор суда, представитель НКВД, тюремный врач. Каждый приносил с собой четвертинку, а то и пол-литра... Выпивали... потом шли вниз. Там такая камера есть, с барьером и выходом прямо в тюремный двор. Мы садились за барьер. В середине – начальник тюрьмы, мы по бокам. Давалась команда: «Привести осужденного!» Его приводили трое: два по бокам, один сзади. Конечно, руки назад, и в наручниках. Подводили к барьеру. Начальник тюрьмы вставал, удостоверялся в личности и объявлял: «Осужденный такой-то! Ваше ходатайство о помиловании отклонено; приговор будет приведен в исполнение». Когда, как – не говорил. Просто – «будет приведен в исполнение!» Конвой немедленно поворачивал осужденного и выводил в дверь, на двор. Никаких вопросов не разрешали. Выведут, и – пошел! Мы все двигались следом за ним, а по дороге один из конвойных стрелял ему в голову из револьвера. Врач подходил, констатировал смерть. Расстрелянного закапывали в заранее подготовленной могиле, а мы уходили спать... Вот и все!.. И никакой психологии!

Ильин зажмурился и ощутил, что дрожит от волнения.

– А не бывало так, – спросил он, стараясь не стучать зубами, – что человек от первого выстрела не умирал?

– Бывало, – равнодушно ответил Свиридов, – нечасто, но все же бывало... Помню, в тридцатом году, во время коллективизации, расстреливали одного кулака – организатора кулацкого сопротивления. Конвоир выстрелил ему в голову, да неудачно. Он упал на колени и кричит: «Ироды, чего делаете? Господь наш, Иисус Христос...» Конвоир ему снова в голову дал. И опять плохо!.. Лежит и стонет... Пошли тут палить. Член суда, я... а он стонет и стонет...

– Вы?.. Сами? – прошептал позеленевший Ильин.

– Да я уж, когда все кончено было, – немного смутился Свиридов, но Алексей Андреевич ему не поверил.

– А как реагируют приговоренные, когда им говорят, что их не помиловали? – преодолевая ужас и отвращение к собеседнику, продолжал спрашивать Ильин.

– По-разному, – нехотя ответил заметно скисший прокурор. – Спрашивать-то ничего не дают. Поворачивают, и – пошел! А на ходу – по-разному. Один молится, другой псалмы поет, третий кричит: «Ой, мама, мама!» А большинство все-таки ругается. Так ругаются, так матерщинят, – аж слушать противно.

Ильин вскочил, хотел походить, подвигаться, но ходить было негде, и он, мысленно проклиная свое положение, вновь сел на койку, до боли кусая губы. Боль хоть немного, но все же успокаивала его.

XIV

Прошел еще один месяц, а «первая возможность» этапа в Орел, по-видимому, не появлялась. Движения в камере не было. Ильин и Свиридов сидели вдвоем, и Александр Порфирьевич постепенно к Алеше привык и начал ему доверять. И случилось однажды, – в 20-ю годовщину ВЧК-ОГПУ, – что, увлекшись воспоминаниями, Свиридов совсем размягчился и рассказал Алексею о том, что узнал на свободе.

– Знаете, юноша, вы не горюйте, что сели! На воле ведь очень неважно. Обстановка там – хуже некуда. Дня не проходит, чтобы в газетах не помещались статьи и сообщения о подрывной и коварной деятельности врагов народа. Враги все хитрят, двурушничают, маскируются и появляются там, где их, казалось бы, быть не могло. Руки врага всеобъемлющи и вездесущи. Но еще всеобъемлющей и еще вездесущей оказывается наша славная советская разведка, возглавляемая, как его теперь называют, «лучшим сыном советской родины», «сталинским наркомом и любимцем народа» Николаем Ивановичем Ежовым. Козни хитрых врагов неизменно и своевременно разоблачаются, а советскому народу еще и еще раз преподаются наглядные уроки бдительности. Ему демонстрируют не только непревзойденную гениальность и проницательность товарища Сталина, но и выдающиеся успехи, достигнутые под его мудрым руководством в деле освоения способов и методов борьбы с буржуазными разведками и их агентурой в наших рядах.

Прочтя такие сообщения, советские люди наполняются страхом и восхищением, ненавистью и любовью, слепой верой и ядовитым сомнением. По всей стране широким неудержимым потоком разливается болезненная, обостренная мнительность. Лучшие друзья подозрительно присматриваются друг к другу: «А вдруг он – нераспознанный враг!..» Никто не знает, кому можно верить, если такие люди – вожди! – вдруг оказались – врагами народа. Возникает вопрос: где предел их продажности, где предел лицемерия, хитрости и вероломства. Даже члены Политбюро – и те оказались... Вы понимаете, юноша?..

У Алексея перехватило дыхание. Странный выспренний тон, с необычными для Свиридова оборотами речи, вызвал сомнение. Александр Порфирьевич говорил без тени улыбки, а Алеша не понимал, то ли он насмехается, то ли иронизирует, а, может быть, – провоцирует. На всякий случай Алеша молчал.

– Обыватели стонут, – продолжал Александр Порфирьевич. – «К чему они это? Зачем? Они же снабжались прекрасно. Чего им еще не хватало?» Да не одни обыватели!.. Каждый застонет: чуть ли не весь руководящий состав всех краев, областей, округов и районов, секретари ЦК нацкомпартий, секретари областных, городских и районных комитетов, наркомы и начальники крупнейших государственных учреждений, всему миру известные деятели самых различных отраслей народного хозяйства, науки, искусства и культуры – все они, почитай, оказались врагами народа! Вне подозрений, кажется, двое: Ежов и Сталин.

А сколько покончило самоубийством! Скрыпник, Гамарник, Томский, Червяков, Голодед, Любченко... Это лишь те, о ком, как я помню, сообщали газеты! «Прочих» – никто не считал...

Откуда столько врагов? И почему они стали врагами?.. Вы об этом не думали, юноша? Ведь эти самые люди стояли у колыбели революции, они вынесли все трудности разрухи и голода, и своими руками создавали и нашу партию и наше первое в мире рабочее государство. Так что же случилось сейчас? По-че-му?..

Ильин, не веря ушам, очумев от испуга, смотрит Свиридову в рот.

– Кто ответит на этот вопрос, да и кто решится поставить его? – с пафосом вопрошает Свиридов.

Вопрос риторический, и Александр Порфирьевич не ожидает ответа. Он садится на койку, опускает голову долу и уходит в себя. Его возбуждение выдохлось. Он уже сожалеет, что высказал больше, чем можно.

– Я вам, юноша, ничего не говорил!.. Вам понятно?..

– Понятно! – молча кивает Алеша, еще не пришедший в себя.

Свиридов задумался. За месяц, что был на свободе, он много увидел и многое осмыслил, и сейчас он понимает, что его забрали не последним, что на нем не прекратились аресты. Он понимает, что борьба с «врагами народа» все расширяется, и все новые и новые жертвы возлагаются на алтарь маниакальной подозрительности и всеобщего параноического испуга.

«Усилим революционную бдительность!», «Покончим с политической беспечностью в нашей среде!», «Искореним врагов народа – троцкистско-бухаринских шпионов и вредителей – наймитов иностранных фашистских разведок!», «Смерть изменникам Родины!», «Разоблачим до конца всех и всяких двурушников!», «Превратим нашу партию в неприступную крепость большевизма!» – призывали со страниц газет и журналов лозунги к XX годовщине Октябрьской революции. Они внедрялись в сознание людей, как жуки-точильщики в древесину.

«Борьба еще не кончена, на нашем пути встретится еще немало трудностей... – многозначительно предупредил народные массы Ежов в своей предвыборной речи.

«Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой... то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков...» – изрек в те же самые дни и сам Сталин.

И, как всегда, он быстро оказался «пророком». Новая бурная волна арестов, новый град необоснованных, незаконных репрессий, тысячи и тысячи новых, самыми разнообразными методами сфальсифицированных дел быстро «подтвердили безупречную верность и прозорливость» сталинских изречений.

Ширилась не только волна репрессий, порожденных потоком желаний угодить товарищу Сталину – желаний, как правило, небескорыстных. Параллельно ей расширялись стремления хоть как-нибудь выжить, и уцелеть, и удержаться на быстро несущейся вдаль колеснице истории; удержаться, не выпасть, сохранить себя и семью, не попасть под огонь обвинений в недостатке бдительности и преданности «гению политического разума и несокрушимой воли», «величайшему гениальному художнику ленинской эпохи», «зодчему социалистической стройки».

– «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен. Все остальное – преходяще», – сказал Сталин.

Все «руководители» немедленно восхитились верностью гениальнейшей мысли, но ни один из них не захотел при жизни стать «преходящим». И, вероятно, поэтому все они, хладнокровно или волнуясь, расчетливо или инстинктивно, заведомо зная об аморальности своих поступков или, может быть, веря в их справедливость, – это уже другой вопрос! – всеми силами своей

изворотливости и хитрости пытались застраховаться от злых обвинений, спешили «проявить бдительность», «очистить» свое окружение от могущих вызвать какие-либо сомнения людей, стремились «выявить» и «разоблачить» врагов или хотя бы тех, кто с ними «поддерживал связь».

Всемогущее беликовское «как бы чего не вышло» завладело умами.

И отсюда, с закономерностью появления колоса из брошенного в землю зерна, взошла, выросла и расцвела ширококронная, эластичная и ко всему подходящая репрессирующая формулировка – «за связь с врагами народа».

XV

Настало время, и сгустились тучи над головой бедной, страдающей Маруси. Она пока еще учится, учится, не предугадывая беды, не беспокоясь лично о себе. Она аккуратно ходит в университет, изучает науки и топит свое горе в усиленных, напряженных занятиях. На смену летним волнениям пришло относительное успокоение. А на днях она получила письмо от Саши – маленький, искромсанный цензурой, оборванный на полуслове листочек – видимо, только начало письма; продолжение либо забыли, либо нарочно не положили в конверт. Но это неважно, ведь на листочке – почерк Саши, значит – он жив, значит – он существует! Она узнает, что его увезли, что он едет на Север («Ведь он и так на Севере, куда же еще?!») – и поэтому не надо беспокоиться, если писем долго не будет.

Она успокоилась, а тучи – все больше и больше сгущаются. Психоз подозрительности с каждым днем все шире разливается по стране, вползает в каждый дом, заражает все больше людей. Давно ли, кажется, вышла «Москва, 1937» Лиона Фейхтвангера, а хранить ее у себя уже очень опасно. Она стала источником бед. Носятся упорные слухи, что книга изъята, что за нее неуклонно сажают. Маруся подобным слухам не верит, она их презирает и с жадностью читает смелые строчки Фейхтвангера. А психоз разливается шире и шире, и его мутные волны захлестывают наконец чистую сердцем Марусю.

Этот день – 1 декабря 1937 года – она никогда не забудет. Она была в этот день на общем комсомольском собрании их факультета, посвященном трехлетней годовщине злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова. Докладчик – знакомый парень! – говорил о бдительности и вражеской агентуре, он призывал покончить с политической беспечностью и, в качестве конкретного примера таковой в их коллективе, привел, совершенно неожиданно для Маруси, факты «примиренческого отношения» к студентке их факультета, жене врага народа, Северцевой Марии Александровне.

Пораженная до самой глубины души, с сильно бьющимся сердцем и остановившимся взглядом, слушала Маруся бесстыдные, несправедливые слова, разлетающиеся по обширной аудитории:

– Эта, с позволения сказать, «советская» студентка распространяет среди учащихся мерзкий пасквиль буржуазного писаки, в котором великий вождь всего человечества кощунственно именуется «человеком с усами». Она позволяет себе читать и рассказывать товарищам по учебе нахальные высказывания об «обожествлении» того, кому нет равных в мире, о «безвкусном и не знающем меры культе его личности», о «стандартизованном энтузиазме» и о «психозе вредительства», якобы существующих в нашей стране...

Да и что удивительного?! – со все увеличивающимся подъемом продолжал чеканить докладчик. – Что удивительного в этой истории?! Может ли поведение гражданки Северцевой быть другим? Кто она – эта самая Северцева Мария? Дочь человека, получившего строгий выговор с предупреждением за бытовое разложение и притупление политической бдительности, дочь человека, утратившего политическое доверие и снятого за это с занимаемой должности!

Маруся ахает. Кровь отливает от щек. Она близка к обмороку.

– Так вот что скрывает отец! Вот почему он – такой!.. Бедный папа!..

– Сын за отца не отвечает! – слышит она чью-то несмелую реплику из заднего ряда.

– Кто это крикнул? – гневно обводя аудиторию угрожающим взглядом, немедленно парирует благожелательную тираду докладчик. – Кто?!. Чего молчите?!. Стыдно признаться?!. Да, сын за отца не отвечает, а жена за мужа должна отвечать! Кто поверит, что она не знала о вражеской работе близкого ей человека?!. Чепуха! «Муж и жена – одна сатана!» – говорит пословица. Чем вы докажете, что она не принимала участие в его делах? Будете утверждать, что – «не пойман – не вор!» Так, что ли?.. Нет, товарищи! Это правило буржуазной морали, а нам – представителям рабочего класса – оно не к лицу!

В деле Северцевой еще многое не выявлено. Надо выяснить ее личные связи. Нам случайно стало известно, что она часто встречалась с еще одной сволочью – с бывшим студентом нашего факультета, замаскированным врагом народа Ильиным. Это нужно уточнить, но лицо Северцевой ясно и так. Она как редиска – сверху красная, а разрежешь... сами понимаете! Я считаю, что в деле Северцевой наш коллектив проявил политическую беспечность и маниловское благодушие. И мы должны немедленно исправить нашу ошибку. Я считаю, что Северцеву за связь с врагами народа надо немедленно исключить из комсомола и выгнать из университета!..

Маруся поднялась и, пересилив себя, пошла к выходу. Сидящие на пути комсомольцы уступали ей дорогу. Все молчали. Страх, липкий, безмолвный, обессиливающий, расплывался по залу, и только обесцвеченные лица и отводимые в сторону взгляды свидетельствовали о душевном беспокойстве и волнении многих находящихся здесь.

А потом наступил – «миллион терзаний». Марусю вызывали на бюро, допрашивали об отношениях с мужем, допрашивали о знакомстве с Ильиным. Ее спрашивали и об отце, а когда она отвечала правду, объявляли ее слова ложью и лицемерием.

И вновь, как и полтора года назад, столкнулась в ее душе два самых сильных и больших чувства. Любовь к мужу, к родному и милому Сашеньке, и любовь к Сталину, олицетворявшему для нее и родину, и комсомол, и все, во имя чего следовало жить на земле,

Спору нет, теперь она не была так наивна, как прежде. Трудные времена оставили в ее душе заметные отпечатки. Ушла вглубь любовь к Моргунову. Длительная разлука и неосторожная влюбленность в Ильина не могли пройти совершенно бесследно. Но, с другой стороны, слепое обожание Сталина тоже исчезло. Переживаемые неприятности и следующие за ними невольные раздумья дали чувству новые формы. Оно исподволь изменялось и при этом не становилось сильней.

Да! Чувства Маруси несколько изменились, но, несмотря на это, остались самыми сильными и большими. И теперь они вновь столкнулись, как сталкиваются при авариях поезда, идущие навстречу друг другу, и вновь под влиянием неизмеримой силы удара рушилось и ломалось все, что составляло основу Марусиной жизни.

Новая катастрофа переносилась труднее. Она углублялась преследованиями, обрушенными лично на Марусю. Ее – честную, прямую, непримиримую до ригоризма – обвиняли в двурушничестве, лицемерии и пособничестве врагам народа. Ее лучшие чувства осмеивались и втаптывались в грязь, и, не в силах примириться с человеческой подлостью, она – молодая, жизнерадостная, любящая жизнь во всех ее проявлениях, – оказалась на грани самоубийства. Ей перестало хотеться жить.

27 декабря «дело» Маруси обсуждалось на комсомольском собрании. Оно продолжалось недолго. Член бюро доложил о результатах проведенного расследования – жена разоблаченного и арестованного органами НКВД врага народа после ареста мужа завела под видом «невинной» дружбы подозрительную связь с другим врагом. Отец снят с работы... Раскаяния не проявила; более того, упорно утверждая, что муж ни в чем не виноват, пытается посеять недоверие к «органам» и клеветнически опорочить их самоотверженную работу. И еще – «Москва, 1937». Конечно, книга издана Гослитиздатом, но это не дает права смаковать развязные и ошибочные формулировки. Всем своим поведением Северцева доказала, что она – чужак, и что ей не место в рядах Ленинского комсомола... Докладчик предложил сделать из сказанного необходимые выводы и единодушно проголосовать за исключение.

– Хочет ли Северцева воспользоваться своим правом на слово?.. Хочет?!. Хм! Удивительно!.. Ну, что ж!.. Демократию надо соблюдать! Слово имеет э-э-э... Северцева.

Маруся вышла на трибуну. «Зачем? Что я скажу? Разве не известно заранее, чем это кончится?.. Все – известно, все – ясно!»

Но Маруся иначе не может. Промолчать – значит согласиться с обвинениями!.. «Нет, никогда! Пусть слушают!»

И она говорит, пытаясь перекричать шум и реплики зала. Она с негодованием отвергает выдвинутые против нее обвинения. Ее муж никогда не был врагом народа. Он был и остался коммунистом! Разве, утверждая это, она опорочивает славный труд НКВД? Разве при таком громадном объеме работы советской разведки не может быть отдельных ошибок?!. Она ничего не знает о вражеской деятельности Ильина, да ведь он еще, оказывается, и не осужден! Как же в таком случае можно?.. А Фейхтвангер – друг Советского Союза, ничего антисоветского в его книге нет. Только больная фантазия может приписывать его высказываниям какое-то иное значение... И отец! При чем тут – отец?!. «Моя совесть абсолютно чиста. Я честная комсомолка, и дело партии, ведомой великим Сталиным, мне дороже всего на свете!»

Марусина речь производит определенное впечатление. Шум утих, но люди молчат. Они молчат и избегают встречаться с Марусей глазами.

– Есть ли вопросы?

И снова молчание. Глухое, тяжелое, непереносимо тяжелое молчание.

Члены бюро переглядываются. И вдруг откуда-то сбоку – вопрос. Странный, поразительный, специально подготовленный, заведомо провокационный вопрос:

– Вы говорите, что дело партии, дело Сталина вам дороже всего на свете. Ответьте по совести, если она у вас сохранилась, кто вам дороже – муж или Сталин?

– Муж или комсомол? Отец или Родина? Собственная жизнь или партия? – раздаются отдельные, что-то уж слишком уверенные вопросы из того же конца аудитории.

Напрасно Маруся пытается отвести такие вопросы. Пытается доказать их неправомерность. «Такие вопросы ставить нельзя! Это – разные, несовместимые чувства. Разве можно спрашивать у матери, какой ребенок ей дороже – тот или этот? Оба дороги! Оба дороже всего на свете».

– Не хитрите! Отвечайте: кто вам дороже! И загнанная в тупик, сбитая с толку, теряющая себя Маруся гневно кричит в ответ сыплющимся на нее вопросам.

– Это не вопросы, а провокация! Если комсомол – это вы, то такой комсомол ничего не стоит. Такой комсомол не может быть дорог. Муж, муж мне дороже, чем вы!

Через несколько минут ее исключают. Формулировка «за связь с врагами народа» действует безотказно.

Она уходит, стараясь не глядеть на плачущих подруг, которые исподтишка пытаются к ней подойти и что-то объяснить. Объяснить, почему они голосовали – за исключение.

Маруся долго бродит и ездит по улицам, заходит в каждую попадающуюся на пути аптеку.

– Веронала, ради бога!.. Хоть одну пачечку веронала!.. Я совсем измучилась. Мне надо заснуть.

Ей дают, и она едет в следующую аптеку. Дома, размешав тридцать граммов принесенных таблеток в горячей воде, она подносит стакан со смертоносным зельем к обескровленным, дрожащим губам.

– Страшно!.. О, как не хочется умирать!.. Но ведь так жить – еще страшнее!

Стакан звенит, бьется о зубы. «Смелее, Маруся! – подбадривает она себя. – Смелее! Несколько глотков, и все кончено, все! Не будет подлости, не будет низости. Не будет – ничего!.. И все страдания сразу оборвутся!..»

Она хочет заставить себя выпить белую, взмученную жидкость. Она собирает все свои душевные силы... И – не может! Новая мысль инстинктивно помогает внутреннему органическому сопротивлению смерти: «А если райком или горком не утвердят исключения?!. Ведь еще не все кончено! Рано складывать лапки, рано сдаваться!.. И, вообще, зачем мне травиться?.. Во имя чего?.. Нет, нет! Не хочу! Ведь правда когда-нибудь все равно победит».

Стакан осторожно поставлен на стол. Маруся рыдает, у нее истерика, ее трясет, и облегчающие душу слезы льются потоком. Она одна, она плачет, и ей не стыдно. И пушкинские строчки, которые так недавно и совсем невзначай звучали в продекламированной ей Алешей элегии, приходят на ум и жгут своей неожиданно понятой значительностью:

... В наш век, вы знаете, и слезы преступленье,
О брате сожалеть не смеет нынче брат.

«Пусть – преступление!.. Лейтесь, слезы, лейтесь! Облегчите невыразимую боль! Утолите мои печали!»

XVI

Через пять с лишним месяцев после ареста, 15 января 1938 года, в субботу, рано утром, Ильина вызвали из камеры «с вещами» и, после обыска и разных проверок, в закрытой легковой машине отвезли на вокзал. Там его посадили в арестантский вагон, прицепленный к скорому поезду, а через несколько часов высадили на товарной станции города Орла. Переброска произошла с такой быстротой, что взволнованный Алеша не успел даже как следует осмотреться, прийти в себя и поговорить с немногочисленными попутчиками. Впрочем, он к этому особенно и не стремился, так как случайные спутники доверия не вызывали и казались неинтересными. В одном купе с Ильиным – на юг арестантов возили редко! – ехали всего лишь четыре человека: один растратчик, один хулиган, ведший себя изумительно тихо, и два бывших кубанских кулака, которых везли в Ростов на Дону по требованию тамошнего управления НКВД. В чем их обвиняют, они или еще не знали, или на всякий случай предпочитали молчать и прикидываться дурачками.

Неожиданная развязка долгого, бесцельного и беспросветного сидения во внутренней тюрьме Тульского горотдела НКВД вызвали у Алеши надежду на скорое окончание дела, на то, что теперь, наконец, разберутся, установят его невиновность и отпустят на волю. Ему стало приятно и радостно.

Поезд прибыл в Орел в солнечный, но морозный день. Ильина вывели из вагона и сразу же посадили в темную, наглухо закрытую и ужасающе холодную одиночную кабинку «черного ворона». Машина, очевидно, пришла на станцию

заблаговременно и, дожидаясь поезда, сильно промерзла. Пока доехали до тюрьмы, у Алеши закоченели и руки и ноги, из носа потекло, и он очень обрадовался, услышав, наконец, звук открываемой дверцы и грубый голос конвоира, приказывающий ему выходить.

Ильина принимали в небольшой, изолированной конторе административного корпуса. Здесь его наскоро и довольно небрежно обыскали и стали оформлять. Хмурый, флегматичный немолодой военный, в старенькой, неоднократно стираной гимнастерке, с расстегнутым воротом и криво сидящими кубиками в петлицах, заполнил на него «анкету арестованного», записал фамилию, имя и отчество, год и место рождения, еще кое-что, в том числе – рост, цвет волос, цвет глаз, форму ушей и носа, заглянул в рот, записал – «один стальной зуб с правой стороны» и лениво спросил:

– Особые приметы есть?

– Нету, – ответил Ильин, вспомнив о большом родимом пятне на левой руке.

– «Нет», – записал военный в анкету и, продолжая двигать пером, крикнул в соседнюю комнату:

– Павлищев! Давай-ка!

Вошел Павлищев, молодой, прямой, высокий, в новеньком, чистом обмундировании, и повел Ильина в соседнюю комнату. Надев на себя черный халат, он заставил Алешу, как говорили в тюрьме, «сыграть на рояле», – то есть, попросту говоря, дать отпечатки пальцев для дактилоскопической регистрации.

Последняя процедура показалась Алеше оскорбительной и произвела на него удручающее впечатление.

– Пальцы печатают, словно я бандит какой, – подумал он.

Между тем Павлищев небольшим резиновым валиком тщательно раскатал на гладкой металлической пластинке черную типографскую краску и начал по очереди прикладывать верхние фаланги пальцев правой руки Ильина – от большого к мизинцу – к красящей пластинке и к соответствующему квадратику особого типографского бланка. Закончив с правой рукой, он проделал то же самое с левой, после чего вновь раскатал краску и отпечатал пальцы у Ильина целиком, вместе с ладонями.

Чтобы отпечатки получались полнее, пальцы прикладывались не плашмя, а боком и в нажатом состоянии прокатывались с одного бока на другой. В результате на белой глянцевитой бумаге остались четкие отпечатки, а на руках Ильина – черные, жирные, сильно пачкающие и трудно смывающиеся следы краски.

– Что ж теперь делать? – спросил Ильин, стоя с поднятыми и растопыренными пальцами и боясь прикоснуться к чему бы то ни было. – Где бы руки вымыть, что ли?

– Вымоешь, – спокойно ответил Павлищев. – Куда тебе торопиться?!. Тебе-то чего! Ты сейчас в баню пойдешь, а мы вот тем, которые в камерах, печатаем, и то ничего!

Ильин промолчал. Ответить на такое откровение было нечего.

Через некоторое время его, действительно, отвели в баню, где тюремный парикмахер – заключенный на небольшой срок бытовик – вновь прошелся по его стриженой голове машинкой № 1, а сушильщик прожарил в вошебойке белье и одежду. Затем Ильин долго сидел в раздевалке и ждал конвоира. В конце концов тот появился и отвел Алешу на четвертый этаж второго корпуса, возвышающегося примерно в середине тюремного городка.

Молодой, но изрядно потрепанный водкой коридорный надзиратель, с серым угреватым лицом и мутными глазами, прежде чем открыть дверь в камеру, поглядел в нее через глазок, цинично выругался и только потом загремел замком. Ильин переступил порог и в испуге остановился.

Большая, в четыре громадных окна, камера оказалась набитой людьми, как улей пчелами перед роением. Полуголые, преимущественно в одних только трусах, разогретые в духоте запертого помещения, потные и распаренные, давно не бритые люди всевозможных возрастов, комплекций и наружностей лежали, стояли, сидели прямо на голом асфальтовом полу. Ни кроватей, ни коек, ни нар в камере не было.

Десятка полтора человек, привлеченных грохотом открываемой двери, собрались возле нее полукругом и с жадным любопытством смотрели на вошедшего Ильина.

– Кто?.. Что?.. Откуда?.. Когда взяли?.. Где?.. – посыпался на него град вопросов.

– Да дайте же ему очухаться! – укоризненно произнес из левого угла человек среднего роста с густой каштановой щетиной на лице. – Видите, парень ошеломлен, а вы на него, как мухи на сахар, набросились. Успеете выспросить. Никуда он от вас не уйдет.

Говорящий поднялся и, осторожно ступая между людьми, подошел к двери, около которой все еще стоял растерянный Ильин.

– Идите сюда, товарищ! – приветливо сказал он. – Потеснимся, местечко выкроим... И не бойтесь, здесь урок нет!

– Я не боюсь, – сказал осмелевший Ильин. – Но только уж очень странная обстановка... Не поймешь, куда и попал.

Люди в полукруге заулыбались, кое-кто засмеялся.

– Попали в Орловскую тюрьму, – также улыбаясь, ответил приветливый человек, – в общество обыкновенных людей, арестованных так же, как вы. Идите сюда... рядом со мной только что освободилось место: соседа взяли на допрос... Дней пяток его, надо полагать, продержат, а за это время обстановка в камере переменится.

Ильин не понял сказанного, но охотно пошел за товарищем по несчастью, так дружелюбно отнесшимся к нему.

– Анатолий Владимирович Санаев, бывший летчик гражданского флота, – представился тот, когда Ильин лег возле него на ничем не покрытый пол, подложив под голову принесенный с собой узелок с вещами.

Ильин назвал себя, и между ними завязалась душевная беседа.

Через полчаса они уже стали друзьями. Санаев рассказал о своем деле – он, по неизвестной причине, обвинялся в намерении перелететь границу! – и ознакомил Алешу с обычаями и условностями внутрикамерного существования.

В свое время – Санаев его еще застал – в двадцать шестой стояли койки, и она предназначалась для 36 человек, но теперь, в связи с ужасающим переполнением, в ней находилось в среднем человек двести, а перед этапами набиралось и триста, и более. Может быть, именно поэтому из камеры вынесли койки, и люди укладывались на полу валетами, вплотную друг к другу.

– Хорошо еще, – говорил Санаев, – что состав сидящих непрерывно меняется. Раз в неделю отсюда уходят большие этапы, и камера сразу пустеет, но через день или два наполняется вновь. Лишь сотня, примерно, людей, дела которых все тянут и тянут, живет здесь давно и привычно. Может быть, Алеша, вам тоже придется сидеть много месяцев. Будьте к этому готовы!

У Ильина защемило в груди, стало тоскливо и страшно, и безудержно, безумно захотелось оказаться на воле. Несмотря на присутствие посторонних, он схватился за голову и застонал. Санаев, видимо, понял его.

– Ну что вы, что вы, успокойтесь! – ласково сказал он. – Надо примириться с тем, что случилось. Расклеиваться нельзя.

– Да... но ведь это такая трагедия, – выдохнул Ильин.

– Что ж теперь делать! Надо привыкнуть... Трагедия трагедией, а люди живут, и могут даже шутить и смеяться.

И он рассказал о «вечерах смеха», чуть ли не ежедневно проводимых камерными активистами, и о том, как энергично перемешивается здесь трагическое со смешным, и о составе сидящих.

Сюда водворяли чужих, незнакомых друг другу людей из всех районов Орловщины, но каждый вновь приходящий инстинктивно подыскивал среди остальных хоть чем-нибудь схожего с собой человека, и они очень быстро сближались. Одних роднила схожесть их дел, других – уровень образования или культуры, третьих – одинаковость прошлой профессии или занимаемого на воле положения, четвертых – национальная принадлежность, и мало ли что еще. Во всяком случае, в камере стихийно появились небольшие «землячества», своеобразные «профсоюзы» и другие объединения людей, стремящихся расположиться поближе друг к другу.

Доморощенные остряки не упускали случая над этим покаламбурить. Они присваивали каждой внутрикамерной группке какое-нибудь ироническое название, и их остроумные клички мгновенно получали полное право гражданства. В результате камера, как какой-нибудь город, разделилась на «районы», и в ней возникли «площади», «улицы», «переулки» и «тупики». Последнее название имело двойственное значение и намекало на кое-что важное.

Тупиками называли места скопления бывших руководящих работников. Ряд у крайнего правого окна, в котором лежало несколько секретарей райкомов ВКП(б), получил неотлипающее название «Секретарский тупик». Ему противопоставлялся «Председательский переулок», образованный председателями горсоветов и райисполкомов, которые тоже скучились вместе. Угол, занятый работниками «Заготзерна», обвиняемыми в умышленном заражении зернохранилищ, ехидно именовали «Заготклещом», а место скопления орловцев-кавежединцев – бывших работников Китайско-Восточной железной дороги, чуть ли ни поголовно арестованных по подозрению в шпионаже, – «Форпостом мировой революции на Востоке». Две группы колхозников звались: одна – «Артель Напрасный труд», другая – «Колхоз Бесполезное занятие». А большая, тоже заподозренная в шпионаже, команда айсоров – чистильщиков обуви на улицах Орла, родители коих в 1919 году, после неудачного восстания в Турции, получили убежище в СССР, – научилась отзываться на кличку «шпионы турецкого царя». Кроме того, в камере имелись и «Врачебная улица», и «Директорский проезд», и даже «площадь Свободных цыган». Для каждого такого названия всегда находились конкретные причины, и все они в какой-то мере отражали реальную жизнь.

Все это было для Ильина новым и поразительным. Для него, впервые посаженного, откровением служило все, от умертвляющего сознание самого понятия – «сидеть в тюрьме», – до той бурной, бьющей через край духовной жизни, которую он встретил внутри ее стен, охраняемых камнем, металлом и вооруженной силой.

XVII

Тюрьма – этот, по представлению Ильина, «Мертвый дом», «хранилище заживо погребенных», – жила, оказывается, интенсивной, всеобъемлющей жизнью. В ней мечтали и мыслили, томились и тосковали, строили планы на будущее и вспоминали о прошлом. В ней страдали и развлекались. Больше, конечно, страдали. В камерах, набитых людьми, сталкивались и перемешивались и эгоистические заботы о собственной участи, и самоотверженные раздумья о судьбах народов и будущем всего человечества. Мысли, думы, идеи и размышления обрели здесь хотя и самочинное, но почти что самодовлеющее,

независимое от их конкретных носителей, существование. И очень много людей, на воле прибитых к земле трудными условиями материального бытия, начали впервые «шевелить мозгами» только в тюрьме. Лишь в ней они поняли, что жизнь как таковая – это не только «хлеб наш насущный», но и наше насущное, человеческое сознание.

Идейно-политический уровень арестантов тридцать седьмого–тридцать восьмого годов был необычайно высок. В эти годы тюрьмы наполнялись людьми, умом и руками которых строился социализм. Люди эти были, конечно, различными, с индивидуальными характерами, с личными взглядами. Здесь были сильные и слабые, стойкие и колеблющиеся, борцы, готовые пожертвовать собой во имя великих идей, и беспринципные шкурники, мечтательные романтики и примитивные обыватели, благородные подвижники и мелкотравчатые подлецы. Все слои населения были представлены в них, все классы, все возрасты, все уровни культуры и образования. Но, несмотря на всю их несхожесть друг с другом, их всех, в отличие от урок и бытовиков, объединяла между собой характернейшая черта – ни у кого не было подлинных и непридуманных «дел», никто из этих людей не переступал порог Уголовного кодекса, и среди них почти совсем не встречалось сознательных противников советского строя.

И, не в силах сразу осмыслить непосильный гнет впечатлений, сам того не желая, со смятением и беспокойством присматривается Ильин к этим людям. Он и верит им, и не верит. Недели идут, и все больше и больше потрясающих фактов проходит перед глазами. И с ужасом видит Алеша, как покоряются его взгляды влиятельному настрою событий.

Жизнь в следственном корпусе очень специфична. Строгая изоляция от внешнего мира накладывает отпечаток и на сознание, и на поступки людей. Волей-неволей приспосабливаются они к новой обстановке и новому быту, и громадная, иногда катастрофическая, переоценка всех ценностей – почти неизбежный удел мыслящего арестанта.

И Ильин уже с первого дня почувствовал на себе активное воздействие этого, кажущегося неотвратимым, процесса. Алексей с детских лет был равнодушен к политике, его интересовали лишь биология и литература, а от всего остального он инстинктивно отгораживался, и даже газеты читал урывками и не ежедневно. А здесь в первый же день, когда Санаев спросил, что происходит на воле, и он не смог ответить ничего вразумительного, Алеша искренне пожалел, что знает о политической жизни страны немногим больше рядового колхозника. С какой неудержимой жадностью впился бы он сейчас в страницы «Правды», «Известий» или хотя бы тульского «Коммунара»! Но сейчас это стало совсем невозможным. Подследственным газет не давали.

Подследственным не давали не только газет. В те страшные годы им не давали и книг. Жуткое, томительное безделье, применяемое наряду с другими, более грубыми методами воздействия, считалось обычной, официально дозволенной мерой, способной более или менее быстро довести до отчаяния ни в чем не виновного, но тем не менее посаженного интеллектуала. Тому же был призван служить и особый тюремный режим. Все делалось, чтобы как можно скорее изнищить душу страдальца, чтобы его запугать, сломать его волю и стойкость, довести до отчаяния и, когда наступят полная безнадежность, безразличие и равнодушие к жизни, вырвать у него ложные, клеветнические показания – и на себя, и на других ни в чем не повинных людей.

Именно поэтому и держали подследственных в Орловской тюрьме на голом асфальтовом полу. Именно поэтому и морили их голодом, выдавая не обычную, а карцерную норму хлеба, именно поэтому и подсаживали их в особо ужасные камеры с урками, бытовиками, малолетками и умирающими больными. Поэтому-то и не давали им книг, прогулок, передач, права приобретать что-нибудь из

питания или одежды в тюремных ларьках, не оказывали им необходимой медицинской помощи, не принимали жалоб и заявлений и тщательно пресекали любые попытки сообщить на волю о том, что творится внутри.

И подавляющее большинство не выдерживало невыносимого режима и широко применяемых методов морального и физического изматывания, а не выдержав, гибло или становилось покорным. В последнем случае подследственные писали и подписывали все, что требовали от них их мучители.

Алеша сомневался, слыша такие рассказы:

– Не может этого быть!.. Вранье! Клевета!.. Разве мог бы жить человек, подписав такое?!. Отвращение к жизни его бы заело, как бы он ни был измучен физически и искалечен духовно, как бы ни был он сломан и изуродован...

Но нет! Так не бывало. Проходили дни и недели, и время лечило несчастных.

С неподражаемым спокойствием вспоминал о содеянном старый орловский врач Королев.

– Да, подписал, – говорил он, – а что я мог сделать?!. Заставили!.. И даже не очень терзали. Я, как увидел, что делают, прямо сказал: «Знаете что? Я – старик, у меня – склероз мозга. Имен и фамилий я уже не помню. Пишите то, что вам надо, а я подпишу»... И подписал!.. Вы думаете – оттого что я подписал, кому-то стало больнее? Ничего подобного! Мы взрослые люди: каждый понимает, что если у вас вымогают показания на какого-нибудь Иванова, то это значит, что он обречен. Не лично у вас, так у другого подпись все-таки вырвут. Сопротивление бесполезно. Почему я должен погибнуть за какого-то там Иванова? Мне уже семьдесят лет! Боец из меня никакой, но жить я хочу!.. Пусть даже – в лагере или тюрьме. Умереть успеешь всегда.

Другие относились к происшедшему гораздо трагичней.

Четверо суток, лишь время от времени погружаясь в короткий, минутами длящийся сон, пытался бродить по камере Семен Станиславович Лепестков – начальник крупной строительной организации города. Он не выдержал многосуточной пытки отсутствием сна, не выдержал насилия, побоев, угроз и сменяющих их иудиных ласк и уговоров. Он сломался и согласился на подлость. Шестьдесят четыре листа нормальной писчей бумаги исписал он под диктовку следователей и собственного воображения. Если бы не бездарность литературной формы, его творение могло бы стать увлекательным детективным романом. Он сотворил в нем большую и разветвленную антисоветскую организацию, построенную по принципу строго законспирированных троек, с особой программой, уставом и координационным центром. Уподобляясь советнику Попову – «как люди в страхе гадки!» – он назвал членами этой организации не только тех, кого знал, кого видел, с кем дружил, но и незнакомых, известных ему лишь по газетам руководящих работников, артистов и журналистов.

Он писал, а следователь, – любующийся собой красавчик лет двадцати с чем-то, – сидя напротив, непрерывно корректировал его «творчество» и не давал ему уклоняться:

– Не пиши Свистунова!.. Тебе говорят – не пиши!.. И Петрова не надо... Запиши Сидоренко!.. И Хрусталькова!.. Кем?.. Да все равно кем!.. Постой-ка, он ведь из Ливен! Ну, вот и давай его резидентом Ливенской группы... Что ты пишешь, идиот, мать-матъ-мать-перемать, что ты пишешь?!. Кто ж так пишет: «могло вызвать»?.. Давай, переписывай! Пиши – «вызвало!» Пиши, пиши! Не отвлекайся!

И Лепестков писал. А попав в камеру и проспав несколько часов подряд, проснулся, схватил себя за голову и завыл:

– Что я наде-елал! Что я наде-елал!

На него заругались, закричали, и он замолк. Замолк, встал и пошел бродить, наступая в тесноте на руки и ноги сидящих и лежащих людей.

– Вопрос ясен! – бормотал он окающим своим голоском. – Вопрос ясен. Получу десять лет, отбуду, уеду в Крым, разведу свиней, и никто не узнает: был Лепестков, нет Лепесткова.

Он кончал свою нехитрую мысль, уходил еще глубже в себя и вновь начинал канючить:

– Вопрос ясен!..

В камере думали, что он помешался, но прошло четверо суток, и Лепестков пришел в себя. С жадностью съел он две пайки хлеба, к которым не прикасался все эти дни, выпил несколько кружек воды и, так как дело происходило вечером, вызвался принять участие в очередном самодеятельном «вечере смеха».

И камера слушала, как он, все еще в состоянии человека, прыгающего очертя голову в воду, декламировал непристойную поэму Баркова, и весело хохотала. Его не презирали. И не осуждали. Его – понимали. Ему сочувствовали, сочувствовали потому, что редко кто переносил и выдерживал «допрос с бубенцами». Так называли в Орле запрещенное советскими законами, но разрешенное Сталиным «физическое воздействие» при допросах.

Камера слушала непотребные строчки и от души веселилась, но подследственным нравилась не только одна порнография. Отнюдь нет. Когда Ильин, уступая просьбам сокамерников, решился рассказывать «Анну Каренину» и, в продолжение нескольких вечеров подряд, с волнением и искренностью передавал на память ее содержание, в камере стояла тишина. Люди слушали чуть ли не с открытыми ртами. Слушали и – переживали.

И с таким же интересом слушали они впоследствии и «Преступление и наказание», и толстовское «Воскресение», и пушкинских «Братьев-разбойников», и многочисленные стихотворения разных поэтов, и «Отверженных» Виктора Гюго. Избранные шедевры мировой литературы будили мысль, отвлекали от убивающей тоски и ощущения обреченности, давали возможность – пусть на короткое время – забыть о невыносимых терзаниях и излить из себя хоть несколько капель переполняющего людей наводнения чувств.

Многие, очень многие нуждаются в таких излияниях. Они не могут оставаться одни, им органически необходимо общение с себе подобными, и заключение в одиночку наполняет их ужасом и страхом. Даже в общих камерах они стремятся расширить круг своих связей, пытаются выглянуть в окно, хотя по окнам в таких случаях стреляют, пробуют установить контакт с соседями и, несмотря на то, что за это сажают в карцер, подкинуть записочку или оставить какой-нибудь знак на стене.

Вероятно, поэтому и появляются в тюрьмах многочисленные надписи и на стенах, и на полах, и на косяках окон и дверей, и на других, самых невероятных местах. Их делают многие. Одни – для того, чтобы подать о себе весточку старым и новым тюремным знакомым. Другие – в надежде, что написанное рано или поздно выйдет за стены тюрьмы и дойдет до родных и товарищей. Третьи – «так», для того, чтобы вылить из души смятение и ужас, осудить тюрьму и проклясть того, кто ее выдумал.

– «Здесь сидел Иванов...» – «Здесь сидел Александров...» – «Остерегайтесь Маруську Гаврилову, она продает». – «Меня приговорили к расстрелу. Умираю безвинно. Скажите матери – пусть не горюет. Прощайте! Федор Скворцов из Ельца». – «Пусть будет проклят тот отныне и до века, кто захотел тюрьмой исправить человека!»

Кому из прошедших сквозь тюрьмы незнакома последняя сентенционная надпись? Ее можно встретить в любой тюрьме, в любом городе. Ее писали, как правило, те, кто попроще, но виновниками появления надписей были не только они. Надписи делали и интеллигенты, умудренные опытом жизни, знакомые с

выдающимися произведениями человеческой мысли, те, кто не мог обойтись без литературных аналогий и цитат из великих поэтов.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий!» – было нацарапано кусочком стекла на входных дверях первого корпуса. Кто, как и когда сумел начертать тут слова из Дантова «Ада»? На первый взгляд здесь все исключало возможность их появления, и Ильин, попав несколько месяцев спустя в этот корпус, долго ломал себе голову над этой загадкой. А случилось это, надо полагать, так: подвел конвоир арестанта к закрытым дверям и почему-то оставил его одного. Факт почти невероятный, но, наверное, иначе быть не могло.

И скорее всего, только так могла появиться на перилах мостика, соединяющего две взаимно противоположных галереи третьего этажа того же корпуса одиночек, глубоко процарапанное название «Мост вздохов».

А в бане, в предбаннике, видел Ильин большую, выведенную красивыми буквами надпись: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!»

Ее сделала, как говорили, девушка, кавежединка, которую многие знали на воле. Она хотела ободрить друзей, сидящих в других камерах и других корпусах, и, хотя ее посадили за это в карцер, пушкинские слова долго напоминали измученным людям, что беззаконие и произвол вечно длиться не могут.

И еще одна надпись, зовущая к борьбе за человеческое достоинство и сопротивлению злым стихиям, сделанная в самой камере, на стене, прямо над головой Ильина, привлекла его взволнованное внимание: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый миг за них идет на бой!»

Он не сразу понял – почему так мучительно близки и знакомы ему эти слова? Где он их читал? Где видел? Лишь через несколько минут, словно выхваченная из темноты внезапно зажегшимся ярким светом, ожила перед его мысленным взором страница моргуновского письма, показанная ему в свое время Марусей.

– «Господи! Да ведь это же слова Марусиного мужа! Каким образом они очутились здесь? Разве Моргунов сидел когда-нибудь в Орловском централе?.. В этой камере?.. Неужели это могло быть?.. Какие еще невидимые нити, кроме безмерной любви к Марусе, связывают нас, не знакомых друг с другом людей, в один человеческий узел? Неужели судьба столкнула нас на чем-то еще?..»

Вновь читает Ильин таинственный текст и вспоминает письмо Моргунова. Александр Иванович написал, кажется, чуть по-другому: «каждый день», а не «каждый миг»! Теперь Ильин уже догадывается, что это – цитата. Но откуда она, и какое слово – «день» или «миг» является верным?

Старожил камеры, обитатель ее «Врачебной улицы», древний годами старик и совсем еще недавно всеми почитаемый орловский педиатр Королев, дает Алексею исчерпывающее разъяснение.

– Эх вы, молодежь! Да ведь это из Фауста! Чему вас только в школе учили? Да, да, слова самого Фауста, сказанные им в конце трагедии... Ай-яй-яй! Как же можно это не знать?!..

Что вы спрашиваете?.. «День» или «миг»? В переводе Холодковского написано «день», а тот, кто делал эту надпись, заменил его словом «миг». И правильно сделал! В наших условиях день – слишком много, все зависит от мига... Будьте уверены – не ошибаюсь! Знаю точно. Знаю, кто писал и что думал... Он давно на этапе... А вы под окном на полу посмотрите: он там тоже завещание оставил.

Ильин вгляделся и обнаружил нацарапанный на асфальте текст:

Здесь нужно, чтоб душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета.
Не верь, не бойся, не проси! Тогда
Избегнешь новых мук и нового навета.

– Первые две строчки – слова Вергилия из третьей песни «Ада», вторые – наши местные заповеди, которые выработала практика общения со следователями, – пояснил Ильину старый врач.

Алеша густо покраснел. Он вспомнил, что не смог в свое время осилить «Божественную комедию», и тут же дал себе слово, что если когда-нибудь выйдет на волю, то обязательно прочтет и ее, и Фауста, и многое-многое другое.

Сквозь дымку пережитого за последние месяцы проплыли перед ним туманные картины недавнего прошлого. Университет, биология, семинарские занятия, первые робкие попытки самостоятельных научных исследований, горячая любовь к так мало знаемой русской литературе, неудержимое стремление к Марусе. «Да, это и есть настоящая жизнь! Без этого – жить не стоит! Но...» Но он чувствует уже, что одной биологии и куцых обрывочных знаний из области российской словесности ему недостаточно. Одним ударом изменила тюрьма его психологию, расширила круг его интересов и заставила пытливо всматриваться в окружающий его странный, загадочный мир.

– «Как только я выйду на волю, – думает он, – я стану читать и читать... и Данте, и Гете, и все остальное... но... прежде всего... постараюсь... увидеть Марусю... Мне надо ей рассказать... Не знаю, собственно, что, но... все равно... надо».

Алеша не знает, что он расскажет Марусе. И не знает, что с ней происходит. А с Марусей творится неладное. Прошло три недели после того, как она попыталась – и не смогла – отравиться, а она все больна. Она не может ничем заниматься, не может сосредоточиться. В ней все напряглось, натянулось. И мысли непрерывно возвращаются к унизительному – для коллектива! – собранию, единогласно исключившему ее из комсомола.

Марусе, конечно, известно, что большинство в душе было против. Но они испугались и, откинув совесть и стыд, проголосовали «за». Они убеждали себя, что «так нужно», что любое несогласие с предложением «исключить» прозвучит как защита преступника, уличенного в «связи с врагами народа», а это было бы антипартийно: «И пусть тот, кто выступит против, субъективно прав на все сто, объективно выйдет не так. Объективно он будет лить воду на мельницу... знаете, чью!»

Много подобных фальшивых, поощряющих откровенную подлость, объяснений, формул и рассуждений создавалось в то время. Маруся сама, лично, слышала, как в вагоне метро один пассажир говорил тихонько другому:

– Субъективно Мерц – коммунист настоящий, бывший участник гражданской войны, он вне подозрений. Но Вергун, его друг и сослуживец, – враг народа: его взяли органы НКВД! Значит, Мерц ротозей, примиренец, у него притупилось чутье. Разве можно его защищать?!. Такая защита, я вам доложу, объективно была бы направлена – против! Партия нас призывает к борьбе с врагами народа, к усилению бдительности. А если такое прощать, то может случиться, что в ней – в неприступной крепости большевизма – останется кто-то сомнительный!.. Нет!.. Ну, его, Мерца, к богам! «Лес рубят – щепки летят!..» Да и, кроме того, нельзя забывать: «своя рубашка к телу ближе!»... Нет, я не могу, да и вам не советую. Пусть за него заступаются те, кто сильнее нас с вами!

Маруся похолодела, услышав такое, но в разговор не вмешалась: «Разве со мной поступили иначе?!. Что я могу?!. Кого упрекать?!.»

По всей стране развернулась борьба с «двурушничеством, лицемерием и фарисейством», на головы носителей этих трех зол ежедневно, ежечасно, ежеминутно обрушивались самые страшные проклятия, но непревзойденная высота, на которую вознеслись органы советской разведки, их всеми признанная непогрешимость и совершенно необъятная власть внушали такой страх и безволие, что большинство населения СССР, опасаясь репрессий, постоянно

кривило душой и, независимо от собственных взглядов, поддерживало и восхваляло все то, что, по его мнению, исходило от Сталина или от НКВД. И на этой почве семена зла все росли и росли, и давали пышные всходы, и стали могучими и мощными, всеобъемлющими и обычными явлениями. Что-что, а это Маруся узнала прекрасно.

Но Маруся не любит пустых разговоров и бесполезных психологических поисков в тайниках потерянных душ. В таких делах она непримирима. Она не хочет видеть подруг, не хочет слушать их жалкий лепет о «субъективном», «необъективном»; они ей стали противны. «На кой черт нужны мне тайная любовь одной, припрятываемое сочувствие другой, скрытая снисходительность третьей? К черту все! К черту всех!» Раствор веронала она сохранила. Он цел. Он хранится в плотно закрытой бутылке в запертом ящике письменного стола. На бутылке наклейка: «Осторожно! Яд!» Это на всякий случай: для взрослых. А от Иовиса убережет и замок. Ее братишка – парень хитрющий, охотно лезет куда не надо, но открывать запертые замки еще не научился.

Странное дело: бутылка с ядом помогает – жить. Ее наличие приносит уверенность, и Маруся ничего не боится. Ведь случись что-нибудь – несколько глотков, и – будьте здоровы! Но это – в случае чего, а пока Маруся хочет жить и бороться, и доказать всем «пресмыкающимся», что... Впрочем, что надо «доказывать», она и не знает. Ей невыразимо тяжело, тяжело и противно! Она хочет пойти в райком комсомола, написать письмо Косареву, написать обо всем; о низости, о гадости, о вероломстве и двурушничестве, о том, что ей душно в такой обстановке, но у нее ничего не получается. Она не может писать, не может читать, не может заниматься. И даже длительная ходьба пешком и далекие прогулки на лыжах не приносят желанного облегчения.

Она осунулась, похудела, ее нос заострился, щеки ввалились, глаза блестят, как у лихорадочного больного, а мысли, мысли... «О мыслях лучше не думать! Да и вообще, лучше не думать совсем!»

Рано утром бредет она по улице, не зная, куда сегодня направиться, куда податься. Ее не интересует теперь ничего, С двадцать седьмого числа, с самого дня исключения, она ни разу не читала газет, и ей странно смотреть на людей, почему-то осаждающих газетный киоск. «Ну, что они там потеряли? Что им нужно? Подумаешь – политики!.. Зачем им газеты?! «Что нового покажет мне Москва?..»

Но люди продолжают толпиться, задерживаются, читают. И очередь у киоска не уменьшается.

Маруся проходит мимо. До нее долетают отдельные слова: «Пленум... Постышев... Постановление...» – «Ну, что там еще?!»

Общий интерес ее заражает. Она останавливается, встает в очередь и, подойдя к прилавку, покупает «Правду».

«Информационное сообщение... состоялся пленум... Пленум освободил тов. Постышева из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б)...»

– Гм! Странная формулировка: «Освободил из состава». Звучит не по-русски! Как это надо понимать? Вывел из состава? Интересно, в чем дело?.. А может, и – он?!. – Маруся не додумывает. Ее взгляд скользит дальше, вниз, и на усталое, заторможенное сознание снисходит, наконец, озарение:

– Господи! Кажется, здесь что-то действительно важное!

Торопясь, перескакивая через строчки, обгоняя свои собственные мысли, читает она Постановление Пленума ЦК ВКП(б): «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов... О формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных... Отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключенных из партии... Застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности, путем применения огульных репрессий... Преступно-легкомысленное отношение к судьбе членов партии...»

– Боже мой! Да ведь это – целая революция!.. Если бы только так!.. А почему ни слова о комсомольцах?.. Хотя... по аналогии!

Маруся стоит и читает. Замерзли ноги, закоченели руки, а кругом – толпа. Люди бегут и хватают газеты, обмениваются друг с другом переливающимися через край впечатлениями:

– А вот это читали?.. Прочтите вот здесь!.. И вот здесь!.. Видите: «запретить...»

Пожилой мужчина снимает шапку и истово крестится.

– Слава тебе, Господи!.. Слава тебе!..

Маруся улыбается: «Уж не один ли из необоснованно исключенных!.. Или он тоже – по аналогии?!»

«Хватить стоять! Надо действовать!» Теперь Маруся знает, куда ей идти! В райком комсомола! Скорее! Надо узнать. Ведь прошло целых двадцать два дня! Двадцать два дня! А ее так и не вызвали! И она до сих пор ничего не знает!

Она спешит. «Надо немного согреться!» Ей кажется, что она превратилась в ледышку. Но сердце стучит, и бешеное возбуждение несет ее все быстрей и быстрей к знакомому зданию райкома.

Секретарь занят. Он не принимает.

– А чего тебе надо? Почему именно к секретарю? Обратись сначала к инструктору!

Нет, к инструктору Маруся обращаться не будет! «Секретарь занят? Ладно, подожду. Буду ждать день, вечер, ночь. Мне все равно! Когда-нибудь он ведь освободится!»

И вот она в кабинете секретаря.

– Погоди галдеть! Я так ничего не пойму. Как твоя фамилия?.. Северцева?.. Из МГУ?.. Так бы и говорила!.. Знакомились мы с твоим делом. Смотрели его. Совершенно неосновательное исключение, райком его утверждать не станет... Все мы, конечно, тут дров наломали... Да не только сегодняшнее постановление... давно уж... Что значит давно?.. Ну, хотя бы 10 января, в «Правде»... «О фальшивой бдительности». Читала?.. Нет?.. Напрасно!.. Комсомольские дела по Таджикистану. Поисключали там за связь с сестрой, с дедом. Дела вроде твоего... И еще несколько статей, ну, и Постановление, конечно!.. Ладно, иди, учись! Мы дело вернем! Иди, иди, не беспокойся!

Маруся молча вышла из кабинета. Хотела попрощаться, поблагодарить. Не смогла! В горле стал плотный, тяжелый комок. Рот не раскроешь.

На улице она отдышалась. Тяжесть исчезла. Настроение стало прекрасным, но – удивительно! – счастья не ощущалось. Не было счастья. Не было даже простой человеческой радости. Просто – исчезла тяжесть!

Не одна Маруся почувствовала в эти дни громадное облегчение. Во всей стране, на всей территории одной шестой части мира, люди вздохнули свободнее. Казалось, что Постановление подрезало крылья перестраховщикам и карьеристам, одернуло демагогов, поставило судьбы отдельных людей в число явлений, требующих человеческого внимания. Люди радовались, и многие полагали, что теперь «все уже кончилось».

Они еще не знали, что Постановление не изменило «порядка», в силу которого безотчетная и безапелляционная власть над их судьбами в конечном счете принадлежала всемогущему и никем не контролируемому НКВД.

Судьба Маруси все же изменилась. Она не только уцелела и осталась на воле, но снова стала собой и обрела возможность жить и учиться. И никто не смог объяснить, почему улыбнулась ей ветреная Фортуна. Ведь сотни тысяч подобных ей женщин испытали на себе в те горькие годы кошмары и ужасы тюрем, ссылок и лагерей, ведь миллионы ни в чем не повинных людей, заполнявших ко дню издания Постановления многочисленные тюрьмы и лагери, не почувствовали никакого облегчения. Хуже того: им стало еще тяжелее, потому что в эти самые

дни резко ухудшился тюремный режим, шире стали применяться пытки и истязания, вошел в обиход гнусный, ничем не сдерживаемый садистский произвол.

13 января 1938 года всех арестованных по пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса в Орловской тюрьме перевели на карцерную норму хлеба. Ларьки и передачи запретили. Резко ухудшили обращение. В помощь изнемогающим от перегрузки следователям подбросили пограничников, а те били подряд, били жестоко. И невиновные люди, выбирая между обещаемой жизнью и смертью от побоев, в реальность которой они, как правило, верили, подписывали фантастические признания в совершении сказочных преступлений и легендарных злодейств.

И по лагерям в это время катился поток чудовищного произвола. В отношении пятьдесят восьмой, в отношении так называемых «врагов народа», стало позволено все. Их снимали с работ по специальности и с любых должностей в аппарате или обслуге. Кто бы ты ни был – только тяжелый физический труд. Если есть силы – живи, а невмоготу – погибай! Невыполнимые нормы, штрафные пайки, суровый режим и плохое питание, цинга и пеллагра, террор уркаганов, грубость начальства и вохровцев, моральные травмы, – все добивало без вины виноватых «врагов». С каждым днем ухудшалось их положение, и с каждым часом прояснялись их ум и сознание. Только фанатики и лицемеры еще утверждали, что «Сталин об этом не знает». В лагеря стекались люди со всех концов необъятной страны, и от них становилось известно, что беззаконие воцарилось везде. Одни и те же «методы», строжайше запрещенные человеческой моралью, уголовными законами всех советских республик и цивилизованных западных стран, применялись повсюду.

Это могло быть только в том случае, если они исходили от Сталина, и подавляющее большинство заключенных поняло это. Уже в 1937–1938 годах они развенчали кумира, возненавидев его и оценив по делам его мнительность, трусость и подозрительность.

XVIII

Докатился поток произвола и до Воркуты. В ней он обрушился, в первую очередь, на «ортодоксов», – тех, кого называли троцкистами. С ними совсем перестали считаться. От всего, что было недавно достигнуто путем голодовки, уже к маю тридцать седьмого ничего не осталось, но начальство этим не ограничилось. Выполняя высшую волю, оно прижимало зека все больше и больше, и в августе сделало новый «решительный» шаг. Началась концентрация оппозиционеров – сначала участников голодовки, а потом и всех остальных – на Кирпичном заводе.

Поздно ночью входили в барак два–три человека. Направлялись прямо к намеченной жертве. Будили: «Тише! Ни звука!.. Быстро, с вещами! Оденьтесь и следуйте за нами!.. Без шума!..»

И люди вставали и шли: «А что будешь делать?! От судьбы и от кума никуда не уйдешь!» Их собирали в конторе или в отдельном бараке и уводили пешком, под конвоем.

Не все это делали молча. Большинство, несмотря на запрет, шумело, кричало, прощалось, и об арестах становилось известно немедленно. Тягостная тревога охватила все население ОЛПа. Каждый невольно думал о себе.

– А почему бы и нет?! Чем я лучше, к примеру, Кучина или Пергамента?!

Люди испытывают постоянное беспокойство и страх. Они жадно вслушиваются в хриплые голоса репродукторов: «Не сообщат ли они что-нибудь?» Другой связи с миром у заключенных практически нет.

Так и сегодня.

Моргунов сидит в бараке вблизи висящей под потолком черной тарелки громкоговорителя и внимательно слушает. Из Москвы, из Большого театра, транслируют торжественно-траурное заседание, посвященное 14-й годовщине со дня смерти Ленина. Зал переполнен. На трибуне Жданов. Он подводит итоги истекшего года.

«Выборы показали, что морально-политическое единство советского народа вокруг дела Ленина – Сталина есть неопровержимый факт. Выборы показали, что наш народ абсолютно единодушен в своем безграничном доверии к великой партии Ленина – Сталина».

Сталин сидит в президиуме. К нему – земному богу – тянутся взгляды людей, находящихся в зале. Он – средоточие всех интересов и помыслов.

В бараке людно, но тихо. Стоя, сидя, лежа на нарах, боясь пропустить хоть единое слово, слушают все и мысленно смотрят на Сталина: «Не скажет ли он что-нибудь?!» Но Сталин молчит.

«Его ничуть не смущает такое кощунственное соединение двух столь различных фамилий, как Ленин и Сталин, в единое слово, пишущееся через тире, – с возмущением думает уже начавший в кое-чем разбираться Александр Сергеевич. – Ему надо было бы выступить и заявить: «Товарищи, бросьте! Опомнитесь! Аз же есмь червь! Я лишь недостойный служитель могучего авангарда рабочего класса, организованного гением Ленина, ответственный партийный работник и – только! Сила коммунистической партии не во мне, а в массах, ею ведомых, в коллективе, ее составляющем».

Нет, конечно, с таким призывом Сталин не выступит. Ослепленный властью, жадный до славы, он хочет значительно большего. Он прибирает к рукам лавры Ленина. Не случайно же назвал его – Сталина! – один из приближенных льстецов «создателем (!) великого советского государства». Сталин не опроверг, не исправил ошибку. Он упорно лезет по лестнице славы наверх, лезет, безжалостно сталкивая с своего пути друзей и соратников, опорочивая, охаивая и физически уничтожая их; лезет, ведя атаку на пугающие его народные массы, и требует от них – всей созданной вокруг его имени обстановкой – все более восторженных восхвалений.

И его желание исполняется: хор славословия становится гуще и громче. Он будет нарастать и в дальнейшем, и Сталин не пожалеет ни сил, ни стараний, чтоб увеличить его. Сделать это нетрудно. Вокруг подхалимов достаточно.

«1937 год войдет в историю выполнения ленинских заветов и предначертаний как год разгрома врагов народа. 1937 год войдет в историю как год вооружения против наиболее хитрых и коварных методов борьбы врагов народа. 1937 год войдет в историю как год, когда наша партия нанесла сокрушительный удар врагам всех мастей, когда наша партия стала крепкой и сильной в борьбе с врагами народа...» – продолжает звучать в Большом театре голос Андрея Александровича Жданова, и радио передает его слова всему свету.

Репродукторы разносят по миру бурю аплодисментов и шквалы оваций. Аплодируют и рядовые участники заседания, и члены его президиума, и сам Сталин. И среди аплодирующих – Станислав Викентьевич Косиор, Влас Яковлевич Чубарь, Роберт Индрикович Эйхе, Валерий Иванович Межлаук, Александр Васильевич Косарев, Александр Иванович Угаров, Василий Константинович Блюхер, Николай Алексеевич Вознесенский и многие-многие другие. Может быть, они не знают, что массовое существование «врагов народа» – плод больной фантазии Сталина, что оказаться в рядах этих мнимых врагов проще пареной репы? Знают, конечно, предпочитая молчать и поддакивать: ведь достаточно Сталину или Ежову «заподозрить» кого бы то ни было – а «заподозрить» могли ведь и их! – и песенка спета! За доказательствами дело не станет. Не успеешь оглянуться, как их создадут.

И строители «светлого завтра» аплодируют и возглашают здравицы «гениальному вождю и учителю», не зная, что близок их час, что смерть уже замахнулась на них своей острой и длинной косой.

Присутствующие аплодируют Сталину, аплодируют невиданным достижениям славной советской разведки, бурному росту народного хозяйства СССР, расширяющемуся стахановскому движению, небывалому до сих пор урожаю.

«В 1937 году урожай зерна с колхозных и совхозных полей уже составил 7 миллиардов пудов», – доложил заседанию Жданов.

И каждый ликует. Никто не забыл речь товарища Сталина, произнесенную им в декабре тридцать пятого года.

«В старое время до революции, – сказал тогда Сталин, – в нашей стране производилось зерна около 4–5 миллиардов пудов в год. Мы должны уже теперь готовиться к тому, чтобы довести в ближайшем будущем, года через три–четыре, ежегодное производство хлеба до 7–8 миллиардов пудов».

Прошло всего лишь два года, а задача уже решена! Есть семь миллиардов пудов! Вот что значит призыв «гениального зодчего»! И это не все! Итоговая цифра еще увеличится.

Само собой разумеется, что именно так и случилось. Через какое-то время Госплан опубликовал окончательные результаты: «Сбор зерновых культур в 1937 году составил 7344 млн. пудов против 4266 млн. пудов в 1932 году».

Урожай 1937 года действительно был небывалым, и такая его оценка останется верной даже тогда, когда в ЦСУ подсчитают, что валовой сбор зерновых в 1937 году, если считать не на корню, а в амбарах, составил 5947 миллионов пудов. Куда девались еще миллиард триста девяносто семь миллионов пудов, не имеет значения. То ли кто-то ошибся в подсчетах, то ли ветер развеял зерно, то ли хлеб в поле остался. Опасно быть любопытным! Надо верить, раз говорят, что народ указания Сталина выполнил и сам же об этом узнал своевременно. Сталину слава!

Говорить на торжественном заседании, пусть даже и траурном, о разных неудачах не принято. Торжество есть торжество, и не дело портить его неприятностями. Вероятно, поэтому и не сказал Андрей Александрович с высокой трибуны, что тяжелая промышленность СССР выполнила план 1937 года только на 89 %, что самые важные и решающие отрасли – чугун, сталь, прокат, добыча угля и руды, производство электроэнергии, цемента, труб – стали работать в этом году значительно хуже обычного, что, несмотря на гигантские капиталовложения и ввод дополнительных мощностей, эти отрасли дали самые низкие темпы годового прироста за весь период социалистического строительства.

Пятнадцать процентов прироста по отношению к предыдущему году имела страна по выплавке чугуна в 1933 году, сорок семь процентов – в 34-м, двадцать – в 35-м, пятнадцать в 36-м, ноль целых шесть десятых процента в 37-м! Шестнадцать, сорок один, тридцать, еще раз тридцать и... восемь (!) – соответственные цифры по стали; 14, 39, 34, 32 и... 4 (!) по прокату; 19, 23, 16, 16 и 0,9 по углю, и так далее, и так далее.

Гигантские изъятия руководящих и инженерно-технических кадров в отраслях, требующих особо квалифицированного руководства, не могли остаться бесследными. Сталин и Ежов объясняли ухудшение работы промышленности, – которое было невозможно скрыть от народа, – деятельностью вредителей и диверсантов, а на самом деле оно было естественным результатом безудержных арестов, по нескольку раз подряд обезглавливавших промышленные предприятия и вносивших сумятицу и хаос в их повседневную деятельность. Новые руководители, назначаемые на место арестованных, не имели, как правило, надлежащего опыта; они пытались идти по пути руководства наощупь, но сбивались с дороги и в скором времени следовали за своими предшественниками, наполняя тюрьмы и лагеря.

И только органы советской разведки, превращенные Сталиным в форпосты наступления на безвинный народ, все шире расправляли свои черные крылья. Они заслоняли советским людям свет человеческой мысли, сеяли среди них неуверенность и безнадежность и отбрасывали на землю густую и темную тень.

Под эту тень попадали не только высшие руководители, не только члены Политбюро и ЦК. Они ведь играли роль «генералов заговоров». А генералам положена армия, иначе – какие же они командиры! И «героическими» стараниями «славных чекистов» армии им создавались: с офицерским составом и штабами, боевыми частями и подразделениями. Кадры, как и всегда, набирались из гущи народа.

Ходит иногда на воле какой-нибудь Моргунов, Петухов или Ильин; ни о какой контрреволюции знать не знает и ведать не ведает, думает по простоте душевной, что он коммунист, комсомолец или просто беспартийный строитель социализма; учится, работает, служит, пишет научные труды, а иногда рассказы и стихотворения, бывает на собраниях, аплодирует при каждом упоминании имени Сталина, живет, как все люди живут, радуется жизни и не предвидит несчастья. В тюрьме про таких очень часто острили:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

И вдруг хватают наивного простачка за некое место и сажают в тюрьму, а там он от следователя узнает, что никакой он не простой человек, а самый настоящий «враг народа», что он солдат, а то и офицер армии такого-то «генерала». Он узнает, что еще в раннем детстве не верил в творческие силы пролетариата, чуточку позже мечтал о поражении Советского Союза в грядущей войне, а вступив в комсомол и маскируя активным участием в общественной работе свое контрреволюционное нутро, намеревался реставрировать капитализм в СССР и отторгнуть от него Украину, Приморье и Закавказье.

И так убедительно «доказывали» ему неопровержимость перечисленных «фактов», что только пренебрегающий своей бренной жизнью фанатик не хватался немедленно за перо, чтобы написать или хотя бы подписать «чистосердечное признание».

Убедить невиновного человека в том, что он совершил преступление, и заставить «признаться» не так уж, вероятно, и трудно. Порфирий Петрович Миколку не бил, не пытал, на многосуточных сидках не выдерживал, а Миколка бухнулся на колени и заявил: «Я убивец... я убил... топором... заранее припас... омрачение нашло». Да и Карамазов, Дмитрий Федорович, – не Миколке чета, человек окультуренный и отнюдь не забитый, – а как дошел до «последней степени раздражения», так и «признался»: «схватил – мол – с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего... Федора Павловича... ударом по голове».

С тех пор прошло три четверти века. Цивилизация шла, не останавливаясь, и искусство «убеждать» невиновных тоже не стояло на месте. Прогресс брал свое во всех областях, и к концу тридцатых годов мастера наводить «омрачение» достигли высокого совершенства. Лишь единицы не поддавались их «чарам».

Моргунов успел проскочить через следствие без «бубенцов», а Ильину предстояло испить полную чашу страданий. В морозные январские дни, когда шло заседание в Большом театре в Москве, он сидел в Орловском централе и пока мало что понимал. Кругом было много людей. Неужели всех взяли без дела? А может быть, это неправда? Может быть, каждый из них в чем-нибудь виноват, а Алеша один – по ошибке?

XIX

Орловская тюрьма, созданная на базе знаменитого в царское время каторжного централа, снискавшего себе мировую известность чудовищными истязаниями заключенных, того самого централа, в котором погибло много передовых людей дореволюционной России и в котором в 1915–16 годах сидел Феликс Эдмундович Дзержинский, ко дню водворения в нее Ильина представляла собой огромный тюремный комбинат с множеством корпусов и административно-хозяйственных построек. Высокая кирпичная стена, побеленная известкой, отгораживала их от внешнего мира, а внутри – опять шли стены и стены. Они разделяли территорию тюремного городка на отдельные, изолированные друг от друга участки, для сообщения между которыми имелись охраняемые часовыми, постоянно запертые ворота.

Второй корпус, самый большой среди зданий орловской тюрьмы, – угрюмая, массивная, четырехэтажная громада, – находился в непосредственной близости от главных ворот. Он стоял торцом к внешней стене и смотрел южным фасадом на город, а северным на Троицкое кладбище. И в этот корпус, на четвертый этаж, в камеру № 26, посадили привезенного из Тулы Алексея Андреевича Ильина.

Окна двадцать шестой выходили на юг – гигантские, залитые солнцем окна, расчерченные прямоугольными клетками железных решеток. Они неудержимо влекли к себе запертых в камере арестантов, но подходить к ним было опасно. Часовые, дежурящие на вышках, укрепленных на всех углах внешних и внутренних стен, – «попки», как презрительно называли их заключенные, – получили приказ стрелять в людей, выглядывающих из окон, и, по-видимому, выполняли его не за страх, а за совесть. Во всяком случае, потолок камеры носил на себе явные следы пуль, прилетевших снаружи.

Подходить к окнам, касаться решеток руками категорически запрещалось, но Ильину при помощи новых друзей, на плечи которых он взгромоздился, все же удалось посмотреть вдаль. Он увидел город, лежащий где-то внизу, увидел узенькую ленту реки, и совсем на горизонте – вокзал и дымки паровозов.

Нет, лучше бы не глядел он в открытое окно: опять больно заныло в груди, опять тоска и ужас овладели им, и мучительно захотелось оказаться на воле.

– Если бы меня освободили, я ушел бы отсюда пешком, – тихо вымолвил он, – уполз бы на карачках, на брюхе.

И те, кто расслышал его, молча с ним согласились.

И еще не раз выглядывал Алеша в громадные окна. Он смотрел на далекий горизонт и на крыши домов, на дымы паровозов и труб и на ниточки улиц и переулков. Он видел багровую полосу утренней зари, и предвечерние отражения заката, и черные силуэты обнаженных деревьев, и где-то, в самой дальней дали, степной зимний простор пригородов Орла.

Он смотрел не только вдаль. Он опускал глаза вниз и видел справа от себя и тюремную стену, и вышку с «попугаем» на ней, и большие тяжелые ворота, а за воротами – на воле! – толпу несчастных людей, в большинстве своем – женщин, приходящих сюда за несколько часов до рассвета и дежурящих у входа в тюрьму, чтобы – в который раз! – попытаться узнать о посаженных близких и передать им посылочку или передачу.

А прямо перед глазами располагался тюремный двор, разделенный стенами на три самостоятельных отсека с пустыми деревянными вагончиками для прогулок в каждом из них. В правом из отсеков, перпендикулярно к линии окон, из которых смотрел Ильин, темнел вытянутый в длину кирпичный двухэтажный корпус номер семь, в левом – повернутый наискосок, из такого же красного кирпича с чисто расшитыми швами, трехэтажный, навевающий уныние и страх корпус номер один, в объемистом нутре которого помещались сто восемьдесят четыре одиночные камеры. На ближней, выступающей вперед стене этого корпуса

красовался выложенный в ней, в форме своеобразного архитектурного украшения, большой, во все три этажа, кирпичный же, восьмиконечный выпуклый крест, глядя на который, заключенные мрачно шутили, что он поставлен над всеми, входящими под его сень. В этой части первого корпуса находилась когда-то тюремная церковь; в ней когда-то молились и осужденные на царскую каторгу лучшие люди России, и ханжествующие и лицемерные начальники-звери.

Теперь здесь не молились и не издевались над верой в Христа. Помещение церкви перестроили в новые камеры и, может быть, именно в них посадили бывших орловских тюремщиков. Все изменилось. Миновал, отпечатавшись в памяти многих, двадцатый год революции. В стране действовала «самая демократическая в мире Сталинская Конституция». Осуществились первые выборы в Верховный Совет СССР, впервые в истории Советского государства они были «всеобщими, прямыми и равными», и проводились «при тайном голосовании». Такая формула позволяла не упоминать о буржуазно-демократической «четыреххвостке» («всеобщие, прямые, равные и тайные») – мечте всех революционеров царского времени. И хотя советские избиратели очень изумились, увидев в своих бюллетенях лишь одного кандидата, 99% из них проголосовали «за».

Казалось – сбылись мечты лучших людей. Казалось – не зря погибали в неравной борьбе с тюремщиками узники Орловского каторжного централа, не зря лилась кровь на баррикадах трех революций и на многочисленных фронтах гражданской войны, не зря перенес советский народ голод, холод и лишения первых трудных лет героической борьбы за власть Советов. Все изменилось. Но – о, необъяснимый парадокс! – в камерах Орловского централа сидело теперь гораздо больше настоящих революционеров, чем это было во времена свергнутой царской власти.

«Что же такое случилось в стране? – начал думать Ильин, у которого в камере «зашевелились мозги». – Почему здесь так много сидящих? За что посадили кавежединцев, айсоров, работников «Заготзерна», секретарей райкомов, председателей городских и сельских советов? За что посадили меня самого?»

Никто в камере не мог или не хотел отвечать на такие вопросы, и только старый орловский врач Королев, внимательно посмотрев на Алешу и, очевидно, поверив в отсутствие у него провокационных намерений, не особенно внятно произнес на латыни:

– Ad majorem Dei gloriam.

Увидев удивленное лицо Ильина, он повторил сказанное по-русски:

– К вящей славе Господней.

Алеша не понял опять, и Георгий Михайлович, искоса посматривая на неслушающих соседей и наклоняясь поближе к уху Ильина, чуть слышным шепотком разъяснил ему ход своих мыслей:

– Я в толк никак не возьму, чему вас – молодых – теперь учат, чем вы интересуетесь. Вы не знаете фактов всемирной истории!.. Как так неправда?!. Ах, так?!. Не смею спорить! Пусть я буду не прав! Тогда скажите, пожалуйста, что вы знаете об Ордене иезуитов!.. Ничего?.. Это, смею заметить, не так уж и много, можно было бы знать хоть чуточку больше...

Ну ладно, не будем пререкаться! Скажите мне, что вы слышали о книге Эжена Сю «Вечный жид», ее недавно издали у нас под названием «Агасфер»?.. Ничего не слыхали?.. Этого можно было ожидать!.. «Агасфер», осмелюсь доложить, очень большой и очень занимательный роман. В нем, конечно, много ерунды, но иезуиты изображены в нем – лучше не надо!.. Да, между прочим, почему это я – простой врач – должен знать больше вашего? Где справедливость?.. Да что вы мне говорите! При чем тут классическая гимназия? Вы думаете – мы Эжена Сю в

гимназии проходили?!. Наивный вы человек!.. Интересоваться надо! Читать!.. Да! Так на чем же мы остановились?.. На иезуитах! Очень хорошо!

Орден иезуитов, да будет вам известно, основал в 1534 году францисканский монах Игнатий Лойола. Официально его название – «Общество Иисуса», а само слов «иезуит» происходит от латинского – Jesu, значит Иисус. Задача ордена – борьба против происков сатаны и черных сил ада, а также защита чистоты и неприкосновенности католического вероучения, то есть, попросту говоря, укрепление папского церковного единодержавия и распространение католицизма во всем мире.

Орден имеет особую структуру управления. У него очень строгий устав. Во главе стоит пожизненно несменяемый генерал, так называемый «Черный папа», на которого члены Ордена должны смотреть «как на самого Христа» и во всем ему беспрекословно повиноваться.

Основной принцип Ордена – к вящей славе Господней, ad majorem Dei gloriam. Во имя этого принципа разрешается все: взаимная слежка и лицемерие, предательство, шпионаж, донос и клятвопреступление, убийство и любой другой смертный грех. Все позволено для вящей славы Бога.

Иезуит обязан повиноваться «Черному папе» и любому старшему по Ордену чину как труп, как палка или как шар из воска, которому можно придать любую желанную форму. Это точные слова их устава! У иезуита не может быть своей воли, симпатий, личной склонности и любви к чему бы то ни было, кроме Бога. Все без исключения чувства, даже такие, как любовь к родителям, к Родине, к страждущему человечеству, греховны, если они не подчинены интересам Ордена и его главного руководящего принципа – Ad majorem Dei gloriam.

Орден иезуитов – монашеский. Он создан во имя Бога, во имя Христа – самого смиренного и человеколюбивого бога на земле, но нет таких подлостей и преступлений против человека и человечества, которых не смог бы совершить иезуит во имя предписанного ему сверху понимания основного принципа Ордена.

Ну, а теперь судите сами: разве не прав я, когда говорю, что наши тюрьмы наполнились во имя того же иезуитского принципа. Если хотите безукоризненной точности, поставьте вместо слова Dei слово – Stalini – и все станет абсолютно понятным. Кроме того, слово можно и не менять. Ведь Сталин в изображении наших газет давно уже стал настоящим божеством. Так не все ли равно как кличут бога, – то ли «Иезус», то ли «Иозеф», – сущность одна: все равно это – Deis.

С ужасом слушал Ильин старого Королева. «Что он говорит?!. Что он такое говорит?!. Да как он смеет?!. Как он смеет говорить такие вещи про товарища Сталина, про этого гениальнейшего человека всех времен и народов?!. Какое кощунство – сопоставлять Сталина и массовые аресты! Причем тут Сталин? Если бы Сталин знал, что здесь творится, он давно бы... вмешался... он бы... пресек... А... мо... мо... может быть... не пресек бы?!. Может быть, это... он?!.»

Кровь бросилась в голову Ильину. Он в великом, великом смятении. Червь сомнения незаметно заполз в его душу.

– «А что, если Сталин... знает, что здесь творится?!. Что, если Сталин?..»

Нет, Ильин не может додумать... Слишком страшна для него самая мысль о том, что... Нет, он думать не будет, он не хочет... Не может этого быть! Не может! Не может!.. «Кругом меня – враги, настоящие враги народа, я один здесь ни в чем не виновен. Я в окружении... Я...»

И в эту минуту через незастекленный глазок в двери врывается голос пришедшего конвоира:

– Горшков Фома Пантелеевич! На допрос, живо!

Горшкова в камере нет, канцелярия, видно, ошиблась, и заключенные не упускают случая позубоскалить:

– Еще не поймали!.. В ресторан ушел!.. – кричат они конвоиру.

Тот возмущается и вызывает другого:

– Гнедой Иван Поликарпович!

Гнедого тоже не оказывается, и язвительные крики возобновляются с новой силой:

– Гнедой в отпуске!.. На бульваре гуляет!..

– На гнедом начальник тюрьмы к прокурору уехал, – солидным басом острит из угла какой-то маленький, задрипанный «заготклещ».

Камера хохочет. Ильин с ужасом оглядывается вокруг: «Где я, где?! Среди кого?! Куда я попал?!»

Но долго раздумывать не приходится. Вызовы на вечерний допрос начались. Одна за другой раздаются сквозь глазок фамилии арестантов, и вызванные люди, как правило, побледнев и немного съежившись, торопливо одеваются и выходят к дверям.

– Ильин Алексей Андреевич! Приготовиться на допрос!.. Живо!

И Ильин спускается с небес на землю.

XX

Опять «черный ворон», опять узкий коридор и одиночная кабина, и в ней опять холодно. На улице снег и мороз. Сильно бьется сердце, а в голове – пустота, и стучат по вискам невидимые маленькие молоточки – следы только что пережитого потрясения.

Рядом, в соседней кабинке, кто-то ворочается, и, когда конвоир на минуту выходит на двор, тихонько стучит Ильину.

– Кто вы, товарищ? Из какой камеры? – доносится до Алексея чуть слышный, почти исчезающий шепот.

– Я Ильин... Из двадцать шестой! – скорее думает, чем отвечает Алеша, но сосед слышит, по-видимому, прекрасно.

– Нет ли у вас Файнберга, Самуила Исаевича?

– Файнберга?.. Нет. Я такого не знаю.

– Жаль, очень жаль! А за что вы сидите?

– Не знаю!.. Пока что не знаю... Еду на первый допрос.

– По какой прицепке вас взяли?

– Какая прицепка?!. Нет, никакой... А у вас разве есть?

– У меня есть... десять лет каторги в царское время.

Ильин в ужасе, но разговор оборвался: в машину вернулся конвоир, посадил в кабинку напротив еще одного арестанта и остался на месте сам.

Поехали... Сильно бьют жесткие рессоры трехтонки, подбрасывая на глубоких выбоинах старой, давно не ремонтированной и неочищенной от снега булыжной мостовой свой страдающий груз. Впрочем, это – мелочь! «Скорей бы, скорей! Скорей бы узнать, за что меня взяли. Ведь я так и не знаю, за что!»

Машина остановилась. Узников вывели по одному, продолжить разговор с соседом не удалось: конвоир не отлучался ни на секунду.

Спускаясь с высокого приступка машины в скудно освещенный, со всех сторон закрытый и тщательно огороженный двор, Алексей оступился и был за это жестоко изруган, но возразить не решился.

– Давай вперед! – грубо скомандовал конвоир и повел Ильина через внутреннюю дверь, охраняемую вооруженным часовым, на лестницу с затянутыми проволочной сеткой пролетами.

На втором этаже провожатый свернул в коридор, еще раз обругал Ильина за незнание дороги, и завел, наконец, в один из кабинетов.

Следователь расписался в приеме арестанта и, когда они остались одни, сразу обратился к Ильину.

– Ильин? Алексей Андреевич? Вот и прекрасно! А мы вас давно уже ждем.

Алеша пожал плечами.

Следователь был молод и оживлен. Невысокого роста, черненький, с умными, выразительными глазами, в узких, ярко начищенных сапогах, синих галифе и военной, тонкого сукна гимнастерке с карманами на груди и одним квадратиком в петлице, весь какой-то новенький, чистенький, лощеный, плещущий добротой и благожелательством.

Ильин с интересом смотрел на него и на окружающую обстановку. Длинный простой прямоугольник кабинета, в узкой торцевой стене дверь, в противоположной – окно, большой письменный стол с нешироким проходом между ним и стеной. «Неудобно ему, должно быть, спиной-то к окну. Сам себе тень на бумагу кидает!» У правой стены, если смотреть от двери, – еще один стол, маленький, однотумбовый. Рядом с дверью обыкновенный конторский шкаф, несколько стульев и простая деревянная табуретка. На стенах портреты: слева – Сталин, справа – Горький.

– Ничего страшного! – подумал Ильин. – Неужели же здесь могут мучить?!. Вранье!..

– Ну-с, Алексей Андреевич, не будем терять драгоценного времени. Хочу вас предупредить: вы полностью изобличены, все ваши соучастники уже признались и дали развернутые собственноручные показания, теперь дело только за вами. Садитесь за этот стол. Вот вам чернила, перо, бумага, – следователь положил перед Ильиным толстую пачку нелинованной писчей бумаги, листов, вероятно, сто–сто двадцать. – Пишите, ничего не скрывая! Размером себя не ограничивайте! Если бумаги не хватит, я добавлю... Ну! Садитесь!.. Что же вы медлите?

Ильин выпучил глаза:

– Позвольте, но я не понимаю, что вам от меня надо? О каких соучастниках вы говорите? Я же никаких преступлений не совершал!.. Что я должен писать?

– Алексей Андреевич, я же вас предупредил: нам все-все известно. Сопротивление не только бесполезно – бессмысленно! Вы не знаете, как начать? Я вам помогу. Пишите заявление начальнику Управления НКВД по Орловской области, депутату Верховного Совета СССР товарищу Овскому. А текст заявления начнете так, – следователь выпрямился и, глядя куда-то выше глаз Ильина, продекламировал заученный текст:

– Будучи арестован органами НКВД и понимая бесполезность дальнейшего запирательства, я решил чистосердечным признанием облегчить свою дальнейшую судьбу. В связи с этим сообщаю вам, что...

А дальше вы поведете свое изложение в любой форме, но с тем, чтобы в нем обязательно содержались ответы на следующие основные вопросы:

Во-первых, общие сведения о нелегальной организации, членом которой вы состояли, ее название, цели, средства, структура, внешние связи, меры обеспечивающие секретность и конспиративность организации, меры против общего провала и раскрытия при случайных разоблачениях отдельных звеньев, и так далее, и так далее.

Во-вторых, кто вас завербовал? Какие поручения давал? Какие из этих поручений вы выполнили, и какие нет? Причины невыполнения. Санкции и репрессии, применяемые вашей организацией к невыполняющим ее задания. С кем, помимо завербовавшего вас лица, вы были связаны. Формы связи, где происходили встречи, какими опознавательными знаками и средствами вы пользовались: пароли, отзывы, условные предметы и выражения, адреса явок, конспиративных квартир и так далее.

Следующий вопрос – это, разумеется, кого завербовали вы лично? Какие поручения давали, какие из этих поручений были выполнены и какие нет? Причины невыполнения, санкции, репрессии, средства связи и прочее.

Ну и дальше – кого завербовали те, которых завербовали вы? Данные ими поручения, выполнение и невыполнение, причины, санкции, и так далее, и так далее, и так далее.

В общем, все без утайки, откровенно, правдиво, как на исповеди. Надеюсь, вы поняли? Садитесь! Пишите!

Ильин слушал и не верил ушам.

– Послушайте, товарищ следователь, но ведь вы...

– Уже не товарищ!.. Для вас я – «гражданин следователь».

– Ну, все равно! Простите, что оговорился! Я хочу сказать, что вы меня, очевидно, за кого-то другого принимаете. Я Ильин Алексей Андреевич, студент 1-го МГУ, сын железнодорожного машиниста.

– Совершенно верно! Вы – тот самый Ильин! Прошу вас за стол! Вот чернила, перо... Пишите!

– Но ведь я вам русским языком сказал, что никаких преступлений не совершал, никаких нелегальных организаций не знаю. Что я могу написать?

– Не пытайтесь запираться, Алексей Андреевич. Нам все-все известно... Садитесь, пишите!

– Нечего мне писать, я же вам говорю...

Окончить начатое предложение Ильину не пришлось. Добрый и благожелательный следователь превратился во взбесившегося зверя.

– Молчать, сволочь! – бешено закричал он. – Я тебе покажу – отпираться! Пиши, негодяй! Враг! Мерзавец!

У Ильина от неожиданности застучали зубы. Он растерянно оглянулся, как бы не веря, что все это происходит в действительности, а следователь вертелся вокруг, отчаянно ругаясь, замахиваясь кулаками и линейкой и непрестанно называя Алешу тем словом, которым шпана зовет проституток.

– Пиши, б..., пиши! Пиши, тебе говорят!.. Тоже нашелся герой – писать ему нечего!.. Напишешь!.. Пальцы грызть будешь, кровавыми слезами рыдать, а – напишешь. Не таких, как ты, здесь ломали...

Ильин беспомощно стоял, опустив голову. Что мог он сказать? Что мог сделать? Перед глазами маячил Лепестков, его сосредоточенное, безумное «вопрос ясен!», стояли кавежединцы, «заготклещи», обитатели «Секретарского тупика» и «Председательского переулка». И снова, сопровождаемый на этот раз физической болью внутри, в животе, выплыл вопрос: «А знает ли об этом Сталин?»

«Нет, не знает! – не вполне уверенно ответил Ильин сам себе. – Наверное, «бубенцы» применяются только в Орле! Ведь говорила Маруся о том, как опутали мужа... «бубенцов»-то ведь не было... Впрочем, прошло более полутора лет. Что-то могло измениться... Но такое... ведь... у фашистов... Да, у фашистов!»

И откуда берется смелость у робкого и нерешительного Алеши! Оскорбленное чувство человеческого достоинства оказывается сильнее страха. Он выпрямляется и, чуть ли не в исступлении, кричит на беснующегося следователя:

– Как вы смеете так унижать человека?.. Вы применяете методы фашистских разведок!..

Следователь сразу смолкает и, судорожно хватаясь за горло, расстегивает воротник гимнастерки:

– Что, что ты сказал?.. Что?..

Он подбегает к телефону и набирает какой-то номер.

– Докладывает Месропян! У меня – подследственный Ильин. Он обозвал нашу советскую власть гнездом фашистов.

Через полминуты в кабинет вбегает невысокий, коренастый начальник, в петлицах которого уместилась вся пифагорова теорема (так кто-то в камере назвал

три квадрата) и, с места в карьер, начинает кричать на Алешу, грозя ему для убедительности хорошо ухоженными, выхоленными кулаками.

– Ах, вот как!.. Да как же ты смел? Как ты смел, негодяй, сукин сын, враг народа! Знаешь ты, где находишься?! Знаешь, что мы с тобой сделаем?!. Пишите рапорт, – поворачивается он к следователю. – Пишите немедленно рапорт!.. Я сам доложу об этом начальнику... В карцер его, на хлеб и на воду... На двадцать суток!.. Пусть там ему крысы нос отгрызут!..

Ильин пробует возразить. Хочет сказать, что следователь исказил его слова, пытается объяснить, как все это было, но начальник не слушает.

– Единственное твое спасение, мерзавец, – пиши! Пиши все до конца! Следователь тебе поможет!.. Сдавайся, пока не поздно! Нечего тянуть резину!.. Великий гуманист мира сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Начальник тычет пальцем в портрет Горького и вновь начинает кричать, исправляя допущенные, в первый раз, отступления от предписанной формулы:

– Великий гуманист мира, величайший пролетарский писатель Алексей Максимович Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Затем он с ликующим видом скрывается за дверью.

– Пиши! – приказывает следователь Алеше и пододвигает ему перо и бумагу.

– Мне нечего писать! – чуть слышно произносит Ильин. – Я честный советский человек. Поймите меня...

– Ах, вот как!.. «Поймите меня!..» А ну! Садись-ка сюда! – командует следователь. Он ставит табуретку на большом расстоянии от своего стола, почти что у самой двери, поворачивает ее диагонально к окну и заставляет Алешу сесть на самый краешек выступающего угла. Алеша хочет ослушаться, но не смеет. Он садится на копчик. Голова сама собой опускается, руки свешиваются.

– Вот – твоя поза! – со злым удовлетворением бросает следователь. – Вот так и будешь сидеть, пока не подпишешь. Дни и ночи! Сутки, другие, третьи, неделю, месяц... год, если понадобится! Без сна, без движений... Х... выдержишь!.. Что ты, г..., собой представляешь?! Не таких, как ты, ломали!..

XXI

Пятые сутки без перерыва сидит Ильин на углу табуретки. Сидит без сна, без надежд, без движений. Чудовищно болит поясница, затекают руки, к копчику невозможно притронуться, а о мозге, о нервах лучше и не говорить. Алеша измучен почти до бесчувствия. «Сколько может не спать человек, совсем не спать, ни секунды?!»

Ильин – биолог, пусть пока что плохой, начинающий, но все же... Он читал об опытах академика Павлова. Иван Петрович длительным сном лечил безнадежные психозы. «А не может ли продолжительное отсутствие сна вызвать обратный эффект?!.» Кто может ответить на этот коварный вопрос? Подобных экспериментов нигде еще в мире, кажется, не проводилось; во всяком случае, Алеше о них не известно. Однако возможность такого исхода кажется ему вероятной.

Раз в день ему приносят поесть. Какой-нибудь суп из крупы или щи из серой капусты и кашу. А вчера вместо каши была вермишель. И он ест – «зачем себя ослаблять?!» – но есть ему совершенно не хочется. Хочется пить! Так хочется пить, что сказать невозможно! А пить не дают. Рядом с ним, на столе, – полный графин и стаканы, но попроси хоть немножко воды – и получишь ответ:

– Пиши – немедленно дам! А так – и не думай!.. Пиши же, мать-мать-мать-перемать! Пиши!

Вот когда подтверждается мудрость тюремных законов, высеченных неизвестно каким инструментом на асфальтовом полу его камеры: «Не верь, не бойся, не проси!» И Алеша не просит!

– Пиши, б..., пиши! – беснуется следователь.

Но Ильин не пишет. Что может он написать? Легенду? Фантазию? Клеветать на себя и других он не хочет!.. Не станет!..

Он не настолько подл и не настолько – решителен.

А может быть, наоборот, его нерешительность тут ни при чем? Быть может, тюрьма изменила характер Алеши, и он стал твердым и смелым?.. Кто знает?!.

Ильин не пишет, а вокруг – Содом и Гоморра.

Сидеть без сна на многосуточном непрерывном допросе – это не просто сидеть! Следователь, отработав восемь часов, уходит измотанный, валится с ног от усталости. Его сменяет другой – сытый, выспавшийся, отдохнувший, с восстановленными запасами злости, искусственно подготовленной ярости и низменной, черной энергии. С новыми силами, фальшиво разыгрывая исступление, наваливается он на измученную, опустошенную жертву, и представление начинается сызнова.

– Как?! Ты еще здесь?! Вот гадюка! И до сих пор еще держишься?! Силен стервец! Вот в ком укрылся истинный контрик! Видимо, знали враги, кого вербовали. Но ничего!.. Мы тебе когти поотрубаем, мы твое ядовитое жало из горлышка вырвем!.. Пиши, негодяй, пиши, а не то я тебя!.. Пиши, проститутка, курва, шлюха продажная, пиши, га-адина-а! Пиши, а не то – удавлю-ю-ю!

Следователь подбегает к Алеше, хватает за горло... Алеша задыхается, смертельный ужас овладевает им... Еще мгновение, и... Но, нет... отпустил!.. А горлу – больно... Стучат по вискам невидимые молоточки, плывет перед глазами туман... Следователь рядом, он что-то выкрикивает, ругается, но нервное напряжение Алеши резко спадает. И вдруг – торможение, спасительное торможение охватывает мозг... Мгновенное затишье... И дьявольский грохот вновь приводит Алешу в себя:

«Что это?! Что?!» Ах, линейка!.. Это только – линейка!.. Следователь стучит ею по шкафу...» Ильин заснул с открытыми глазами, сидя на копчике, в самый разгар неутоленных страстей следователя... Сколько же спал он? Недолго! Какую-то малую долю секунды.

Алеша сидит, не смея пошевелиться, а следователь бушует, как море в двенадцатибаллъный шторм... Чего только не напридумает он! В Ильина летят спичечные коробки, окурки, легкий кусок линейки, тяжелое пресс-папье, связка ключей... Все рассчитано на дополнительные удары по нервам. Впрочем, бьют не только по нервам. Бьют по лицу, по шее, по рукам, пинают носком сапога и подкованными каблуками. У Алеши все ноги ниже колен в сплошных синяках. Бьют и терзают, и все под один и тот же рефрен:

– Пиши, б..., пиши!

И добро бы еще в каждый отдельный момент иметь дело только с одним следователем. Так ведь нет! В кабинет то и дело заходят «гости» и дружно принимаются помогать ведущему «следствие» дезорганизовать, дезориентировать и опустошить изнемогающего мученика. Особенно трудно бывает ночами, часа в три утра, когда максимально слабеют дух и воля обессиленного долгим отсутствием сна человека. Дружной гурьбой набрасываются на него истязатели, у которых как раз в это время кончается их «трудовой день».

Удары, щелчки, угрозы, уговоры, ругань – все утраивается, учетверяется, удесятеряется. Чаще всего именно в такие моменты и доходит до полной прострации и абсолютного ко всему безразличия оглушенный, огорошенный, теряющий соображение и способность понимать последствия своих действий страдалец.

Но Ильин не может согласиться на ложные признания. Никакие муки не могут выбить из него понятий о совести и чести, и он стискивает зубы и терпит все издевательства.

И когда оргия стихает и он остается со следователем один на один, глаза его – глаза затравленного правдолюбца – все еще рыщут по сторонам, как бы ища поддержки и сочувствия у неодушевленных портретов.

Неулыбчивый Сталин смотрит с левой стены.

– «Знаешь ли ты, гений нового мира, мудрейший человек эпохи, великий вождь коммунизма, как мучают здесь не в чем не повинных советских людей? Скажи, чтобы они перестали! Кому нужно это бесконечное количество мнимых врагов? Неужели же все, кто здесь есть, – карьеристы и негодяи? Ведь это не так! Или... может быть, прав Королев, и все делается ad majorem Dei gloriam, но ведь – это же ужас! Пойми!»

Сталин молчит. Молчит и его визави – великий писатель, певец гордо звучащего «Человека» и ярко горящего «солнца человеческого разума».

– «Знаешь ли ты, великий писатель, в жизни слабый, простой и нестойкий, но обманно выдаваемый лицемерами и подхалимами за «непреклонного сталинца», – знаешь ли ты, кто и как использует здесь твои изречения?»

Молчит портрет, не отвечает, и только следователь шумит и грохочет, и ругается, и бьет по душе и по телу, и издевается, а потом уговаривает, уговаривает с лаской и подобострастием:

– Алексей Андреевич, я с тобой устал. Давай говорить по-хорошему. Зачем ты зря себя мучаешь, зачем заставляешь себя истязать? Ведь тебя загубят, сломают, убьют. Напиши что-нибудь! Несущественно, что. Я тебе подскажу. Получишь три года, уйдешь из тюрьмы в лагеря. Там – зачеты, то, се. Не успел оглянуться – отбыл. Вернешься чистым, здоровым, мы тебя восстановим в университете. Мы заслуги твоей никогда не забудем. Все дороги откроем тебе... Пиши, дорогой! Давай же, пиши! Я тебе продиктую. Понимаешь – мне тебя жаль. Ты парень – гвоздь! Люблю я таких. Давай, напиши! Для твоей же ведь пользы прошу.

Ильин слушает с широко открытыми глазами, в голове сумбур, но тайное беспокойство внутри все растет и растет:

– «Что это, Господи?! Ведь этого не может быть, ведь я знаю: стена неподвижна! Ведь я же не сплю, я не сплю!»

Следователь говорит, а стена тем временем движется, движется. Она сошла с места, она наступает, все ближе, ближе.

– «Нет, я с табуретки не тронусь! Это – галлюцинация. Стена неподвижна! Она не-под-виж-на!..»

А стена уже тут. Она навалилась и давит. Она изгибается. Вот-вот она замурует Алешу. И, не слушая доводов разума, он с криком срывается с места.

Следователь вскакивает и в испуге хватается за револьвер.

– Что с тобой? Что?.. На место!.. Сядь сейчас же на место!.. Тебе говорят!

Ильин садится и с невыразимой тревогой видит... Марусю. Маруся стоит на покатом выступе телефонной трубки в позе балерины и тихонько балансирует в воздухе. Сейчас она упадет, разобьется.

– «Этого не может быть! Это – галлюцинация! Маруся в Москве!» – убеждает себя Ильин и все же опять вскакивает, чтобы подхватить падающую Марусю.

Удар линейкой по лицу приводит его в себя. Он оглядывается. Наваждение исчезло, а внутри все горит: «Пять лет жизни за глоток воды!» И он в третий раз поднимается с места.

– Мне надо в уборную. Я больше терпеть не могу.

– Подожди! Напиши всего несколько строк, и – пойдем.

– Мне немедленно надо. Ведите, или я – сделаю здесь.

Угроза действует безотказно. Следователь нехотя поднимается.

– Ну, ладно, пойдем!.. Видишь, как? Для тебя – все, а ты не хочешь уступить хоть вот столько.

Для вида посидев на унитазе, Ильин идет к умывальнику мыть руки и, открыв кран, быстро припадает к струе. «Вода! Пить! О, какое блаженство!» Пока следователь разбирается в обстановке, Алеша успевает выпить не меньше стакана.

– Не пей! Тебе говорят!.. Вода... сырая, ее пить нельзя!

Алеша пьет, не останавливаясь.

– Матъ-мать-мать-перемать! – разражается следователь обильным потоком брани и оттаскивает Ильина от крана за шиворот. – Тебе говорят, змееныш, не пей!

И снова – вечер, и ночь в кабинете, снова сидка на углу табуретки, снова издевательства, ругань, угрозы, и – уговоры, и просьбы, да, просьбы – не губить семью, пожалеть мать и отца, пожалеть несовершеннолетних сестренок: «Ведь их расстреляют... Подумай только, на что ты нас толкаешь!»

На лице у следователя глубокая печаль – этот старше тех двух и как будто душевней! – он не так активно ругается, меньше бьет, и все время пытается договориться с Алешей.

– Ты пойми! Твое признание нужно для разоблачения настоящих врагов. Ты что? Мелкая сошка! А вокруг тебя – настоящая контра. Она притаилась, припряталась. Ее надо выявить. Помоги же нам! Подпиши этот текст! Видишь? Готовое отпечатанное заявление. Это я приготовил, жалея тебя. Тебе самому ничего писать не придется. Здесь все, что нужно, написано. Подпиши его только, и – все! Поезжай спать! Отдыхай, ни о чем не волнуйся! Мы переведем тебя в хорошую камеру, дадим роскошное питание, книги, прогулки. Будешь спать на постели. Получишь свидание. А потом – вся жизнь впереди, занятия, университет... Ну, что ты, себе самому добра не желаешь?!

Алеша помнит: «не верь, не бойся!..», но он исчерпал свои силы, он пуст. Смертельно болит поясница и копчик, в голове шумит, в слипающихся глазах – новые видения – галлюцинации или сны наяву. Все становится безразличным, все кажется несущественным. «Подписать – и кончены муки! Хоть на время, на час!» И он берет из рук следователя пачку бумаги с текстом, отпечатанным на пишущей машинке.

Она увесиста... Восемьдесят две страницы... немало! А что тут написано? Что? Он ведь даже не знает, в чем же его обвиняют. Медленно плывут перед глазами первые строчки печатного текста:

«Начальнику... депутату... Овскому.

Будучи арестован... понимая бесполезность... облегчить дальнейшую судьбу... Дальше, что дальше? Ага!.. Вот: вошел в контрреволюционную группу... поставившей себе целью подготовку вооруженного восстания в городе Орле, осуществление террористических актов, в первую очередь против вождя всего человечества И.В. Сталина...»

Куда делись усталость, изнеможение, прострация? Ильин дрожит от негодования и злости. Это он-то, Алеша, хотел убить Сталина?!. Где у людей совесть?!. Как можно такое?!.

«Руководитель нашей группы, бывший царский офицер, личный ставленник ныне разоблаченные изменников Родины, врагов народа М.Н. Тухачевского и И.Э. Якира, профессор Орловского педагогического института Петухов Степан Владимирович...»

«Хватит, хватит! Теперь все ясно!»

В глазах темно, но не от того, что не спал более пяти суток, – темно от возмущения, от гнева, от нечеловеческой ненависти к прохвостам, попирающим, из низменных побуждений, святая святых всех советских людей.

«Где предел человеческой низости?!»

Ослепленный гневом Ильин с силой швыряет в следователя гнусную провокационную стряпню. Он уверен – его сейчас убьют, задушат, застрелят. «А если б хоть кто-нибудь знал, как мне хочется жить! Ведь я так еще молод! Жить! Жить!»

Ведал ли кто-нибудь, чувствовал ли, такое безумное, всепоглощающее желание жить? Жить любой ценой?.. Нет, не любой ценой! Не любой! Жизнь – это нечто такое – необъяснимое... полнокровное и полноценное... насыщенное воздухом полей и лесов, золотыми бликами солнца, запахом лип в Ясной Поляне, тишиной университетской читальни, чистотой и стерильностью лабораторной посуды, асфальтовыми мостовыми Москвы, вечерней свежестью густых аллей Нескучного сада, нежными прикосновениями рук Маруси и – возможностью глядеть людям прямо в глаза. Все это, все – столь немногое – отнимает у него изгаженная печатными буквами пачка бумаги, которую он только что держал в этих руках.

Нет, теперь он понял. Его не выпустят. Он попал под колеса истории, и они его изуродуют. Возврата нет! Ничего того, что он понимает под жизнью, больше не будет. «Так зачем же жить?! Зачем тогда жить?!»

И нет уже робости, нет нерешительности. Алеша тверд как кремень. Он не слышит, что кричит ему следователь, к ногам которого упала презренная рукопись. В голове так шумит, так шумит. Ильин быстро встает. Пусть, пусть его убьют тут же, сейчас! Он больше не будет им подчиняться!

И он демонстративно ставит свою табуретку к стене и садится, облокотясь.

Шум, крики, звуки ударов и боль, боль, боль! Четыре здоровых кавалергарда играют в небольшом кабинете в футбол. Роль мяча исполняет Алеша. Игра ведется без правил – мяч бьют не только ногами. Капает кровь из разбитого носа, трещат ребра, и бессильно опускаются Алешины руки. Он лишился сознания.

Потом его везут в тюрьму в коридорчике «черного ворона» – в маленькую кабинку носилки не влезут! – и, избитого, окровавленного, вталкивают в общую камеру. Расчет простой: пусть увидят другие. Это полезно. Посмотрят – и станут покорней!

XXII

Снова допрос! Но Ильин уже не тот, что был в первый раз. Нет больше робкого, послушного и нерешительного мальчика Алеши, верящего в «добро» и «солнце человеческого разума»; вместо него перед следователем – твердый и отчаянный, умудренный жизненным опытом мужчина, которому все нипочем. Он – большевик, страстный, убежденный, хотя никогда не держал в руках партбилета, никогда не платил членских взносов. А эти, что красуются перед ним в военных мундирах, – враги, подлинные враги советского народа, коммунистической партии и всего трудового человечества. «Да, да, – замаскированные враги!»

Откуда взялись у Алеши столь категорические и резкие убеждения? Сам ли дошел до таких сногсшибательных выводов? Или, может, помог кто-нибудь?

Кровь, синяки и побои принесли Ильину расположение многих обитателей камеры. Его приняли как героя, как храбреца, как носителя исчезающей у прочих надежды. И даже подавляющее большинство тех, кто не выдержал сам, искренне поздравили его с невиданной моральной победой и подзадорили на новые подвиги. Сознание Ильина впитало нескрываемые восторги, восприняло приветствия и добрые пожелания. И все они, вместе взятые, оставили значительный след в его психологии и взглядах на мир. Новые убеждения складывались под влиянием происходящих событий и окружающих Алешу людей, среди которых, хотя это происходило в тюрьме, в камере, наполненной «врагами народа», не нашлось ни одного настоящего врага, о которых так много писалось в газетах.

После допроса у Алеши сразу появились друзья. В их числе – еще молодой, скрытный и замкнутый выпускник Института Красной профессуры, секретарь райкома ВКП(б), и старый, душа нараспашку, ректор Орловского пединститута, и залетный инструктор Воронежского обкома, и главный инженер одного из крупных заводов, и многие другие. Все приходили к нему. Все сочувствовали, делились мыслями, опытом и мечтами, спрашивали, рассказывали, просвещали.

Впервые столкнулся Алеша с таким количеством причастных к политике людей. Здесь, в тюрьме, они перестали говорить заученными газетными фразами, перестали мыслить цитатами из сталинских речей, обрели способность по-своему относиться к происходящим событиям и стали оценивать их не по привычным стандартам, а так, как внушали их разум и совесть.

Многое услышал, и многое понял Алеша в Орловской тюрьме. Казалось, сняли с окон затемненной комнаты непроницаемые для света завесы, и засияли в ней лучи яркого солнца, и стали выглядеть по-другому, по-новому все наполняющие ее вещи, и открылся иной, ранее невиданный мир.

Со жгучим стыдом вспоминает Алеша о своем разговоре с доктором Королевым перед самым вызовом на первый допрос:

– «Ах, я дурак! Как же мог я подумать, что все здесь – враги, и только один я – советский?! Надо же быть таким идиотом!»

Да, Алеша переменился. Теперь он не тот, что был до допроса. За истекший месяц с небольшим, пока в общей камере в самодеятельном порядке – тюремный врач помочь отказался! – подлечивались полученные побои, он много продумал. Никакая сила не свернет его теперь с намеченного пути. Он твердо решил: либо воля, либо смерть, и, так как первое почитается невозможным, искренне стремится ко второму. «Чем хуже – тем лучше!» – вот его лозунг, и он проводит его в жизнь с абсолютным упорством.

«Пусть убивают!» – думает Ильин и демонстративно отказывается подчиняться следовательским причудам.

– Сядь на край! – брызжет слюной следователь, пытаясь вновь усадить его на копчик и заставить свесить руки. Ильин садится на всю табуретку и складывает руки на коленях.

Следователь прыгает вокруг него, как сказочный попрыгунчик, он грозит, ругается, размахивается линейкой и, наконец, пытается ударить Алешу по лицу. Ильин вовремя увертывается и крепко хватает линейку за второй конец: «У линейки ведь два конца! Посмотрим – кто кого!» Несколько долгих, тягучих секунд идет безмолвная борьба за линейку. Наконец Ильин отпускает ее, и... озадаченный следователь отходит к столу.

– Сядь на край, на край сядь, контра недорезанная! – вновь вскипает он после небольшой паузы, и вновь, но уже издалека, замахивается линейкой. У Алеши темнеет в глазах:

– Сам контра... провокатор... фашисткая б...!

Следователь немеет и бросается к телефону.

Ильин дрожит, в глазах темные круги, стучат зубы. Что говорит в нем сейчас? Новый, измененный переживаниями характер, решительность, твердость или – простое упрямство? Ведь слабому и нерешительному человеку так заманчиво стать твердокаменно-жестким! Ильин не анализирует, не думает, он действует почти инстинктивно. «Не верь, не бойся, не проси!» Он ни во что больше не верит, он перешагнул через страх и нерешительность. Ему хочется умереть и напоследок покуражиться над всем, что казалось серьезным и страшным.

«Все позволено! – вспоминает он слова Ивана Карамазова. – Все позволено!»

Конечно, он понимает эти слова иначе, чем Смердяков и многие нищие духом «другие». Все позволено во имя чистой совести и открытого взгляда! Все позволено для того, чтобы остаться порядочным человеком, не стать подлецом, не

послужить ступенькой лезущим наверх карьеристам. Все позволено в борьбе с провокаторами, стремящимися использовать тебя для своих корыстных целей. Все позволено… Но – все же не «все», а только то, что пойдет на благо человечеству и каждой отдельной, составляющей его единице.

«А если убьют? А если мне предстоит умереть? Что ж? Умереть, так умереть: потеря для мира небольшая», – отвечает Ильин своим мыслям словами Печорина и, для подбадривания себя, начинает – в который раз! – думать о Георгии Димитрове и его героическом поведении на Лейпцигском процессе о поджоге Рейхстага. – Надо верить в идею, ради которой рискуешь жизнью, надо верить в себя, в свою мощь, в то, что ты выдержишь все! «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Прекрасный лозунг провозгласила Пассионария!»

Он – этот лозунг – прошел сквозь тюремные стены, сквозь обитые железом двери и решетки на окнах. Он дает силы Алеше и вдохновляет его.

Дверь кабинета открывается, входит незнакомый еще Ильину квадрат в петлице с «делом» в руках.

– Что тебе приспичило? Потом не успеешь, что ли?

У следователя дрожит нижняя челюсть:

– Потом нельзя! Надо сейчас! Побудь с ним хоть несколько минут… я сейчас… я быстро!

Квадрат садится за письменный стол и углубляется в принесенное «дело». Ильин молчит, он все еще на взводе, но взгляд его ясен, и мысли работают изумительно четко.

Томительно тянется время. Сейчас опять будет «футбол», опять будут бить, издеваться, мучить! Скорей бы, скорей! «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

Чуть слышно скрипнула дверь. Квадрат вскочил, щелкнул каблуками, скомандовал:

– Встать!

Ильин дернулся, встал, но тут же уселся назад. «Конечно, поза нехороша: нога на ноге, но… чем хуже, тем лучше! Пусть убивают!»

Мимо Ильина, внимательно оглядывая его, проходит полный, упитанный ромб, за которым, сдерживая ширину шага, подобострастно движется уже знакомый начальник следственной части.

– Это кто такой? – приятным лирическим тенором спрашивает ромб. – И почему вы здесь, а не у себя, товарищ Боков?

– Этот подследственный не мой… – начинает Боков, но ромб с удивлением перебивает его:

– Немой?!

– Нет, вообще-то он не немой, говорящий. Я употребил слово «не мой» в том смысле, что его дело веду не я… Товарищ Месропян на минуточку вышел. Сейчас он вернется.

Сообразив, что перед ним начальник управления НКВД, – Ильин поднимается с места.

– Если не ошибаюсь, вы начальник здешнего НКВД. Разрешите с вами поговорить… Я ни в чем абсолютно не виноват. За что меня взяли? Со мною исключительно плохо обращаются… Меня бьют и пытают.

В лирическом теноре сразу появляются стальные звенящие нотки.

– Надо давать показания, тогда вас и пальцем не тронут. Великий гуманист мира, выдающийся пролетарский писатель Алексей Максимович Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают!» – палец большого начальника величественно поднимается и тычет в портрет. – Подписывайте показания и отправляйтесь домой, а не хотите – не обижайтесь!

Ромб поворачивается и уходит, обращаясь уже в повышенном, раздраженном тоне к начальнику следственной части:

– Держать, пока не расколется! Держать, пока не подпишет! – обращается он.

– Есть! Держать, пока не подпишет! Будет исполнено! – вытягивается тот по положению «смирно» и выходит вслед за ромбом.

– А ты еще не подписал? – спокойно осведомляется Боков. – Зря себя мучаешь! Все равно ведь подпишешь! Не таких, как ты, здесь ломали... Дурак ты, дурак!

– Сам ты – дурак! – резко отвечает Ильин. – И учить меня нечего! Жену учи!

Боков с нескрываемым удивлением смотрит на Ильина.

– Здоров мужик! – восклицает он с восхищением и вдруг спохватывается. – Послушай-ка, ты, кто тебе право дал «ты» говорить? Обращаться надо на «вы»! Ты, что – не знаешь?!

– И знать не хочу! Я односторонних брудершафтов не признаю! Ты мне – «ты», и я тебе – «ты». А хочешь – «вы», так и со мной на «вы» обращайся.

– Вот тебе на!.. Да ведь ты – враг народа!

– Сам ты – враг!.. Народ – это я!

Боков удивленно смолкает и пытается сразить Ильина свирепым сосредоточенным взглядом. Алеша в долгу не остается: злость, ненависть, возмущение, готовность испепелить – все можно прочесть в его взгляде, и Боков первый отводит глаза.

– Что?! Струсил?! – торжествующе бросает Ильин. – Да, народ – это я! А вы – враги! Вы воюете с народом. Для того, чтобы сделать карьеру, пришиваете фальшивые обвинения, изобретаете мнимых врагов... Я знаю – вы убьете меня в процессе вашего «следствия», убьете, потому что побоитесь выпустить из застенка, потому что ваше дело начнется в тот день, когда кончится мое... Ну, а мне наплевать: убивайте!..

– Что ж, – неожиданно говорит Боков, поворачиваясь к окну, – я твоего дела не знаю. Все может быть! Если ты, скажем, брюнет, а пять человек утверждают, что – рыжий, цвет волос у тебя не изменится. Как был брюнетом, так и останешься.

Ильин смотрит на спокойную, недвижимую спину Бокова. Что-то человеческое чудится ему в аллегории о брюнете и рыжем, и, когда в кабинет возвращается Месропян, а Боков уходит, Алеше становится искренне жаль этого юного, и, по-видимому, еще не совсем испорченного человека.

Месропян получил, очевидно, накачку. Яростно набрасывается он на Ильина, кричит, вопит, ругается, но Алексей ощетинился и не дает следователю ни малейшей поблажки. «Ты» за «ты», «враг» за «врага», ругань за ругань. Открытые резкие обвинения в карьеризме, провокации, продажности и в измене советскому государству сыплются у него изо рта с легкостью совершенно необыкновенной.

«Все позволено!» Все позволено в состоянии необходимой самообороны. На поле боя – не только личная совесть и честь, но и честь советской страны. Ильин защищает и ту, и другую. Перед ним – враги, а врагов надо бить, бить на их территории, их же оружием. И Ильин бьет, бьет словами, взглядами, открытым неподчинением и даже, в ответ на сильный удар носком сапога по ноге, не менее сильным ударом ноги. Да, он бьет ногой, пытаясь попасть в живот своего мучителя. Жаль, немного не достал.

И странное дело – следователь терпит, он не вызывает подмогу, не хватается за телефон, не докладывает начальству. Он только грозит, грозит без конца, грозит словами: «будешь сидеть до скончания века – начальник приказал держать, пока не подпишешь!», грозит револьвером, вытаскивает его из кобуры и прицеливается. Но Ильин только нервно смеется.

– Чем ты грозишь, несчастный идиот?! Разве может страшить револьвер искренне желающего умереть? Эх ты, дубина!

Алеша теперь образован. «Не верь, не бойся, не проси!». Он не верит, что в него выстрелят, он не боится выстрела! И вновь и вновь он демонстративно смеется в ответ на угрозы и на издевательства...

А не спать все-таки трудно! Неимоверно трудно, немыслимо! Время от времени Ильин, который теперь решительно игнорирует все требования следователей, пользуется их случайной рассеянностью и на какие-то секунды или доли секунды погружается в глубокий всеобъемлющий сон. Он спит сидя, с открытыми глазами, видит сны и, хотя его немедленно будят, чувствует какое-то облегчение и даже приток новых сил.

К концу третьих суток опять появляются галлюцинации, но Ильин теперь знает, как с ними бороться. Он закрывает глаза и мгновенно засыпает. Засыпает и спит под грохот и шум, поднимаемый следователями, спит под градом сыпящихся на него ударов, спит секунды, но эти секунды приносят ему энергию на новые десятки минут.

Следователи меняются каждые восемь часов, но они не выдерживают напряжения боя. Они устают и выматываются в этой неравной борьбе. А Ильин держится. Он воюет с врагами и карьеристами, он сражается за честь и достоинство советского человека, за честь и достоинство советского строя. И он знает: единственный выход из боя – смерть! И он хочет ее, он ее не боится, и сознание того, что ему нечего, абсолютно нечего больше терять, дает ему новые и новые силы.

Кончаются четвертые сутки, и Ильина ведут в кабинет начальника следственной части. Кабинет вытянут вдоль фасада, в нем три окна, столы, поставленные буквой «т», и на передней стене – огромная карта Европы.

Алешу сажают за стол. Напротив усаживается начальник следственной части. В безукоризненно вежливой форме, на «вы», обращается он к Ильину и предъявляет ему добрый десяток «собственноручных показаний», в которых его, Ильина, называют участником «контрреволюционной группы, поставившей цель»... и так далее. Во всех показаниях с точно совпадающими подробностями описывается нелегальное собрание группы, которое якобы состоялось в понедельник, 19 апреля 1937 года, в городе Орле на улице Чернышевского, дом номер такой-то. На этом собрании, – сказано в показаниях, – присутствовал и сделал доклад о работе возглавляемой им тульской подгруппы Алексей Андреевич Ильин.

Показания написаны разными почерками и подписаны разными людьми: Гусев, Индюков, Уткин, Лебедев, Курицын и кто-то еще... В показаниях перечислены десятки имен. Из всех них Ильин знает, да и то по случайному знакомству в поезде, только одного Петухова.

– Вот видите – сопротивление бесполезно! Вы полностью изобличены, и, если вы не признаетесь, вас расстреляют. Чистосердечное же признание смягчает вину. Подписывайте показания, и мы, учитывая вашу молодость и пролетарское происхождение, ограничимся предупреждением и выпустим вас на свободу. Подписывайте, Алексей Андреевич, вы сами видите, что...

От негодования и возмущения у Ильина снова темнеет в глазах. Желания спать как не бывало. Его снова трясет. «И надо же быть совпадению! Девятнадцатое апреля 1937 года!» В этот именно день он встретился с Марусей в университетской читальне, в Москве, влюбился в Марусю, увидел в ней человека, о котором мечтал все последние годы.

«И этот самый день фальсификаторы избрали для... О, негодяи! Доказать при желании алиби я могу совсем без труда. Могу, да... но – сейчас не стану! Здесь это мне все равно не поможет. Мне пришивают заведомо ложное дело. Укажешь на несовпадение – заменят один день другим, и концы в воду! Нет, делать их умнее, чем они есть на самом деле, я не намерен».

И тут же вспоминает Алеша притчу о брюнете и рыжем, и начальник следственной части вздрагивает от неожиданного хохота. Ильин хохочет истерическим смехом, он громко смеется, и долго не может остановиться, и только громадным усилием воли удается ему подавить в себе начинающуюся истерику.

– Нет, – твердо говорит он, наконец. – Если я, к примеру, брюнет, а пять человек утверждают, что – рыжий, я все же останусь брюнетом!

Через час его везут в тюрьму. Он опять весь в крови, и опять на носилках. Жесткие рессоры подбрасывают кузов на неровностях старой, плохо сглаженной снегом булыжной мостовой. Но Алеша не ощущает толчков, не ощущает боли от побоев. Он спит. Он крепко спит.

Знаете ли вы, читатель, какое блаженство спать на носилках после непрерывной пятисуточной сидки? Знаете ли вы, как хорошо на них спится даже избитому? Не знаете? Ну, и дай вам Бог никогда и не знать!

XXIII

Медленно тянется время в тюрьме, и особенно – в одиночке. Алеша Ильин теперь в одиночке. Тоскливо-тягуче, как капли воды через фильтр, падают в вечность секунды: кап... кап... кап... Долго приходится ждать, пока из них соберется минута.

– «Даже минута как вечность долга в этой каморке в четыре шага!» – вспоминает Алеша кем-то продекламированные ему строчки из «Тюремных стихотворений» народовольца Морозова.

Минута! Одна! Какой это большой и томительный срок! Чтобы его накопить, нужно медленно считать до шестидесяти: раз... два... три... и так далее. Процесс длителен, как людское страдание. Гораздо быстрей – оперировать не сухими абстрактными числами, а материально-конкретным. Считать, скажем, пульс – куда веселее. Он бьется чуть чаще секунд, и ощущение времени становится менее тягостным. Алеша знает: когда он спокоен, семьдесят два удара – это минута. Одна! Только – одна!

А можно считать и не пульс, а дыхание: количество вдохов, количество выдохов. Конечно, они одинаковы, но разнообразия ради их можно подсчитывать и по отдельности! Сколько же дыханий делает он в эту тягучую и нескончаемую одну – только одну! – минуту? Точно Алеша не знает. Четырнадцать, пятнадцать, а то – и все двадцать! Может быть, больше, а может быть, меньше. Суть не в этом. Важно то, что их можно считать. И не просто, а с усложнением: например – пытаться учесть одновременно и пульс и дыхание. Очень забавно! Мысли при этом как будто двоятся. В мозгу возникают два самостоятельных центра. Раз, два, три, четыре... – отсчитывает один. Раз... – отмечает другой в то же самое время. Пять, шесть, семь, восемь, девять... – сосредоточенно тикает первый. Два... – говорит другой и успевает при этом заметить, что дыхание не так уж ритмично. А счет продолжается и продолжается, и в сознании Алексея всплывает еще один – третий, который, пользуясь отсчетами двух, сравнивает между собой результаты их странной работы.

Такое двоение, троение мысли его увлекает: где же предел размножения личности? Он еще усложняет задачу и добавляет подсчеты шагов и числа поворотов в ходьбе. На четвертой ступени приходит сомнение в точности цифр. «Не пропустил ли я одного поворота?» Он хочет сравнить их число с количеством сделанных шагов, но упускает при этом удары пульса и начинает волынку сначала.

«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Счеты, подсчеты, сравнения; пульс, дыхание, шаги, повороты. Смотришь – а время прошло. Где-то в дали коридора звякнула крышка котла. Звякнула тихо. Только долго сидящий в

тюремной тиши человек, с его изощренным, не по-человечески чутким и всегда настороженным слухом может уловить такой исчезающий звук. Алеша улавливает. Звякнула крышка! Значит – половина второго. Скоро откроется форточка, потребуют миску и нальют три четверти литра баланды. Здесь кормят нескудно, но основное питание – крупы, и жители камер почти поголовно болеют цингой.

Алеша ходит и ходит; не ходит – толчется. В крохотной камере не разгуляешься. Пять коротких шагов в длину, три в ширину, низко нависающий потолок и высоко поднятое окно, асфальтовый пол, но зато есть койка, соломенные тюфяк и подушка, постельное белье и старое, затрепанное одеяло.

Есть и железный крохотный столик, и такая же табуретка. Они прочно заделаны в пол. Но Алеше их двигать не надо. Пусть остаются на месте. Они ему не мешают. Он так устал от сутолоки и базара общих камер, что здесь ему даже приятно. Не абсолютно, конечно, а со многими оговорками.

Плохо – нет книг. Если бы – книги, жить можно бы было на славу! Но их не дают, не дают в нарушение собственных правил о распорядке в следственных тюрьмах. Хотя... какие тут могут быть правила!

Ходит Алеша по камере, ходит и думает. Он случайно отвлекся от тягостной мысли о времени, и теперь оно утекает совсем незаметно. Ильин вспоминает свой крестный, тяжелый, но все-таки пройденный, путь.

Его не сломали, он выдержал все. Он остался собой: чистым и честным, незапуганным, несоблазненным «мирскими соблазнами» и непрельщенным благами, что так легко обещали ему за «признание»: никого он не опорочил, не оклеветал, ложных признаний не сделал, и теперь – он уверен! – не сделает. Разве можно сломить человека, которому совесть дороже физической жизни? У него можно взять только – жизнь!

Алеша ходит по камере, тычется в стенки, и вспоминает, и вспоминает.

Он вспоминает, как его принесли на носилках и свалили у самых дверей прежней камеры, как злорадно ругался тогда на него коридорный, ругался до тех самых пор, пока не ушли конвоиры, и как потом сразу замолк, подошел, поглядел, промолвил сквозь зубы: «Что только делают!» и подсобил осторожно на ноги встать. Вспоминает Алеша новый взрыв возмущения в камере, впрочем, – тихий и сдержанный взрыв, некий символический «кулак в кармане», и тайное сочувствие, и скрытую зависть, и то, как Санаев, поглядев на него, неожиданно громко пропел одну только строчку: «Слышен звон бубенцов издалека!», расшифровав тем самым происхождение странного названия «бубенцы».

И последующие допросы вспоминает Ильин: опять назойливые требования – подпиши! – и издевательства, и муки, хотя уже без сидок, и удары рукояткой револьвера, очень небезобидные, и то, как случайно попал его палец при одном из подобных ударов в гашетку, а следователь воспользовался этим, повернул револьвер, сломал ему палец и долго держал, говоря: «Подпиши – отпущу! Подпиши!.. Что ты с собой только делаешь?!. Ведь больно же, больно!.. Подпиши – отпущу!.. Подпиши!»

Но Алеша не подписал. Стискивая зубы, он выл от боли и ярости и, причиняя себе нестерпимую боль, пытался освободить сломанный палец. А потом изловчился, лягнул мучителя в нижнюю часть живота, почти что в причинное место, и, уже отпущенный, почувствовал, что ему становится дурно.

Надо полагать, что в этом случае следователь все-таки чуть перебрал. Ломать подследственным пальцы ему, вероятно, не поручали. И поэтому он, дав Алеше нюхнуть нашатырного спирта, сразу поднес пузырек к своему, побелевшему как полотно, отвратительно взмокшему носу.

– Мне вчера на допросе сломали палец, – заявил Ильин тюремному врачу, попав с колоссальным трудом на прием и пытаясь показать ему сломанную фалангу.

Врач отвернулся и сказал сопровождающей его медсестре:

– Смажьте йодом!

Пришлось лечиться по-своему. Старик Королев поставил палец на место. Затем распустили на нитки носок, приложили к пальцу две маленьких палочки, которыми прикалывались к пайкам довески, – выбрали, конечно, что попрямее, – и крепко обвязали кругом. Конструкция получилась достаточно жесткой. И, тем не менее, палец немного скривился. Скривился в изгибе.

Ильин глядит на искривленный, изогнутый палец и не без юмора думает:

– Особая примета!

Нет, не жаль ему пальца, не жаль! Жаль, что лягнул тогда недостаточно сильно.

– Я бы ему сейчас дал!..

Но – «после драки кулаками не машут».

И еще был допрос. Мучительный, адский!

– Я тебя посажу в такую камеру! Такую... – обмолвился следователь. И посадил.

Камера оказалась – рабочей. В основном в ней держали бытовиков, осужденных на смехотворно малые сроки: год, два, три и так далее. Почти все они ходили работать. Кто по тюрьме, а кто и в город, на стройку. Ходили с конвоем, но практически были почти что свободны.

– Стрелок, разреши письмо опустить, – кричал кто-нибудь, проходя по улице мимо почтового ящика.

– Давай! – отзывался конвоир. – Только не все сразу, по одному!

И они опускали письма, минуя тюремную цензуру.

И точно так же, с разрешения не сильно бдительного стрелка, подходили они к ларькам и палаткам, покупали еду и махорку, а бывало, и четвертиночки, но последние в тюрьму не носили: боялись хорошего шмона и прекращения всех привилегий.

В камере жили сытно и очень просторно. Людей на работу водили в три смены, платили им какое-то премвознаграждение, и многие тюремную пищу не ели. Она оставалась в распоряжении старосты и шла в общий котел.

Ильин понял не сразу, почему его посадили сюда, и снова решил: «по ошибке».

– В самом деле, кто их там разберет?! Где у них логика?.. Да и есть ли она, эта логика в действиях «славных»?

Обвиняемых по пятьдесят восьмой в камере было немного. Все они лежали на лучших местах, у окна, и горько жаловались на постигшую их «роковую случайность».

Главным был среди них Краснощеков – старый, дородный, седой «заготклещ», осужденный Спецколлегией Облсуда на десять лет лагерей плюс пять лет поражения. Он числился старостой камеры, постоянно якшался с администрацией и отличался элементарной безграмотностью. Он называл камеру «каморой», писал «малолетки» в два слова, и, складывая три цифры различных пайков, всегда ошибался, хотя их общая сумма никогда не превышала двухсот. Все это не мешало ему занимать на свободе порядочный пост, быть начальником районного Заготзерна, депутатом райсовета и членом бюро райкома. В камере его уважали, звали «батей» и всячески старались чем можно помочь.

Чтоб он не запутался в «сложных» подсчетах, их ему делали тюремные дружки и приятели – секретарь райкома Миронов, агроном Головин, учитель математики Куницын и еще два или три человека.

Все они встретили Ильина мало-мало не поцелуями, прямо как лучшего друга, накормили из личных запасов и стали расспрашивать о деле, о жизни, о политических взглядах, и об его отношении к Сталину. Ильину откровенничать не хотелось. Он отвечал очень скупо и сдержанно. Тогда рассказывать стали они. Оказалось, что работающие на стройке иногда приносили газеты – не для чтения, а как бумагу для курева, – но «политики», само собой разумеется, прочитывали их от доски до доски.

Ильин узнал много нового. Оказывается, за то время, что он находился в тюрьме, произошли большие события.

– В международных делах похвастаться нечем. Япония медленно, но верно завоевывает Китай. Продолжают продвигаться вперед испанские мятежники, случайные успехи республиканцев, вроде взятия Теруэля, ничего, в конечном счете, не изменили, Как вы думаете, товарищ Ильин, правильную ли политику ведет Сталин? Не лучше ли нам?..

Алеша, почувствовав какой-то подвох, осторожно ответил, что он в таких делах не компетентен.

– И во внутреннем положении много нового. Ежов – член Политбюро. Снят Бубнов. Расстреляны Енукидзе, Карахан, Шеболдаев, а с ними еще пятеро. Борьба с врагами народа не затухает. В предоктябрьских лозунгах ЦК ей было посвящено целых три пункта. Понимаете? Три! Что-то случилось с Постышевым – выведен из числа кандидатов в члены Политбюро... В чем дело, не знаем. Очевидно, он – тоже... Что вы об этом думаете, Алексей Андреевич?.. Ничего?! Ну, как же так?!. А главная новость – под конец! Совсем недавно, в конце января, опубликовано Постановление Пленума ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям», и прочее и прочее. Пленум осудил необоснованные исключения из партии и огульные репрессии, назвал их виновников карьеристами и замаскированными врагами, сказал, что их надо разоблачать, что они стремятся перебить большевистские кадры, посеять в партийных рядах неуверенность и подозрительность. Пленум осудил преступно-легкомысленное отношение к судьбе членов партии. Так буквально и сказано!.. Теперь наши дела – чепуха. Через месяц-два будем дома!

Алеша новости слушал, мотал на ус, и сказал лишь:

– Какие могут быть изменения?! Постановление принято месяц назад, а меня только вчера измочалили. Нет, оно не для нас! Не надейтесь!.. Хотя, кто их знает!.. Я в политике – полный профан, фиглей-миглей не понимаю... Может, меня сюда посадили, чтобы... улучшить?!.

Двадцать дней просидел Ильин с компанией Краснощекова, отъедался после голодухи карцерного режима, читал приносимые газеты, и дважды пытался протолкнуть через работающих на стройке письмо на волю, к родителям. С письмом ничего не выходило. Он оба раза попался. И каждый раз его вызывал к себе оперуполномоченный, журил за попытки, грозил наказать, просил дать слово, что это не повторится. Ильин слово дать отказался, но наказан все-таки не был. Оба раза его отводили не в карцер, которым только что угрожали, а назад в Краснощекову и новым друзьям.

Ильин ничего не понимал, но скоро положение прояснилось. Его вызвали на допрос и предъявили обвинение в антисоветской агитации в камере. Он якобы поносил Сталина, называя его виновником необузданных репрессий, и высказал сомнение в том, что арестованные органами НКВД являются врагами народа. Свидетельствовали против него Краснощеков, Миронов, Головин и Куницын. Алеше показали их собственноручные заявления. Три из них совпадали, как точные копии, и, очевидно, писались под чью-то диктовку, а четвертое – Краснощекова – носило следы индивидуального творчества. Кроме того, что было написано в трех

заявлениях, «батя» сообщал, что «Ильин рассказывал в каморе о знакомстве с развратной и чуждой нам женщиной, Анной Карелиной, которая бросила мужа и сына и сбегла за границу с царским полковником Вронским». – «Видать по всему, – почерком восьмилетнего ребенка писал Краснощеков, – что Ильин вполне разделяет враждебное нам поведение Анны Карелиной и сочувствует ей, а это опять доказательство, что он есть чужак и антисоветский преступник». Прочтя донос Краснощекова, Алеша подумал, что сейчас его спросят, кто такая гражданка Карелина и не помогал ли он ей бежать за границу, но у следователя все же хватило ума интересоваться только словами о Сталине.

После допроса его отвезли в одиночку, в корпус с крестом на стене. Алеша вошел и в первый момент обомлел от испуга. Такой тюрьмы он еще не видал. Трехэтажный корпус внутри оказался пустым и двукрылым. Двери всех камер выходили на узкие висячие галереи, отгороженные от пролета невысокими решетчатыми барьерами. Перемахнуть через барьер и броситься вниз головой на асфальтовый пол мог бы и не особенно ловкий страдалец, но пустой пролет на уровне второго этажа был затянут пружинной металлической сеткой.

Корпус устроили с учетом всех достижений тюремно-конструкторской мысли: дежурный, стоящий у входа за стальной решетчатой дверью, со своего места мог видеть любую камеру всех этажей в обоих расходящихся крыльях, и штат многочисленной стражи, необходимый в обычной тюрьме, тут мог бы быть радикально и безболезненно сокращен. Тем не менее, рационализация оставалась совсем не использованной. На галереях, осторожно ступая войлочными подошвами, неслышно двигались обутые в валенки надзиратели и заглядывали поочередно в глазки каждой камеры. Заключенные находились все время под неусыпным и практически непрерывным надзором.

Алешу заперли в одиночку третьего этажа. Ему оставалось только страдать и томиться, считать удары пульса, вдохи и выдохи, шаги и повороты, и думать, и вспоминать, вспоминать.

XXIV

Ходит Алеша по камере, натыкаясь на стены. И думает. И вспоминает. Вспоминает, как, взбираясь на плечи товарищей, смотрел из двадцать шестой на кирпичный крест-горельеф, высотой в три этажа, на фасаде страшного первого корпуса, А теперь Алеша – внутри, за крестом. И мнится ему, что крест поставлен над ним, над его мечтами и мыслями, над всей его жизнью.

– Что же теперь делать? – взволнованно думает он. – Хотелось бы жить, но – нельзя!.. А иначе я не могу...

Ни о чем не жалеет Ильин. Он не может, как Королев и другие, пытаться, ценой унижений и подлости, ценой морального самоубийства, купить себе сколько-то лет прозябания в тюрьмах и лагерях. Лучше уж – сразу конец!

Алексей решил умереть, но где-то внутри, в подсознании, он не верит, что жизнь окончена, он надеется выйти на волю. И эта надежда, хотя сам он себя убеждает в ее нереальности, заполняет всю душу и укрепляет стремление жить и бороться.

Несмотря на всю безнадежность, Алеша на что-то надеется и ретроспективно глядит на себя: «Как наивен я был! И как глуп!» Теперь-то он поумнел.

Ильин сидел в одиночке и сходил с ума от безделья. Ни один звук извне не проникал в его камеру. Книг и газет ему не давали. Он пробовал заговаривать с надзирателями, но тщательно вымуштрованная и систематически сменяемая охрана хранила молчание. Алеша передумал и перевспоминал всю свою жизнь, мысленно повторил все, чему учился в университете и в школе. Мысленно доказывал он теоремы, решал математические задачи, декламировал все

известные ему стихотворения, и сам себе пересказывал когда-то прочитанные рассказы, повести и романы. И все же время полностью не убивалось. Оно текло медленно-медленно, и, казалось, секунды нарочно замедляют свой ход, чтобы побольше помучить Алешу.

– Перенесет ли мозг эту пытку ничегонеделанием? – все чаще спрашивал себя Алексей. – Ведь это тоже – пытка! Настоящая пытка!

Ему с каждым днем становилось труднее, и он начинал понимать тех, кто, устояв перед муками физических пыток, не выдерживал пассивного пребывания в одиночке.

Страданиям, мнилось, не будет конца, но как-то, перебив всех до одной мух, влетевших в открытую форточку, пересмотрев все пятна на стенах и потолке и в уме доказав теорему о невозможности методами средней математики разделить круг на девять равных частей, Ильин услышал тихий стук в стену. Сначала он не смог в ней разобраться, но стук все повторялся и повторялся, и Алеша начал машинально считать чуть уловимые удары.

– Десять, интервал, восемнадцать, интервал, четырнадцать... Все, что ли?.. Нет! Опять – удары! Три, интервал, двадцать шесть!.. Что это значит?

А удары повторяются снова: десять, восемнадцать, четырнадцать, три, двадцать шесть... десять, восемнадцать, четырнадцать, три, двадцать шесть!.. И вновь – то же самое!.. И вновь!.. И вновь!..

– Что это значит?

Неискушенный Ильин ломает голову над странной загадкой, и время проходит в этот день незаметно. Ночью он не спит от волнения, а утро приносит внезапное прозрение: «А, может быть, это – номера букв по порядку алфавита?!. Ну-ка, проверим: десять – «к», восемнадцать – «т», четырнадцать – «о»... Кто вы?»

Открылся мир! Алеша уже не один! Путая буквы и числа ударов, он с волнением отвечает соседу: «Я Ильин из Тулы». Сосед не разобрался, но он терпелив! Частыми ударами сигнализирует он: «Не понял, повтори еще раз!» И Алеша стучит снова и снова.

Проходит несколько дней. Тюремный телеграф работает на полную мощность. От длинных порядковых номеров давно отказались. Их заменила азбука-порядовка. Шесть рядов по пять букв; для каждой выстукивается номер ряда и, после паузы, номер в ряду. Так несравненно быстрее. Слова сокращают. «Длинные» буквы «ы» «э» «ю» заменяются «короткими» «и» «е» «у», и связь идет бесперебойно.

Говоря откровенно, стучать совсем не легко и не просто: можно попасться. Надо все время быть начеку и обманывать бдительность надзирателей, ведь они лезут к глазку чуть ли не ежеминутно. Хорошее дело, если застанут у самой стены! Ни карцер, ни перевод в другую камеру под усиленный надзор удовольствия не доставят. Алеше это яснее ясного. Поэтому, когда надо стучать, он садится на табуретку и облокачивается спиной на стену. Поза усталого, находящегося в полном изнеможении человека. Голова опущена, руки свешены, но полузакрытые глаза бодрствуют, а ноготь среднего пальца в напряженной готовности. Удары должны быть тихими-тихими, иначе их может услышать охрана.

– Раз, два, три, четыре, пять... раз, два, три... «Ч» – отмечает мозг, и ноготь среднего пальца один раз тихонечко ударяет о стенку: «Принято!»

– Раз, два, три, четыре... раз, два, три...

– «Т» – Принято!

– Раз, два, три... раз, два, три, четыре...

– «О». Принял!

Два частых удара: «Слово окончено» и такой же ответ: «Понято, принял!»

Тихо отодвигается резиновая крышка, глаз надзирателя внимательно смотрит в камеру... Ни один мускул не дрогнул в Алеше. Только замер палец свешенной вдоль стенки руки, и зрачки тихонько отодвинулись в сторону.

Очередная буква не принята, и нет частых ударов – «не понял». Сосед разумеет: «Что-то мешает». Стук временно прекращается.

Но вот глазок снова закрылся. Опасность миновала. Два быстрых удара повторенные дважды или трижды, сообщают соседу: «Продолжим!» И тот снова начинает стучать.

Много ли можно выстукать так? Много ли можно сказать так соседу? Да, много! Конечно, это медленнее, чем просто вести разговор, но четыре–пять слов в минуту – скорость вполне достижимая. И Ильин не теряет времени зря.

Рядом с ним сидят – двое! В одной одиночке! Тесно, но зато обе стенки доступны для стука. Один из них – «Мак», Михаил Александрович Константинов, директор свиносовхоза, обвиняется в намеренном срыве программы приплода. Сидит давно, умеет перестукиваться, и все порядки тюрьмы знает вполне досконально.

Другой – «Рис», Рябов Иван Степанович, главный инженер крупного паровозостроительного завода. Входил в третий полностью посаженный состав заводского руководства. Первые два состава арестованы раньше. Предъявлено обвинение во вредительстве, проводимом путем злостного невыполнения плана. «А с кем его выполнять?! Опытных рабочих пересажали, а станки сами работать не могут. К ним люди нужны», – через стенку жалуется Рис Алеше. Рис посажен недавно, всего шесть недель, но быстро освоился с обстановкой. Перестукиваться научился у Мака и с упоением осваивает технику ускоренной связи. Беседовать с ним весьма интересно. Рис начинен новостями, как гранат зернышками, и охотно выстукивает их страдающему в изоляции Ильину.

«Рис» и «Мак» – это не клички. Это сокращения для перестукивания. Они нужны для уверенности в собеседнике. Ведь через стену человека не видно, а обитатели камеры могут меняться. И по этому же принципу Алексей Андреевич Ильин сокращается до Аила.

Ильин целыми днями сидит теперь у стены и слушает тихий стук Риса. А Рис рассказывает и рассказывает – без конца. Ильин узнает и о процессе «правотроцкистского блока», и о грабительском аншлюсе, и об оси Берлин-Рим-Токио, созданной «для спасения мира от коммунизма», и об Испании.

Все это кажется ему теперь исключительно важным, и он со стыдом вспоминает про былую недооценку «политики».

Только раз засмеялся он над узнанной новостью.

– Недавно в Париже умер Шаляпин, – выстукал Рис.

Умер Шаляпин! Ильин не понял, почему это важно. «Тюрьма, одиночка, разгул произвола, тысячи лучших людей оклеветанными уходят из жизни, а тут – умер Шаляпин! Как странно!»

Мак и Рис – коммунисты. Рис – член горкома. Он очень осведомлен, но не может понять, что случилось в стране, почему такие аресты.

Ильин на всякий случай отвечает: «Не знаю!»

И Рис стучит снова. Он побывал уже в общей камере, видел много людей, он считает, что в аппарате НКВД захватили власть вредители и враги народа. Что думает об этом Аил?

Алеша пугается. Он вспоминает пришитое ему обвинение в камерной агитации и хочет повторить стереотипное «не знаю». Однако, уже выстукав «не», меняет решение и продолжает иначе:

– Нет! Карьеристы!

Рис соглашается принять слова Ильина только в качестве дополнения и продолжает настаивать на своем:

– Гитлеровские агенты... по заданию иностранных разведок!

– Пересаливаете! – отвечает Ильин.

Соглашение не достигнуто, и Рис обрывает спор многозначительной фразой:

– Поживем – увидим! Весна покажет, кто где с...!

Ходит Алеша по камере. Ходит, и думает, и вспоминает. Он вспоминает Марусю. «Где она? Что с ней?.. И что с ее мужем? Он должен был быть в лагерях... Счастливчик!.. Его – не пытали!»

Да, Моргунов в это время работал в лагерях проходчиком первой руки. Тяжелый труд в шахте требовал, как оказалось, не только физических сил, но и знаний. Пришлось прямо с первого дня знакомиться с техникой горного дела, изучать коварные свойства угля и пород, обладающих скверной привычкой внезапно отваливаться от забоя; пришлось постигать капризный характер вечной мерзлоты и обманчивые особенности плохо распознаваемых, не имеющих ни вкуса, ни цвета, ни запаха вредных и ядовитых газов.

За истекшие месяцы Александр Сергеевич хорошо научился бурить и наваливать, остукивать кровлю и опускать козырьки, ставить времянки, выдалбливать лунки, помогать взрывнику готовить патроны-боевики для паления, делать забойку и плотно присоединять отрезки детонирующего шнура к магистрали. Умел он выдерживать нужный уклон, проверять направление штреков, производить настилку пути, ставить на рельсы забуренные вагонетки. Используя собственный опыт стахановца, приобретенный еще на заводе, экономя минуты и не теряя времени зря, он быстро «схватывал норму».

Его крепкое и от природы выносливое тело, как когда-то в лесу, быстро привыкло к громадным усилиям. Перестали болеть от напряжения мышцы, перестало валить с ног утомление. Закончив работу и выйдя из шахты, Александр Сергеевич тщательно мылся под душем, обедал и сразу садился за книгу. Однако читать не всегда удавалось: он жил вместе с бригадой в рабочем бараке, где тишину не ценили, а к книгам и размышлениям относились полупрезрительно.

Поэтому в те вечера, когда очень сильно шумели, Моргунов уходил из барака и шел к «ортодоксам». Давно миновало то время, когда он и они, с естественной в их положении осторожностью, присматривались и притирались друг к другу. Их взгляды, как уяснил Александр Сергеевич из откровенных бесед, были вполне идентичны тем, что когда-то, в Бутырской тюрьме, высказывал Кучин. Моргунов с ними не соглашался, но жаркие споры истины не порождали, и в конце концов они решили не дискутировать. Расхождение в мнениях не помешало сближению, и теперь Александр Сергеевич бывал у них запросто, приходил просто так, как к друзьям, посидеть, «посвистеть», рассказать о прочитанных книгах, услышать случайную новость, а иногда и разумный совет. Его принимали душевно и с явным благоволением, охотно давали журналы и книги, угощали, кто чем богат.

В конце января Александр Сергеевич неожиданно встретил на Руднике старого знакомого, Ивана Николаевича Онуфриева, бывшего секретаря ячейки машиностроительного завода, которому был обязан и вступлением в ВКП(б), и переводом в Московский университет. Старик выглядел – краше в гроб кладут, и чувствовал себя отвратительно. Он удивился, увидев Моргунова, и долго не мог прийти в себя. Значит, Моргунов оказался «троцкистом»! А его – Онуфриева – посчитали «зиновьевцем»: он долго работал в Ленинграде.

Моргунов тоже удивился:

– Иван Николаевич?! Ты?! В заключении?! Что же случилось в стране?!. Ты же токарь, рабочий, старый большевик. Как же можно?!. Знаю, знаю, конечно!.. Меня ведь тоже – «за так»!.. Какой я, к черту, троцкист?! Никогда не был им и не буду!.. Так, где ты работаешь?.. В шахте?! В забое?! Совести нет у людей!.. Старика! Специалиста!.. Ну ничего, не робей! У меня тут блатик завелся. Я тебя на поверхность устрою... Ты в каком бараке живешь?..

Моргунов решил прежде всего поговорить со своим начальником участка: у него, как-никак, родной брат заведует мехмастерскими. «Вот бы куда Онуфриева определить. Иван Николаевич хоть и старик, а другого такого не сразу найдешь! На все руки мастер. И инструментальщиком может быть, и учетчиком, и нормировщиком, на худой конец и к станку подойдет. Все легче, чем в шахту спускаться».

Сказано – сделано! Как только Мануйленко появился в забое, Александр Сергеевич бросился к нему попросить за Онуфриева, но непредвиденный казус помешал осуществить благие намерения.

– Гей, хлопець, – заорал Мануйленко еще издалека. – Ты що робив?.. Загинуты хочешь, чи як?.. Крипыты треба!.. Тут тебе не кондитерська фабрика, а шахта... Дурна голова!

– Закрепим, товарищ начальник, – попробовал успокоить его Моргунов.

– Закрепим... – злобно передразнил его Мануйленко. – Як убьот, тоди закрипиш!.. Тьфу!

Мануйленко с ожесточением сплюнул и приказал сопровождающему его десятнику остаться на месте и не давать идти в ход, пока не будет поставлено временное крепление.

– Я думав, ти прохидник, а ти, выявляеться, пройдисвит, – со злостью бросил Мануйленко Моргунову, уходя из забоя.

Разговор не состоялся, и Александр Сергеевич решил пойти с ним к «ортодоксам». Он знал, что многие из них работают в управлении на руководящих должностях, и надеялся, что они согласятся устроить Онуфриева.

Войдя в палатку, Моргунов ощутил необычную напряженность. Люди были чем-то взволнованы, тревога реяла в воздухе. Слышался ровный, несильный гул многочисленных разговоров, но – ни обычного смеха, ни споров, ни выкриков. Около Игнатова и Алиханяна толпилась кучка людей. Они что-то вполголоса обсуждали.

Моргунов немного помедлил, но потом подошел.

– Разрешите вас на минуту прервать! – сказал он и обратился к Игнатову: – Я тебе книгу принес. Давай второй том, и я, пожалуй, пойду, не стану мешать.

– Ты нам не мешаешь, – ответил Игнатов. – Наоборот, мы как раз тебя видеть хотели. Ну... что там в поселке?.. Что слышно?

– О чем?.. Я плохо тебя понимаю!

– О чем?!. Теленок молочный!.. О мамкином молоке!.. Я спрашиваю, что слышно в поселке. Кого у вас – взяли?

– У нас? Никого!.. Хотя постой!.. Я же толком не понял... Теперь дошло! У нас в бараке взяли двоих – Воробья и Японку. Оба – бандиты... Те еще!.. Пробы негде поставить.

– Вот видишь – бандитов! И притом только двух!.. А у нас в одной нашей палатке взяли шесть человек. Понимаешь?!

– Н-н-нет... Не совсем...

– Говорят, прилетел какой-то... – Игнатов не договорил.

Моргунов вспомнил про самолет, о котором ходили легенды. Самолет, – говорили, – прилетел с неделю назад, покружился в районе поселка, выбирая место посадки, и сел где-то в тундре, за клубом. Люди видели, что из него вылез какой-то мужчина в желтом кожаном пальто на меху, ушанке и бурках. Он шел по глубокому снегу с портфелем, проваливаясь по колено и выше, прямо к поселку, к «хитрому домику». Потом слухи стали еще фантастичнее. Говорили, что дневальный у «опера», – заключенный, сектант, – подслушал один разговор. Прилетевший – московский посланец Кашкетин – сердился, что на Воркуте проморгали заговор против вождя, и говорил что-то еще. Что – дневальный не понял, дурак, безграмотный олух, знает только псалмы и Евангелие.

Моргунов слухам тогда не поверил. И никому о них не сказал. «Мало ли что болтают на свете!» А теперь!..

И он рассказал все, что слышал, Игнатову.

– Это мы знаем, – ответил Игнатов. – Слухи вполне достоверны!.. Видишь, – прибавил он после небольшой паузы, – до чего испохабили диктатуру пролетариата! Усатый превратился в настоящего самодержца! А от самодержавия ничего, кроме гадости, ждать не приходится... Прав был Геродот.

– Геродот?! – удивленно спросил Моргунов. – Я у него про такое не помню.

– Где ж тебе помнить! Ты же читал свой ободранный том. А мы здесь после тебя нашли еще Геродота. Другого издания, более позднего. Ну-ка, послушай!.. Я прочту тебе речь Отанеса.

Игнатов вытащил из-под матраца толстую книгу и, открыв ее на заложенном месте, начал читать:

– «Да и каким образом государство может быть благоустроенным при единоличном управлении, когда самодержцу дозволяется делать безответственно все, что угодно? Если бы даже достойнейший человек был облечен такою властью, то и он не сохранил бы свойственного ему настроения. Окружающие самодержца блага порождают в нем своеволие, а чувство зависти присуще человеку по природе. С этими двумя пороками он становится порочным вообще. Пресыщенный благами, он учиняет многие бесчинства частью из своеволия, частью из зависти. Хотя самодержец должен быть свободен от зависти, потому что он располагает всеми благами, однако образ действия его относительно граждан противоположен этому. Самодержец завидует самой жизни и здоровью добродетельных граждан, напротив – негоднейшим из них покровительствует, а клевете доверяет больше всех. Угодить на него труднее, чем на кого бы то ни было, ибо если ты восхищаешься им умеренно, он недоволен за то, что ты не чтишь его чрезвычайно; если же оказываешь ему чрезвычайное почтение, он недоволен тобой как льстецом. Но вот, что важнее всего: он нарушает искони установившиеся обычаи, насилует женщин, казнит без суда граждан...»

Игнатов остановился и испытующе поглядел на Моргунова;

– Ну, каково?.. Что ты скажешь?.. Древние персы, видимо, были не дураками!

Моргунов вспыхнул.

– Я никогда не защищал ни самодержавия, ни единоличного управления. Не передергивай, пожалуйста!.. Я сейчас просто не вижу альтернативы, и не вижу ни средств, ни путей, идя по которым, можно было бы исправить положение.

– Наиболее верный путь – помалкивать в тряпочку, сидеть и не рыпаться, – с издевкой в голосе промолвил Игнатов.

– Хорошо! Давай не молчать, давай рыпаться! Что конкретное ты предлагаешь? Скажи! Может быть, я тебя и послушаю!

– Что сейчас говорить! – махнул рукой Игнатов. – Кричали все время «ура» и «да здравствует!» и докричались! Раньше надо было думать, а не теперь!

– Кучин правильно говорил, – вмешался Алиханян. – В борьбе с самовластием все средства дозволены!..

– Кучин?!

У Моргунова промелькнули воспоминания: Катя, Кучин, он сам, разговоры с Катей – на улице, с Кучиным – в камере.

– Кучин?! А где он сейчас?

– Мы же тебе говорили. Он – на Кирпичном.

– Это я помню. А новых весточек нет?

– Нет. Пока ничего не слыхали.

Еще немного поговорили и распрощались. В туманной белесоватой мгле Моргунов дошел до своего барака. Ложась спать и укладываясь на нары, Александр Сергеевич вспомнил об Онуфриеве и о невыполненном намерении

попросить за него. Он мысленно обругал себя «беспамятной кошкой» и решил, что завтра же сделает, что обещал.

Он долго не мог заснуть в эту ночь. Сегодняшний разговор его всколыхнул, перед глазами маячил Дмитрий Иванович Кучин. Моргунов вспоминал отдельные детали их разговоров и такого короткого, но столь впечатляющего знакомства.

А Кучин был близко, всего в тридцати километрах, на берегу Юнь-яги, на Кирпичном заводе.

XXV

Кучин попал на Кирпичный завод в октябре 1937 года. Здесь в барако-палатке он встретил авторов написанного на барже заявления Сталину и Димитрову.

Сначала Дмитрий Иванович отнесся к ним с недоверием. Он не знал, что было в том заявлении, – до сих пор до него доходили только отдельные слухи, – и поэтому он, ничтоже сумняшеся, посчитал их всех подаванцами.

– Как вы могли обратиться с какими-то просьбами к Сталину? – недружелюбно спросил он первого, с кем познакомился, Петра Христиановича Дипнера. – Где ваша совесть? Где – большевистская честь?

– Позвольте! – ответил с недоумением Дипнер. – О чем вы толкуете?!. Какие там просьбы?! Мы ничего не просили! Мы – протестовали и требовали!.. Как могли вы подумать?!.

– Протестовали?!. Серьезно?!. Это меняет все дело!.. Я ведь точно не знаю... Мне говорили... Я считал, что это – прошение!.. Если нет, извините!.. И – расскажите, конечно!

Дипнер поведал историю их заявления, повторил наизусть его текст, и охарактеризовал тех, кто его подписал.

– Миньков – видный партийный работник. В двадцать первом году, во время дискуссии о профсоюзах, участвовал вместе с Осинским и Бубновым в группе децистов. Немного позднее, будучи председателем комиссии по чистке ячейки ЦК РКП(б) и Совнаркома, исключил из партии как балласт молодую тогда Аллилуеву, Надежду Сергеевну, чем нажил врага в лице Сталина. Радзюминский – тоже децист, польский революционер, член ППС с 1893 года, затем – коммунист, член РКП(б). Дешкин – когда-то левый эсер; примкнул к коммунистам в первые дни Октября; он из нацменов, мордвин, но долгое время трудился в Азербайджане, в Баку. Рубинчик – красный профессор, троцкист, служил в Наркомземе, был членом коллегии. Зосимов – старый член партии, организатор марксистских кружков, он с Урала, авторитетный товарищ. Давыдов – военный, один из действительных, хоть и малозаметных творцов и строителей РККА, активный троцкист. Пергамент – тоже троцкист, яркая личность, работал сначала в секретариате товарища Ленина, знал его лично, затем – в Наркоминделе с Чичериным, а после – в Главконцесскоме у Троцкого. Умный, толковый, способный, принципиальный и стойкий. Его исключили из партии в двадцать шестом, потом вызывали, хотели восстановить, однако просили покаяться; он – отказался. Ну, и наконец – я, член общества старых большевиков, участник трех революций, первый директор треста «Взрывпром». Теперь вам понятно?

Кучин молчал. Поток впечатлений его захлестнул. Он инстинктивно и сразу поверил всему, что услышал, и неожиданно вспомнил Пергамента, с которым когда-то встречался в кругах оппозиции. Абрам Давидович в этих кругах считался – и по заслугам! – талантливым пропагандистом. Ничуть не рисуясь, без риторических вывертов, просто и убежденно, он выступал на рабочих собраниях, и его зачарованно слушали. Казалось, имея таких агитаторов, нельзя проиграть,

массы поймут их, во всем разберутся и, ясно представив себе, что ожидает страну, пойдут вслед за ними. Казалось, так будет, так вытекало из логики.

Однако все вышло иначе. В партийных дискуссиях победа досталась не логике, а государственной власти. «Со Сталиным спорить нельзя, – сострил как-то Радек. – Ты ему преподносишь цитату, а он тебе – ссылку».

Игра слов устарела достаточно быстро. Ссылки сменились тюрьмами и лагерями. И в первую очередь в них посадили всех тех, кто позволял себе мыслить не по инструкции сверху.

Одним из таких был находившийся в той же палатке Познанский – секретарь и ближайший доверенный Троцкого. Кучин узнал его сразу и поспешил подойти.

– Здравствуйте, друже! Давно не видались... Рад вас увидеть даже и здесь, хотя предпочел бы встречаться на воле.

– Кучин?!. Приветствую! – протянул ему руку Познанский. – Вы, значит, живы! Очень приятно!.. Хотя место для встречи действительно неподходящее! Крыльцо на тот свет!.. Прямое сообщение!

– Так уж и сразу прямое?!. А может быть, с пересадкой? – возразил ему Дмитрий Иванович. – Я допускаю, конечно, подобный исход, но не надо так мрачно смотреть на действительность. Мы же пока что живем. И я умирать не хочу.

– Так ведь и я не хочу... а придется! Впрочем, не унывайте! Если нас расстреляют в этой паршивой дыре, мы погибнем, зная, за что. А умереть за идею – завидная участь! Она достается не каждому.

– Знаете что? – сказал Кучин. – Давайте-ка сменим пластинку!.. Расскажите мне лучше о том, где вы скитались все эти годы, с момента отъезда из нашей столицы.

Познанский кивнул в знак согласия. И рассказал.

16 января 1926 года он и Сермукс сели на поезд, в котором, как они полагали, увозили Троцкого в ссылку. Узнав по дороге, что Троцкого в поезде нет, они вышли в Арысе, дождались его, сумели войти с ним в контакт, и, получив указания, двинулись в разные стороны: Сермукс – в Алма-Ату, Познанский – в Ташкент. Там он, как только приехал, был арестован и беспрерывно с тех пор скитался по тюрьмам и ссылкам. Попав, наконец, на Воркуту, встретил друзей и принял участие в массовой голодовке, а теперь, как и все остальные, сидел и не знал, что его ожидает.

На хорошее он не надеялся.

– Меня расстреляют, я это чувствую, – сказал он довольно спокойно, закончив рассказ. Он не то что боялся расстрела, но, как собака чутьем, предугадывал близкую гибель.

– Почему вы так полагаете? – спросил его Дмитрий Иванович. – А может быть, все обойдется?! Ведь всех не убьют... И – да минует нас чаша сия!

– Бесполезно, – ответил Познанский. – Меня расстреляют, как пить дать. Да и вас, вероятно, прихватят. Это – реально.

Кучин стал возражать. Разгорелась дискуссия. Первое время в палатках спорили много. Народ еще не успел отощать, и больше всего его привлекали события, происходящие в мире: смертельная схватка в Испании, германский фашизм и его отражение в нашей стране. Еда превратилась в тему всех разговоров позднее, когда голод измучил людей, вызвал пеллагру и смертность от истощения.

Зима прибавила трудностей. Палатки были набиты людьми выше всякой возможности. На сплошных двухэтажных нарах мест не хватало, пришлось установить очередность сна и лежания. Мучил зверский режим. В один отвратительный день перестали водить на прогулку. Несмотря на морозы и сильные ветры, в палатках было тяжко и душно. Жизнь все больше и больше становилась сплошной доходиловкой. И только кипучая пылкость сердец,

неиссякаемая жизнеспособность поддерживали непокоренных. Они мужественно переносили лишения, голод и тяготы, и их не сломил произвол. Скверна и грязь бытия как будто скользили над ними, не задевая их внутренний мир и мышление.

Они сидели в барако-палатках, отрезанные от внешнего мира, газет им не давали, радио не было, раздатчики пищи и вертухаи молчали или матерились. И – только! Даже такое взволновавшее лагерь событие, как прилет из Москвы какого-то сверхкомиссара, до них не дошло.

Так продолжалось почти до конца января. Бесконечные дни проползали, не принося облегчения и не уменьшая неясности. Миновало число двадцать пятое – вторник, начиналась среда. Время текло монотонно, как и обычно.

Но вот, примерно в час ночи, грохнул замок, дверь в палатку открылась, вошел неизвестный вохряк.

– Вульфович!.. Кто здесь Вульфович?

Молодой ученый из Харькова, лет тридцати с чем-нибудь, ярый троцкист-ортодокс, крепко спал. Его разбудили. Он недовольно поднялся, увидел стрелка.

– Ну, вот!.. Давно не видались, – вымолвил он и стал собираться.

– Вульфович! Давай без вещей!.. Чего ты там колготишься?.. – крикнул посыльный.

– Без вещей?!. Это еще что за новость?!

Палатка проснулась и напряженно внимала происходящему.

– Что такое случилось?.. Зачем его вызывают?..

Прошло всего несколько минут. Вульфович вернулся назад. Приведший его стрелок возгласил:

– Яковин! Давай без вещей... Выходи!

Яковин – тоже ученый, красный профессор, но не молодой. И люди в палатке гадают: «Чем связан Яковин с Вульфовичем? Почему их – двоих?! Вообще, что случилось?»

– Вульфович, кто вас вызывал? И зачем? Почему вы так быстро вернулись?

Вульфович разводит руками.

– Не знаю, ей-богу, не знаю! Вызвал какой-то Кашкетин... Похоже, большой начальник... Поглядел на меня и спросил:

– Вульфович?.. Ну, что? Будете вы говорить или нет?!

– О чем? – спросил я его. – Нам разговаривать, кажется, не о чем!..

– Тогда иди на фиг! – выкрикнул он.

Вульфович недоумевал:

– Именно так все и было. Я рассказал все буквально, только последнее слово его заменил техническим термином «фиг». Так благозвучней! – иронизировал он.

Привели обратно Яковина, вызвали третьего; после – по одному – еще трех. И со всеми один разговор:

– Фамилия?.. Будете вы говорить или нет?.. – и каков бы ни был ответ: – Иди на...!

Уполномоченный тратил на каждого не более минуты. Задержал чуть подольше лишь одного Радзюминского. То ли седины остановили Кашкетина, то ли он просто решил попугать старика, но «на фиг» его не послал, а вместо того задушевно сообщил:

– Я знаю, у вас там болтают о новых привесках и сроках. Так знайте же сами и передайте им всем от меня: новых сроков не будет. Речь идет не о них, а о том, что мы будем расстреливать вас. Мы будем стрелять в ваши поганые головы, щелкать их как орехи. Так и скажите им всем от меня. А пока что – ступайте!

Радзюминский пришел, рассказал. Воцарилось молчание. Немного подумав, люди решили:

– Вранье! Кашкетин бахвалится! Не может этого быть! Он пугает, а нам не страшно!

Такому отношению к угрозам Кашкетина способствовали и мистификации, распространяемые лагерным руководством. В палатки иногда заходили оперработники, заходил и начальник лагпункта Павлов. К ним обращались с вопросами, а они улыбчиво отвечали: «Потерпите! Скоро все кончится. Кирпичный завод ликвидируют, пойдете работать, будете чистить дорогу от снега. Скоро вас выпустят!»

Увы! Их слова оказались неправдой, а Кашкетин не врал. В эту же ночь из палаток забрали двадцать пять человек ортодоксов и пешим этапом погнали на Рудник, в тюрьму. Под нее приспособили, быстро навесив решетки на окна, добротно построенный, но незаселенный «Дом колонизированных». Из этих людей остался в живых только один человек – темная личность, лягаш, провокатор. Всех остальных через недолгое время вывезли в тундру и – расстреляли.

С виду Кашкетин был неприметным. Среднего роста, с полным лицом, роговые очки, вид добродушного доктора. Одевался он скромно: ходил в сапогах, телогрейке черного цвета первого срока, военной шапке-ушанке, но без звезды. Посмотришь – простой человек! Такой, каких много!

Но он уничтожил на Воркуте многие сотни ни в чем не повинных людей, которых кто-то когда-то назвал врагами народа.

Впрочем, действовал он не один. Делами вершила «Особая тройка»: Григорович, Кашкетин и Чучелов. Григорович – начальник Особого отдела ГУЛАГа – стоял во главе. Член «тройки» Чучелов ведал оперчекистским отделом Воркутского лагеря, Кашкетин входил в эту «тройку» как представитель главного центра – СПО ГУГБ.

Кашкетин играл роль рабочей лошадки, исполнителя воли начальства, но действовал не механически, а вполне сознавая, что делает, инициативно и с рвением. Властью его наделили огромной, и он выполнял указания свыше, истребляя людей, словно мух.

Весь февраль из палаток кого-то забирали, говоря им, что их переводят на Рудник, в тюрьму, но до нее доходили не все. Часть людей – в частности, Дешкин, Давыдов, Пергамент и Дипнер, – в самом деле попала туда, но многие бесследно исчезали по дороге.

В начале апреля их вызвал Кашкетин, показал им их заявление и на нем – резолюцию Сталина: «Привлечь авторов к ответственности».

– Ваше письмо?

– Да!.. Мы его написали на барже, во время этапа, в мае прошлого года.

– Так!.. Угрожали террором?!.

– Да что вы?! Нисколько!

– Как так нисколько?! А эти слова: «... если... останется втуне... мы будем бороться...»? Это что? Не угроза террором?..

– Какой же это террор?..

– А такой! Настоящий!.. Вот резолюция товарища Сталина! Вот!.. Теперь не уйдете!.. Будем вашу четверку – судить!

– Судите!.. Но нас, между прочим, совсем не четыре, нас было восемь!

– Об этих не беспокойтесь! Они свое – получили!

– Что получили?

Кашкетин им не ответил, но много позднее выяснилось, что Радзюминский, Миньков, Рубинчик и Зосимов были расстреляны еще в марте, вблизи от барако-палатки, откуда их взяли как будто бы для перевода в тюрьму.

Никто об этом тогда не знал. Ни в палатках, ни в лагере. Познанский и Кучин тоже не знали, и когда их, вместе с десятком других заключенных, вызвали в этом же марте «с вещами» и повели под конвоем в покрытую снегом тундру, они предположили, что их переводят на Рудник.

Они радостно шли по твердому, крепкому насту, наслаждаясь светом и воздухом, дышали всей грудью, мечтали о рудницкой бане, о теплых просторных бараках, где для каждого есть свое место на нарах, о семистах граммах хлеба и сытной горняцкой баланде, мечтали о письмах, газетах и книгах, о встрече с друзьями.

Их сопровождала куча стрелков, и они удивлялись: «Зачем же так много конвоя?! Неужели боятся побега?! Нелепо!.. Здесь – тундра: все равно никуда не уйдешь! Впрочем, мало ли глупого здесь происходит?!»

Они отошли от палаток километра на три–четыре и оказались у края забитого плотным, слежавшимся снегом оврага.

Тут их поставили в ряд, пересчитали, снова проверили по формулярам. Они стояли к оврагу спиной, а перед ними, шагах в сорока, встала шеренга стрелков.

Появился Кашкетин. Достал из кармана бумагу и, ничуть не волнуясь, громко прочел постановление «тройки»:

– ...Таких-то, таких-то, – он перечислил фамилии, – «рас-стре-лять за – лагерный – бандитизм»!

Ошеломленные люди еще не успели понять – «какой бандитизм?! О чем идет речь?!» – как грохнул залп.

Познанский схватился руками за грудь и молча осел. Кучин сразу упал головой вперед. Пуля пробила ровную, круглую дырку во лбу, прошла через мозг и раздробила тыльную часть головы. Тело его потрепетало и замерло.

Кто-то кричал и барахтался, кто-то полз по краю оврага, цепляясь руками за снег. Их добивали из пистолетов.

Затем все затихло. Медленно рассеивался в спокойном воздухе пороховой дым. Светило солнце. Белело, сколько охватывал глаз, белоснежное одеяние тундры. И только возле оврага темнели на снегу несколько скорченных тел, а поодаль равнодушно стояли и курили махорку человек пятнадцать стрелков.

XXVI

Почти три месяца свирепствовал Кашкетин на Воркуте, расстреливая бывших оппозиционеров, и то же самое, в это же самое время, делал Гаранин на Колыме.

Но не только в этих местах уничтожали людей. Расстрелы шли повсеместно. В справочных окошках органов госбезопасности семьям сообщали о тысячах взятых: «он осужден сроком на десять лет без права переписки». И мало кто знал, что этот человек уже никогда не вернется, что он уже умерщвлен. Чтобы ускорить движение, во всех областях срочно создали «особые тройки» – начальник управления НКВД, председатель Облисполкома, областной прокурор, – и они штамповали огромные списки: ВМН... ВМН... ВМН... (высшая мера наказания).

Иногда случались и неувязки: бывало и так, что внесенного в список забывали арестовать и долго искали по тюрьмам, куда он девался. А он в это время работал на воле, совсем не скрываясь, не зная того, что он уже должен быть мертвым.

Жизнь между тем шла все вперед и вперед. Те, кто еще оставался на воле, работали, жили, стояли за справками, плакали и веселились. Новые события с громом прошли по стране и канули в вечность, но память людская, легенды, молва и история сохранили их для потомства.

18 февраля 1938 года экипажи ледоколов «Таймыр» и «Мурман» сняли с дрейфующей льдины первую в мире полярную станцию «Северный полюс». Героев встречали невероятно торжественно. Поезд их шел из Ленинграда в Москву, пробиваясь сквозь стену цветов и приветов. Накал ликования все возрастал и завершился грандиозным празднеством в Москве, в восторженных кликах которого утонуло напечатанное в газетах в этот же день небольшое сообщение, что приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР в отношении

осужденных по делу «антисоветского правотроцкистского блока» – Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского и многих других – приведен в исполнение.

Процесс «правотроцкистского блока» завершил серию крупных судебных трагедий. Руководили его постановкой Ежов и Вышинский. Неразборчивый в средствах Андрей Януарьевич отрабатывал полученные ордена и драгоценное благоволение Сталина. Из Колонного Зала Дома Союзов на весь мир разлетались, казалось бы, неопровержимые, основанные на личных признаниях, доказательства ужасной вины не только обвиняемых по данному делу, но и многих других, предусмотрительно и потихоньку расстрелянных раньше. Народу демонстрировали воочию справедливость прежних расстрелов.

Дело «правотроцкистского блока» сыграло позорную роль. Именно здесь, на заседаниях Военной Коллегии Верховного Суда, усилиями Прокурора СССР стали «бесспорно доказанными» и мнимая вина Енукидзе, и выдуманная виновность Тухачевского, и провокационная клевета на Гамарника и Якира. Заодно, авансом, «доказали» вину и еще не расстрелянного Яна Эрнестовича Рудзутака. Судебные отчеты исправно публиковались в газетах. Народ читал их и хлопал глазами. Человеческая мысль не смирялась с фантастичностью открывающихся на процессе картин, но – разве им можно было не верить?!

А Вышинский знал, что творил. Помогая Сталину уничтожать невиновных, он делал грязное дело, но зато таланты его выявлялись вовсю! Прав был Игорь Северянин, сказав, что «при умении можно выявить и в проституции талант». Вышинский проституировал свои знания и жизненный опыт. Именно он создал теории, на которых базировались все беззакония. Не знать о широком разливе провокаций в руководимом Ежовым НКВД он, конечно, не мог, и, шагая по трупам ни в чем не повинных людей, шел к блеску и славе, к положению непререкаемого авторитета.

Ежов тоже всплывал все выше и выше. Провокационные дела и процессы приносили новую славу. Волны крови безвинно погибших поднимали к вершинам карьеры и власти. Ежов стал страшен для всех, и, вероятно, поэтому даже самые видные деятели правительства и ВКП(б), упоминая его фамилию, прибавляли к ней восторженные и льстивые эпитеты: «Верный страж величайших побед социализма, кристально честный любимый сын советского народа, ближайший соратник великого Сталина, непоколебимый борец за дело Ленина – Сталина, сталинский нарком и любимец народа». Где, когда и в какой стране курили такой фимиам простому начальнику контрразведки?!.

Волны фимиама становились все гуще и гуще, и под их дымовой завесой пробирались вперед карьеристы и подхалимы.

Постановление январского Пленума ЦК ВКП(б) разрядило обстановку только в одном направлении. Клеветники-добровольцы на время умолкли, но НКВД по-прежнему господствовал над всем и над всеми. Аресты все продолжались, и успокоение не наступало.

А фашизм в это время накапливал силы. Гитлер единым ударом аннексировал Австрию и фальсифицированным плебисцитом «узаконил» произведенный аншлюс – захват; в пасти волка оказалась Чехословакия; в Испании Франко медленно, но верно продвигался вперед; Муссолини цепко держал Абиссинию; Япония все больше внедрялась в Китай. Территория фашистского влияния расширялась, а Сталин, истребляя в стране померещившуюся ему пятую колонну, фактически уничтожал оборонную мощь СССР. Никто из рядовых людей на свободе не мог правильно оценить сущность происходящих событий. И только люди, томящиеся в тюрьмах и лагерях, видели истину.

В феврале и марте на Воркуте особенно трудно. Валят с ног ураганные ветры, свирепствуют пурги, снег пробивает любую одежду и проникает до самого тела.

Но ветры и снег угнетают порою слабей, чем магнитные бури. Во всяком случае, так посчитал Моргунов в том же тридцать восьмом году.

Магнитные бури мешали радиосвязи, они прерывали ее иногда на неделю и больше. А ведь даже в более спокойное время слабоватая рация Воркутстроя очень неважно справлялась с работой. Черные тарелки громкоговорителей часто молчали совсем, и тогда заключенные жили в полном отрыве от внешнего мира. Радио на Воркуте фактически было единственной ниточкой связи. Зимой воркутская почта почти не работала, газеты и письма не приходили, люди не знали о том, что происходит на свете, и отставали от жизни. Отсутствие проверенных фактов порождало слухи и сплетни. Верить кому бы то ни было становилось все более рискованным.

Поэтому в дни, когда радио было исправным, каждое транслируемое извне сообщение привлекало толпы народа. Люди собирались под черными жерлами круглых «Рекордов» и жадно впивались глазами в дребезжащие диски, как будто на них было что-то написано.

Московские передачи проникали на Воркуту сквозь трески, свисты и вой атмосферных помех, но их слушали с жадным вниманием. Когда же прекращались стоны и хрипы, а голос диктора становился разборчивым, слушатели поспешно расходились по своим местам. Местные передачи интереса не вызывали. В них говорилось всегда об одном: о процентах выполнения норм, о пройденных метрах штреков и просеков, о тоннах добытого угля и кубометрах породы. Все эти цифры, зачитываемые скучным, невыразительным тоном, были известны всем задолго до передачи, и поэтому, если молчала Москва, радио старались не слушать.

Но однажды передавали приказ начальника Ухтпечлага, и люди – впервые! – стояли вокруг, затаив дыхание и ловя каждое слово. До сведения заключенных доводилось, что «в целях создания нормальной обстановки в поселке и лагере» соответствующими органами расстреляны «за лагерный бандитизм» такие-то и такие-то «неисправимые злодеи-преступники». В списке перечислялись десятки имен. Среди них иногда попадались бандиты. Основная же масса погибших оказалась из «ортодоксов».

С ужасом и возмущением слушал Александр Сергеевич лицемерный и страшный приказ. «Как здесь все это просто!.. Вот так, ни с того ни с сего, расстрелять – без суда, по приказу! – работящих и честных людей! Приписать им лагерный бандитизм. Им – душу свою положившим за други своя! Какая чудовищность!.. Какое вранье!..»

Конечно, в списке есть и бандиты. Например, Алексашин, по прозвищу Рожа, – негодяй, паразит и каналья! Он, в самом деле, бандит и насильник, но все равно, казнить – это дело суда!

«А рядом с Рожей стоит имя Александрова! Сережи Александрова!.. Это ведь скромный и чуткий к товарищам мастер мехцеха, ленинградец, с завода «Марти», по образованию техник-механик, умница и острослов, большевик с несгибаемой волей!»

В свое время Моргунов познакомился с ним совершенно случайно. И сразу попросил за Онуфриева. – «Пусть приходит!» – просто ответил Сережа. И еще через день Онуфриев стал нормировщиком.

У Александрова водились книги. Он дал почитать Моргунову сочинения Макса Нордау – о Париже, о Франции, о Гюи де Мопассане, – и «Историю русской общественной мысли» Плеханова. Теперь Сережи не стало, а книги остались. И некому их возвращать. Александр Сергеевич, отнюдь того не желая, стал владельцем нескольких книг.

После обнародования приказа настроение в лагере резко упало. Страх снова расправил могучие крылья. Люди, перенесшие крушение всего и вся, арест и

неволю, исключение из ВКП(б) и получение срока, моральные мучения и физические тяготы этапов и тюрем, и, тем не менее, нашедшие себя в обстановке, пусть даже подневольного, лагерного труда, вновь ощутили боль и тоску. «Что происходит? Что означают расстрелы?» – спрашивали они себя и других. И – не находили ответа.

Кашкетин действовал быстро и энергично. За первым списком через несколько дней появился второй, а за ним и другие. Их объявляли по местному радио, и люди терялись в догадках: «За что? Почему?»

Многих из расстрелянных знали. Знали их жизнь, поведение, взгляды. И никакого сомнения в том, что они ни в чем не виновны, не возникало ни у кого. Тем загадочней были расстрелы, но говорить что-нибудь было страшно, и заключенные предпочитали молчать.

Только одни «ортодоксы», проанализировав списки и сопоставив фамилии, сделали выводы и не побоялись предать их огласке:

– Вождь нас смертельно боится. Очевидно, он чувствует нашу моральную силу. А так как он трус и палач по натуре, то решил уничтожить нас всех. Надо готовиться к смерти!

Моргунов выслушал выводы и не возразил: они были похожи на правду. Гибель Кучина тяжко давила на мозг. Александр Сергеевич впервые столкнулся с таким произволом. Он, кажется, видел немало и пережил много... Оказалось – не все! И мысли буравили череп: «Что делать? Что делать?» Он стал рассеянным. И поплатился. Корж, хорошо – небольшой, стукнул по правой ноге. В медпункте сказали: «ушиб с гематомой». Пролежал десять дней, а встав, захромал к «ортодоксам». Здесь ждал неприятный сюрприз. «На неделе взяли Игнатова и вслед за ним «старика» – Акопа Ивановича Алиханяна. Они уходили не тихо. Игнатов запел «Интернационал» и разбудил весь барак, а Акоп, уходя, крикнул: «Прощайте, товарищи!»

Растерянный Моргунов поспешил к своим друзьям по этапу. Ревунов только что пообедал. Распоясанный, сытый и жаркий, он сидел за дощатым столом и наслаждался курением. Толстенная махорочная цигарка при каждой затяжке трещала и сыпала искрами. Ревунов глядел на нее с умилением. Сегодня он курил по-особому, с фокусом. Набрав в рот дыма побольше, открывал его и секундочку ждал, а затем могучим вдохом втягивал в легкие. Выдыхал не спеша, через ноздри и рот, в три струи. Увидав Моргунова, обрадовался:

– Александр Сергеевич!.. Слава Христу!.. На ногах!.. А я только что собирался проведать.

Выслушав Моргунова, вздохнул, поднял очи горе’ и сказал:

– Что ж теперь делать, Александр Сергеевич?! Все в руке Божьей, я так полагаю. Захочет – раздавит, как комара... Надеяться надо!.. Да минует нас чаша сия!..

Александр Сергеевич брезгливо поморщился. Слова Ревунова показались нелепыми. «Сейчас неважно, захочет ли Бог; важно то, что захочет Кашкетин!» Но бывший священник гнул свою линию. Он рассказал Моргунову, как «с Божьей помощью» успешно работает в шахте – выполняет, как правило, больше двух норм, катает по две вагонетки зараз. Никто так не может, а он – вот поди ж ты! «Жаль, что помер Иван Николаевич. Я бы ему подмогнул, он бы быстро поправился! Эх, Иван, Иван! Зря ты не дожил до нашего времени!»

Моргунов покачал головой: «Кто знает?! Может быть, Мельников вовремя умер и этим избавился от худшего. Он – фигура приметная, как-никак – секретарь...»

Моргунов не додумал; в барак, точно бомба, влетел Гольденберг.

– Александр Сергеевич! Здесь?! А я вас ищу... Важные новости!.. Только что узнал от дежурных радистов.

И наклонившись к самому уху, стал шептать про московский процесс:

– Понимаете?!. Правотроцкистского блока... Бухарин и Рыков, Ягода, Крестинский... а Томский – покончил с собой... Обвиняет Вышинский... Вот вам и ключ от всех наших событий.

Весть о процессе разнеслась по поселку со скоростью взрыва. Онуфриев, с которым Александр Сергеевич поспешил повидаться, был неприязненно хмур, деловит, неуступчив.

– Что же сказать тебе, милый товарищ?.. Сталин был прав! Классовая борьба обостряется. Враг не дремлет... Конечно, никто не мог бы подумать, что эти люди скатились так низко, но это, в конце концов, не так уж и удивительно: логика фракционной борьбы!.. Она затянула... Вот из-за них-то не верят и нам!.. Лес рубят – щепки летят!.. Нет, сынок, что ты! Я не оправдываю... Здесь, на местах, люди помельче. Отсюда и перегибы!.. Вот если бы Сталин узнал...

– А ты думаешь – Сталин не знает?!. Это все – его дело, его! – перебил Моргунов.

– Постыдись, коммунист! Слушай, что говоришь!.. Видно, ты здесь – того... Нахватался!.. Сталин, конечно, не знает! Разве он может за всем уследить?!. И троцкистов твоих, видно, хватают не зря. Это – шайка бандитов!.. Им – так и надо!.. Что с того, что они пока – ничего?! А случись что-нибудь, и они – тут как тут, будь уверен!.. Ну конечно, – не все. Это – что толковать!.. Но говорю тебе – Сталин не знает!

Онуфриев твердо уверен. Он непоколебим. Он стоит «на камени». Моргунов думает: «Жаль, что умер Иван Николаевич – что бы сказал он сейчас?..»

День за днем уходит в прошедшее, но каждый врезает глубокий добавочный штрих в скрижали истории. Мефистофель ошибся: его изречение – «Прошло и не было – равны между собой!» – оказалось неверным. Дни проходили и создавали нечто неповторимое.

Лагерь жил в беспрестанном волнении. Неуверенность в завтрашнем дне, внутренний страх за себя и отрывочные, не всегда полные, но всегда одуряющие передачи о московском процессе господствовали над всем остальным. Ни о чем другом не хотелось и думать. Бледными и невыразительными казались на фоне двух этих громадных событий прочие новости. «Проглотил Гитлер Австрию? Ну, и что ж тут такого?!. Вернулись папанинцы? Ну, честь им и слава!.. Семкин выполнил норму проходки на 200 процентов? Ну и пусть!.. Вы лучше скажите, что слышно – «оттуда»!

На людей, говорящих о японо-китайской войне, об упорных битвах в Испании, о формировании правительства Блюма, смотрели как на помешанных. «Вы – что?!. Не от мира сего?!. А какой это Гурвич из последнего списка – Абрам или Яков?.. Абрам?.. Ленинградец?!. Да!.. Так!.. Ну, бывайте здоровы!.. Мне сейчас недосуг!.. До свиданья... Пока!»

Происходящее учило таиться и не высказывать спрятанных мыслей. Заключенные старались молчать и пореже встречаться друг с другом. Даже радио слушали в полном безмолвии. Как-то раз оказалась хорошая слышимость. Из Москвы передали, что приговор по делу «правотроцкистского блока» приведен в исполнение. И тут же по местной трансляции зачитали еще один длинный дополнительный список.

Люди стояли и слушали молча. Никто не проронил ни единого звука.

XXVII

Два-три раза в неделю людей вызывали «с вещами» и уводили неизвестно куда, однако в палатках свободнее не становилось. Они пополнялись этапами из прилегающих мест. Юнь-Яга и Хановей, Кочмес и Абезь, Сивая Маска и Усть-

Воркута, выполняя приказы Кашкетина, спешно слали на Рудник и на Кирпичный завод подкрепления.

Этапы шли очень быстро, торопясь поспеть до разливов, но весна помешала движению: вскрылись реки, пошли ледоходы, а за ними – большая вода. Затопило пути, и пришлось возвращаться назад. Конвой матерился, на чем свет стоит, и ведомые тоже роптали:

– Неразбериха какая-то! Гоняют напрасно туда и обратно! Вышли бы на два дня раньше, и были б на месте!

Они не знали, зачем их ведут, и жалели, что задержались в дороге; между тем паводок спас их от неминуемой смерти. Те, кто не смог перейти через реки, остались в живых.

Весной Кашкетин внезапно исчез, перестала работать «особая тройка», и – прекратились расстрелы. Никто не знал – почему. Позднее пополз по лагерю слух – его распускало начальство! – Кашкетин расстрелян!

– Расстрелян?! За что?

– За политический бандитизм!

Никто не мог подтвердить эту новость, но опровергнуть ее было нечем.

А затем пошли разговоры: «Кашкетина видели в Котласе, его вели под конвоем, он сидел там в тюрьме, в одиночке, и что-то кричал из окна».

Моргунов попытался дознаться, где правда, но – безрезультатно. Доподлинно стало известно лишь то, что вместе с Кашкетиным исчез неизвестно куда взвод стрелков, уводивших людей из палаток, а сами палатки – расформировали. Обитателей их рассовали по ОЛПам, десятка два человек попали на Рудник, но оттуда их сразу угнали в сангородок как истощенных и посему непригодных для тяжелых шахтных работ.

И тюрьму почти что совсем распустили, но Дешкин, Давыдов, Пергамент и Дипнер остались сидеть. Против них велось дело. Их обвиняли в терроре: 58-я статья, 8-й и 11-й пункты Уголовного кодекса РСФСР.

После первой беседы с Кашкетиным их допросили всего один раз, допросили небрежно и быстро, и сразу закончили следствие. А потом много долгих-предолгих недель они ожидали, что будет.

17 июля 1938 года наступил, наконец, день суда. Начинался он как обычно: подъем, оправка, вынос параши, пайка хлеба и кипяток. А затем неожиданно:

– Приготовьтесь на суд!.. Поскорее!

– Какой такой суд?! – возмутился Давыдов. – Разве так судят?! Сначала должны нам вручить обвиниловку... за трое суток!.. Так положено по УПК, статья триста девяносто вторая!

– О чем вы, товарищ Давыдов? – возразил ему Дипнер. – Разве в наших делах что-нибудь значат законы?.. Сплошной произвол, а вы говорите – «права»!.. И, кроме того, нас ведь хотят судить за – террор!

– Все равно! – спорил с азартом Давыдов. – Пусть – террор! Все равно должна быть обвиниловка... И вручать ее по делам о терроре надо за сутки! А нам вообще не вручали.

– Вы – законник, товарищ Давыдов! – вмешался Пергамент. – А тут – беззаконие! Тут УПК недействителен...

Давыдов хотел возразить, но его перебили. Конвой открыл дверь:

– Давай, выходи! Поживее!..

Произошла небольшая заминка. Никто не хотел выйти первым.

– Кому говорят?!. Выходи!..

Пергамент шагнул за порог. За ним вышли Дешкин, Давыдов и Дипнер.

Их отвели в другой конец коридора. Там, в большой пустой камере у правой передней стены, поставили длинный, из досок сколоченный стол, покрытый куском красной ткани. За ним – три дерматиновых стула; четвертый, такой же, – в

торце. У левой стены, напротив стола, за привинченным к полу деревянным барьером, – скамейка для подсудимых. Конвой усадил их на место и встал позади.

– Тяжко! – тихо промолвил вдруг побледневший Давыдов. – Видно, подходит конец нашей жизни. Давайте простимся, товарищи!

– Успеем проститься, – ответил Пергамент. – Это пока преждевременно!.. И не сдавайтесь, товарищ Давыдов! Держитесь с достоинством!.. Двух смертей не бывать, а одной... сами знаете!

– Не хочу-у!.. – плаксиво промолвил Давыдов, и лицо его исказилось.– За что?!. Не хочу!..

Дипнер взял его за руку и потрепал по плечу:

– Что вы, что вы?! Спокойней! – и почувствовал, что дрогнули губы у самого, а сердце сжалось в комок.

– Нет!.. Я – ничего!.. – Давыдов качнул головой, будто бы что-то стряхнул. – Я – держусь!.. Я – спокоен!..

Он действительно овладел собой, улыбнулся и, хлопнув Дешкина по спине, спросил с напускной бравадой:

– Что ты невесел, браток?!

Дешкин поглядел на него с изумлением.

– А чего веселиться? Какие причины для этого?..

Впрочем, Дешкин держался прекрасно. Он обладал изумительной выдержкой и хладнокровием.

– Встать! Суд идет! – подал команду конвой.

Люди поднялись.

Вошли судьи в военных мундирах со шпалами: у председателя – три, у членов – две и одна. Секретарь – без петлиц и без знаков различия. Велели садиться и сами уселись.

– Подсудимые, встаньте! Вас судит Лагерная Коллегия Верховного Суда Коми АССР...

Суд проходил по упрощенной форме. Ни защиты, ни обвинения. Все просьбы, протесты, ходатайства отклонялись немедленно. Секретарь зачитал обвинительное заключение – всего две страницы: такие-то, там-то, тогда-то, написали письмо, адресуя его Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину. В этом письме они изложили абсурдные мысли и угрожали террором, а потому предаются суду... и так далее...

– Понятно ли вам обвинение?

Каждый отдельно ответил:

– Понятно!

– Подсудимый Пергамент! Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

Пергамент резко ответил:

– Нет! Не признаю!

– Садитесь!.. Давыдов?..

– Не признаю!..

– Дипнер?..

– Нет, не виновен!..

– Дешкин?..

– Не признаю!..

– Хотите ли дать объяснения?

– Да, конечно, хочу.

Все захотели, и все утверждали, что о терроре и речи-то не было. «Будем бороться» – не значит «бороться террором». Можно бороться по-всякому, например – голодовкой, или письмами, или протестами, обращением к членам

ЦК, к оппозиции за рубежом. Мало ли способов обыкновенной борьбы, не преступающих рамки закона!

Председатель суда усмехнулся:

– Не преступающих?!. Та-а-к!.. Кто конкретно из вас составлял заявление?.. Чья инициатива?.. Кто писал текст?.. Кто редактировал?!. Дешкин?.. Дипнер?.. Давыдов?.. Пергамент?..

Каждый ответил, что – коллективно! Все – коллективно! Составляли, писали и редактировали! Все в равной степени... Вместе все думали, вместе писали. А переписывал начисто кто-то совсем посторонний, с четким, разборчивым почерком... «Нет, не задаром, за пайку!.. Он-то совсем ни при чем, и мы его даже не знаем!»

Только Давыдов обмолвился:

– Я-то, собственно, не составлял, подписал уж готовое... Но, само собой разумеется, – спохватился он сразу,– я отвечаю за все, что написано! Так же, как все остальные!..

– Суд удаляется на совещание.

И через двадцать минут – приговор:

«Суд считает доказанным, что подсудимые угрожали террором, чем способствовали и подстрекали... статья 17 УК, статьи 58-8, 11..., а потому, руководствуясь... приговорил:

Пергамента, Дешкина, Дипнера – к высшей мере социальной защиты – расстрелу.

Давыдова – к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит».

Конвой сгрудился вокруг осужденных. Они угнетенно молчали. Дешкин достал папироску и закурил. Судьи ушли. Вернулся начальник охраны, дал указание. Давыдова отделили и увели. Уходя, он обратился к приговоренным:

– Прощайте, товарищи! Не унывайте! Я уверен, что всех вас помилуют!..

Дешкин фыркнул в ответ. Пергамент и Дипнер смолчали. Затем отвели их троих в камеру смертников. Принесли бумагу и перья.

– Пишите ходатайство в Верховный Совет, просите помиловать вас!..

– Я не стану писать! – заявил вдруг Пергамент. – Пусть расстреляют!.. Надоела мне эта возня, эта жизнь!..

– Что вы?!. Разве так можно?!. Написать, по-моему, надо! – возразил ему Дипнер.

– Не стану! – ответил Пергамент.

Дешкин метался по камере, будто не слыша, о чем говорят.

– Я вас понимаю, – продолжал между тем спорить с Пергаментом Дипнер. – Я вас понимаю! Конечно, противно, но... но нельзя раскисать, нельзя опускаться на дно! Нам настоятельно нужно любою ценой пережить это гнусное время, а если не написать, то расстреляют, как пить дать!.. И не останется – очевидцев. Поймите! Ведь ОН же этого хочет, и мы, отказавшись писать, только поможем – ЕМУ!..

Дешкин остановился:

– Неверно!.. Позор!.. Абрам Давидович прав! Я тоже не буду писать!..

Дипнер вдруг рассердился.

– Ну и не надо!.. Тупицы!.. Кого удивить захотели?! Герои!.. Щенки!.. Выдрать вас некому!.. Жизнь дается один только раз... с того света не ворочаются!.. Я вам что предлагаю – слезницу писать?!. Или как?!. Идиоты!.. Надо использовать случай! Ведь это – возможность протеста! Они хотят показать, что у них все законно: «Суд расстрелял террористов, он – разобрался!» А мы напишем в ответ: «Это не суд, а расправа! Ничего не доказано! Все – провокация!»

– Не примут такого «прошения»!

– Никуда не денутся – примут! Озаглавим: «В Верховный Совет СССР... от таких-то!..»

Спорили долго. Скрипнула форточка в двери:

– Готовы, что ли, ходатайства? Давайте сюда!

– Нет, не готовы! Мы еще думаем.

– Думать надо скорее, здесь не совет депутатов!

– А вы не острите! Тоже остряк-самоучка нашелся!

– Вам чего сказано?! Давайте, пишите!..

– А мы не хотим торопиться!

– А я обеда не дам, пока не напишете!

– Не имеете такого права! – взволновался вдруг Дешкин. – Нет такого закона!

– Я те закон покажу! Кровью зальешься!..

– А я объявлю голодовку протеста!

Надзиратель оторопело посмотрел на Дешкина, видимо не найдя, что ответить. Затем он, вероятно, очнулся, выпрямился, подбоченился, а потом наклонился к форточке и, сказав: «Говорят вам, пишите!» – захлопнул ее.

Принесли обед: баланду из крупной перловки, такую же кашу, кусочек трески. Дешкин, бодрясь, через силу, съел свою порцию. Пергамент и Дипнер тоже пытались, но не смогли.

Заявления все-таки подали. В редакции Дипнера.

И потянулись жестокие дни и кошмарные ночи. Все старались бодриться и скрывать друг от друга охвативший их страх перед смертью. А он, этот страх, врывался в сознание исподтишка, съеживал сердце, опутывал мозг и не давал размышлять ни о чем, кроме небытия.

Приговоренные к смерти пытались отвлечься, пытались смирить свою душу и вспомнить о том, что происходит на свете. Но во все их воспоминания, во все разговоры властно вторгалась одна только мысль: – «Расстреляют ли нас? А когда? Ведь могут и не расстрелять!». Никто из них ни о чем не жалел и ни в чем не раскаивался. Если бы им привелось начинать свою жизнь сначала, они, зная заранее, чем она кончится, все равно пошли бы по прежней дороге. Иначе они не могли. Конечно, теперь они попытались бы что-то улучшить, избегнуть каких-то ошибок, какую-то часть их работы сделать иначе, предупредить ход событий, оказаться на гребне волны, а не в бездне, но путь их остался бы прежним. Они знали, за что надлежит умереть, умирать не хотели, но другого исхода не видели.

Ужас смерти стал всеобъемлющим. Он оказался сильнее рассудка. Нервы сдали совсем, и полсуток спустя все они стали похожими на заболевших тяжелейшей свинкой. Распухли околоушные и подчелюстные слюнные железы. Лица у них изменились. Есть они не могли. Один вид еды вызывал отвращение и тошноту. Они могли только пить и курить. Начальник тюрьмы, видимо, их пожалел: им приносили – конечно, за деньги, списываемые с личных счетов, – папиросы, махорку и спички. И они курили запоем, до одурения.

Днем беспокойство немного спадало. Все они почему-то считали, что днем на расстрел не берут, и по утрам, после подъема, когда тюрьма оживала, им становилось немножечко легче. Неяркий, сумрачный свет полярного дня проникал в их суровую, темную камеру через верхнюю часть козырька. Догадаться по свету, который час, было почти невозможно, но наступление ночи ощущалось особым тюремным чутьем. Вместо сумерек к ним вползал ужас. Они молча ложились на нары, и у них напрягались все фибры души. Каждый шаг в коридоре, каждый шорох и звук казался многозначительным. Где-то стукала форточка, и они привставали рывком, как по команде; капли холодного пота стекали за шиворот. «Сейчас откроется дверь, и...» Они лихорадочно вслушивались:

– Нет... не к нам... Пронесло!

Они говорили себе, что в ближайшие дни ничего не случится. Ведь пока дойдет заявление, пока его прочитают, пока утвердят, пока все бумаги вернутся обратно, они будут – живы! Но нервы не слушались разума. Нервы жили отдельно от тела.

XXVIII

Трудно переносили свое кошмарное положение смертники в их замкнутой и тщательно охраняемой камере, а вне тюрьмы, в лагере, который теперь им казался свободой, шла обычная, повседневная жизнь: так же тяжко работали люди, стремясь перевыполнить нормы, так же подстегивали их котлы и пайки, так же подгоняли психические атаки бичующих лагерных радиопередач и призывов наглядной агитации, и так же не могли они избежать добровольно-принудительного ударничества и трудового – вместо социалистического на воле – соревнования.

Повелевающие объявления и диаграммы, бодрые лозунги и злые карикатуры постоянно преследовали их в нарядной, в бараках и на отдельных щитах, а в конце августа число плакатов почти что удвоилось, и везде запестрели новые надписи:

«Ознаменуем трехлетнюю годовщину стахановского движения новыми производственными рекордами!»

Урки читали и нагло смеялись:

– Спешим... аж яйца вспотели!..

Пятьдесят восьмая относилась к делу иначе:

– А что ж?!. Давайте попробуем!.. Чем мы хуже других?!.. Конечно, нужна подготовка: порожняк разгрузить, закрепить до забоя. Пусть запальщики спустятся раньше, а то сколько времени зря пропадает, пока их дождешься!.. И рельсы надо наладить, вагонетки чтоб не бурились. В общем, начальство, вы нас от всех неполадок избавьте, а мы-то не подкачаем!

Моргунов – бригадир. Не тот бригадир, что в бараке, – тех теперь начальниками отрядов назвали, – а настоящий, производственный. Его сквозная проходческая бригада нарезает новую лаву, первую лаву «углубки» – так все еще по старинке называют на шахте вскрытый второй горизонт. Работа важнейшая, спешная: зима приближается, запасы прошлого года уже отгрузили, аварийные склады пусты, пора вновь отдавать все усилия «добыче». Стране нужен уголь, а старые лавы работают плохо: и катать далеко, и кровля у сбросов не держится, и посадки мешают. Вообще, лав уже не хватает. Жми не жми, радикальнейший выход один: расширить фронт горных работ, увеличить действующую линию очистных забоев.

И глаза руководства прикованы к новой разрезке. В ней ключ к общему расширению. Моргунов и бригада жмут, что есть мочи. Темпы проходки растут с каждым днем, но надо все больше и больше.

И вот наступает среда, тридцать первое августа. Задача поставить рекорд дана моргуновской бригаде. Перед спуском в шахту людей зовут в кабинет.

– Товарищи! – обращается к ним завшахтой, заключенный Некрасов. – Вы знаете, что за день сегодня?!. Объяснять не приходится!.. Так вот, по маркшейдерскому замеру осталось семь метров до сбойки... Неужели же мы не собьемся?!. Конечно, тут – триста процентов! Но – «нет таких крепостей...» – улыбается он, замолкая.

Бригада молчит. «Больно много! Не выдюжишь! Ведь больше двухсот никогда не давали!..»

В кабинете народу – не протолкнешься. Руководство в полном составе: главинж со своим заместителем, начальники служб и отделов, представители лагеря, какие-то еще люди. И все смотрят на Моргунова.

– А как с подготовкой? – спрашивает он, наконец. – Как запальщик? Как лес? Как с откаткой?.. Ведь мы обо всем говорили!..

– Все будет! – отвечает Некрасов. – Взрывник уже в шахте. Леса – несколько «коз» на подхвате. Дежурный путеец спускается с вами, начальник движения – тоже. Откатку усилили, поставили лучших людей... Что еще надо?.. Давайте, собьемся!.. Каждому – пачка махорки и спирт!.. По пятидесяти граммов в неразбавленном виде.

– Мало! – говорит Моргунов. – Пятьдесят – это мало! Давайте по сто! Я не пью, но ребятам не хватит... И мы – не за спирт! Мы собьемся и так, но коли даете – давайте, чтоб кровь заиграла!

Некрасов взглянул на начальника лагеря. Тот чешет затылок: «По сто – это много! Напьются!»

– По семьдесят пять! Больше дать не могу.

Моргунов пожимает плечами: «Ну, ладно».

– Договорились?.. По семьдесят пять! – твердо итожит Некрасов. – Всем ясно?.. Айда на работу! Я тоже сейчас приду!.. Товарищ Моргунов, надеюсь, не подведете?!

– О чем говорить! Сделаем, раз обещали. Пока не собьемся – не выедем!.. Наше слово – кремень!

Пошли... И как пошли! Людей не удержишь. В низкой – один тридцать два! – восстающей печи грохочет «дека два пятнадцать», не успевая откачивать груз. Только что отвалили. Часть угля отвалилась на решетаки, они переполнены, а лопаты гребут и гребут. «Скорей, скорей!» Грузят все, как один. Черное облако угольной пыли издает ощутительный запах сернистого газа и окислов азота. Оно лезет в раскрытые глотки, ест глаза, забивает уши, носы. Но люди не хотят ничего замечать.

– Погодите!.. Куда вы?!. Проветриться дайте! – кричат Моргунов и десятник, но люди не слышат: «Скорей! Скорей!.. Проветрится – после!»

– Эй, люковой! Мать твою так! Ты что там – смеешься?! Не смей останавливать привод! Вагоны меняй на ходу, вышибай их один об другой!.. Да не трусь, не бреши! Ничего не опасно!..

Не успели выгрузить уголь, а в забой уже тянут «баран»: «Бури, бури, веселей!..» – «Подожди, говорю!» – «Почему подождать?» – «Надо крепить!» – «Ах, крепить?!. А я думал – крепить!» – «Ну, скорее же, мать-перемать!» – «Вася, стойку давай, не задерживай!.. Что ты возишься с ней, как тяжелая баба?!. Меряй!.. Режь!.. Поднимай!.. Становь поскорей!.. Бей кувалдой!.. Натягивай! Бей!.. Есть! Стоит!»

Бригада работает слаженно как никогда! Каждый понимает друг друга с полуслова. Пахнет потом, распаренным телом и гнилью. Дух такой, хоть святых выноси. Все без рубашек, а в забое чуть больше нуля: разрезка идет в мерзлоте.

Люди жмут все быстрей и быстрей. Моргунов вместе с ними. Он готов позабыть обо всем: о необходимом внимании, о запрете палить, если не выгружен уголь, о том, что надо крепить, и крепить, и крепить.

И вот тоже – диво! В забое начальства невпроворот. Тут и завшахтой Некрасов, и главный инженер, и прикрепленный толкач – помглавинжа, и чины НКВД, но они не кричат, не командуют, не подгоняют. Даже больше того: они сами шуруют лопатами и помогают грузить. Все в поту, все в азарте, всех втянул, захватил небывалый ритм работ.

И только Мануйленко ничто не берет. У «хохла», видно, нервы – стальные:

– Закрепить!.. Кому я казав?!. А не то – працювати не дам!..

И – не дает!

И ничего не поделаешь. Он – начальник участка, его слово – закон. Люди злятся, но понимают – иначе нельзя! Вдруг – «убьот»!

Некрасов следит по часам – они у него одного. За полсмены сделано два полных цикла, половина дневного задания. Но люди устали. «Как-то пойдет дело дальше?!. Ведь работать будет труднее, добавятся две перекидки: забой-то уходит вперед и вперед».

Но работа кипит в том же темпе! «Скорей, скорей!»...

И вот – конец дня. Подготовлен последний отпал. Забой заряжен, проверен, люди укрылись. Взрывник вертит ручку палильной машинки... Р-р-раз!.. Грохот взрыва!.. И воздушная струя – рванулась наверх... Печка сбита! Ура-а-а!!!

Люди устремляются к сбойке. Усталости как не бывало. «Скорей, скорей! Включайте же привод... включайте!.. Тяните лес сверху... Грузи, грузи, веселей!» Радостны лица. Все как в угаре.

Изнемогающий от усталости Ревунов пробует столкнуть под люком сразу три вагонетки. Они не даются! И, забыв про высокий свой сан, священник крепко ругается матом. Он пробует еще раз, спиной. Жмет, задыхаясь, хребтом в хвост состава. Раскорячены ноги, кровь прилила к голове... Вагонетки ни с места!.. Кто-то черный, запыленный, вылез из печки. «Эй, помоги!..» Нажимают вдвоем, и состав вагонеток тихо едет по рельсам.

– Нажимай, нажимай! – хрипит Ревунов. – Нажимай, а не то остановятся!.. Главное – ты их не бойся!.. Дави!.. Жми сильней!.. Эх ты, мать твою так, р-р-работяга!..

– Я давлю, что есть сил, черт их знает, чего они стали, – виновато бурчит незнакомый рабочий, и Ревунов замирает от ужаса:

– Как?!. Это – вы?!. Гражданин начальник?!. Простите меня!.. Я ведь вас не узнал!..

– Ладно, жми!.. Здесь не место!.. Потом извинишься!.. По-о-ехали! – кричит увлеченный начальник. – Жми давай, жми, – тебе говорят! А то опять встанут...

Они катят состав вагонеток вдвоем. Ничего себе – пара! Заключенный откатчик, бывший поп, «враг народа», и начальник – «вся власть на местах», тот, кто носит в петлице три шпалы. Ничего! Шахта всех уравняла. У обоих черные лица, оба мокры от пота, оба в шахтной спецовке, у обоих тусклые лампы, оба жаждут одного и того же – рекорда, рекорда, рекорда!

Через час, через два, оба выйдут наверх, на поверхность, и направятся в разные стороны. Один, в чистом белье и новом военном мундире, пойдет в кабинет – составлять телеграмму о новой победе. Другой, в грязной, намокшей спецовке, побредет потихоньку в барак. Но все это – после, а сейчас они вместе, вдвоем, упираясь ногами в шпалы и почву, катят поезд из трех вагонеток, тяжко дышат и жмут, выбиваясь из сил, кряхтят друг на друга: «Давайте, начальник, толкайте, толкайте!» – «Жми давай, сам! Это тебе не у бабы под боком лежать. Здесь надо горбом, а не ...м!» – «Ну что вы, начальник, ну, что вы!..» – «Не нукай! Еще не запряг!» – «Да я что, начальник, вы ж сами взялись, я вас не неволил...» – «Еще б ты меня стал неволить!.. А, ну, навались!.. Давай разом!.. Вместях!.. Вот это я понимаю! Смотри, как пошли!..»

День закончился – лучше не надо. Разрезная печь сбита, разделана, уголь отгружен. Крепь установлена. Все – как надо! Задержались сверх смены не так уж и много, часика на два всего. И усталые шли на-гора. А в нарядной их встретил оркестр. Собрали побольше народа, митинг открыли, стали речи толкать, принесли транспаранты: «Труд искупает вину!», «Победителям – слава!»

С показным торжеством и огромнейшей помпой выдали спирт и махорку. Моргунов стоял рядом с каптером, отмечал по бригадному списку, очень зорко следил: «Вдруг закосит кто лишнюю порцию! Ведь они здесь все на учете!»

С непривычки народ захмелел. Шли в барак, пели песни, но невеселые: «Замучен тяжелой неволей...», «Красное знамя», «Смело, товарищи, в ногу...»..

– Каждый бы день спирт и махорку давали, мы бы рекорд – ежедневно!..

А природа встречала ненастьем. Обложило все небо темными тучами, ветер выл и стегал по распаренным лицам, нес снежинки и изморозь, лез под рубахи; на набитых ногами тропинках торжествующе чавкала грязь. «Эх, ты, север, горюн! Не поймешь, что творится с погодой!»

Моргунов вспоминает прожитое на Воркуте время. С ноября по февраль – стужа, темень и ночь. С января и по май – пурги, пурги и пурги, больше ста дней за год. Снег во время пурги валит сплошной стеной. Ураганные ветры по сорок–пятьдесят метров в секунду. Если надо идти, то пройдешь только боком: повернешься фасадом – с катушек слетишь. И хоть при этом обычно мороз небольшой – от одного до семи, – а замерзнуть легче, чем плюнуть. На лице образуется панцирь из снега и льда, и счищать его очень трудно. Руки, даже в перчатках и варежках, вынь из карманов, – и отмерзают мгновенно. Пропадают дороги. Не видно не только ни зги, но и собственных пальцев. И с сознанием тоже творится неладное. Воля слабеет, становится вялой, хочется сесть, отдохнуть, и хоть знаешь, что этого делать нельзя, что это – верная гибель, потому что заснешь – не проснешься, а все же хоть на минуту, да присядешь.

И весной – тоже радости мало. Снег местами лежит до июля, попадаются и «перелетки». Река вскрылась в этом году только шестого июня, а вообще говорят, что бывает и позже. Чуть теплеет – летят комары. Их – мириады! Полярный день и незаходящее солнце, хоть его из-за туч очень часто не видно, кажутся Моргунову невыразимо противными. Темные ночи намного уютнее.

Лета почти не бывает, хотя, говорят, год на год не приходится. В это лето снимать телогрейку удавалось в отдельные, редкие дни.

Только осень, короткая, – несколько дней! – оказалась немного приятней. В конце августа тундра прекрасна. Ягод в ней – море! На склонах песчаных холмов – голубика, брусника, черника, а пониже, – где торфяные болота, – на редких буграх очень много морошки.

Моргунов равнодушен к природе, но и то соблазнился. Походил, посмотрел можжевельник, березку. Долго нюхал кустарник, разглядывал ягель.

– «Нет, не нравится все! Книги – куда интересней!»

Лето радовало совершенно иным. Открылась навигация. Заработала почта. Пришло письмо от Маруси. Слава Богу, жива, уцелела, и дома – все хорошо. Пишет: «Стало легче дышать, январский Пленум ЦК изменил обстановку». Где и что изменил – не поймешь. Здесь – как было, так и осталось: произвол и тоска. В голове шум и звон. Мысли скачут, как блохи. «Зря я все-таки выпил свой спирт! Жизнь стала еще омерзительней!.. Эх, была не была, лягу спать. Надо выспаться. Черт с ним совсем!»

Быстро и жадно поев принесенный дневальным обед, Моргунов залезает на нары. Сон приходит почти что мгновенно, но переполненный мозг и во сне не находит покоя. Перед спящим, одно за другим, возникают видения.

Ему снится зимняя голодуха и единственный продукт питания – хлеб, из которого добрых полгода готовились все, без исключения, блюда лагерной кухни: затируха, галушки – крупные, мелкие, средние, каша из вареного хлеба, хлеб в виде хлеба и в форме пустых пирогов, и опять галушки, и опять затируха. Нехватку продуктов здесь объясняли по-разному:

«Все запасы ортодоксам скормили. Их опосля голодовки кормили от пуза».

«Слишком рано упала вода, обмелели реки, грузы не успели пройти и застряли в дороге».

«Вредители нарочно снабжение сорвали».

«Вы думаете, продуктов действительно нет?!. Чепуха! Просто нас с вами решили здесь заморить».

Поди-ка пойми, где тут правда, где ложь, где ошибка, а где клевета, что к чему в этом мире вообще.

На смену галушкам и слухам во сне приходит – Игнатов. Он расстрелян. В затылке дыра небольшая, а лоб весь раздроблен. Именно так было в той страшной могиле, на которую случайно, гуляя по тундре, наткнулся на днях Моргунов. Ее вырыли где-то на склоне бугра, в мерзлоте, а летом грунт оттаял и сполз, труп обнажился.

Игнатов – мертвец, но он – рассуждает, он, сидя на нарах, читает письмо от Маруси:

«В Москве теперь много разных событий... что-нибудь происходит чуть ли не ежедневно... ликвидировали театр Всеволода Мейерхольда, а семидесятипятилетние Константина Сергеевича Станиславского праздновали с невероятнейшим бумом; за короткое время построили двенадцать новых мостов (не мосты – настоящие улицы! Чудо XX века!) У папы были большие неприятности, но теперь все прошло, он работает, с комсомолом у меня все нормально, а Алеша Ильин так и пропал, уехал и, вроде тебя, не вернулся. Где он теперь, – я не знаю». И вслед за этим Маруся пишет о чувствах: «Роднусь мой, Роднусь».

– Не надо читать, Игнатов, не надо!.. Это же – личное. Ты понимаешь, Игнатов, ты слышишь?.. Не смей!

Александр Сергеевич тянет руки к письму, а они – словно плети. Их не поднять, не осилить. Он мечется, стонет, кричит, и – во сне – будто бы просыпается...

Теперь ему снится, что он в бараке, сидит за столом, стол уставлен бутылками чистого спирта, вокруг много людей, но они почему-то в спецовках и с лампами. Речь идет о рекорде.

– Да! Семь метров проходки, четыре отпала за смену, одним забоем, это – рекорд! Такого еще не бывало!

– Ха-ха! Не бывало!.. И сегодня не было тоже!

– То есть, как это не было?!. Ты что говоришь?!. Съезди в шахту, взгляни! Разрезка-то пройдена!

– Туфта все равно!

– Почему?

– Потому что проходка не ваша. В звене вашем шесть человек, вместе с откатчиком и люковым. А сколько на деле работало?.. Двадцать?

– Откуда?

– Оттуда! Вы, что ли, уголь грузили? Я поглядел, елки-палки зеленые: в забое полста человек... Ре-кор-дисты!!!

Александр Сергеевич хочет что-то ответить, но – просыпается.

И засыпает вновь, и видит еще один сон: он читает газету – статью Вышинского в «Правде» (вырезку тоже прислала Маруся). Она называется «Задачи советской прокуратуры». В самый буйный разгул оголтелого произвола Андрей Януарьевич пишет о том, что в таком-то районе местными властями установлены штрафы за оставление после мытья в банных шайках воды. Это ли не беззаконие?! Надо немедля пресечь!.. В лагере много смеялись над этой статьей – смехом сквозь слезы и злость.

И сквозь сон – кто-то будит: «Вставай!» Кто-то тянет за ногу.

– «А меня-то за что?!. Что я сделал?!.» – Моргунов открывает глаза и облегченно вздыхает. Его будит учетчик.

– Что ж ты спишь, бригадир? Рапорта до сих пор не заполнены!

И окончательно проснувшийся Александр Сергеевич быстро соскакивает с нар.

XXIX

Почти полгода просидел Ильин в первом корпусе, выходя из камеры лишь на прогулку и на оправку. Сразу после водворения в одиночку его снова вызвали на допрос, через день – на второй, и вслед за этим – на третий. А потом – словно все оборвалось. Его перестали вызывать, перестали допрашивать, и он сидел, тщетно пытаясь угадать причину странной задержки. Казалось, что дело его решили забросить, сунули куда-то в долгий ящик, а о нем – Ильине – снова, как в Туле, забыли.

Десятки раз бес искушения толкал его под бок: «Попроси бумагу, напиши заявление, пусть вызовут! Авось что-нибудь прояснится!» Но как только он подходил к двери, воспоминания об ужасах последних допросов заставляли отказываться от возникших намерений.

– Черт с ними! Пусть тянут, мне теперь торопиться как будто бы некуда!

В последние недели Алеша чувствовал себя очень неважно. Припухли и кровоточили десны, на внутренних поверхностях ног, возле колен, появилась россыпь маленьких пятен. Начиналась цинга! Бороться с ней Алексей не умел. Рис выстукал ему признаки болезни и средства лечения: «Побольше бывать на воздухе, на солнечном свете; питаться овощами и фруктами, желательно включить в рацион апельсины, лимоны и лук, необходимо принимать аскорбиновую кислоту». Ильин усмехнулся: на прогулку выпускают на пятнадцать минут, да и то не каждый день, и не обязательно днем. Кормят крупой, овощей и фруктов даже нюхнуть не дают. О врачебной помощи мечтать не приходится: фельдшерица то ли просто стерва, то ли до предела запугана.

– Да, – согласился Рис, – на днях у меня на щеке вскочил чирей, так она взяла кусок марли, величиной с пятачок, ихтиолом намазала и подает: «Приклеивать нечем!» – «Так вы прижимайте все время рукой!» – «Как это так, прижимайте? Надо забинтовать!» – «Нельзя, – говорит, – не положено!» Вот двустволка проклятая!

Рис, вообще говоря, грубых слов не гнушался и охотно выстукивал в стену замысловатую ругань, но это ему не мешало впадать временами в лирический тон. Как-то утром он отстучал Алексею странную фразу:

– Видел нелепейший сон. Следователя своего. Он лил слезы, а я его бил. Мне до сих пор неприятно.

Ильину захотелось ответить: «Не ерундите!», но на полуслове прием оборвался, а минут через десять новый стук в стену поставил в известность:

– Я Мак, Риса взяли допрос.

Отнестись равнодушно к такому совпадению Алеша не мог. Он уже давно заметил, что в одиночке, где человек очень глубоко уходит в себя, резко обостряется способность воспринимать внешние раздражения. Становятся тоньше не только слух, обоняние, осязание, – утончается вся нервная организация, повышается догадливость, увеличивается чуткость, а в сны и настроения проскальзывают элементы телепатии.

Ильину показалось, что он научился предчувствовать. Так случилось, например, в начале зимы, когда он увидел во сне свою мать: она стояла в старом-престаром пальто и платочке на подножке движущегося железнодорожного вагона, держа в руках узелок. Сон так походил на действительность, что Алеша проснулся в холодном поту и до середины дня не находил себе места. А потом открылась дверь камеры, и ему передали привезенные матерью белье и одежду. Вероятно, мать принесла и что-то из продуктов, но продовольственных передач для подследственных не принимали.

Затем Алеша заметил, что всем трем допросам, на которые его возили из одиночки, предшествовала необъяснимая и, на первый взгляд, беспричинная тревога, и по этой тревоге он безошибочно заключал, что с ним сегодня что-то случится.

Алексей не считал дар предчувствий чем-то чудесным и сверхъестественным. Проанализировав свои ощущения, он решил, что они – результат передачи мыслей и нервной энергии на расстояние, а принимает он эту энергию благодаря особой чувствительности организма, резко усилившейся в необычных условиях одиночки. Он считал, что такие передачи возможны и рассматривал их как еще не изученное, но реально существующее материально-энергетическое явление. Поэтому-то он и выслушал сообщение Мака с большим интересом и любопытством.

Через несколько дней ему удалось еще раз проверить созданную им гипотезу лично на себе. Алеша ночью проснулся и не мог заснуть до подъема. Им овладело острое беспокойство, мысли его разбегались, и он сделал заключение:

– Сегодня что-то произойдет! Кто-то меня вспоминает!

Наступило утро, и, к скрытой радости Ильина, его вызвали на допрос. В кабинете следователя от внутреннего торжества ничего не осталось: Алеше дали подписать «постановление о предъявлении обвинения», в котором говорилось, что он, Ильин, «уличен в участии в контрреволюционной группе С.В. Петухова». Когда же Алеша рядом с подписью в том, что документ им прочитан, проставил число, месяц и год, на него очень долго и гадко ругались.

«Какие мерзавцы! Хотят скрыть от кого-то, что почти целый год держали меня под замком, не предъявив обвинения», – подумал Алеша, но сказать это вслух не решился. Не хотелось вновь оказаться избитым.

С этого дня в его деле наступил крутой перелом. Его неделю подряд возили в НКВД, допрашивали об отношениях с Петуховым и подробно записали рассказ, как Алеша к нему заходил во время тульской экскурсии в город Орел. Ильин охотно подписывал свои показания. Ему и в голову не приходило, что в «дело» будет вложена только часть их, что следователь умышленно распределяет вопросы и ответы по отдельным протоколам так, чтобы все, могущее кинуть на Алексея какую-либо тень, попало в одни документы, а вся правдивая история случайного знакомства в поезде – в другие, заранее предназначенные к сокрытию.

Затем наступил кульминационный пункт следствия. Ильина вывели на очную ставку с каким-то незнакомым ему человеком, Иваном Петровичем Гусевым.

Следователь угрожающим тоном предупредил: «Никаких разговоров между собой. Каждое слово лишь с моего разрешения и только через меня. Сначала запишем ответы на вопросы следствия, а потом я дам вам возможность уточнить что-либо друг у друга».

Ильина посадили на стул позади сгорбленного, седого человека, одетого в немного поношенный пиджак с оторванным и неумело пришитым рукавом.

– Знаете ли вы сидящего перед вами человека? – записал следователь в протокол очной ставки первый вопрос.

– Знаю! – тоскливо и нехотя вымолвил Гусев. – Передо мной сидит... активный... участник... нашей... контрреволюционной... организации, руководитель ее тульской... группы... Андрей Алексеич Ильин.

– Алексей Андреич! Мать твою в горло!.. – грубо ругаясь, поправил Гусева следователь.

– Да, это верно, Алексей Андреевич, я... оговорился, – покорно согласился Гусев.

У Ильина от возмущения пошли перед глазами черные круги.

– Категорически утверждаю, что вижу этого прохвоста в первый раз, – попытался закричать он, но вместо четкого крика у него вырвался хрип. – Я вижу этого человека в первый раз! – повторил Алексей. – Да, собственно говоря, я его и теперь-то не вижу! Передо мной – седой стриженый затылок, и только!.. Я этого провокатора не знаю!.. Пусть повернется!

– Подпишите ответ и покажитесь ему, Гусев! – не допускающим возражения тоном приказал следователь.

Гусев подписал. Руки у него сильно тряслись.

– Оглянитесь!

На Алешу взглянули серые, наполненные бесконечной тоской, глаза затравленного зверя, четко выделяющиеся на заросшем седой щетиной лице.

– Где вы меня видели? Где у вас совесть? – спросил Алеша.

Гусев тяжело вздохнул и опустил голову еще ниже.

– Ваши вопросы потом! – сказал следователь. – Потом спросите! Записываю ответ:

«Категорически утверждаю, что вижу сидящего передо мной человека в первый раз»... Правильно?.. Вот и чудесно! Подпишите вот тут!

– Второй вопрос – Гусеву: «Где и когда вы встречались с Алексеем Андреевичем Ильиным, и откуда знаете, что он был тульским резидентом вашей контрреволюционной организации?»

Гусев снова вздохнул и, не поднимая головы, тихо произнес:

– Весной, что ли...

– 19 апреля 1937 года, – подсказал следователь.

– Да... 19 апреля... 1937 года, – подтвердил Гусев.

– Ну, что было 19 апреля? В этот день в Орле, на улице Чернышевского, в доме 148, состоялось собрание руководителей групп вашей контрреволюционной банды?

– Да... состоялось собрание... банды... – тихо проговорил Гусев.

– И на этом собрании Ильин выступал с докладом о своих попытках организовать тульскую группу?

– Да... тульскую группу!

– Тульская группа готовила террористический акт против великого вождя народов, товарища Сталина?

– Да... готовила... акт... против... Сталина.

– Но навербовать людей и осуществить свои злодейские намерения Ильину не удалось, так как он был своевременно арестован органами НКВД?

– Да... был арестован... органами НКВД.

– Подписывайте!

Гусев подписал.

– Ильин, что вы на это скажете?

– Все это – наглая провокация! Я категорически отрицаю что-либо подобное. Этого никогда не было.

– Записываю: «Я категорически отрицаю показания И.П. Гусева. 19 апреля 1937 года я на собрании не присутствовал и никакого доклада на нем не делал». Так?.. Подписывайте!

– Пусть Гусев скажет, кто, когда и как заставил его подтверждать такую несусветную чушь!.. Пусть скажет!..

– Я вам, Ильин, уже говорил: вопросы потом. Сначала подпишите ответ, а уж после этого будете допрашивать Гусева сами! Должен же быть какой-то порядок!

Ильин невольно поверил и, не предполагая подвоха, подписал и свой ответ и заключительную фразу – «Показания записаны с наших слов правильно и нам прочитаны». Положив ручку, он хотел уже начать задавать вопросы, но следователь вдруг грубо заявил:

– Очная ставка окончена.

Алеша начал протестовать, но следователь немедленно вызвал конвоира и велел увести арестованных.

Два дня мучился Ильин в своей одиночке. Сознание что его обманули, не давало покоя, но... что он мог сделать?!. И на третий день спокойствие возвратилось.

Дальнейшие события развивались в стремительных темпах. Еще одна такая же очная ставка, несколько крепких затрещин от следователя, акт об отказе от подписи под протоколом, а затем – небольшой перерыв и новый вызов для объявления, «в порядке статьи 206 УПК РСФСР», что следствие по его делу окончено.

Подписывая «206-ю статью», Ильин снова попал впросак.

– А что это за 206-я статья? – спросил он у следователя. – Давай, покажи-ка!

Следователь заглянул в верхний ящик стола, пошарил в нем рукой и с огорчением сказал;

– Черт его знает, куда он девался. Кто-то взял, вероятно. Нет сейчас у меня УПК. Но мы и так обойдемся. 206-я гласит, что когда следствие кончится, об этом надо объявить подследственному и спросить – не хочет ли он чего-либо добавить... Давай, говори, кого еще допросить или, может быть, документы какие-нибудь приобщить хочешь к делу?

– Какие там документы, какие допросы?! – ответил Ильин. – Ведь дела-то нет никакого. Все же придумано, все – провокация чистой воды. Вот это, давай, и добавь!

– Как так – «это добавь?» Так я не могу! Может быть, хочешь сам написать? Давай! Так будет лучше.

– Могу, конечно, и сам, – ответил обрадованный Ильин. – Самому будет лучше, конечно.

– Что ж, так и запишем: «...в порядке ст. 206 УПК... объявил Ильину... об окончании следствия... спросил... не желает ли он... дополнить... Ильин А.А. заявил: я желаю собственноручно написать дополнительные показания». Так?

Ильин подписал хитрую бумажку, а еще через несколько минут ему объявили новое постановление: «В ходатайстве представить собственноручные показания ввиду полной ясности дела отказать».

– Распишись, что объявлено, – подал ему постановление следователь.

И сбитый с толку Ильин – подписал. «А почему бы и нет?! Ведь я расписался только в том, что прочел об отказе».

Недели через три к нему в камеру пришел следователь.

– Завтра суд, – сказал он, протягивая Алеше сложенный вчетверо лист бумаги. – Если ты будешь упорствовать, тебя расстреляют. На, прочти! Это заверенная копия приговора, который будет вынесен завтра. Но ты еще можешь спастись. Выйди и заяви, что признаешь себя виновным, и я даю тебе честное слово...

– Пошел вон, гадина! – закричал Ильин, даже не поглядев на листок, и бросился на следователя с поднятыми кулаками. – Я на суде расскажу!.. Все расскажу до конца... кто вы, фашисты проклятые!..

– Тебя расстреляют! Суд – это мы! Он сделает то, что мы ему скажем, – крикнул следователь, поспешно выскакивая в коридор.

Надзиратель захлопнул дверь камеры и дважды повернул ключ в замке. Ильин бессильно опустился на железную табуретку.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Моисей Наумович Авербах

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ (AD MAJOREM DEI GLORIAM)

Роман в четырех частях

Москва, 2008 г.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Миссия следователя к Ильину окончилась полным провалом, из камеры пришлось срочно ретироваться, и начальник управления Овский выразил своему подчиненному по этому поводу крайнее неудовольствие. Иначе, конечно, и быть не могло: ведь у других-то «все обошлось по-хорошему».

Начальник тычет пальцем в лежащее перед ним дело Петухова: «На что уж совсем безнадежное, а ведь Сидоров – смог!.. Вы, Месропян, не сумели с заданием справиться! Придется подумать о вас – персонально!»

Месропян стоит навытяжку в положении «смирно» и думает о своей неудаче: «Ты бы попробовал сам, черт мордастый, справиться с Ильиным!.. Он бы удали тебе поубавил... Петухова и я как-нибудь обработал бы: ему ведь хочется жить. А этот – на все наплевал... Сидоров нисколько не лучше меня... ему повезло!»

Да, Сидорову, видимо, повезло. Он явился к Петухову после вечерней поверки, вошел и, не говоря ни слова, опустился на табуретку напротив опущенной койки.

Степан Владимирович, пренебрегая командой коридорного – «встать!», демонстративно сел на постель.

– Оставьте нас вдвоем... закройте дверь! – произнес Сидоров, и надзиратель немедленно выполнил его приказание.

Петухов смотрел следователю прямо в глаза, а тот – молчал, чуть заметно покачивал головой, и печальным, скорбным взглядом следил за своим визави.

Прошло несколько минут. Молчание не прерывалось, и нервы Петухова не выдержали:

– Что вам от меня надо?.. Зачем вы пришли?..

Сидоров молчал и смотрел Петухову в лицо.

– Говорите же, черт вас возьми, говорите... – Петухов хрустнул пальцами стиснутых рук. – Что... вам... надо?

– Мне жалко тебя! – выдохнул Сидоров. – Ты ведь умный, ты ведь профессор! Зачем же ты губишь себя?!. А теперь все уже кончено. Кончились твои глумления над нами, кончилось безрассудное упорство, кончились исправления грамматических ошибок в протоколах... Все кончилось, все!... На, читай!

Сидоров выхватил из кармана гимнастерки сложенный вчетверо лист и, развернув, протянул его Петухову. Пальцы Степана Владимировича задрожали. У него в руках трепетала официально заверенная подписью и печатью управления НКВД копия приговора, датированного послезавтрашним днем.

«Именем Союза Советских Социалистических Республик... Выездная сессия Военной Коллегии Верховного Суда СССР в составе... рассмотрела... дело по

обвинению Петухова… в преступлениях… Установила… организовал и возглавил контрреволюционную организацию… будучи уличен… повел себя вызывающе… нагло отрицая виновность, доказал полную неисправимость…

В силу изложенного, не находя смягчающих обстоятельств и руководствуясь статьями… приговорила: Петухова С.В. признать виновным по ст. ст. 58 п. 8, 58 п. 9, 58 п. 11 УК РСФСР и подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу.

Приговор, на основании постановления ВЦИК и СНК от 10 декабря 1934 года, привести в исполнение немедленно.

Все лично принадлежащее Петухову имущество конфисковать.

Подписи. С подлинным верно… такой-то».

Петухов читал приговор, и мурашки бегали у него по спине. Он сразу поверил всему. Поверил подлинности представленного ему документа, всемогуществу НКВД, тому, что суд – формальность чистейшей воды, и что приговоры суда пишутся загодя работниками НКВД. Он знал постановление, изданное 10 декабря 1934 года: «Кассационного обжалования и подачи ходатайств о помиловании не допускать. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по его вынесении». Вот когда привелось встретиться с ним!

«Приговор привести в исполнение немедленно!» О, проклятье! Теперь, когда так хочется жить! Неужели он уцелел на фронтах двух отчаянных войн для того, чтобы погибнуть от пули в затылок? Нет, это невозможно! Разум отказывается верить в реальность надвигающейся смерти… «Нет, нет, я хочу еще жить!»

Выскочило из глубины и всплыло на поверхность сознания страшное воспоминание. Яростный бой. Батальон Петухова идет в атаку. Он впереди с шашкой наголо. «Ура, ребята, в штыки!» А навстречу – шквальный огонь! Трещат винтовки, строчат пулеметы. Ужас и смерть повсюду. Падают люди один за другим. Куда там – в штыки?! Батальон залег, и Петухов тоже. Прижался к земле… «Господи, Боже, спаси, помоги!..» Пули свищут над ним – «ззк», «ззк», задевают шинель, зарываются в землю, поднимая возле самой его головы маленькие облачки пыли… «Неужели конец?!. Не надо! Не надо!.. Жить хочется, хочется жить!» И он жмется к земле, боясь шевельнуться.

Вот так, именно так хочется ему жить и сейчас. Безумно, неудержимо. Жить – любой ценой!

Его трясет, ему холодно, стучат зубы, дрожат колени, о руках нечего и говорить.

– Но если все кончено, зачем ты пришел? – спрашивает он, едва ворочая языком, и не замечая своего неожиданного обращения к следователю на «ты». – Зачем ты пришел?.. Насладиться моим унижением?.. Да?..

– Ну, что ты говоришь?! – всплескивает руками Сидоров. – Разве мы – звери?! Я пришел, потому что нам действительно жалко тебя. Ты ведь – профессор, ты можешь еще быть полезным… Начальник послал: «Пойди, потолкуй, может быть, он и одумается! Сегодня есть еще время исправить!»

– Так разве это… не окончательно?

– Если ты изменишь свои показания, приговор можно исправить. Ведь суд – это мы! Он подпишет все, что мы скажем.

– А что вы хотите от меня?.. Что я должен сделать?

– Все очень просто! Военная Коллегия в подробности вдаваться не будет. Она судит по документам. Тебе нужно только на вопрос суда «Признаете ли вы себя виновным?» ответить: «Да, признаю, и прошу пощады!» И все! Если ты это сделаешь, я гарантирую тебе жизнь и только пять лет лагерей. А в них – льготы, зачеты, досрочное освобождение и возвращение домой со всеми твоими правами.

Дрожь прекратилась, дышится легче. Шквальный огонь противника утих, и есть возможность передвинуть затекшие руки. Всепоглощающее желание жить начинает казаться исполнимым.

– Ладно… я подумаю… Ответ будет – завтра!

– Что ты?! – пугается следователь. – Завтра будет уж поздно. Только сегодня, только сейчас! Времени остается в обрез, а если ты согласишься, мне придется еще пересоставлять приговор. Нет, ждать нельзя ни минуты. Ответ нужен немедленно!

Снова нервная дрожь. Зуб на зуб не попадает. «Проклятье! Почему человек не всегда владеет собой!»

– Значит, если я скажу…

– «Я признаю себя виновным и прошу пощады», – подсказывает Сидоров.

– То мне сохранят жизнь?

– Конечно! Даю тебе честное слово! Не только жизнь…

– И даже пять лет… не больше?

– Да, да, пять лет! Я же сам напишу приговор. Пять лет… и зачеты, и льготы…

– Хорошо!.. Я согласен!..

– Давно бы так! – поднимается Сидоров. – Значит, мы можем заверить суд?.. Немедленно доложу об этом начальнику… Но только помни: у суда будет два варианта – один приговор, тот, что ты сейчас прочитал, это на случай непризнания, а второй – с признанием, на пять лет, как мы договорились! Понял?.. Не вздумай колебнуться! Вмиг расстреляют!.. Зачем самому себя убивать?!. Ну, прощевай! – подает он руку Петухову, а Степан Владимирович, забыв свою стойкость, пронесенную сквозь год невероятных мучений, и не замечая невероятной парадоксальности происходящего, пожимает протянутую руку.

Назавтра утром в тюрьму приходит молодой человек высокого роста. Он в новенькой военной форме, сапоги начищены донельзя, на руках белые лайковые перчатки, в петлицах две шпалы.

Одна за другой открываются перед ним двери одиночек.

– Секретарь выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР, – рекомендуется он, входя в камеру. – Получите копию обвинительного заключения… Распишитесь вот тут!

Среди многих других копии получают Петухов и Ильин.

«Утверждаю. Начальник УНКВД по Орловской области комиссар государственной безопасности 3 ранга Овский», – напечатано в левом верхнем углу первой страницы.

«Утверждаю. Прокурор СССР Вышинский», – сказано в правом.

– Вот как! Даже – Вышинский! – поражается Ильин.

И точно так же, не зная о реакции Алексея, в двух десятках шагов от него поражается увиденным Степан Владимирович Петухов.

Обвинительное заключение коротко до предела, – всего две с половиной страницы через два интервала. Оно трактует о группе, об организации, но составлено лишь на одного человека.

«В Управление НКВД по Орловской области поступили сведения о том, что в г. Орле в начале 1937 года сорганизовалась контрреволюционная группировка, поставившая себе цель… ответственным руководителем которой являлся… Петухов С.В.

В упомянутую организацию, наряду с другими, вошел обвиняемый по данному делу… Ильин Алексей Андреевич, которому было поручено организовать и возглавить тульское подразделение…

19 апреля 1937 года на собрании руководителей групп поименованной к.р. организации Ильин А.А. доложил…

Связь тульской группы с орловским «центром» осуществлялась путем нелегальной переписки, полностью уничтоженной ее участниками, а также при помощи тщательно маскируемых личных контактов… В середине августа 1937 года обвиняемый Ильин, пытаясь восстановить нарушенную арестами связь,

прибыл в Орел под предлогом экскурсии в Тургеневский музей и пытался посетить Петухова...

Будучи арестованным и находясь под следствием в камере номер 46 Орловской тюрьмы, Ильин А.А. продолжал свою вражескую деятельность, поносил вождя народа товарища Сталина, клеветал на органы советской разведки...

Допрошенный по данному делу в качестве обвиняемого Ильин А.А. виновным себя не признал, но уличается свидетельскими показаниями, очными ставками и другими материалами, имеющимися в деле.

На основании изложенного Ильин А.А.... обвиняется по ст. ст. 19-58 п. 8, 58 п. 10, 58 п. 11».

Ильин прочел обвинительное заключение и подумал:

«Сволочи!.. Вот кого расстреливать надо!.. Все, все скажу на суде!»

Ни на один миг не поверил он утверждениям следователя, что суд – это только придаток к НКВД и делает то, что ему будет указано. «Особое Совещание – дело другое, но суд!.. Не может этого быть!.. Будем бороться!»

И Ильин вспомнил слова Фауста, виденные им сначала в письме Моргунова к Марусе, а потом на стене общей камеры Орловской тюрьмы:

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

– Будем бороться! – еще раз мысленно повторил он.

II

Издалека ловит изощренный слух звуки шагов. По галерее кто-то идет. Не один... Несколько. Стучат каблуки, скрипят чьи-то подошвы... Стоп... Где-то открылась и хлопнула дверь. Слышны голоса. Явственно доносится слово «скорей!» И еще раз: «Ну, скоро ты там? Тебя что, до утра дожидаться?!» В камерах арестанты прильнули к дверям: «Кого-то берут! Но почему с таким шумом?»

Снова хлопнула дверь, и опять – топот шагов. Повели... Нет – потащили! Но хрипа не слышно. Если берут на расстрел, то рот затыкают; кричать нельзя, но хрипы слышны одуряюще громко. Сейчас не так! Сейчас иначе!.. Так куда же?.. Куда?..

Сотни вариантов, и ни одного достоверного! Нервы напряглись, и поет на тысячу голосов безмолвная, готовая взорваться тишина. Только те, кто получил обвиниловки, смутно догадываются:

– На суд, что ли?

И снова шаги, снова топот! Ближе, ближе... уж не сюда ли?.. Так и есть – сюда! Загремел замок. В распахнутой двери – коридорный и три здоровых «архангела».

– Фамилия?

– Петухов!

– Имя, отчество?

– Степан Владимирович.

– Собирайся на суд! Живо! Скорей!

Дрожат руки, шнурки не попадают в дырки ботинок.

– Давай скорее! Возится, б..., как баба беременная!.. А ну, живо! Кончай копаться!.. Давай, выходи!

Пошли, но темп слишком быстр. Не поспеешь! Конвоиры хватают Петухова под руки и тянут вперед:

– Тебе говорят, б..., скорее!

Петухов быстро-быстро перебирает ногами. Куда там! Разве успеешь. Ноги волочатся по земле. Его – несут.

Двор, ворота, еще двор, стена, калитка, и снова все то же. А вот и корпус, зрительный зал, должно быть, клуб тюремных работников, на местах рассыпаны

«славные», человек пятьдесят–шестьдесят, все в форме; это, вероятно, и называется – «открытое заседание»! Ступенька, вторая, третья, – и Петухов на сцене. Конвоиры ставят его на маленький, почти что квадратный ковер, спиной к публике – к залу, и быстро расходятся в стороны. Впереди – шагах в семи–восьми от него – громадный, покрытый бордовым сукном стол; за ним – члены Военной Коллегии. Председатель – в форме адмирала, два других – с ромбами в малиновых петлицах. Слева от Петухова еще один – маленький – стол, за ним – секретарь, тот самый, что утром вручал обвинительное заключение.

Степан Владимирович крайне взволнован, но глаза хорошо воспринимают картины внешнего мира. Когда его тащили сюда, он увидел в первом ряду следователя Сидорова, и тот подмигнул: «Помни, мол, о чем договаривались! Так держать!» – «Что ж, будем стараться, ведь живешь только раз! Я не буддист и в переселение душ не верю!» И теперь взгляд, обшарив эстраду и быстро зафиксировав в памяти увиденное, задерживается на богатом письменном приборе перед председателем Военной Коллегии. На подставке из черного полированного мрамора – ярко начищенные бронзовые чернильницы, и между ними сияющий сфинкс.

«Сфинкс – символ загадки, ты как нельзя лучше на месте именно здесь! – думает Петухов. – В самом деле: как загадочно все, что случилось со мной! Сколько раз рисковал я жизнью в борьбе за советскую власть, сколько раз умирал, но я знал хоть, за что! А теперь?!. Жизнь – это сфинкс!..»

– Фамилия? – спрашивает адмирал, заглядывая в лежащее перед ним дело.

– Петухов.

– Имя, отчество?

– Степан Владимирович!

– Год рождения?

– Тысяча восемьсот девяносто первый.

– Копию обвинительного заключения получили?

– Получил.

– Признаете себя виновным?

Звенит в ушах тишина. Все существо кричит: «Нет, нет, не виновен. Я был, есть и буду коммунистом. Меня оболгали, оклеветали! Дело против меня сфальсифицировано. Я невиновен!» Но перед глазами – вчерашняя копия приговора: «Петухова расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно!» И Степан Владимирович закрывает глаза. Гремит тишина, трещат пулеметы, свистят вокруг пули. «Жить! Жить хочу! Жить! Любою ценой!»

И язык сам произносит фальшивые, лицемерные, подлые слова:

– Да, я признаю себя виновным и прошу пощады!

На адмиральском лице – чуть заметная тень удивления. Или это только так кажется? Лица двух других каменно бесстрастны.

– Суд ваши показания учтет!

Не ослышался ли Петухов?! Какие показания?! Разве можно считать показаниями эти несколько заученных слов?!

Но думать и рассуждать уже некогда. Вынырнули с боков конвоиры, подхватили под руки. Быстро, быстро. По ступенькам вниз и из зала. По дороге успел взглянуть на Сидорова. Тот явно доволен. Одобрительно кивнул головой. «Правильно, мол! Молодец! Так и нужно!» И сразу исчезли все страхи. Стало безмятежно спокойно. Настроение прекрасное, хочется петь. И даже небольшая квадратная комната, где лицом к стенам поставлены какие-то люди, ничуть не пугает.

Петухова ставят туда же. «Плотнее, плотнее к стене, мать твою так! Не оглядываться! Не разговаривать! По сторонам не смотреть!» Посередине, за

спинами стоящих, мечется надзиратель. Злости в нем – на двух бешеных кошек. Удары сыплются в разные стороны.

– Не оглядываться! Молчать! В сторону не засматривать! – и ко всему неизменный припев: «Мать, мать, мать, перемать!»

Степан Владимирович стоит лицом к стене и честно смотрит только вперед, даже не скашивает глаза. На стене – небольшое пятно от неровной окраски. Тихо. Где-то вдали стучат пишущие машинки.

О чем думает сейчас Петухов, и думает ли он вообще? Да, кажется, думает. Бегут беспорядочные обрывки мыслей. Об адмиральских шевронах, о ярко начищенном сфинксе, об удовлетворенном сидоровском лице.

Сзади охранник опять бушует, кричит кому-то:

– Я тебе, б..., покажу оглядываться! Я тебе оглянусь!

Звучит затрещина. И снова тихо. Стучат вдалеке пишмашинки. Нервы размякли. Смертельно хочется спать.

И вдруг сзади кто-то хватает за плечо. Петухова обратным ходом вытягивают назад, подхватывают под руки и в стремительном темпе тащат в зал заседания Военной Коллегии. Снова – на коврик, но конвоиры не исчезают. Они рядом. Они стиснули Петухова с обеих сторон, и страшная мысль пронизывает все его существо.

– А вдруг суд перепутал подготовленные ему тексты, вдруг – расстрел?!

Он с ужасом смотрит на читающего приговор адмирала, и ему хочется крикнуть:

«Позвольте, что вы делаете?! Ведь я же сказал, что признаю себя виновным, я же сказал: «Прошу пощады!» Позвольте!..»

– Именем СССР... Военная Коллегия... в городе Орле... на открытом судебном заседании... приговорила – по статье семнадцать...

– «Семнадцать, – успевает подумать Петухов, – только содействие, но ведь я же признался в прямом...»

– ...к пятнадцати годам тюремного заключения с последующим поражением в правах на пять лет...

«Почему пятнадцать?! – мысленно удивляется Петухов. – Ведь Сидоров гарантировал пять?!»

И мгновенно понимает: «Обманули!.. Ах, я дурак, дурак!»

Его вытаскивают из зала суда. Он ищет глазами Сидорова. Тот самодовольно развалился на месте и улыбается. Петухова он даже не замечает. Комедия окончена. Петухов ему больше не нужен.

Опять дворы, стены, ворота, и Степан Владимирович оказывается в своей одиночке. Он почти успокоился. Он все-таки историк, и в его мозгу проскакивают многочисленные парадигмы всех лет революции. «Пятнадцать лет – ерунда! Все течет, все изменяется. Важно было уцелеть, ведь с того света не возвращаются».

Волнения миновали, захотелось есть, и он стучит в дверь.

– Меня водили на суд, я не обедал!

– Ладно, дадим!

Прошло минут двадцать. Форточка открылась, к Петухову тянется полная миска.

– На, лопай!.. Каши не осталось, ешь вермишель. Я нарочно со дня зачерпнул, что погуще.

– Понимаете? – оживленно рассказывал Петухов Алеше, когда они встретились через несколько дней в общей камере. – Густой-густой суп с вермишелью. И как ложку повернешь – мясо, как повернешь – мясо! У них на дне бачка каждый раз так остается, должно быть.

Алеше сильно хотелось есть. На карцерном пайке тощаешь быстро. Но, глядя на светящиеся радостью глаза Петухова, он невольно подумал о беззаботности

этого человека, которого в один и тот же день сначала приговорили, безо всякой вины, к пятнадцати годам тюремного заключения, а затем накормили густой баландой из вермишели с малюсенькими кусочками третьесортного мяса. И он вспоминает не о пятнадцати годах, а – о мясе!

Алеша в тот день – день суда – ел как обычно. Его так же притащили на суд, так же поставили на коврик, так же спросили:

– ...Признаете ли вы себя виновным?

– Нет! – выкрикнул Алеша. – Нет! Не признаю!

– Суд ваши показания учтет.

Его тут же ухватили за руки и потащили. Алеша почувствовал: «Дело – табак! Зевать не приходится!» Он быстро присел, и растерявшиеся конвоиры упустили его.

– 19 апреля 37-го года я находился в Москве, в университетской читальне! Я тогда не был в Орле! – закричал он, подбегая к судейскому столу. – Есть много свидетелей!.. Первый раз в жизни я приехал в Орел только в августе...

Алешу схватили.

– Чего вы дебоширите? – спокойно спросил у него председатель Коллегии. – Я же вам ясно сказал – суд ваши показания учтет.

– Но разрешите мне только сказать... я хочу объяснить...

– Не надо! Суду и так ясно!

Адмирал кивнул, и Алешу вытащили из зала.

Минут через тридцать, пройдя через квадратную комнату и получив за неподчинение конвою несколько крепких оплеух, Ильин вновь стоял перед судом.

– Ильин! – сказал обращаясь к нему председатель суда. – Военная Коллегия рассмотрела ваше дело и нашла обвинение неправдоподобным. Дело возвращено для доследования.

Стиснутый с обеих сторон конвоирами Ильин удивленно посмотрел на судью.

– Вам понятно?

– Нет, – так же удивленно ответил Алеша.

– Что же вам непонятно?

– Почему, если вы признали обвинение неправдоподобным, – почему вы меня не оправдали?

Адмирал не ответил. Он поглядел на конвойных и сделал жест кистью правой руки. Его поняли. Алешу немедленно выволокли из зала суда и увели.

В камере Ильин опять заметался. Покой улетучился. Есть не хотелось, хотя его ожидала миска с остывшей бурдой, в ней же лежало «второе» – две ложки белесой овсянки с многочисленными необрушенными зернами простого овса.

К вечеру форточка в двери открылась.

– Помилование писать будешь? – спросил надзиратель, протягивая Ильину лист бумаги и чернильницу с дешевенькой ученической ручкой.

– Какое помилование?! У меня же дело на переследствие пошло! – испугался Ильин.

– А разве не на расстрел? – спросил надзиратель и поглядел на номер камеры. Затем он заглянул в лист с записанными столбцом номерами и с ожесточением захлопнул форточку.

– Спутал, что ли?! – громко сказал Ильин и в дверь к нему немедленно постучали.

– Тише там! Не у тещи в гостях!.. В кондее давно не сидел?!

Ильин промолчал.

III

Недели через полторы после заседания Военной Коллегии всех осужденных на срок перевели из корпуса номер один в общие камеры старого орловского острога. Революция когда-то закрыла его, выпустила тех, кому от сумы да от тюрьмы заречься не удалось, и старый острог долго не видал арестантов. И не чаял, поди, их увидеть. Жили в нем поначалу какие-то люди, потом размещались местные предприятия, их сменила детская трудовая колония для беспризорных. Но годы прошли, ребята повыросли и разлетелись, как птенцы из гнезда, кто куда. И вновь осталась тюрьма не у дел, и снова наполнилась она временными жильцами.

Но подошло невероятное время. Наступил год тридцать седьмой, тюрьмы не стали вмещать арестованных, и рассудили тогда предержащие: «Так не годится! Двадцать лет острог – не острог!.. Надо выселить всех не относящихся и использовать здание по назначению!» И использовали! Бросили на ударный объект заключенных-рабочих. Завезли материалы. Установили нормы выработки и кормежку от их выполнения.

Закипела работа! Быстро отгрохали чудо-тюрьму. Окна небольшие, решетки крепкие, двери с обеих сторон облицевали железом, глазки застеклили, а дверные форточки устроили так, что откроешь, и получается – полочка. Для дежурных очень удобно: можно миску с баландой поставить, положить пайку хлеба или еще что-нибудь.

Полы в камерах соорудили добротные, из толстого слоя асфальта. Они хороши в двух отношениях: во-первых, звукопроницаемость малая, во-вторых, если на них будут спать, то теплее бетонных. На случай же, если начальству для производственных целей нужны будут камеры похолоднее, то предусмотрены и таковые. Во всех четырех углах здания – круглые башни, как в крепости. В них отопления нет, полы из бетона, зажелезненные. Специально для карцеров.

Нижний полуподвальный этаж здесь называется «корпусом», но не простым, а «особого назначения». Кратко его именуют «особым». Он относительно комфортабелен. Там, наверху, люди – на голом полу. Здесь же в каждой из камер – железные койки. Они, конечно, без всяких пружин или сеток – для арестантов же делали! – и устройство их таково: ножки – круглая сталь – крепко заделаны в пол, рамка – из уголка, ложе – решетка из полосы, все прочно сварено и покрашено масляной краской. С непривычки жестко, конечно, но все же лучше, чем на голом и мокром полу. Тем более, что на каждой койке – матрац, и подушка из стружек, и простыня, и наволочка, и одеяло. Прямо как в санатории! Единственный недостаток – да и то с точки зрения тех, кто находится в камерах – сырость: стены погружены в землю на две трети их высоты, и то ли сквозь них грунтовые воды сочатся, то ли они не прогреваются просто, и поэтому влага из воздуха на них конденсируется, – точно не разберешь, но как бы то ни было, а на полу, под кроватями, вечные лужи воды, и к стенам прикоснуться нельзя: с них течет.

А снаружи тюрьма – как игрушка! Невелика, всего одно здание, три этажа (с полуподвалом считая), вокруг двор, большой и просторный, его обрамляет аккуратный прямоугольник стен; на углах вышки, на вышках стоят часовые (по-тюремному – попки), и ночью они свистят, вызывая друг друга, а то ненароком от нечего делать можно заснуть. Задним фасадом смотрит острог с высокого берега в реку Оку, а южным торцом граничит с горсадом. Сад хороший, зеленый, густой, настоящий парк, а не сад, но орловцы народ не тщеславный и громких названий не любят.

И вот в эту-то «новую старую тюрьму» и перевели Алексея вместе с группой других побывавших под Военной Коллегией арестантов. Дверь его одиночки открылась, и в проеме возник незнакомый ему надзиратель:

– Фамилия?.. Имя, отчество?.. Год рождения?.. Собирайся с вещами!.. Живей!..

У Алеши захолонуло внутри. Он задрожал: «Куда?.. Неужели на волю?!. А почему бы и нет?!. Ведь Коллегия не осудила!.. Решили, наверное, что хватит, что ничего не получится!..» Он собирался в лихорадочной спешке. На лице появилась улыбка. Рассеялось возникшее утром, сразу после оправки, тревожное чувство – ожидание то ли беды, то ли счастья. Стало легко и свободно, и он бодро вышел в коридор, даже не поглядев напоследок на камеру.

Тщательный обыск не убавил надежды: «А как же иначе?!. Так и должно быть!.. На волю иду!..» Но его вместо воли отвезли в «новый старый острог».

Сначала его вместе с осужденными Военной Коллегией сунули в общую камеру. Привозили отдельно, так что по дороге никого увидеть не удалось, а оглянулся уже за порогом, посмотреть, кого Бог в попутчики дал, и увидел стройную фигуру в шинели, в красноармейском островерхом шлеме, с пятном от споротой недавно звезды.

– Где-то я его, кажется, видел? – подумал Алеша. – Физика-то немножко знакомая.

И тут же, словно кто подтолкнул, появилась догадка:

– А может быть, Петухов?!

Пригляделся получше, и впрямь – он! Вот неожиданность!

– Степан Владимирович! Вы ли это?.. Вот где встретиться довелось!.. Ну, как ваше дело? Переследствие, да?

Петухов поглядел на него с удивлением:

– Я вас что-то не помню... Хотя погодите!.. Вы... Ильин? Да?! Тот самый, с поезда?!. Вот интересно!.. Сколько вам сунули?.. Как ничего?!. На переследствие?!. Странно!.. Нет, у меня все иначе! Я свой путь завершил... Пятнадцать плюс пять поражения!.. Какие тут могут быть шутки?!. Такими вещами не шутят!..

Они подробно рассказали друг другу обо всем, и как-то незаметно сдружились. На второй уже день Петухов стал обращаться к Алеше на «ты».

– Ты – невинный ребенок, Алеша! – говорил Петухов. – Тебе этого не понять!.. А мне жить захотелось! Понимаешь – жить! Я поверил в их всемогущество... И думаю, что не ошибся!.. Ведь это был не суд! Давай-ка рассудим логично: если бы «славные» так злоупотребляли, а суд честно разбирал дела, они не смогли бы так делать, они бы сразу попались... Значит, НКВД может делать, что хочет. Он – бесконтролен! И суд обязан ему подчиняться. Единственный вопрос на Военной Коллегии – признаю ли себя я виновным! А много ли можно узнать из такого вопроса? Все заранее так и устроено. И суд, и Особое Совещание, и прокуратура – все из одной соски сосут, все одними директивами питаются. Сказано им «Так держать!» Они так и держат...

– А я не уверен! – возражает Алеша. – Вот, я сказал: «Невиновен! Был в Москве в этот день!» И – не осудили! Значит, хоть и одно, да не во всем! Зачем бы они нас пытали, если бы были – одним?.. Конечно, насчет одной соски, одних директив – это правда! Но ведь зачем-то они домогаются «личных признаний»! Значит, шарики все-таки крутят кому-то, очки кому-то втирают!

– И так, и не так! – говорит Петухов. – В чем-то ты, может быть, прав, но, чтобы такое творилось, нужно, чтобы сверху система была установлена. Давай рассуждать математически, способом доказательства от противного. Допустим, что все эти издевательства, пытки, шантаж и обман, фальсификация дел – творчество только Ежова, но как объяснить, в таком случае, существование Особого Совещания, областных и городских «троек», и даже самой Военной Коллегии Верховного Суда СССР? Ведь все они дел не разбирают и не исследуют, правильности подтасованных, лживых, а зачастую и просто поддельных «документов» не проверяют, а им, тем не менее, предоставлено широко используемое ими право лишать людей свободы, расстреливать их, заключать их в

тюрьмы и лагеря. И все это – заметь! – в массовых масштабах. Нет, Алешенька, тут уже не одним Ежовым пахнет. Тут поднимай повыше!

Ильину нечего возразить. Доводы Петухова неотразимы. «Но почему же не осудили меня? Ведь это же не случайно!» – думает он и повторяет вопрос вслух.

Степан Владимирович пожимает плечами и долго молчит. Несвязной чередой проходят перед ним воспоминания. «Почему? Почему?» Он сосредоточивается на возникшей проблеме и, наконец, тихо, словно самому себе, отвечает:

– Я думаю так. Все идет сверху, от усатого бога... Это несомненно!.. Им создана система внесудебной расправы над всеми инакомыслящими, а нижестоящие прохвосты, пользуясь этой системой, фальсифицируют дела из корыстных побуждений. Усатый не верит никому, но «славных» всячески поощряет, потому что ему на людей наплевать. Он в душе – ярко выраженный макиавеллист, и считает, что для достижения цели пригодны любые средства. Миллионы невинно репрессированных для него значения не имеют. Это, по его пониманию, человеческая пыль, мусор истории... Осудить всех этих людей в нормальных судах невозможно; в суды выводят лишь тех, против кого удается состряпать хоть какой-нибудь – пусть самый недостоверный – материал, или тех, кто соглашается признать себя виновным. Непокорных репрессируют втихомолку. С точки зрения юридической науки личное признание не является доказательством преступления – мало ли кто и почему признает себя виновным! – но среди сталинской челяди есть такие «чего изволите», которые любую теорию создадут и любые факты наизнанку повывернут. Вышинский, например, Сталину такую «теорию» подарил: при обвинениях в контрреволюционных преступлениях личное признание имеет самостоятельное доказательственное значение!.. Вот почему из нас такое признание и вытягивают, вот почему твое дело, Алешенька, и отложили.

– Значит, вы понимаете, что вас обманули? – восклицает Алеша. – Вас обманули!.. Если бы вы ответили: «Нет, не признаю!», вас бы тоже не осудили.

– Как знать?!. А может быть, расстреляли бы!.. Сейчас я, по крайней мере, спокоен... И знаешь, Алеша, я все-таки думаю, что тебе лучше поступить так, как я!

– Нет, Степан Владимирович, – горячо возразил Ильин. – Я клянусь, что скорее умру, чем ступлю на ваш путь! Я – клянусь!..

Петухов улыбнулся:

– Ты хороший парень, Алеша! Ты веришь в себя. Это прекрасно. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Держись, если можешь, и дальше... А я верю в другое... Я верю, что период террора не может быть долгим. Во Франции он длился всего лишь три года, а потом – Термидор, и Робеспьера не стало. У нас это может продлиться несколько дольше, но все равно все пройдет, все минует. Власть Сталина вечной не будет. «Настанет пора, и...» Как это у Пушкина: «...темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа...» Ты понимаешь, Алеша? Надо дожить до этого момента. И теперь, когда у меня впереди пятнадцать лет, я надеюсь дождаться...

– А я предпочитаю подохнуть сразу! – ответил Ильин.

– Я тебе верю. Но боюсь, что тебе предстоит еще много мучений.

Петухов не ошибся. Через несколько дней Ильина вызвали на допрос, и «бубенцы» зазвенели по новой.

– Ты, сукин сын, негодяй, обманул Военную Коллегию, – орал на него следователь, сопровождая крики ударами подкованного каблука. – Ты думаешь, мы с тобой в бирюльки играем?.. Хочешь жить, так подписывай, иначе – гроб! Уйдешь отсюда ногами вперед... Не таких, как ты, мы ломали!

– «Тыр, тыр, тыр! Тыр, тыр, тыр! – мысленно передразнивает его Алеша. – Ты, прихвостень Овского, мелко плаваешь! Не таких, как ты, я видал! Месропян

больнее брыкался, а я устоял. И ты у меня ничего не добьешься!.. Я морально сильнее тебя: ты воюешь за лишний квадратик, а я – за честь человека!»

Алеша крепок. Он силен своей убежденностью, решимостью пожертвовать собой, но не сдаться. Но тело его все слабеет. Его мучает цинга, мучает голод, мучает слабость. И все чаще появляются моменты странного равнодушия. И все чаще начинают залетать в голову случайные, быстрые мысли:

– «А зачем это все?!. А вдруг, действительно, не выдержу?.. Ведь надежды нет никакой!»

И наступает день, когда он чувствует, что силы его совсем на исходе, что запас его стойкости подходит к концу.

Избитого, измученного физически и морально, его привозят после допроса в «новый старый острог» и ведут вниз, в «особый корпус». По коридору налево и снова налево в дверь, но за дверью – не камера, а новый глухой коридор. Правая стена с узким проходом в конце отделяет его от третьего коридора, и уже из него, из третьего, дверь ведет в камеру.

Низко нависли полукруглые своды. Подними руку – коснешься потолка; сырость, холод, мертвое беззвучие; кричи хоть к Богу – никто не услышит.

– «Почему же меня посадили сюда, в этот мешок из камня с железом? Что это – новый вид пытки? Нет, я больше терпеть не намерен!»

Алеша ложится на койку, накрывается одеялом и, не сводя взгляда с глазка, принимается за работу. Он опытный арестант, он знает, что и как сделать.

Через несколько часов простыня, распущенная на отдельные нитки, превращается в прочную, хорошо свитую веревку. Теперь – внимание. Как только вертухай (от «не вертухайся!») поглядит в глазок и отойдет – немедленно под койку. Петлю на шею!.. Повеситься в лежачем положении очень несложно. Достаточно надавить на горло с силой четырех–пяти килограммов, и – поминай как звали! Важно выдержать первый момент, а там – потеря сознания, и время сделает все остальное!..

Очнувшись, Алеша не может понять, что случилось. В маленькую камеру один за другим вбегают все новые люди: три медработника в белых халатах, два надзирателя, начальник корпуса, начальник тюрьмы, еще кто-то. Коридорный надзиратель, без фуражки, с растрепанными волосами и капельками пота на лбу, делает ему искусственное дыхание.

И Ильин сразу все вспоминает:

– Вынули из петли, паршивцы! Даже умереть, и то не дадут!

И почти мгновенно злость сменяется жалостью к самому себе.

– До чего довели!.. Господи, до чего меня довели!..

Алеша плачет, слезы скатываются по щекам на сырой, холодный матрац, а медики, сменившие вертухая, продолжают, хотя это уже и не нужно, разводить и с силой прижимать к груди его руки, заставляя его дышать и – жить!

IV

Сутки, другие. Надзиратель неотступно стоит у глазка. «Испугались?!. Чего же?! Неужели с них спросят за смерть одного, в то время как массу умерших актируют без всяких последствий?»

Ильин сам видел, как в двадцать шестой насмерть заголодался юноша Жуков. «Наивный чудак – объявил голодовку, требуя немедленного освобождения, и семнадцать суток, по-честному, не брал в рот ни росинки!» Администрация тюрьмы отнеслась к голодовке весьма хладнокровно. Жукова оставили в общей камере, не изолировали – думали, вероятно, что он будет есть потихоньку, – и каждый день относили назад в хлеборезку непринимаемую им пайку хлеба. Только на восьмой день вызвал его начальник тюрьмы и грубо сказал:

«Освобождать тебя никто не будет! Хочешь подохнуть – дохни! Сактируем, и – вся недолга! Ишь, падло, нашел, чем пугать, голодовку объявил!.. Подыхай – туда тебе и дорога! Одной мразью на свете меньше будет!»

Жуков вернулся в камеру в сильном волнении. Два дня он думал, как быть. Ему бы понять обстановку, смириться на время, а он голодовку – усилил! Отказался и от воды! Конец наступил очень скоро, но даже мертвого его освободили не сразу. Умер он днем, а труп взяли из камеры только к вечерней поверке.

Ильин это помнил. И удивлялся такому вниманию к себе. «Может быть, это из-за того, что мое дело отправила на доследование Военная Коллегия?»

На третий день ему приказали собираться «с вещами» и перевели в другую камеру того же «особого корпуса». Здесь его встретили пять человек, пять скелетов, обтянутых кожей, чьи судьбы, по многим непонятным причинам, оказались в фарватере его собственной жизни.

Новая камера значительно отличалась от прежней. В ней стояло шесть коек, малюсенький железный, вделанный в стену, стол-полочка и параша. Больше ничего. По узенькому проходу в середине мог пройти только один человек; остальные в это время должны были находиться на койках, приткнутых почти что вплотную друг к другу. Не просторно, конечно, но зато – высокий, плоский – сводиками по балкам – потолок и небольшая свободная площадка перед дверью, выходящей сразу в основной коридор. Перестукиваться здесь было не с кем. Камера находилась в торце, а второй стеной граничила с коридором, ведущим в башню.

– Здравствуйте! – сказал Ильин, переступая порог и приглядываясь к постояльцам: – Ну, как жизнь? Не соскучились вы без меня?

К шутке отнеслись с пониманием. На изможденных, подернутых мертвенной желтизной лицах появились подобия улыбок.

Ильин расположился на свободной койке и начал знакомиться с заключенными. Все они сидели с прошлого года, все испытали «звон бубенцов», все не выдержали и подписали «признания» в никогда не совершавшихся преступлениях. С ними обращались жестоко, одиннадцать месяцев подряд получали они карцерную норму хлеба и, как говорили блатные, дошли до предела.

– Я это понял с первого взгляда, – признался Ильин. – Уж больно вы все доходяжные, а лица желты, как у мертвых.

– А ты на себя не глядел? – спросил ровесник Алеши, техник-строитель Станислав Модзалевский. – Ты ведь такой же зеленовато-желтый!

Ильин только плечами пожал. Не желая концентрировать внимание камеры на мрачных моментах, он стал расспрашивать о новостях. Оказалось, никому ничего не известно: последние вести имели годичную давность.

Тогда Алеша начал рассказывать сам. Несколько дней подряд интересы вертелись вокруг положения в мире, а потом опять сошли на прежние темы: чья очередь получать очередную горбушку (горбушки в тюрьме ценились особо, каждый учитывал, что влажность корки меньше, чем мякоти, значит, она должна быть питательней), как лучше съедать свой паек – весь сразу или делить на два приема, на утро и вечер («в зоологических садах, говорят, зверей кормят только раз в день, а они живут и не дохнут!»), как выносить парашу – одному или лучше вдвоем (она хоть и легкая, не больше пяти килограммов, да люди-то слабые: подоходили на карцерном пайке), и, наконец, последний, коронный вопрос:

– Что с нами будет? Неужели так голодом и заморят?!. Хоть бы уж осудили скорей... Смерть и то лучше, чем в этих стенах сидеть!

У Алеши мелькнула озорная мысль – организовать коллективное самоубийство. Судя по безнадежности взглядов товарищей, такое предложение встретило бы определенную поддержку. Но он не решился об этом даже

заговорить. После только что предпринятой им неудачной попытки его личные настроения резко изменились. Теперь он уже и сам не понимал, как мог решиться на такой безрассудный поступок, и считал его приступом малодушия и результатом кратковременного аффекта. Алеша в психологии разбирался неважно, он не помнил силы пережитой депрессии, не помнил испытанного отчаяния. С тех пор прошло двое суток, он выспался, отдохнул, и жизнь снова приобрела привлекательность. Появилась безотчетная, ни на чем не основанная, но спасительная надежда. Положение перестало представляться безвыходным.

В новой камере Ильин, сам себе удивляясь, быстро сошелся со всеми. В те времена обитатели тюрем относились друг к другу с большой осторожностью. В любом вновь приходящем высматривали наседку. Удивляться такой подозрительности не приходилось: ведь все попадали сюда по чьему-то навету, а многим даже в тюрьме дополнительно приклепывали «агитацию». Но Алеше поверили «с ходу», и уже на второй день Модзалевский рассказал ему о своем грехопадении.

– Знаешь, я долго сидел здесь вдвоем с одним человеком, Федором Михайловичем Соколовым... Он умер от истощения... На этой вот койке... В прошлом он – металлург, рабочий-формовщик, член РСДРП, но – меньшевик. Отбыл царскую каторгу, а после и ссылку. Хороший был... умный. Я у него жить учился... Последние дни он лежмя лежал, не поднимаясь. А дежурный по корпусу – знаешь его?.. Пантелеев – редкостный парень! – жалел Соколова и на поверках не поднимал. «Не замай его! – говорил. – Пусть лежит!» Он и лежал, не вставая. Хлеб ему через меня подавали... Ну вот... Утром как-то встаю, а Федор Михайлович – мертвый!.. Ночью умер... Надо было дежурным сказать, а я утаил... Они думали – жив он... Пайки несут: «На, передай!» – «Что ж, давайте!..» Получишь, и в рот поскорей, пока не отняли... Вот так!.. Я двое суток скрывал... Три раза хлеб за него получил... А потом пошло разложение... запах. Пришлось объявить!.. Как ты думаешь, ты мне скажи, большой это грех – за мертвого хлеб получать? Мне почему-то все кажется – покойник бы это одобрил!

Ильин помедлил с ответом:

– Я бы, пожалуй, не стал... не догадался бы... Но... по моему мнению... ты делал – правильно! Мертвецу не урон, а ведь ты – голодаешь, доходишь...

– Я здесь рассказывал всем... Никто не осуждает, а мне все же как-то не по себе... сомнение берет!

Поступок Модзалевского оправдывали действительно все, а между тем в камере не было ни уркаганов, ни шакалов, ни, вообще, нечестных людей. Кроме Ильина и Модзалевского, в ней находились еще четверо. Старый врач, Василий Федорович Шуберт, обвиняемый – за то, что бывал за границей – в шпионаже. Ветврач Василий Александрович Масин, тоже старик, из поповской семьи, и потому – «диверсант». Пожилой директор рыбного магазина Соломон Борисович Черняк, человек до крайности аполитичный, но любящий пофилософствовать. Вздумал – олух царя небесного – обсуждать в обществе близких друзей традиционную концовку старой еврейской молитвы – «Лшоно абоо бъирушолоим», то есть «В будущем году – в Иерусалиме». И хотя лично сам никуда не стремился, влип, как кур во щи, попал в НКВД с обвинением в сионизме! Четвертым был Филипп Михайлович Губарев – секретарь сельского райкома ВКП(б). Этого подозревали в сочувствии правым.

Почему их сгрудили всех вместе, никто не знал. Модзалевский и Масин ждали суда: двести шестую им объявили давно. Черняка, как и Ильина, не осудила Военная Коллегия. Шуберт с месяц назад побывал в военкрибе, отказался там от «признаний», и трибунал вернул дело обратно. Губарев находился в стадии первоначального следствия.

Вряд ли можно бы было найти что-нибудь общее в такой разномастной кучке людей, но голод, цинга и сильное истощение сблизили их. Они жили дружно, пытались говорить не только о пище, интересовались происходящим на воле, и вспоминали, и вспоминали. Но все их мысли в конце концов возвращались к одному и тому же – к неминуемой гибели от истощения. И они содрогались...

Человек привыкает почти ко всему, но к настоящему голоду привыкнуть нельзя. Чем дальше, тем больше давит он на сознание. И люди пребывали в состоянии перманентного ужаса. Спасения не предвиделось ниоткуда, и поэтому день, когда изменилось их положение, показался чудесней любого библейского чуда.

Утро в тот зимний декабрьский день началось, как обычно, подъемом. По команде коридорного встали, заправили койки, долго ждали очереди на оправку, потом, шатаясь от слабости, вынесли парашу, умылись, вернулись в камеру, получили свои четырехсотки и по кружке воды, и снова залезли на койки. Лежали, мечтали наесться, думали, что с ними будет, немного надеялись, но больше всего страдали от безнадежности. Сегодня хуже других чувствовал себя Модзалевский. Его обескровленные губы тихонько подергивались, и Ильин, лежавший с ним рядом, явственно расслышал полные отчаяния слова:

– Сегодня у нас воскресенье, восемнадцатое декабря тысяча девятьсот тридцать восьмого!.. А ничего не меняется!.. Значит – конец!..

Алеша не стал возражать: «Ведь действительно, смерть на носу!»

Время ползло.

Вдруг в коридоре послышались странные звуки: хлопнула где-то далекая дверь, раздался визгливый, рассерженный голос, шарканье ног по асфальту. Люди, все как один, приподнялись на койках.

– Слышите?!. Что это?.. – спросил настороженно Губарев и спустил ноги на пол.

Модзалевский – откуда и силы взялись! – сразу сунулся к двери. За ним поспешил и Алеша. Зашевелились и «старики».

Хлопали двери. Шаги и визгливый, рассерженный голос все приближались.

– Начальство! – решил Модзалевский. – Может быть – прокурор!.. Или еще кто-нибудь... Товарищи! Единственный шанс на спасение!.. Жаловаться! Жаловаться всем... поняли?!. Эх, зашел бы лишь к нам!

Хлопают двери. Сомнения нет: по камерам кто-то идет. Визгливый голос становится ближе. У него командный тон. Он звучит уверенно и громко. Он тут хозяин: это ясно как день. Остальные тихонечко шепчут, оправдываются, вероятно – дрожат.

– ... Овский так приказал!.. – доносится в камеру робкий голос начальника тюрьмы. – Овский...

– Наплевать мне на вашего Овского, – громко кричит визгливый, пуская петухов на высоких нотах. – Я приказал!.. Последний раз говорю... Начальник тюрьмы! Поняли вы меня или нет?!

– На Овского наплевать?!. – с ужасом шепчет Модзалевский. – Слыхали, что он сказал?!. Кто же это такой?!

Ужас Модзалевского разделяют и остальные. Овский им кажется – богом.

Гремит замок, сейчас откроется дверь.

– Жаловаться, друзья! – командует Модзалевский и решительно выступает вперед.

– Шма исроэйл, адойной элейхейну – адойной эход! Слушай, Израиль! Господь Бог наш – Бог один! – шепчет Черняк начало еврейской молитвы. Истово крестится Масин. Волнуются все остальные. Дверь открывается.

«Ого, их здесь много!» – мысленно удивляется Ильин.

Впереди человечек маленького роста в новой зеленоватой бекеше, отделанной серым каракулем. Такая же шапка-кубанка с пятиконечной красноармейской звездой. Сапоги начищены до яркого блеска. За ним двое незнакомых военных, а сзади, на некотором расстоянии, начальник тюрьмы, начальник корпуса, кто-то еще и еще.

Маленький человек переступает порог, делает еще один шаг и останавливается, оглядывая камеру злыми, рассерженными глазами.

– Ха! – кричит он визгливым голосом. – И здесь то же самое! Трупы... Начальник тюрьмы, поняли вы меня или нет?!

Человек в бекеше вытаскивает из кармана коробку «Герцоговины флор» и нервно закуривает.

– Гражданин начальник! – начинает было Модзалевский, но высокий гость маленького роста его не слушает.

– Это что такое?! Это что?! – с озлоблением кричит он и тычет пальцем в поросшие зеленой плесенью ботинки, поставленные для просушки в нишу центрального отопления.

– Мои ботинки... я уберу... здесь очень сыро, заплесневели, – запинаясь, произносит Модзалевский.

– Ах, вам здесь не нравится! – кричит на него человечек в бекеше. – Вам не нравится, да?.. Я вам живо другое место найду! – уже с угрозой заканчивает он и, швырнув горящую папиросу в угол, выходит из камеры.

Дверь закрывается. Масин, Модзалевский и Губарев бросаются за окурком. По коридору разносится визгливый командующий крик нежданного посетителя.

По затяжке, по маленькой, и еще по одной! Ильину тоже дали разок потянуть. И сразу – шум в голове, и слабость – дай бог добраться до койки! Никотин и окись углерода доходят до самых пяток. «Фу ты, Господи, как мы ослабели!»

– Вот и пожаловались! – вслух говорит Модзалевский. – Видно, придется так погибать!.. Жаль, конечно, но... ничего не поделаешь!

Остальные молчат.

Проходит еще два часа. В окно заглядывает солнце. На воле – яркий солнечный день. Вероятно – мороз. «Как давно мы не были на прогулке!..»

И вдруг снова какие-то звуки. Хлопают двери! Звенят миски! «Господи, что это? Неужели дают внеочередную баланду?!» Люди взбудоражены, никто не лежит. Строятся фантастические догадки, и вот доходит очередь... Открывается дверь...

– Получите обед!

Обед, горячий обед! Густая баланда, и каша, и двести граммов хлеба! «Как же так – хлеб?! Ведь мы четырехсотку уже получили?!» Охрана молчит. Никому ничего не известно. Вечером – ужин! Ночь проходит в тревоге: «что будет утром?» Утром дали – шестисотку! И кипятку – хоть залейся! Днем обед, вечером ужин! В последующие дни – то же самое. А еще через несколько дней заключенным разрешают ларек! У кого на счете есть деньги, покупают сахар, и хлеб, и конфеты.

«Что-то случилось на воле! Пришло неожиданное спасение!»

V

Настроение в камере резко идет на подъем. Люди не стонут. У них появилась надежда. Станислав Модзалевский вынес сегодня парашу – один! Взялся за ручки, поднял и вынес. И ничуть не шатался. Шуберт как врач объясняет: «Нервная трофика!..» Масин смеется: «От возбуждения много зависит! Если лошадь, к примеру, ударить кнутом, так она тоже как будто сильнеет. Так вот и мы!»

На воле что-то произошло. Это теперь не вызывает сомнений. Чуть ли не каждый день приносит свежую новость. Охрана заметно подобрела, начали

выводить на прогулку, в камерах появился врач – сам пришел! – осмотрел у всех десны и ноги и назначил лечение:

– Этому – лук!.. И этому – тоже!.. Лук... лук... лук! Всем лук!

Теперь каждое утро вместе с хлебом приносят пучок зеленого лука. Он грязный, немытый, с землей, искривленный и бледного цвета. «И где его только, такого урода, выращивают!» Впрочем, претензий предъявлять не приходится. «Не у тещи в гостях! Дают, и на том спасибо!»

Появилось новое развлечение – чистить и делить лук. Ответственную работу единогласно поручили Алеше: во-первых, у парня – глазомер, ни грамма не переложит, все шесть кучек – тютелька в тютельку; во-вторых, он владеет орудием производства – зубной щеткой с заточенным об пол концом, вполне заменяет нож, Алеша даже обрезаться ухитрился.

Надежда пришла не одна, за ней прилетели новые мысли, из-под спуда появились мечты и заботы. Василий Федорович часто вздыхает:

– Пройдут годы, вымрет живущее поколение, и не останется следа о нашей трагедии. Никто не скажем правду потомкам, и будут они читать фальсифицированную стряпню о наших делах, и будут верить, что мы шпионы, вредители и диверсанты!

– Не может этого быть! – отвечает Ильин. – История во всем разберется!.. Кто-то ведь выживет! Кто-то освободится! И напишет воспоминания, и скажет в них – правду!

– Не найдется такого героя, – подумав, настаивает Шуберт. – Никто не решится писать мемуары. Никто не захочет садиться вторично.

– Я напишу, – волнуясь, заявляет Алеша. – Я напишу, тщательно спрячу и оставлю завещание – после моей смерти сдать в НКВД.

– Чтобы их уничтожили?! Толково придумано!

– Чтобы их сохранили!.. Они сберегут!.. Как материалы уголовного дела... Будут беречь в несгораемых сейфах, в специальных папках с хитрыми надписями: «Хранить вечно», «Совершенно секретно».

– А зачем вам это делать?! – вмешивается в разговор Черняк. – Для кого?.. Для чего?.. Вас-то на свете не будет, так не все ли вам и равно?!

Шуберт и Масин с Черняком не согласны: «То есть как так – зачем, для кого!» Но они считают, что Алеша просто бахвалится:

– Никогда вы на это не решитесь, это только – слова!

Губарев молча усмехается. Он, видимо, держится взгляда иного. А Алеша ерепенится все больше и больше. И только Модзалевский сразу вносит успокоение в разгорающиеся страсти:

– А что ты будешь писать в мемуарах? – деловито осведомляется он. – Как лук зубной щеткой делил – напишешь? Ты про лук напиши! Это важно!

– Напишу и про лук! – обещает Алеша.

– Что вы смеетесь? – осведомляется Шуберт. – Лук – это действительно важно! Это – символ изменения обстановки!.. Эх, друзья мои, как бы только узнать, что там теперь происходит, – акцентирует он слово «там».

«Как бы только узнать!» Все помыслы сосредоточены на этой цели, и в ход пускаются самые немыслимые методы узнавания. По соглашению с камерой Модзалевский пишет заявление начальнику тюрьмы: «Прошу вызвать по исключительно важному делу... Срочно!» На следующий день его требует в коридор начальник корпуса:

– Заявление писали? В чем дело?

Станислав отмечает, что с ним говорят на «вы» – это уже новость! – и отказывается отвечать:

– Во-первых, я писал самому начальнику тюрьмы, а не вам, во-вторых, в коридоре разговаривать не буду!

Еще через день его ведут к «самому», и там Модзалевский, внимательно ощупывая глазами все, что можно увидеть, совершенно серьезно заявляет, что... в камере – видите ли! – плесневеет обувь: «Очень сыро, а топят плохо. Мы просим топить лучше!» С наслаждением смотрит Станислав на разочарованное и разгневанное лицо начальника, покорно выслушивает надлежащую нотацию, произнесенную, не в пример былым временам, без ругани и на «вы», и возвращается в камеру с потрясающей вестью:

– В конторе, в приемной, исчез со стены – портрет Ежова! Ей-богу!.. Пятно осталось, а портрета нет!.. И в кабинете – сняли!

В камере сплошное потрясение!

«Наплевать мне на Овского!» – вспоминает Алеша крик визгливого человечка и вечером, заметив, что новая смена охраны немножко под мухой, решительно играет ва-банк.

– Дайте бумаги и чернила с пером, хочу Овскому заявление написать! – говорит он подошедшему на стук надзирателю. – И наркому тоже! Кто теперь нарком? Ежова-то сняли?!

Надзиратель растерянно глядит на Алешу:

– Товарищ Берия – нарком, Лаврентий Павлович, – отвечает он, сбитый с толку нахрапистым поведением Ильина. – А кому вы заявление писать-то собрались?.. Овскому? Так его же нет. Он же враг народа оказался... Его на легковую машину – из Москвы пришла! – и увезли! Прямо из кабинета... и домой заехать не дали... Какое ж ему – заявление?!

Ильину странно слышать столь необычное «вы», и он осторожно осведомляется:

– Чтой-то ты «выкать» начал? Велели так, что ли?

– А как же! – подтверждает надзиратель. – Приказ такой вышел – чтобы на «вы»... Неизвестно еще, говорят, что за люди!

Он замолкает и с опаской оглядывается на подходящего напарника.

– Никакой бумаги сегодня не будет! – совсем другим тоном громко и резко произносит он. – Я ж вам объясняю! Сегодня поздно уже!.. Завтра утром спросите!..

Форточка захлопывается, надзиратель уходит.

В камере – бурное ликование!

А еще через несколько дней Губарева вызывают на допрос. Его провожают всем скопом. Шутка сказать – первый вызов после таких изменений.

– Ты там как-нибудь... ну, хоть за портретами посмотри! – напутствует его Ильин.

– Спроси у следователя впрямую, а вдруг ответит! – вторит ему Модзалевский.

– Филипп Михайлович, умоляю – окурочек! Хоть обо...нный! – со слезой в голосе упрашивает Масин. – Попроситесь в уборную, а там в писсуарах и по углам посмотрите! Может, найдется!

Губарев вернулся с допроса в этот же день.

– Не пойму, что происходит, – задумчиво отвечает он на многочисленные вопросы. – Следователь новый. Не бьет, не кричит, признания не вымогает, называет по имени-отчеству, обращается на «вы» и пишет то, что я ему отвечаю. «Мне, – говорит, – поручено перепроверить ваши показания. Отвечайте одну только правду, Филипп Михайлович! Понимаете, одну только правду!» И первый же вопрос: – «Подтверждаете ли вы свои показания?..» Я говорю: «Нет, не подтверждаю. Там все ложь... в результате насилия... там все вымышлено!..» А он так и пишет... И о насилии!.. Так, как говорю!.. Слово в слово!

Люди в тихом экстазе. Но вмиг появляются сомнения:

– Может быть, это только в отношении секретаря райкома, а нас – грешных – по-прежнему волтузить будут?

Станислав возражает:

– Не может этого быть!

– Почему? – интересуется Масин.

– Да потому, что новый метод допроса Филиппа Михалыча совпал с общим изменением тюремного режима. Ведь не будете же вы утверждать, что это совпадение чисто случайное?!

– Почему не буду?! Может быть, и случайность! Чем вы, собственно говоря...

– Да ничем! Здравым смыслом!

– Хо-хо-хо, здравым смыслом! Это не довод!..

Люди волнуются, спорят, ночью не спят, шепчутся, думают. А положение продолжает меняться. Модзалевский получил от матери первую передачу: он один местный, орловец, остальные все из районов или иногородние. Как зачарованные смотрят бедные доходяги на белый хлеб, сыр, колбасу, жареное по-домашнему мясо, сахар и папиросы. Правда, все искромсано, изрезано, рассыпано, у папирос отломаны мундштуки. «Да ну, наплевать!»

Слава не жадный! Он обильно делится со всеми: «Ешьте! Курите! А вам принесут, и меня не забудете». И люди едят; едят осторожно, чуть-чуть, «много нельзя – заболеешь! Ведь столько месяцев голодали!»

Шуберт настойчиво проповедует воздержание: «Потихоньку, друзья, не накидывайтесь! Истинно вам говорю – заболеете!» – и... попадается первый. Кусочек копченой грудинки, граммов сорок, а может быть, меньше, но в тот же вечер – жесточайший понос.

Вслед за Шубертом на парашу садится и Масин. А за ними – Черняк. И все остальные. Но через день, через два они выздоравливают. Один только Шуберт попадает в больницу.

Через неделю он возвращается назад, веселый и бодрый.

– Есть хорошие вести, товарищи! Положение действительно изменилось... Сексотов здесь нет? Слушайте все по порядку!

Все превратились в внимание. Тихо-тихо, чтоб не услышали в коридоре, рассказывает Шуберт о невероятных открытиях.

– Я лежал один в изоляторе, но меня здесь немножечко знают. Да будет вам ведомо – в здешнем медицинском училище, ныне медтехникум, учительствовал я почти восемнадцать лет. В Орле весь средний медперсонал – мои ученики. И в тюремной больнице дежурят мои же воспитанницы... Так вот... Из Москвы получен новый приказ. Раньше умерших в тюрьме актировали сами: паралич дыхания, разрыв сердца, туберкулез, кровоизлияние в мозг, воспаление легких. Теперь – дудки! Обязательно вскрытие!.. И вскрывать должен посторонний, городской прозектор. Тюремный врач может только «присутствовать». Причину смерти определяет вскрывающий... Заведен персональный учет... Очень строго насчет голодовок: первые трое суток можно никому не сообщать, только следователю, этому – немедленно! А потом – областному прокурору! Если голодовка продолжается – еще через трое суток – прокурору республики, к концу девятых суток – Прокурору СССР, а концу двенадцатых ему же – напомнить – и ежесуточно повторять сообщение вновь. И обязательно – искусственное кормление... обычно через нос... но это когда человек ослабеет... а если он сопротивляется, значит – в силе пока. Сильных насильно не кормят. Выполнять местные приказы начальник тюрьмы права теперь не имеет. Он подчинен только центру – тюремному управлению НКВД; не так, как раньше.

«Не так, как раньше!» Это чувствуется и на вкус и наощупь, это носится в воздухе. Не так, как раньше!

Камера, в свою очередь, рассказывает Шуберту последние новости. За время его отсутствия на допросе побывали Черняк, Ильин и Модзалевский, несколько раз повторно вызывали и Губарева.

Картина везде одна: новые следователи, вежливое обращение, протоколы пишутся чуть ли не под диктовку допрашиваемых: все изменилось! Везут на допрос – стенки кабинок гудят: все переговариваются, и везде то же самое. Нет, это отнюдь не случайность! Сказывается рука нового наркома! Все надеются на коренные перемены, надеются, что будут выпускать!

– Если это случится, – говорит Модзалевекий, – я в материнском киоте вместо Христа и Мадонны поставлю портрет Лаврентия Берии. И лампаду зажгу перед ним... неугасимую!

– Не богохульничайте, пожалуйста, Станислав Викентьевич! Как вам не стыдно!.. А еще католик!.. – укоризненно говорит Масин.

– А я серьезно говорю, – настаивает Славка и оглядывается на остальных, – ведь не они, а именно он – наш спаситель!

Остальные молчат. Они не хотят участвовать в споре, но, положа руку на сердце, тоже считают нового наркома своим избавителем. Они смотрят на него сквозь призму незнания, из маленькой камеры, отгороженной от внешнего мира толстыми кирпичными стенами; они видят события в тусклом свете, проникающем к ним сквозь закрытое решеткой окно. А много ли света в тюремном окошке?!

Узники судят о событиях по доходящим до них фактам, не зная об их подоплеке. Некоторые факты им стали доступны, и в этом отношении они знали даже больше, чем люди на воле, но ни те, ни другие понятия не имели о том, что творилось «наверху». А «наверху» готовилось искоренение вчерашнего «любимца народа» Николая Ивановича Ежова, и, как первый к этому шаг, по внутренним каналам системы пошло постановление ЦК «О перегибах в следственной работе». Новый нарком, казалось бы, начал его выполнять. Периферийные тюрьмы перестали быть местом терзаний, в НКВД принялись передопрашивать следственных, суды получили возможность оправдывать явно невиновных.

Но Сталину, видимо, везде продолжали мерещиться враги, вредители и диверсанты. Несмотря на им же санкционированное Постановление ЦК, он вновь, через каких-нибудь полтора месяца, легализовал «метод физического воздействия» и велел применять его «впредь». Правда, теперь его применяют отнюдь не везде. Областным и районным начальникам он воспрещен. Это право – исключительно центра. Две московские тюрьмы – Лефортовская и Суханово – выделены для расправы с неугодными лицами. В них можно делать все, что захочешь; они в личном подчинении Берии, они вне контроля, вне всяких проверок.

А в прочих местах на Берию пока что могут молиться, надеяться и ликовать. Кто расскажет людям правду, кто приоткроет завесу над подлинным ходом истории?! И они – ликуют.

– Я говорил вам, история во всем разберется! – торжественно заявляет Ильин, упрекая в неверии Шуберта.

– История, история, – ворчит в ответ Шуберт. – А что такое – история?! Покровский, Михаил Николаевич, когда-то сказал, что история – это «политика, опрокинутая в прошлое». Значит, она и разбираться с политикой будет. Какую политику историк поведет, такая и история будет... Разберется она, дожидайтесь!.. История – баба хитрая и разбираться совсем не торопится,

Ильин яростно возражает. Ему очень хочется верить, что в будущем все прояснится, что история не окажется обезглавленной, что для нее сохранятся и архивы, и мемуары, и даже художественные произведения. И его вера заражает других, и к нему присоединяются остальные жители камеры. «История когда-нибудь все восстановит!»

VI

Уверенность, что «история когда-нибудь во всем разберется», не покидала в те годы многих сидящих. Они надеялись, что рано или поздно наступит какое-то новое 12 июля (в 1906 году в этот день реабилитировали Дрейфуса – через 12 лет после осуждения), и весь мир узнает «wie war es eigentlich gewesen» – «как это происходило в действительности». Последняя формулировка определяла, по мнению немецких историков школы Леопольда фон Ранке, задачу истории как науки.

Многие заключенные сознавали необоснованность и химеричность подобных мечтаний, но не могли отрешиться от них, ибо не терпело человеческое сознание всеобъемлющей подлости и не хотелось верить, что все останется «так, как есть». И надежда помогала им жить и оправдывала бессмысленность тяжкого прозябания.

Конечно, вопрос о том, что скажет история, волновал отнюдь не всех заключенных. Массы простого народа, прошедшие через тюрьмы и лагеря, такими проблемами не интересовались. Они воспринимали происходящее не с точки зрения мировой революции, а как сумму индивидуальных аварий в их личных, маленьких судьбах, и беспокоились не об истории, а о котле и о пайке. Но интеллигентов всех мастей и окрасок такая «бездумная жизнь рабочей скотинки» совершенно не удовлетворяла. Им органически требовалось мыслить, мечтать, анализировать события и волноваться.

Они вспоминали мировую историю и библейские тексты, придумывали исторические параллели, спорили, сомневались, раздумывали и рассуждали.

– «Возвращается ветер на круги своя, – цитировали некоторые из них Екклезиаста. – Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться»... Мы вернемся и расскажем человечеству все. И не только те, кто живет в наше время, но и грядущие поколения будут знать, что мы пережили.

– Незачем ссылаться на Библию, – возражали другие. – Ведь тот же Екклезиаст говорил: «Нет памяти о прежних; да и о последующих, которые будут, не останется памяти у тех, кто появится после». Сомнительно, чтобы архивы сохранили следы наших бед: их умоют, причешут. Что не нужно, изымут, что нужно, добавят.

– Знаем, знаем, что делают так, но ведь все уничтожить нельзя, что-нибудь да останется... Умные люди так утверждают... Спросим, к примеру, у Петухова... Скажите, товарищ, что будет, по вашему мнению?..

Степан Владимирович ответил очень подробно. Ссылаясь на документы и источники прошлого, он утверждал, что история располагает неисчерпаемыми возможностями и несомненно «выявит все». Не зря же назвали ее Маркс и Энгельс «только одной единственной наукой»!

– Преследования ни в чем не повинных людей – обычное явление исторического процесса, – изрекал он уверенным тоном. – Можно привести бесчисленное количество фактов... Остановимся лишь на отдельных, ведь все перечислить нельзя.

Вот яркий пример. Рождение Римской империи сопровождалось беспощадным гонением на всех нецезарианцев; их убивали как мух, огромными массами, по официально скрепляемым проскрипционным спискам. Аппиан и Плутарх рассказали об этом. История занесла на свои скрижали все, что случилось.

Не думайте, что Рим — исключение. Средние века нисколько не лучше. Вспомним Аттилу – предводителя гуннов, возглавлявшего в середине V века походы на Галлию и на Италию. Сколько людей погибло тогда?!.

А крестоносцы!.. По сравнению с ними Аттила – невинный ребенок. В 1098 году они, взяв Антиохию, вырезали чуть ли не всех мусульман, а еще через год, в

1099 году, при взятии Иерусалима, уничтожили всех поголовно – все население: женщин, мужчин, стариков и детей... История все записала!

В прогрессивнейшей Англии, парламентарной стране, где с 1215 года существовала Великая хартия вольностей, феодальные власти в 1381 году с невероятной жестокостью подавили и утопили в крови крестьянское восстание Уота Тайлера и Джона Болла. На виселицах, установленных победителями по всей стране, не хватало мест для казнимых крестьян и городской бедноты... Истории это известно.

Помянем и инквизицию! Особенно – испанскую! Триста сорок одна тысяча сожженных, замученных, просто убитых. Мы помним мало имен, но мы знаем число. Окончательный приговор вынесла та же история.

Или в нашей стране – времена Иоанна IV. До нас дошли синодики Грозного, многочисленные летописи, служебные книги, «История» Курбского и свидетельства Таубе и Крузе. Жертв было не счесть. В одном только Новгороде, в 1570 году, десятки тысяч убитых. Тысяча пятьсот пять новгородцев значится в Кирилловском списке, но это – результаты действий лишь одного передового отряда Малюты Скуратова. Казнили ни в чем не повинных мужчин, казнили их жен и детей, людей уничтожали целыми семьями.

Жестокость и убийство подобных себе свойственны, видимо, роду людскому вообще. Разве могла бы иначе свершиться знаменитая Варфоломеевская ночь, ночь на 24 августа 1572 года, в Париже, когда католики организовали массовую резню гугенотов, съехавшихся на свадьбу своего предводителя Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа?!. Надо думать, они это делали не для истории, а она их все-таки не обошла!

Ну, а Великая Французская революция? Эпоха террора и якобинской диктатуры! Тысячи и тысячи умерщвленных! На гильотине погибли такие противоположные по убеждениям люди, как Людовик XVI и Максимилиан Робеспьер, Мария-Антуанетта и Манон Ролан де Ла Платьер, Жорж Дантон и Шарлотта Корде. Разве все они были «виновными»?! Вина, вообще говоря, – понятие очень условное! Дело не в ней. История всегда шагала по трупам. Салтыков-Щедрин как-то сказал, что «история человечества вообще есть бесконечный мартиролог», но он позабыл, что история всегда во всем разбиралась. Правда, с большим опозданием!..

С меньшим знанием дела, но не менее страстно верили в могущество истории и Ильин, и Маруся, и Рис, и Моргунов, и многие-многие другие.

– История во всем разберется, – утверждал Алеша, споря в камере орловской тюрьмы с доктором Шубертом.

– Правда когда-нибудь все равно победит, – убеждала себя Маруся на воле, в Москве, отставляя в сторону стакан с вероналом.

– Весна покажет, кто где ...ал, – выстукивал невидимому за стеной соседу глубокомысленную сентенцию Рис.

– Грех наружу выйдет, всякая неправда помянется, – сказал Моргунову один воркутянин – знаток русских народных пословиц. И Александр Сергеевич – всем нутром – поспешил согласиться с правотой его образа мыслей. Ему сильно хотелось, чтоб собеседник был прав, а легче всего соглашаться и верить тому, чего очень желаешь.

Моргунову в душе хотелось значительно большего. Он помнил предложение Горького написать «Историю заводов и фабрик» и думал о том, что такие события, как создание силами заключенных грандиозной лесной промышленности в северных, столь недавно еще неприступных районах Советской страны, или строительство железных и шоссейных дорог, пром- и сельхозпредприятий, или тем более рождение за Северным полярным кругом в

безлюдной Большеземельской тундре нового каменноугольного бассейна были бы достойными темами подобной работы.

И Александр Сергеевич, надеясь впоследствии использовать свои наблюдения, внимательно приглядывался ко всему, стараясь сохранить в памяти детали действительности. Он пробовал даже записывать их, но безуспешно: записи не сохранялись. Чаще всего их отбирали при обысках; чуточку реже урки, украв, вертели из них папироски; остальные хранились в карманах и истирались дотла. Александр Сергеевич не огорчался: «Пропали, так что ж теперь делать! Черт с ними! Запомним и так. А если забудем – история все восстановит. Она во всем разберется».

История, однако, разбираться не торопилась. Связанная, скрученная, лишенная возможности опереться на почву документов и фактов, не могущая отвести глаза от указанного ей направления и проанализировать «опыты быстротекущей жизни», она невольно ограничивала свою деятельность или плюсквамперфектом, или прославлением «гениальнейшего из людей», и исподволь пыталась поправить былое, чтоб приспособить его к нуждам текущего дня.

Именно в те годы познавали историки великую пользу молчания. Именно тогда учились они лицемерить и, работая над проблемами современности, о многом умалчивать и не вспоминать. Главной задачей их стало превозносить до небес только что изданный квазинаучный, наполненный ложью «Краткий курс истории ВКП(б)». Его надлежало считать откровением свыше и непреложной истиной. Критиковать утверждения «Курса» нечего было и думать, их приходилось считать директивами, мудростью коих разрешалось лишь восхищаться.

Не всякую тему мог трогать историк в то время, и одной из таких запечатанных тем стали тюрьмы и лагеря – печальные следствия сталинских страхов. Не только писать о них правду, – упоминать даже было нельзя.

И Воркута, где отбывал установленный срок Моргунов, не была исключением. Мало кто ведал о ней. Как будто не существовало в России столь неприютного места, как будто не жили в нем люди, не совершали невиданных дел, не оживляли холодный, за пятьдесят тысяч лет до того омертвевший, снегом заваленный край. Покров секретности над Воркутой был обширным и плотным.

Никто не решался его приподнять. Шли годы и годы, а молчание не прерывалось. Даже родные и близкие находящихся на Воркуте не представляли себе ее сути.

Спустя много лет Моргунов, вспоминая об этих годах, написал в своих мемуарах:

«Мы жили тогда в Заполярье, на правом берегу реки Воркуты, на 68-й параллели, то есть в тех самых местах, о которых народ говорит: «куда Макар телят не гонял». Климат там очень суровый: три с половиной недели длится полярная ночь, вечная мерзлота мощным слоем в сто пятьдесят с лишним метров покрыла обширный район – всю Большеземельскую тундру. К тому же эта тундра восемь месяцев кряду бывает засыпана снегом, а в затененных местах «перелетки» лежат до зимы. В зимние месяцы – пурги, морозы и ледяное безмолвие. Лето короткое, иногда только несколько дней, и только тогда тундра зеленеет и наполняется жизнью. Кажется, все расцвело, но тепла настоящего нет, и земля не родит ни картошки, ни клюквы. Случается – снег выпадает в июле и лежит неделю–две. Летом небо, как правило, в тучах, солнца не видно, хотя оно и не заходит. Впрочем, в отдельные годы бывало по две–три недели ясно и жарко, и нас начинали терзать комары. Жизнь проходила в заботах и оставляла немного приятных минут: лишь иногда улыбнешься цветку, или яркому полярному сиянию, или удачному слову. Порою на нас нападал пиитический зуд, тогда мы

слагали стихи. Диспетчер нашего ОЛПа Иван Павлович Сиротин посвятил мне однажды одиннадцать строчек:

Небо в Заполярье
Смотрит хмуро, холодно,
И поводит бровью
Северных сияний
В тишине ночей...
Точно пурги злые,
Наигравшись вволю
На земле печальной,
Силою чудесной
Пронеслись, играя,
По ресницам звезд...

Так мы и жили: хмурое и холодное небо, злые пурги, печальная земля. Но вопреки всем невзгодам и трудностям мы побеждали природу. Наша наклонная шахта работала, уголь шел на-гора. Его выдавали безвестные люди, тысячи скромных героев-подвижников, те, кого в выступлениях бойких ораторов, в официальных кругах и в печати звали «врагами народа».

Теперь, когда многих из них уже нет в живых, установлено, что эти «враги» были ни в чем не повинны. Их обвиняли заведомо ложно – из корысти и карьеризма, их оболгали и обманули, изгнали из партии и из советского общества, а все потому, что унижение их было ступенькой для возвышения Сталина и – страшно подумать! – возделанной почвой, на которой росли ордена и отличия «славных».

Кто, какая история поймет и опишет величие подвига этих людей, их стойкость и преданность делу социализма, пронесенную в целости сквозь разлагающий ужас и мрак беззаконий, творимых над ними? Они сохранили ее, эту преданность, вопреки безнадежности их положения, из которого виделся в те времена один только выход – могила.

Нас, оторвав от родных и друзей, в те трижды проклятые годы загнали к краю советской земли. Мы могли – да и то не всегда, и только в три месяца раз – послать небольшое письмо своим близким: большое цензура не пропустила бы. Нас нарочито держали в особенно трудных условиях и обвиняли во всем. Членов наших семей – жен, и детей и родителей – подвергали репрессиям: их исключали из партии и комсомола, увольняли с работы, гнали из вузов, ссылали, сажали в тюрьмы и лагеря. Казалось, что делалось все, чтобы озлобить и превратить нас в врагов всей советской системы. Но все оставалось бесплодным. Озлоблялись лишь единицы, а большинство нашло в себе силы понять, что буря репрессий, бушевавшая в нашей стране, – только накипь и плесень, что не она атрибут коммунизма, и рано или поздно минует. Мы понимали, что это, вероятно, свершится очень нескоро, но это была уже частность – дело личной судьбы и удачи, вопрос персонального счастья, не направляющий поступь истории.

Мы говорили себе: «Если «это» придет слишком поздно, нас, конечно, не будет, но наша страна не погибнет. Наступит новое время, появятся новые люди, и история все восстановит. Так в прошлом бывало всегда. Наша эпоха – эпоха тяжелых трагедий, но она не должна и не сможет дискредитировать наши идеи, во имя которых не жалко пожертвовать жизнью. Ведь мы – коммунисты!» Так рассуждали тогда очень многие, думаю, что – большинство.

Я вспоминаю, как между собой, в узком кругу близко знакомых друг другу людей, где не боялись сексотов и больных недержанием речи, мы не раз насмехались над мелковатым тщеславием Сталина, над его низменной страстью к дешевой славе, над мелкотравчатой тягой к величию, над грандиозной нескромностью и над бесстыдным открытым хищением многих идей у партийных

соперников. Мы ругали не только его, но и носителей власти без власти, осуществлявших его беззакония и в угоду ему продвигавших вперед уродский процесс его превращения в бога.

О, да! Зубоскалили мы на подобные темы охотно, но как только суть разговора касалась судьбы коммунизма, основ советского строя, задач революции, итогов и перспектив мирового развития, – ирония и сарказм исчезали, как дым в небесах.

Мы, иногда сами тому удивляясь, вдруг открывали, что годы, прожитые нами в тюрьмах и лагерях, не изменили нашего мировоззрения, что мы остались теми, кем были, то есть сынами советской страны и коммунистами. Мы убеждались, что именно к нам, готовым пожертвовать лично собой во имя интересов рабочего класса и партии, больше, чем к кому бы то ни было, применимо крылатое, яркое звание – беспартийные большевики. И я убежден, что история в будущем недвусмысленно скажет об этом».

VII

Уходил в прошлое тысяча девятьсот тридцать восьмой год, второй год заторможенного развития советской экономики, массовых арестов и казней, широкого сталинского наступления на народные массы и партию.

Конец его, совершенно неожиданно для многих и многих, ознаменовался резкими переменами. Ощутив их, встрепенулись и возликовали сидящие в следственных тюрьмах. В Орловском централе заражал сокамерников оптимизмом Алеша Ильин, а за тысячи верст от него, на Воркуте, в камере смертников, люди, случайно узнав от охраны о назначении Берии, начали, сами не веря себе, оживать.

Пока еще так же, как прежде, они проводили без сна ночь за ночью, а днем, иногда забываясь на час или два, отупело дремали. В непрерывной тревоге таяли силы, ужас все еще жил, но появилась надежда и стала бороться с прострацией. И однажды, в конце декабря, Пергамент громко сказал:

– Знаете, други, что-то мне очень уж кажется... нас не расстреляют!

– Это еще почему?! – возразил ему Дешкин. – Хлопнут за милую душу... Может быть, даже сегодня!..

– Не надо так гадко шутить!.. Я понимаю, что могут... но... прошло столько месяцев... мы еще молодые, полные жизни и сил... Не может этого быть!.. Мне чутье говорит: не умрем...

– Хотелось бы, но... – Дешкин не унимался. – Месяцы не аргумент!.. Им спешить некуда... И – не лучше ли нам... попрощаться?!

Никто не ответил... Разговор оборвался... Близилась ночь, страшная, неумолимая. Люди долго молчали.

– Не помешаться бы только рассудком!.. – сказал неожиданно Дипнер. – Разве мыслимо вынести?!. Каждую ночь!.. Это же – варварство!

– Не помешаемся! – ответил Пергамент. – Мы уцелеем и – выживем! Я в это верю!

Предчувствие его не обмануло. Через несколько дней каждому из них заменили высшую меру десятью годами лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Чтобы об этом сообщить, их вызвали – сразу всех трех! – во втором часу ночи в контору тюрьмы. Что они пережили за эти пятнадцать минут!.. В такие моменты – знали они по рассказам – люди сходили с ума. Но они не сошли! И даже зная как будто, что пробил их час, до самой последней минуты на что-то надеялись.

– Нет, нас ведут – не туда!.. Так на расстрел не берут!.. Только два конвоира!.. И не надели наручники!.. Не запихали в рты груши!.. Нет, так не бывает!..

– Распишитесь!.. Вам заменили...

– Но почему это делают ночью?! Чтобы поиздеваться?!. – нервно выкрикнул Дипнер. Его било как в лихорадке.

– Нет, – ответил уполномоченный. – Мы только что получили сообщение и – по инструкции! – объявляем об этом немедленно!

– Подлецы! – выдохнул Дипнер и вдруг обнаружил, что ему хорошо и спокойно.

– Пойдемте, поспим хоть немного! – внес предложение Пергамент.

Их отвели назад в камеру, они торжествовали, но спать не могли. Сон пришел только днем. Беспокойный, прерывистый. Они просыпались и с радостью вновь засыпали. Жизнь начиналась сначала.

Теперь они мечтали побыстрее вырваться в лагерь, оказаться где-нибудь в шахте, в тундре, заваленной снегом, свободно пройти по зоне и провести новогоднюю ночь на относительной воле.

А в лагере пошли еще дальше. Моргунов, Гольденберг и другие замыслили невиданное дело. Они вознамерились – страшно даже сказать и подумать! – встретить, – конечно, украдкой, – наступающий Новый тысяча девятьсот тридцать девятый год.

Готовиться к этому стали заранее. Раздобыли у вольнонаемных кое-какие продукты, кое-что сохранили от полученных летом посылок, заготовили спирта. Двести граммов добыли в каптерке – там хранился запас премиального фонда. А потом сговорились с хирургом. У него это зелье бывает всегда, и сэкономить не очень-то трудно.

На воле, до 1935 года включительно, в целях «борьбы с религиозным дурманом» Новый год праздновать не разрешали. Пытались даже установить традицию объявлять этот день «Днем ударника» и отмечать трудовыми победами.

А среди тех, кто готовился к встрече, двоих посадили еще в декабре тридцать четвертого года. Для них ожидаемый праздник был совершенной новинкой. Они ждали его с нетерпением, а события им помогали. В воздухе резко запахло весной. Сняли Ежова, замолкли хвалебные клики по адресу НКВД, прекратились аресты, Кашкетин не появлялся.

И откуда-то двинулся слух: «Мы на пороге больших перемен. Дела пересмотрят. Скоро мы будем на воле...» Кто пустил эту весть, не узнали. В лагере спрашивать, «кто» и «откуда», не принято. Забудет какой разгильдяй про обычай, спросит: «Где взял?» и услышит в ответ без улыбки серьезное: «Начальник дал, на разводе»; «Кто сказал?» – и опять же: «Начальник!..» Так же было теперь.

Очень хотелось узнать что-нибудь достоверно, и кто-то из наиболее смелых использовал случай – «кум» вызвал его «на прочистку»! Представ перед грозным начальством, храбрец неожиданно прямо спросил: «У нас говорят, мол, про то-то и то-то! Скажите, пожалуйста, верно ли это?» Уполномоченный дернул плечами: «Не знаю, не слышал!» И – только! Не опроверг, не спросил об источнике слуха и, главное, не взбеленился.

И «зека-зека» верили: «Да, это – правда!» Удивляться давно разучились: «Ведь не зря же сменили Ежова, значит, где-то и в чем-то нашкодил. Просто так ведь и чирей не вскочит! Может, именно – тут! Пережал, перебрал, а теперь пришел срок исправлять перегибы!»

Большинство твердо верило: «когда-нибудь все это кончится». Верило крепко. И решило – «дождались»!

Конечно, лагерь велик и обилен, и разные люди населяют его. Встречать Новый год приготовились только отдельные группки, из тех, кому в лагерной жизни «посчастливилось». Рядовым заключенным такая затея была недоступна, но ИТР и «придурки» оказались на гребне волны.

Гольденберг на Воркуте быстро «сделал карьеру». Чуть ли не в первый же месяц его взяли работать в финчасть управления шахты, а еще через пару–тройку

месяцев он превратился в начальника части. За этим пришло остальное: улучшенный быт, обмундирование первого срока, лишняя смена белья, лазить в шахту – от случая к случаю, труд – физически легкий, «непыльный», вообще – «положение в мире», а главное – отдельная землянка, где и решили праздновать Новый Год.

Подошел праздник. Из укромных мест в снежных сугробах, из тайников под землей, в куполах, в переборах, извлекли все резервы, снесли к Гольденбергу и в назначенный час собрались.

В тундре выла пурга, а в землянке зажгли яркий свет, постелили на стол простыню, истопили печурку, нагнали тепла. На листки из блокнота разложили по порциям вкусную снедь, развели спирт водой, разлили в консервные банки, и – пошли пировать.

– С Новым годом! Лехаим! Здоров був, Новий рик!

Тосты слились в сплошной неразборчивый гул. Праздник встречен. «Прощай, старый год! Нечем добрым тебя помянуть. Уходи поскорей, уноси все печали с собой!»

Блестят глаза у пирующих: «Мир. Благодать. Разве мы в лагере?! Разве – срок отбываем?!. К лешему! К черту! Забудем про это! Ведь здесь все как дома, только вот жаль – жен наших нет!»

Воображение частично возмещает нехватку. Лагерная простыня на столе превращается в скатерть, листки из блокнота – в тарелки, консервные банки – в бокалы и рюмки, жидкий спирт – в дорогое шампанское.

– Кто сказал, что мы – лишь заключенные, что мы – изгои?!. Нет! Мы – опора страны, мы – народ!.. Не «враги», а народ! Даже здесь, на Воркуте, мы, каждый по силе возможности, «строим лучшее завтра земли!»

– Правильно! Верно! Ура!!!

Лейся, песня, на просторе,
Не грусти, не плачь, жена,
Добывать воркутский уголь
Посылает нас страна!

Спирт развязал языки. Каждому хочется что-то сказать, выразить свое, сокровенное, то, что долго таилось, скрывалось и пряталось. Осторожность исчезла. «Здесь все люди – свои! Надоело молчать! Говори, брат, смелей! Что у трезвого... Знаете сами!..»

– А я не хочу, чтобы меня посылала страна! Пропади она пропадом! И вождь – вместе с ней!.. Почему я – я! – должен страдать для счастья каких-то там поколений?.. Чем они лучше меня?!. Пусть работают сами!.. Я – за личную жизнь! Сегодня! Теперь!.. Никакого мне «завтра» не надо!.. Надоело мне строить и строить! Да и незачем больше: в грядущей войне нас все равно расшибут!.. От «любимой страны» останутся ножки да рожки... Сейчас надо думать не о том, чтобы спрыгнуть, а о том – как бы слезть! Хватит быть холуями! Поиграли и будет!

– Григорьев упился! Вот скандальный мужик! И зачем вы его привели?!

– Товарищи! Это – позор! Григорьев несет чепуху! Я заявляю от имени всех – что бы в стране ни случилось, мы навечно останемся – большевиками! В мире трудное время, мы это знаем! Наступает фашизм. В начале ушедшего года Германия слопала Австрию, а осенью – Судетскую область. Япония захватила Кантон. Она сунулась было и к нам, на Хасан, но ей крепко набили по шее. А Франко упорно ползет на Мадрид. Война бушует в Европе и в Азии, мир раскололся на две половины. Пусть буржуа и фашисты будут на той стороне, мы останемся здесь...

– Не разводи агитацию, Мишка! Пойми – надоело! И о Григорьеве не беспокойся. Он останется с нами! Давайте, забудем обиды! Выпьем за что-нибудь... за окончание срока!

– Выпьем за Родину, выпьем за партию!

– Выпьем за Сталина! – добавляет Онуфриев.

– Отставить!.. Не стану! – кричит Левашов – начальник поверхности шахты, троцкист, «ортодокс», уцелевший случайно. – Не стану я пить за вампира!.. Кровь наших братьев на нем...

– Ну, ты, там – осторожней, потише! Пойми, что орешь! Недорезанный контрик! – вскипает Иван Николаевич.

– Я?!. Я – контрик?!. Паскуда, предатель!

Скандальчик готов, но хозяин землянки рассудителен, трезв, и вовремя тушит горящие страсти:

– Тихо! Опер идет!.. Сейчас будет нам всем на орехи!.. Вот!.. Подходит!.. Идет!.. Прячьте спирт!.. Успокоились?!. И хорошо!.. Браво, браво!.. Давайте отбой!.. Опер мимо прошел... Ха-ха-ха!

Он хохочет. Он рад, что обман так прекрасно удался! Люди притихли, искры скандала потухли. Проходит минута, другая, пьяный Григорьев заснул на столе, а Левашов уже в мирных тонах доказывает Онуфриеву:

– Нет, вы поймите! Что ни шаг – то ошибка! Страну надо готовить к войне, а он бьет – по своим... Так нельзя! И зачем нам теперь «Краткий курс»? Почему вот сейчас он пустил его в ход? Оправдаться, что ль, хочет?!. Не выйдет!..

Онуфриев возражает активно, но уже мирно:

– Неправда! Сталин не знает о том, что творится. Он верит, что все мы – враги. А «Краткий курс» очень нужен... Теперь!.. Ведь классовый враг еще может ожить. Наш Григорьев – пример!.. Это он неслучайно! Ведь борьба продолжается... Один конец – здесь, а другой – за границей! «Краткий курс» есть могучее средство...

Моргунов слушает молча и думает: «Григорьева, конечно, занесло, но ведь Иван Николаевич Онуфриев безусловно неправ. Разве можно не видеть всего, что творится?!. Все ведь исходит от Сталина. Крайностей вовсе не надо! Вот собралось здесь шесть человек, шесть взаимных «врагов» – их к тому же считают «врагами народа»! – а каждый из них, если поглубже копнуть, готов умереть за родную страну и за партию. Все они – разные. Спорят друг с другом, готовы подраться, но в сущности – все заодно!..

Но как тут не спорить? Вот, к примеру, мы, когда сюда собирались, условились загодя: о политике не говорить! И – поди ж ты! – с первого слова!.. Мы все пропитались политикой, как мокрая губка водой. Наверное, даже с женщиной, даже в постели, мы не сможем отвлечься от этой пропитки. И у нас для любви и для боя – будут одни только марши!.. Стоп!.. Откуда? Где взял?.. Ну-ка, вспомни!.. Ах, да – Маяковский!

Разнообразны
души наши.
Для боя гром,
для кровати –
шепот.
А у нас для любви и для боя –
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!»

– О чем задумался, Александр Сергеевич? – трогает его за плечо Гольденберг. – Вспомнил о доме?.. Ну его к лешему. Сегодня не будем грустить! Давайте-ка лучше повторим, товарищи! У меня есть резервные сто пятьдесят!

Сейчас разбавим и выпьем... Я чувствую, что-то случилось хорошее. Признаков много!.. Выпьем «за волю, за лучшую долю!..» Не только давайте не спорить, не ссориться. Я не люблю – разнимать!

Люди чокнулись, выпили и закусили. За окном бушевала пурга. Содрогалась под ветром небольшая землянка. А настроение пирующих все улучшалось. Им стало казаться, что плохое прошло, что жизнь опять идет на подъем. Новый год, так казалось, вел к новой жизни.

И как бы в ответ на их чувства, рожденные на закованной в лед Воркуте, мечтала о лучшем Маруся, поднимая бокал с игристым шампанским в московской квартире; и Ильин в Орловском централе думал о том же; и, прислушиваясь к стонам больного, глядела невидящим взглядом в ничто и надеялась на изменение к лучшему дежурившая в стационаре Горинская; и трое в камере смертников, недавно узнав о том, что расстрел отменен, уже не страдая, не спали и, вспоминая о прошлом, мечтали о будущей, радостной жизни; и много миллионов людей на всем необъятном пространстве советской страны в эту новогоднюю ночь тоже мечтали, надеялись, верили.

Людям казалось, что развязка близка, что кошмарный сон на исходе. Одни видели признаки грядущего перелома воочию (изменился тюремный режим, изменились методы следствия), другие ловили чутьем (ведь не зря же и это и то!), но и те и другие, не зная о том, что происходит в «высоких верхах», бродили в потемках.

Встреча Нового года чуть не закончилась драмой. В землянку ввалился патруль. Увидев пирующих, вохровцы – их было двое – на секунду окаменели, но Лев Соломонович спас положение.

– Ох, как вы кстати! – сказал он. – А мы вас как раз дожидались. Садитесь за стол! С Новым годом! Замерзли, вероятно?! Погрейтесь немного!

И он пододвинул закуски и спирт вновь пришедшим незваным гостям.

– По закону... не полагается! – молвил один, но другой жадным взглядом уперся в пирог, испеченный начальнику финчасти вольнонаемной кассиршей.

– По закону! – вздохнул Гольденберг. – Ходить по закону нельзя! Истопчешь и – только! Вы вот ходите, мерзнете, а командиры, пославшие вас, ведь пируют...

– Служба у нас такая!..

– Да мы понимаем!.. Ешьте, пожалуйста, ешьте!.. Вас ведь тоже не лучше нас кормят. Каша и каша. Чуть побольше, чем нам, а так почти одинаково...

Вохровцы переглянулись.

– Чего там, давай!.. Раз угощают! – и второй, не садясь, взял кружок колбасы. – Это какая? Копченая?

– Сырокопченая, самая лучшая, из Москвы... из летней посылки. Да вы кушайте, кушайте! С Новым вас годом! С новым здоровьем и счастьем! – Лев Соломонович превосходил сам себя.

– Ладно!.. Ваше здоровье!..

Вохровцы выпили, крякнули и закусили.

– Первый раз за все время!.. Первый раз, говорю, угощают... Ну, мы пойдем! А вы оставайтесь! Можете хоть до утра! Кроме нас, тут никто не пойдет. Только чтобы без шуму! Понятно?!.

– Будьте спокойны! Я сам прослежу! Мы – народ тихий.

– Ну, то-то!

Незваные гости ушли, а нежданный исход влил новые силы в людей. Как ни считай, а – победа!

Разошлись лишь под утро, и двинулись прямо в бригады. Как-никак, «День ударника». Надо свое отработать.

VIII

Первые месяцы тридцать девятого года проходили в Орловском централе в сплошных треволнениях. Реальность казалась сомнительной, непрочной и неустойчивой, и поэтому, когда людей везли на допрос, стенки кабин спецмашины продолжали хрипеть:

– Как там у вас?.. Как обращаются?.. Бьют?.. – и неизменные ответы: – «Нет, не бьют, относятся по-человечески, пишут то, что говорим», – услышанные в третий, пятый, а иногда и в десятый раз, воспринимались как радостные явления.

Строжайшую, непроницаемую изоляцию в камерах «особого корпуса» вдруг прорвало. На стенах, дверных косяках, на умывальных раковинах и санитарных приборах, на зажелезненных бетонных подоконниках тюремных уборных, и даже на асфальтовых полах появились еле заметные краткие надписи, условные, но понятные всем долгосидящим отметки, и как бы нечаянно сделанные царапины. Охрана тщательно стирала их, соскабливала, замазывала, но кое-что все-таки оставалось, и заключенным, хотя кое-кто из них и попадал за это в карцер, становились известными старательно скрываемые от них события внешнего мира.

События эти обычно не радовали. Фашизм вел наступление. Германия захватила всю Чехословакию, отняла у Литвы город Мемель и область. Привыкнув связывать международное положение со своей судьбой, обитатели камер приходили в уныние и строили мрачные прогнозы, но действительность пока что опровергала их домыслы.

В конце марта Черняку принесли передачу; в ней, среди прочих продуктов, был кусок масла, завернутый в двойную, не очень-то, на первый взгляд, свежую оберточную бумагу. Наскоро все просмотрев, разбив яйца, разрезав в разных направлениях хлеб и колбасу, дежурный располосовал и масло тоже, но обертку оставил. Обобрав все кусочки газет, он ушел, не заметив, что на обороте первого слоя масленой упаковки мельчайшими, еле видными буквами, написанными простым, бледным карандашом, детально рассказывалось о XVIII съезде. Автор сообщения особенно подчеркивал, что Жданов выступил с речью, в которой сказал о замаскированных врагах внутри партии, пробравшихся в НКВД и стремившихся путем широкого применения мер незаконных репрессий перебить честных членов ее и посеять излишнюю подозрительность в партийных рядах.

«Новый нарком, Л.П. Берия, – говорилось дальше в сообщении, – выступая на съезде, заявил, что работники НКВД, очистив свои ряды от пробравшихся в них вражеских элементов, обеспечат разоблачение, разгром и искоренение...»

Весть взбудоражила всех. Узники поняли выступления Жданова и Берии по-своему, так, как хотелось, и никто в эту ночь, кроме на редкость спокойного Шуберта, глаз не сомкнул. Но утро пришло, а все оставалось по-старому.

Через несколько дней, однако, захлопали двери. Из камеры вызвали двух: Губарева и Модзалевекого.

– С вещами!..

– С вещами?!. Куда?!.

– Там узнаете!.. Там вам расскажут...

Оба собрались и вышли. Прошло две минуты. Может быть, меньше. И вдруг снова – скрежет замка. Дверь открылась. Влетел Модзалевский.

– Нас обоих – на волю! – он задыхался. – Прощайте, ребята! Желаю и вам...

Все бросились к Станиславу. Он швырнул в камеру наволочку с продуктами (только вчера получил передачу), попрощался со всеми, и напоследок сжал в объятиях Алешу:

– Желаю тебе... – Модзалевский не досказал. Из глаз его капали слезы.

– Сообщи, Славка, матери... в Тулу!.. Адрес ты знаешь...

– Конечно, конечно...

– Давай, выходи! – открыл дверь дежурный. – Или не насиделся?!. Писем с собой не бери! Все равно там обыщут, отымут...

Станислав оторвался от Ильина и ринулся к двери.

– Желаю... того же!

Скрытое рыдание вырвалось наружу. Удивленный дежурный захлопнул дверь и запер ее на замок. Все затихло.

А утром Ильин прирос к двери. Их камера находилась в конце коридора, и раздатчики, начиная разносить по камерам хлеб, именно тут подсчитывали количество подлежащих выдаче паек.

Обычно оно оставалось почти неизменным.

– Сколько сегодня?

– Вчера было сто двадцать восемь... Один в семнадцатой помер... Значит – сто двадцать семь...

Но сегодня привычный подсчет изменился намного.

– Сколько сегодня пайков-то?.. Вчерась было сто двадцать семь...

– Тридцать восемь на волю пошло... да вечор одного привели... А из двадцатой, от смертников, двух ночью взяли. Вот и считай! Сто двадцать семь... да один... да ежели вычесть... девяносто... да еще два долой... восемьдесят восемь всего... Кажись, не ошибся!..

– Вроде верно!..

– Тридцать процентов! – сразу прикинул Алеша. – Почти ровно тридцать!..

– Что вы считаете там? – спросил с недоумением Шуберт. – Какие такие проценты?

– Тридцать процентов на волю пошло!

– Ну и что?..

– Ничего!.. Но все-таки – тридцать!.. Ровная цифра!..

– Пути Господни неисповедимы, – в один голос вздохнули Шуберт и Масин. – Может быть, это случайность, а может быть... всяко бывает!

И снова потекла жизнь своим чередом: подъем, оправка, хлеб с кипятком, прогулка, обед, ужин, отбой. А в промежутках – тоска от безделья. Суровая, гадкая. Книг по-прежнему не давали, разговоры между собой осточертели до тошноты. О чем ни заговори – все уже было. Все рядовые и необычные случаи, все драмы и мелочи жизни, все, происшедшее в прошлом у каждого, пересказывалось по множеству раз и уже раздражало сидящих. Известно! Известно! Известно!.. Слыхали! Слыхали! Слыхали!.. Нет ли чего поновей?!. Но нового не было. И не спасали попытки серьезных занятий по специальности каждого... Люди привыкли друг к другу, порой друг за друга страдали, а иногда ненавидели люто – до дрожи в руках и ногах. Но перед внешними силами были едины. Так вот и жили.

Алеша и Шуберт сблизились больше других и не ссорились вовсе. Рассудительный, умный и широко образованный Шуберт Ильину импонировал, и Алеша внимательно слушал рассказы о Ломоносове и Сумарокове, Тредиаковском и Кантемире, а иногда и о ветряной оспе.

Теперь ежедневно водили на двадцать минут на прогулку. Гуляли в тюремном дворе, у заднего фасада тюрьмы. Отсюда, с южной стороны, над стеной, хорошо видны были верхушки деревьев прилегающего к ней горсада, откуда с танцевальной площадки вечерами слышалась музыка. Узники, с заложенными за спину руками, медленно брели на прогулке вдоль длинной эллипсовидной тропинки, то приближаясь к тюремной стене, то проходя мимо самого корпуса. И однажды в открытой форточке полуподвального, забранного решеткой окна Алеша увидел голову приговоренного к смерти Виктора Ящелдта, с которым успел познакомиться еще до суда в общей камере. Лицо Виктора вздулось как шар, слюнные железы вспухли, в глазах – проступал нескрываемый ужас.

– Нас здесь двое, – вымолвил он. – Нам – расстрел!.. Кинь папироску!..

Ильин ужаснулся, но ничего не сказал. Ему очень хотелось выполнить просьбу, но, как назло, не было с собой ни папирос, ни махорки. И остановиться он тоже не мог: издали наблюдал конвоир. И хотя солнце светило ему прямо в глаза, а окна тюрьмы находились на теневой стороне, любая задержка гуляющей группы была бы замечена сразу. Только на втором круге дрожавший как в лихорадке Алеша сладил с собой и, медленно двигаясь мимо окна, прошептал, – но так, чтобы Виктор услышал, – что не надо отчаиваться раньше, чем нужно, и что приговор трибунала могут легко отменить.

Много раз, и в этот, и во все последующие дни, проходил Алеша во время прогулок мимо окошка камеры смертников, и каждый раз ему удавалось перекинуться с ними несколькими словами. Однажды, улучив мгновение, он метнул к ним кисет с табаком и курительной книжкой. И – попал! И не попался! Маленькая удача обрадовала его, но, как и всегда, он вернулся с прогулки взвинченный и потрясенный. Виктор всегда начинал разговор порядковой цифрой:

– День сто второй!.. День сто пятый!.. Сто тридцать четвертый!..

Теперь он уже выглядел прежним, самоуверенным Ящелдтом. Опухоль спала. Окно его камеры находилось под потолком. Виктор взбирался на плечи соседа по камере, доставал до решетки и, подтягиваясь на руках, закреплялся на сильно покатом, уходящем вниз подоконнике. Так он сидел и, пользуясь тем, что во время прогулок дежурным по коридору некогда было часто заглядывать в камеры, разговаривал с проходящими мимо. Надзирателей он не боялся: «А что он мне сделает?! Ко второму расстрелу приговорит?!.»

Теперь Ящелдт иногда даже пошучивал:

– День сто тридцать девятый настал!.. На волах едем к смерти... Но ведь когда-то приедем! Или нет?!.

Счет оборвался на сто сорок третьем числе. В этот день никто не глядел из окна и не отзывался на зов. Так же было назавтра и во все последующие дни. Виктора, видимо, все-таки «шлепнули», ибо никто его после уже не видел и ничего о нем не слышал.

Исчезновение Ящелдта привело Алешу и его соседей по камере в минорное настроение. Несколько дней они переживали это событие. Всем откровенно хотелось поверить, что смертников не расстреляли, что не сегодня – так завтра прибудет какая-нибудь весточка, какой-нибудь знак или надпись – вероятнее всего, на дворе, на тропинке. Алеша теперь на прогулке глазами обшаривал землю, стремясь усмотреть что-нибудь необычное. Много раз ходил он так – руки назад! – изучая каждую точку двора. И однажды ему повезло; он нашел малюсенький шарик из папиросной бумаги, сумел наклониться и взять, пронес его в камеру и развернул, а там оказался написан микроскопически мелкими буквами – обрывок стихотворения. Неизвестный тюремный поэт, словно Алешин двойник, отразил его личные мысли и удивительно точно описал обстановку их жизни.

Жизнь прекрасна всегда!
и когда
из окна
смотрит смертник, распухший от муки,
тихо шепчет:
«Расстрел!.. мне – расстрел!»,
то тогда
протянуть к нему хочется руки.

Протянуть, закричать: «Не идет время вспять,
не вернутся ужасные годы.

верь, надейся, терпи,
ведь весна впереди,
и растают как лед все невзгоды!»

И кипит в душе ад,
но внимательный взгляд
конвоира меня охлаждает,
и я тихо иду
и шепчу на ходу,
Что расстрелы легко отменяют.

Я смотрю. Он прижался к решетке, к окну,
вижу, палец приставил к виску,
а глаза отражают лишь мысль одну –
ужас смерти, и боль, и тоску.

Над стенами тюрьмы
мне деревья видны,
слышен шум – это сад городской.
Вечер весь напролет
Веселится народ,
И оркестр гремит духовой.

Что до мук,
когда звук
этой музыки злой
наполняет и сердце и уши,
когда там за стеной,
совсем рядом с тюрьмой,
люди танго танцуют бездушно.

Всюду жизнь! Жизнь идет за решеткой тюрьмы,
в тесной камере, душной, сырой,
в лагерях Заполярья,
в тайге Колымы,
и в суровых этапах зимой.
Тяжела, беспроглядна, противна она
и страшнее кошмарного сна,
но мечтает о ней
смертник в думе своей,
потому что расстрел все равно тяжелей...

Алеша прочел стихотворение и раз, и два, и три. И вдруг ему показалось, что его любимый поэт был неправ, написав о Кочубее:

...Без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? Желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый...

Алеша вспомнил о собственной попытке покончить самоубийством.

– Да, можно заставить себя умереть. Иногда это бывает необходимо. Но не жалеть о жизни нельзя! Чтобы считать смерть желанным сном, надо или очень сильно верить в загробную жизнь, или иметь ненормальную психику. Что вы

думаете об этом, Василий Федорович? А вы, Соломон Борисович?.. Вы, Василий Александрович?

– Как сказать?!. – раздумчиво произносит Шуберт. – Как сказать?!.

Черняк сразу отвергает всякую мысль о возможности какого бы то ни было компромисса со смертью.

– Нет, нет, никогда!.. Жить в любой обстановке, при любых условиях, ведь человек не знает, что будет с ним завтра!.. А может быть, все переменится?!. Борух дайон эмес!.. Благословен творящий справедливость! Это слова еврейского отклика на сообщение о смерти кого-либо... Борух дайон эмес, но я хочу жить!.. И никаких таких снов мне не надо...

– Так что же? Жить любой ценой? Даже ценой подлости и предательства?! – робко спрашивает Масин.

– Нет, не любой! – с этим согласны все. – Вы правы, Алеша! Надо, если нужно, и умереть, но, умирая, жалеть о жизни!

И опять обитатели камеры не могут заснуть до утра. Ночью Алеша, выучив предварительно найденные стихи наизусть, топит маленький скомканный шарик бумаги в параше: «Зачем рисковать?!. Жизнь – это жизнь!.. И лучше проводить ее, если уж приходится сидеть в тюрьме, в относительно теплой камере, чем в замороженном карцере, где запросто можно погибнуть ни за понюх табаку».

IX

Тридцать девятый год продолжался. Алешу часто возили на допросы. Обращались вежливо, но дело не прекращали и все пытались установить какую-то связь между ним и Петуховым. Ильин недоумевал и бесился, в несчетный раз приучая себя к выдержке и самообладанию.

В июне, после почти трехнедельного перерыва в допросах, в камере появился начальник «особого корпуса».

– Кто тут Ильин?

– Я Ильин.

– Имя, отчество?.. Так!.. Распишитесь!..

Алеша взял бумажку, прочел:

«УНКВД по Орловской области сообщает, что содержащийся в Вашей тюрьме гр-н Ильин Алексей Андреевич, 1917 г.р., перечисляется с с.ч. за военным прокурором Орловского военного округа...»

Прокурор дело не задержал. Прошло дней пять, и Алексей получил извещение, что он уже числится за военным трибуналом. А спустя неделю дело вернулось назад к прокурору. И пошла чехарда. Военный прокурор возвращает дело в НКВД. НКВД через несколько дней шлет его снова военному прокурору. Тот – военному трибуналу. Трибунал дело не принимает и вторично гонит назад. А Ильин все расписывается и расписывается в том, что он «перечислен». После двух полных туров туда и обратно наступает затишье.

И снова – нежданно: дело, на этот раз через облпрокурора по спецделам, направляется в Спецколлегию областного суда.

В десятый раз расписывается Алеша на извещении. И тайно ликует: «Раз дело пошло в Спецколлегию, значит – снят восьмой пункт, снят террор! Дело рассыпалось, военная линия рухнула. Что же в нем осталось?!. Какая-нибудь ерунда? Ладно, посмотрим!»

Ильину очень хочется что-нибудь предпринять. Но – что?!. Написать заявление Прокурору СССР?.. А стоит ли?!. Не испортишь ли улучшение?!. Он колеблется и не может решиться. Он не знает, как ему быть, и – бездействует.

А дни постепенно проходят. В начале июля пошел в трибунал Василий Александрович Масин. Виновным себя не признал, но пятнадцать лет все же

огреб. Всех однодельцев его оправдали и прямо с суда отпустили домой. Это тоже явление новое: прямо с суда! Раньше таких возвращали в тюремную камеру и выпускали лишь через несколько дней, после того, как в тюрьму присылали копию приговора. Теперь же… смотрите!..

Что ж!.. Однодельцы у Масина и помоложе, и посмелее. Они сумели отбиться, вскрыть подноготную вырванных силой фальшивых признаний. Масин же – старичок, «одуванчик»! – не смог ничего доказать. Растерялся и обомлел, как кролик перед удавом. Первый раз в жизни в суде, УПК ему неизвестен, опыта нет никакого, где что нужно сказать, о чем и когда попросить, он не знает, патологически робок, а суд по-прежнему идет по упрощенной форме: без обвинения и без защиты. Попросил дать бумагу и карандаш – отказали: записывать не позволяют. А он никак не упомнит все обстоятельства дела, это совсем позабыл, а про это не вспомнил. Так и пошло. Огласили его показания на предварительном следствии… Масин совсем оробел, очень тихо промямлил: «Это было не так. Я подписался из страха… по принуждению!»

– Кто вас к чему принуждал?! – резко спросил председатель. – Вас – вы сказали – не били!..

Недоверчивый тон испугал еще больше. Масин совсем стушевался, стоял и чуть слышно бубнил:

– Да нет же!.. Зачем же?!. Да как же?!

Ему и вкатили.

Приговор подействовал на камеру удручающе, появились сомнения: «А не пошла ли машина обратно?.. А вдруг перемены – простая случайность?!. Может быть, «мальчика не было?!»

Нет, кажется, все-таки был. Вот на днях, например:

– Давай, выходи на прогулку!.. Руки назад!..

– Руки назад?!. Не хочу!.. Довольно глумиться над нами!.. Я в таком виде гулять не пойду!.. Издеваетесь только!.. – внезапно, и неожиданно для себя самого, взорвался Ильин.

И не пошел, удивляясь своей же решимости.

Конвоир тут же вызвал начальника корпуса. Тот доложил о происшедшем ЧП по команде.

Новый, недавно назначенный, видимо – умный, а может быть, даже и человечный начальник тюрьмы – до него же был тупак и зверюга! – быстро прибыл на место события. Он вошел в камеру, велел оставить себя с заключенными с глазу на глаз, назвал свою должность, фамилию – Ратников – и спокойно спросил:

– Ну!.. Чем недовольны?

Люди молчали.

– Что же вы не отвечаете?.. Я же к вам обращаюсь!.. Кто и против чего возражает?.. О чем идет речь?..

Черняк что-то сказал по-еврейски и подтолкнул Ильина. И Алеша вышел вперед.

– Я, – трясясь от волнения, вымолвил он. – Я возражаю… Какая же это прогулка, если – руки назад?.. И зачем?!. Чтобы унизить?!. Или боитесь побега?!. Двор-то тюрьмы – за высокими стенами… оттуда бежать – невозможно!..

Ратников молча смотрел на Алешу. Подумал, чуть заметно плечами пожал и – согласился:

– Ладно!.. Я прикажу… На дворе, на прогулке, будет у вас положение «вольно», но зато до двора и обратно придется конвойный устав соблюдать!.. Сие от меня не зависит!.. Поймите!..

– Хорошо! Мы согласны! – ответил Ильин. – «Еще бы не согласиться! Начальник тюрьмы говорил по-хорошему, доброжелательно, что еще нужно тюремному жителю?!.»

– Что вы скажете? Правильно я поступил или нет? – вопрошает Алеша, как только Ратников вышел.

Черняк и Шуберт разводят руками. Молчат. Но Масин, кивнув головой, подтверждает:

– Конечно, конечно! Об этом и спрашивать нечего!

Алеша глядит на него с благодарностью. Василий Александрович теперь уже может ободрить другого. А в какой глубочайшей депрессии он пребывал, возвратившись с суда! Но прошло всего несколько дней, и он оклемался и ожил. В поте лица потрудился, пока сочинил – с помощью Шуберта и Ильина – надзорную жалобу Прокурору СССР и, получив от тюремных властей сообщение, что ее «направили по назначению», принялся вспоминать и рассказывать, как и что с ним случилось.

Оказалось, что перед судом он часа полтора или два провел с однодельцами, а они получали свидания и многое знали. От них-то Масин узнал, что Вышинского – сняли. Правда, с большим повышением. Теперь он – зампредсовнаркома СССР. А генпрокурором назначен Панкратьев, тезка Калинина. И все полагают, что именно он изменил положение. При нем будто бы стали суды разбираться в делах и вникать в существо обвинений, при нем – тоже будто бы – обрели реальность и смысл прокурорский надзор и протесты. К нему обратились с надеждой и верой жаркие мысли мечтателей. Произвол, как казалось всем, кончился. Люди вздохнули смелей и свободней.

И обстановка в тюрьме пока подтверждала сообщения с воли. Теперь все дела направлялись в суды. Про ОСО стало даже не слышно. Наступила – так думали! – «эра законности».

– Что же вы молчали семь дней?! – спросил его Шуберт. – Ведь то, что вы говорите, очень и очень значительно!

Масин растерянно заулыбался.

– Что я молчал?!. Эка важность, что здесь я не сразу сказал! Это еще ничего! А вот – в трибунале... Я ведь поверил, что все беззакония кончились, думал, что больше стараться не надо, что все разъяснилось, а суд – это только для формы... чтобы спасти честь мундира работников НКВД... Они же в громадном почете!.. Ошибся!.. Что делать!..

Он сконфуженно смолк, немного подумал и возбужденно добавил.

– Судьи-то все же – гуманные люди, и обладают практической сметкой. Видят – я уже стар, в лагере быстро погибну. Решили не добивать: дали пятнадцать тюремного... А в тюрьме можно долго прожить. Там же работать не нужно. Шлиссельбуржцы Морозов и Фигнер живут до сих пор!.. Я еще, может быть, тоже успею отбыть, выйду на волю и – поживу!

У Алеши перехватило дыхание. Черняк хотел что-то сказать, но смолчал. Шуберт стал набивать свою трубку.

«Пятнадцать плюс пять по рогам, а ему под семьдесят!.. Что ж!.. Дожидайся!.. Отбудешь!..»

Назавтра Масин вспомнил еще кое-что и рассказал об Испании – там в январе победили франкисты, в марте Германия слопала Чехословакию, в мае она заключила военный союз с Муссолини, а Япония вторглась в союзную с нами Монголию в районе реки Халхин-Гол. Были кровопролитные бои.

Каждый день Масин еще что-нибудь дополнительно вспоминал. Но его скоро взяли из камеры. Куда – неизвестно. След его затерялся в пучине тюрем и лет.

Потом вызвали в суд Черняка. У этого все проходило, как полагалось по форме: областной прокурор – Спецколлегия. За несколько дней до суда –

обвинительное заключение. Его изучали сообща; толковали отдельные пункты; предполагали, что спросят; думали, как отвечать. Черняк пошел в суд подготовленным и обещал не теряться.

Чтобы узнать, что с ним станет, увязали заранее все его вещи. Если – упаси Бог! – вернется, то распакует: дело нехитрое. Если же будет оправдан, назавтра за ними придут. Ему вышлют готовый чувал, но положить полотенце «забудут». Если его не потребует, значит, вышел на волю, а попросит прислать – понимайте, что он осужден, но его поместили в какую-то другую камеру. Предусмотрели решительно все!

Вышло, однако, иначе. Подсудимого вызвали сразу «с вещами», и он ушел с полотенцем. В камере с горестью думали, что теперь уж о нем ничего не узнаешь, но через несколько дней принесли передачу Алеше, а в ней оказалось знакомое всем полотенце с зеленой полоской. Черняк прислал весточку с воли. Он – на свободе!..

Алеша тихонько воскликнул: «Ура!» Шуберт сразу же начал раскуривать трубку.

Камеру вскоре пополнили. Привели Константинова, того самого Мака, что когда-то сидел вместе с Рисом. Алеша встретил его как родного. За ним появился Илья Николаевич Пачин – директор Брянского дома культуры. Молодой еще человек, симпатяга, весьма компанейский, веселый, с коричневатой бородкой, пересыпающий речь приговоркой «тем паче».

– Я унаследовал эти слова от отца и от деда. Оба работали в Бежице, на паровозоремонтном, повторяли: «тем паче». И фамилия наша отсюда пошла.

Он развязал свой мешок, разобрал барахлишко, вынул тряпочку с сахаром и поделился со всеми.

– Ешьте, пожалуйста, ешьте! Хоть разочек внакладку попейте!

И рассказал о жене, которую очень любил, и о маленькой дочке, о том, как забавно она говорит вместо хочется – «кочется», а однажды спросила: «Пап! Почему говорят – бок с тобой?» и при этом потрогала бок.

Михаил Александрович тотчас же вспомнил о доме. У него на свободе тоже остались школьница-дочь и жена. Он говорил о них горестным тоном, в его голосе явственно слышались слезы.

Алеша внимательно слушал обоих и сразу заметил разницу в чувствах того и другого. Тяжело переживая отрыв от семьи, Пачин все же значительно чаще вспоминал о жене как о женщине. Константинов же, может быть, потому, что был старше, страдал от разлуки с обеими равно, не отделяя жены от ребенка. Для него они были частями единого целого.

И Ильин тоже вспомнил о доме, о маме, о братьях и сестрах, и о Марусе, и об отце. Вообще-то он вспоминал о них часто, но без тоски и отчаяния. Ушедшее время сгладило горе и притупило его ощущения. Теперь же он вновь взволновался, и горечь утраты из тайного-тайных рванулась наружу. Ему стало тяжко, как в первые дни, и вновь неожиданно остро почувствовал он необмерность постигшей его катастрофы.

А Пачин все говорил о жене, о том, как он с ней познакомился, как ходил к ней домой, а она из кокетства его не пускала, и как горячи были ее поцелуи потом.

И мысли Алеши невольно несутся к Марусе. Его обжигают догадки и образы прошлого.

– А если бы я был тогда понастойчивей?!. Маруся впустила бы, и... И я не поехал бы в Тулу, не встретил бы в поезде эту подлюку Рябинину. И никто бы меня не сажал, никто бы не мучил, не пришивал бы мне дел и – камерной агитации...

Он вспоминает всю шайку мерзавцев, покорно играющих роль лжесвидетелей. «Главный из них Краснощеков, этот архиподлец! Впрочем, другие не слаще:

Головин и Миронов тоже продажные твари. Куницын же – мямля и трус. В общем, все они подлецы, паразиты. Их надо давить, как клопов или вшей. Они провоцируют и предают добровольно, в надежде на снисхождение. А их все равно облапошат. Возьмут все, что можно от них получить, а потом – на помойку!.. Ну и пусть!.. Туда им и дорога!»

И снова тягостно тянется время. Грусть и тоска! Сенсации кончились. Все вошло в норму. День уходит за днем, за неделей – неделя. И только Илья Николаевич Пачин разнообразит порой их тоскливую жизнь. Вот подошел он к параше, снял крышку, сосредоточился, замер. Тщательно прицеливаясь, он пытается попасть плевком в струю. Это ему удается, и он радостно восклицает:

– Есть! Опять получилось!.. Не могу я только понять, почему никаких отклонений... ни в плевке, ни в струе... Ведь если верить Краевичу, здесь должно получиться сложение сил... Объясните-ка мне кто-нибудь, как это так происходит!

Не дожидаясь ответа, он увлекается видом двух сцепившихся мух. И наблюдает за ними с пристрастием.

– Смотри-ка, смотри! Мухач муху прижал, пошалил с ней маленько и – улетел! Ах, негодник!.. А она не смущается, лапками крылышки чистит и – задом юлит... Ей тем паче приятно... Счастливцы!..

Он садится на койку и начинает рассказывать:

– Мы с женой однажды поехали за город. В лес... Там – никого!.. Мы залезли в кустарник, легли, ну и – сам понимаешь!.. До чего же приятно!.. Даже заснули в обнимку... А потом – натурально – к реке... освежиться!.. Нырнули, поплавали... Оглянулись – кругом ни души!.. Ну, и – опять!.. Я думал сначала: в воде, тем паче в холодной, не выйдет... Ан все получилось!.. Вот!.. Эх бы – сейчас!..

– Не дразните людей, Илья Николаевич! – вдруг откликается Шуберт, как правило, неразговорчивый. – Что у вас за манера такая!.. В доме повешенного о веревке не говорят... а вы все напоминаете, напоминаете...

– Так ведь я о себе говорю! Что я могу вам напомнить?!. Вы понимаете, как это было?.. В воде!..

– Чего ж не понять?! Все очень ясно. И вы ошибаетесь, думая, что такое случалось лишь с вами одним... Вот, я вспоминаю начало войны. Четверть века назад!.. Уезжал я на фронт. Заехал проститься к знакомым. В имение. И пошел с одной дамой гулять... Парк у них был огромный... С прудами... Сели на бережку. Отдохнуть... Я ее обнял, она с явным желанием сразу прильнула ко мне. И – отдалась!.. Ну, зачем же снимать!.. Дамы в те времена носили такие кальсоны... кружевные и очень широкие. Для нашего брата удобные!.. Забавлялись мы, забавлялись самозабвенно, и незаметно сползли прямо в воду... Промокли, конечно, но наших утех не прервали... Разумеется, там было мелко... А вы говорите – в воде!

– Будет вам! Пошляки!.. – возмущается Константинов. – Что вы все об одном!.. О б...х да о пряниках!.. Просто противно!..

– А о чем же еще толковать, Михаил Александрович?! – улыбается Шуберт. – Только об этом!.. Самый такой разговор для тюрьмы. Я минуту назад Илью Николаича сам упрекал. А как вспомнил!.. Одно удовольствие... И с точки зрения разных там агитаций – приемлемо! Это, надо считать, – безопасно! На десятый пункт не потянет!

– Все равно это – пошлость!.. Как вы можете?!. Смеяться над самым святым!.. Неуважение к памяти... – почти кричит Константинов.

– Тише там! Чего раскричались?!. – стучит ключом в дверь надзиратель. – Тише!.. Кому я сказал?!.

Страсти сразу стихают. Воцаряется тишина. Нерушимая, неодолимая. От ее непомерности можно так же зачахнуть, как от безделья и изоляции.

И снова тянется время, снова уходят в ничто дни, недели, месяцы. А люди сидят и сидят, и ждут неизвестно чего.

Начинается август, и неизвестность взрывается. Алеше приносят – перечисление! Спецколлегия дело не приняла. И оно вернулось в НКВД. Значит – опять переследствие! Значит – снова допросы, снова волынка, снова поездки в душных кабинках черного ворона, а там, в кабинетах, переливание из пустого в порожнее!

– Берут на измор! – негодует Алеша. – Ну ничего, не возьмут! Я за эти два года кое-чему научился. Меня на кривой не объедешь! Пусть не торопятся, мне тоже спешить теперь некуда!

– А знаете что, Алексей свет Андреевич? – иронизирует Шуберт. – Не кручиньтесь, не надо! Все-таки ездить куда веселее, чем шебаршиться безвыходно в камере. Глядь-поглядь, что-нибудь да узнаете! Сами узнаете, с нами поделитесь. Я бы тоже хотел...

– Наплевать! – говорит Алексей. – Теперь-то я выдержу! А знаете что?!. Спецколлегия дело вернула! Это значит – она не нашла оснований!.. Для первого раза недурно!

X

Только к концу декабря закончилось новое следствие. Его начинали с азов. «Как, когда и зачем, с какой целью посетили вы, Алексей Андреевич, Тулу?.. С кем познакомились в поезде?.. Что говорили?.. А зачем после этого ездили в Орел?.. Почему в литкружке поносили товарища Сталина?.. Ну, как это не поносили?! Есть же свидетели! Напрасно вы отрицаете факты! Нам же известно, что ваш литкружок – это только надуманный повод: ездили вы – к Петухову!.. Да! Да! К Петухову!.. Признайтесь!.. У вас с Петуховым – единые взгляды, единые действия. Перед Военной Коллегией вы слукавили и отказались, вы ее обманули... Но ведь – факты, свидетели!.. Запираться-то ведь бесполезно, вас обложили как волка, у нас есть улики!.. А агитация в камере?!. От нее никуда не уйдете! Она доказала без всяких сомнений, что все, в чем вас обвиняют, – стопроцентная, чистая правда. Нет! Вы теперь не отвертитесь! Подпишите-ка лучше признание!.. Вы клеветали на следствие! Месропян утверждает, что он вас и пальцем не трогал...»

Месропян тут как тут. Он – свидетель! Пытается лгать и нецензурно ругает Алешу. И нерешительный тихий Алеша, вспомнив былое, вдруг свирепеет.

– Сам провокатор и б...! – кричит он, не помня себя. – Негодяй!.. Продажная шкура!..

Месропян убегает. Через две-три минуты вместо него появляется взбешенный «сам» – начальник УНКВД.

– В карцер, в карцер его! – орет он с порога. – Двадцать суток!.. Пишите мне рапорт!.. Немедленно!..

Ничего не спросив и не выслушав то, что Алеша пытался сказать, он быстро уходит, а Ильина через час увозят обратно в тюрьму и водворяют в холодную круглую башню. Там он проводит без сна, на ногах, – пол промороженный, ляжешь – не встанешь, а кроме параши и этого пола нет ничего, – десять суток. Начальник, вероятно, одумался: дал не двадцать, а десять!

Ильин вернулся из карцера злой и голодный, но поведение не изменил. Наоборот, стал еще несговорчивей, заставлял протоколы допросов писать под диктовку, и новый, неопытный следователь Михаил Федосеевич Пенкин от него иногда чуть не плакал.

На этот раз дело дошло до суда. Ильина опять «перечислили», а еще через месяц суд под расписку вручил ему копию обвинительного заключения. Оно было составлено заново. Его утвердил областной прокурор.

Ильина обвиняли в групповой агитации (пятьдесят восьмая статья, пункты десять, одиннадцать Уголовного кодекса РСФСР). Он-де, войдя в соглашение с осужденным уже Петуховым, вел антисоветскую пропаганду в литературном кружке, где, порицая стихи, посвященные Сталину, допустил откровенные выпады против него самого, а затем – продолжал свои вредные действия в камере сорок шестой. Виновным себя не признал, но – уличается... а посему – подлежит...

Дней через двадцать – суд, видимо, не торопился! – Алешу постригли, побрили, велели получше умыться и в одиночной кабине черного ворона повезли в Спецколлегию. Там его посадили в отдельную комнатку, и к нему почти сразу вошел молодой человек в новеньком черном костюме, подкрахмаленной белой сорочке, с черным же галстуком бабочкой.

– Андрей Алексеевич, здравствуйте! Разрешите представиться! Я – Огурцов Владимир Васильевич... Ваш защитник по данному делу.

– Защитник?! Это еще что за новость?!. Откуда?.. Кто вас прислал?

– Я, видите ли, по назначению!.. Вы же еще до сих пор не пригласили себе адвоката...

Огурцов произнес «адвоката» с особенным вкусом. И это слово, как и всякий другой Октябрем уничтоженный термин, прозвучало анахронизмом. Алеша не знал, что полгода назад в СССР вновь учредили адвокатуру. Поэтому он удивлялся и глядел с недоверием на Огурцова.

– А разве вы сможете участвовать в деле? Ведь вы же со мной незнакомы. Мы с вами ни разу не виделись, ничего не решили.

– Ничего и не надо решать!.. Я дело смотрел. Мне все ясно.

– Зато мне неясно!.. Ну, ладно!.. Так как же вы будете строить защиту?

– Разве сейчас это можно предвидеть?! Посмотрим по ходу процесса... Я вам прямо скажу, Андрей Алексеевич, – не хочу вас дезориентировать! – положение ваше серьезное! Обвинения очень тяжелые! Но я надеюсь на суд. Он учтет ваши юные годы и пролетарское происхождение... Было бы очень неплохо – как говорят – повиниться. Повинную голову меч не сечет! Чистосердечно признайтесь во всем и попросите прощения. Это всегда производит на суд благоприятное действие. Надо только ему показать, что вы, в самом деле, раскаялись, что вы сожалеете о...

– Да вы сами-то слышите, что говорите?! – перебил побледневший от гнева Алеша. – Что вы мне предлагаете?!. Вы явно не знаете дела! Я ни в чем не повинен и хочу, чтобы меня оправдали... Кроме того, я не Андрей Алексеевич, я – Алексей Андреевич!.. Нет, такой адвокат мне не нужен!.. Я откажусь от защиты и буду себя защищать лично сам.

Огурцов растерялся.

– Ну, зачем же вы так?!. Вам же будет труднее... Я буду вам помогать...

– Спасибо! Не нужно!..

Алеша вспомнил рассказ Константинова о некоем деле. Все шло на суде к оправданию. Прокурор не сумел доказать объективной, конкретной вины и цеплялся за аналогии, убеждал в максимальной вероятности, а защитник вдруг заявил:

– Да, товарищи судьи, подзащитный мой виноват, но прошу не судить его строго, так как действовал он, не желая вредить. Я прошу вас учесть его личность! Ведь он – выдвиженец, рабочий! Окажите ему снисхождение! Он еще может исправиться.

И суд – осудил невиновного.

Ильин заявил об отказе от адвоката. Суд отказ принял, выполнил все, что положено по УПК, и приступил к рассмотрению дела, и тут получился конфуз. Свидетели начали путаться. Никто не мог вспомнить, что же такое Ильин говорил на совместном собрании двух литкружков.

– Скажите, свидетель, что говорил он о Сталине?

– Что говорил?.. Он назвал его… кажется… квазивождем, – отвечает свидетель.

– Что значит – «кажется»? Так не годится! Окажите точнее! Без «кажется»!

– Я… точнее… не помню…

– Нет!.. Он о Сталине прямо-то не говорил. Он сказал: «Это – квазистихи!» – утверждает другой, – но было понятно, что он говорит о – вожде.

– Почему же?

– А так!.. – В зале сразу затихло. – Я, например, понял так.

– Разрешите вопрос! – поднимает руку Ильин. – Свидетель, а вы не могли ошибиться? Ведь понимание – вещь субъективная! Оно может не соответствовать истине?

– Может, конечно!.. Я не ручаюсь!.. Я понял именно так, но… может случиться, что понял неправильно. Вы ж говорили туманно. Один бог разберет, что вы хотели сказать.

– При чем тут то, что я хотел?! Это – домыслы! А суду нужны факты!.. Что я конкретно сказал?.. Какие слова?

– Кто вас там знает – какие слова!.. Я не записывал…

Дело не вяжется. Судьи шепчутся между собой. Затем председатель встает:

– Суд удаляется на совещание.

И через десять минут: «Согласно статьям 302-й и 398-й УПК, дело – направить на переследствие».

И Ильина возвращают в тюрьму.

Он долго ждет, пока приедет машина, сидит в небольшой арестантской один и мысленно рассуждает:

– «В чем же все-таки дело? Ведь судьям «ясно-понятно», что обвинения не подтверждаются. Они обязаны были меня оправдать, но… не рискнули!.. Испугались чего-то!.. Неужели лишь потому, что инерция страха ежовско-вышинских времен тяготеет над ними?!. Ну, а что же еще?!. Они, наверное, думают так: «Поди оправдай!.. А потом сядешь сам!.. За тебя-то никто не заступится!.. Почему мы должны отдуваться за всех, мы что – рыжие, что ли?» Их, впрочем, можно понять: Военная Коллегия Верховного Суда СССР сочла обвинения неправдоподобными, но оправдать не решилась; направила дело на переследствие… Трибунал от меня открестился, не принял… А им, областным, как теперь поступать?!. Они полагают, вероятно, что органы госбезопасности сами должны прекратить производство. В стадии следствия! А те не желают! «Значит, – думают судьи, – за обвиняемым что-то такое да есть». Вот они и волынят, чтобы им ясно сказали, за что меня надо прищучить. Гадать-то они не хотят, а осуждать просто так, без причин, им, надо думать, теперь не позволено. Им нужны – основания!..»

Наконец, спецмашина пришла. Конвоир посадил Алексея в одну из кабинок и надолго ушел за другим арестантом. Пока он вернулся, между кабинками шел разговор, интенсивный и обстоятельный. И Алеша узнал про такое, что невольно схватился за волосы – пощупать, не встали ли дыбом. Он даже решил никому об этом не рассказывать.

– Сызнова на переследствие! – только это сообщает он камере. – Не знаю, когда это кончится!.. Надоело до чертиков!.. А что, мне пожрать не оставили?

– Почему не оставили?!. Все как положено! Я даже обед твой подушкой накрыл, думал, под ней не остынет!.. – говорит Илья Пачин, подавая Алеше две миски. – Ешь!.. Тут баланда с капустой и каша-шрапнель, все как обычно. Ты, значит, лопай, а между глотками рассказывай!.. Как там?.. Что говорят?.. Ничего не слыхал?..

И Алеша не выдерживает и проговаривается:

– Слыхать-то я кое-что слышал... Краем уха, конечно... Мне в машине сквозь стенку шепнули... Однако столь невозможное!.. Бред какой-то!.. Может быть – провокация!.. Не хочу даже вспоминать, не то что рассказывать!..

– Как это так – не хочу?!. Что бы там ни было, ты все равно расскажи!.. Тем паче, мы люди взрослые: как-нибудь разберемся!

– Разберетесь вы! Непременно!.. Ладно, подумаем!.. Дай сначала поесть!..

Съев совершенно холодный обед, Алеша ложится на койку.

– Не говори ничего! – обращаясь к самому себе, думает он. – Пожалей свою голову! Мало тебе одного обвинения в камерной агитации?! Хочешь еще заработать статью?!. Заработаешь!..

Он молчит, но в него упираются три пары ждущих и умоляющих глаз. Они буравят его, доходят до мозга костей, и Алеша – колеблется:

– Какие у меня причины не доверять этим людям?!. Они не похожи на – тех! Мы вместе сидим так давно... Я их успел изучить досконально... Они не наседки – я в этом уверен... У меня развилась подозрительность, ее надо перебороть!

Он долго не может осмелиться, но, наконец, решимость приходит. Алеша встает и садится.

– Хорошо!.. Так и быть!.. Расскажу!.. Но только предупреждаю: за достоверность я не ручаюсь. Очень возможно, что это – брехня!

И Алеша сообщает о том, что услышал: «Польша не существует! Ее поделили между собой СССР и Германия... К нам от нее отошли Западная Украина и Западная Белоруссия... Началось это так: сначала СССР и Германия заключили между собой – где-то в августе прошлого года – договор о ненападении. Затем в Польшу с запада вторглась германская армия, а две с половиной недели спустя с востока ударили мы... В ответ на вторжение в Польшу Англия с Францией объявили германцам войну, а в конце сентября СССР заключил с фашистской Германией договор... о дружбе и общей границе! В Москву приезжал Риббентроп, его принимали Сталин и Молотов... Фотография фон Риббентропа, на которой он снят рядом с Сталиным, была напечатана в «Правде»...

Слушайте дальше... Из лагерей и из тюрем высылают в Германию немцев – и осужденных в Советском Союзе судами за шпионаж, и немцев-политэмигрантов, членов Германской компартии, коим в начале тридцатых годов, после прихода Гитлера к власти, СССР предоставил убежище... Ну, что еще рассказать?! Мы поставляем Германии множество разных товаров, – заключили какое-то соглашение! – а Англию с Францией называем агрессорами. Война между ними и немцами фактически не происходит, но зато мы – Советский Союз! – воюем с Финляндией... по-настоящему!.. Начали будто бы мы, и за это Советский Союз исключили из Лиги Наций!..

Вот что я слышал! Предупреждаю еще раз: с меня за правду не спрашивать... и не трепаться... Слишком уж все – фантастично!..

Шуберт молчит. Константинов опасливо смотрит на дверь. Пачин хмыкает носом и вдруг изрекает:

– Раз это так невероятно, то тем паче может быть правдой. Такое придумать нельзя!..

Все удрученно молчат. И снова медленно тянутся дни и недели. И снова не видно просвета.

Потом к ним приводят еще одного заключенного. Глебов Георгий Петрович – так его зовут – медленно входит с набитым мешком на плече и растерянно смотрит по сторонам. Он в шапке-ушанке, в зимнем пальто, шея укутана теплым кашне. Словно бы окаменев, он долго стоит и молчит, не здороваясь. Ему предлагают садиться, снять вещи, спрашивают, кто он такой, но он продолжает молчать.

– Отстаньте вы от него, наконец! Человек не в себе! – произносит Алеша.

– Тем паче он, наверное, глухонемой, – добавляет Илья.

Но Георгий Петрович все слышит и начинает – рыдать.

– Я думал... на волю... а меня... опять... привели!..

– Что ж теперь делать?!. – за всех отвечает Алеша. – Значит – такая судьба! Все мы такие несчастные... Да вы снимите мешок!.. Раздевайтесь!..

Глебов не отвечает. Он продолжает рыдать, и маленькие прозрачные слезинки скатываются из его невыразительных глаз на небритые, жесткие щеки.

– За что?!. Что я им сделал?!. Всю жизнь испортили!.. Она и так у меня... – одно горе, одно отвращение!.. Будь она проклята!.. – причитает он, всхлипывая.

Алеша вздыхает: жалобы Глебова напомнили ему пушкинские строчки, и он вполголоса декламирует:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю... –

Значит, такая судьба! Все мы такие несчастные! – повторяет он и вновь приглашает Георгия Петровича снять мешок и раздеться.

Глебов долго присматривается к обитателям камеры и, наконец, поверив, что его никто не ограбит, кладет мешок на пол, аккуратно снимает пальто и, сдувая с него пылинки, вешает его на выступающую кверху рукоятку коечного замка.

– Надо быть аккуратным, – все еще всхлипывая, поясняет он свои действия, – иначе не проживешь!

Из последующих разговоров выясняется, что Георгий Петрович, в прошлом завканцелярией райисполкома, сидит третий год, что его обвиняют в терроре, так как он, обсуждая с друзьями плохую работу председателя РИКа, сказал саркастически:

– Бездельник!.. Убить его мало!..

Глебов два раза уже побывал в трибунале, но пока что безрезультатно. И сейчас его дело опять направлено на переследствие.

– Я, конечно, сказал... но какой же это – террор?!. Это ведь так говорится. Это – присловие!..

В камере – хохот.

– Что вы смеетесь, когда надо плакать?!. Ведь это – трагедия!..

Смех становится громче, и надзиратель стучит ключом в дверь.

– Тише, там! Тише! Кому я сказал?!.

На следующий день, утром, когда раздается привычный возглас раздатчика: «Хлеб получайте!», Глебов первым кидается к двери.

– Горбушку! Мне сегодня горбушку! Я из той камеры, там была моя очередь!

Коридорный спокойно кладет на открытую форточку пять паек хлеба. Среди них – ни одного горбыля.

– Это уж сами делите!..

– Мне горбушку, горбушку! Я из той камеры... сегодня была моя очередь!..

– Перестаньте скулить! – обрывает его Константинов. – Видите, нету горбушек!.. Кроме того, здесь своя очередь! Здесь не «та камера»! Вы же, как новоприбывший, в хвост становитесь!.

– Почему это в хвост?!. Незаконно!.. Очередь переходит...

Люди смеются.

– Знаете что? – улыбается Шуберт. – Нас теперь пять человек. Хозяйство стало большим. Нужен завхоз, а то не управимся. Давайте назначим, как было когда-то в монастырях, отца-хлебодара. Пусть получает на всех и раздает по порядку. Он и очередь будет блюсти, и горбушки делить. А то у нас все анархично!.. Кого же назначить?!. Я предлагаю Илью Николаича Пачина. Он человек справедливый...

Еще поясняю: мне лично горбушек не надо, мне с моими зубами они не подходят, а вас всех Илья не обделит... Согласны?

Все соглашаются. Только Георгий Петрович пытается оговорить.

– В принципе не возражаю... Но сегодня была моя очередь... Это надо учесть... завтра горбушку дать мне...

– Не плачь! Не обидим! – говорит Илья Николаевич. – Я смотрю на тебя, удивляюсь: гладкий такой, камнем не расшибешь, а за каждую кроху хватаешься... Изголодался, видать?!. Ладно, ешь на здоровье. Получишь горбушку! И не одну! Я свою тебе тоже отдам. Мы теперь не особо нуждаемся.

И снова тянется время. Люди больше молчат. Говорить решительно не о чем. В камере холодно, сыро, мухи все передохли: зима. Делать нечего. И только порой улыбнется тоскливо Алеша, когда Шуберт, еще не попробовав принесенный обед, шутливо попросит Илью:

– Отец-хлебодар, давай, соли кашу! Она на вид не соленая!

Шуберт, как правило, не ошибался. Соли в тюремной еде чаще всего не хватало.

Монотонность изредка прерывалась получением передач. Они, даже без всяких записок и писем, являлись известием с воли. Список продуктов – и только. Но почерк жены или матери. Значит – жива, значит – здорова, значит – не забывает. А если еще ухитрится она в перечень вставить два-три неположенных слова, напишет, к примеру: «Сыра оляцелует – 200 граммов», или «Зубной порошок митяздоров – 2 коробки», то взволнованный арестант будет считать, что приобщился к свободе.

Теперь передачи шли аккуратно. Их получали Алеша, Пачин и Шуберт. И щедро делились со всеми, особенно с Глебовым. Считали, что он голодает, так как Георгий Петрович вылизывал миски, собирал крошки хлеба, а когда получал свою порцию пищи, неизменно просил у раздатчика:

– Добавь хоть немножко! Ты мне опять не долил!

Раздатчик всегда отвечал:

– У прокурора проси!.. Он – добавит!

Глебов отходил как побитый, а назавтра снова выпрашивал:

– Добавь хоть немножко!.. Ну, что тебе стоит?!.

И вдруг ему принесли передачу. Масло, сало, копченая рыба, сахар, колбасы и целый кошель сухарей. И все в громадном объеме. Георгий Петрович принял продукты, сличил их количество с перечнем, еще раз проверил, пересчитал и только потом расписался, а когда надзиратель ушел, завернул передачу в какую-то марлю, крепко связал и аккуратно запрятал в свой необъятный мешок, предварительно достав из него старый – минимум годовалый! – запас сухарей и соленого сала.

– Надо на всем экономить! – сказал он. – На всем!.. Иначе не проживешь!.. Хотите, я вас угощу? – он поднял кусок пожелтевшего старого сала. – Отрезать бы чем...

Все отказались. Только один Константинов спросил:

– Георгий Петрович! Зачем вам столько припасов? Вы лучше их ешьте теперь. А то на этап попадете, и – амба! Урки все отметут, до последнего грамма.

– Как на этап?!. – вскрикнул Глебов. – За что?!. Что я сделал?!.

– А за что вас держат сейчас?!. Все равно – что-нибудь сочинят и приштопают.

Глебов обнял мешок и заплакал.

XI

Тысяча девятьсот тридцать девятый год прошел для Моргунова как будто неплохо. О расстрелах не объявляли. Кашкетин не возвращался. Через Рудник

прошли осужденные, коим смертную казнь заменили простым заключением. Они пробыли в ОЛПе недолго, но кое-что все же успели порассказать. Александр Сергеевич узнал, как создавалось их дело и как тяжко сидеть «под вышкой». В эти дни услышал он также о Кучине и о других и успел подружиться с Пергаментом. Когда же того, как всегда неожиданно, угнали в Сангородок, Моргунов ощутил пустоту и печаль.

Но – ненадолго: тяжелый труд в шахте и колготные дела бригадира отвлекали от неположенных чувств. Да и некогда было. Несмотря на отсутствие времени, несмотря на усталость, Александр Сергеевич начал упорно учиться. Обнаружив среди книг, что ходили в кругу заключенных, «Разработку месторождений полезных ископаемых» профессора Л.Д. Шевякова, он начал ее изучать – и увлекся.

Книга открыла глаза на сущность горного дела. Она читалась легко и в скором времени стала подспорьем в работе.

Моргунова на шахте ценили. Его люди работали дружно, и ему всегда удавалось выводить им высокий процент выполнения норм, а от процентов шло и питание. Работяги его уважали, руководство считало «способным организатором». Почти все время бригада Александра Сергеевича числилась лучшей на шахте, и это давало ей преимущества в быту. Иногда для нее по отдельным нарядам даже привозили в ларек сахар, махорку и спички; в барак, занимаемый ею, клопоморы ходили в два раза чаще обычного.

Жить было бы можно, но очень терзала плохая кормежка. В этом году в Воркуте еще больше, чем в прошлом, недоставало продуктов. Сильно хромало снабжение: отзывались аресты тридцать седьмого и тридцать восьмого годов, они изъяли работников с опытом и привели этим самым систему поставок в негодность. Повсеместно царил ералаш. Всюду была бестолковщина. Снабжать тоже надо уметь, а те, кто сменял изымаемых, не обладали достаточным опытом и потому не умели крутиться в тяжелых условиях. Немудрено, что они прозевали все сроки, и пароходы ушли из Архангельска много позднее, чем нужно. А природа их дожидаться не стала. Наступила зима, грузы до места дойти не успели и по дороге замерзли на плесах Усы и Печоры. Погибли почти целиком и картофель, и свежие овощи; рыба, мясо и крупы тоже застряли в пути. Задержалась и техника. Воркута осталась почти что ни с чем и жила очень скудно за счет крайне убогих запасов.

И снова, как в прошлом году, в котлы заключенных пошли, в основном, лишь мука и ее производные: хлеб, затируха, галушки, пирожки без начинки, мучная подболтка. Соленой трески – одного из главнейших продуктов питания в лагере – отпускали на кухню едва ли полнормы, уменьшились также и порции каши. И результаты не задержались. Работяги стали болеть и слабеть. Их донимала цинга и пеллагра. Суррогаты лекарств и еды не могли заменить полноценных продуктов, не оказывал нужного действия и внедряемый сверху «хвойный экстракт» – настой на иголках сосны или ели, завезенных на Воркуту специальным оленьим обозом.

Люди слабели и гибли, но продолжали работать. Их тяжелый, безрадостный труд овеществлялся здесь в тоннах добычи и метрах проходки. Тонны и метры давались недешево. Тела работяг истощались, а мысли скудели. Шахта их поедала. И все же они не сдавались и жили не только проходкой и «добычей». Они размышляли и думали. Их интересы восходили к судьбам страны и планеты. После работы они возвращались в бараки и слушали радио. А оно, затихая в магнитные бури совсем, хрипя и свистя в остальные периоды, все же сообщало о многих событиях в мире. Этот год оказался на них урожайным. Заключенные слушали и – волновались.

Да и как же остаться спокойным, услышав о XVIII съезде, о том, что Жданов и Берия говорили на нем о каких-то тайных врагах, пробравшихся в органы НКВД

(«Может быть, эти враги нас сажали?!»), или о том, что мятежники взяли Мадрид, что Испания стала фашистской? Как же не волноваться, услышав об оккупации немцами Чехословакии, о захвате ими же Мемельской области, о реальной угрозе с их стороны «польскому коридору», о расторжении ими морского англо-германского пакта, или об их же военном союзе с Италией, вторгшейся сорока пятью днями ранее в соседнюю крошку Албанию?!

Все в Советском Союзе считали германский фашизм потенциальным противником номер один, коварным и злобным врагом; все его опасались, все готовились к битвам и, повторяя слова популярнейшей в то время песни: «Если завтра война...», полагали, что речь в ней идет о Германии, и поэтому неожиданный пакт о ненападении, заключенный с Германией 23 августа 1939 года, произвел на непосвященных зека оглушающее впечатление. Никто из немногих друзей Моргунова его не одобрил, но забыть осторожность, забыть об «очах и ушах государевых» они не посмели. О пакте не говорили, его не обсуждали, о нем только думали, думали молча, и внутренне переживали.

Еще не унялись волнения, еще не остыли разгоряченные страсти, когда новые взрывоподобные факты добавили жару в огонь. Они появлялись стремительно, как метеоры. Ликвидация Польши как государства, война Парижа и Лондона против Берлина, присоединение Советским Союзом западных областей Белоруссии и Украины, договор о дружбе и о границе с Германией, наши поставки фашистам сырья и продовольствия, англо-французский протест против них, наш непонятный ответ, письма Рузвельта, речи Гитлера, доклад Молотова о внешней политике СССР и о новом значении слов «агрессия» и «агрессор», пакты с Литвой, Латвией и Эстонией, война с Финляндией, решение Лиги Наций, «Краткая биография Сталина», его шестидесятилетие, поток поздравлений – на первом месте от Гитлера! – и ответы Сталина – в первую очередь Гитлеру!

Напрягали уши сексоты, во все глаза приглядывались легавые, на вкус и на ощупь пытались ловить стукачи. Но затаился народ. Ни звука! Ни взгляда! Осторожность превыше всего!

Даже в землянке у Гольденберга, куда заглянул Моргунов и где они оставались с глазу на глаз, едва слышно звучали приглушенные их голоса.

– Ну?!. Что ты скажешь?!. – спросил Александр Сергеевич.

– Вероятно, то же, что ты!.. – плечами пожал Гольденберг. Обвел взглядом землянку, вышел за дверь, огляделся, вернулся.

– Нет никого!.. Однако... стоит ли нам обсуждать положение, предаваться мечтам и раздумьям?!. Все равно мы – бессильны... Давай, Александр Сергеевич, лучше молчать!.. Подождем, погодим!.. А там – будет видно... Согласен?!.

– Что ж теперь делать! Придется!.. Но я никак не пойму, что к чему и зачем в этом мире!.. Гитлер и Сталин!.. Совместные действия?!. Как это можно?!.

– Я знаю не больше тебя... Но... мы же условились?!. Давай-ка, чем бедовать, лучше выпьем чайку!.. Настоящего!.. Из столовой вольнонаемных!..

– Нет! Я уж лучше пойду... Чем терять время зря – почитаю.

И ушел, тайно сердясь, но понимая разумность поступков столь осторожного Льва.

А события все нарастали.

Наступил Новый год. Радио передало, в обзоре газет, новогоднее послание Гитлера, оперсводку штаба Ленинградского военного округа и сообщение о том, что 31 декабря тридцать девятого года, в 2 часа 20 минут, сдали в эксплуатацию Большой Ферганский канал имени Сталина. Двести семьдесят километров канала – шириной 25–30 метров и глубиной четыре – строили только 45 дней! На стройке работало сто пятьдесят с лишним тысяч колхозников, жителей Узбекистана.

«Канал останется в веках памятником богатырской силы узбекского народа, ставшего подлинным творцом своей судьбы», – говорилось в корреспонденции.

– Сорок пять дней?!. – поразился Александр Сергеевич. – Такое возможно только у нас!

Он наглядно представил себе огромную массу народа – полтораста тысяч колхозников, расставленных вдоль размеченной ранее трассы, – и быстро в уме подсчитал объемы работ.

– Это выходит... почти что пять кубиков в день в среднем на каждого! Ничего себе норма!.. Нечеловеческий труд!.. Но ведь сделали!.. Сделали!.. – со смешанным чувством ужаса и восхищения думал он, рисуя в воображении картину работ на канале. – Вручную! Лопатами! Тачками! Без бульдозеров, без экскаваторов, лошадьми и верблюдами! Да!.. Такое возможно – только у нас!..

Весть о неслыханной стройке взволновала его. Он хотел было тут же ответить на «вызов» «днем повышенной добычи», но члены бригады не поддержали его.

– Для чего это нужно – рвать животы?! И, кроме того, ты не суйся, раз нет директивы. Еще попадешь в непонятное!.. Там, наверху, лучше знают, как, когда и на что отвечать...

И Моргунов замолчал.

А репродукторы не умолкали. Сообщения с финского фронта перемежались другими. Закончился дрейф ледокола «Седов» – восемьсот двенадцать суток во льдах! Есть от чего взволноваться! Заключили хозяйственный пакт между Германией и СССР. Снова переживания! Трудовая победа в Таджикистане: Большой Ферганский канал продлили от города Канибадама до Ленинабада – за 15 насыщенных доблестью дней полсотни тысяч трудящихся прокопали в зимних тяжелых условиях еще ни много, ни мало, а семьдесят девять километров новой, большой, рукотворной реки! А вот и тревожная весть: Германия отказалась от подписанной ею конвенции о ведении подводной войны. Да к тому же еще изложения – очень подробные! – речей бесноватого фюрера, Гитлера. Не успели продумать, что это значит, как – словно гром среди ясного неба – мирный договор между Финляндской республикой и СССР. К нам отошел ряд территорий и городов. А затем, как одно к одному, германская «Белая книга», Ван Цзин-вей и Япония, немцы вторгаются в Данию, а затем и в Норвегию, и туда же – англо-французский десант. Это начало активной войны.

Первомайский приказ Ворошилова так подводит черту под прошедшим: «Дальновидная и умная политика нашей партии и правительства под руководством товарища Сталина избавила нашу страну от войны на Западе, в которую нас пытались втянуть англо-французские империалисты».

И все газеты вторили: «Хотели втянуть нас! Какие зловредные гады! Слава Сталину: он не позволил!»

Десятого мая война на Западе разгорелась всерьез. Германские части вступили в Голландию, Бельгию и Люксембург. Чемберлен вышел в отставку. Премьером назначен Уинстон Черчилль. Неудачи союзников, их поражение, эвакуация через Ламанш, немцы взяли Дюнкерк и, десятью днями позже, – Париж!

А Красная Армия вступила в пределы Литвы, Эстонии, Латвии.

22 июня. Капитуляция Франции. Новый Компьен! Но с протиивоположным знаком. Там же и в том же вагоне, где была подписана капитуляция Германии в восемнадцатом году, Петэн согласился на все: война прекращается, армия и флот демобилизуются, оккупируются две трети Франции, расходы по оккупации будут нести побежденные...

Значит, конец?!. Но – выступает де Голль: «Французы, ко мне!.. Проиграна битва, но не война... Еще ничего не потеряно... Мы будем сражаться... Да здравствует Франция!»

В мире сумятица, дым коромыслом, положение благоприятствует нам, и мы – предъявляем претензию на Бессарабию и северную часть Буковины. Румыния загнана в угол: сопротивляться она не сумеет, помогать же ей – некому, и она соглашается нам их отдать без войны. Да здравствует Сталин! Наши войска вошли в города Аккерман, Кишинев, Черновицы без всяких боев и без всяких потерь.

Внутри СССР – тоже большие события. Новый Указ вводит в Советском Союзе вместо семичасового рабочего дня и шестидневной недели – восьмичасовой с семидневкой. Расценки и нормы меняются. Людей прикрепляют к работе. Самовольный уход – немыслимый ранее термин! – объявляется преступлением! Прогулы и опоздания – тоже! За них назначается кара! Тюрьма и исправтрудработы!

Прокурором СССР назначен Бочков; Панкратьев – «согласно собственной просьбе» – освобожден.

– Ну, а нам-то до этого что?! – спросил Гольденберг, когда Моргунов рассказал ему последнюю новость. – От лиц ничего не зависит, пусть их меняются сколько угодно.

– Дело не в лицах, а в том, что их смена – знак перемены политики.

– Какая там, к черту, еще перемена?! Как все шло сикось-накось, так и пойдет.

– Не скажи!.. Прошлый год был все-таки лучше тридцать восьмого!..

При этом Александр Сергеевич, по правде говоря, каким-то неведомым нюхом чувствовал, что назревают плохие события, однако прошло еще много недель, а в лагерной жизни все оставалось без изменений.

Зато перемены резко сказались в Орловском централе. Мака и Шуберта стали готовить в ОСО. Признаки этого не подвергались сомнению: срочная 206-я статья, фотография, дактилоскопия. А Алешу снова отправили в суд, в Спецколлегию. Он поехал туда с легким сердцем, действовал очень активно, вгрызался в свидетелей и...

– Оправдать!..

Алеша даже чуть-чуть растерялся. Неужели он не ослышался?! Ему так сильно хотелось на волю! И вот – желанное произошло. Его оправдали!..

Значит, все кончилось?! Тюрьмы, пытки, допросы, одиночки и общие камеры, терзания карцера, грубость и издевательства, попытка покончить с собой, голод и «руки назад!» – неужели все это теперь уже в прошлом?!

«Люди! Известно ли вам, какое великое счастье – вдруг оказаться оправданным?!.»

Но как это тяжко досталось!.. Три года!.. Сколько он вынес, сколько перетерпел!.. И он вспоминает стихотворение, написанное каким-то тюремным поэтом внезапно освободившемуся товарищу:

Свободен ты! Прошли три долгих года
Отчаяния, надежд, душевной пустоты,
И сколько раз во сне желанная свобода
Будила дерзкие и смелые мечты...

Сейчас Алеша выйдет из здания суда, счастливый, оправданный, гордый, свободный, зайдет в «новый старый острог», получит вещи и деньги, и – на вокзал, в Тулу, домой! Какое громадное счастье!

Он хочет выйти из-за барьера, но конвоир не пускает.

– Сядьте на место!.. Нельзя!..

– Но я же – оправдан!..

– Ну и что ж, что оправдан?! Конвой-то не снят!

– Почему?!

Алеша не может понять – почему? Он же помнит, как Ласин рассказывал: трибунал оправдал его однодельцев, и прямо с суда их отпустили домой. А его – почему?!.

– Там узнаете! Приедете в тюрьму – там расскажут!..

Судьи ушли, спрашивать некого. «Странно, черт побери! Очень странно! Ведь я же оправдан!»

Но вот раздается команда: «Руки назад!», и Алешу ведут в «черный ворон». Он садится в кабинку и думает: «Значит, снова по-старому: надо ждать, пока придет приговор!.. Ну, что ж! Ничего! Перетерпим! Теперь уж недолго!»

В тюрьме его принимает дежурный помощник начальника, смотрит бумаги:

– В камеру номер... К оправданным!..

Алешу ведут в конец коридора. Скрежещет замок, открывается дверь.

– Боже! Да здесь минимум сто человек! На голом полу, на асфальте... В чем дело?!.

– Сами не знаем. Нас всех оправдали суды, но теперь уже не выпускают, а приводят обратно и снова сажают сюда.

– На каком основании?

– Больше вы ничего не хотите узнать?.. Не смешите людей!.. О каком основании может быть речь?! Сажают, и все!.. Никакого закона!.. Вы вдумайтесь только в само сочетание слов: камера – оправданных!.. Изящно? Не так ли?! Это неологизм, конечно! Но великий русский язык может выдержать даже такое...

Настроение в камере хмурое. Обычный тюремный режим. Изоляция как у подследственных. Льгот никаких. Ни газет, ни журналов, ни книг. Кормят паршиво. Заявления не принимают. И неизвестность – такая же!

– Что с нами будет?!

Прошло месяца два с половиной, и все стало ясно.

Людей стали вызывать в контору тюрьмы, давали прочесть Постановление Особого Совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР, приказывали расписаться, и переводили их, оправданных судами, но репрессированных ни за что ни про что постановлениями ОСО, в этапную камеру.

Подходит Алешина очередь:

– Распишитесь на обороте!

«... за участие в антисоветской группе заключить в ИТЛ сроком на восемь лет...»

– Позвольте! Какая там «группа»?!. Ведь я же оправдан!

– Да! Вас суд оправдал, но ОСО...

– За что же?!. Без всякой вины?.. Просто так?!.

– Это нам неизвестно... Вы распишитесь, что вам объявили!..

Ильин расписался.

– Будьте вы прокляты!.. Чтоб вам ни дна, ни покрышки!..

– А вы не ругайтесь! Мы тут ни при чем. Нам приказали вам объявить... Мы исполняем...

XII

Перенеся, после объявления ему постановления ОСО, длительное пребывание в пересыльной камере и неправдоподобно тяжелый этап, – сперва в арестантском вагоне, а после пешком, – с суровым орловским конвоем сначала, добродушным московским – затем, и вологодским, остервенелым от злобы, под конец, – Алеша Ильин очутился в начале апреля где-то в районе Мезени, на лагерной стройке большого завода, неизвестно зачем возводимого.

Алеша до места дошел совершенно больным и измотанным и первые несколько дней кантовался в бараке, леча потертости ног и усталое сердце, отвыкшее в годы тюремной неволи от любых физнагрузок. Декаду спустя здоровье его, по диагнозу лагерных медиков, «вошло в хорошую норму», и

Алексея спихнули в бригаду, рубившую двухэтажный бревенчатый дом Управления лагеря; она в основном состояла из плотников.

Рязанские, брянские, вятские и костромские, а также из многих других областей мужички как бы срослись с топорами, которыми делали все. И бревна тесали на брусья, рубя их по нитке и по отбою; и сопряжения ставили – в лапу, в угол, в зуб, сковородником; и сложной формы шипы вырубали; и гнезда под плоский брусочек и ласточкин хвост; и вязали замки, и подгоняли доску к доске, да так, что зазора меж них не увидишь на свет; и кружева вырезали из теса; и могли, при нужде, очинить карандаш или выбриться так же, как бритвой. Топорами же, вместо ломов, крошили, при случае, крепкую почву, драли лыко, вбивали болты или гвозди. Топор в умелых руках – инструмент для всего подходящий, универсальный; его применяют всегда и везде, и плотники ставят его высоко.

Когда культработник из КВЧ прочел им в бригаде «Каштанку», они возмутились. Там, как известно, Лука Александрович собаке сказал, что она – «недоумение»: «Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра», – заявил он Каштанке, идя с ней домой.

– Чего?!. «Супротив столяра»?!.– прервал культработника кто-то из членов бригады. – Пьяная морда! Пса с человеком сравнял!.. Нешто так можно?!. Разве столяр лучше плотника?!. Это еще как сказать!..

Плотники с ним согласились. Свое дело они уважали и об этой профессии были огромного мнения. О «топорной работе» они рассуждали не так, как иные:

– «Топорная» – значит хорошая, точная, а поговорку придумал какой-нибудь токарь. Он в нашей работе не петрит, – считали они.

Алешу зачислили в эту бригаду, и он, так же, как все остальные, начал махать топором. Но хотя он и очень старался, а вырабатывал меньше других: у него не хватало силенок. Поэтому с ним не хотели работать и проклинали его. Ведь зека получали питание по итогам работы бригады за каждую смену, все, что сделали за день всем скопом, переводилось в проценты от нормы и делилось, с учетом только разрядов, поровну всем. Индивидуальных замеров не делали. При этом, если кто вырабатывал меньше других, недоработка его ложилась на каждого члена бригады, как бы прилежно тот ни работал. И Алеша от этих подсчетов морально страдал.

Жил он, однако, так же, как все остальные. Девятисотка и третий с премблюдом котел выпадали нередко. Алеша не голодал, постепенно втянулся в работу, похудел, но окреп, привык к топору, и вместе с другими, когда было нужно, носил на себе по лесам и стремянкам тяжелые бревна – венцы. Биологию он вспоминал как нечто далекое, потустороннее, а Маруся и Пушкин сливались в его представлениях в нечто святое и нежное, несовместимое с лагерным бытом и тяжкой работой: они оставались где-то под спудом, в душе, глубоко-глубоко, и даже не снились во снах.

В лагере следует осторожно сходиться с людьми и с кем-нибудь быть откровенным. Нарвешься еще на сексота, а он любой разговор переврет; ты же иди, объясняйся, волнуйся, может быть – получай дополнительный срок! Всяко бывало: всегда надо быть начеку.

И все-таки люди знакомятся, и привыкают друг к другу, и – наконец – начинают дружить.

Так же случилось с Алешей. Он подружился с Ефимом Израилевичем Уманским – инженером-механиком мехмастерской, переведенным в бригаду строителей за отказ давать показания куму. Уманский работал в бригаде подносчиком леса к пиле, но так как он умел делать все, начальство частенько его призывало к разным домашним работам. Испортилось что-то, к примеру, в швейной машине у жинки начальника ОЛПа, встали стенные часы, мясорубка

сломалась, радио забарахлило, – Уманский, иди, починяй! Он и ходил по квартирам, чинил, и при этом ему иногда удавалось узнать кое-что о том, о чем заключенным не говорили, – и о текущих событиях в мире, и о лагерных новостях. Делился он ими только с друзьями, соблюдая конспирацию. Он почему-то не унывал, надеялся на перемены, считал, что они неизбежно наступят, и страстно мечтал возвратиться домой в Ленинград. Он ежедневно подсчитывал, сколько уже отсидел, и сколько осталось срока.

В противоположность ему, Алексей на жизнь смотрел слишком мрачно и ни на что не рассчитывал. Он не думал о том, что перемены возможны, и не верил, что снова увидит и мать, и отца, и сестренок. Конец его срока маячил где-то вдали, в непроглядном тумане. Ему оставалось больше, чем он отсидел. «Ну, а что будет дальше?!»

Чудо, допустим, свершилось: его отпустили. По амнистии снизили срок или еще как-нибудь. «Что стану я делать на воле?.. Как жить?.. Кому я там – человек без специальности – нужен?! Да еще с судимостью, срок отбывший!»

Перспектива пугала его. Временами казалось, что при его положении, кроме лагеря, некуда будет и деться, и что в лагере, в сущности, тоже жить можно. Пусть работа тяжелая, но... Ни о чем не заботься: ежедневная пайка, и третий котел, и хорошее место на нарах. Все подается готовым. В КВЧ регулярно приходят газеты, радио не умолкает, день проходит за днем, человек ко всему привыкает.

– Незачем думать! Авось как-нибудь проживу! Срок подойдет, а дальше – что Бог даст!

И вдруг разразилась гроза. В барак прибежал, без кровинки в лице, возбужденный Уманский и, забыв осторожность, воскликнул:

– Ребята!.. Война!.. Германия – Киев бомбит!..

Все повскакали и окружили его.

– Ты что, Ефим? Аль рехнулся?! – спросил его старший десятник, Мордовцев, когда-то работавший вместе с Уманским. – Какая такая война?!. Или шутишь?!

– Этим не шутят! – ответил Уманский. – Война настоящая!.. Немцы напали на нас... Я только что слышал английское радио... У начальника ОЛПа вышел из строя приемник... Я его исправлял... Он по-английски не петрит... вот я и слушал... При нем!..

Толпа поредела. «Лучше исчезнуть, а то попадешь в «хитрый домик»: «Слышал, а не сообщил?!. Почему допустил, чтобы Уманский вел агитацию?!» Он ведь мог ошибиться, а ты – отвечай!.. На кой это надо?!. Подождем, пока наше, советское радио скажет!»

Вечером слушали очень внимательно, но ничего не узнали. Ничего наше радио не объявило. А назавтра оно не работало вовсе... Ни в одном из бараков!.. Нигде!..

А потом в лагерь вступила война.

И то ли так предусмотрено было мобпланом, то ли излишне усердствовал опер, но изменения больно ударили всех. Ужесточился режим. Отменили все пропуска. Стали водить под конвоем и тех, кому до сих пор разрешалось, в связи с их работой, передвигаться свободно в пределах промзоны – внутри оцепления. Лагерь старались вообще отрезать от внешнего мира: не пропускали газет, отключили все радиоточки, запретили и переписку. Писем из ОЛПа не отправляли, а приходящую почту, не извещая о ней адресатов, сдавали в оперотдел, в распоряжение кума.

Жители зоны могли полагать, что их позабыли, что их родные погибли, что жизнь на Земле прекратилась совсем. Они обращались с вопросами к вольнонаемным работникам лагеря, к конвоирам и вохровцам, к начальникам УРЧа и КВЧ, но эти молчали и делали вид, что им ничего не известно. Пробить изоляцию не удавалось.

Внутрилагерный быт посуровел. Участились внезапные шмоны, обращение стало грубее, поверки тягучей и строже. Настроение в ОЛПе день ото дня становилось все более мрачным.

Но важнее всего – ухудшилось резко питание. Если раньше «стахановцы», то есть те, кому выводили по сто тридцать и больше процентов на брата, получали относительно сытный котел и девятьсот граммов хлеба на день, то теперь максимальная пайка уменьшилась до шестисот. Почти вдвое снизилась мера приварка. Вместо обычных ста граммов крупы стали давать шестьдесят, а еще через несколько месяцев и эту голодную норму снизили до тридцати, редкое ранее мясо исчезло совсем, полноценный картофель и овощи заменили зеленым капустным листом, направлявшимся в прошлом на корм скоту или в помойку, в отходы, и под конец даже пшено и овсянку заменили могаром.

На тяжелой работе такое питание – гибель. Оно быстро сводит в могилу даже здоровых и сильных людей, а обитатели зоны почти что все «обезжирены»; процесс истощения их протекает намного быстрее. Люди уже через месяц стали слабеть и вырабатывать меньше обычного. Если в июне четверо брали на плечи большое бревно, свободно вносили его по лесам на второй или третий этаж и сразу же шли за вторым, то в августе точно такое бревно с колоссальным трудом поднимали шесть человек и, втащив его на этаж, тут же ложились передохнуть.

А дальше пошло еще хуже. Лето еще кое-как перебились, но вот пришла осень с ветрами, дождями и снегом. К недоеданию прибавился холод. И хотя в сентябре вновь появились газеты и радио, и снова пошла переписка, самочувствие заключенных все ухудшалось и ухудшалось. До тех пор, пока о ходе войны люди не знали совсем ничего, многие думали, что Советский Союз победит очень быстро, может быть, даже молниеносно. Все помнили, что изрекалось когда-то: «Чужой земли не хотим, но и своей... ни пяди не отдадим», а если придется сражаться, то «битвы будут вестись на вражеской территории». И вдруг – такой ужас! Фашисты стоят под Москвой, Киев они захватили давно, война ведется и в Крыму, и под Харьковом, и под Ленинградом. Страна напрягает все силы, чтобы только отбиться, обороняться... Как это так?!. Немыслимо и непонятно!..

Сводки Советского Информбюро не давали возможности выяснить, что происходит на фронте. Они сообщали о героизме отдельных частей и отдельных красноармейцев, о местных удачах, достигнутых ими, о «направлениях», на которых ведутся бои. Судя по ним, мы отдали немцам чуть ли не половину – а может быть, даже и больше! – европейской части СССР, и все еще отступаем. «Что же будет дальше?!.»

В ОЛПе внезапно открыли прием заявлений от тех, кто хотел бы пойти добровольцем. Он вызвал патриотический взрыв. Просьбы отправить на фронт писали чуть ли не все поголовно. Их принимали без каких бы то ни было ограничений. Заключенные ожили, но – ненадолго: в армию взяли лишь нескольких бытовиков и двух или трех уркаганов. Остальных, надо думать, посчитали «пятой колонной». Всех их оставили в лагере.

– Работайте лучше!.. Сражайтесь за выполнение норм!.. Вы этим докажете преданность... – говорили им в КВЧ.

Но истощенные люди не в состоянии были работать по-прежнему. Производительность падала. Процент выполнения норм неуклонно снижался, а вместе с ним понижались и вес паек хлеба, и качество пищи. В довершение бед прекратились посылки из дома: во-первых, почта их принимать перестала, во-вторых, родные – на воле – сами стали нуждаться отчаянно, и помогать никому не могли. И во второй половине зимы началась доходиловка.

Люди болели и истощались, а их еще доводили, как невыполняющих нормы, совершенно голодными первыми, а то и штрафными котлами. Свою пайку – четыреста граммов непропеченного черного хлеба – люди съедали мгновенно.

Ведь всегда сохранялась опасность, что если не съешь ее сразу, то урки отнимут остаток. И, кроме того, сил не хватало делить ее на два приема.

Все мысли и все разговоры зека сосредоточились лишь на еде: вспоминали о том, что и когда они ели, как отрезали куски от буханки, не думая, сколько в них граммов, как вкусны домашние щи, как приятно съесть миску гречневой каши, сдобрив ее молоком или маслом. «А мясо!.. Кусок натурального мяса! Обжаренный или вареный!.. Мечта!.. А сало!.. Господи, сало!.. Шпик, толщиною в ладонь, – чисто белый или слегка розоватый!.. Ведь мы его ели, ели когда-то! И не умели ценить!.. А теперь...»

Голодуха толкала на все. Кто-то провозгласил: «Жрать можно все, что душа принимает». А душа не гнушалась ничем. На кострах варили похлебку из листьев и почек деревьев, благо весной они появились опять, ели траву и кору, но от них начинался кровавый понос, а за ним наступала почти неизбежная смерть.

Гибель от истощения стала обычным явлением. В первую очередь на тот свет уходили курящие, так как они зачастую меняли последнюю пайку на несколько штук папирос или на щепоть махорки. С утра и до вечера люди искали, чего бы поесть. В бригаде, в которой работал Ильин, работяги – не урки, а те, кто недавно входил в категорию «лучших людей»! – поймали собаку начальника УРЧа, зарубили ее топором, разделили на части, слегка обожгли на костре и съели вместе с остатками шерсти. И Алеше дали кусочек, и он не побрезговал им, а сжевал его с радостью и долго обгладывал кость. И тогда же в одной из бригад пропал заключенный. Его искали везде. Не нашли. Решили, что он «оборвался с концами», но неделю спустя на участке, где постоянно работали урки, возле останцев костра, нашли одежду пропавшего и куски человечьих костей, изрубленных топором. «Убежавшего» – съели! В этом сомнения не оставалось.

Доложили начальству. Разразился огромнейший шухер, начались повальные обыски, допросы и следствие. Из Управления лагеря приезжала комиссия, ходила, смотрела, давала инструкции ВОХРу, арестовала кого-то из бандитов-рецидивистов, увезла их под сильным конвоем неизвестно куда, и – отбыла восвояси. На нее возлагали большие надежды, но все осталось по-старому: кормежка ничуть не улучшилась.

Люди стали умирать. Из зоны каждый день вывозили трупы обозами, но ОЛП не пустел, его пополняли этапы вновь приходящих; однако и эти, отработав месяца два или три, превращались в покрытые кожей скелеты.

На доходяг стало страшно смотреть. Они шатались от слабости, мягких мест у них не осталось, сидеть они не могли, так как кости давили на кожу и причиняли страдание, кожа их посинела и высохла, поверхность ее шелушилась.

И Алеша Ильин тоже дошел до предела.

Он доживал свои дни на «сплошняке» – общих нарах барака, объявленного стационаром. Здесь все лежали вповалку, в одежде, в бушлатах и телогрейках, в ватных брюках, без простыней, без белья. На днях опять приезжала какая-то группа сытых военных персон. Она провела комиссовку и обнаружила в ОЛПе на две с половиной тысячи душ только сорок два трудоспособных зека – бригадиров, нарядчиков, канцеляристов, поваров и рабочих на кухне. Весь ОЛП объявили больницей, людей перестали водить на работу, и Алеша лежал, вставая только затем, чтобы дойти до параши или принять миску супа и пайку.

Смерть всегда неопрятна и неприятна, а смерть от пеллагры и истощения – вдвое. Терзает понос, и нет сил дойти до уборной. Наступает апатия, мысли работают плохо. И безразличным становится все. Даже не хочется есть.

Приплелся проведать Алешу Уманский. Он тоже качался от слабости, но ему было все-таки легче, потому что на частных квартирах начальства, где он ремонтировал разные вещи, ему иногда в благодарность давали поесть. В

отсутствие мужа хозяйка совала Ефиму кусок зачерствевшего хлеба или остатки вчерашней еды, а при особой удаче даже миску горячего супа.

Ефим сел к Алеше на нары и шепотом рассказал о положении в мире, о том, что Америка нам помогает, что мы побеждаем в Сталинграде. Алеша ответил с трудом, что ему на все наплевать, все ему безразлично, ни о чем не хочется думать. Он даже не может читать.

– Да! – ответил Уманский. – Пеллагра – ужасная штука! При ней не только теряются силы – оскудевают мозги. На днях меня вел из поселка стрелок, я еле тащился, а на дороге лежало бревно, хотел я перешагнуть и – не смог: не поднимаются ноги! Пришлось лечь на землю и переползти... измучился черт знает как... а стрелок бревно – обошел! Там обходить-то было всего пять шагов... Почему ж я не домерекал?!. Значит – мозги перестали работать... Так что ты не один такой слабый. Держись!.. Я слышал, что положение скоро изменится. Питание будет улучшено. Поступят продукты из-за границы. Нам пришлют по ленд-лизу. Говорят – получили инструкцию. Истощенных приказано вылечить и подкормить... Некому стало работать!.. Бодрись, Алеша, бодрись! Фактически ты ведь не болен ничем... У тебя – истощение... только!..

И Алеша действительно приободрился чуть-чуть, но его истерзал и измучил голодный понос, и он до ленд-лиза не дожил. Через несколько дней, темной ночью, он, никого не тревожа, тихо и незаметно скончался.

Соседи по нарам, пользуясь тем, что лежачих больных на поверку не поднимали, никому об этом не сказали. Два дня они на него получали питание и делили между собой, а потом одному показалось, что его обсчитали, и он разозлился и стукнул.

– Ничего, ничего! Зажретесь а то!.. – ответил он на упрек в доносительстве. – Пора и честь знать!.. Погужевались, и будет!..

Ему хотели ответить, подставить подножку, чтобы он пролил баланду, избить или даже украсть его пайку, но не успели. Пока совещались и думали, как и что предпринять, он умер от той же пеллагры.

XIII

К началу войны на реке Воркуте еще не было зон, огражденных колючкой. Людей сторожила сама Большеземельская тундра. И голод не так давал знать о себе, как в других лагерях, потому что нормы питания зеков, установленные для Заполярья, были несколько выше обычных и почти возмещали затраты энергии, расходуемой работягами. А когда в результате очередных неудач на войне страна потеряла Донбасс и Подмосковный бассейн, на Воркуту, как источник снабжения углем, обратила внимание высшая власть, и жизнь заключенных стала относительно сносной; конечно – по лагерным меркам. Сверху пришла директива: рабочую силу беречь, – и угар подготовленных загодя мероприятий мобплана быстро рассеялся.

Отношение к людям стало значительно лучше, их перестали держать на работах «до выполнения нормы», то есть по две и даже по три смены кряду, и, хотя выполнение плана и норм оставалось законом их жизни, методы достижения этого сделались мягче и человечнее.

Новый единоначальник и Комбината и лагеря, Михаил Митрофанович Мальцев, грозный и беспощадный, самодурством все-таки не отличался. Он уважал и ценил полезных и дельных работников и иногда поощрял их по-царски. Обладая огромным влиянием в НКВД, он имел право предоставления льгот, и по его предложениям – что бывало не раз! – ОСО снимало у избранных им заключенных часть их огромных сроков. Скидки бывали разнообразными, чаще всего небольшими: год–полтора, реже – три или пять, но в исключительных

случаях скащивали и больше, и у зека появлялась надежда, что он успеет отбыть свой немыслимый ранее срок и станет опять человеком.

Мальцев, видимо, понимал необоснованность массовых репрессий. Он не испытывал страха перед «вредителями» и «террористами», не опасался «троцкисто-бухаринских» и всяких иных «шпионов и диверсантов». Он доверял им на производстве руководящие должности, щедро давал пропуска, иногда разрешал жить за пределами зоны и даже совместно с семьей, предоставлял квартиры, сухие пайки и гражданскую одежду.

Происходило все это, конечно, нечасто и в масштабах не слишком больших, но все-таки происходило, и – цель достигалась: люди старались работать получше и поплодотворней, чтобы попасть в кандидаты на льготу; они посвящали работе себя целиком, и она шла у них как по маслу. Мальцев был тонкий и чуткий психолог, он замечал способных работников и решительно их выдвигал.

– Дерзайте! Творите! Проявляйте инициативу! – обращался он к инженерам и прочим специалистам. – Я гарантирую вам, что никто вас больше не тронет, никто не посадит и не арестует.

Такие слова подрывали сомнения и недоверие массы ни в чем не повинных людей, постепенно снимали у них ощущение горя и безысходности, вселяли надежду и возрождали уверенность в собственных силах и знаниях. Человек отвлекался от мысли, что у него впереди нескончаемые лагерные годы, что их не отбыть и не выжить, и вновь принимался за дело.

– Эх, была не была! Поработаем!.. Покажем, на что мы способны. Авось, улыбнется Фортуна и нам, авось и нам выпадет счастье!

Среди замеченных Богом и Мальцевым оказался и Моргунов. Ему пришлось распрощаться с своим бригадирством. Мальцев, вероятно, из сводок, узнал об его показателях, приехал на шахту, вызвал к себе, побеседовал с ним, выяснил, кто он такой, и тут же назначил начальником нового, эксплуатационно-проходческого участка.

– Давай, становись горняком! Стране нужен уголь!.. А философию временно надо отставить... Да знаю я, знаю: у тебя окончился срок, ты все надеешься освободиться... Но... ведь сам понимаешь: в настоящее время не выйдет!.. Время не то!.. Придется пока что побыть... До особого распоряжения!..

Моргунов это знал. С началом войны освобождения кончились. Всем осужденным по пятьдесят восьмой, пятьдесят девятой и еще нескольким статьям, всем репрессированным «тройками» или ОСО пребывание в лагере или тюрьме продлевалось, может быть, до бесконечности. «До особого распоряжения»! И это касалось не только тех, у кого срок кончался после начала войны. Освободившихся раньше ловили в пути и возвращали пешим этапом – где люди страдали и гибли! – назад.

– Что тебе нужно?.. Проси! – сказал в заключение Мальцев.

Александр Сергеевич очень смутился. И не знал, о чем попросить.

– Не стригите меня под машинку! – придумал он, наконец.

– Только и всего?! – усмехнулся начальник. – Пишите приказ! – обратился он к адъютанту. И тут же продиктовал:

– Моргунова... расконвоировать!.. Дать круглосуточный пропуск... Назначить – шестой «Б» котел... Переместить из барака рабочей бригады в барак АТП. Заново выдать одежду 1-го срока и подогнать по фигуре... Разрешить носить длинные волосы!.. О результатах работы участка докладывать мне каждый день на ночных селекторных отчетах.

– Спасибо! – сказал Моргунов.

– Спасибо скажешь работой!.. Давай, приступай!

И Моргунов приступил.

Вот когда пригодилось все то, что он почерпнул из книг Шевякова и Бокия, из правил по безопасности горных работ, из оконченных им недавно курсов десятников, из бесед с инженером из ПТЧ и с донецким шахтером Мануйленко. Оказалось, что самое главное – надо хотеть! А узнать все премудрости шахты можно не только в аудиториях Горного института, но и практически.

У Александра Сергеевича дело пошло. Его наблюдательность и деловитость, настойчивость, умение работать с людьми, уважение к ним и забота о них взяли свое. Если раньше была на хорошем счету одна лишь бригада, то теперь заработал на славу участок: ему присуждались знамена и премии, через месяц-другой он стал выходить на первое место по шахте.

Травматизм тоже снижался, однако несчастные, даже смертельные, случаи время от времени происходили. Самым тяжелым из них для Александра Сергеевича оказалась весной сорок третьего года внезапная гибель одного из его соэтапников, лучшего откатчика люкового участка, Николая Павловича Ревунова. Глупая и нехорошая смерть, которой могло и не быть.

Вообще говоря, Ревунову в шахте везло. Пять с половиной лет минуло с тех пор, как впервые спустился под землю он, бывший священник торопецкой Богоявленской церкви; сначала боялся всего: и темноты, и начальства, и газа-метана, и крепкого мата товарищей, и обвалов угля и породы, и криков: «Давай, поп, давай!», и взрывов, и шахтной воды. А потом попривык ко всему, стал знатным в среде заключенных шахтером, кое-чему научился и больше того испытал.

Три раза уже попадал он в аварии и под несчастные случаи. И выходил – все три раза! – сухим из воды.

В первый раз побежал он к стволу встречать коногона – давно уже в шахте на главных откаточных штреках работали лошади. Лава стояла: не подвезли порожняк. Ревунов хотел и посмотреть, что случилось, и, ежели будет нужда, пособить и ускорить работу. И надо же было случиться: разогнался состав под уклон, навстречу отцу Николаю, и – забурился как раз на том стыке, возле которого встал Ревунов. Сошедшей с рельс вагонеткой толкнуло его на крепление, но – миловал Бог! – попал не на стойку, а в перебор, между ножками. И – уцелел!.. Отделался легким испугом.

Второй раз случилось похуже. Выехал он по уклону, на панцире, между двумя вагонетками, спрыгнул на верхней приемной площадке и – поскользнулся на ровной поверхности. То ли плюнул кто в этом месте, то ли от мокрого груза накапало и на морозе замерзло – суть не в этом. Не устоял Ревунов, качнулся и – под колеса! А состав на полном ходу. Если бы переехал его – никакой бы Бог не помог: остался бы он при самом лучшем исходе без ног, а могло и совсем задавить!.. Но – чудо свершилось! Опять ему повезло: вагонетка была неисправна, подшипники стерты, колеса не смазаны; соприкоснувшись с препятствием, они перестали вертеться, и – сдвинули с рельсов упавшее тело. Встал Ревунов, можно сказать, невредимым. Только ударился сильно и ноги в коленях маленько прижал. Отдышался, однако, и в зону пошел на своих двоих.

В третий раз уцелел он при взрыве метана в откаточном штреке. Взрывная волна понеслась от забоя, сметая все по пути, выбивая не вровень стоящие рамы, и под люком, где обычно стоял Ревунов, натворила бог знает что: подняла в воздух груженый состав, пронесла его метров на двести вперед и бросила на разлиновке, сложила попутно в гармошку став решетаков, выбила прочь камерную, обрушила породу, лежавшую на верхняках, и завалила нижний выход из лавы. А Ревунов-то как раз отошел оправляться. Стыдился он прямо на месте. Поскольку участок в этот момент не работал, подальше ушел и оказался на свежей струе. И – остался в живых.

И уверовал он в неуязвимость свою.

– Христос охраняет меня! – говорил, осеняя себя крестным знамением. – А все потому, что я верю в него. Спаси и помилуй меня, Богородица!

Впрочем, по правде сказать, об Иисусе Христе и святой Богородице он вспоминал по инерции: не приспособлены они к тяжкой подземной работе. «На Бога надейся, а сам не плошай!» – говорила пословица, и Ревунов, понимая, что в шахте смотреть надо в оба, по возможности был осторожен. Да разве с готовностью всем помогать уцелеешь?!.

Кликнул его как-то механик на помощь: «Кабель – мол – помоги подтащить!»

– С полным моим удовольствием, – сказал Ревунов, ухватившись за кабель, а тот оказался пробитым, с очень плохим заземлением через четвертую фазу.

И отступился Христос от раба своего. Пошли триста восемьдесят вольт через грешное тело и мокрые ноги священника в талую шахтную почву. И не стало откатчика... только охнуть успел!..

Выдали тело его на-гора, отправили в морг, там вскрыли, составили акт, привязали железную бирку к ноге и закопали на той же Ерани, недалеко от почти сравнявшейся с землей могилы Мельникова.

Погоревал Моргунов, да ведь толку-то что горевать: не вернешь, не воротишь!.. Да и некогда было вдаваться в свои ощущения, некогда было переживать: шахта работает круглые сутки, всякой работы – по горло. Не успеваешь даже поспать. Тут не до чувств, не до скорби.

А за смерть Ревунова потянули механика. Тянули-тянули и бросили. Время военное, нового кабеля нет, а на старом латка на латке; оцинкованных труб тоже нет, заземляют на газовых, а они очень быстро ржавеют и теряют защитные свойства. Все это знают, а делать-то что?! Работать-то как-нибудь надо. К тому же механик – зека, у него почти двадцать лет неотбытого срока. Что с него взять?! И, кроме всего, убитый не вольнонаемный, а тоже зека. В лагере их пруд пруди, хоть каждый день убивай, а останется столько же!

XIV

Психологи не находят ничего удивительного в том, что человек запоминает кого-то легко и надолго, а других с трудом и непрочно. Они говорят, что это – особенность памяти, что в ней играют огромную роль эмоциональные факторы, взаимодействие различных видов ее, вовлеченных в процесс воплощения, субъективные свойства отдельных людей, ассоциативность явления, а также значительность последующих восприятий, иногда приводящих к амнезии первых.

На этот раз Моргунов не стал заниматься самокопанием и выяснять, почему он запомнил Горинскую с первого раза, почему продолжал вспоминать, хотя за минувшие годы много воды утекло, много событий свершилось, и логично бы было забыть медсестру, с которой когда-то, в дни умирания Мельникова, проговорил полминуты, а потом не видел ее до того, пока сам – в сорок третьем году – не попал на больничную койку с переломом ступни.

Как это было тогда? Полз Александр Сергеевич по лаве – полз снизу вверх – рядом с конвейерным ставом. Не нарушал ничего. Но работа в шахте – не сахар, она трудна и опасна. Будь ты хоть как осторожен, знай ты ПБ на зубок и соблюдай их неукоснительно, все равно – гарантии нет. Лично твоя безопасность зависит не от тебя одного, а от всех и от каждого. Без исключений! А разве за несколько сот человек поручишься?!. Так вот: не нарушал Моргунов ничего, а лесогон упустил сверху стойку – а может быть, даже и не упустил, а пустил. Разлетелась она, как снаряд, и на переломе, где угол падения почвы становится круче, выскочила из рештаков, стукнулась в кровлю и, отлетев, – по ступне Моргунову. Ступня – пополам, а Александр Сергеевич, поняв, что случилось, подумал: «Слава Богу, что так! А если бы по голове?!.»

Прямо из шахты попал он в стационар к Анне Павловне в руки. И вошла она в душу его, словно гвоздь, а застряла там накрепко.

Сначала Александр Сергеевич не придал значения мимолетному, как казалось ему, увлечению. Больно уж тривиально влюбляться в свою медсестру. Испокон веку считалось, что это банально. Он еще помнил, хотя был тогда малышом, как дома у них, в годы первой войны, исполнялся однажды модный в то время романс: «Спасибо вам, сестра, за добрую услугу, для благодарности не нахожу я слов. Вы помогали мне как близкому, как другу, руководила вами к раненым любовь...»

Влюбился тогда офицер из романса в свою медсестру – вернее, в сестру милосердия. Так их в те времена называли. Александр Сергеевич помнил одну – в коричневом платье, с красным крестом на косынке.

Та война отгремела, зажили раны, разбитые кости срослись, а убитых похоронили. Отлюбили свое и офицеры и сестры, вышел из моды романс, и отошла, надо думать, в мир иной его исполнительница, восхитительная Иза Кремер. Но песня ее уцелела, и не только в изданных нотах, но и в памяти тех, кому довелось ее слышать.

– Банально, банально! – говорил Моргунов, вспоминая об этом. – И неразумно!.. Хотя... и правдиво, и жизненно!.. Но не мне же теперь вновь идти по истоптанным стежкам...

Однако, одно дело – рассуждать и делать разумные выводы. Тут-то мы все мастаки! А в жизни нередко бывает иначе: не уходила из мыслей Горинская.

Все на свете проходит. Всему наступает конец. Проползли и недели стационара. Кости ступни, как им и надо, срослись. Александр Сергеевич начал ходить, а потом и работать. И снова участок его «загремел котелками на кухне», получая шестые котлы.

Воркута развивалась и строилась. По еще несданной в эксплуатацию Печорской железной дороге регулярно шли эшелоны с углем для Ленинграда и Мурманска. Наладилась переписка с «Россией». Из письма Александр Сергеевич узнал, что Маруся окончила свой биофак и работает где-то в Сибири. Она написала, что хочет приехать в побывку, но как это сделать, не знает: во время войны отпусков не дают. Слово «побывка» Моргунова внезапно резануло. Маруся ему говорила когда-то в Бутырской тюрьме, на свидании: «Я пойду по пути Трубецкой и Волконской!.. Поеду работать туда, где ты будешь!..» Теперь же только – побывка!

Александр Сергеевич опомнился тут же: «Что мне надо?!. Ведь это естественно. Я и сам уж не тот, кем был раньше. Кроме того – обстановка... Маруся и Воркута... Несовместимо! Она здесь была бы чужой». И снова он вспомнил Горинскую: «Она тут прижилась, она здесь своя, она все понимает!»

XV

Наступило 2 сентября 1944 года. Воркута справила десятилетие со дня выдачи первого эксплуатационного угля.

Впрочем, празднества по этому поводу пышностью не отличались. Стержнем их стал «день повышенной добычи». Ни фанфар, ни фейерверков. Но в ознаменование юбилея Михаил Митрофанович Мальцев расщедрился: приказом по Комбинату «условно-досрочно» освободил к ноябрьским праздникам двести пятьдесят пересидчиков, сроки которых давно истекли. В числе освобожденных оказался и Моргунов.

«Условно-досрочно» – это не то, что освобождение просто. Уехать нельзя никуда. Все остается почти что по-старому. Чуть-чуть «согрешил» – например, не выполнил месячный план, допустил диспропорцию между подготовительными и

очистными работами, производительность снизилась или повысилась зольность, или еще что-нибудь, что от тебя очень мало зависит, – ведь в горных работах первый по важности фактор – геологические условия, а они очень часто меняются, – и можешь назад загреметь. Продиктует, другим в назидание, Мальцев приказ: «За снижение темпов проходки и ухудшение качества угля водворить такого-то в зону!» И – кончилась радость! Снова ты – заключенный: будешь досиживать срок – отбытый фактически очень давно – «до звонка». А звонок – неизвестно когда: «до особого распоряжения!».

И все-таки, хоть и условно, а лучше: пища в столовой веэн – вольнонаемных – калорийнее, вкуснее; обслуживает официантка; на стол подаются тарелки, вилки, ножи. Это же надо подумать: вилки! ножи! Зарплата идет: самому ли истратить или родным посылать – никаких разрешений не нужно. Писем можно писать сколько хочешь и по любым адресам. Никто никакого отчета не спросит. Не надо хитрить и ловчить. Приятно! И получать нераскрытые письма – приятно, и о поверках не думать, и ходить куда хочешь: на танцы, в кино или в гости – было бы только свободное время!

А если еще тебе дали отдельную комнату!.. После стольких-то лет!.. Это почти то же самое, что очутиться в раю. Может гость или гостья прийти, заночевать у тебя: сам себе ты хозяин!.. Живи!.. Наслаждайся!..

А насчет «водворить снова в зону!», – так ведь это же все-таки не обязательно. Будем надеяться, с нами того не случится. Неужели нам выпадет столь неудачная доля?!. Авось туча пройдет стороной, уцелеем!

И надежд, надежд – без конца! Ведь все радикально меняется. Война, надо думать, скоро кончится. Наши войска бьют фашистов на их территории, наступают союзники с Запада, Гитлеру явно подходит капут. «Поскорей бы!..» Каждый считает, что после войны сразу поступит «распоряжение», освободят всех зека не «условно-досрочно», как раньше, а подчистую. «Выдадут паспорт, и милости просим, езжай, куда хочешь, живи, где заблагорассудится!»

Моргунов тоже ждет и мечтает. Он вернется в Москву, поступит «по новой» в университет, засядет за Канта и Гегеля, за Фейербаха и Маркса. Он проработает Дюринга, надо ведь ясно понять, в чем ошибался почтенный профессор. Здесь это частично ему удалось, но брать надо глубже и обстоятельней... «Впрочем... зачем это все?! Стоит ли вновь начинать философию?!. Может быть, лучше заняться историей?.. Она интереснее и актуальнее!»

Интереснее?.. Да! Но в его положении и то, и другое, – ненужная роскошь! Кто его пустит в Москву?! Кто даст возможность учиться?!. Надо лучше подумать о том, где устроиться вместе с Марусей. Это кажется невозможным. Если ей жить в Воркуте, то она превратится в домохозяйку. Здесь ей попросту нечего делать, негде работать.

Ну, а если все-таки попробовать совершить невозможное и добиться разрешения поехать самому?

«Кому я там нужен – философ с судимостью?!. Нет, сейчас ничего не решишь!.. Надо – ждать!»

Александр Сергеевич думает. О Марусе, о будущей жизни. Но мысли его несвободны, и в них, помимо сознания, вторгается образ Горинской. Она снится ему по ночам и мерещится днем... Наваждение?!. Ведь он ее, в сущности, вовсе не знает...

Моргунов растерялся. «Что же мне делать теперь?!.»

Ха! Что делать?! Надо – углем заниматься, а не мечтать! Стране нужен уголь! Много угля. С каждым днем возрастает потребность. Шахта требует и жмет на все кнопки. Не реже раза в неделю организуются «дни повышенной добычи». В эти дни прекращаются все «непрямые работы», закрываются все «канцелярии». Весь наличный состав и рабочих, и служащих спускается в шахту. Мобилизуются все

веэн и зека, даже работники кухни и медики. Людей, отработавших смену, гонят в шахту вторично: «Выспаться, что ль, не успеешь?!. Давай, поработай!.. День повышенной добычи!.. Не забывай про войну!.. На фронте, небось, тяжелее, там гибнут люди, а – ты!.. И не стыдно тебе?!. Поработать не хочешь!..»

И люди, не смея перечить, идут. Их провожает оркестр и, отыграв свои бодрые марши, всем коллективом спускается в шахту наваливать уголь, катать вагонетки, подтаскивать лес. А в шахте все музыкальные звуки сливаются в общее, единое, громоподобное «Давай!»

XVI

Зима. Январь сорок пятого года. Советские войска начали гигантское наступление по всей линии фронта от Балтийского моря на севере до Карпат на юге. Они уже взяли Варшаву, освободили Силезию, вышли к Одеру и Кенигсбергу, пересекли границу Германии, направляются к Берлину. Победы пьянят, и Воркута старается не отстать от страны. «Дни повышенной добычи» становятся все чаще и чаще. Они, подобно салютам, стали обычным ответом на удачные действия войск.

В массе других, мобилизованных в этот день в шахту, под землю спускается также и медсестра ОЛПовского стационара Анна Павловна Горинская. Ее посылают в первую смену – ночную. Днем она будет работать в больнице. Там подменить ее некем, но ей, быть может, между делом удастся вздремнуть.

В брезентовых брюках и куртке с чужого плеча, в резиновых сапогах и замызганной кепке, с аккумуляторной лампой на поясе Горинская подходит к дверке людского ходка и открывает ее. Вслед за ней в шахту, нарушая вентсхему, врывается воздух и с силой хлопает дверью. Впереди колышется добрая сотня огней. Это спускается смена: людской подъем снова вышел из строя, и люди плетутся пешком. Идти тяжело: бьет навстречу струя влажного, душного воздуха, разъезжаются ноги на мокрых и скользких ступеньках, надо все время сгибаться, чтобы не стукаться лбом о просевшие кое-где верхняки, капает с кровли вода и журчит, протекая в канавку.

Дорогу Горинская знает: не впервой, слава Богу! Могла бы уже и привыкнуть, но сегодня, как и всегда, волнуется вновь. Она не может не думать о том, что земная кора создавалась миллионами лет из пылинок и атомов, но пришел человек и за очень короткое время, два–три года всего, напробивал в ней стволы и ходки, врезался в толщу ее и стал выдавать на-гора каменный уголь, преобразивший планету.

С каждым шагом все глубже и глубже, все древней и древнее слои, по которым идут ее ноги. Сколько лет, например, этому серому камню? Миллион или десять миллионов?.. Сто?.. Полтораста?.. Может быть, даже больше?!. Она содрогается от бесконечности времени. Каким жалким мгновением кажется жизнь человека, а от него, от мгновенья, еще отрывают немалую долю на тюрьмы и лагеря!..

Впрочем, некогда думать, надо идти. И она все идет и идет, боязливо хватаясь за поручни, а там, где их нет, за крепление. От напряжения и непривычки начинают подрагивать ноги. Она очень устала, еще не дойдя до рабочего места.

– Надо было поехать на порожняке, я зря испугалась... Ездят же люди! – мечтает она, но опять вспоминает, что неделю назад случился ужасный «орел»: лопнула сцепка, и четыре вагона орлом пошли вниз. Пять человек вовремя спрыгнули и уцелели, один не успел и погиб, а двоих покалечило. И она же их бинтовала.

– Нет, – решает она,– я уж лучше пешком, так безопасней.

Ноги дрожат все сильней, но ходок наконец-то кончается. Анна Павловна спускается в штрек и, направляясь к участку, проходит мимо нижней приемной площадки ствола. Это – рудничный двор. Он хорошо освещен. На нем ожидают

подъема несколько десятков груженых углем вагонеток. Коногоны и плитовой оживленно беседуют и матерятся. У очередного «каната» – у вагонеток – стоят готовые к ним прицепиться и ехать наверх идущие со смены шахтеры. Их усталые, темные лица запорошены угольной пылью, на черном фоне четко видны только глаза да белые зубы.

Плитовой нажимает три раза на кнопку сигнала, и облепленный людом «канат» – состав из пяти вагонеток – уходит наверх. Анна Павловна смотрит им вслед. Они уезжают, а на бетонной стене руддвора продолжает белеть освещенная надпись: «Ходьба по уклону и езда на канатах категорически воспрещены!»

Горинская ускоряет шаги, идет все дальше и дальше и, наконец, подходит к участку.

– Давай, давай в лаву! – кричит ей десятник. – Давай, залезай!.. и втыкай!.. Чего зенки пялишь?!. Тебе говорю!..

Горинская лезет, цепляясь за стойки крепления. Рядом грохочет конвейерный привод. По рештакам идет уголь. Работа в лаве кипит. Анна Павловна пристраивает аккумулятор к стойке и начинает «втыкать». Большой, тяжелой совковой лопатой подбирает она с почвы подорванный уголь и бросает на рештаки; конвейер качается, и с каждым толчком уголь рывками движется вниз.

Лава наполнена звуками. Гремят рештаки; где-то вверху шумит врубмашина; чуть пониже бурильщик, со свистом и скрежетом, поминая могилу и гроб, бурит шпур; в забутовке время от времени валятся с кровли отслоившиеся куски и прослойки породы, потрескивают иногда деревянные стойки, стучат кайлы и желонги, лопаты с особым присущим им шарканьем царапают почву пласта, нежно и мягко шуршит оббиваемый уголь, перекликаются между собой и десятником люди, тяжелой кувалдой забивает на место сосновую стойку крепильщик. Порой отдельные звуки стихают. Вдруг раздается резкий свисток. Это – сигналит запальщик. Работяги бросают лопаты и убегают подальше. Горинская – с ними.

– Спиной, спиной повернись! – орет ей в самое ухо десятник. Она выполняет приказ машинально и быстро и, услышав грохот отпала, инстинктивно сгибается ниже. Вслед за отпалом доносятся звуки падения угля на почву и на рештаки. Раз, другой, третий, четвертый, затем опять резкий свисток.

– Отбой! – кричит кто-то из темноты. – Давай приступай!.. Давай поскорее!.. Наваливай?!..

– Сколько звуков! – вновь поднимая лопату, размышляет Горинская. – И все они резкие, громкие, шумные и – разрозненные!.. Надо бы их упорядочить!.. А почему бы и нет?!. Существовали же когда-то шумовые оркестры...

Она вспоминает двадцатые годы. Сколько исканий!.. Сколько находок и поисков!.. Симфонии заводских гудков, шумовые оркестры, «танец машин» в постановке Форрегера, его «мастерскую» – «Мастфор». Жизнь кипела в те годы ключом! Где же все это теперь?!. Ничего не осталось!.. Все уничтожено... «Осмеяно, забыто, погребено и не воскреснет вновь!» А как интересно бывало тогда. Она и подруги-девчонки очень любили искусство, театры Таирова и Мейерхольда, стихи Сергея Есенина и «Красную Новь», в которой печатались вещи «попутчиков». Так называли тогда литераторов, не состоящих в РАППе и ВАППе, но не враждебных рабочему классу, тех, кто шел «по пути с революцией». Она вспоминает попутчиков и «Непопутчицу» Брика в первом номере «ЛЕФа».

Ей и смешно, и печально. Все преходяще, все изменилось: и условия жизни, и быта, и даже – терминология. Словом «попутчики» на Воркуте с чьей-то легкой руки обозвали людей, вступающих в браки «на время», браки, которым намечено длиться только до тех пор, пока их участникам, волей-неволей, приходится вместе идти по одной и той же дороге. Такое явление в здешних условиях – дело нередкое: у заключенных – конспиративное, у вольнонаемных – открытое.

Анна Павловна помнит, как возмутилась она, услышав об этом впервые. «Неужели среди настоящих людей – достойных считаться такими – существует подобная гнусность?!. Временный брак – семейная жизнь на время!.. Без всякой любви!.. Просто так!.. Без обязательств в дальнейшем!..»

Нет, она не ханжа и не наивная девушка, она понимает, что при известных условиях можно сойтись без любви, что бывает достаточно только влечения, а иногда – одного любопытства. Но это понятно при связях случайных. А жить настоящей семьей, заранее ставя условие – расстаться тогда-то?.. Нет! Это – гадость! Это ей – отвратительно. Даже самое слово – «попутчик» – стало противным. Все ее существо восстает против этого злого, но меткого слова. Но время идет. Она еще молода, временами трудно бороться с собой. Наступают минуты раздумий, и в эти минуты ей начинает казаться, что подобная связь не так уж цинична.

– «Годы, ведь долгие годы проходят! Одной тяжело, а молодость не вернется. Не вернется и муж. Я это чувствую... Так для кого же я сберегаю себя?!.

Она продолжает работать лопатой, напрягая все силы. Думы ее взволновали, темпы движений убыстрились. Скорей, скорей! Ей надо забыться и отогнать прочь крамольные мысли. Но конвейерный став неожиданно встал. Должно быть, там, «под люком», кончился порожняк. Анна Павловна выпрямляется и прижимается к стойке. «Ох, как болит поясница, как я устала, как тяжело без привычки работать. Видимо, все-таки шахта – действительно дело не женское!.. Когда же будет конец этой тяжелой, убийственной ночи?!. Впереди еще выходить с такой глубины – 300 метров по вертикальным отметкам!.. Страшно подумать!.. Нет, не могу!.. Будь, что будет!.. Пусть даже – убьет!.. Сегодня поеду наверх – на канате».

– Приветствую вас, медсестра! – вдруг услыхала она подошедшего к ней Моргунова. – Вы у меня на участке?!. Не ожидал!.. Ну... как работенка?.. Устали?.. – Он хотел еще что-то сказать, но неожиданно смолк: он безнадежно забыл ее имя и отчество, а называть по фамилии, как веэн заключенного... Нет! Это здесь не годилось.

– Здравствуйте, – отвечает она и ловит себя на том, что смутилась... что Моргунов ей приятен. Ее руки инстинктивно тянутся вверх, к голове, поправить прическу, но, натолкнувшись на грязную кепку, опускаются вниз. Скрывая смущение, она нагибается и поднимает лопату.

– У вас есть часы? Сколько там набежало? – спрашивает она Моргунова, чтобы сказать что-нибудь.

– Скоро шесть! – говорит он, смеясь. – Молодцы! Хорошо поработали! Еще два каната, и – план перевыполним!.. Дверь можно будет ногой открывать! – вдруг срывается у него с языка странное изречение бывшего секретаря парткома завода, Ивана Николаевича Онуфриева, рекомендовавшего его много лет назад в члены ВКП(б).

Удивленный взгляд Анны Павловны заставил его покраснеть. Ему захотелось ей объяснить, что эти слова не его, что он совсем не тупак и не хам, но в этот момент включился конвейер, и он ничего сказать не успел.

Секунду-другую помешкав, Горинская молча нагнулась и стала наваливать уголь, а он, чуть-чуть потоптавшись на месте и ничего не сказав, двинулся дальше. Только сердце его учащенно забилось, но это прошло незамеченным ею.

XVII

Наступило девятое мая, но в этих широтах весна только-только еще начинается: тундра пока что под снегом, река подо льдом. Погода сегодня неважная: серо-белое небо в сплошных облаках, и заполярное солнце с трудом освещает окрестности. Ночь. На дворе-то, конечно, светло, но в узкие окна барака,

загроможденного двухэтажными деревянными нарами вагонного типа, света попадает немного. В нем, как всегда, полумрак и горит электричество. За столом, посередине барака, на простых, плохо остроганных, но отполированных людскими задами скамейках, сидит в напряжении добрый десяток наиболее беспокойных его обитателей. Ждут передачи объявленного несколько раньше важного сообщения, Остальные тоже не спят, хоть и лежат на местах. Кто просто прилег от усталости, кто держит книгу в руках и пытается вникнуть в ее содержание, кто занят беседой с соседями, а группка людей молча и тихо наблюдает, как крыса пытается открыть задвижку у тумбочки. Глубокая ночь, но сон не идет ни к кому, и беспокойство в бараке растет и растет.

Все ждут чего-то особенно важного. Война ведь подходит к концу. В первомайском приказе не зря говорилось: «Крушение гитлеровской Германии – дело самого ближайшего будущего». Идет «последний штурм гитлеровского логова», а с тех пор прошло восемь дней. «2 мая сдался Берлин. Чего же еще?!. Скорей бы! Скорей!»

Люди ждут с напряжением и беспокойством.

И вот, наконец, раздается давно ожидаемый голос. Сегодня он – и так выразительный – звучит с особым подъемом и торжеством:

– Говорит Москва!.. Работают все радиостанции Советского Союза... Передаем важное правительственное сообщение.

Все стихло. Барак затаился. Все повернулись к черной тарелке репродуктора. Слышно каждое слово в отдельности. Радиопомехи исчезли. Никто не шелохнется.

«Мы нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием...»

И вслед за этим – Указ: «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны... установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – праздником Победы»...

Юрий Левитан кончил читать. Секунду-две длится мертвая тишина... и – барак взрывается радостным громом.

– Победа!

– Победа!

– Ур-ра!

Люди срываются с нар, обнимают друг друга, целуются. С губ слетают не всегда осмысленные, иногда бессвязные крики. Всеобщая радость и торжество. Ликование. Кто-то плачет от счастья. Война измучила всех, всех измотала. Мир, страстно желаемый мир, такой долгожданный – пришел.

Особенно неистовствуют те, кто недавно сидит: литовцы, эстонцы и латыши, украинцы и белорусы, те, кто жил в Бессарабии, в Буковине. Их здесь много, пожалуй, даже большинство. Каждая занимаемая Красной Армией местность, каждая область, район, городок и деревня неизменно давали сюда, в лагеря, своих многочисленных представителей, И они в скором времени превысили численность прежних, уже поредевших и вымерших жертв тридцатых годов.

Чудаки эти люди! Они не познали еще серьезности их сроков. Почти каждый из них получил двадцать пять, а те, кто прошел по судам, плюс к этому сроку еще и по пять лет поражения, то есть на душу по тридцати. Но они в них не очень-то верят.

– А-а!.. Ерунда!.. Не бывало такого!.. Это нас – просто так! Для испуга, для профилактики. Мы считаем себя интернированными... Ну, а как же иначе?!. Мы же ни в чем не участвовали, ничего такого не делали... Помяните мое слово: война кончится – всех нас отпустят на волю!

Теперь они плачут от радости и обнимаются. «Мир принесет нам свободу!» Им уже кажется, что все позади, все страдания кончились. Они считают реальностью не оставшийся срок, а якобы скорый возврат на родные места. Они уже мысленно видят, как их обнимают жены, дети, друзья. У них в головах – семейное счастье, рассказы о том, что пришлось пережить, какой это ужас – тюрьма или лагерь. Они уже счастливы тем, что все это в прошлом.

Каждый день они ждут, что вот-вот им объявят указ об амнистии. Кое-кто собирает вещички, чтобы не застали врасплох.

Но дни утекают за днями, а все остается по-старому. Гигантские события в мире не повлияли на лагерь. Продолжают сидеть пересидчики. Отбывшие срок до начала войны разменяли уже пятый год пересидки, а просвета все нет и не видно. К ним теперь добавляется новый поток пересидчиков – восьмилетний тридцать седьмого. Им говорят то же самое: «До особого распоряжения!» И они, негодуя, сидят. Ничего не попишешь!

Но, одновременно, – тех, у кого кончаются сроки по менее важным, с точки зрения власти, делам, все-таки освобождают. Нового в этом нет ничего. Так делалось даже во время войны. Освобождают совсем, без условий, но в справку заносят магический код: «освобожден за отбытием срока и по директиве 115-42 с применением ст. 39 Положения о паспортах». И статья 39 переходит из справки в выдаваемый паспорт.

Зная о том, что это значит, те, кто умней, получив документы, идут прямиком в отдел кадров и остаются работать на Воркуте.

Именно так поступила весной сорок пятого года Горинская. Она отсидела свои восемь лет, получила бумажку, вышла из конторы и, отойдя шагов двадцать, задумалась:

«Что теперь делать?!. Куда мне идти?.. Разве могу я куда-нибудь ехать?!. У меня никого не осталось!.. И – ничего не осталось! Ни родных, ни друзей, ни знакомых... родители умерли, муж, вероятно, расстрелян, дети тоже пропали без вести... Я их найду, если они только живы... Но как это сделать?.. Войной оборвало последние нити, столько лет ни малейших известий. Я осталась одна-одинешенька... Не знаю – за что зацепиться, чтобы хотя бы начать!.. И где жить?.. Ведь вне Воркуты нет никакого гнезда; ни квартиры, ни комнаты, ни хотя бы землянки. И разве можно в этаком виде куда-нибудь ехать?!. Надо хоть как-то одеться, а у меня, кроме лагерной юбки и телогрейки с карманами, нет ничего... Как и куда я поеду?!.»

Она долго бродила по тундре. Горькие мысли немного смягчались сознанием: «Все-таки я теперь вольная! Я могу что-то делать и действовать... Вот захочу, и уеду на край света... Уеду!..»

– Уедешь!.. Куда?.. – она спускалась с неба на землю, и снова тяжесть и горе сжимали ее как тисками.

Идти было трудно, ноги тонули в болотистой почве, но оттого, что сзади не шел конвоир, она ощущала моментами радость и даже блаженство.

Пробродив часа два, она очень устала, но ничего не придумала.

– Что ж теперь поделаешь?!. – решила она наконец. – Придется пока оставаться на месте. Поработаю вольнонаемной, оденусь, обуюсь, получу комнатенку, а там – видно будет!..

Она вытерла слезы, вздохнула и пошла в отдел кадров.

XVIII

Когда после встречи на переправе Анна Павловна, отчитав Моргунова, ушла, у нее остался в душе неприятный осадок и недовольство собой: «Чего я, собственно говоря, взбеленилась?!. Чем он обидел меня?!. Конечно, его предложение с точки

зрения «правил хорошего тона» – бестактно и грубо... Но оно не выходит за рамки обычной воркутской морали... Оно слишком прямое и ясное?!. Пусть!.. Вся наша жизнь такова. А за истекшие годы мы заслужили право на ясность без экивоков!..»

Восемь лет не смотрела она на мужчин, восемь лет избегала их взглядов, оберегая себя... Для кого?!. Для чего?!. Неизвестно!.. Говоря откровенно, зависело это только от воли и чувств Анны Павловны. Иной раз проклятые мысли и тело терзали, иначе быть не могло... Но обстановка и память о муже – мешали. И, вероятно, поэтому не нравился ей ни один. Все казались «не теми»... противными и примитивными. А теперь, когда встретился... этот... и с первых минут показался желанным, она – из-за случайного слова, из-за каприза, пожалуй! – оттолкнула его и – обидела. «Глупо-то как!.. Нелогично!»

Ей было неловко и нехорошо. Но еще хуже стало, когда она получила письмо Моргунова: оно взволновало и всколыхнуло ее душу. Тщетно пыталась она обнаружить в послании заднюю мысль и неискренность; тщетно искала она самохвальство, рисовку, фрондерство... и не находила. Перед ней на листочках бумаги лежала беззвучная исповедь. И... ни слова о чувствах, но – «я не могу не думать о вас» и «мне хочется сказать вам значительно больше, чем удалось написать»... Это многого стоит!..

Она снова и снова читает письмо. Как непохож его автор на ее представление о хорошо ей известном, сильном, решительном и энергичном начальнике пятого участка! Она считала его значительно менее развитым человеком, полагала, что он много проще, а он оказался другим. Впрочем, такой – из письма – ей нравится больше. Он ей – милее и ближе...

Чувство фатальной, неотвратимой, непонятной связи между ними ее потрясло... Она испугалась себя самое: «Зачем осложнять себе жизнь?!. После стольких страданий и лет!.. Не хочу!.. Мне надо думать о будущем, ведь еще неизвестно, где муж. Неизвестно, где дети... Может случиться, что прошлая жизнь – восстановится... Зачем же сжигать за собой корабли?!.»

Мысли ее заметались. Она не знала, что делать, и, не желая ничем рисковать, на письмо не ответила.

А примерно месяц спустя, в воскресенье, пошла она в тундру по ягоды. Для нее это было и ново, и необычно, и радостно. Прежде всего, вместо холодной и хмурой погоды стоял замечательный день: чистое-чистое небо, яркое солнце, небольшой, но сдувающий комаров ветерок, одуряющий воздух, насыщенный запахом трав и цветов, и – приятная влажность. Необъятная тундра лежала гигантским зеленым ковром, на кочках росли голубика, черника, цветы, а в отдельных местах, на крутых южных склонах глубоких расщелин, даже кусты можжевельника.

И у Горинской оттаяло сердце. Впервые за множество лет оказалась она «на природе», и природа – обычно суровая – ласкала и грела ее жарким солнечным светом, безлюдьем, спокойствием и тишиной.

Перед ней простиралась земля, свободная, вольная, незамощенная, такая призывная и притягательная... И ей захотелось прилечь и обнять эту землю, прижаться к ней телом, поведать о всех своих горестях. Земля все услышит, поймет и – никому не расскажет. Горинская быстро легла и раскинула руки, но тут же вскочила. Земля оказалась сырой и холодной.

– Ничего! Ничего!.. Ты мне мила и такая! – сказала она, обращаясь к земле. – Я ведь все понимаю: ты ни при чем! Это злится и буйствует – вечная мерзлота, а сама ты... по-человечески теплая!

Анна Павловна заулыбалась. Ее настроение резко улучшилось, стало легко и светло на душе, как будто бы сняли с нее давящую тяжесть и нравственный гнет. Она стряхнула с себя мелкие листья и пыль и ушла далеко-далеко, туда, откуда не было видно ни шахтных копров, ни вохровских вышек. Там, в чистом воздухе

тундры, не было дыма из многочисленных труб, и не садилась на плечи и голову пыль от угля и породы.

И кругом – никого-никого!.. Она была совершенно одна, о чем очень часто мечтала.

Но человек никогда не бывает довольным; всегда чего-нибудь хочется. Анне Павловне вдруг захотелось не быть одинокой, ей захотелось встретить кого-нибудь близкого, кто бы понял ее и протянул руку дружбы и помощи.

– Мечты, мечты, где ваша сладость? – произнесла Анна Павловна. – Не только близких, но даже просто хороших знакомых нет у меня. Нет никого! Ни друзей, ни товарищей! Я – одинока!

И она вспомнила – Моргунова.

– Напрасно тогда я его оттолкнула!.. А хорошо бы – встретиться с ним, объясниться...

Она не успела додумать, когда увидала фигуру, шедшую издалека. Сначала она испугалась – встреча в тундре с чужим, неизвестным, может окончиться плохо. Хотела тут же бежать, но поняла: не удастся! Человек приближался легко и стремительно, если станет ее догонять – не уйдешь!

С замирающим сердцем глядела Горинская на подходившего к ней человека, а увидев, кто это, глазам не поверила. Перед ней стоял – Моргунов.

– Александр Сергеевич! Вы?! Что за чудо!..

– Какое же чудо?!. Приветствую вас, Анна Павловна!.. Чуда нет никакого. Просто решил погулять... Вот и встретились!.. Так?..

– Не знаю, так или нет!.. Мы давно не видались.

– Так вы ж меня знать не хотите!..

– Вот уж неправда, неправда!.. Я о вас думаю часто... Хотите букетик цветов?.. Я сама собирала!..

– Надо думать – сама!.. Благодарствую!..

– Что за странное слово?!. Стариной отдает!

– Простите!.. Не буду!.. Я это – так!.. Вы куда идете? Можно мне вас проводить? – он взял ее под руку.

– Нам с вами в разные стороны, Александр Сергеевич. Не по пути! – сказала Горинская, не отнимая руки.

– По пути!.. – возрази Моргунов. – Вы же пойдете на Рудник?! Я тоже. Пусть хоть, если не в жизни, то в пешей ходьбе, по дороге домой, мы с вами будем – попутчики.

Анна Павловна вырвала руку и отступила назад.

– Александр Сергеевич... Раз навсегда!.. Договоримся друг с другом... Не вспоминайте при мне это гадкое слово. Я слышать его не могу!.. Смысл, который вы придаете ему, несовместим ни с достоинством, ни с моралью... нормальных людей... Напрокат, на время, на подержание можно взять вещь, книгу для чтения, лодку, но не женщину, не человека.. Неужели вы этого не понимаете?!. Нужно совсем одичать, потерять человеческий облик, забыть, что такое любовь или нравственность, чтобы спокойно, по-деловому, заводить себе «лагерных жен», «шалашовок», «попутчиц», которым назначена роль обыкновенной... подстилки!.. – простите за грубое слово!

– Ну, зачем же вы так, Анна Павловна? – произнес Моргунов, смущенно глядя вниз. – Ведь вы неправы!.. Я совсем не «спокойно»... И не так уж «по-деловому», а... с чувством. Ведь за все эти годы только вам – вам одной! – предложил я совместную жизнь... Вы для меня – необычная!.. Как бы это получше сказать?!. Ну... – родная и близкая!.. Я так часто думал о вас!.. Да и что нашли вы плохого в слове «попутчики»? Нам с вами действительно ведь... по пути.

– Да, по пути! – воскликнула Анна Павловна. – Нам по пути, но не в вашем, переносном смысле слова, а только буквально. Мы оба изъяты из жизни, оба

страдаем... за что – неизвестно! Мы оба прошли – к вящей славе Господней, наверно – через боль и тоску, унижения, тюрьмы и лагерь, но мы, несмотря ни на что, сохранили душу свое, свое кредо. Мы остались – людьми. Не опустились, не разложились. И пусть нас обоих преследуют, пусть считают врагами народа, держат в ссылке, а мы, несмотря ни на что, остаемся самими собой, мы верим, что когда-нибудь кончится это, что правда пробьет себе путь и мы выйдем на волю свободными, чистыми!.. Для обоих нас смысл жизни – в труде, в работе для нашей страны... Вот на этом пути мы – попутчики!.. Тут-то нам по пути, Александр Сергеевич...

Анна Павловна выдохлась и замолчала.

– А вы – тонкий психолог и оптимистка! – сказал Моргунов, поборовший смущение. – «Смысл жизни – в работе для нашей страны», – вы сказали? – Неплохо! Но откуда вы знаете, что я тоже думаю так?

– А что?! Неужели же я неправа?

– Нет, почему неправа?! Права, права! Но почему это так?.. Ведь после всего, что с нами сделали, было бы очень естественно возненавидеть не только конкретных виновников наших несчастий, но прежде всего породивший их строй... А я – не могу!.. Я – коммунист! Убежденный!..

– Вы мне это писали! Я знаю!

– А вы не ответили...

– Я...

– Объясняться не надо! Не стоит!.. – перебил Моргунов. – Вы, конечно, правы: девяносто девять процентов из нас посажено зря, «к вящей славе Господней», – как вы говорите! Для славы товарища Сталина, я бы сказал... Не стройте испуганных глаз, мы здесь с вами вдвоем, и никто нас не слышит... Кроме того, на XVIII съезде, в докладе товарища Жданова, было сказано что-то такое насчет «пробравшихся в НКВД»... А что они делали там, эти – пробравшиеся?.. Невиновных сажали?!. Надо думать, что так! Тем более, что с мая тридцать девятого года и до апреля сорокового длился период относительной законности! Тогда прокурором СССР работал Панкратьев!.. Золотое время надежд!.. Большие аресты окончились, людей выпускали из тюрем, дела часто прекращались еще до суда, а суды очень многих – оправдывали... Продлился бы этот период, и были бы мы на свободе! Но он – оборвался... В апреле все вдруг изменилось, и снова пошла свистопляска. Появились указы: за прогулы – тюрьма, несколько раз опоздал на работу – тоже тюрьма!.. Так сказать – «дисциплина»!.. Я так думаю – Сталину стало известно о подготовке войны, а он не в меру пуглив, и закон для него – трын-трава. Ну, и начал он – «подготавливаться к войне». Где уж тут думать о нас!.. Ус покрутил и решил: «пусть сидят!»

– Об этом я не хочу говорить, Александр Сергеевич! Не хочу даже слушать!.. – произнесла Анна Павловна и оглянулась.

– Не бойтесь! Никто нас не слышит! – сказал Моргунов. – А если вы такая трусиха, то незачем было и начинать. Ведь вы сами сказали: «к вящей славе Господней!» А что это значит?.. В данном контексте – только одно!

– Вы правы, у меня сорвалось с языка... Но – зачем углублять?! Я думаю – тема исчерпана?

– Ладно! Пусть будет по-вашему!.. Но чтобы тему закончить, хочу вам сказать еще одну «страшную вещь»: я считаю, что репрессивные органы, вроде ОСО, для диктатуры пролетариата вовсе не обязательны, и что положение НКВД в нашей стране гипертрофировано сверх всякой меры... Вот так!.. Нужно ли говорить, что наши слова оглашению не подлежат?.. Полагаю, что нет. Они только для нас! Вы согласны?

– Конечно!.. Само собой разумеется!..

– Ну, вот и прекрасно!..

Александр Сергеевич снова взял Горинскую под руку и продолжил совсем другим тоном.

– Вот меня и прорвало!.. Ну, кому бы еще мог сказать я такие слова?! Никому!.. Даже жена не поняла бы меня... А вы – поняли!.. И, вероятно, поэтому стали мне еще ближе... милее... роднее...

Анна Павловна не отвечала, но Моргунову почудилось, что она прижала к себе его руку. Ее волосы, растрепанные ветром, то и дело касались лица Александра Сергеевича, и она слышала, как учащенно стучало его сердце.

XIX

Десятое сентября выдалось холодным и сумрачным днем. Небо затянуло тяжелыми тучами, дул свирепый северный ветер, и быстро подсыхала на земле липкая черная грязь. В воздухе вертелись пока еще редкие снежинки. Вода в реке Воркуте потемнела, и ярко-зеленая тундра сразу, всего в один день, перекрасилась в бурую с рыжевато-красными пятнами в разных местах.

Анна Павловна вышла после работы пройтись, но, несмотря на пальто и поддетую вниз телогрейку, замерзла. Пасмурно стало в природе, тоскливо и грустно – в душе.

Сегодня она получила ответ на один из запросов о детях – обычное: «в списках не значатся»... Она разрыдалась: «Куда же их дели?!. Где их искать?!.» В такие минуты быть одинокой – ужасно. Как ей нужен сейчас кто-нибудь, кто бы понял ее состояние!.. и не только бы понял, но мог бы утешить и приласкать... Она нуждается в ласке... Но нет у нее – никого!.. Как это – плохо!..

Мысли Горинской бредут, как человек без пристанища. Ей – тяжело. И тут она вспоминает о Моргунове. Он бы, конечно, сумел приголубить ее, но она сама виновата: до сих пор отвергала любую попытку приблизиться к ней. Почему – ей самой непонятно.

Месяц назад, в воскресенье, когда они возвращались из тундры, он, прощаясь с нею у самых дверей ее дома, внезапно наклонился и, едва коснувшись губами, поцеловал ей запястье. Она инстинктивно сочла этот жест неестественным и церемонным – «в наши-то дни такой старомодный поступок!» – и резко вырвала руку.

– Александр Сергеевич!.. Что вы?!. Зачем?!.

– Опять я, кажется, сделал не то... – вымолвил он, выпрямляясь. – Что ж!.. Прошу извинить!.. – И он улыбнулся, как ей показалось, с иронией. Это ее взорвало.

– Вам все смешки да смеюнчики!.. Глупо!.. – Анна Павловна, не оглянувшись, скользнула в открытую дверь.

Моргунов потоптался на месте и молча ушел. С тех пор они не встречались ни разу.

Вспоминая об этом теперь, она прошептала:

– Я сделала тоже «не то»!.. Оттолкнула его от себя... А как он мне нужен!.. Сегодня!.. Сейчас!..

Не зная, куда себя деть, она постепенно спустилась к реке, миновала породный отвал, завод стройматериалов, локомобильную электростанцию и химическую лабораторию. Тут она оглянулась. По склону уходящего кверху неровного берега лепились землянки. Анна Павловна постояла, подумала и пошла по направлению к ним.

– Ольга дома? – спросила она, когда ей открыли на стук. – А, это ты?!. Вот удача!..

Она зашла в комнатенку. На дворе уже начинало темнеть, но в землянке ярко горела стоваттная лампа и от натопленной печки тянуло приятным теплом.

– Анька! – удивилась Ольга Ивановна. – Вот хорошо, что пришла... Раздевайся, садись!.. Чайник сейчас закипит, а у меня есть печенье и сахар... Ты по какому-нибудь делу?

– Нет, просто так... «посвистеть».

– Вот и прекрасно!.. Повесь там, на гвоздь, в уголке!

Ольга Ивановна – в былые времена журналистка – освободилась весной, отсидев восемь лет по СОЭ. В лагере чуть не загнулась. Сначала работала в шахте в бригаде навалоотбойщиков, потом – после травмы – породоотборщицей, затем водовозом, швеей по починке бушлатов, уборщицей, прачкой, дневальной в лагерном штабе. Здесь ей, наконец, повезло: взяли в ЧОС счетоводом. И жизнь изменилась как в сказке. Работа в тепле, за канцелярским столом, место на нарах в чистом женском бараке для АТП, третий с премблюдом котел, называют на «вы» и по имени-отчеству. И не слышно обрыдного клика – «Давай!», и снова – газеты и книги, и – возможность писать. По сравнению с недавним прошлым – не жизнь, а малина! Так можно срок отбывать! Он к тому же не вечен, когда-нибудь кончится...

И действительно – кончился! «Все на свете проходит!» Подошел ее день, и Ольга Ивановна – освободилась. Получила справку, вышла из зоны и – осталась на прежней работе, но только «по вольному найму»: деться-то некуда! Перенесла из барака свое барахлишко в землянку, к подруге. Стала жить, как все люди живут. «А дальше?!. А дальше – как Бог даст!..»

Анна Павловна с ней познакомилась только недавно. И – в одночасье сдружилась. Ольга – умная, милая женщина, море симпатии и изрядный запас легкомыслия. С ней хорошо!

– Садись, Аня, грейся! Что нового слышно?.. Располагайся как дома!

– Да я и так не стесняюсь, – ответила Анна Павловна, пододвигая табуретку к столу. – А нового?!. Что ж!.. У меня хорошего нет... Получила ответ на запрос: детей опять не нашли... Все так же, как было...

– Да что ты?!. Опять?!. Негодяи!.. Но ты не отчаивайся!.. Надо писать и писать!.. Они не иголка, найдутся!.. Следы должны сохраниться... Теперь будет легче, война с Японией кончилась, архивы наладят... Я верю – найдешь.

– Я тоже надеюсь... бесследно пропасть не могли... Буду упорно искать...

– Анечка!.. Я всей душой...

– Верю!.. Но больше не надо об этом... Лучше давай о другом!.. Что у тебя?.. Писем нет?

– Пишут!.. Письма идут... только до нас не доходят.

– Плохо!.. А это – откуда?.. – Горинская стала просматривать лежащие на столе журналы – «Война и рабочий класс» и «Британский союзник». – Новые, августовские!.. Серьезно... откуда?..

– Ты что?!. С неба свалилась?!. Здесь «кто?» и «откуда?» не спрашивают, – резко ответила Ольга, но сразу смягчилась. – Откуда, откуда!.. От знакомых, конечно. Один инженер получает... Ему из Москвы бандероли идут!

Они посидели, поговорили, выпили чаю. Ольга – душа нараспашку – поделилась с Горинской собственным счастьем: она познакомилась здесь с обаятельным парнем. Он – зека, пересидчик, ему сорок лет с небольшим, работает в плановой части, душа-человек. Мальцев ему обещал к ноябрю «условно-досрочное»... Теперь не попасться бы только... успеть дотянуть.

– Я прямо влюбилась в него... Мы сошлись... Я как вновь родилась. Иду на работу – пою! С работы – пою! Хочется жить!.. Анечка! Хочется жить!.. Понимаешь?!. Столько лет я была неприкаянной... А теперь... Море мне по колено... хотя... любовник из зоны – зека! – дело очень опасное!

Анна Павловна слушала молча. Она знает, что Ольга Ивановна влюбчива, что у нее даже в зоне бывали романы. Но разве можно ее осуждать?!. Никогда! «Пусть

тот, кто безгрешен, первым бросит камень в нее!» Анна Павловна этого делать не станет. Она искренне хочет Ольге счастья. «Но... что из этого выйдет в дальнейшем?!»

– Олечка, милая, что же будет – потом?!

– Что будет, то будет! Зачем мне сегодня об этом заботиться?!. Здесь, как ты знаешь, живут одним днем... «Хоть день – да мой!..» Пока что мы счастливы оба, а там... А там! Хоть трава не расти!.. В наших условиях на долгосрочные связи – до гробовой там доски или дольше – рассчитывать нечего... А жизнь-то проходит!.. Так зачем же ее упускать?! Вспомни, чему научила нас зона: «Не оставляй на завтра того, что можно слопать сегодня!»

– Ольга!.. Что за язык!.. Сравнила гвоздь с панихидой!.. Как же ты можешь?!. Ведь это – цинично!

– О, Боже! Какой ты ребенок!.. Мы же – взрослые люди.

Анна Павловна спорить не стала. «Зачем?!. К тому же... кто знает?!. Может быть, Ольга права? Быть одинокой не каждой по силам».

Вечер прошел незаметно, а когда Анна Павловна вышла от Ольги, погода уже изменилась. На темном бархатном небе горели яркие звезды. Тучи исчезли, стало еще холоднее, но ветер утих. На севере небо пылало, по нему беззвучно катились замысловатые светлые волны. Они все время меняли свои очертания. Словно гигантская бахрома какой-то космической скатерти или прозрачное, вихрем гонимое пламя пожара, скользили лучи по иссиня-черному фону. Гребенка прозрачных штрихов то угасала до бледно-лунного цвета, то вновь разгоралась, и в ней появлялись желто-зеленые нити разных оттенков. Через секунду-другую они собирались в вертикальные длинные ленты, пучки и полоски. И это все колебалось, сближалось, расходилось, исчезало и вновь появлялось.

Анна Павловна шла в гору и любовалась чудесной картиной.

– Как хорошо!.. Как прекрасно! – шептала она. – До чего же это красиво!..

Северное сияние взбередило ей душу и навеяло массу воспоминаний. Перед мысленным взором промчались ушедшие образы прошлого. Москва, Ленинград, театры, музеи, концерты, литературные вечера и собрания, черный домашний рояль и семейное счастье, и дети, и муж. Где это все?!. Ничего не осталось!.. Даже боль невероятных утрат притупилась, утихла, ушла. И только мечты о возврате прошедшего не оставляют ее... Но возврата не будет... «Мертвых с погоста не носят!..» В безграничном враждебном ей мире она осталась одна, среди равнодушных к ее бытию, к ее чувствам и думам людей. Все, кто ее окружают, – чужие, далекие, чуждые...

Впрочем, это неверно!.. Не все!.. Есть один человек, очень близкий ей духом... Он ее, кажется, любит... «Любит! Ха-ха! Умираю от смеха! В наших условиях... любит! Нелепо!»... Ну, хорошо! Пусть не любит. Но он к ней стремится. Она же сама виновата в его отдалении... «Дура я, дура! Не надо скрывать от себя: он мне нужен!.. Да, нужен!.. Ольга права: жизнь проходит, не надо ее упускать, надо жить, пока можется... Ольга, конечно, не образец, не пример, но она все-таки счастлива!.. Счастлива!.. Что же мне делать? Господи! Помоги мне понять и – решиться!»

Придя домой, Анна Павловна долго ходит по комнате, и вдруг, словно бросаясь в холодную воду, быстро идет в коридор, к телефону.

– Александр Сергеевич! – говорит она в телефонную трубку. – Это Горинская... Вы свободны сейчас?.. На наряд?.. А во сколько освободитесь?.. В двенадцать?.. Ну, что ж! Все равно. Зайдите после наряда ко мне! Мне нужно вам что-то сообщить.

Моргунов появился в половине первого ночи. Он постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Горинская встала навстречу. Несколько секунд они оба молчали.

– Что?.. – спросил, наконец, Моргунов тихим, сдавленным голосом. – Что вы... хотели... сказать?!.

– «Ты победил, галилеянин!» – чуть слышно шепнула Горинская.

Моргунов задохнулся, но тут же собой овладел. Молниеносно сбросив с себя телогрейку и кепку, он подошел к Анне Павловне и бережно обнял ее.

– Анечка!.. Аня!..

Он целовал ей лицо, губы, глаза, а она, трепеща от восторга и мгновенно вспыхнувшей страсти, прижималась к нему и жадно ловила губами его поцелуи.

XX

Уже второй месяц шахта не выполняет план. Стоят сильные морозы, и поверхность плохо работает. Пурги заносят железнодорожные пути, прекращают подачу вагонов, наметают сугробы высотой в 7–8 метров. В шахте не хватает рабочей силы, северное крыло вступило в полосу геологических сбросов, износились и рвутся канаты, на третьем горизонте участились суфляры.

Это влечет за собой невыполнение плана и норм, а по результатам работы – кормятся люди: ниже проценты – хуже котел, меньше хлебная пайка. И работяги – недоедают, а голодный шахтер не добытчик. Он рассуждает бесхитростно: «Дуйся не дуйся, а в этих условиях норму не выполнишь, а раз это так, незачем и надрываться. Что тридцать процентов, что девяносто – пайка одна! Так лучше сидеть, отдыхать, чем ишачить!»

И шахта хромает на обе ноги, но Михаил Митрофанович Мальцев слышать не хочет ни о каких объективных причинах. Ему давай уголь любой ценой и при любом положении. И ночные селекторные отчеты стали страшнее египетских казней.

– А что вами сделано, чтобы повысить производительность?.. Вы плететесь в хвосте!.. До какой же поры шахта будет тянуться в обозе?.. Когда будет уголь?!. Вам понятен вопрос? Отвечайте!.. Это все – отговорки! Закройте все ваши конторы, перебросьте людей на навалоотбойку!.. Давайте добычу!.. Вы поняли, что я сказал?!.

Отвечать на все его резкие и безоговорочно-требовательные вопросы и приказания – трудно. Да и что отвечать-то?.. Он и сам знает причины невыполнения плана; пока что морозы и пурги, суфляры и сбросы людям не подчиняются; плохое питание зеков тоже от нас не зависит: это сверху – от НКВД! А рабочая сила?!. В шахту и так уже загнали всех аппаратных работников, бухгалтеров, счетоводов, банщиков, прачек, врачей, медсестер, культработников, даже каптеров и поваров, даже беременных женщин! – но они все равно не справляются.

И тоскуют каждую ночь у селектора руководители шахты, думают, что бы такое сказать, чтобы было похоже на правду и казалось достаточно веским. И замирает сердце у них, как и у всех, кто находится тут. И облегченно вздыхают они, когда, наконец, в репродукторе рявкнет желанная фраза: «Давайте следующую шахту!»

Шахта в прорыве, и, чтобы его залатать, создают нервотрепку и бум. Помогут они или нет, не имеет значения. Важно другое: видимость принятых мер. Одна из таких – прикрепление к службам, участкам и сменам специальных дежурных. И хотя всем известно, что грош им цена, но зато есть о чем доложить на отчете. И на участке у Моргунова тоже торчат толкачи. Сегодня в первую смену – ночную – дежурил инспектор Звонков.

Ночь была нехорошая, трудная. Лава сильно давила на крепь, могла завалиться. Пришлось звать на помощь крепильщиков. Они пробили органку и посадили нижнюю часть. Лава утихла, но через час вышел из строя конвейерный

привод. Его исправили быстро, стали работать и тут – в самый горячий момент – остановился уклон и простоял целых двадцать минут,

И все-таки план удалось накачать. Пятьдесят вагонеток насыпали, и теперь Моргунов и Звонков шли к стволу, расплываясь в улыбках. Лица их были покрыты угольной пылью, спецовка промокла, в сапогах надоедливо хлюпали грязь и вода.

– Ох, – зевнул Моргунов, – как я устал! Восемнадцать часов пробыл в лаве. «Не пимши, не емши», – как говорят. Выеду, вымоюсь и скорее домой. Спать завалюсь. Анька поди не дождется, чай вскипятила, оладий нажарила!

– Кто?! – удивился Звонков. – У тебя что – жена завелась?

– Попутчица, Аня Горинская. Жена-то в Москве... Далеко!

– Да, неблизко!.. И давно ты с Горинской живешь?

– Нет, недавно! Месяцев пять... Она – медсестра... В хирургическом...

– Знаю ее!.. Недотрога!.. Ну и как?.. Подходящая?..

– Редкая женщина, брат! Добрая, нежная, чуткая. Я раньше жизни не видел. Только и знал: в шахту, да спать! Читать что возьмешь, в башку не идет. Белье сменить надо, смотришь: не стирано. Пуговица оторвалась – пришить ее некому. В общем, дело знакомое: холостяк он и есть холостяк... Дневальный в бараке у нас – один на шесть комнат, пользы с него, как от козла молока. Дома бывать не хотелось... А теперь я домой, как на праздник, иду. Знаю: встретит меня поцелуем, в комнате вымыто, чисто, скатерть лежит на столе, на окнах – цветы, несмотря, что лютует зима. И душу есть с кем отвести, и горем и радостью с кем поделиться. Она – все поймет, все разделит со мной... А бескорыстная!.. Смех!.. Я ей месяц назад пуховый платок подарил, а она мне – стихами: «Напрасно! Мы без этого будем друг друга любить, что ты тратишься, сокол мой ясный!»

– Чьи стихи-то – ее?.. Сама сочинила?.. – удивился Звонков.

– Нет, не ее!.. Никитина, что ли!.. Она очень много читает, а память на редкость. Как один раз прочтет, так наизусть и запомнит!..

– С первого разу? Надо же!..

Они помолчали.

– Знаешь, – сказал Моргунов, – Я когда с ней сходился, то все предлагал: «Давай, пока нам по пути, вместе жить, временно, значит; вдвоем-то ведь лучше!»

– «А если приедет жена, – говорит, – или муж мой найдется?!»

– «А тогда – разойдемся!»

– «Нет, – говорит, – это мне не подходит. Мы же не мусульмане! Им пророк Магомет, – говорит, – разрешает браки на время, а для нас, россиян, временный брак – явление звероподобное. Я ведь не лодка, чтоб брали меня напрокат. Если я уж сойдусь с кем-нибудь, то насовсем... пока жизнь не разлучит». Так мы и не столковались. А потом – неожиданно, вдруг, без всяких условий, сошлись... Я думал, по-моему вышло: приедет жена – разойдемся, и вся недолга! А теперь вот не знаю, что делать! Влюбился я, что ли, в нее?! Не пойму!.. Как вспомню жену-то... московскую... так в душе начинает свербить. Вроде даже... не хочется.

– Ну что ж! Раз не хочется – плюнь! Живи с этой!

– Так просто?!. Плюнь?! Живи с этой?! И все проблемы исчерпаны?! А как же Маруся... жена?!. Она десять лет дожидалась!.. Измаялась вся!.. Помню, в тридцать шестом... самой было нечего есть – какой у студентки доход! – так она отца оседлала – какого отца: солдафона, тупицу, фанатика! – и мне в тюрьму передачи носила... А после – гонения в тридцать седьмом и восьмом... Устояла! Не отреклась!.. А потом... сколько горя от немца во время войны приняла!.. Эвакуация, голод, заботы... И теперь к ней спиной повернуться?!. Подлецом надо быть!.. Я ей писал: приезжай!.. Я ей вызов послал!.. Обещала приехать... Сначала в побывку, а после, быть может, – совсем... И все это бросить?!. Нельзя так, нельзя!.. Попутчица – это попутчица, а жена остается женой!

– Да!.. – растерялся Звонков. – Задача!.. Даже не знаю, что сказать!.. Ну, делай как хочешь!..

Они подошли к стволу и на канате поехали кверху.

– Сегодня-то нам хорошо! – заметил Звонков. – План за ночь дали и подготовку для смены оставили. Отчитаемся классно! А завтра что будет?!.

– Увидим! – сказал Моргунов, пригибаясь пониже и светя своей лампочкой на верхняки. – Эх, и спать же я буду сейчас! Как мертвец!..

XXI

Кончились зима и весна, и опять наступило воркутское лето с круглосуточным солнцем на небе, часто не видным из-за сплошных облаков; тундра опять ожила и зазеленела, и ослепительно белые куропатки перекрасились в пестрых, и снег почти стаял, и вновь стали злобствовать комары, и разменяли шестой год пересидки те, кому надо было освободиться в июне 1941 года, а «особое распоряжение» все еще не приходило. И, казалось, – не будет конца этой проклятой волынке.

Но конец наступает всему, и вдруг – хотя этого «вдруг» ждали четырнадцать месяцев! – появился приказ: освободить всех, отбывших свой срок, и в будущем тоже – освобождать! И пошли под конвоем на пересылку многие сотни людей освобождаться. Шли с удовольствием, с радостью. Мечтали о том, что уедут, вернутся в родные места, восстановят разбитые семьи, мечтали, что жизнь улыбнется еще раз и начнет отсчет времени не от текущего дня, а от дней доарестных, и станет случайным эпизодом все, что пришлось пережить.

Но мечты не сбылись: каждый вышел на волю с записью в справке, что гражданин имярек освобожден «за отбытием срока», «с применением тридцать девятой статьи Положения о паспортах». А куда с такой справкой поедешь?!. В Тмутаракань, или в «угол медвежий», или в подобное им захолустье?!. Так не лучше ли, если ты только работал не на общаге, не рисковать, не искать добра от добра, а остаться на месте, на зековской старой работе, но в положении вольнонаемного?! Здесь ведь жилплощадь получишь скорей, чем где-либо; все здесь знакомо, и все тебя знают, и, кроме всего, здесь – заполярные льготы, год работы считается за два, – а это не шутка, если учесть, что срок заключения в стаж не включается! Зарплата высокая, плюс к ней – надбавки, и отпуска – удлиненные... Правда – климат суровый, слишком короткое лето, солнца не видно, но мы же не огурцы и не цветная капуста! Проживем как-нибудь и без солнца! Тем более что думай – не думай, а другого-то выхода нет!

Выхода не было и у «условно-досрочников», и у всех, кому выпало «счастье» освободиться во время войны или после нее, и у тех, кто остался работать «по вольному найму», то есть таких, как Моргунов и Горинская. Кое-кто, наплевав на разумность и логику, все-таки уезжал, полагая, что где-то устроится, питая надежды на помощь родных или близких, на прежние связи, знакомства и – блат. Надежды, как правило, не исполнялись... Иллюзии таяли быстро, как снег под горячей водой. Те, кто уехал, скитались из города в город, подходящей работы найти не могли, о жилплощади только мечтали. Ими гнушались даже в далеких провинциях, даже в сельских районах; над ними всегда, непрерывно висел – как с горькой улыбкой острили они – «намоклый меч». Письма от них, приходящие на Воркуту, вызывали ужас и гнев, но почти что у всех, вместе с сочувствием, – эгоистическое самодовольство: «Я-то предвидел все это заранее, я не ошибся, оставшись по вольному найму!»

Моргунов уезжать и не думал. Он собирался взять отпуск, съездить в Москву, повидаться с родными, походить по музеям, театрам, своими глазами увидеть, что происходит на свете, каковы перспективы на жизнь вне шахты и вне Воркуты. Но

прежде всего надо было решить, как поступить с запутанной личной жизнью. Он женат на Марусе и, хотя не видел ее десять лет, но продолжает любить. «Люблю ли я Марусю?.. Конечно!.. Это не отзвуки прошлого!.. Это – любовь!.. Сомневаться не нужно!»

Но живет он с Горинской и... тоже любит ее! – «Люблю двоих?!. Как это можно?!. Это – безнравственно!.. Да!.. Я согласен!.. Казните меня!.. Но Аня мне – ближе жены!.. Вам не понять этой страшной коллизии... ее надо выстрадать, надо ее пережить!..»

И Горинская тоже терзалась и мучилась. Дети не находились: то ли погибли они, то ли им дали другие фамилии. Такое бывало не раз. Где их искать – неизвестно! А муж? Муж пропал окончательно. В этом нет никакого сомнения. Формулировка «осужден на десять лет без права переписки» означала уничтожение. Никто из таких «осужденных» не возвращался и – теперь это ясно, как солнечный день! – не возвратится. Так кто же осудит ее за то, что она полюбила, за то, что кончились годы невыразимой тоски и безбрежного, поглотившего все, одиночества?!. Она ведь – живой человек!

Моргунов ей принес настоящее счастье. Оно могло разлететься в любую минуту. Она это знала, но думать об этом уже не могла. Моргунов и она стали одним существом, и Анна Павловна растворилась в совместном их мире: она упивалась их близостью, жила его интересами, – все эти стойки, бурилки, органки, давление кровли, обрывы цепей, несчастные случаи и травматизм, все, что его огорчало, все, чем бывал он доволен, ей также близки и понятны. Год промелькнул, а чувство ее не ослабло. Мнилось, природа решила воздать ей сторицей за все огорчения, муки, невзгоды. Но все это длилось – увы! – только до осени первого послевоенного года.

Уже в сентябре-октябре стала она замечать, что Александр Сергеевич становится все озабоченней. Бывает – сидит за столом, слушает то, что ему говорят, и вдруг она видит, что мысли его далеко-далеко. Он смотрит куда-то мимо нее и явно не видит того, на что смотрит.

– Сашенька!..

– А?!.

– О чем ты задумался?.. Что у тебя на душе?..

– У меня?!. Ничего!.. Я... просто отвлекся!..

И она обретала спокойствие.

Но на днях он сказал:

– Анечка!.. Надо быть честным!.. Я тебя обожаю!.. Мне с тобой хорошо и спокойно!.. Ты – все для меня!.. Но на днях мне Маруся прислала письмо... Она скоро приедет сюда... Нам надо расстаться!.. Жена есть жена!..

Анна Павловна побелела и ухватилась за стол; молча, со слегка приоткрывшимся ртом, впилась она в Моргунова глазами. Она не могла говорить, не могла даже плакать.

Прошло полминуты. Она овладела собой, встала, прижала руки к груди и, стиснув пальцы, сказала:

– Ну, что ж!.. Значит... кончилось счастье!.. Прощай!..

Моргунов растерялся, вскочил и замер, не зная, что делать, а она закрыла руками лицо и вышла из комнаты.

– Вот и все! – сказала она, выходя.

XXII

Сколько воды утекло и как все изменилось с тех пор, как расстались Маруся и Александр Сергеевич на последнем свидании перед этапом, в Бутырской тюрьме! Десять лет миновало с того дня! Лет, настолько насыщенных, что хватило бы их не

на одно поколение. Как долго тянулись проклятые годы, а пронеслись – неизвестно когда! Мелькнули – и нет их! Сколько событий они унесли!..

Маруся окончила свой биофак, защитила – блестяще! – диплом, а затем, углубив и расширив тему дипломной работы – «О влиянии отрицательных температур на жизнеспособность некоторых видов бактерий», – превратила ее в диссертацию.

Все протекало прекрасно. Удача, удача, и еще раз – удача! Самая главная: о репрессированном муже не вспомнили, допустили к защите, и перед самой войной ученый совет института большинством голосов, при одном-единственном «против», присвоил Марусе ученую степень кандидата биологических наук. И ВАК – утвердил!

Перед ней открывалась дорога в науку, но разразилась война и смешала все карты. Маруся попала в эвакуацию, стала работать, но не над тем, что влекло, и не там, где хотелось. Долгое время жила без друзей и знакомых, одна, тосковала по мужу. Хранить ему верность не представляло большого труда: лагеря и война изъяли мужчин из ее окружения.

Однако, позднее, с фронта вернулись комиссованные, и с кем-то из них, сама не поняв, как это вышло, Маруся вступила в случайную связь.

Не принесла она ей ни восторга, ни радости. Было противно, и только. Объект оказался неподходящим. И долго держалось потом ощущение грязи, неотмываемой, липкой. Но – постепенно прошло. Жизнь продолжалась.

И еще были встречи, и даже – привязанность, но «настоящего» не получалось. Где-то, совсем в глубине, остался нетронутым образ любимого мужа. И очень мешал увлечениям.

Маруся работала в бывшем Обдорске, теперь Салехарде, на рыбозаводе, терзалась своим положением, неинтересной работой, разладом между духовными запросами и фактическим образом жизни, мечтала уехать, уволиться, но никак не могла: мешали Указы. Просто так не уйдешь, не уедешь: обвинят в самовольном уходе, разыщут, посадят в тюрьму. Единственный выход – иметь разрешение. Надо его добывать и просить, ведь причина серьезная: «хочу съехаться с мужем, соединиться с семьей!»

– А где документы? – спросили ее. – Мало ли что ты натреплешь!..

– Доставлю! – сказала она и написала письмо в Воркуту, Моргунову.

Он приложил все усилия, исхлопотал, чтоб послали ей вызов. Теперь, получив все бумажки, она упросила начальство ее отпустить. Директор завода не соглашался сначала, потом уступил, но поставил условие: отработать полгода. Она сообщила об этом Александру Сергеевичу, и оба они стали ждать.

Письма Маруси стали длинней и сердечней, и приходили значительно чаще. Александр Сергеевич ей отвечал.

В этом была новизна. Дело в том, что в последние годы Маруся писала все реже и суше. Исчезли из писем – не сразу, конечно, – и обеты в ненарушаемой верности, и излияния в вечной любви, и планы на жизнь в дальнейшем, – жизнь совместную, дружной семьей, – и нежные, одному Моргунову понятные возгласы – осколки ушедшей интимности, и даже неясный, но так хорошо понимаемый им душевный подтекст, улучшавший мгновенно его настроение.

И хотя Александр Сергеевич давно уже разумом понял, что иначе и быть не должно, каждая вновь приходящая почта с какой-то, как мнилось ему, недомолвкой оставляла в душе неприметный для первого взгляда осадок. А последнее, полученное незадолго до разрыва с Горинской, письмо его обожгло. Много раз доставал он его из подшитого к внутренней стороне телогрейки кармана и, хотя знал почти наизусть, вновь и вновь перечитывал. Маруся писала, что скоро приедет: вероятно – в побывку, а может случиться, и – насовсем, но,

говоря откровенно, боится подумать о том, какой, после долгой разлуки, окажется встреча.

– «Время, – писала она, между прочим, – вносит свои коррективы в надежды и планы людей; мне трудно сказать, дорогой, что у нас выйдет в дальнейшем. Ведь прошло – десять лет!.. Это треть моей жизни!.. А если еще говорить не обо всей, а лишь о сознательной части ее, то это – почти она вся!.. Конечно, я изменилась, да и ты, несомненно, стал не таким, каким был. Наша мечта – быть вместе, вдвоем, несмотря ни на что, – разбита временем вдребезги, и теперь я не знаю, удастся ли нам воскресить нашу прежнюю близость, наше единство... Давай попытаемся, милый!.. Будем стараться!..

Знаешь, Сашок, – писала дальше Маруся в этом последнем, длинном и откровенном, письме, – за истекшие годы встречались мне разные люди, – ведь я не весталка, я – женщина, я – человек, «Homo sum», как ты говорил, – кое-кого я знала из них хорошо и – наблюдала за ними, пыталась понять, «из чего они сделаны», вникнуть в их сущность, в характеры, в их психологию. Я пыталась найти между ними и мной что-нибудь схожее или подобное, может быть – общее, то есть такое, что было тогда, на заре нашей жизни, между тобою и мной... Не удавалось! И – не удалось!.. Ты остался один, ни на кого не похожий, неповторимый, единственный, с кем мне было всегда хорошо...»

Моргунов читал между строк. «Значит... Ну, что ж!.. Так и должно было быть... Это – законно!.. Естественно!.. Я и сам не безгрешен... Десять лет – это целая жизнь!.. Но одно дело – рассуждать, признавать безусловное право, закономерность, естественность... другое – действительность, факты!.. Больно и горько!.. Но я – человек!.. Надо же быть человеком!.. Надо все побороть, победить, надо вынести все!.. А для этого нужно скорее поставить все точки над «и», отрезать пути и тропинки к «нечеловеческим» чувствам... Надо скорее – съезжаться с Марусей!.. Она ведь – жена!..»

И он, скрепя сердце, начал готовиться к встрече. Нашел в себе силы расстаться с Горинской. Купил кое-что из вещей, отремонтировал комнату, ждал.

И Маруся уже собирала вещички, не зная еще, как доехать до места. «Неужели же ждать, пока вскроются реки, и тогда по Оби, Иртышу и Тоболу добираться в Курган, а оттуда, вокруг всего света, через столицу Урала – Свердловск, через Молотов, Киров и Котлас, попадать, наконец, на дорогу, ведущую на Воркуту? Да и доедешь ли этой дорогой?! Знатоки говорят, что в Кожве опять пересадка, что там теснота невероятная, что в вагонах творится Бог знает что, что можно застрять на любом пересадочном пункте».

– А нельзя ли махнуть напрямик?! Через Уральский хребет? Ведь если по карте смотреть, Воркута – совсем рядом!

Оказалось, что в принципе – можно. Нужен случай, попутчики и заменители денег: водка или спирт.

Возможность представилась скоро. Какой-то хозяйственник ехал с ненецким арьюшем и прихватил – не задаром, конечно, – на Воркуту и Марусю. Благо еще, что – зима, что Обь подо льдом, и можно проехать в санях всю ее мощную, двадцатикилометровую ширь в Лабытнанги, небольшую факторию, – несколько домиков и продовольственный склад, что приютились на левом, почти в этом месте необитаемом, берегу великой реки. А в Лабытнангах не пропадешь: туда приезжают оленеводы – за чаем, за хлебом, за солью. С ними, если сторгуешься, можно уехать. Договорилась Маруся за спирт и за деньги.

И вот посадили владельцы оленей своих пассажиров на низкие, легкие нарты, надели на них, чтобы они не замерзли и живы остались, свои одеяния – из оленьих шкур сшитые малицы и совики, – подняли над каждой оленьей упряжкой тонкую палку длиною с оглоблю – хорей, что-то такое прикрикнули, и – полетели, как вихрь, олени по снегом засыпанной тундре. Как и куда их гонят возницы,

совсем не понять, и – не нужно. Пассажирское дело не думать – надо смирно сидеть, пытаясь спрятать от ветра лицо, сохранять, постоянно рискуя свалиться с подпрыгивающих на снежных неровностях нарт, равновесие, смотреть временами в белесую даль на затуманенный снег и полагаться всецело на прирожденный инстинкт везущих вас ненцев, непостижимым путем находящих в ничем не размеченных, белых, однообразных равнинах нужное им направление.

Несутся олени, пересекают Полярный Урал и снова спускаются в тундру; свирепеет мороз, и далеко-далеко разносится в голом, безмолвном пространстве скрип нарт.

Так вот и мчалась Маруся под звездами целыми мутными днями. Стояла полярная ночь, но в этих местах темнота не сплошная. Солнце хоть не восходит, но атмосфера светлеет. Около полудня часа три–четыре подряд в тундре бывает достаточно светло. Олени выносливы, едут почти беспрерывно, но временами и людям, и им дают передышку – пообедать. Ненцы едят так: ухватив зубами большущий кусок оленьего мяса, почти что всегда замороженный, они отточенным остро ножом быстро-быстро срезают ломти перед ртом и жуют их кусок за куском. Маруся глядела на них зачарованно: как не заденут они нос и губы? Она бы начисто срезала то и другое, а они – ничего: управляются быстро, без происшествий и травм.

Приближается время ночлега. Олений кортеж стопорит. Сооружается чум. По образующим конуса прямо на снег ставятся жерди, их накрывают оленьими шкурами, затем настилают такие же шкуры, и в чуме, в центре разводят походный очаг. Двадцать–тридцать минут – и жилище готово, котелки набивают снегом и льдом и ставят в огонь, приготовляется чай. Беспокойная, трудная для непривычного, ночь в задымленном чуме вступает в права. Люди ложатся вповалку, и начинается храп.

Марусе опять повезло. Погода была неплохая. Ничто не мешало поездке, и на четвертые сутки вдали блеснула сбитая в кучу россыпь огней погруженной в полярную ночь Воркуты.

Ее подвезли прямо к дому, к бараку, где жил Моргунов. Он лежал на кровати одетый. Не спал. Телеграмму-то он получил, но где и когда можно встретить арьюш, совершенно не знал.

Маруся вошла. Александр Сергеевич быстро вскочил.

– Маруся?!.

– Сашок?!.

Они обнялись.

У Маруси брызнули слезы. Александр Сергеевич тяжко дышал. Хотел что-то сказать, но не смог: спазма сдавила наглухо горло, и оба они еще долго молчали, пытаясь унять овладевшее ими волнение.

– Боже! Как ты постарел! – первой сказала Маруся, вытирая глаза маленьким, дамским платочком. – Кошмар!

– А ты... раздобрела!.. – ответил ей Моргунов. – Не потолстела, а... просто немного раздалась в кости... Стала солидней!.. Но тебе это очень идет!.. Так что ты... не печалься!..

XXIII

Кончался уже второй месяц после приезда Маруси, а прежняя близость и единение душ между супругами не появлялись. Они уже все рассказали друг другу, не скрыв ничего и взаимно простив и измены и грешные мысли. Впрочем, слово «измена» звучало у них иронически: они рассудили, что именно так надо к нему относиться, что пережитое слишком объемно и горько и, по сравнению с ним, было бы просто неумно уделять большое внимание такому банальному

факту, как адюльтер, да еще в времена многолетней разлуки. «И кому, как не нам – развитым, образованным людям – пересилить своим интеллектом инстинкты, присущие массе?!.»

– Мы должны быть выше суждений толпы!.. – твердили они. – К этому надо принудить себя! Ведь мы не мещане!.. Жизнь очень сложна вообще, а наша – не приведи никому!.. С обычными мерками к ней подходить не годится. Так будем людьми в самом высшем значении этого слова, назло всем смертям и всякому злу начнем жить вторично... Сначала! О прошлом забудем! Былое быльем поросло!..

«Забудем?!.» Так просто?!. Мало ли что и кому может хотеться забыть!.. Сделать это себя не заставишь! Память цепко держала прошедшее, не выпускала его, и незримая, грустная тень омрачала их отношения.

Что это было?.. Не ревность ли к прошлому?.. Нет! Они примирились со всем происшедшим, с печатью, наложенной скорбью, слезами, годами разлуки, страданиями. Но примириться – не значит забыть.

Им хотелось любить, приходить при взаимном сближении в прежний экстаз, относиться друг к другу по-старому, именно так, как когда-то, в первые годы совместной их жизни или в те жаркие ночи в саду, когда спали они на земле, под сосной, и сливались в одно и душою и телом. Пусть десять лет улетели в ничто, пусть много мук и печалей принес перерыв, но теперь они вместе, и вновь должны стать одним существом, не разделенным ничем.

Не получалось, однако! И причиной тому послужила не ревность, а – отчуждение, следствие долгой разлуки, во время которой их жизни текли по расходящимся руслам. Время всевластно! Их интересы и взгляды стали различными, привычки и нравы – другими; мало того, они охладели друг к другу физически.

Не возвращался душевный настрой, определяющий все. «Я не знаю, удастся ли нам воскресить нашу прежнюю близость, наше единство», – писала Маруся в последнем письме. Не удавалось пока что, сбывались ее опасения...

Да и могло ли случиться иначе?! Все изменилось за десять лет. Моргунов – уже не студент, не философ, живущий делами Вселенной, не юный мечтатель, плененный восторгами первой любви, а человек средних лет, изведавший, как он выражался, «почем на базаре фунт лиха», – жил теперь шахтой, участком, добычей угля, людьми, за чью безопасность и самую жизнь, эффективность труда и кормежку отвечал головой и нравственно, и юридически.

Он внутренне был одинок и часто нуждался в моральной поддержке, в сочувствии, дельном совете и женщине-друге, способном понять и разделить его горе и радости. Но разве он мог поделиться с Марусей своими заботами?

Разве мог рассказать ей, как скверно бывает ему от сознания, что работяги-шахтеры систематически недоедают, слабеют, доходят и выбывают из строя, ибо нормы питания в этом году почему-то снова понизились? Как терзают его днем и ночью настырные мысли о том, что обязательно надо найти, изыскать любые возможности, чтобы вытянуть их – работяг – на шестой, самый лучший из всех, но все же не сытный котел; как ему надо хитрить и крутиться, заведомо зная, что, заряжая туфту, ставишь себя под удар, но делать иначе не можешь, потому что иначе – людей «доведешь»? Разве сможет Маруся постичь весь трагизм его положения?!.

А что она понимает в его повседневной подземной работе – в обыгранных стойках, в отстающем креплении лавы, в конвейерном приводе со срезанной шпилькой, вместо которой рабочий воткнул бородок и сжег этим самым мотор?! Что говорят ей слова – «заштыбованные решетаки» или «шаговое напряжение», от которого только неделю назад погиб слесарь участка Григорий Ильич Абрамсон, в прошлом – филолог, знаток древнеиндийского эпоса?!. Все для нее тут и ново и странно, а бытие горняка, поглощенное тяжким трудом, ее устрашает.

Но ведь на воле, в Москве, например, мужья очень часто не делятся с женами, чем они заняты на производстве, на службе, в быту. И жены им тоже не говорят о работе, держат язык за зубами, а все же живут с ними вместе, и зачастую – неплохо.

Конечно! Но там есть досуг и другие интересы, взаимно доступные обоим. Здесь же круглые сутки одно – работа, работа, работа! И только она!.. А может быть, там, на свободе, дружба жен и мужей – не такая?! Не та, о которой мечтали теперь и Моргунов, и Маруся?!

Как бы то ни было, в их отношения явственно вкралось «что-то не то». Иногда Моргунову бывало с Марусей тоскливо, как с посторонним, пресным и скучным знакомым.

– То ли дело с Горинской!.. – думал он иногда. – Анька сроднилась со мной, стала близкой, своей! Она ж – воркутянка! Все понимает и в шахте, и в лагерной жизни! С ней было спокойно и – хорошо!

Он гнал от себя эти «постыдные» мысли. Но они время от времени вновь появлялись.

Примерно такое же чувство владело Марусей: «Сашок – мой муж!.. Но он явно не тот, каким был. Как сумел он прожить столько лет в этой проклятой Богом дыре?!. Как он вытерпел, выжил?!. И как изменился во всем!.. Он же настолько спаялся с работой и лагерем, что не видит собственных мук, грубости жизни, однообразнейшей скуки ее!.. Как хватает его на такую тяжелую жизнь?!. Каждый день или ночь под землей, три раза в день на нарядах, дома бывает минутами, не высыпается, и ничто, кроме до'бычи (а почему не добы'чи?), не возбуждает его».

А как тяжко ей самой без дела! Она до сих пор не работает. Негде!.. Пыталась устроиться в лабораторию, ходила, справлялась. Ответили: «можно, пожалуй, принять... Лаборанткой... Взамен заключенного!.. На анализы крови, мочи или кала!» Это ее, кандидата наук, – лаборанткой!.. К тому же – взамен заключенного!.. хлеб у него отбивать?!. Нет! Не годится!.. Она отказалась, даже не думая. Но что теперь делать?.. Дома сидеть?.. Какая бесцельная жизнь!.. Тоска!..

«Хоть бы с Сашей все стало по-старому!.. Но и этого нет! Что-то стоит между нами!..»

Она ложится в постель с Моргуновым, обнимает, целует и шепчет: «Роднусь мой, роднусь!» А он отвечает: «Маруночка! Милая, сердце мое!» Кажется – все, как бывало когда-то! Но ощущение это – неискренне, это – слова! Это – внешне!.. А внутренне?.. Внутренне... что-то не то! Нет прежней близости, страсти, огня, нет – единства. И оба чувствуют это, и оба страдают.

– Что делать? Что делать?!.

А если попробовать жить по-иному?! Почаще быть вместе? Наедине и на людях? Ходить вдвоем в тундру, в театр, в клуб и кино, по гостям? Надо попробовать!.. Надо! Но... времени нет!..

Конечно, времени мало. Но раз это нужно, необходимо найти.

И вот Моргунов отрывает от шахты часочек-другой и вместе с Марусей уходит на лыжах в открытую тундру. Маруся на лыжах ходить не умеет. Он учит ее, устает, раздражается, часто глядит на часы и, возвращаясь в поселок, сразу бежит на наряд. Оставшись одна, Маруся тихонько льет слезы в подушку... Не повезло!..

Не повезло и в другой раз: выбрались вместе в кино, взяли билеты заранее. Так страстно хотелось отвлечься, провести этот вечер вдвоем. Отбросить хотя бы на время заботы и думы. Не вышло! Шел «Иван Грозный» знаменитого Эйзенштейна. Об этом кино говорили и спорили. Кто-то даже намекал на «социальный заказ»: идея картины совсем-де не в Грозном и не в XVI веке, а в том, чтобы путем аллегории оправдать беззакония Сталина!

Моргунов и Маруся решили ее посмотреть, «чтобы иметь представление». Но не успел завязаться сюжет, как с балкона послышался вызов: «Моргунов! Срочно

на выход!.. Скорей!» Александр Сергеевич тут же поднялся и вышел из зала, ничего не сказав. Маруся ушла вслед за ним. Вышла и – заплакала в голос.

Не удавалось сближение. Они отдалялись все больше и больше, начали ссориться. Маруся решила уехать в Москву. Александр Сергеевич не одобрял, но и не отговаривал. Похоже было на то, что они расстаются совсем.

Помешал непредвиденный случай.

Однажды в конце февраля, в морозное серое утро, подул юго-западный ветер, сначала умеренный – метров пятнадцать в секунду – потом все сильней и сильней. Стало теплеть. Моргунов собрался идти на наряд.

– Не выходи никуда! Пурга надвигается! – сказал он Марусе. – А мне, к сожалению, надо идти.

Он стал надевать полушубок.

– Нет!.. Я одна не останусь!.. Тоже уйду!.. — гневно вскипела Маруся, но потом постаралась смягчить свою резкость. – Я ненадолго. Потренируюсь на лыжах хотя бы... Мне – скучно одной...

– Не советую!.. Будет пурга!..

– Ну и что ж! – возразила она. – Что я, пурги не видала?!. Для лыжной прогулки метель не помеха!

– Ты не знаешь еще, что такое пурга! – сдержав раздражение, произнес Александр Сергеевич. – Те пурги, в которые ты попадала, – детские шутки!.. В общем... как хочешь!.. Дело твое!.. Но все-таки лучше – перетерпи!.. Оставайся дома!.. А я не могу: мне на наряд обязательно надо.

И – ушел.

Маруся опять разозлилась: «Перетерпи!.. Тебе хорошо!.. Нет уж, достаточно я натерпелась!..» Она взяла лыжи, быстро оделась и вышла.

Дующий порывами ветер ударил в лицо. Мороз обжигал.

– Ничего! На ходу разогреюсь!

В тундре стало еще холоднее, Маруся согнулась и энергично работала палками. Ветер дул теперь в спину и подгонял все вперед и вперед.

– Поеду по старой лыжне. Это мы с Сашей ее накатали...

Она отошла километра четыре, устала, решила вернуться домой, но на обратном пути налетела пурга. Природа взбесилась. Снежная буря застила свет, свистела, стонала, ревела. Перед глазами нависло, как занавес, белое марево. Видимость стала ничтожной: с трудом различался даже конец лыжной палки. Свирепствовал ветер, кидая Марусю из стороны в сторону и угрожая свалить ее с ног. Беспрестанно лепил влажный снег, ресницы смерзлись, и на лице нарастал толстый панцирь из снега и льда. Его приходилось счищать поминутно, но вынуть руки из варежек было нельзя: несмотря на совсем, по воркутским понятиям, слабый мороз – градусов шесть или семь, – они замерзали мгновенно.

Маруся устала, идти непрерывно не было сил, но когда она останавливалась передохнуть, ветер сразу же возле нее наметал настоящий сугроб. Она обессилела. Неудержимо хотелось заснуть, но знала – нельзя! Заснешь – не проснешься. И она, призывая последнюю волю, медленно шла, не видя куда, давно потеряв направление. «Нет, мне не выйти отсюда! Гибель пришла!.. Зря я не послушалась Сашу. Он же мне говорил... Надо же быть такой легкомысленной». Ей стало страшно и жалко себя: она еще так молода, и вдруг – умереть, замерзнуть в снегу!

– Нет, нет! Не хочу!.. – кричала она и рыдала, пряча от ветра лицо. – Саша, родимый, услышь! Я больше не буду соперничать с шахтой!.. Ты для меня самый близкий, самый родной человек!.. Нет, не услышит... теперь все пропало!.. Прощай, мой любимый, прощай, мой Роднусь!.. Прости, если можешь!.. Так вышло!..

Теперь, когда смерть заглянула ей прямо в глаза, она ощутила, что любит его непомерно. «Как раньше!.. Как прежде!.. Нет, еще больше, сильнее!.. Прежняя

близость меж ними, единство и счастье, вернулись, восстановились с лихвой!.. Как жаль, что так – поздно!»

Маруся рванулась из снега, наметенного выше колен, и, потеряв равновесие, грузно упала. Правая лыжа сломалась и встала торчком... Сильная боль в нижней части ноги, у лодыжки, сковала ее. Подняться она не смогла.

Минуту-другую в ней еще шевелилась надежда на чудо, на то, что удастся спастись, но реальность безжалостно била по ней. Поочередно пришли безнадежность, отчаянный страх перед смертью, покорность судьбе, отупение и – безразличие.

– Теперь уже все! – примирилась она с неизбежностью.

И неожиданно вспомнила, что говорил в «Русских женщинах» Трубецкой, проезжающей через Иркутск, губернатор этого города: «А ураган в степи застал – закапывайся в снег!»

– Значит – можно спастись?!. Закопаться?!. Не все еще кончено?!. Тундра и степь – разница не велика! А здесь и трудиться не надо: пурга закопает сама!

Усталость и нервы сморили ее, и она внезапно заснула.

А Моргунов в это время, нагнув вперед голову и наступая на ветер, шел из нарядной домой.

Он побледнел, увидев Марусино платье, отсутствие лыж и костюма, неразогретый обед и угасавшую печку, в ужасе крикнул: «Маруся!» Никто не ответил. Он обезумел, схватил свои лыжи, кинулся вон: «В такую погоду!.. Она же погибнет!.. Но где она?!. Где?!. Тундра так велика!.. Где искать?..»

Он стремительно гнал, напрягая все силы и нагибаясь почти до земли, по занесенным, невидимым тропкам, где ходил так недавно с Марусей вдвоем. Тяжко дыша, он ложился всем телом на ветер, сметая с лица налипающий снег, и все торопился: «Скорей! Скорей!»

– Господи! Где мне искать? Подскажи!.. А если Маруся двинулась новым путем?!. Что тогда делать?!. Стоп! Это знакомая кочка, вблизи от нее озерко!.. Точно! Правее должна находиться наша лыжня! Правильно!.. Так!.. Не потерять бы ее!..

Он выбивался из сил, обмерзал, но не чувствовал холода, пот с него лил, как в парилке на верхней полке, а сквозь ворот его полушубка пробивался к горячему телу колющий иглами снег.

Пробегав на лыжах часа полтора, он отчетливо понял всю безнадежность усилий, предпринимаемых им. «В тундре найти человека в пургу трудней, чем иглу в стоге сена». Его обуяло отчаяние, и захотелось сесть прямо на снег и – замерзнуть: «Зачем мне жить, если погибнет Маруся?!. Как не умел я ценить свое счастье!.. Маруся, родная, живи!»

Схлынуло все, что мешало в последнее время. Сломались преграды. Нет больше призраков, вторгшихся в их отношения, вставших меж ними. Почему он считал, что Маруся его не поймет?!. Какое фальшивое, ложное чувство!.. Все поймет, все освоит!.. Теперь он сумеет Марусе рассказывать все!..

«Пойму и освою!.. Глупый мечтатель!.. Фантаст!.. Уже не пойму, уже не освою! Марусеньки нет и не будет!.. Даже тело ее обнаружат только весной... или летом... Когда стает снег...»

Бушует пурга. Пробиваясь сквозь льдистый туман, по тундре на лыжах бредет человек. Ему не хочется жить. Он непомерно устал. Он валится с ног. Хочется лечь и заснуть. Но врожденный инстинкт гонит и гонит его в непроглядно-молочную мглу. Сил уже нет, он едва шевелится, но вдруг – наваждение, что ли? – почти рядом с ним, чуть правее, в плотной, сумбурно летящей завесе возник длинный белесый сугроб и в нем вертикально торчащий предмет – кусок переломленной лыжи!..

И не пурга уже – нервы бушуют! Усталости нет! Откуда взялось столько сил?!. Человек разрывает руками и палкой крепко спрессованный ветром сугроб. Под снегом – Маруся!.. Он бросается к ней. Прижимается ухом к остылой груди. Сердце, кажется, бьется! Или это резвится пурга?!. Щупает пульс – нитевидный, но – есть! Дыхание тоже заметно. Маруся – жива!.. Правда, она – как покойник, лицо обморожено и побелело, но это уже не так важно! И человек, давно позабывший, как выглядят слезы, начинает биться в истерике. Правда – недолгой, он тут же овладевает собой:

«Спокойней! Спокойней! Сейчас не до слез! Надо действовать! Быстро! Немедленно!..»

Он приступает к работе: трет перчаткой Марусины щеки, дышит ей в рот, шевелит. И вот – результат: Маруся очнулась. «Быстрее! Быстрее!..» Но растяжение связок на правой ноге не дает ей идти, а кругом – ни души! Только ветер свистит, и поет, и рыдает, и снег, как безумный, летит и бьет по глазам. Ждать нельзя ни минуты, и Александр Сергеевич тащит жену то на руках, то на закорках, то на единственной лыже. За белой завесой не видно ни зги, но словно библейский огненный столп, ведший евреев в пустыне, идет перед ним – неевреем – сейчас. Александр Сергеевич движется, находя путь только по наитию.

Ему хочется что-то сказать, передать, что он чувствовал. Мысленно он произносит: «Марусенька, милая! Если б ты знала...», но она все равно ничего не услышит при этом грохочущем ветре, и он замолкает. Мысль одна – дотянуть, не свалиться! Иначе... Нет, страшно подумать, что будет иначе... «Кто это выдумал, кто произнес, что силы меня оставляют?! Неправда! Я сильный, я выдержу! Стихия должна покориться мне! Темнеет в глазах?!. Неправда! Неправда!.. Это пурга затемняет дорогу!.. Не сдамся, не сдамся!.. А вот и совсем хорошо: потянуло дымком!.. Это – поселок!.. Ура!.. Немного взять влево, и вот – поликлиника!»

Облепленный снегом, как снеговик со снегурочкой, Александр Сергеевич вносит Марусю в приемный покой и аккуратно кладет на застеленный белой простынкой диван. Кто-то подходит к нему, кто – он не видит. Все поплыло кругом. Он успевает сказать:

– Скорей! Помогите!.. – и, теряя сознание, валится на пол.

XXIV

«Все хорошо, что хорошо кончается!» – утверждает пословица, а прогулка на лыжах в пургу окончилась благополучно. После короткого обморока Александр Сергеевич ожил почти моментально. Сам, без вмешательства медиков. Но ему все же впрыснули кордиамин и навязали больничный листок. А еще через день он, отдохнув и проспав почти целые сутки, приступил, несмотря на запреты врачей, к своей повседневной работе. С Марусей вышло сложнее: пришлось лечь в больницу и пролежать в ней две с половиной недели, пока кончились боли в ноге, и удалось залечить неглубокие – к счастью! – обморожения щек.

И надо же было случиться, что медсестрой в хирургической женской палате больницы веэн, где лежала Маруся, дежурила в эти недели – Горинская. В первый момент ни та, ни другая друг друга не вспомнили и не узнали. Да и где ж тут узнать?!. Ведь прошло десять лет после той трагической зимней ночи, проведенной случайно вдвоем в квартире Горинской, – одной-единственной ночи знакомства, надежд и страданий, взаимного расположения, после которой они никогда не встречались. Немудрено не узнать и забыть, хотя отголоски их встречи, какие-то смутные воспоминания, продолжали таиться в душах обеих.

– «Я ее где-то встречала, но где, хоть убей, не припомню», – щурясь, глядела Маруся Горинской в лицо, пока та бинтовала ей ногу.

– Вы в нашей больнице впервые? Вероятно, живете не здесь?.. Не на Руднике?.. – осторожно пыталась хоть что-нибудь установить, в свою очередь, и Анна Павловна.

– Здесь, но недавно... Меньше двух месяцев...

– Поэтому я вас не знаю!.. А где же вы жили до переезда? В городе или в районе?

– Я в Воркуте вообще не жила. Я приехала к мужу...

– А он... работает – здесь?

– Да... начальник участка на шахте...

Анна Павловна вздрогнула и побледнела. Екнуло сердце, бинт выпал из рук. Скрывая волнение, она нагнулась за ним и, подняв, нарочито медленно встала.

Маруся заметила что-то неладное:

– Что с вами?! Вам плохо?

– Нет!.. Ничего!.. Все в порядке!.. Это со мною бывает!.. – солгала Анна Павловна. – Не беспокойтесь, пожалуйста! – и, немного помедлив, спросила:

– Скажите-ка... Вы... не – Маруся?!. Случайно?!

– Да, меня так зовут!.. А вы меня знаете разве?.. Мы с вами знакомы?.. Мы – как мне кажется – где-то встречались?!. Напомните!.. Где?!.

И неожиданно, словно вынырнув из глубины, реминисценция стала яркой и четкой картиной. Перед глазами проплыли луна, зимняя звездная ночь, млечный путь, Большой Каменный мост, лед на черной воде, и у железных перил – горем убитая женщина... Вспомнились имя, фамилия... вспомнилось – все!

– Ой, я вас вспомнила! Вы... Анна Павловна?!. Да?..

– Вспомнить можно лишь то, что когда-нибудь было известно, а после забылось... – сказала Горинская.

– Конечно!.. А как же иначе?!. Вот вы и вспомнили...

– Я не вспомнила, а догадалась. Ведь я вас не знала... А вам кто-нибудь обо мне рассказал?!.

– Вот тебе раз!.. «Кто-нибудь рассказал»?!. Ничего не пойму!.. Разве не с вами мы целую ночь просидели, горюя о наших мужьях?!. В тридцать шестом... в декабре! Или это были не вы?!. Я ошиблась?..

Анна Павловна густо краснеет.. Теперь она тоже вспомнила все!.. Ей стыдно и радостно. У нее отлегло от души: «Вот откуда она меня знает. Значит, совсем не от Саши!..»

– О, боже!.. Простите меня, если можно!.. Это, наверно, склероз!.. Значит, мы знали друг друга?!. А я-то подумала... нечто иное... Что с вами было, Маруся?.. Ваш муж уцелел?.. Мой не вернулся, пропал... Кстати, вы мне не сказали фамилию вашего... Северцев, тоже?..

– Нет! Моргунов... Александр Сергеевич...

Анна Павловна вновь помертвела, руки дрожат и никак не завяжут узел повязки. «С чего бы, казалось?!» Она жадно глядит на Марусю: «Вот она какая!.. Мир тесен!.. Москва... Воркута... Большой Каменный мост!.. Что творится со мной?!. Успокойся немедленно!.. Будь человеком!.. Что тебя взволновало?!» – молча кричит она себе, подавляя истерику.

– Что с вами? Вам дурно? Господи!.. Надо кого-то позвать?!.

Анна Павловна сразу приходит в себя.

– Не надо!.. Не надо!.. Уже все прошло!.. Просто мне... стало неловко, что я не узнала вас сразу... Вы для меня столько сделали!.. В тридцать шестом!.. Как я могла позабыть?!. Ну, простите, простите меня!.. А сейчас я... пойду!

Анна Павловна быстро уходит. Маруся с сочувствием смотрит ей вслед: «Бедная женщина!.. Вспомнила прошлое... разволновалась!.. Жаль ее!.. Сколько изломанных жизней встретила я за короткое время!.. Немудрено взволноваться!

Но, – продолжает она размышлять, – кажется, каким-то образом ее волнения были связаны и с Сашиной фамилией... Странно!.. Случайно ли это?!. – Она застывает от мысли, мелькнувшей в мозгу. – А может быть, Саша... Он рассказал мне о той, кто его утешала, но рассказал не подробно, а так, между прочим, не говоря о деталях, не называя фамилию, имя... то есть так же, как сделала я!.. Почему бы и не она – Анна Павловна?! Ведь возможно же?!. Впрочем, мне-то не все ли равно? Чем она лучше или хуже других?! Я не ревную. Пусть будет она! Но для нее – неожиданность, шок!.. Вспомнила и – взбудоражилась! Чувствую сердцем, что так!.. Надо у Саши спросить!..»

После наряда проведать Марусю в больницу пришел Моргунов и... встретился там с Анной Павловной. Они не видались давно – с того самого дня, когда Александр Сергеевич ей сообщил о предстоящем приезде жены, и они разошлись и расстались без злобы и слез, но со смятенными чувствами. Увидев теперь в коридоре больницы Горинскую, Моргунов инстинктивно попятился. Сердце его провалилось куда-то, а потом учащенно забилось. Дорогой ему облик вызвал в душе вспоминания – столь неуместные здесь, чуть ли не рядом с постелью Маруси – о миновавшем блаженстве и радостях. Ему захотелось снова обнять Анну Павловну, поцеловать ее в губы, в глаза, в шею, исповедаться ей в своих чувствах, в своем раздвоении. Он застонал, сжал на мгновение веки, но пересилил себя и бодро пошел ей навстречу.

– Анечка!.. Здравствуй!..

– Мы разве на «ты» до сих пор?! – побелела в ответ Анна Павловна. – Может быть, лучше иначе: «Александр Сергеевич, здравствуйте»?!

– Ну, зачем же так зло?! Не сердись!.. Я же тебя не обманывал!.. – он запнулся, вздохнул и продолжил совсем другим тоном. – Я... люблю тебя, Аня!.. Люблю до сих пор!.. Но – знаешь! – жена есть жена!

– Понимаю!.. Двоиться приходится?.. Трудно?..

– Не то слово, Анюта!!.. Но... зачем повторяться?!. Грешен я!.. Признаюсь откровенно!.. Нет у меня твоей цельности!.. Я не святой!..

Анна Павловна молча закрыла глаза, и на них показались слезинки, она их смахнула рукой и сказала с надрывом, едва не рыдая:

– Сашенька, глупенький мой!.. Что ж теперь делать, раз так получилось?!. Грешный ты человек, но ведь и я не святая!.. И не надо меня... переоценивать. Что ж!.. Не такая уж цельная я, как тебе показалось... Я обдумала все... все, что случилось... Для размышлений о прошлом времени было достаточно... И – тебе я скажу... Пусть будет правда за правду!.. Я тебя очень любила... да что там «любила» – люблю и сейчас!.. Но если бы чудо свершилось, если б внезапно вернулся мой Севка – он не вернется, его расстреляли, конечно! – я бы ушла от тебя в тот же день, может быть, только всплакнув о тебе на минуту...

Она замолчала, стиснула зубы, пытаясь унять сильную нервную дрожь, не совладала с собой и плачущим голосом произнесла:

– Сашенька!.. Что же творится на свете?!. За что?!. Почему мы такие несчастные?! Для чего это все?!.

Моргунов встрепенулся:

– Для чего?! – заставляя себя успокоиться, тихо сказал он. – Что могу я ответить?!. Только одно: к вящей славе Господней!

Он помолчал и добавил:

– Ничего не поделаешь, Аня!.. Прощай!..

Он прошел дальше, в палату к Марусе, едва прикоснувшись к руке Анны Павловны.

XXV

Моргунов приходил повидаться с Марусей каждый день. Пережитое в тундре, возможная гибель и чудо спасения восстановили их прежнюю близость, связали их души в единую сущность, изгнали незримую тень, омрачавшую их отношения. Как будто внезапно рассеялся мрак, затемняющий жизнь, и солнечный луч человеческой, светлой любви прорвался сквозь серую пленку невзгод и взаимного непонимания. Теперь они вновь обожали друг друга, забыв обо всех неприятностях; теперь они снова ловили минуты свиданий и понимали друг друга с первого слова и даже намека.

Однажды, когда у Маруси сидел Александр Сергеевич, в палату зашла Анна Павловна.

– Здравствуйте! – тихо сказала она. – Я вам принесла аскорбинку, Маруся. Примите, пожалуйста, сразу!

И вышла.

– Саша... это – она?! – внезапно спросила Маруся, не поясняя, о чем и о ком идет речь.

Но Моргунов ее понял немедленно.

– Да, – сказал он. – Она!.. Ты... ревнуешь?!.

– Ну, что ты!.. Зачем?.. Одобряю твой вкус!.. Очень милая женщина!..

– Кроме тебя, мне не нужен никто! – проговорил он, склоняясь к Марусе. – Ты – веришь?..

– Конечно! Конечно, Роднусь!..

Они помолчали.

– А знаешь, Сашок?.. Это – та самая, с кем нас столкнула судьба в тридцать шестом... в комендатуре НКВД, а затем – на мосту... Я писала об этом тебе. Но прошло столько лет, ты, конечно, не помнишь!.. Мне показалось тогда, что она хочет броситься в воду... Я ее увела... Мы пошли к ней домой, и просидели вдвоем целую ночь напролет... Ох, какое ужасное время пришлось пережить!

– Оно и сейчас ненамного улучшилось!.. А письмо твое я вспоминаю... Конечно – ужасно, но все это, в целом, – один небольшой эпизод нашей слезами омытой истории, только строчка в весьма многотомной мартирологии нашего времени...

– Может быть, это и так, – сказала Маруся, – но я сейчас говорю о другом. Ты только подумай, как странно: сколько совпало случайностей, чтобы мы, все втроем, оказались здесь вместе. Длинная-длинная цепь неповторимых событий!.. А ведь достаточно было ничтожного случая, какого-нибудь чуть заметного несовпадения времени, места, отдельного действия, и цепь бы распалась. И все бы пошло по-другому. Поведай кому-нибудь, скажет – судьба! И понимать ее будет буквально, а не как условность и анахронизм...

– Мы с тобой поменялись ролями, – сказал Моргунов. – Ты философствуешь, ищешь причины отдельных событий, анализируешь смысл понятий... Не заняться ли мне биологией?!.

– А неплохо бы было! Мы бы совместно с тобой разработали тему: «Жизнь в вечномерзлых грунтах»!

– Что?! – пораженный внезапной идеей, вскричал Александр Сергеевич, – Что ты сказала?! «Жизнь в вечномерзлых грунтах»?!. «Это же – мысль!» – изрекает в таких случаях умный еврей Лев Соломонович Гольденберг – близкий мой друг по этапу, а ныне начальник финчасти. Он, кстати, приятель «санбака» Каляева, начальника лаборатории. Пусть скажет ему как-нибудь: «Знаешь что, кореш?! На Руднике есть человек, способный заняться проблемой бактерий, замерзших десятки и, может быть, сотни тысячелетий назад! А нельзя ли попробовать их оживить? Человек, о котором я говорю, – жена Моргунова; она защитила перед войной кандидатскую на очень похожую тему. Специалист без туфты! С документами!.. Ну, что ты скажешь?» Каляев мгновенно зажжется! Я о нем слышал. Он

же – энтузиаст! «Да, – вымолвит он, – хорошо бы!.. Но как это сделать?.. Где деньги?.. Где план?!.»

Само собой разумеется, в лаборатории, в плане работ, подобного нет и в помине, но при помощи умного Льва можно уладить вопрос. Мы докажем ему, что такая проблема достойна внеплановых ассигнований, а неувязки в расчетах он может принять на себя. Ну и пусть он с санбаком вдвоем пораскинут мозгами, пусть померекают, что надо делать. Если эти упрутся рогами, Мальцев даст денег. Это – как пить дать! Он любит играть мецената!.. Ну вот!.. А ты говорила – купаться!..

– Когда это я говорила?!. При чем тут «купаться»?!. И что за странная речь?! Кто такой «кореш»? Зачем «упираться рогами»? Какими рогами? Во что?..

– Не понимаешь?!. Ну и не надо!.. Это – наш лагерный, местный язык!..

– Нечто вроде блатного арго?! Но зачем же к нему прибегать? Разве русский язык недостаточно ясен для выражения мыслей и чувств?!

– Во-первых, наш местный язык не арго! Это тот же русский язык, «великий, могучий, правдивый и свободный», и на нем можно выразить все. Во-вторых, язык не подобен замерзшим бактериям, обнаруженным здесь, в вечномерзлых грунтах. Он живет, растет, развивается, он может болеть и стареть и, даже, как всякий живой организм, скончаться. Однако в процессе развития любые слова из арго, становясь достоянием масс, обогащают язык, придают ему образность, сочность. Не прививаются только «больные» слова, слова-инвалиды, нежизнеспособные, грубо звучащие, мертворожденные; их не приемлет народ, и они умирают совсем, не успев расцвести... Поняла мою мысль? Согласна?..

– Откровенно сказать, не совсем... Многое кажется спорным... Но я не считаю себя компетентной, ведь я не лингвист.

– Между прочим, я – тоже!.. Но я не так осторожен, как ты, и, выражая свои убеждения, не справляюсь сначала о том, что думал по этому поводу... Сталин.

– Саша!.. Ты – снова за старое! Мало ты настрадался?!. Хочешь еще?!.

– Эх, Маруся, Маруся!.. Впрочем, это неважно!.. Итак, решено: сегодня вместо ночного наряда пойду к Гольденбергу... Пусть помощник хоть раз управится сам, без меня!.. Я ему позвоню... И диспетчеру – тоже! Придется сказать – голова заболела. Или лучше – живот?!.

И действительно, вечером, вместо того, чтобы идти на наряд, Моргунов пошел к Гольденбергу. Лев Соломонович жил, как и прежде, в землянке, но произвел в ней, как он выражался, «сверхкапитальный ремонт»: утеплил, сделал пол, потолок, обшил досками стены, оклеил их плотной бумагой, покрасил масляной краской. Жил он один, но его посещала, – так утверждала молва, – какая-то вольнонаемная женщина, работница склада ВВ. Александр Сергеевич сразу же в это поверил, увидев убранство землянки: образцовый порядок в вещах, чистоту, скатерть с затейливой вышивкой и самодельный плетеный коврик у входа.

Лев Соломонович принял его с нескрываемой радостью.

– А! Пропавшая грамота!.. Здравствуй!.. Куда провалился?.. Где пропадал столько времени?.. Я уж справлялся: чи ты живой, чи помре! Сам лично хотел навестить. Да постеснялся. Вдруг застанешь в постели, в обнимку с женой!.. Что тогда будет?! «Незваный гость хуже татарина»! Кажется, так говорят?!.

– Это ты на меня намекаешь?!.

– Бога побойся! Болтун!.. Ты для меня самый лучший приятель и друг. И зван ко мне загодя ночью и днем!.. Да садись, наконец!..

– «Раз пришел, то садись!» Понимаю!.. «Гость не кость, за дверь не выкинешь!»

– Брось ты!.. Хватит шутить!.. С чем Бог принес? Говори!

– С просьбой, конечно! Дело, видишь ли, в том... – Моргунов рассказал все подробно.

Лев Соломонович выслушал.

– Так!.. Нужно подумать, обмозговать!.. То, что она – кандидат, это плюс. И тема ее диссертации тоже! А вообще это – мысль!.. Поговорю!.. Обещаю!.. Считай, что заметано!.. Вот, когда это будет, точно тебе не скажу!.. Дай мне месяц-другой, а пока – съезди в отпуск, в Москву! Ты ведь в отпуске не был?!. Бесстыдник! Совсем одичал!.. Ну-ка! Марусю под ручку и у-у-у! – он загудел, подражая свистку паровоза. – В самом деле, езжайте!.. Я вам устрою билеты в прямой купейный вагон до Москвы. Теперь такой ходит, как льгота для нас, воркутян. Без пересадок поедете!.. Словно большое начальство!.. Идет?..

– Ишь ты, скорый какой!.. Идет, не идет?!. Так такие дела не решаются... Надо подумать, обговорить! Узнать Марусино мнение.

– Да сам-то ты хочешь? Поедешь?

– Не знаю пока... Очень сложное дело... Я бы съездил давно, да родных-то в Москве не осталось. Не к кому ехать!.. Прежние связи тоже давно оборвались, и в паспорте – тридцать девятая, в гостиницу с ней не сунешься... Где ночевать?!. Чум, что ли, поставить на сквере, возле Большого театра? Чтобы поближе к Лубянке!..

– Ну, что ты несешь?! У Маруси там мать, и отец! И даже братишка!.. Сам ведь рассказывал!..

– К ним нельзя! От них на Лубянку скорей попадешь, чем из чума!

– Проблема!.. Ну, снимешь комнату у кого-нибудь!.. Только приличней оденься: мягкую шляпу, пальто... В Москве уже будет весна. Поспрошай там у всяких старух в магазинах. «Мы, – скажешь, – с женою проездом. Нам-де на трое суток!..» Найдешь!.. Один адресок я подкину... А там – «Бог не выдаст...» Подумай!

– Подумаю, спасибо, – сказал Моргунов, – а ты без меня про меня не забудешь?

– Не беспокойся!.. Ведь ты меня знаешь! Какой может быть разговор!..

XXVI

После долгих раздумий и колебаний Моргунов и Маруся все же решили съездить в Москву. Александр Сергеевич выпросил отпуск. Собрали вещички, принарядились как только могли, заготовили впрок провианта – ехать почти восемь суток, а вагон-ресторан в этом поезде будет ли, нет ли, – и, простившись с друзьями, двинулись в путь. Лев Соломонович слово сдержал лишь отчасти: раздобыл им билеты в специальный воркутский вагон, но только до Кожвы, дальше не удалось, – но зато заместитель начальника шахты выделил лошадь и кучера, чтобы отвезти уезжающих в город на станцию.

От Воркуты до Печоры – примерно пятьсот километров – поезд тянулся почти трое суток. Шел он медленно-медленно и подолгу стоял на разъездах. Ехать быстрее не позволяла дорога: ее до сих пор не закончили, хотя строили в годы войны в архиспешном порядке; гнали тогда, людей не жалея, в три смены, в полярную ночь, жесточайший мороз и свирепые пурги, давая по два километра за день. И, конечно, – на скорую руку. Кое-какие работы, без которых дорога не мыслится, – земляное полотно, например, – во многих местах пропускали, оставляли на после, а шпалы и рельсы стелили «пока что» на голую землю, на топкую торфяную почву болот, отвердевшую в злые морозы той беспощадной зимы до консистенции камня. Балластировку делали плохо: «Ладно!.. Потом!.. Сейчас не до этого!.. Надо как можно скорее: пропустим вот первый состав, откроем движение, а тогда уж доделаем все!» Так и работали...

Как только забили последний костыль и рельсы сомкнулись, отстукали рапорт, назначили день торжества. Под ликующий гомон пришедшей на празднество массы людей двадцать восьмого декабря первого года войны привели в Воркуту

первый поезд – две малых платформы и пассажирский двухосный вагон, ведомые «овечкой» – паровозиком серии «О». После митинга, радостных, пышных речей и приветствий состав загрузили углем и в этот же день снова отправили в путь. Уже на Москву.

Немного позднее дорогу угодливо назвали «Северо-Печорская магистраль имени Сталина» и... второпях продолжали достраивать, так как ездить по ней было практически невозможно. Даже в зимнее время, при мерзлом грунте, происходили крушения, а с наступлением лета, когда стала оттаивать почва, они участились сверх меры. Дорога тонула в трясине и вспучивалась. Ее приходилось все время поддерживать и ремонтировать. Даже спустя много лет, даже после войны, ее все еще строили и улучшали. Моргунов и Маруся во время пути подолгу стояли у окон и в отдельных местах под откосами не раз замечали остатки разбитых вагонов, рассыпанный уголь, отрезки скрюченных рельсов и детали расшитых путей. А однажды увидели даже большой паровоз, лежащий в кювете на врастающем в землю боку.

Провести несколько суток в поезде – не шутка. Люди от нечего делать томятся, пьянствуют, забивают козла, режутся в карты, играют в шашки и шахматы, в нарды; дрыхнут, как суслики в зимнее время; не знают, куда себя деть. Поговорить по душам и то не с кем. Наверное, в поезде есть интересные люди, но где их найдешь?! Они – как крупинки алмаза в породе. И большинство пассажиров – серятина, или... хочет казаться такой. Моргунов понимает: условный рефлекс – осторожность; пробыв на Воркуте много лет, привыкаешь. И это, пожалуй, разумно. Ведь всегда есть возможность нарваться: скажешь что-то «не то», и – «пожалуйте бриться»! Попадешь в «непонятное». Поэтому умный пассажир держит язык за зубами и подвергается самоцензуре. В ходу анекдоты, но «беспартийные», чаще всего – неприличные, сальные, неостроумные; в интеллигентных кругах их называют солдатскими. Скучно!.. Тоскливо!..

Поезд идет по равнине, укутанной снегом, потом начинается мелкий кустарник, потом лесотундра, за нею лесочек и лес настоящий, но виды суровы и разнообразностью не радуют. Безлюдье пейзажей то и дело сменяется вышками и колючкой оград лагерей. Сколько их?.. «Несть им числа!» Они, словно вехи, уставили путь и идут чередом, не кончаясь.

Моргунов и Маруся целыми днями читали, благо во всех поездах, в которых они проезжали, не было радио, а попутчики – воркутяне, простые, знакомые, из работяг, – оказались спокойными. Но непрерывно читать слишком трудно, и они отвлекались при каждой возможности. На остановках они выходили, слегка разминались и с удивлением видели, как их соседи по поезду торговали селедками – остатком воркутских пайков. Торговали по бешеным ценам, – десять рублей за одну! – стремясь оправдать все расходы по отпуску. Местный голодный народ покупал, не считаясь с ценой.

В Печоре пути Комбината окончились, а за мостом через реку шла уже линия сети железных дорог МПС. Передача вагона, перегонка его через мост, компостирование воркутских билетов, ожидание нового поезда заняли много часов. Но когда в Кожве Моргунов и Маруся с боем втиснулись в общий вагон, то до Котласа доехали быстро. В Котласе снова случилась задержка: пересадка, стоянка, маневры, терзания в кассе.

Приехали в Киров. На почти целодневной стоянке Моргунов и Маруся уговорили попутчиков постеречь вещи и прокомпостировать билеты, дали за это толику деньжат «за услуги» и пошли познакомиться с городом. Они побродили по улицам, вымылись в душе, сменили белье и посетили музей.

Полюбовавшись портретами кисти Левицкого, Боровиковского, Тропинина, Торопова и неизвестных художников прошлых веков, они поспешили к любимым своим передвижникам. Но музей, к сожалению, был ими небогат.

Моргунов и Маруся с острым чувством людей, много лет не бывавших в музеях, жадно впивались глазами в полотна и вспоминали о детстве и юности, Русском Музее и Третьяковке.

Мимо них проходила экскурсия. Им разрешили примкнуть, и они снова пошли по музею, слушая экскурсовода – молодую, довольно красивую женщину в старом платьишке и стоптанных туфлях, объяснявшую с искренним жаром смысл картин и этюдов. Наташа – так звали ее – говорила о творческих жанрах, течениях и направлениях.

– Наше искусство должно быть идейным, реалистическим, – восклицала она с увлечением. – Оно должно нести эмоциональный заряд, служить рабочему классу, раскрывать красоту труда-созидателя и величие образа обыкновенных людей из народа. Иначе оно – бесполезно!..

– Так! – сказал Моргунов, не стерпев. – Значит, Пергамский алтарь, Святая София в Константинополе и Рафаэль бесполезны!.. Запомним!..

– Вы... неправильно поняли! – слегка растерялась Наташа. – Я же сказала: «наше искусство», а то, что вы говорите, уже устарело и как таковое нам не подходит.

– Ну, что ж, будем знать! – насмешливо сказал Моргунов, но на него зашипели, и он замолчал.

– Да! – продолжала Наташа. – Последуем дальше!.. Вот перед нами картина крупного мастера кисти, Прянишникова Иллариона Михайловича... «У тихой пристани». Вот!.. Небольшая!.. Художник ее написал под конец своей жизни, когда в активе его уже числились важные для политического воспитания масс художественные полотна: «Порожняки», «Шутники» и так далее. Но что мы здесь видим?.. Незначительный, мелкий сюжет!.. Банальная сцена!.. Супруги готовятся спать. Муж, старый брюзга и чинуша, страдает бессонницей. Он читает в постели газету. Мягкий свет керосиновой лампы освещает лысую голову, впалую грудь, стариковские руки. А рядом – жена, почти молодая, темноволосая, полная, крепкая. Она стоит лицом к свету и, спустив бретельку с плеча, что-то ищет в рубашке. Сквозь мягкую, тонкую, очень не новую ткань светится пышная грудь. Муж на нее и не смотрит. Он абсолютно спокоен. Какая скучная проза!.. Какое болото мещанства!.. Эти люди не уважают друг друга! Их отношения, чувства и быт некрасивы и нечистоплотны, они соотносятся с внутренним видом – мы говорим, с интерьером – их комнаты, тонущей в полумраке. Вот, посмотрите внимательней. Огромный, но малозаметный киот и иконы, венские стулья; светло-серый женский корсет, брошенный сзади стола, поверх юбок; ширмы и коврики, груда подушек, стеганое одеяло... Здесь люди боятся свежего воздуха... здесь приглушается все-все живое!..

Наташа вздохнула и продолжала:

– Увы!.. Картина имела успех у невзыскательной публики. Художник дважды ее повторял. Это было потворство мещанскому вкусу, ведь нет в ней высоких стремлений, нет большой мысли... Жаль таланта художника, потраченного на зарисовку мелочного быта.

– Что она мелет?! – шепнул Александр Сергеевич Марусе. – Художника жаль?!. Нет большой мысли?!.

И вслух произнес:

– Разрешите вопрос! Почему вы считаете, что биология старости – мелкая мысль? Осень в природе, осенние пейзажи Левитана, Саврасова, Шишкина – это что-то большое, прекрасное, а осень людей, внутренний мир стариков – это не только скучная проза, но даже «болото мещанства»?! Я не согласен. Неверно!.. И ниоткуда не видно, что персонажи картины не уважают друг друга или боятся свежего воздуха, ниоткуда не видно, что их отношения нечистоплотные, что старик, лежащий в постели, – брюзга и чинуша, и к тому же страдает бессонницей.

Все это – выдумки, предположения, они ни на чем не основаны. Нет!.. Картина прекрасна и глубока!.. В ней много печального юмора, жизненной правды и даже трагизма. Подумайте сами: прожита долгая жизнь, страсти остыли, люди привыкли друг к другу, и то, что казалось когда-то тайной и таинством, стало обычным и повседневным. Картина правдива, она говорит о проблеме, могущей встать почти перед всеми людьми.

– Что вы?! Какая проблема?! – почти закричала Наташа. – В этой картине все мелко, в ней нет борьбы классов, нет социальных проблем!

– И не нужно!.. Жанр не тот!.. Здесь психология старости. Здесь прекрасно даны два могучих явления: увядание и привыкание. Разве они не достойны внимания крупных художников?!. А термин ваш – «мелочный быт»?!. Как надо его понимать?!. Ведь не каждый родится во дворце! Народ живет в «хижинах», в «мелочном» быте, но, между прочим, любит и чувствует так же, как и в хоромах, и даже – газеты читает! Не от бессонницы, а от – интереса к событиям в мире!

Наташины пальцы сплелись. Она покраснела, смутилась.

– Не знаю!.. сказала она нерешительно. – Наверное, можно и так понимать... Но нас... инструктируют... мы же специально проходим... теперь точка зрения... – она совершенно смешалась. – Вы извините меня!.. Ведь я на работе!.. Мне надо продолжать экскурсию...

И она повела экскурсантов вперед.

Моргунов и Маруся отстали и вскоре ушли из музея совсем. Разузнав, где что находится, они пообедали в коммерческом, дорогом, но скверном и неуютном ресторане, где обеды давали без карточек, и вернулись на поезд.

Утром прибыли в Горький. Пошли на вокзале в ресторан, умылись, почистились, сели за столик. Все показалось неимоверно роскошным: белая скатерть и сервировка стола, ложки, вилки, ножи из нержавеющей стали, зеркала, мягкие стулья, изысканный тюль и портьеры на окнах. После долгих скитаний по захолустьям решили «кутнуть», заказали на завтрак глазунью и кофе. Официант с орденом Красной Звезды и медалями, но без левой руки, очень быстро подал все просимое, пожелал им «приятно покушать» и удалился. Давно не едали они столь богатого завтрака, и, хотя заплатили за него совсем несусветную цену, – двести сорок рублей, – встали из-за стола, заморив червячка, довольные, с радостным чувством свободных и сытых людей.

Вышли на привокзальную площадь, сели в трамвай, поехали в город. Долго гуляли по улицам, прошли мимо дома, где родился Свердлов, и двинулись дальше по направлению к Волге. Не доходя до реки, свернули налево: там, во Дворце труда, в большом зале, находилась картина «Воззвание Минина к нижегородцам». День был рабочий, и в зал не пускали. Но Моргунов и Маруся все же вошли в вестибюль, поговорили с дежурным, «сунули в лапу», и он разрешил им пройти. Увидев огромнейший холст Константина Маковского, они в восхищении долго смотрели на него, разбираясь в деталях. Потом спохватились, что время уходит, и поспешили к Кремлю.

Войдя в Кремль, в ворота Дмитровской башни, и жадно глядя во все стороны, они быстро прошли всю его территорию, но все ж завернули в заиндевевший, насквозь промороженный Архангельский собор, постояли у могилы Кузьмы Минина. Оттуда Ивановским съездом спустились к одноименным воротам и башне. Дальше, чуть ли не бегом, – к знаменитой Рождественской церкви, обильно украшенной тонкой искусной резьбой по белому камню.

Налюбовавшись, они на трамвае снова поехали вверх. Там, дойдя до Верхне-Волжской набережной, постояли на бровке откоса, растворяясь в широком просторе места слияния Волги с Окой. Слева от них, очень близко, возились пленные немцы. Не по сезону одетые, в серо-зеленых шинелях и куртках, они

приводили в порядок монументальную лестницу, ведущую с берега Волги наверх к памятнику Чкалову.

Неоглядность огромной, заснеженной поймы вдали, голые ветки деревьев вблизи, тишь и прозрачность ясного воздуха вызвали легкую грусть и интимность. Александр Сергеевич обнял Марусю и, наклонив к себе ее голову, поцеловал. Маруся ответила тем же, но сразу открыла глаза и, запинаясь, спросила.

– Саша!.. Скажи мне!.. А ты ее... тоже... вот так целовал!!

– Маруся!..

– Молчи! Я все знаю!.. Я – гадкая!.. Нет у меня права спрашивать! Я же... сама!.. Но я ведь все позабыла... Все это было, как сон... тяжелый и страшный... А ты... ты ее любишь... Сегодня!.. Сейчас!.. Я чувствую это!.. Я даже не знаю – меня ты сейчас целовал... или ее!

– Маруся! Не унижайся!.. Это же – ревность! Нам ли с тобой ревновать?!

– Нам!.. Мы ведь – люди, а все сто процентов людей ощущают ее... Мы только умеем – скрывать!.. Но, скрывая, мы – лжем! А я не хочу больше лжи! Не хочу!..

Моргунов помолчал. Чуткость Маруси его испугала: «Она ведь права!.. Анна Павловна мне дорога. И – в то же время – я тоже ревную... Марусю! Как скверно!.. Впрочем... сила земли... сто процентов!.. Надо себя превозмочь, надо быть Человеком!.. «Знаю я – они прошли как тени, не коснувшись твоего огня...» Ну, вот! Утешаешь себя по Есенину?!. Не нужно!.. Пора примириться! «Что прошло – не вернуть никогда»... Будь, наконец, Человеком!..»

Он пересилил себя и сказал:

– Маруся! Не надо! Не растравляй наши раны!.. Не думай о прошлом!.. Лучше пойдем-ка в музей! Посмотрим картинную галерею.

Маруся молчала. Он взял ее под руку. Она овладела собой и снова прильнула к нему.

– Прости меня, Саша!.. Ты прав!.. Я больше не буду... Пойдем!

Они осмотрели музей, начиная с классически строгого здания. Он оказался намного крупнее и несравненно богаче, чем кировский, но произвел впечатление меньшее. Очевидно, сказалось волнение, пережитое перед приходом сюда, и усталость от долгих хождений по городу, а может быть, также и то, что после вчерашнего дня уже притупилась немного сама новизна посещения.

Конечно, картины и здесь не оставили их равнодушными. Осмотр картин утихомирил Марусю, отвлек от прорвавшейся ревности, она успокоилась внутренне, ей стало легко и свободно, и – вдруг!.. Вдруг при вторичном обходе уже осмотренных залов она подняла покрывало с закрытой витрины с рисунками и – замерла:

– Саша!.. Это – она!..

В витрине лежал рисунок углем на бумаге «Портрет О.А. Макаровой» Репина. Моргунов подошел, посмотрел. Сходство и вправду было разительным. Только прическа не та. А так – Анна Павловна собственным ликом.

Он побледнел от волнения, сердце болезненно сжалось. Инстинктивно подался к Марусе, но она отстранилась:

– Саша!.. Ты любишь ее?! Скажи мне по-честному!.. Ложь – отвратительна!.. Я вижу, мне надо уйти, устраниться. Я не хочу висеть камнем на шее. Скажи!.. Я оставлю в покое тебя... Живи с ней!

«Словно обухом по голове!» Перед мысленным взором Александра Сергеевича пролетела вся его жизнь. Юность, знакомство с Марусей, женитьба, арест и тюрьма, лагерь во всех его видах. И долгие-долгие годы надежд и непрерывной мечты. Мечты о возврате к Марусе, домой!.. Все остальное покрылось туманом. Всего остального как не бывало. «Неужели же начать все сначала?!. Нет! Не хочу!»

– Не говори ерунды!.. Я люблю теперь только тебя!.. Что сегодня с тобою, Маруся?! Ты была так разумна!.. Пойдем!.. Что за внезапный каприз?

Маруся снова обмякла.

– Ты меня любишь?.. Ты правду сказал?.. Мне хочется верить тебе... И не удивляйся капризам... Это нормально!.. Я же... беременна, милый, – шепнула она.

– Что ты сказала?!!

Она повторила. Моргунов облегченно вздохнул.

– Что ж ты молчала, Маруночка?.. Ведь это – прекрасно!

– Роднусь... я не знала, может быть, ты... не захочешь!.. У нас с тобой что-то... не ладилось... – голос ее прерывался, в нем слышались слезы. – Скажи... ты взаправду рад?..

– Конечно, взаправду... – и Моргунов, пользуясь тем, что в зале никого больше не было, обнял ее.

XXVII

Москва встретила приезжающих разноголосицей многообразных шумов, толкотней на перроне и постаревшими за прошедшие годы родителями Маруси. Увидеть последних Александр Сергеевич не ожидал. Правда, он сам послал, уступая просьбам жены, телеграмму из Горького: «Завтра приедем», но умышленно не указал ни время прибытия поезда, ни номер его, и поэтому предполагал, что на вокзал к ним никто не придет. Он не хотел этой встречи, но она произошла.

Первой издали их увидала Марусина мать, Авдотья Петровна, и подбежала к ним с резвостью девочки.

– Доченька, зятенька, милые!..

Обняла их обоих, прижала к себе, замолчала и разразилась слезами.

– Жив, значит, Сашенька, жив!.. А я столько лет горевала...

Подошел Александр Васильевич. Поседевший, но подтянутый, выбритый, в офицерской шинели, в сапогах зеркального блеска.

– Здравствуйте, дети!.. Давно не видались!.. Думал – уже не придется...

Он обнял Марусю, трижды поцеловал, потом подошел к Моргунову. Остановился, замешкался, но все же решился: поцеловал и его.

– Свиделись все-таки!.. Да!.. Ну, ничего, ничего!.. Как-нибудь!.. Обойдется!.. Главное – что?.. Все – миновало. Значит – теперь надо жить!.. Тебя, Александр, совсем отпустили?.. Но не «по-чистой»?!. А что это значит?!. Ай-яй-яй-яй!.. Как же ты – так?!. Кем же ты будешь теперь?!. Беспартийным?!. Нехорошо, друг!.. Совсем даже скверно!.. Ну... ладно!.. Поедем домой!.. Время будет – тогда покалякаем.

В тот же день Александр Васильевич поговорил с Моргуновым, выяснил все до конца и, не послушав его возражений, лично пошел к председателю ЖЭКа доложить о приезде детей и попросить прописать их «на время их отпуска». Тот согласился, но от него ничего не зависело: все решала милиция, где гостевая прописка Маруси возражений не встретила, а Моргунову велели явиться к начальнику. Пришлось покориться – пойти. Начальник милиции взял его паспорт, перелистал, посмотрел, тихонько присвистнул и тут же достал из стола предписание – «покинуть город Москву в 24 часа».

– Прочитайте и – распишитесь!

Моргунов расписался. Паспорт с 39-й статьей выполнял свою миссию неотразимо.

Теперь оставаться у Северцевых было уже невозможно, но немедленно уезжать из Москвы Моргунов и не думал. Он начал быстро искать другое пристанище, что оказалось совсем нелегко.

Москва для него опустела. За истекшие годы все изменилось. Брат окончил МВТУ и получил назначение в Ижевск, сестра вышла замуж и переехала в Киев, мать жила вместе с ней и внучатами, дядя Володя давно скончался. Куда тут пойдешь?! К кому обратишься?!

Поехал по адресу, данному Львом Гольденбергом. Хозяйка открыла, узнала, в чем дело и запричитала:

– Да где же вы раньше-то были?!. Да я бы с моим удовольствием!.. Нету сейчас ничего... Только три дня как сдала... Я бы для Льва Соломоныча в доску расшиблась, а что теперь сделаешь?!. И у Марфуши – живут, и у Лизы – только что въехали... Что же вы раньше-то не упредили?!. Хучь бы письмом, али как... Дней через десять пожалуйте, авось что-нибудь и отыщется...

Поблагодарил Моргунов и пошел по старухам, по магазинам, и по окраинным улицам. Спрашивал, где только можно. Нет, ничего не проклюнулось. Не повезло!

Только под вечер, уже ни на что, не надеясь, решил заглянуть по старому следу к своей двоюродной сестре, Кате Поморцевой. Просто узнать – существует она или нет. И тут – улыбнулась удача.

Дверь открыла какая-то женщина.

– Вам кого?..

– Извините, если ошибся!.. Здесь когда-то жила Поморцева, Катя, Екатерина Андреевна. Может быть, знаете, где она проживает сейчас?..

– Тут проживает. Входите, пожалуйста! По коридору направо, первая дверь.

Подошел, постучал с замиранием сердца.

– Войдите!

Вошел.

– Боже мой!.. Саша!.. Ты – жив?!.

Поблекшая Катя с веерочком морщин возле глаз, но такая же стройная, милая, только чуть-чуть пополневшая, встала навстречу.

– Саша... ты – выжил?!. Ты – уцелел?!. Раздевайся, садись! Я сейчас приготовлю поесть... Я не сразу узнала тебя... Ты – с того света явился?..

Проклятая спазма оставила горло. Он улыбнулся.

– Нет, Катюшенька, все-таки с этого... Но кажется – был и на том.

Он сел, с аппетитом поел, выпил чаю. И долго-долго рассказывал Кате о том, что пришлось пережить. Рассказывал кратко, конечно, обрывками, но чуть ли не обо всем. И – о Кучине тоже.

– Митя!.. – нежно сказала Катя и вздохнула. – Митя, конечно, – погиб!.. Какая кошмарная жизнь!.. Сашенька, знаешь?.. Он был – моим мужем!..

– Знаю! Он мне говорил... Он очень любил тебя, Катя!

– Да, мне так тоже казалось... Но ничего не поделаешь!.. Я тоже любила его всей душой!.. Это – наша действительность!.. Горькая!.. Знаешь, однако... Больше не надо о прошлом... Я и так настрадалась сверх всякой меры. Лучше скажи о себе! Где ты, и что ты теперь?.. Как думаешь жить?..

Моргунов рассказал о себе, об афронте с пропиской, о предписании выехать, о неудаче с жильем.

– Ну, и что же ты думаешь делать?

– Не знаю!.. Пойду от тебя на вокзал, возьму билет в Пензу, или в Тамбов, проведу ночь в вагоне, подумаю и отосплюсь, а завтра побреюсь, поем, погуляю по городу и, тем же макаром, – снова приеду в Москву. Буду пытаться что-нибудь снять... А не удастся – придется уехать к себе, в Воркуту!.. Сначала, конечно, в Киев заеду... К маме и Оле... Повидаться-то надо!.. Но ведь там тоже самое будет... Придется пока что пожить нелегально... Тайком!..

– Ты это – серьезно?!.

– Куда же серьезней!.. А что теперь делать?!.

Катя немного подумала.

– Ладно, Сашок! Сделаем так: поживи пока что у меня!.. Не один, а с Марусей, конечно! Я постараюсь вам не мешать. Ну, а вы, в свою очередь – мне. Квартира у нас – ничего... Подходящая... Только трепаться не нужно! Не надо соседям рассказывать лишнее!.. Ну, и еще: теперь вечерами и ночью, так же, как и везде, в подъезде дежурит наш дворник. Он – инвалид, но злодей, каких мало. Задача его – наблюдать за жильцами. Ему на глаза лишний раз попадаться не следует. Ясно?.. Сделать это довольно легко. Он не очень горячий службист: в двенадцать бросает свой пост и отправляется ужинать. В это время, минут на сорок, на час, подъезд оголяется. Значит – вечером надо вернуться домой или часов до восьми, или уж после двенадцати ночи.

Согласен на это?.. Ну, вот и прекрасно! Иди за Марусей, и приходите вдвоем в двадцать четыре с минутами. Буду вас ждать...

Да, – спохватилась она, – подожди-ка минутку! Не ходи с чемоданами ночью! «Береженого Бог бережет!» Пусть пока полежат у Марусиной мамы. Принесите с собой только личные вещи: мыло, мочалку, бритву, губную помаду, щетки зубные, по смене белья... Ну, и – хватит!.. Все остальное найдется и здесь. Одеяла, подушки, простыни, пододеяльники, даже ночная сорочка – все есть... Места тоже достаточно... Не беспокойся, пожалуйста! Будете спать на тахте!.. А если Марусе покажется тесно, – вдруг пошутила она, – я уступлю ей кровать и лягу с тобой. Надеюсь, что ты не откажешься?!. Ну, не гляди так! Ведь это же – шутка! Я просто вспомнила твой поцелуй... в двадцать девятом году. Ты уж, конечно, не помнишь... Помнишь?!. Скажите на милость!..

Она помолчала.

– Все это в прошлом! Что ж теперь делать?! Назад не вернешь!.. Надо жить настоящим!.. Ладно!.. Давай, отправляйся, а я подготовлюсь к приему невестки. Кажется, так называется наше родство?..

И они поселились у Кати.

Днем топтали московские улицы, наслаждались видом толпы, многолюдностью города, обошли по знакомым местам все районы. Хотели своими глазами увидеть раны войны, но их как будто бы спрятали. В общей массе домов утонули следы разрушений, причиненных бомбежками. Их замечал только опытный глаз. Кое-где еще оставались нестертыми надписи «Бомбоубежище здесь», но страхи и ужас уже отступили в прошедшее.

Были открыты театры, кино и музеи. В коммерческих магазинах, именуемых «Гастрономами», продавались любые конфеты, любое печенье, и даже – пирожные. Все это стоило дорого, – рядовому работнику не по карману, – но витрины ласкали глаза полнотой изобилия. Послевоенная жизнь почти совершенно наладилась. Перебои в снабжении газом и электричеством кончились, отопление не отключалось, в высоких домах исправно работали лифты. Москва жила бурно и энергично.

Но народ ничего не забыл. О войне напоминали калеки на улицах, ордена и военная форма на многих прохожих и непомерно большой процент женщин на всякого рода собраниях. Напоминали о ней и «сближение» цен на товары, и Московская сессия Совета министров иностранных дел, на которой «большая четверка» решала вопрос о послевоенном устройстве Европы, и недавно подписанные – в Москве, Вашингтоне и Лондоне – мирные договоры с рядом некогда вражеских стран (Италией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Финляндией), и, кроме того, положение в мире.

Война завершилась, но не забылась, и мысли людей все время вертелись возле нее.

У Кати Поморцевой дома лежало большое количество вырезок, материалы из разных газет и из «Белого ТАССа», из закрытых писем ЦК и журналов последнего времени. Она разрешила гостям ознакомиться с ними, и Моргунов – вместе с

Марусей, конечно – получил теперь, на досуге, возможность заштопать прорехи в своих недостаточно полных познаниях в современной истории и в постоянно текучей общественной жизни. Кое-что приходилось читать между строк, но Моргунов и Маруся это умели неплохо: жизнь научила.

В Моргунове снова зажглось ретивое. Склонность к гуманитарным наукам, усыпленная десятилетним отрывом от них, интерес к текущим событиям, стремление ясно понять и активно участвовать в них пробудились в нем с прежней силой. «Неужели же все эти годы я думал о чем-то другом?!. Разве могло это быть?!.»

Из газетных вырезок он узнал и о незамеченной на Воркуте новой кампании в области идеологии.

Период идеологической терпимости явно окончился вместе с войной. Никаких размышлений и дум, непредписанных свыше, снова не допускалось. Догмы и схематизм заполняли сознание граждан и принимались как непреложные истины. Выступать против них становилось «смерти подобно». Оригинальные мысли чаще всего объявлялись ненужным соблазном и ересью. Верными, ортодоксальными, обязательными к употреблению считались статьи и решения, оглашенные только одним непогрешимым органом – «Правдой». А этих статей и решений оказалось достаточно много.

Ермилов, к примеру, изрек о пьесе Василия Гроссмана «Стоит ли верить пифагорейцам?», что это – «вредная пьеса», и сразу же Гроссманом стали пренебрегать. Он оказался «не тем», «не своим», и его перечислили из категории «лучших» писателей в рубрику «второстепенных».

Тут было совсем не до смеха, но, читая статью, Моргунов улыбнулся: некстати, а может быть, именно кстати, припомнилась вдруг эпиграмма, занесенная в лагерный мир из московских элитных кругов:

У моего милого
Нрав, как у Ермилова:
Нынче расцелуется,
Завтра отмежуется.

Впрочем, ермиловых было великое множество. «Имя им легион». «Ермиловский нрав» считался удобным и выгодным, почти что стандартным и чуть ли не всеобъемлющим. Позорность его находилась вне пониманий толпы.

В рамки проводимой кампании вписались и другие статьи и решения. «За высокую идейность советского театра» ратовал Лебедев, «против безыдейных и фальшивых кинофильмов» бросался в атаку Сучков. Он объяснял всем идейно незрелым и просто несведущим людям, что в постановлении ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» все проблемы кино решены, что сомнений теперь быть не может, путь кинотворчества светел и ясен, и надо идти по нему неуклонно. А тех, кто не хочет, – «на ща!»

О подобном, но более грозно, гласило другое постановление – «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Его дополняла «реорганизация» Союза советских писателей: руководство вышло в отставку, упразднился Президиум, сделали Секретариат, Тихонов выбыл из председателей, а генсеком избрали Фадеева.

Появился в газетах «доклад товарища Жданова», клеймящий «гнусного и похотливого» Зощенко как «пошляка и подонка – проповедника пошлости и безыдейности», а «салонную» Анну Ахматову – как «осколок мира старой дворянской культуры, безвозвратно канувшей в вечность». Теперь оказалось, что это она, Анна Ахматова, «отравляла сознание нашей молодежи тлетворным духом своей эротичной поэзии».

Кампания продолжалась. Появилась статья «Недостойное увлечение». Владимир Прокофьев выступил в ней против переводных пьес, особенно

Сомерсета Моэма, а в фельетоне Заславского под громким названием «Смертяшкины во Франции» «уничтожался» экзистенциализм, а заодно Сологуб, Мережковский и Гиппиус, повторно Ахматова и – Арцыбашев.

Затем Александр Фадеев в обзорной статье «О литературно-художественных журналах» лягнул, среди прочих, Андрея Платонова.

«Ванька, держись! Опять начинается!» – подытожил свои размышления словами из неприличного анекдота Александр Сергеевич. Он сочувствовал всем этим жертвам кампании, всем без вины виноватым, всем безвинно гонимым.

И немудрено! Проживая в Москве, он ощущал себя зайцем среди стаи гончих собак. Он делал все, чтобы избегнуть проверки и предъявления паспорта: переходил переулки и улицы только на перекрестках, держался подальше от всех заварушек и уличных ссор, игнорировал споры в автобусах или трамваях, возвращался домой, в комнату Кати, когда его не могли опознать ни дежурный дворник, ни кто-либо из любопытных жильцов. Ведь любая проверка могла обернуться ему новым сроком.

Но как ни противно было ему прибегать к ухищрениям, он постоянно считал, что «Париж стоит мессы», что жизнь в Москве стоит риска: в ней он вновь приобщился к источникам знаний, о которых уже не мечтал, он узнавал и узнал очень многое, перед ним открывалось окно – пусть хотя бы форточка! – в мир, где ощущался истинный смысл событий, происходящих на свете. Моргунов наслаждался, бывая на выставках, посещая музеи, театры и лекции. Три дня он провел в Третьяковке, оживляя дремавший в извилинах мозга восторг перед русским искусством – таким восхитительным, с детства знакомым, много раз виденном и перевиденном, но вновь и вновь волновавшем «отзывные струны души».

Он прожил в Москве весь свой отпуск, урвав от него только несколько дней на свидание с матерью в Киеве, прожил – и не попался, а когда подошло время ехать назад, то уехал с Марусей вдвоем в мягком вагоне прямого сообщения, – билеты сумела достать ему Катя, – твердо надеясь, что предстоящие в будущем роды Маруси, а потом ребенок, сотрут окончательно все, что мешало им после разлуки почувствовать снова прежнюю близость и общность.

«Мы любим друг друга, а все остальное приложится!» – так мыслили, так ощущали и Моргунов и Маруся.

На обратном пути в Воркуту, расположившись в купе, Моргунов открыл чемодан и достал из него темно-бордовую книжку «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Второе издание, исправленное и дополненное». Он купил ее две недели назад под влиянием очень большой – две полных газетных страницы! – хвалебной рецензии Слепова и Шепилова, найденной им среди вырезок, сохраняемых Катей. Прочесть эту книжку в Москве не успел, а теперь, на свободе, читал, поражаясь и сдерживая раздражение. Лживая, бесстыдная апология Сталина, хотя к ней привыкли везде, преподнесенная здесь в виде труда коллектива известных в науке ученых, убеждала только в одном – в элементарной нечестности тех, кто ее составлял.

Обнаружив неправду во многих местах, Моргунов отложил изучение книги до лучших времен, когда можно будет сопоставить ее с первоисточниками и документами. На то, что эти желанные времена все же наступят, ему очень хотелось надеяться.

Не покидала надежда живущих на свете – ни в прошлом, ни в настоящем. Ведь никто не мог знать, что случится в грядущем. Все надеялись, что «все образуется», а меж тем впереди были долгие тяжелые годы, и развязка идти не спешила.

ЭПИЛОГ

За несколько дней до отъезда из Сочи в Москву Моргунов обогнал на Большой Приреченской улице неторопливо идущего по направлению к морю седого, сутулого старого человека. Что-то такое, уже со спины, показалось знакомым. То ли фигура, то ли походка, то ли еще что-то.

Проскочив по инерции мимо, Александр Сергеевич остановился и, взглянув на лицо старика, ошарашенно замер. Он узнал Гольденберга, с которым не виделся пятнадцать без малого лет, с того самого черного дня – седьмого декабря 1948 года, когда начальника финансовой части неожиданно взяли по новой и, продержав больше года в тюрьме вместе с десятками других ни в чем не повинных людей, сослали не то в Казахстан, не то в Красноярск по неслыханной раньше, оригинальной «статье» – БГП, что в переводе на русский язык означало «бывший государственный преступник».

Гольденберг за прошедшие годы сильно осунулся и постарел, появились глубокие морщины, увяло лицо, но живые глаза, как и прежде, лучились иронией и выражали готовность побалагурить над чем только можно.

– Лев Соломонович?!. Ты ли?!. – воскликнул, не веря себе, Моргунов.

– О, Боже!.. Чур меня, чур!.. – всплеснул руками Гольденберг. – Сгинь и рассыпься!.. Кто ты такой? Призрак?.. Видение?.. Или – реальность?!. Дай-ка потрогать!

Он подошел к Моргунову и обнял его.

– Да воскреснет Бог, и расточатся враги его!.. Что же ты стоишь, аки столп, Александр Сергеевич?! Давай поцелуемся, что ли?!

– Охотно! – сказал Моргунов.

Крепко обнимая друг друга, они троекратно поцеловались.

– Вот... Так оно лучше!.. Давай же, скорее рассказывай! Ты здесь один или с кем?.. Один?.. В санатории?.. А вообще?.. Как живешь? Где работаешь? Все еще в шахте? На Воркуте?

– Нет! – сказал Моргунов. – Переехал в Москву. Но мне интересней сначала узнать о тебе. Где ты и что ты? Я слышал, что ты был в Норильске? Я даже искал тебя там. Плавал с Марусей и дочкой по Енисею и – заехал... Хотел повидаться...

– Я из Норильска давно... Подался к себе, в город Харьков... Но погоди-ка минутку! Беседовать, стоя на улице, – дело негожее. Надо приткнуться куда-то, поговорить основательно... Как и когда это сделать? Ты сейчас торопился куда-то?!. Иди! А потом...

– Нет, – возразил Моргунов. – Не пойду!.. Я сегодня свободен... Думал в читальню зайти, да ведь это не к спеху!

– Не знаю, возможно, не к спеху!.. Пойдем в таком случае прямо ко мне! Я живу совсем рядом. Хорошая комната, сад... с пансионом устроился, по ресторанам шататься не надо, хозяйка прекрасно готовит... И самое главное – тихо! Никто не мешает! Посидим, потолкуем... Пошли?..

– Пойдем, если так. Только... заглянем сперва в магазин. Захватим чего-нибудь горло смочить... Я вообще-то не пью, но на радостях – надо...

– У меня все, что нужно, найдется!.. Ты что, не знаешь меня?!. Водки, правда, не будет: не потребляю, но вин и шамовки... обижен не будешь! Встречу двух заполярников в Сочи обмоем, как следует.

Через двадцать минут они уже сидели в саду, за столом, под раскидистым персиком.

– Что случилось со мной?.. – рассказывал Гольденберг. – Загребли и дела сдать не дали... Какой там допрос!.. Поговорили для виду, не знаю, о чем: «Какое в поселке у вас – настроение? Что говорят?» Я, конечно, ответил: «Не знаю!.. Я ни с кем не общаюсь... Вам, – говорю, – это лучше должно быть известно. Там у вас слухачей понатыкано – пропасть!» – «Кого?! Слухачей?! Кто такие?!» – «А я почем знаю?! Они же не представляются!» – «А не знаете – так не болтайте!» – «А

я не болтаю, я говорю!» – «Ну, ладно, идите!» – «Куда?» – говорю. – «Разумеется, в камеру». Все!.. Целый год просидел, пока выслали... Обвинения? Нет, никаких!.. Да не только мне, – никому!.. Спасибо тебе – помогал передачами... Век не забуду!.. Без них было б значительно хуже... А тебе повезло – уцелел!.. Тоже нет?.. Как это так?..

– Очень просто! – сказал Моргунов. – Только гораздо позднее!.. В пятьдесят первом году, в конце ноября... Вызвали в НКВД, отобрали паспорт, военный билет и – сослали... И знаешь куда?.. Не знаешь?.. На – Воркуту!

– Воркуту?!.

– Именно так!.. Прямо – домой!.. Дело, видишь ли, в том, что людей там у нас все гребли и гребли... Загребут одну партию, а через месяц, или дней через двадцать, – еще!.. И – опять!.. Хотели, видимо, всех перебрать... Постепенно, конечно. Да поспешили, вероятно, чуток! Комбинат-то и оголился!.. Стало не с кем работать, план полетел. Начальник увидел – дело труба! Пропадешь! С него тоже ведь спрос, и немаленький. Ну, и взмолился он перед Берией: «Брать, мол, бери, но зачем угонять?! Ведь Воркута – тоже ссыльное место. К нам, мол, ссылают других, но они ведь ни бум-бум в нашем деле. А эти – мои-то! – за долгие годы привыкли, специалистами стали. Давай-ка их лучше – ко мне!..» Берия и согласился. Мы, как узнали об этом, от счастья плясали!.. Правда, не все!.. Наивные плакали – думали, их вообще обойдут... Черта с два!..

– Значит, я прав оказался: тебе повезло!.. Хотя, если подумать, – кошмар!.. Ни в чем не виновный от радости пляшет: ему пофартило, ему дали – ссылку! Всего лишь! А ведь могли и тюрьму!.. А за что?!. Просто так!..

– Я полагаю, не «так», а за место под солнцем, за «положение в мире», за пайки, за погоны и звездочки!.. Погоди, погоди, Лев Соломонович! Теперь ты расскажи о себе! Куда ты попал с Воркуты? Почему не писал?.. Где работал? И как это было?

– Как было-то?.. Очень обычно! Этап... В Красноярскую область. В лес, в смолокурню. Я там быстро дошел... Сбагрили в стационар. Потом заподозрили рак, отправили в город. А там разбираться не стали, им все равно: рак так рак! Положили на стол, распороли живот, посмотрели. А рака-то нет!.. Ну, нет, и не надо: им еще лучше! Зашили меня и отправили в зону: «В бараке скорей заживет», – говорят... Провалялся в нем месяца два, а затем – по этапу в Норильск.

В Норильске было неплохо: опять по финансовой части работал... Жить стало можно. Думал, что там финишировать буду, но вышло – Сталину слава! – иначе. Помер он! А почти через год после смерти евонной прочитал я в «Правде» статью генпрокурора Руденко... Ты знаешь ее?.. Ну, конечно!.. И почувствовал я, что теперь пересмотр возможен, что времена изменились... Написал заявление, подал. Два с лишним года его проверяли, и наконец-то проверили. Пришла мне – реабилитация. Я получил и – поверишь? – заплакал... Ну, а потом?.. Что же было потом?.. Проработал еще больше года, вышел на пенсию и – маханул к себе, в Харьков. Приехал туда, а там – никого не осталось. Жена еще в тридцать восьмом умерла, сына на фронте убили, а дочку в Освенциме немцы сожгли... Так и живу бобылем...

– Почему же бобылем? А Нина Ивановна где?.. Она тогда так убивалась... когда тебя взяли. Ко мне приходила, спрашивала, не знаю ли что. «Поеду за ним, – говорит, – куда бы его ни угнали: Левушка мой – Человек!» И вправду, вскоре уехала, только не знаю, куда.

– Нина-то?.. Да!.. Ко мне приезжала... Была у меня... приперлась в Норильск от большого ума... Только... дура она гениальная!.. Догматичка и фанатичка!.. Мышление – как у собаки-овчарки. Сказал ей хозяин: «Сидеть!» Она и сидит. «Сторожи!» Сторожит. А чтобы подумать самой, что к чему и зачем, – этого нет.

Это ей не положено. На то существует – хозяин. А хозяин – это не я, это – партия, это Сталин! Они для нее – ипостаси.

– Ну, что ты, Лев Соломонович, говоришь?!. Не загибай чепухи! Ты же был для нее самым главным! Она ведь любила тебя больше жизни!..

– Да нет же! Ты ошибаешься!.. Я же тебе говорю, кто для этой овчарки хозяином был.

– Не верю! Болтаешь со зла! Что у вас с ней получилось, не знаю...

– Ну ладно!.. Скажу... А ты – думай!.. Нинка – ты знаешь – простой человек. Образование – нуль: классов пять или шесть семилетки прошла и на этом закончила. Баба она ничего: несварливая, любвеобильная, добрая, сентиментальная даже... Но чего-то в ней не хватает. Надо думать – ума! Личная жизнь у нее, как это часто бывает, не задалась: муж ее бросил. Осталась она одинокой и очень несчастной. А тут как раз я подвернулся. Случайно, конечно, – она же ко мне приходила полы мыть.

Так я с ней познакомился, понял ее, пожалел, приласкал. Она и растаяла. И прилепилась ко мне всей душой... Только душа у нее – куда ветер дует! Я к тому времени освобождался. Чем не жених для нее?!. Это тоже имело значение. Состояла она членом партии, но разбиралась в политике, как... ну, как свинья в апельсинах... Извини меня, Александр Сергеевич. Ничего плохого о ней я говорить не хотел, но – что было, то было!.. Не вычеркнешь!.. Ну, так вот, жили мы с ней душа в душу, не ссорились, и делить было нечего, кроме постели, а постель нас сближала всегда...

И в Норильске мы жили прекрасно. Но – наша жизнь такова! – возвращается как-то домой вся в слезах, морда заревана!

– «Что, что с тобою, Нинок?!.»

– «Левушка!.. Левушка, милый! Беда!..»

– «Что случилось?!. Какая беда?..»

Ревет как белуга:

– «Меня вызывали в – партком!.. Говорят: «С кем живешь?!. С БГП?!. Какая же ты коммунистка?!. Или порви с ним немедля, или – отдай партбилет!..» Я уж плакала, плакала... Я говорю: «Он хороший, он честный!.. Он – наш! Он, – говорю, – коммунист!.. Его брали зазря!» А они: «Зря у нас не берут! Ты клевещешь на органы!.. Значит – уже разложилась!.. Ишь ты, гадость какая! За врага заступается!.. Ну, так решай: или он, или – партия!..» Я, – говорит, – им сказала: «Вам хорошо рассуждать! А мне каково?!. С кем я останусь?!. У меня же нет никого!.. Он – один у меня!» – «Вот, – говорят, – незадача, нашла о чем плакать! Мужиков, что ли, мало? Целая рота охраны стоит! Парни все молодые, охочие... Ты только свистни!» Я как зареву и – пошла! Что же мне делать теперь-то?.. Левушка!.. Милый!..»

Гольденберг замолчал.

– Ну, и что же ты посоветовал? – волнуясь, спросил Моргунов.

– Что посоветовал?!. Плюнь на них, говорю, и отдай партбилет! Проживешь без него!.. Как она взъерепенится! «Как так отдать партбилет?!. Ты что, шутишь?!. Или рехнулся?!. Да я лучше – в петлю!»

– И дальше? – не выдержал длительной паузы Александр Сергеевич.

– Дальше?.. Ушла от меня... Выбрала – партию!.. Месяца два по ночам иногда прибегала. Полярные ночи-то темные, никто ничего не увидит... А после... случилось такое... не хочется и вспоминать!..

– А что случилось?..

– Ну что же, могу рассказать... Вспомни ту гнусную пору: злая зима, морозы в Норильске кошмарные, в лагерной жизни – убийственный гнет. Ссыльных и бывших зека постепенно снимают с работ в аппарате. Международное – дрянь. В Праге идет процесс Сланского... Явственно антиеврейский... На скамье

подсудимых сидят Сланский, Геминдер, Фрейк, Райцина, Франк, Фишл, Марголиус, Шлинк... дальше не помню... Евреи! Враги! Сионисты – троцкисты – предатели!.. Вся верхушка страны!.. А сообщники их, между прочим, тоже известные люди: в Польше – Гомулка, в Венгрии – Райк, в Югославии – Тито, в Болгарии – Костов, в Албании – Дзедзе... Сплошные генсеки... И все – продались! И – кому?!. Американо-еврейской разведке!..

Все это там, за границей. А что же у нас?.. У нас повышается бдительность, разоблачают мазуриков, авантюристов, стяжателей. Среди них и Шапиро, и Мирер, и Ласкин, и Кацман, и кто-то еще! Пока это только цветочки, ягодки зреют... И – вдруг! Словно гром среди ясного неба: арестовали врачей!.. Сколько еврейских фамилий! Вовси, Коганы, Фельдман, Гринштейн, Этингер!.. Спаси и помилуй нас, Боже!

А потом пошло и поехало. «Правда» стала печатать, чуть ли не ежедневно, вести о разных преступниках и проходимцах. И чуть ли не все они сплошь – евреи, евреи, евреи! Одно исключение – Мехлис. Его хоронили по первому классу. Но это – для показухи!

Народ хорошо понимает намеки. Подняли голову антисемиты. Грязный, пакостный вал юдофобства прокатился по стране. Над нами, советскими евреями, нависла угроза непоправимых невзгод. А газеты, и в том числе «Правда», подогревали грядущее бедствие...

И – знаешь?!. Что было, то было!.. Прочел я однажды что-то подобное и – возмутился – аж в глазах потемнело: «Это у нас-то! В стране Октября, в стране Ленина!..» А на столе – цветной карандаш!.. Большой, канцелярский!.. Я в сердцах его ухватил и красным название «Правда» – перечеркнул... Да и мало того, – наверху написал: «Volkischer Beobachter»! Уж больно я рассердился тогда... И надо же!.. В этот самый момент Нинка как раз и пришла.

– «Что с тобой? – говорит. – На тебе лица нет!.. И что ты здесь написал?»

Я ей – все рассказал, а она как взовьется:

– «Это ты – «Правду»?! «Правду» так обозвал?! И рука повернулась?! Ах ты... гад ты ползучий!.. А может, евреи – действительно?!. А?!. Ты, значит, с ними вместях, заодно?! Ты, значит, так?!. Ой ты, горе мое! Ой, ты горе!.. По ком же я убивалась!.. Дура я, дура была! Не хочу тебя знать после этого!..»

И – убежала!.. Я сначала боялся: вдруг стучать побежит, а то и что-нибудь с собой сделает, уж больно она взволновалась. А после узнал: ничего, обошлось! Спуталась с парнем каким-то, взяла разрешение выехать и вместе с ним умотала... Не знаю, куда. Я ее больше не видел... Вот так!

– Да! – сказал Моргунов. – Неудачно!..

– А Маруся как? – спросил Гольдендерг. – У нее вроде хорошо тогда на Воркуте пошли биологические исследования вечной мерзлоты?

– Хорошо! Правда, воскресить бактерии из вечномерзлых грунтов, к сожалению, ей не удалось. Но зато прояснились законы их жизни, а это, как посчитали в ученых кругах, не менее важно. Что-то она там открыла, какие-то выводы сделала. Точно не знаю, но материалов хватило для – докторской. И – представь! Недавно в Москве защитила!..

– Ура! Поздравляй от чистого сердца!..

– Спасибо. Я ей передам. Она будет рада.

Беседуя так, они, не заметив того, опорожнили бутылку вина. Гольденберг слегка покраснел, Моргунов остался, как был, словно пил не вино, а родниковую воду.

– А теперь давай о себе поподробней! – молвил Лев Соломонович. – Ты в Москву переехал давно?

– Да. Почитай – года два...

– В шестьдесят – значит – первом году?.. Почему же так поздно? Чего-нибудь дожидался?.. Я, кстати, тебя не спросил: ты, конечно, реабилитирован? Да? Ну, а в партии как? Восстановили?

– А как же! Все как следует быть! А почему переехал так поздно?.. Сто причин, как не больше... Главные?.. Много их, главных-то... Ну!.. Ну, не хотелось работу бросать. Это – раз! Я к ней привык как-никак: ведь больше двадцати лет протрубил под землей. Зарплата большая была – это тоже чего-нибудь стоит. Кроме того, уходить на покой преждевременно. Здоровье пока позволяет – надо работать, а если работать, то – в шахте. Другой-то специальности нет. Философия в прошлом осталась. Мое дело – уголь давать, а в Москве такого не водится... Что еще?.. Хотел дотянуть хоть до пенсии – у меня же с пятидесяти лет, как раз с шестьдесят первого, подземная, льготная... Это – вторая причина... Надо было дождаться квартиры в Москве. Это – три! Ну, а – главное, если сказать откровенно, страх как не хотелось мне тыбиком стать, да еще при ученой жене.

– Кем? Кем, ты сказал? Погоди!.. Что за тыбик?!

– Не знаешь?.. Это от «ты бы!» – «Ты бы сходил, ты бы принес, тебе все равно делать нечего!»

– А!.. Понимаю! А как же теперь?

– Как?.. Нашел себе дело! Работаю!.. Так, без зарплаты, задаром... Внештатный инструктор райкома... Нас много таких... Демократия в действии!.. Да, большинство – старики, но есть и кто помоложе... И в партии, и в профсоюзах, и в партгосконтроле, и в местных советах – райжилотделах, собесах, народных дружинах, газетах... Ну, словом, везде, где захочешь... Считай – партнагрузка, общественный долг!.. А как же иначе?!. За деньги служить – смысла нет: пенсию вдвое урежут. У меня же не персональная! Лучше «за так»! Так и живу, помогаю Марусе, ходим с ней на концерты, в театры, на выставки, бываем в Доме ученых. Конечно – читаю, пишу мемуары: время-то какое было!.. Надо, чтобы потомки узнали... Нет! Печатать пока что не думаю. Пока это только наброски. Пусть отлежатся как следует... А там – будет видно.

– Пока, значит, «в стол»? – улыбнулся Гольденберг.

– И тебе этот термин знаком?!. Ну и что же? Пусть пока будет «в стол».

– Смотри, прозеваешь! Время опять переменится – и пропадут труды даром.

– А мне наплевать... Я не честолюбивый.

– Дело твое!.. Ты мне вот что скажи, Александр Сергеевич!.. У меня круг знакомств очень узкий, а ты в самой гуще событий вращаешься... Что говорят старики-коммунисты?.. Как все это получилось?.. Ты понимаешь, что я имею в виду!.. Культ ведь не сам по себе появился! Мы-то с тобой, прошедшие тюрьмы и лагеря, знаем больше других и мыслим поэтому как-то особенно, более правильно, что ли? А вот как другие, как старики?

– А что – старики?!. Они же напуганы насмерть. Большинство-то их тоже из бывших зека, но они говорят только то, что в газетах написано. До сих пор опасаются высказать личное мнение... Боятся друг друга, хитрят, откровенничать остерегаются, следят: а что скажет хозяин?.. А им все равно, кто хозяин. Раньше был Сталин, а нынче Хрущев... Нет! Хрущева они почитают – пока, может быть! И смотрят ему прямо в рот: он засмеется – они загогочут, он станет плакать, они – слезы лить.

– И все это – искренне?!.

– Искренне! Так воспитали. Так вот и культ создается. Не вдруг и не сразу. Сначала – «крошка за крошкой – скорее в лукошко», оно постепенно наполнится. А там уж – закон диалектики: переходит количество в качество – культ станет самодовлеющим и начнет недовольных – потенциальных соперников, как он считает, – брать к ногтю. А после – под ноготь. Вот так!.. И не только соперников...

Всех!.. Чтобы не думали иначе, не сомневались в божественной воле!.. Вот тебе, мало-помалу, и – культ!

– Так ли все это просто?.. А может быть, намного сложнее?!. Кое-что можно, конечно, понять... Ну, Сталин уничтожил соперников, тех, кто работал при Ленине, с Лениным. Это, допустим, понятно. Но для чего же простых-то людей прищемляли? – спросил Лев Соломонович. – Нас с тобой, например? И стариков этих самых?

Моргунов помолчал и задумчиво произнес:

– Для чего?.. Думаю, для того, чтобы славы добавить товарищу Сталину, чтобы его возвеличить особенно... сверх всякой меры... Вот так!

– Хм!.. По-иезуитски выходит?! «К вящей славе Господней»? Так, что ли, ты говоришь?!.

– Могу для ясности прибавить: «Ad majorem Dei gloriam!» Так даже солидней звучит. По-ученому!..

Моргунов с Гольденбергом просидели почти до утра. Выпили чай, принесенный хозяйкой, съели и ужин, и фрукты, распили вторую бутылку вина, и все не могли ни расстаться, ни наговориться.

Вспоминали обо всем, что свершилось в последние годы: о съездах – двадцатом и двадцать втором, о новой программе КПСС, о не сравнимых ни с чем переменах в стране; поминали и тех, кто остался «там», в вечномерзлой земле, не дожив до «светлого дня», и тех, кому удалось уцелеть и – вернуться.

– Ничего я от сталинской смерти не ждал, – признался Лев Соломонович, – скорее наоборот: думал, еще хуже будет. К счастью – ошибся, весна наступила... впрочем, я и сейчас не уверен: а вдруг это – «оттепель»? Только? А не весна? Ты-то как думаешь?

– Нет, я не мыслю возврата к прошедшему... Он невозможен!.. Формы нового культа, если он даже и возродится, будут иными... невинными, что ли?!. Я в это сразу поверил, и верю сейчас!.. Твердо верю!.. Большинство из нас почувствовало, что времена изменились, только после того, как в «Правде» прочли статью генерального прокурора. Это было, дай Бог не соврать, в январе пятьдесят четвертого года. Я же поверил еще раньше... Помню: суббота, раннее утро, у меня выходной, я в постели. Еще не вставал. Маруся ушла на работу, Наташа в детском саду. Тишина. На столе – еле слышно работает радио. Слушаю его краем уха, «думаю думу свою». И вдруг что-то заставило насторожиться, какое-то слово... амнистия, что ли?!. Я вскочил и, как был, без штанов – к репродуктору... сделал погромче... Нет, не ошибся! Действительно так!.. Слушаю дальше. «Не применять к осужденным на срок – более 5 лет»... Значит – к тем, кому пять или менее?!. К тем применять?!. А как же КРТД, КРД, СОЭ, пятьдесят восьмая статья?!. Неужели и к ним, то есть к нам, тоже применять, – хотя бы к тем, у кого не больше пяти лет?!. Получается, да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Это было уже что-то новое... при Сталине небывалое... Вот я тогда и поверил: «Солнце восходит над миром... Заря новой жизни грядет!..»

– Ишь, расходился, – сказал Гольденберг и наполнил стаканы. – Ладно, пусть будет по-твоему! Выпьем за то, чтобы так было!

Они чокнулись, выпили и продолжили беседу. Говорили и спорили чуть не до пены у рта о текущих событиях, вспоминали о старых вопросах и новых проблемах, о корейской войне и Вьетнаме, о возможности мира на Ближнем Востоке, о конфликте с Китаем.

Коснулись превратной судьбы известных людей – Анны Ахматовой и Пастернака, Зощенко и Солженицына, поговорили и о смелых стихах Евтушенко – «Бабьем Яре» и «Наследниках Сталина», и о только что поступившем в газетный киоск «Новом мире», где напечатал Твардовский свою аллегорию «Теркин на том свете».

Дружно усомнились в бесспорности чуть ли не всех утверждений Хрущева, которые тот высказывал на встречах руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Моргунов даже сказал, что теоретически они – нонсенс, практически – пошлая утилитарность.

Наконец, Александр Сергеевич оглянулся, увидел зарю на востоке и стал собираться домой.

– Светает!.. Пора расставаться! Пойду... Мы здесь, наверное, не увидимся больше: дел до отъезда – вагон! Надо последнюю ванну в Мацесте принять, съездить на озеро Рицу, сходить в библиотеку, книги вернуть, билет получить у агента...

– Погоди уезжать! – попросил его Лев Соломонович. – Кончится срок в санатории – перебирайся ко мне, поживи еще несколько дней у меня! Мы же ничего не успели друг другу сказать!

– Да скажем еще, надеюсь! А сейчас... Понимаешь, через неделю Наташке шестнадцать исполнится. Для нее это – праздник: станет как будто бы взрослой, паспорт получит, сможет в кино на взрослые фильмы ходить... Для нее этот день – вступление в новую жизнь!.. Большое событие!.. Да!..

– Счастливый она человек, – позавидовал Лев Соломонович. – Сумела родиться, когда все плохое кончилось... Поздравь ее от меня!.. Не забудешь?..

– Конечно, не забуду!

– Тогда давай на прощание выпьем разгонную, надо ж остатки допить!.. Выпьем за счастье Наташи! За счастье ее поколения!

– И за то, чтобы не было больше никаких культов, и «к вящей славе Господней» в будущем ничего не делалось!

Они чокнулись, выпили и распрощались.

Моргунов уходил по пустынным в этот предутренний час улицам Сочи, перед ним разгоралась все ярче и ярче заря, и вместе с ночной темнотой отступало и уходило в далекую темную мглу все, что пришлось пережить.

Стало легко и свободно, он ускорил шаги и, поглядев на восходящее солнце, воскликнул:

– Да здравствует солнце, да скроется тьма!

И добавил:

– И с ней вместе да скроется «культ»!

КОНЕЦ

Роман создавался с конца 1950-х до конца 1960-х годов.
Сканирование, форматирование, техническое и литературное редактирование: С.В. Заграевский, 2007 г.